

Алексей Иванович Свирский

# **История моей жизни**

# Алексей Иванович Свирский

## История моей жизни

### Маленькое вступление

**П**редо мною открыт далекий мир воспоминаний. С седых вершин моей здоровой старости он виден мне от края и до края.

Этот мир — моя жизнь, полная борьбы, поражений и побед.

Сейчас, когда память водит меня по давно пройденным дорогам, я вижу себя маленьким бездомным мальчиком, лишенным ласк и встречных улыбок. Затерянный и невидимый в безбрежной жизни, я детскими силенками бьюсь за право существовать и, подобно траве в расщелинах скал, тянусь вверх.

Я расскажу об этой борьбе, расскажу, как грубыми пинками меня сталкивали с каждой ступеньки, завоеванной терпением, упорством и слезами никому не нужного ребенка.

Не моя вина, если не найдут в моем рассказе веселых страниц, как не моя вина и в том, что и на склоне дней мое сердце все еще ки-

пит ненавистью к прошлому, кошмарным призраком встающему перед моей раскрытой памятью.

## Часть первая

### 1. Летний день

**В** далекой загородной больнице умирает моя мать. А мне всего восемь лет. Я бегаю по нашей Приречной улице босиком, в длинной ситцевой рубаше, на моей чернокудрой голове играет солнце, теплая река мягкой кошкой сгибается, ластится и поминутно зовет купаться; сквозь зеленое кружево зреющих садов смеются краснощекие яблоки, янтарные груши, желтосиние бусы поспевающих слив, звонко дрожит земля в сияющем океане солнечных дней, а там, далеко, за чужими улицами умирает мама.

Моя мама...

Зачем умирать, когда мне так некогда? И почему летом дни такие коротенькие? Не успеешь наиграться, а солнце уже садится на корточки и поджигает ореховую рощу, что по ту сторону реки. Густо наливается синью предвечернее небо, и под босыми ногами

остывают камни и земля. Вот когда хорошо побегать! Нет пыли, от жары не потеешь, а когда крикнешь в тишину, роца тебе откликнется...

Но тетя Сара — родная сестра моей мамы — не дает покою: вот сейчас появится она на кривобоком крыльчке и позовет домой. А уходить совсем не хочется.

На нашем дворе детей больше, чем зерен в маковой головке; все мы бедны, все равны и все драчуны. Наш двор самый сильный и храбрый. Соседние мальчишки нас знают и проходят мимо с опаской.

Играем в горелки, в чижики, в пятнашки, в разбойники, в прятки и так хохочем, так прыгаем, что воробьи и ласточки нам завидуют... И вдруг тетя...

С опущенной головой иду на строгий зов. Тетя сердится.

Лицо худое, с желтыми пятнами, а большие серые глаза из-под черных бровей злятся, угрожают...

Она бросает мне навстречу:

— Без зова не можешь приходить, лгунишка сопливый?

Тетя бьет меня в самое сердце. Мой позор, мое несчастье заключается в том, что я часто помимо воли навру почему зря, а к вечеру все разъяснится, и меня уличают во лжи.

Я никак не могу понять, зачем я сочиняю всякие небылицы, а удержаться не могу. Выдумаете что-нибудь и спешишь скорее рассказать взрослым, а те слушают, верят, спрашивают, и мне приятно, что «дяди» и «тети» заинтересованы мною...

— Тетя, — кричу я с порога, — вы знаете, что случилось? Сося-Двойре на улице вот сейчас только родила девочку, малюсенькую-малюсенькую... Народу сколько собралось!.. Она кричала как!..

Тетя верит, охает, изумляется, а к вечеру узнают, что я наврал, и надо мною потешаются.

А то еще так: прибегаю домой и сообщаю новость — ночью вся Киевская улица сторела без остатка. Слух этот вешними потоками разливается по всей нашей Приречной. У многих на Киевской имеются родственники.

Взрослые бросают работу и бегут к месту ночного пожара, а я прячусь, горю стыдом,

раскаиваюсь, клянусь свою глупую голову и боюсь на глаза показаться.

Ужасное прозвище «лгунишка» тяжелой обидой падает на мои маленькие плечи, и не раз мне приходится вступать с товарищами в ожесточенные битвы из-за проклятой клички.

Но вот уже я лежу на кухне у окна, на большом мамином сундуке, а подо мною вчетверо сложенное ватное одеяло. Подушкой служит ковровый саквояж, набитый грязным бельем.

— Ну, ты, брехунишка, сходил на ночь? — сурово осведомляется тетя.

Я обидчиво киваю головой и поворачиваюсь к окну.

И чего она пристаёт? Я мамин сын, а не тетин. У нее своих девчонок целая куча. Пусть она с ними и занимается.

На дворе еще не все кончилось: игра продолжается.

Вместо меня, я слышу, разбойником стал Берке. Он трус и не сильный. Завтра я покажу ему.

Осторожно, чтобы тетя не заметила, я

чуть-чуть приоткрываю окошко и через щелку гляжу во двор. Детей уже мало; последних загоняют домой. Становится совсем тихо, так тихо, что слышишь всплеск рыбки на уснувшей реке и шорох крыльев летучей мыши, царапающей синие сумерки.

Сквозь щелку я вижу небо. На этом небе сидит наш еврейский бог с большой седой бородой. Он все знает и все может.

И я обращаюсь к нему с большой просьбой:

— Сделай, дорогой мой, так, чтобы я никогда-никогда не врал. Ну, что тебе стоит? Ты такой большой и сильный, а я такой маленький... Прошу тебя... Я знаю, ты сердисься за то, что я не люблю молиться. Но я же не виноват, когда молитвы такие длинные и совсем даже непонятные...

Мне спать еще не хочется, и я думаю о маме, умирающей в больнице, о яблоках, растущих в саду священника, о товарищах...

Завтра мы отправимся далеко-далеко, где на баштанах зреют огурцы и сладкий горох... А тетя не имеет права за уши драть. Завтра пойду в больницу и маме пожалуюсь.

Высоко-высоко горит звезда с алмазными стрелками.

Я прищуриваю глаза, и стрелки сверкающими нитями вытягиваются до самых ресниц моих... И тишина шепчет мне маминым голосом: «Спи, маленький... Спи, бедненький...» Просыпаюсь от обычного шума раннего утра. Свистят птицы, на соседнем дворе мычит корова, ревут двоюродные сестренки и беспередышно кашляет дядя Шмуни — муж тети Сары.

Он очень болен: у него чахотка.

Дядя целый день ходит по богатым домам делать папиросы и зарабатывает два рубля в неделю.

Об этих двух рублях и о наших семи ртах тетя говорит каждодневно.

— Мы так бедны, что даже помои у нас чистые, — замечает тетя, заглядывая в ушат, что стоит в сенях.

В доме нет трех грошей, чтобы купить стакан молока для маленьких. А «маленькие» ничего знать не хотят и встречают солнечное утро воплями о хлебе.

У тети Сары лицо горит от волнения. Глаза

глядят строго, черные брови сдвигаются к переносью.

Сейчас разыграется буря. Тетя ждет только, чтобы дядя кончил молиться. А тот стоит у восточной стены, закутанный в полосатый талес, нервно сжимает тонкими пальцами кончик рыжей бороды и, раскачиваясь из стороны в сторону, скороговорками выпускает из подвижных губ молитву за молитвой.

Кончит он, и тетя бросится в атаку. Она станет упрекать дядю в том, что он растоптал ее красоту и молодость, бросил ее в яму нищеты, обмногодетил ее, облохмотил, растерзал сердце, изуродовал жизнь нескончаемой скорбью, болезнями и слезами голодных детей...

Я боюсь этих бурь и стараюсь не попадаться под ноги. Одна минута — и постель моя уже брошена на печь, а сам бегу к реке.

Здесь есть где пожить!.. И побегать можно, и покупаться, и о деле поговорить с товарищами.

Сегодня пятница — самый тяжелый день для тети Сары. Она из белой муки испечет хале, наделает коржиков с маком. Будет мыть

полы и чистить подсвечники; а вечером, после ужина, к нам придет Арон Пинес — наш сосед. Он — музыкант: играет на флейте, имеет двух детей и так беден, что занимает у нас соль, а иногда кусочек цикория.

Тетя говорит, что Пинес — самый умный, самый красивый и самый несчастный еврей. Красив потому, что в его черных глазах живет нежная печаль, несчастен потому, что у него рано умерла жена и что флейтой он зарабатывает меньше, чем дядя Шмуни папиросами, а умен потому, что знает то, чего нельзя даже в книгах найти.

По пятницам Пинес приходит к нам рассказывать сказки. Тетя выставляет угощение: глубокую тарелку с хорошо прожаренными тыквенными семечками. Нас, детей, отправляют на печь, и мы слушаем долго-долго...

Погаснут свечи — луна заглянет в окошко, и снова у нас светло. А Пинес рассказывает о разбойниках, о царях, волшебниках, о далеких морях, о дремучих лесах и о такой красоте, о таких богатствах, что нашу широкую теплую печь я принимаю за беседку, осыпанную алмазами и рубинами, а сопящую рядом

со мною маленькую сестренку Фрейду — за принцессу...

Старший сын Пинеса, восьмилетний Мотеле, — мой лучший друг.

Скоро умрет моя мама, и я тоже, как и Мотеле, стану «сиротой», и мы с ним заранее поклялись перед солнцем, что будем навеки товарищами, будем защищать друг друга и делиться всем пополам.

Мы с ним одного роста и одинаковой силы, но я плаваю лучше и быстрее бегаю.

А вот он и сам. Весело скатывается с обрыва и протягивает мне кусочек черного хлеба, густо посыпанного солью.

— Дели сам, — говорит Мотеле и, вполне доверяя, нарочно отворачивается.

Я знаю, что было два кусочка, и что один Мотеле съел по дороге, но я ему прощаю, потому что сам так делаю. Два хороших укуса — и завтраку конец.

И настает наш день. Сначала, конечно, переплываем Тетерев. В ореховой роще находим щавель и тут же поедаем его.

Потом отправляемся на свалку.

Здесь наш клуб. Здесь наша босоногая ко-

манда.

Отсюда недалеко до сада священника и загородных баштанов.

В полдень возвращаемся к реке и по дороге, поднимая рубашки, хвастаем животами, туго набитыми вишнями, горохом, огурцами...

— Смотрите, у меня не живот, а настоящий барабан! — кричит один из нас, хлопая ладонью по голому животу.

— А у меня до горла доходит: скоро дышать перестану, — заявляю я.

Жара и пыль толкают нас к реке, но навстречу попадается тетя Сара, и радость летнего дня отравлена.

— Хорош единственный сын! — кричит тетя. — Родная мать умирает, а он весь день шарлатанит по городу... Сейчас чтоб ты мне отправился в больницу!..

И я, сникнув, тихо шагаю по главной улице города Житомира, по Киевской, ведущей к далекой загородной больнице.

## 2. Сирота

Больница большая, дома все каменные, белые, а по широкому двору гуляют больные.

И мальчишка один на костылях гуляет, смешной — халат со шлейфом, а на голове колпак.

Я знаю, где лежит моя мама: там только женщины да старухи.

Кроватей так много, что сосчитать трудно. И все одинаковые, все белые. Вхожу в палату. И хотя я маленький, но меня все видят.

Слышу шопот:

— Это сын девятой койки. Единственный...

— Бедный мальчик!..

Мне становится стыдно. Рукой стараюсь закрыть свежую прореху на рубашке: сегодня зацепился на заборе.

Мама лежит на спине, худая, тонкая и вся из воска.

Подхожу и наклоняю голову. Мама горячей рукой проводит по моим кудрям, так тихо, будто перышком касается.

— Садись, — говорит мама.

И я осторожно, чтобы не шуметь, вскарабкиваюсь на табуретку.

Маме трудно говорить. Она тяжело дышит, будто набегалась.

— Достань на тумбочке... мясо... булку...  
Поешь, мой маленький... Как тетя?.. Ты слу-

шаешься?..

Рот у меня набит мясом и хлебом, и я утвердительно киваю головой.

— Шимеле! — окликает меня мама.

Она хочет что-то сказать, но не может, и смотрит на меня большими влажными глазами.

Я поел, и мне становится скучно. Думаю о товарищах и от нечего делать играю ногами. Мама делает мне знак.

Я сползаю с табуретки, и снова мои кудри ощущают ласковое прикосновение маминой руки.

— Уж поздно... Иди, мой птенчик... мой маленький...

Я ухожу. На пороге оглядываюсь и вижу прощальные глаза мамы.

В горле закипают слезы, слово «сирота» ударяет по лицу и, спрятавшись за крылечко, прижимаюсь к каменной стене и тихо плачу...

Я — сирота: моя мама умерла. Тетя Сара и сестра моя, Бася, служащая няней в одном богатом доме, весь день плачут.

По случаю траура они сидят на полу без

обуви, а меня дядя водит в синагогу и заставляет повторять одну и ту же заупокойную молитву под названием «кадыш».

Мне очень обидно: никак не могу понять, почему умерла моя мама, а не чужая.

К нам ходят соседи утешать нас. Старуха Малке, вдова учителя, набожная женщина, с втянутыми в беззубый рот губами, говорит в утешение:

— Фейге (имя покойной мамы) хорошо сделала... Что ждало ее в будущем? Ей все равно пришлось бы волочить по земле свои страдания... А теперь слезами и муками она проложила себе дорогу в рай, и, может быть, душа ее уже радостно катится в Ерусалим...

Наш сосед Арон Пинес сидит на стуле и говорит взволнованным голосом:

— Оставьте в покое Ерусалим: он бедняку нужен, как богачу милосердие. Вы полагаете, что если еврей умер, мы должны за это славить господу, потому что одним нищим стало меньше на земле. Вот так думают и наши раввины. С одним из них я недавно имел беседу: я стал ему жаловаться на свою судьбу, а раввин мне на это: «Не горюй, мой сын, и не роп-

щи на бога: за все твои страдания тебе воздастся сторицей на том свете. И как сейчас ты завидуешь богачам, так они будут завидовать тебе, когда будешь в раю...» Тогда я ему в ответ: «Равви, если так, то, будьте добры, переговорите с Мойше Скомаровским — он первый у нас богач, — и я охотно с ним поменяюсь: пусть он завтра займет мое место в раю, а я безропотно отправлюсь в ад, когда мне придет конец...»

Тетя Сара улыбается и благодарными глазами смотрит на Пинеса. А дядя Шмуни готовится к предвечерней молитве, хмурится, кашляет и, видимо, очень недоволен речью соседа.

— Разве Фейгеле умерла? — продолжает Пинес, поощренный улыбкой тети. Ее убили. Взяли молодую, красивую, здоровую женщину и вогнали в гроб. Первый всадил ей нож в сердце черный негодяй — отец вот этих сирот...

Тетя всхлипывает и вытирает слезы передников. Я настаораживаюсь: речь идет о моем отце. Мне отчетливо представляется, как отец вытаскивает из-за голенища большой нож и

всаживает острое лезвие в сердце мамы.

И я мгновенно перестаю любить отца.

— На слабые плечи женщины, — продолжает Пинес, — черной тучей упала жизнь. Обиды, измены, непосильная борьба и одиночество замучили нашу страдалицу, и она погибла... Но, скажите мне, разве может под такой пресс попасть дочь ростовщика или фабриканта!.. Никогда!.. За нее сейчас же заступятся: бог, царь и раввин... А Фейгеле была бедна. Наш милосердный бог большой аристократ и вековечное еврейское горе ему надоело, Он не любит, когда в его небесные окна стучится бесправная голь...

— Послушайте, Пинес, я прошу вас в моем доме не богохульствовать! неожиданно перебивает соседа дядя Шмуни.

Он дрожит от волнения, и тощее лицо заливается румянцем.

У тети загораются глаза, и она кричит:

— Можешь не слушать, если не нравится... Бог найдет адвоката получше тебя. Уж кто бы говорил...

Тетя вскипает и, забыв о посторонних, обнажает язвы многострадальной жизни... Она

рассказывает о том, как отец мой — рабочий на табачной фабрике в Петербурге — сошелся с русской рябой девкой-папиросницей, а жену с двумя малютками бросил на растерзание свирепой нищете...

И еще рассказывает тетя о том, как моя мама, прибыв сюда, в Житомир, поступила кухаркой и отдала все силы свои, чтобы скопить деньги, необходимые нам, ее детям, на дорогу. Но отец, получив скопленные трудом и слезами гроши, не поехал с нами сам, а отправил нас одних в далекий и опасный путь...

Тетя все это рассказывает со слезами в голосе. Сестра моя плачет. Глядя на них, я кулачонками тру глаза, и наше горе представляется мне черной тучей, падающей на наши плечи.

Но время уносит траурные дни, воспоминания о маме блекнут, и я снова на улице среди жизнерадостной голытьбы, согретой солнцем.

Всюду пахнет медом и малиной. Все поспело, все созрело.

Хорошо и вкусно жить на свете!

### **3. Обида**

Да, хорошо и вкусно жить на свете, когда пахнет медом и малиной, и когда созревшие сады источают сладкий сок тяжеловесных плодов, но зато очень плохо, когда ветры срывают листья с деревьев, студят воду в реке и заставляют само солнце зябко кутаться в тучах.

Бегать в одной рубахе становится холодно, в пустых садах делать нечего, а смотреть на красивую, но горькую рябину не ахти как весело. И вот в такие-то осенние дни евреи готовятся к праздникам. Этих праздников много, и тащатся они гуськом один за другим. Из них самый интересный — «кущи», когда надо из всякого барахла строить отдельный домик.

Для нас с дядей такая постройка — сущие пустяки.

Мы живем под обрывом, и одна земляная стена с низеньким заборчиком наверху уже готова. К ней надо прилепить еще три стены.

Из разных палок, досок и свеженарезанных еловых веток делаем плоскую крышу, прилаживаем легкую дверку — и куща готова.

Материалом для постройки служит все,

что попадаетея под руки: гладильная доска, палка от ухвата, толстый картон, кусок проволоки, клепки от рассыпанной бочки, ржавый лист железа — все годится, все идет в дело. Самое горячее участие в работе принимает дядя Шмуни, а я его главный помощник. Куца воздвигается в компании с Ароном Пинесом. Сосед мало работает, но много шутит.

— Мне кажется, что бог смотрит на нас и смеется так, как будто ему ангелы пятки щечкочут, — говорит Пинес, посыпая пол желтым песком.

Дядя стоит на табуретке и связывает углы постройки толстой бельевой веревкой.

— Бог умнее вас, — возражает дядя, — и смеяться над собственными велениями не станет.

— Ну, а если вы шутки ради посоветуете мне снять штаны и сесть в крапиву, а я из вежливости исполню ваше желание, — разве вы не посмеетесь?..

— Послушайте...

Приступ длительного кашля мешает дяде ответить.

Куца готова. Завтра будем там обедать...

По расшатанным деревянным ступеням поднимаюсь к нашим воротам, выхожу на Верхнюю улицу, перегибаюсь через низкий заборчик и вижу зеленую крышу нашей кущи.

Осенний безоблачный день. На солнце тепло, небо синее, а река серая, студеновая. Тетя накормила нас, детей, и теперь накрывает стол для взрослых. Обедает у нас и Пинес: он внес свою долю. На столе куриный бульон.

Редкость неслыханная.

Я поднимаюсь на Верхнюю улицу и вижу Шарика — рыжую собачку нашей домовладелицы. Любопытным мальчишкой стоит пес на задних лапах, а передние положил на заборчик, внимательно смотрит на зеленую крышу кущи и поводит влажным коричневым носом. Ему, должно быть, приятен запах курицы. Там, в куще, сейчас обедают взрослые.

Подхожу к собачке. Глажу ее по голове, а она все нюхает.

И мне хочется, чтобы собачка прошлась по крыше. Я наклоняюсь, беру Шарика за задние лапы и перебрасываю через заборчик. Собака

проваливается и падает прямо на миску с куриным бульоном.

Слышу отчаянный крик тети Сары. Чувствую, что совершил тяжкое преступление, и все вокруг меня вертится в бешеной пляске: и река, и наш дом, и Верхняя улица, и поймавшие меня прохожие.

Меня волокут домой. Дядя наклоняется, и я ощущаю прикосновение бороды и горячее дыхание больного человека.

— Ты что же это? А?! Так вот тебе!

Дядя изо всей силы ударяет меня кулаком в спину.

Что-то звенит в голове, и я ничком падаю на пол с хлынувшей изо рта кровью.

— Сумасшедший! — кричит тетя. — Разве можно так бить сироту, чахоточник проклятый!..

Обида и злость горячими потоками вливается в мое сердце.

Вскакиваю на ноги и со зла размазываю кровь по всему лицу.

— Больше жить у вас не буду! — кричу и убегаю.

Весь день до самого вечера прячусь на дне

Черной балки, куда сваливают мусор со всего города. От навоза поднимаются испарения и греют меня.

Мое будущее — наступающий вечер, а потом темная, жуткая ночь, и я боюсь этого будущего, страшусь одиночества.

Мир так велик, а мне, маленькому, нет места... Я же не знал, что Шарик провалится!.. Мне хотелось, чтобы песик прошелся по крыше и чтобы ему удобнее было нюхать... А дядя так ударил, что и сейчас еще шумит в голове. Никогда не буду любить взрослых. Пусть лучше одни дети останутся, а взрослые пусть перемрут до единого, и тогда всем хорошо будет.

Солнца уже нет, и от холода стучу зубами. Скоро на ступит ночь, и я умру... Пусть тогда знает дядя, как бить сироту.

— Шимеле, ты здесь?

Это голос Мотеле. Тяжелый груз одиночества спадает с меня, и сердце радостно бьется...

— Целый день ищу тебя... Вот кусочек булки и зеленый лук... Где же ты был?.. Твоя тетя плачет и ругает дядю... Тебе в синагогу нужно. Некому кадыш говорить...

Торопливый говорок товарища мелким горошком всыпается в мои уши, и я чувствую себя бодрей.

— Ага, теперь ищут... А чужих детей бить можно?.. Ведь дядя меня чуть не убил... Хорошо, что я такой сильный и выдержал...

— И я бы выдержал, — перебивает Мотеле. Чтобы не обидеть приятеля, я утвердительно киваю головой и продолжаю:

— Никогда больше не пойду домой...

— Где же ты будешь?

— Вот здесь.

— Как здесь?! А ночь!.. Скоро темно станет... И холодно станет... Нет, ты вот что: когда почернеет кругом, ты встань и беги к нам. У нас в сенях тепло и большая рогожа лежит. Отец уснет, а я тихонько дверь открою, ты и войдешь... Хорошо?..

— Ладно.

Мотеле убегает.

#### **4. Первые заработки**

**Ж**иву на свободе: куда хочу, туда и иду.

Тетя больше надо мною не командует. Только вот беда: всегда кушать хочется. Неужели нельзя сделать так, чтобы человек

поел один раз на целую неделю...

Сейчас от нечего делать брожу по Житомиру. Город большой, улиц много. А вот и базар. Пирогов горячих сколько — страсть!..

Мальчишка моего роста продает лавочнику-железнику горсть старых крюков от ставней. За десять штук получает четыре гроша.

Деньги солидные.

Таких крючков у нас, на Приречной да на Верхней, сколько хочешь. Снять их легче легкого.

Голод толкает мои мысли вперед. Одному сделать этого нельзя: необходим товарищ. Бегу на свалку, но там никого нет, потому что холодно.

Мне очень хочется съесть кусочек хлебной горбушки, натертой чесноком. Если я сегодня не поем, то умру непременно...

А вот и Мотеле! Он бежит навстречу, но с пустыми руками.

— Когда же ты ушел? — кричит он мне издали.

— Чуть свет: я боялся, что твой отец меня увидит... Послушай, Мотеле, ты знаешь, какие бывают крючки на ставнях? — спраши-

ваю я шопотом.

— Крючки? — переспрашивает чуть слышно Мотеле.

— Ну да, чем прикрепляются ставни к стене, чтобы ветер ими не хлопал.

— А, знаю, знаю...

— Ну, так слушай: если мы вырвем этих крючков штук десять, нам за них дадут четыре гроша, а если больше снимем, то цельную золоту дадут.

Мотеле меняется в лице.

— А разве это можно? — спрашивает он, чуть дыша.

— Почему же нельзя? Ведь никто знать не будет. Пойдем сейчас за угол: там низкие ставни. Я покажу тебе, как их надо снимать.

Нетерпение мое растет; я уже вижу торговца железом, отсыпающего нам монеты, ощущаю вкус горячих пирогов, а страх вдувает в сердце холод, и меня лихорадит.

С первым крючком возжусь долго: боязнь попасться мешает мне, но потом привыкаю, и крючки уже сами лезут в руки.

К вечеру на всей Приречной нет ни одного крючка, и ветер хлопает ставнями, как слон

ушами. Хозяйки в отчаянии. Стараются заменить крючки веревочками, но ничего не выходит. А мы с Мотеле сидим на дне Черной балки, уписываем пироги с ливером и вслух мечтаем о том, как мы обескрючим весь город и станем богатыми.

Но мечты наши не осуществляются: домовладельцы зорко стали следить за ставнями, и нам страшно даже близко подойти. А тут еще с каждым днем становится холодней, и босые ноги трескаются от стужи. Есть совсем нечего. Отец Мотеле ничего не зарабатывает: свадеб нет.

Никто не хочет жениться.

Голод и холод напоминают мне, что я умею делать арабские мячи. Дело самое простое: весной, когда коровы роняют шерсть, я подхожу к любой из них и руками вырываю, сколько мне нужно, а затем эту шерсть мочу в реке и делаю из нее шарик. Потом нахожу старые калоши, срываю с них резину и разрываю ее на узенькие полоски. На комок шерсти я туго наматываю резиновую лапшу, закрепляю конец — и мяч готов. Он тверд, тяжеловесен и хорошо подскакивает.

— Знаешь что? — говорю я Мотеле. — Давай арабские мячи делать и гимназистам продавать.

— Они нас не подпустят, — уверенно говорит Мотеле.

— Почему?

— Им родители запрещают знакомиться с сиротами.

— Ничего... А мы издали покажем им, как подпрыгивают наши мячи, и... И еще: у меня имеется один знакомый гимназист, Иосифом зовут, богатый, — моя мама служила у них кухаркой... Но вот беда: у коров теперь шерсть крепкая не вырвешь...

— А у нас есть шерсть, — говорит заинтересованный Мотеле и кулаком вытирает мокрый нос.

— Где у вас шерсть?

— На чердаке лежит. Осталась от покойной козы.

Мы с воодушевлением принимаемся за дело.

Блестит недолгое осеннее солнце, и как будто становится теплей. На свалке много ребят. Все ищут старых калош и все лезут к нам

в компанию. Один мяч очень удался, а второй никуда.

В полдень идем с Мотеле в город искать покупателей. За нами тянется ватага оборвышей. На Малой Бердичевской улице, неподалеку от гимназии, выбираем солнечное местечко и ждем появления гимназистов.

— Шимеле, ты с ними будешь говорить по-русски? — спрашивает Мотеле, знающий только два русских слова: «караул» и «беги».

— Конечно, по-русски, — отвечаю я, — дорожке дадут.

Последнее я прибавляю в виде оправдания, потому что некоторые матери запрещают своим детям играть со мною из-за того, что я плохо говорю по-еврейски, а хорошо по-русски.

— На этом мальчике, — говорят про меня взрослые, — нет ни одной еврейской точки.

Наконец показались маленькие гимназисты-приготовишки.

Среди них узнаю Иоселе Розенцвейга. Он должен меня знать, потому что я два раза приходил на кухню к моей маме, когда она у них служила.

Перебегаю улицу и в сильном смущении обращаюсь к маленькому человечку, осыпанному медными пуговицами.

За спиной у него ранец.

— Господин Иосиф, — вежливо обращаюсь к нему, — не хотите ли купить арабский мячик? Смотрите, как он скачет...

Я изо всей силы перед самым носом Иоселе бросаю мяч о камень, и он у меня подпрыгивает выше одноэтажного дома.

Вмиг нас окружает толпа пригостишек. Мяч непрерывно взлетает на воздух. Мое издѣлие имеет успех.

— Вот так мяч!.. Крепче камня!..

— Таким мячом собаку убить можно.

— Сколько хочешь? — спрашивает Розенцвейг.

— Десять грошей, — выпаливаю я.

— Ого, как дорого! — раздаются голоса.

— Хорошо, пойдем к нам... я маме скажу...

А ты подождешь у калитки.

Я делаю знак Мотеле, чтоб следовал за нами.

Всю дорогу Иоселе играет мячиком, а затем он выходит на середину мягкой немоще-

ной улицы, останавливается, движением плеча поправляет ранец, приседает для размаха и бросает мячик вверх. Мяч взлетает, но не очень высоко.

— Не так надо, — говорю я, — тебе ранец мешает, и сила у тебя деликатная. Дай-ка сюда... Сейчас покажу.

Крепко сжимаю левой рукой мячик, наклоняюсь лицом к земле, руку опускаю к ногам и гибким движением всего тела откидываюсь назад и бросаю мяч в небо. Черный шарик отвесно несется ввысь, а мы трое запрокидываем головы и с открытыми ртами следим за черной точкой. Мяч звонко падает на землю и подскакивает сажени на две.

Тогда я ловлю его одной рукой. Иоселе, белокрылый и безгрудый, смотрит на меня с явным почтением.

— Видал, как у нас бросают?..

Чувствую свое превосходство и с вежливо-го тона перехожу на покровительственный.

Красивый белый дом с колоннами и высокие зеркальные окна.

Здесь живут Розенцвейги. Моя покойная мать уверяла, что Розенцвейги ее дальние

родственники, но почему-то никто верить не хотел.

Мы долго стоим у калитки. Терпение лопа-ется.

— А он не может зажить мяч? — плакси-вым голосом спрашивает Мотеле.

У меня тоже такие мысли, но я еще креп-люсь.

— Пусть только посмеет! Все окна пере-бью...

Наконец калитка открывается, и мы ви-дим кепку покупателя.

— Иди к нам, — приглашает меня Иоселе.

Наскоро уговариваю Мотеле подождать, а сам перелезаю через высокий порог калитки.

В просторном светлом сарае, куда привел меня Иоселе, вижу еще одного гимназиста — Якова, родного брата Иоселе. Он первоклас-сник и очень гордый человек.

— Сделай и мне такой мяч. Можно даже побольше, — серьезно говорит он, обращаясь ко мне. — А пока получи мои пять копеек: это я за него плачу. Завтра принесешь мой мяч, — еще получишь.

Мы с Мотеле счастливы. Едим вкусные го-

роховые лепешки, греемся в косых сентябрьских лучах и мечтаем вслух о нашем прекрасном будущем, когда наделаем тысячи тысяч мячей.

Дни стоят такие теплые, такие светлые, что мы, маленькие солнцееды, живущие на дне Черной балки, убеждены, что лето вернулось, и скоро потеплеет река, и мы снова начнем купаться.

Мы с Мотеле ищем старых калош. Желание заработать заставляет нас поднимать глубокие пласты мусора.

Мы до того измазаны, до того грязны, что даже наши товарищи по свалке смеются над нами.

— Если бы вы, — говорит один из них, — не были бы евреями, вас можно было бы принять за свиней...

Нам не везет: трудимся напрасно. Калоши, видимо, вывелись. Я в отчаянии. Досада глохнет меня. Я так уверял товарища, что мы весь Житомир засыпем арабскими мячами, что мы будем сыты доотказа, что нас взрослые станут уважать, а в результате — ни одной старой калоши...

И вдруг новое предприятие. Наверху Черной балки, на самом краю обрыва, неожиданно появляются два гимназистика, и в одном из них я узнаю Йоселе Розенцвейга.

— Як тебе! — кричит сверху Розенцвейг.

В голосе слышатся слезы, и я лечу к нему.

— На нас напали первоклассники... Избили и кепки ногами измяли...

Йоселе плачет. Кепки у обоих изрядно пострадали.

Мною овладевает желание подраться.

— А где они?

— На Чудновской улице... Спрятались и ждут нас...

— Сколько их?

— Шестеро...

Пробегаю глазами по моей армии. Кроме меня и Мотеле, имеется еще Срулик — сын сапожника, хорошо на кулачках дерется.

А вот еще Лейбеле — сын печника, крепкий бутуз, грудастый и здоров бороться.

— Кто на выручку? — спрашиваю я.

Все согласны. План придуман быстрый и простой: Йоселе с товарищем идут по Чудновской улице, а мы, как будто посторонние, ша-

гаем по другой стороне и даже не глядим на них.

Драка завязывается немедленно, как только вступаем на Чудновскую улицу. Из ворот первого дома выбегает небольшая кучка гимназистов, вооруженных линейками.

За спиной у каждого из них болтается рапец.

Розенцвейг и его приятель порядком трусят и бегут на нашу сторону.

Я запускаю два пальца в рот и режу улицу острым длительным свистом.

— Бей их!.. Чего смотреть!..

Наш воинственный крик, разбойничий свист, грязные рожи, босые ноги создают панику, и гимназисты бросаются в бегство.

Но от нас не легко удрать. На одном из них я уже сижу верхом и его же линейкой сыплю по чем попало. Мотеле и Срулик прижали другого к стене и усердно награждают кулаками.

Отчаянные вопли попавших в наши руки первоклассников заставляют нас отпустить их. Немного спустя на взбудораженной улице становится тихо.

Йоселе и его товарищ сердечно благодарят нас.

— Вы не бойтесь: мы их каждый день бить станем, ежели что... Вы нам только на харчи давайте, чтобы мы сильными были.

Звали избитого мною гимназиста Хаим Флексер — впоследствии известный критик-публицист, идеалист-мистик Аким Во-лынский, автор книг «Русские критики» и «Борьба за идеализм».

— А сколько это стоит? — интересуется товарищ Розенцвейга.

Мы с Мотеле переглядываемся, и я нерешительно назначаю цену:

— Если за каждую побитую морду вы дадите нам четыре гроша... ведь это не будет дорого?..

— Конечно, нет! — соглашается Розенцвейг. — У тебя есть?.. — обращается он к товарищу.

— У меня три гроша... Сейчас достану...

Товарищ Йоселе вытаскивает из кармана брюк монету в полторы копейки и отдает мне.

— Ну, вот... а завтра еще дадим... — броса-

ют нам на прощание наши заказчики.

Мы с Мотеле очень довольны сделкой, а во мне снова загорается мечта... Мы будем избивать гимназистов... И если даже по два гроша дадут за каждую рожу, и то ведь хлеб...

## 5. Месть

Я снова прячусь па дне Черной балки: сегоднешняя битва закончилась поражением. Первокласники привели с собою взрослых гимназистов, с усами, и мы бежали...

За все мои восемь лет сегодня самый суровый для меня день.

Нет хлеба, нет солнца, кругом серая муть, и, вдобавок, ветер хлещет по лицу колючим холодом.

Мотеле плачет: отец его ушел утром в город и не оставил ни одной съедобной крошки.

— Слушай, Мотеле, — говорю я, — не плачь. Я сейчас пойду туда, где живут Розенцвейги, и буду стоять у калитки, пока Йоселе не выбежит. Он добрый...

Мотеле верит мне, и я ухожу.

Долго стою у знакомой калитки. От холода сжимаюсь в комочек и мечтаю о том, как Йо-

селе даст мне большой-большой кусок хлеба, и я поделюсь с голодным другом.

И наконец тот, кого я так мучительно жду, показывается.

Йоселе без ранца, но зато длинная до пят шинель застегнута на все пуговицы. Он поднимает полы шинели и важно переступает через калитку. Меня не видит. Чтобы войти в его глаза, я галопом несусь вперед, потом поворачиваю назад и медленно иду навстречу.

Маленький Розенцвейг узнает меня и смущенно опускает голову.

— Ты куда идешь? — спрашиваю, не зная с чего начать.

— К Гурляндам иду. Там мой товарищ, Ильюша, именинник... Отец подарил ему железную дорогу...

— Завтра, — перебиваю я, — наберу много ребят, самых сильных, и твоих первоклассников...

— Не надо, не надо... — торопливо останавливает меня Йоселе... — За вчерашнюю драку, знаешь, что было? Меня занесли в штрафной журнал... Моя мама и старший брат Гриша строго-настрого запретили мне с тобой

знакомство вести, и еще...

Но дальше я уже не слышу: отхожу прочь с горячим стыдом в глазах и еще раз вижу, как черная туча падает на мои плечи.

На Розенцвейга не сержусь: он не виноват, когда старшие запрещают... И я не виноват, раз они сами просили заступиться...

На Малой Бердичевской очень много красивых домов.

Прохожу мимо одного из них, вижу раскрытое окно и останавливаюсь. Из окна вырывается детский шум — смех и громкие выкрики.

— Дай мне завести... Ну, дай же один раз...

Узнаю голос Иоселе и догадываюсь, что стою перед домом Гурляндов. Недавняя обида гаснет, и мне хочется посмотреть, что делается там, внутри. Высота меня не смущает: вскакиваю на выступ фундамента, руками хватаюсь за железный скат подоконника, и голова моя уже чернеет в просвете окна.

Заглядываю в комнату и прихожу в такое изумление, что забываю про голод и холод. На полу, по большому кругу, сложенному из рельс, бежит поезд. Маленький паровозик

свистит, дышит паром, мчится по кругу и тащит за собой цепь вагончиков, наполненных оловянными солдатиками. Такой замечательной вещи я еще никогда не видал и, чтобы лучше рассмотреть диковинку, ложусь на подоконник и тихонько, незаметно для самого себя, всем телом подвигаюсь вперед — и вот уже я наполовину в комнате. Детей много, и все одеты нарядно, по-праздничному. На мальчиках мундиры новые, и чистым золотом блестят пуговицы, а на ногах сверкает черный лак скрипучих башмаков. Живыми цветами порхают девочки с голубыми, красными и желтыми бантиками в пышных волосах.

Мне все здесь нравится, все приводит меня в восхищение.

Постепенно начинаю принимать участие в игре: смеюсь, когда один из вагончиков сходит с рельс и солдатика рассыпаются по полу, и прихожу в радостное волнение, когда паровоз, свистнув, дает задний ход.

Хозяин Ильюша, щегольски одетый, суетится больше всех и непрерывно сыплет словами:

— Сейчас пойду к Розенкранцу: у него кондуктор имеется. Интересная фигурка!.. И еще начальник станции.

Но тут Ильюша замечает меня, смотрит холодным, стеклянным взглядом и молча выходит из комнаты. Через минуту он возвращается и почему-то прячет руки назад. Я из предосторожности ползу обратно.

— Тебе нравится? — спрашивает он, приближаясь к подоконнику.

Хочу сказать, что мне очень нравится, но не успеваю.

Ильюша обдаёт меня холодной водой из белого кувшина.

От неожиданности вскрикиваю и падаю на панель. Я весь мокрый.

Ледяные капли, стекая с рубахи, попадают в трещины босых заскорузлых ног и причиняют сильную боль.

В первый момент я не сержусь и не плачу. Мне только стыдно...

До моего слуха доносится голос Иоселе, упрекающего Ильюшу за жестокий поступок, и этого для меня достаточно, чтобы притти в бешенство.

«Что я худого сделал? Мне только хотелось посмотреть на интересную штуку...» Влажными глазами ищу камня, но нигде — ни булыжника, ни кирпичины...

С кудрей моих падают капли и холодными шариками катятся по спине. Трясусь от стужи и глотаю слезы. Иду за угол.

Сквозь разорванные тучи пробирается солнце, и я спешу воспользоваться минутным теплом, чтоб хоть немного обсохнуть.

Меня лихорадит. Горькая обида жжет сердце. И вдруг мой обидчик бежит через дорогу. Это он, должно быть, к Розенкранцам направляется за кондуктором.

Жажда мести горячит голову и толкает вперед. Одно мгновение — и я стою перед Ильюшей.

— Ты за что меня облил?..

Гурлянд хочет отступить, но поздно: быстрым движением наклоняюсь, хватаю его за ноги, и он доской шлепается навзничь. Мы барахтаемся в пыли. Зубами и руками рву на Ильюше все, что поддается моим силам. Блестящий мундир превращается в лохмотья. С корнем срываю пуговицы, рву черный гал-

стук, крахмальный воротничок и терзаю рубаху.

Собирается толпа. Взрослые возмущены и заступаются за «паныча».

Кто-то поднимает меня за уши. Кричу на всю улицу:

— А он имеет право поливать холодной водой?..

Но мне никто не сочувствует.

## **6. Голод**

**Х**оть и горят у меня уши, но я не тужу. Пусть он знает, как людей обливать из кувшина! Вернется домой, а мать не узнает его: рожа в пыли, а мундир в клочьях... так ему и надо!..

Чувствую себя победителем, свободно гуляю по улице и телом сушу все еще мокрую рубаху. Но петушиное настроение длится недолго. Сильный приступ голода причиняет мне боль под ложечкой.

Беспрерывно глотаю слюну, и язык становится шершавым. Миражи голода окружают меня: ощущаю запах тушеной говядины, свежее испеченного хлеба, и ноги мои сгибаются и дрожат от желания съесть хоть крохотный

ломтик чего-нибудь.

Уж сколько раз посещаю базар! Остро впи-  
ваюсь глазами в горячие пироги. Верчусь око-  
ло ватных засаленных юбок торговок.

Моментами мне мучительно хочется ста-  
щить пирожок, но смелости нехватает.

— Ты что тут порхаешь?.. Я — не цветок, а  
ты — не пчела. Пошел отсюда!.. — кричит на  
меня полнорожая торговка.

— Вчера, — говорит другая, — вот такой  
маленький мамзер [Мамзер незаконнорож-  
денный.] сфитил у меня пирожок и улетел,  
как воробей.

Стыд сугулит меня и гонит прочь. Итти  
некуда. Мотеле сам пухнет в ожидании обе-  
щанного мною каравая.

И снова я на Малой Бердичевской, где так  
много хлеба, мяса и сахару... Что меня тянет  
сюда, — сам не знаю. А вот большой, в два  
этажа, белый дом с обширным двором и са-  
дом. Я знаю этот дом: однажды мама проходи-  
ла со мною мимо и сказала: «Шимеле, в этом  
доме еврейский казенный учительский ин-  
ститут. Когда ты вырастешь и тебе будет во-  
семь лет, я определю тебя сюда, и будешь

учиться долго-долго, и выйдешь отсюда таким образованным человеком, что сам учителем станешь».

Через раскрытые настежь ворота я вижу большой квадрат двора, застроенного каменными корпусами. Нигде ни души. Осторожно вхожу во двор. Сторожа не видать. Из одноэтажного длинного здания выходит человек с деревянной бадейкой в руках. Из бадейки поднимается легкий пар. Он ставит ее на землю и свистит. Откуда-то из глубины двора прибегает беленькая лохматая собачка — курногая, с длинными волнистыми ушами и тремя черными точками: носик и два круглых глаза.

Человек, вынесший бадейку, широкоплеч, грудаст, лицо в мелких рябинах, намасленные волосы острижены под скобку, а в одном ухе — серебряная серьга...

Собачка подбегает к бадейке, а человек уходит. Голод шепчет мне: «Подойди, там съедобное...» Но только я делаю шаг, собака оглядывается, скалит зубы, рычит, захлебывается и, убедившись, что достаточно напугала меня, снова опускает уши в бадейку. Лакнув ра-

за два красным языком, она, к моему изумлению, вытаскивает кость с мясом и принимается грызть.

Незаметно делаю еще один шаг, осторожно заглядываю в бадейку: вижу коричневый картофель, различный соус, рисовую кашу, объедки черного и белого хлеба, и по бокам куски жира...

Меня всего трясет, голова кружится, шумит в ушах, из горла вырывается сухая колючая икота, и мне становится жарко.

Собака косится и рычит. Тогда я наклоняюсь, делаю вид, что схватил камень, и замахваюсь. Собачка с визгом отбегает прочь.

Тут уже и я не зеваю: быстро подхожу к посудине, вылавливаю большую картофелину, запихиваю в рот, снова запускаю руку, тащу полную горсть скользкой каши... Но в этот момент выходит человек с серьгой, и я отскакиваю.

— Мальчик, подойди сюда! — говорит он ласковым голосом.

Я ни с места: боюсь.

— Не трону я тебя, — продолжает он. — Ты кушать хочешь? Да?.. Ну, иди сюда, глупень-

кий!.. Не трону же я!.. Ты по-русски не понимаешь?..

— Нет, понимаю! — осмелев немного, кричу в ответ.

В это время из стеклянного коридора показывается горбунья с длинным, тонким лицом. Из-под красного повойника выбиваются кольца темных волос. Черными глазами дотрагивается она до меня, и я невольно начинаю отступать.

— Экий ты глупыш! — укоризненно говорит мужчина. — Не стану же я тебя обижать за то, что жрать хочешь...

Начинаю верить ему, но меня пугает горбунья.

— Не бойся, говорю тебе... Ну, иди же... Я накормлю тебя...

Последние слова окончательно убеждают меня, и я подхожу к нему.

Спустя немного я сижу на кухне в институтской столовой и уписываю жаркое с белым ситным.

Имя мужчины — Филипп. Он из Тульской губернии.

Застрял в Житомире после солдатчины.

Служит при столовой буфетчиком. Горбунью зовут Оксаной. Служит стряпухой. Все это я узнаю впоследствии, а сейчас давлюсь неразжеванной картофелиной, и от жадности начинают болеть челюсти.

Филипп и Оксана стоят подле с улыбающимися лицами и учат меня есть.

— Ты не торопись, а то рот устанет, — ласково говорит Филипп.

А я не в силах удержаться и глотаю большими кусками хлеб и мясо. Жевать я уже не могу: челюсти немеют и отказываются служить, а голод еще не утолен, и глаза мои измеряют горбушку ситного и горку недоеденного картофеля.

Мне хочется съесть все до последней крошки, но я не в состоянии: болит рот, саднит в горле, и что-то застревает в груди.

От напряжения у меня выступают слезы...

— Ах, мой бедный хлопчик, до чего ты изголодался!.. — причитывает надо мною Оксана.

Филипп ножом разрезает хлеб на маленькие кусочки.

— Вот так лучше будет... Не торопись, — го-

ворит он и прибавляет, обращаясь к Оксане: — У нас такая история была: вышел наш пастух из лесу, где заблудившись был... пять ден не жравши... Подали ему хлеба да щей, а он давай кусать большими порциями и — вот история! — поперхнулся чевой-то и... помер.

В кухню входит толстая-претолстая женщина. Экономка Хася Мэн, как я узнаю потом. У нее несколько подбородков, спина и плечи жирно-мясисты, живот бочкой, а сама веселая и даже смеется.

— Где вы этого жука нашли? — спрашивает, а сама шарит по столу: не дали ли мне чего лишнего?

И начинается допрос. Я отвечаю на чистом русском языке, и мой звонкий голос среди тишины рассыпается по всей обширной кухне.

Когда я говорю, мои слушатели обмениваются многозначительными взглядами, и я понимаю, что они удивляются мне, маленькому мальчику, так хорошо рассказывающему о себе.

— Он говорит по-русски, как священник, чтоб я так жива была! восклицает Мэн, и от веселого смеха у нее трясется живот и прыга-

ют все подбородки.

Меня рассматривают, как редкого зверька. Оксана приходит в восторг от моего «кацапского» выговора, от моих иссиня-черных кудрей и от моего маленького роста.

Я сыт и обогрет. Обиды дня, выпадая из памяти, плывут в далеком тумане, и мне становится весело. А когда уходит Мэн, я окончательно осваиваюсь и заявляю:

— Мне здесь нравится... Хочу всегда тут быть...

Филипп и Оксана смеются.

— Видишь ли, паренек, у нас такая история, — говорит Филипп, — дом казенный, а Мэны — наши хозяйева — гораздо строги насчет чужих. Вот какая история!

— Нехай! — восклицает горбунья. — Я хлопчика к себе возьму. Хочешь со мною на печи спать? — обращается она ко мне и втягивает меня в свои большие черные глаза. Мне немного страшно, но я из вежливости утвердительно киваю головой.

Оксана прячет меня на печи из боязни, что могу попасться на глаза самому эконому — мужу толстой женщины, человеку строгому,

жадному и неумолимому.

А мне что!.. На печи тепло, уютно и сытно. Когда поднимаюсь на ноги, достаю рукою потолок. Интересно! Оксана часто угощает меня то коржиком, то хлебом, обмазанным гусиным жиром, а то и котлетку подсунет. Игрушкой служит мне сундучок Оксаны. В нем все достояние горбуњи: наперстки, пуговицы, ленты, кофточки, иголки и всякая иная мелочь. От нечего делать занимаюсь шитьем: кленточкам пришиваю пуговицы, а из кофточки делаю мешочек.

Оксана все позволяет, а если я уж очень расшалюсь, уговаривает меня ласково-певучим голосом.

Вечер. На стене перед длинным столом горит лампа.

Лежу на теплой печи. Мне очень хорошо. Так еще никогда не было. Подо мною — мягкое ватное тряпье, а голова лежит на всамделишной подушке. События дня блесками носятся предо мною. Я кому-то улыбаюсь и засыпаю.

## 7. Опасная игра

**В**от зажился я где! Прошла зима, отгрелась весна, и снова сияет горячее лето, а я все еще здесь, и убежищем служит мне институт со всеми его дворами, корпусами, классами и садом директора.

Меня все здесь знают, и я всех знаю. Ко мне так привыкли, что уже не замечают и не интересуются. Бегает, мол, какой-то мальчик по институту — и пусть себе бегает.

Из взрослых самыми близкими мне лицами считаю: Оксану, Филиппа и сторожа Станислава. Последнему лет шестьдесят. Он — отставной николаевский солдат и поляк по рождению. Усы у него длинные, серые и висят вилами ниже подбородка. Станислав — старик бодрый, крепкий и работать еще умеет. Разговаривает он только со мною.

В непогожие дни забираюсь к нему в будку, и здесь на узенькой скамейке старик, попыхивая трубкой, рассказывает мне очень много интересного.

Станислав, как и Пинес, хороший сказочник, но в рассказах старика редко встречаются черти да короли: он все больше рассказывает о бедняках, о богачах и еще о том, как

мучают солдат.

Говорит Станислав на трех языках сразу: на польском, украинском и русском. Вначале я плохо понимал его, а теперь, обжившись с ним, я хорошо усвоил жаргон старого солдата, и мы часто и подолгу ведем с ним дружеские беседы.

— Паны, — говорит Станислав, — дюже жадные, як волки: по три, по четыре маентка мають. а у бидных остатый навалок отымають. У нас, на Польше, — шо ни шляхтич, то начальник... Вот это начальники и обмоскавили королевство польское... А народ хлиб жуеет с мякиной...

— А сколько их?

— Кого?

— Да вот этих начальников?..

— А хиба ж я их считал? Тильки их дюже много не бывае, бо им простору треба...

— А бедных много?

— Як звизд на неби, — уверенно отвечает Станислав.

— Так почему же бедняки не убьют этих?

Старик выдергивает изо рта трубку, плюеет сквозь зубы, хитро прищуривает глаз и в

свою очередь спрашивает:

— А почему один чабан агромадную череду гоняить? А потому, хлопчик, шо скотына разума ны мае. Понял?

Я утвердительно киваю головой, хотя вопрос для меня не совсем ясен.

Сегодня Станислав молчит: сегодня такая жара, что даже думать трудно, не то что говорить.

Не знаю, куда себя деть: всюду горячий свет. Над головой пожаром дышит солнце и срывает тени с домов.

В саду директора неподвижный зной сушит листву и цветы; и ни одна птичка не пискнет, ни одно дерево не вздохнет.

На мне — холщевые штанишки и красная косоворотка, сшитая Оксаной из старой юбки. Но и это одеяние кажется мне лишним.

Истомленный жарой, брожу в одиночестве, шатаюсь по дворам института, ищу прохлады.

На первом от улицы дворе в дальнем углу между флигелем учителей и домом директора прячется колодец, накрытый четырехскатной крышей. Посреди сруба висит на толстой

цепи большое, окованное железными обручами, тяжелое и широкое ведро, вроде бадьи. Цепь намотана на толстом бревне, продетом через центр огромного деревянного колеса с натканными палочками для рук.

Чтобы бадья не упала в колодец, под колесом вставлена подпорка.

Подхожу к колодцу. Обеими руками берусь за сруб, вытягиваюсь и заглядываю вглубь. Воды не видать, но из глубины несет холодком и сыростью. Чтобы измерить глубину, я плюю и долго жду, пока не звякнет плевков.

— Ты сто делаешь? — слышу позади себя тоненький детский голосок.

Оглядываюсь. Стоит трехлетний голопузый Арончик, сын Ратнера — учителя арифметики. Мальчуган уважает меня: я часто катаю его на своей спине и делаю ему из бумаги лодочки.

Люблю Аронника за то, что он мягкий и совсем без костей.

Ручки и ножки у него в ямочках, в перевязочках, щеки наливные, а глаза синие-синие — два маленьких неба. На нем коротенькая беленькая рубашонка — и больше ничего.

— Ты сто делаешь? — повторяет он.

— Глубину колодца измеряю, — серьезно отвечаю я. — Вот слушай!

Я плюю и быстро считаю до десяти.

— Слышишь? — спрашиваю я, когда из колодца доносится всплеск плевка.

— Слису, — отвечает Арончик.

— Хочешь, чтоб тебе не было жарко?

— Хоцю.

— Ну, так я посажу тебя на сруб. Хорошо?

Ребенок устремляет на меня доверчивые глаза и повторяет за мною:

— Хоросо.

Поднимаю мальчугана и усаживаю на сруб ножками в колодец, а сам крепко держу его за рубашонку.

— Не боишься?

— Не.

— Не жарко?

— Да.

— Что да?

— Не зарко.

Арончик смеется и болтает пухлыми ножонками. А над холодной бездной неподвижно висит на цепи бадья.

Воды давно не брали, и она совсем сухая.

— Хочешь, Арончик, я тебя покатаю?

— Хоцю.

У меня является желание потешить ребенка: поставить его в ведро и покачать немного.

Я знаю, что подпорка внизу колеса не даст бадье упасть в колодец, но, чтобы тяжелое ведро притянуть к мальчугану, мне самому приходится взобраться на сруб и вытянуться всем телом.

— Арончик, ты теперь держись. Смотри, не упади! — говорю я ребенку, а сам сажусь верхом на сруб и тянусь к ведру.

Малейшая неловкость — и я могу полететь головой вниз. Но вот я протягиваю бадью к ножкам Арончика.

— Ну, теперь можно... Влезай... Не бойся: я держу крепко...

Арончик стоит в ведре, ухватившись обеими руками за железную дужку ведра.

— Сейчас пускаю... держись.

Отталкиваю бадью и вижу, как она вместе с смеющимся мальчуганом грузно плывет к противоположной стене. Вот ведро ударилось о деревянные ребра сруба и несется обратно.

Ребенок испугался толчка и уже не смеется. Личико морщится. И вот-вот заплачет.

— Погоди плакать... сейчас вытащу тебя, — уговариваю Арончика и бросаюсь к другой стороне колодца, откуда мне легче ухватиться за край ведра.

Но второпях задеваю подпорку — и... колесо приходит в движение. Медленно начинает вращаться вал, цепь разматывается, и бадья вместе с Арончиком уходит вниз.

Подбегаю к колесу, но уже поздно: со стоном и визгом вращается перед глазами круглая махина, а из глубины колодца вырывается тоненький голосок ребенка:

— Не хоцю!..

Слышу тяжелые шаги Станислава. Старик понимает, в чем дело, дрожит, торопится, всклокоченные брови падают на глаза, руки в движении, хватают воздух.

— Тикай! — коротко приказывает он мне, сам подходит к уже бешено вращающемуся колесу...

Бегу к Оксане.

— Арончик упал в колодец! — кричу я и вскакиваю на печь в надежде, что здесь меня

не найдут.

Оксана передает весть Филиппу. Растет тревога... Бегут к колодцу. Охают, роняют восклицания, разводят руками — и... и нет больше ленивой тишины и нет безмолвия знойного дня.

Сознаю свою вину и сжимаюсь в комочек. Кровь стучит в висках, и весь я в черных лапах страха.

Но вот живой Арончик. Его несет в охапке Станислав.

С мальчика стекает вода. Оксана торопливо снимает с него рубашонку, выжимает и кладет на солнце.

Арончик стоит голенький на столе и... не плачет.

Но одна щека у него сильно опухла. Хотя нет, не опухла, а это Филипп успел всунуть ему в ротик карамельку.

Ко мне возвращается сознание, сердце перестает метаться, и я мысленно благодарю и целую доброго и милого Станислава.

И вдруг, когда мы все успокоились, со двора раздается голос матери Арончика:

— Ареле, птичка моя, где ты?

При первых звуках этого голоса Оксана бежит на стеклянную террасу, хватая уже высухшую рубашонку и шепчет мне:

— Слезай скорей и отнеси хлопчика!..

Арончик не помнит зла и крепко обвиняет пухлыми ручонками мою шею, а я тащу его на своей спине и, чтобы ему было забавнее, приплясываю на бегу.

Вижу издали мать Арончика, и страх бьет меня по сердцу: боюсь этой крикливой и злой женщины. Она среднего роста, худая, костлявая и всегда неряшливо одета. Зовут ее Голдой.

Шесть раз Голда Ратнер рожала мертвых ребят, и только один Арончик выжил у нее. И теперь весь запас любви и ласковости она отдает своему единственному сыну, а на других детей она смотрит с ненавистью. Из тонких бескровных губ этой женщины поминутно срываются проклятья.

— Пусть все дети Израиля погибнут, лишь бы мой сын радовал меня долгой жизнью и счастьем! — часто говорит Голда.

— Ты зачем на своей вшивой спине моего ребенка таскаешь, холера бездомная?.. — кри-

чит она мне. — Я сколько раз говорила тебе... Ой, я сейчас в обморок упаду!.. Ареле, голубчик ты мой, почему у тебя головка мокрая?..

— Я в колодец упал, — весело отвечает мальчуган.

Но я уже ничего не слышу и не вижу: быстрее птицы лечу по пыльным улицам, направляя свой бег к Тетереву.

## 8. Враги

**Х**очу быть один, хочу, чтоб меня никто не видел; а для этого мне нужно обогнуть Приречную, где живет тетя Сара, и бежать до самой гребли [Гребля плотина.]

Выбираю большой плоский камень, влезаю на него, сбрасываю с себя рубашонку и шаровары и, прежде чем войти в реку, подставляю солнцу потную спину, усталым взглядом измеряю ширину реки, вижу по ту сторону зеленую вязь ореховой рощи и далекий синий горизонт.

Думаю о случившемся, хочу оправдать себя, хочу кому-то доказать, что я не знал, что колесо завертится, но встревоженные мысли не подчиняются мне: бегут, кружатся надо мною и тают в расплавленной тишине летне-

го полдня.

Сползаю с камня тихо, по-стариковски иду к воде, окунаю ноги и вдруг, забыв все на свете, сразмаху разбиваю телом сверкающее стекло реки. Вода бодрит меня, и я крепну духом.

Звонкими саженками нарушаю покой сонного Тетерева, рассыпаю вокруг себя алмазные фонтаны брызг и плыву среди ослепительных блесток горящих лучей.

Добираюсь до самой середины, где так глубоко, что дна не достанешь. А я не боюсь: я лучший пловец среди приречных ребят.

Знаю много фигур. Умею нырять. Могу доской лежать на воде, и ничего не стоит для меня изобразить мельницу, щуку, лягушку или змею. А под водой открываю глаза и в зеленом жидком свете замечаю каждый камешек, малейшую песчинку.

— Шимеле!..

Это кричит мой старый друг — Мотеле. Он идет по гребле в сопровождении многочисленной ватаги ребят.

Догадываюсь, что ходили в рощу за орехами...

Мои бывшие товарищи по Черной балке, узнав меня, бегут к берегу, быстро сбрасывают с себя нехитрую одежонку и кидаются в воду. Смех, голосистые крики, всплески воды отгоняют тишину, и разбуженная река вскипает пеной, и четко выступают на расплавленном серебре реки черные головы и коричневые тела шумливых купальщиков.

— Шимеле, покажи, как делают мельницу...

— Как плывут стоя?..

Я учу, показываю и чувствую свое превосходство. Мотеле в качестве лучшего друга старается быть ко мне поближе.

О моем сегодняшнем бегстве из института я ему пока ни звука, а когда он задает вопрос о моем житье, я вру напропалую и нарочно громко, чтоб и другие слышали.

И я рассказываю о десяти тысячах товарищей, сидящих со мною в одном классе. Этот класс так велик, что надо бежать два часа, чтобы достигнуть противоположной стены. Скоро я перейду на казенный счет, и мне выдадут форму: черную куртку с двенадцатью карманами и башмаки со скрипом. А когда

окончу институт, стану учителем.

Все это говорю я отрывочно, между прочим, не переставая купаться; но у Мотеле глаза блестят веселой завистью, и ему хочется еще, еще послушать.

— Слушай, что я тебе скажу, — обращаюсь я к нему, понизив голос до шопота, — ты ведь знаешь, где институт? Ну, отлично. Подойди к первому забору. Там через щелку ты увидишь гигантские шаги... Знаешь? Столб такой с канатами... Ну, вот... Там гимнастический двор. Я тебя увижу и передам тебе много вкусных вещей...

— Каких? — спрашивает заинтересованный Мотеле.

— Ну, всяких... хлеб с маслом... котлеты... У нас, брат, собаки жаркое едят.

Мотеле поражен.

Пока я в воде, со мной считаются как с лучшим пловцом, и это льстит моему самолюбию. Даже Мойшеле, сын печника, и тот нисходит до меня и удостаивает разговором, хотя ему уже пятнадцать лет.

Этот мальчик длинный и тонкий. Дни и ночи проводит в синагоге, где изучает тал-

муд. Родители гордятся своим первенцем и прочат его в духовные раввины.

Мойшеле свободно говорит на древнееврейском языке и выполняет все требования закона с необычайным рвением. Он всегда сосредоточен и редко смеется. На ногах у него чулки и туфли с твердыми задниками. На нем длинный, до пят, сюртук, голова украшена ермолкой, а вдоль щек пъявками извиваются длинные пейсы.

Я знаю, что мой костюм — красная косоворотка и «хохлацкие» шаровары вызовет насмешки, и я первым выхожу из реки с тем, чтобы скорее удрать.

Подхожу к моему камню, берусь за штанишки — и вдруг ощущаю мучительный приступ тоски: ведь мне некуда идти!..

Хочу обдумать свое положение, но Мотеле уже подле меня и заискивающе спрашивает:

— Шимеле, а когда мне можно будет притти за вкусными вещами?

— Когда хочешь, — отвечаю я и готов заплакать.

Выходят из реки и остальные ребята. Мгновение — и все уже одеты. Приходится и

мне сделать то же самое.

Торопливо натягиваю штаны, берусь за рубашку — и...

Тут начинается то самое, чего я пуще всего боюсь. Кто-то хихикает, кто-то прыскает, и нарождается оскорбительный смех.

Ко мне подходит длиннопейсый Мойшеле: — Ты совсем уже шейгец? [Шейгец — мальчик-иноверец.]

Молчу и чувствую, как лицо мое загорается стыдом.

— Почему ты в талмидтойре [Талмидтойра — школа для бедных.] не ходишь? Быть го-ем [Гой — вероотступник.] тебе приятнее?.. Да?..

Молча глотаю обиду и медленно стораю от стыда.

— Ведь он теперь не Шимеле, а «мешими-деле» [Мешимиделе — презрительное прозвище еврея, изменившего веру.], - говорит Мойшеле, указывая на меня пальцем.

Ребята смеются.

— Ну, а как ты теперь молишься? — продолжает он приставать. — По-русски или, может быть, по-католически?.. А где твой кре-

стик?

Взрыв смеха покрывает последний вопрос. Даже мой лучший друг Мотеле и тот смеется.

Во мне поднимается озлобление, и стыд, только что колотивший лицо мое, уступает место негодованию. С ненавистью гляжу на Мойшеле, на черные пейсы, осыпанные белыми гнидами, и готов всеми зубами вцепиться в его гусиную шею.

— Что вы лезете?.. Я вас не трогаю!.. — кричу я в исступлении. Синагога нужна богатым, а пейсы — вшам! — вдруг вспоминаю я изречение Пинеса, сказанное им когда-то тете Саре.

Молнией вспыхивает Мойшеле и возвышает голос до крика:

— Такой маленький — и уже богоотступник! А мы еще хотим, чтобы бог милосердствовал... Ах, ты, мамзер несчастный!..

Чтоб ты сгорел на медленном огне!..

Мойшеле становится грозным. Зрачки косят, пейсы извиваются, а в углах рта появляются точки белой пены.

Чувствую себя в стане врагов и помышляю о побеге.

Незаметно отступаю, на всякий случай вооружаюсь камнем и бросаюсь в бегство. Но длинноногий Мойшеле вот-вот догонит.

Тогда я нарочно падаю, и Мойшеле с разбегу шлепается через меня и роняет при этом туфель.

Пользуюсь удобным случаем и удираю.

## 9. Заступник

Бегу долго и безостановочно, хотя знаю, что за мною никто не гонится, но мне хочется на край света, где нет злых людей и где я один на свободе смогу обдумать свое положение. А положение не из легких: после ласк Оксаны и сытной пицци снова очутиться между небом и землей мне не по силам.

Кружусь по пыльным улицам, и ощущение заброшенности сжимает сердце.

«Куда итти?» Страшным призраком встает предо мною этот вопрос, и я только сейчас замечаю, что все время блуждаю вокруг института.

Так выгнанная собака с опущенной мордой и с трусливой лаской в глазах возвращается к сердитому хозяину.

Но Станислав не сердится: он искренно ра-

дуются моему появлению. Он видит меня через железные прутья ворот и кличет к себе.

— Ты куда же утек?.. Ах, дурной хлопец!.. И ничего не было... Побрехала трошки Ратничиха, тай пишла до хаты, а ты злякался... Оксана и Филипп шукают тебя...

Старик нежно гладит меня по голове. Цепитоски спадают с меня.

Жизнь постепенно налаживается, и я забываю о тяжелых происшествиях незадачливого дня.

Оксана приучает меня к труду: помогаю чистить картофель, бегаю в погреб за зеленью, снимаю с веревки высохшее белье и натираю кирпичный порошок для чистки медной посуды. По случаю летних каникул работы у Филиппа и Оксаны меньше. Обширная столовая с длинными столами и скамьями на двести человек почти пуста.

Большинство курсантов-казеннокоштников разъезжается: остаются самые бедные и одинокие.

Эконом Давид Мэн — человек высокого роста, с узкой длинной бородой. Он строг, скуп, придирчив и религиозен.

Половина его жизни проходит в молитвах. Широкие пейсы, ермолка, накрытая картузом, и черный атласный сюртук, опоясанный шелковой широкой лентой, делают его похожим на цадика [Цадик — по представлению верующих евреев праведник, обладающий пророческим даром, на самом деле духовный шарлатан.].

В протяжении многих месяцев экономом часто видит меня, иногда даже мелкие поручения дает и почему-то говорит со мною на плохом ломаном русском языке. Оказывается, он принимает меня за сына Оксаны.

Легко можно себе представить возмущение Мэна, когда он узнает, что я еврей. Происходит это на другой день после игтопии с Арончиком.

Голда Ратнер приходит на кухню с просьбой одолжить ей пару луковиц, сталкивается с экономом и тут же при мне рассказывает Мэну, как я, никому неведомый мамзер, чуть было не утопил ее Арончика.

— Так ты еврейское дитя?! — восклицает Мэн, обращаясь непосредственно ко мне. — А я думал, что ты пастух!.. Бегаешь под небом

без шапки, и клешами не вырвешь у тебя ни одного еврейского слова!.. Ведь за это тебя на том свете будут варить в кипящей смоле!.. И, наверно, в синагогу не ходишь — а?

Я стою перед экономом, смотрю на его большие туфли и жду, когда он уйдет.

Кончается тем, что Мэн в припадке религиозного великодушия дарит мне свой старый картуз и приказывает никогда не снимать его.

«Подарок» в два раза больше моей головы и падает на уши.

Кроме того, картуз пахнет потом, и он мне противен. И как только хозяин уходит из кухни, я срываю с головы засаленную фуражку и бросаю на пол.

Оксана смеется, а Филипп укоризненно качает головой, и я вижу болтающуюся под его ухом белую серьгу.

— Так не полагается, — наставительно говорит Филипп. — У каждой нации своя вера, и каждый должен свою религиозность исполнять. Вот такая история...

— Нехай большие до бога доходят, а вин еще махонький хлопчик! — горячо заступает-

ся за меня Оксана.

А через два дня в мою крохотную жизнь врывается новое и большое событие. Происходит это следующим образом. Сейчас же после обеда, когда Филипп моет посуду, а Оксана убирает кухню, я от нечего делать иду на гимнастический двор, где на свободе занимаюсь гимнастикой: раскачиваюсь на трапеции, карабкаюсь по скользкому шесту, упражняюсь на параллелях и, обливаясь потом, мечусь по залитому солнцем двору, воображая себя заправским акробатом.

И вдруг мне чудится: кто-то окликает меня. Прислушиваюсь.

Оклик повторяется. На этот раз хорошо слышу свое имя. Голос идет от забора. Подбегаю, заглядываю в щель и вижу три пары черных глаз.

— Это ты, Мотеле?

— А я к тебе... Помнишь, ты мне что-то обещал?.. — робко говорит приятель.

— А кто с тобою?

— Твои сестры: Бейле и Фрейде...

— Хорошо... Сейчас... Подожди немного...

То обстоятельство, что пришли мои двою-

родные сестры, наполняет мое сердце гордостью.

Одно мгновение — и я уже в столовой. Нахожу корзину с объедками хлеба, собираемого для выделки кваса.

Выбираю три куса получше, прячу под рубаху и крадучись иду на кухню. Здесь в большой деревянной миске лежат куски вареной говядины. Знаю, что из этого мяса Оксана приготовит фарш для пирожков. Быстро выхватываю крупный кусок и бегу к моим просителям.

— Мотеле, ты здесь? — спрашиваю я и припадаю взволнованным лицом к забору.

— Да, — шепчет Мотеле.

Тогда я вскарабкиваюсь на забор, усеянный гвоздями.

Мотеле и мои замарашки-сестренки стоят внизу на панели с задранными вверх головами.

— Держи подол... Сейчас...

Но я не договариваю: кто-то хватает меня за ногу и тащит вниз. Оглядываюсь и замираю: сам Мэн стоит у забора...

Выроненные мною куски хлеба и мяса па-

дают к ногам эконома.

— Иди-ка, иди-ка сюда, шейгец! — кричит хозяин, стаскивая меня с забора. — Так тебе мало, что сам жрешь! Ты еще казенный харч воруеть!.. Сейчас я тебя выброшу отсюда, как собаку... Ах, паршивец!.. Чтоб чорт в твоём отце...

Мэн хватает меня за уши, да так больно, что я начинаю кричать.

— Как вы смеете?! Что за безобразие!.. — внезапно раздаётся крепкий уверенный голос.

Пальцы Мэна разжимаются: перед ними стоит Нюренберг казеннокоштник-курсапт.

— Как вам не стыдно?..

— А вы себе вот это бачете?.. — говорит, дрожа от злости, эконом и указывает на хлеб и мясо, валяющиеся около забора.

— Подумаешь, какой убыток нанес вам этот ребенок!.. А вот мы узнаем, что ревизия скажет по поводу вашего хозяйничанья...

Мэн становится меньше ростом и кривой улыбкой силится стереть недоброе выражение хитрого лица.

Нюренберг берет меня за руку и ведет к об-

щежитию курсантов.

— Я не для себя взял, — говорю я, стараясь при этом заглянуть в лицо моего заступника.

— А для кого же?

— У меня товарищ есть... Мотеле...

Нюренберг останавливается, обволакивает меня мягким взглядом больших черных глаз и спрашивает:

— Сколько тебе лет?

— Восемь, — отвечаю, не задумываясь.

— Где ты научился по-русски говорить?

— В Петербурге... Мы там долго жили, — добавляю я, чтобы окончательно убедить Нюренберга.

Мы идем дальше. За садом директора белеет двухэтажный дом. Здесь общежитие курсантов. Входим.

Огромные и высокие помещения. В комнатах — столы, скамьи, книги, широкие и длинные линейки, чертежи, на стенах — большие географические карты, а там, где институтчики спят, множество кроватей. Меня здесь все интересует, радует и волнует.

В одной из отдаленных комнат с раскрытыми окнами в сад мы находим несколько

курсантов. Из них запоминаю: Срулевича, костлявого, рыжеволосого парня с лицом, густо осыпанным веснушками, Тейера, коротконового толстяка с широким мясистым затылком, Вейсброта, большеголового, с выпученными глазами, имеющего вид человека, перепуганного на всю жизнь, и Пинюка, светлого блондина, грузного и высокого.

— Посмотрите, что наш «хлебодар» сделал с этим мальчиком, — говорит Нюренберг и подводит меня к окну.

Он показывает мои пламенеющие уши и продолжает:

— И это за то, что ребенок хотел передать кусочек хлеба своему голодному товарищу...

Курсанты окружают меня и рассматривают с явным любопытством. Нюренберг поднимает меня и усаживает на подоконник.

— А теперь расскажи нам, ветка Палестины, как ты попал сюда и откуда взялся? Имейте в виду, — обращается Нюренберг к товарищам, — что этому старику уже восемь лет.

Нюренберг полон жизни. На его смуглых щеках цветет румянец, под черными усиками играет полнозубая улыбка, в движениях он

ловок, ритмичен и при этом обладает еще ласково-густым и сочным голосом.

Я быстро осваиваюсь и приступаю к рассказу. Понимаю, что нравлюсь, и стараюсь во-всю. Прислушиваясь к собственному голосу, слежу за выражением лиц моих слушателей, осыпаю их рассказами из моей недолгой жизни и всячески кокетничаю.

— На какой улице вы жили в Петербурге? — спрашивает Нюренберг.

— На Бассейной.

Курсанты оживленно переглядываются.

— На той самой улице, где живет Некрасов, — поясняет товарищам Нюренберг.

— Ага! — утвердительно произношу я.

— Что «ага»?

— Где живет Некрасов.

— А кто такой Некрасов?

— Стихотворец, — отвечаю я.

С этого момента интерес ко мне еще более усиливается.

Нюренберг агитирует. Он указывает на мои способности, на мое сиротство, говорит о множестве погибающих детей, о несправедливости существующего строя и кончает

предложением все силы употребить на то, чтобы институт меня усыновил.

Я слежу за каждым его движением, люблю его красивым жизнерадостным лицом, желаю войти в темную глубину его ласковых глаз, и чувство любви теплой, приятной струей вливается в мое сердце, и я хочу всегда-всегда быть около этого человека, ставшего мне вдруг таким близким, каким еще никто не был.

А дальше начинается сказка.

## 10. У порога школы

Эту сказку творит Нюренберг. Скажет он, что меня надо определить в институт, и я уже во власти неотступной мечты.

Действительность ускользает из-под моих босых ног, и я гордо шествую по земле, одетый, обутый и... сытый.

«Прежде всего, — говорит Нюренберг, — тебе надо будет выучить азбуку, а потом читать начнешь...» И новая мечта уносит меня в беспредельность. Воображение раскрывает предо мною горы книг, я проглатываю том за томом и становлюсь таким образованным, что сам Иоселе Розенцвейг умоляет помочь

ему приготовить урок. Дядя Шмуни просит прощения за то, что когда-то крепко ударил меня, тетя Сара родственно протягивает ко мне руки, а когда прохожу мимо свалки, мои бывшие товарищи кланяются мне, а я щедро награждаю их деньгами и стараюсь говорить басом, советую им учиться и «стать людьми».

Сказка ширится, расцветивается, и каждый день вписывает новую страницу.

Лежа в полумраке на печи, я свободно и легко переживаю свое счастливое будущее, находящееся в добрых и ласковых руках Нюренберга.

Быстро катятся дни мои, но мне не жаль уходящего лета, и сердце не сжимается в тоске, когда по утрам вдыхаю прохладные струи надвигающейся осени. Пусть. Мне не страшно: скоро буду одет и обут.

Мой покровитель — человек замечательный. Его весь город знает, любит и уважает. Он сын ночного сторожа, при городской управе. Многим известно, что Нюренберг без посторонней помощи стал образованным человеком.

Он — самоучка с детских лет. И теперь, бу-

дучи курсантом, зарабатывает частными уроками так много, что один содержит свою бедную и многочисленную семью.

Сегодня мы с Нюренбергом набираем в разных богатых домах всякого добра. Всюду, куда мы ни заходим, нас встречают приветливо, потому что у моего заступника имеются везде ученики.

Сначала Нюренберг оставляет меня на кухне или в передней, а сам входит во внутренние комнаты, где рассказывает обо мне, а потом приводит хозяев дома и представляет их меня.

— Вот видите, — говорит он с обычной для него горячностью, — в большом городе погибает одичавший, но несомненно способный мальчуган. Послушайте, как он говорит по-русски.

Дамы вздыхают, закатывают глаза и стараются быть добрыми.

А мне стыдно, стою потупившись и в упор гляжу на свои босые ноги.

В результате мне выносят где рубаху, где штаны, а из дома богача Вайнштейна уношу гимназическую шинель с дырочками вместо

пуговиц и без хлястика.

Мои друзья — Оксана, Филипп и Станислав — диву даются и каждую пожертвованную вещь тщательно рассматривают, ощупывают и оценивают. При этом имя Нюрнберга повторяется много раз. А Оксана уговаривает меня слушаться его и учиться изо всех сил.

И зачем уговаривать, когда я сам только и думаю о том, чтобы окончить институт!

Целыми днями ношусь с букварем, напрягаю все мои умственные силы, всю мою память и пристаю ко всем, кто грамотен, указать мне, как называется так или иная буква.

А через несколько дней я заполняю кухню громким чтением: «Са-ша, Да-ша, ка-ша...»

— Смотри, — говорю я Оксане и подношу к ее глазам потрепанную азбуку, вот это — Са-ша, а вот это — каша.

Оксана смеется и целует меня. А я торжествую и тону в радости моей. Филипп рассуждает:

— Тут, скажем, такая история... Ежели с таких годов да как следует поучиться, то и до образованности недалече... Вот какая история...

Станислав, пришедший за горячим угольком для трубки, услышав, как я читаю, приходит в умиление, шевелит длинными усами и вспоминает, что у него где-то в маленьком мешочке спрятаны солдатские пуговицы, пригодные для моей шинели. И я уже не отстаю от старика, пока не получаю целый десяток потемневших от времени пуговиц.

Долго и усердно чищу их закваской и кирпичным порошком. И пуговицы загораются золотым блеском.

Оксана все свободные минуты посвящает моему «гардеробу», как она выражается. Перешивает куртку, укорачивает штаны, перекраивает, кладет заплаты, чистит, утюжит — и... в один счастливый день я из босоного Шимеле превращаюсь в «настоящего паныча», по определению Станислава.

Моей радости нет границ, и хотя шинель длинна и тяжела, а на дворе все еще стоит жара, но это не беда: ведь можно шинель расстегнуть, и тогда легче дышать и всем видно, что я в брюках и башмаках.

До начала учебного времени остается еще целый месяц, а матери и отцы уже приводят

своих птенцов с прошениями в руках.

Ребята, на мой взгляд, неважные: маленькие, трусливые, цепляются за родителей, а по-русски — ни бельмеса.

Да и взрослые такие же: боятся шагу ступить и даже перед Станиславом заискивают и кланяются. А когда догадываются, что и я здесь свой человек, они и ко мне несут просительные улыбки. А я в распахнутой шинели смело шагаю по широкому гулкому коридору и веду за собою оробевших мужчин и женщин и громко объясняю им, какая дверь ведет в канцелярию, где принимают прошения.

Не мало суетится и переводчик — он же кантор институтской синагоги. Зовут его Хайм Канегисер. Он небольшого роста, с круглой черной бородкой, густо покрывающей все лицо его, почти до самых глаз. К нему и его шестигранной бархатной ермолке просители относятся с доверием и без робости, потому что кантор говорит с ними на родном языке.

Канегисер не зевает: доброжелательно дает советы, перечитывает прошения, наставляет, объясняет, указывает ошибки, исправляет, и в его глубокий карман звонким дождем па-

дают мелкие монеты.

Настает и мой черед. Нюрнберг ведет меня к Фишбейну, исправляющему должность инспектора.

Мой покровитель ведет себя смело и независимо: с Фишбейном здоровается за руку и представляет меня:

— Привел к вам беспризорного ребенка... Четвертый курс берет его под свою опеку. Он круглый сирота... Очень способный мальчуган... Извольте прошение, подписанное тридцатью курсантами.

Фишбейн — человек солидный, с брюшком и в золотых очках.

Борода седая и всю грудь покрывает. Он откидывается на спинку кресла и внимательно читает наше прошение.

Потом, кончив читать, он двумя пальцами поправляет очки, возвращает бумагу и говорит ровным, покойным голосом.

— Я ничего сделать не могу. Вы просите принять мальчика на полное содержание института. Случай небывалый. Советую вам обратиться к директору...

— Хорошо... Пойдем к директору, — реши-

тельно заявляет Нюренберг.

А у меня стынет сердце, и мне кажется, что я падаю с большой высоты.

Удивительно смелый человек мой заступник: без всякого смущения подходит он со мною к парадному подъезду и дергает ручку звонка.

Сначала раздается мелкий и торопливый лай собачки, а потом показывается красивая девушка в белом переднике.

— Вам кого? — спрашивает она, открывая стеклянную дверь.

— Директор дома? — в свою очередь спрашивает Нюренберг.

— Дома, — отвечает девушка в переднике и приветливо улыбается.

— Доложите, что курсант Нюренберг просит принять его по очень важному делу.

И нас принимают. Входим в большую светлую комнату, где все стены заняты книгами. За столом сидит сам директор Барский — чистенький старичок с желтым безволосым черепом и седыми бачками.

Подбородок чисто выбрит, а нижняя губа слегка отвисает.

При нашем входе директор медленно приподнимает припухшие веки, берет со стола какую-то интересную перламутровую штучку, встряхивает ее, и оттуда выскакивает круглое стеклышко с золотым ободком.

Один глаз старик прищуривает, а к другому прикладывает стеклышко и сквозь него смотрит: то на меня, то на моего покровителя.

— Разрешите доложить вам, господин директор...

И Нюренберг кратко и вразумительно излагает перед Барским историю моей жизни, а под конец протягивает наше прошение.

Директор прочитывает бумагу и задумывается, причем веки его медленно опускаются, и мне кажется, что старик засыпает, но вскоре он проводит рукой по голому черепу и говорит, к моему удивлению, молодым, звучным голосом:

— Итак, четвертый курс хочет опекать этого мальчика... Доброе дело, но не совсем: опекать вы хотите, а содержать предоставляете казне. Вот тут не следует забывать, что институту отпускаются средства на содержание исключительно вас, курсантов. Если же мы

возьмем на полное иждивение шестьсот учеников нашего начального училища и плюс две подготовительные группы, то у казны средств нехватит...

Темные глаза Нюренберга наполняются влагой, и ширится румянец на смуглом лице.

— Мы имеем в виду одного этого мальчика, а не все начальное училище, отчеканивает Нюренберг. — И, кроме того, мы знаем, что средства на содержание института поступают не от казны, а из еврейского коробочного сбора, взимаемого с евреев всей Российской империи. Нам также известно, что не все средства коробочного сбора идут на еврейские училища... Строятся православные церкви, и не мало перепадает полиции...

— Попрошу вас прекратить этот неуместный разговор! — резко перебивает директор, и желтое темя его становится розовым.

Старик сердится, а вместе с ним злятся седые бачки и мокрые глаза. Я на всякий случай тихонько подвигаюсь к выходу.

— Попрошу помнить, — продолжает Барский, — что здесь не митинг, а квартира действительного статского советника!.. Ну, а те-

перь вернемся к делу. Сколько лет мальчику?

— Восемь.

— Гм... гм! — издает старик, видимо успокоившись. — Неграмотен, конечно? Придется доложить попечителю округа... Покажите мне его метрику...

Первый раз вижу на лице моего покровителя нечто вроде растерянности.

— Кажется, метрики нет, — упавшим голосом говорит Нюренберг и внезапно обращается ко мне: — Есть у тебя метрика?

— А что это такое? — спрашиваю я в свою очередь.

— Так-с, — произносит директор, пряча усмешку. — Зря изволили горячиться. При отсутствии метрики о приеме и речи быть не может...

— А мне думается так: был бы мальчик, а метрика найдется, — говорит оправившийся от смущения Нюренберг и откланивается.

Я следую за ним, огорченный и подавленный. Начиненная ватой шинель гнетет меня, а в голове каша: не могу понять, что случилось, и в то же время боюсь остаться вне школы. И хотя у моего заступника вид довольно

решительный, но я предчувствую неудачу и вяло шагаю по осколкам разбитой мечты.

Вдруг Нюренберг останавливается и спрашивает:

— Ты говорил, что у тебя есть тетя?

— Да... тетя Сара...

— Где она живет?

— На Приречной.

— Ну, так идем к ней.

Я делаю шаг назад и отрицательно качаю головой.

— Почему не хочешь.

— Я там жить не буду.

— Не жить зовут тебя, а мне нужна справка о твоём рождении.

— И мы назад уйдем?

— Конечно, уйдем!.

Даже шинель моя становится легкой, и я встряхиваюсь.

Показать себя в таком шикарном виде и сейчас же уйти — чего лучше!..

И мы направляемся к тете.

## 11. «Так себе»

Собрав у моей тети нужные справки, Нюренберг отправляет в Свенцяны бумагу

с просьбой выслать мою метрику, а я в ожидании документа остаюсь жить на кухне и учусь читать. И тянется бесконечная цепь хрупких надежд и нетерпеливых ожиданий.

В один червонный осенний день, когда осыпаются желтые листья берез и когда в прозрачном воздухе опаленные сентябрьскими утренниками горят фиолетовые шапки умирающих кленов, — просторные дворы института, классы и коридоры заполняются множеством детей, крикливых, резвых и буйных. Многоголосый шум детворы, звонкий смех и чужая радость тянут меня, стоящего в стороне, к живому морю маленьких людей; мне хочется быть среди этих мальчиков, сгораю от желания иметь право войти в класс, сидеть рядом со всеми, быть учеником, а во время перемен кувыркаться, бегать, кричать и бороться.

В эти минуты я готов пойти на какой угодно риск, вплоть до того, чтобы тайком пробраться в класс, лишь бы не быть одиноким и лишним.

— Господин Нюренберг, — обращаюсь я к проходящему мимо покровителю моему, —

мне входить в класс до приезда метрики нельзя?

Нюренберг смеется.

— До приезда метрики нельзя...

На красивом лице курсанта столько доброты, что я смелею и становлюсь настойчивым.

— Почему нельзя?

— Потому что метрики не приезжают, а их присылают.

Понимаю, что не так выразился, и краснею.

В это время из главного корпуса выходят: преподаватель русского языка Колобов, маленький толстяк с круглым женским лицом и доброжелательной улыбкой на пухлых губах, и учитель рисования Навроцкий, высокий, стройный мужчина с длинными волнистыми волосами, зачесанными назад, и небольшими черными усами. Он похож на Петра Великого. Оба в вицмундирах, и у каждого в руке классный журнал.

Нюренберг подходит к ним, здоровается и что-то говорит вполголоса.

Учителя оглядывают меня, и я догадываюсь, что речь идет обо мне.

Кончается тем, что оба преподавателя разрешают мне присутствовать на их уроках. Нюренберг, порывшись в карманах, достает пятак и говорит:

— Пойдешь в училище и там в коридоре купишь тетрадь с косыми линейками и карандаш.

Хватаю пятак, бегу к училищу и уже на ходу вспоминаю, что не поблагодарил, и кричу: «Спасибо, господин Нюренберг!» — и чуть не валяю с ног попавшегося мне навстречу Станислава. Показываю монету и хвастаю:

— Я поступил в училище!.. Иду покупать письменные принадлежности...

Спустя немного я уже на кухне. Прибегаю сюда за букварем и показываю Оксане тетрадь и карандаш.

— Тетенька Окся, я уже поступил!.. Нюренберг за меня просил... Тетенька Окся, нет ли у вас беленькой тряпочки?.. В школе нельзя вытирать руками нос... Наказывают за это...

Моя буйная радость передается Оксане, и добрая горбунья вздыхает, смеется и размахивает длинными тонкими руками. Она гладит, ласкает меня, и в ее прекрасных черных гла-

зах сияет материнская нежность.

Моя радость так велика и обильна, что не могу вместить ее в себе, и хочу со всеми поделиться, хочу, чтобы все знали, как я, сирота — и вдруг наравне с настоящими мальчиками становлюсь учеником с письменными принадлежностями.

Классный наставник, учитель русского языка обеих подготовительных групп, Колобов, «сортирует» малышей.

Сидя на стуле, перед высокой кафедрой, Шарик, как прозвали маленького толстенького учителя, вызывает учеников поодиночке и, прежде чем занести в журнал, подробно спрашивает: как зовут, сколько лет и понимает ли по-русски?

Рядом с классным наставником сидит Канегисер в мягкой бархатной ермолке. Если мальчик не понимает, на помощь Колобову приходит кантор.

— Учитель спрашивает, сколько тебе лет, а ты уставился в пол, как петух перед дракой, и молчишь!

Услышав родную речь, малыш перестает смущаться и звонким дискантом объясняет,

что дома никто по-русски не говорит и что сама мама не понимает ни слова.

— Вот потому-то твоя мама и не будет принята в школу, а ты должен знать русский язык, потому что живешь в России, а не в Палестине, — наставительно говорит Канегисер.

Классный наставник рассказывает детям так, чтобы рядом с непонимающим сидел понимающий.

С торопливо бьющимся сердцем жду, когда меня вызовут. Но меня не замечают. Начинаю понимать, что я — не настоящий ученик, а чужой мальчик, находящийся здесь с разрешения учителя. Это обстоятельство заставляет меня быть тихим и уступчивым.

И когда после первой перемены ученик второй группы Либерман подходит и кричит на меня: «Ты чего расселся? Двигайся к стене!» — я немедленно исполняю требование.

Постепенно вхожу в роль завсегдатая моментами забываю, что я здесь, по словам Либермана, «так себе».

Однажды учитель задает Либерману вопрос, как называется самый главный город в России.

— Одесса! — выпаливает Либерман. Тогда Колобов обручивает его.

— Кто знает?

— Я знаю. Москва.

— Верно. Молодец! — говорит учитель.

Либерман оглядывается, и я чувствую, что мне не сдобровать.

Время илет, а метрики нет.

Из преподавателей мне больше нравится учитель чистописания и рисования — относится ко мне внимательно и нежно. Совсем не со мною учитель арифметики Ратнер.

Этот слабогрудый еврей с белыми волосами цвета кусочка грязной ваты меня не выносит. Я стараюсь быть незаметным.

Но однажды помимо воли сталкиваюсь с ним. Происходит это вот как: класс тренируется. Число двенадцать мы делим хором.

Ратнер дирижирует линейкой, и мы поем: «число двенадцать делится на два — часть шесть, на три — часть четыре, или...» и так далее — пока двенадцать уже больше не делится.

Мне очень нравится это «или»: оно хорошо выходит у нас. И вот во время этого деления я,

забывшись, выкрикиваю «или!», когда все уже кончили. Мой одинокий голос среди умолкшего класса несется звенящей струной и пугливо обрывается.

Взлетает детский смех. Я прячусь за спинами сидящих впереди меня.

Ратнер сходит с кафедры и направляется к партам.

Молча подходит ко мне, берет за ухо и при заливчатом смехе учеников выводит из класса. У самых дверей он говорит мне внушительно и строго:

— Чтоб я твоей рожи больше не видел здесь!

И выталкивает за дверь.

Предо мной кружится метель красных точек, лицо пылает, и я хочу исчезнуть и никогда не быть на свете.

Когда в классах идут занятия, широкие коридоры и все дворы института становятся пустынными. Куда ни пойдешь, тебя, одинокого, сейчас же заметят. А я хочу, чтоб никто не видел моего стыда и моих глаз, затуманенных слезами.

Крадучись выхожу из училища и бегу на

гимнастический двор.

Здесь, среди гигантских шагов, лестниц и параллелей я стараюсь казаться беспечным и, глотая слезы, тихо раскачиваюсь на одной из трапещий.

И вдруг откуда-то идет Нюренберг. Я виновато схожу вниз и медленно иду к нему.

— Ты почему не в классе?

Стою перед покровителем с опущенной головой и молчу.

— Что случилось? От меня ничего не надо скрывать... Говори всю правду!

Испустив тяжелый вздох, я, как могу, излагаю происшедшее.

Исподлобья взглядываю на Нюренберга и вижу, как его красивое лицо становится серьезным и грустным.

— Ничего, брат, не поделаешь, — говорит он, — пришлют метрику, тогда положение твое укрепится... А плакать не надо, — добавляет он, заметив слезы на лице моем.

— Но ведь я же не виноват, если я не знал, что все «или» уже кончились!

— Ну, будет... успокойся... Пока без арифметики обойдемся, — ласково говорит Нюрен-

берг и проводит рукой по голове моей.

Горе смыто теплым участием взрослого, и, когда по уходе Нюрепоепта остаюсь один, я принимаюсь за гимнастику как следует и раскачиваюсь на трапеции во весь размах.

Но вот и большая перемена: слышу первые всплески детских голосов.

Шум приближается. Чтобы показать мое равнодушное отношение к случившемуся, я раскачиваюсь донельзя, даже дух захватывает. Еще немного — и звонкоголосая детвора заполняет двор.

— Эй, ты, «Так себе», спой нам «или» и проваливай отсюда! — кричит мне Либерман.

Он подходит совсем близко и намеревается поймать мои ноги, чтобы стащить с трапеции.

— Уйди, уйди, говорю тебе... а не то получишь ногой в рожу! — кричу я, задыхаясь от волнения.

Либерман окружен товарищами, и все стоят за него.

Предчувствую неизбежность битвы, и смешанное ощущение боязни и злобы сжимает сердце.

— Стаскивай!.. Чего смотреть!..

— Гимнастика для настоящих учеников, а не для «Так себе»...

— Ну-ка, Либерман, покажи ему!..

Приходится уступить, и я ловко на всем ходу соскакиваю.

— Ага, струсил? «Так себе!» Это тебе не «или»? Да... не «или»!..

Либерман сверлит меня острыми зрачками и явно жаждет подраться.

— Чего пристаешь?.. Я тебя не трогаю... — выжимаю сквозь стиснутые зубы.

Либерман неожиданно ударяет меня плечом в грудь, и я, при радостном смехе малышей, лечу на землю. Но в тот же миг вскакиваю, хватаю противника за пояс, слегка приподнимаю его и кладу на обе лопатки.

— Будешь лезть?.. Будешь? — спрашиваю я и всем телом наваливаюсь на Либермана.

Тот, лежа на спине, барахтается подо мною и силится скинуть меня. Весь класс толпится вокруг, и никто уже не смеется.

— Неправильно!.. Он подножку дал!.. — визгливо протестует Либерман, не желая сдаваться.

Но в голосе нет уже победных нот.

И тогда я становлюсь храбрым.

— Ну, давай еще! — заявляю я, когда Либерман встает. — Давай, давай!.. Покажу я вам, какой я «Так себе»!.. Кто хочет?.. Любого вызываю один на одни!..

Мой уверенный тон, залихватские жесты уличного мальчишки, а главное, чистый русский язык пугают пригодишек, и я вижу, как падает авторитет Либермана и как рястет уважение ко мне.

## 12. Петербургские сказки

Оксана спит очень мало, ложится поздно, а встает, когда еще темно, и затапливает печь. На рассвете я уже начинаю подсовывать под себя побольше всякого тряпья, потому что становится горячо, и наконец мое ложе так накаляется, что лежать уже невозможно, и я весь в поту, с не совсем еще проснувшимися глазами сползаю вниз.

Соплю, чешусь, зеваю и ворчу на Оксану.

— Так натопила, что весь бок спалил.

— А ты бы на краюшек лег! — откликается горбунья.

— Да, спасибо тебе!.. А как свалишься, —

голова в лепешку...

— Ну, не ворчи, хлопчик! Вымой оченьки холодной водицей, и веселее буде.

Оксана стоит перед кадушкой и топкими жилистыми руками месит хлеб. Горящие в печи дрова бросают на нее яркие пятна, и я вижу ее освещенный горб с острой ломаной вершинкой. Этот горб, уродующий красивую Оксану, равномерно поднимается и опускается над кадушкой, а в привычных руках свистит хорошо взбитое тесто.

Встает и Филипп. Слышу, как он возится в столовой.

Сейчас он снимет ставень, и перед большим столом, что стоит на кухне, получится большое квадратное отверстие, и я увижу столовую. Это отверстие сделано для того, чтобы из кухни передавать курсантам пищу.

Подхожу к глиняному трехносому ручноймойнику, висящему над большим медным тазом, мочу кончики пальцев, провожу ими по глазам, вытираюсь подолом рубахи — и я умыт. Одним приемом вскакиваю на стол и спрыгиваю через отверстие в столовую.

— Увидит Мэниха, как ты трейфными но-

гами по столу скачешь, будет тогда история! — добродушно замечает Филипп, не прекращая работы.

Люблю следить за Филиппом, когда он что-нибудь делает. А делает он все быстро, правильно, без перебоев и без суетливости.

Нравится мне, как он режет хлеб или моет посуду.

Хлеб он не режет, а шинкует с невероятной быстротой, и при этом все ломтики получаются по весу и по размеру совершенно одинаковыми.

Но что особенно меня удивляет в Филиппе, это его невозмутимое спокойствие, — на его круглом рябом лице ни малейшего напряжения.

На дворе становится светлей. Скоро к утреннему чаю явятся курсанты. Возвращаюсь на кухню и, пока нет эконома, съедаю, с молчаливого согласия Оксаны теплую булочку, запивая сладким чаем.

Потом достаю азбуку, тетрадь, изгрызанный карандаш и деловито отправляюсь на гимнастический двор.

Я знаю, что сегодня уроки начнутся с ариф-

метики, к спешить туда незачем: Ратнер все равно меня не оставит в классе, но зато я увижу товарищей до начала уроков.

После вчерашней моей драки с Либерманом я чувствую себя уверенней и убежден, что оскорбительную кличку «Так себе» я уже не услышу.

Несмотря на ранний час, я уже нахожу несколько пригостишек, а спустя немного двор уже звучит детскими голосами.

Приходит Либерман. Я стою в шинели, застегнутой на все пуговицы, и стараюсь придать лицу своему серьезное выражение.

Либерман с примирительной улыбкой приближается ко мне и протягивает руку.

С достоинством отвечаю на рукопожатие. Нас окружает мелюзга.

Завязывается дружеская беседа.

— Правда, что ты жил в Петербурге? — спрашивает меня Либерман.

— Правда. Я даже там родился, — хвастливо добавляю я.

— А разве евреям позволяют там родиться? — допытывается Либерман.

Я объясняю, что живущие в Петербурге

евреи имеют право родиться. Замечаю, что наша беседа заинтересовывает малышей, и толпа вокруг меня и Либермана становятся шире.

— И синагоги там имеются? — спрашивает кто-то из ребят.

— Одна только и есть, но она вся выкована из золота.

— Из чистого золота?!

— Да. Потому что там все евреи страшные миллионеры. Бедняков туда не пускают.

— Петербург больше Житомира? — задает мне вопрос Либерман.

— Сравнил тоже, чудак! Ваш Житомир в Петербурге можно так спрятать, что сто лет будешь искать — не найдешь. Хотите знать, как велик Петербург, так я вам вот что расскажу: однажды один молодой казак с маленькими черными усиками задумал проскакать с одного конца города до другого. И вот он садится на коня и во весь дух несется вперед. А когда казак приближается к другому концу города, его уже никто не узнает...

— Почему? — одновременно вырывается из нескольких уст.

— Потому что казак прискакал уже стариком, с вот такой седой бородой и с белыми бровями.

Мои слушатели изумлены. Глаза круглятся, и рты разинуты.

Я доволен, что овладел вниманием, и с каким-то непонятным мне самому чувством радости продолжаю врать. А главное, я сам начинаю верить в то, что рассказываю.

— А хотите знать, какие там дома? — продолжаю я окрепшим голосом. — Они так высоки, что как ни откидывайся назад, как ни задирай голову, — крыш не увидишь. И поэтому иностранцы и другие приезжие, чтобы увидеть крыши, ложатся на мостовую лицом вверх, и тогда только они видят вершины домов.

— Ого, вот так домишки!..

— Эх, посмотреть бы!..

— А ты сам ложился? — спрашивает меня один из слушателей.

— Каждый день ложился, — не задумываясь, отвечаю я.

— А царя ты видел? — любопытствует Либерман.

— Конечно, видел! Его нельзя не видеть: он очень высок ростом.

— Как он высок?

— А вот как: дома, вы знаете, какие там высокие, ну и вот... когда царь гуляет по улицам, он локтями пыль стирает с крыш...

— Да что ты?! Неужели! — восклицает изумленный Либерман.

— Не веришь? Спроси у классного наставника. Сегодня же спроси...

В моем тоне столько уверенности, и сам я в ту минуту так крепко верю самому себе, что сомнениям уже нет места, и маленькие слушатели загораются любопытством.

— А хотите знать, чем и как питается царь?

— Хотим, хотим! — хором кричат малыши.

— Так слушайте. Утром царь выходит на дворцовую площадь. Там стоит золотой чан с наш двор величиною. Чан доверху наполнен сливочным маслом. Вокруг чана стоят солдаты с лопатами в руках. Царица с белой булкой стоит на золотой крыше дворца. Главный министр играет в трубу военный марш. Солдаты, заслышав музыку, быстро выстраива-

ются, набирают на лопаты масло и бросают царю в рот, а царица...

Но тут происходит самое неожиданное: увлекшись моими рассказами, пригостишки не слышат звонка, и сам Ратнер приходит за своими учениками.

— Вот вы где находитесь!.. Хорошо же!..

При первых звуках знакомого голоса мои слушатели воробьями разлетаются в разные стороны, а я остаюсь один рядом с разъяренным учителем арифметики.

От злости Ратнер говорить не в силах, и вместо слов у него вырываются странные звуки, напоминающие икоту.

— Ты... ты!.. Опять ты... и еще раз ты... Ах, дрянь! Уличная тварь!..

Классный журнал пляшет в руках учителя. Ярость лихорадит его.

Сухое костлявое лицо, серый комок бороденки, злые колкие глаза, длинный кривой нос и широкий гнилозубый рот приводят меня в ужас.

Сухими пальцами впивается он в мое плечо и тащит меня за собой.

Я упираюсь, хочу вырваться и в то же вре-

мя боюсь порвать шинель гордость моей жизни.

Маленький худенький Ратнер в вицмундире, с посиневшим от холода лицом, похож на драчливого петуха.

— Пойдем, пойдем... Пусть весь класс узнает, с кем имеет дело... Пойдем, пойдем...

В то самое время, когда наставник волочит меня по двору, Филипп и Оксана выносят из кухни ушат с помоями и останавливаются в изумлении. От стыда и страха из глаз моих выкатываются слезы.

Входим в класс. Ученики смирнехонько сидят на своих местах.

Тишина небывалая.

— Стой здесь! — приказывает учитель и ставит меня перед партами, — чтоб тебя все видели.

Опускаю голову и беззвучно плачу.

— О чем он сам рассказывал? — обращается Ратнер к ученикам.

Шестьдесят малышей хлопают глазами и молчат. Проходит томительная минута.

— Так никто не желает говорить?.. Хорошо... Буду вызывать по журналу. Всех остав-

лю без обеда!.. — визгливо кричит учитель и звонко ударяет ладонью по кафедре. — Помните вы меня, негодяи!.. Покажу я вам, как заставлять наставника лично загонять вас после звонка. Ну-с, а теперь начнем по порядку.

Учитель раскрывает журнал, откидывает хвост вицмундира, опускается на стул, из бокового кармана достает футлярчик, вынимает очки, надевает их и наклоняется к журналу. В классе тишина. Никто не шелохнется, только на последней парте невидимый малыш время от времени шморгает носом.

— Кто там захлебывается?.. Высморкайся, и чтоб тебя не слышно было! не поднимая головы, приказывает Ратнер, после чего приступает к вызову учеников по алфавиту.

— Аптекман Борух! Встать!..

Поднимается Аптекман. Он до того мал и худ, что его почти не видно из-за парты.

— О чем вам он рассказывал? — повторяет свой вопрос Ратнер, стараясь через очки рассмотреть ученика.

Аптекман нервно мигает большими глазами, тоненькой рукой дергает себя за ухо и

МОЛЧИТ.

— Ну?! Ты будешь сегодня говорить или нет? — кричит наставник.

Крохотный Аптекман еще быстрее начинает мигать воспаленными веками, а по остренькому подбородку пробегает мелкая зыбь — вот-вот заплачет.

— Выходи и встать у стены! — приказывает учитель.

Малыш вылезает из-под парты и на кривых, рахитичных ножках утиним шагом направляется к стене.

Так наставник проделывает со всеми, пока не доходит до буквы «Л».

— Либерман! Отвечай!..

Либерман вскакивает, уверенный и радостный.

— Он нам рассказывал петербургские сказки... Говорил о царе...

— О царе?! Интересно... Что же он рассказывал о царе?

— Он говорит, что царь очень высокий... выше всех домов... Потом он нам рассказывал, как солдаты кормят царя маслом...

— Так... так... Очень хорошо! — перебивает

ученика Ратнер и вдруг срывается с места, мелко бегущими шажками приближается ко мне, берет за ухо и выводит из класса.

— Чтоб твоего духа здесь не было!.. Паршивец!..

Этим напутствием мое пребывание в школе заканчивается навсегда.

### **13. Вывески**

**Н**а этот раз уже мне не стыдно, но зато во мне растет злоба против Ратнера. «Что я ему сделал? Чем ему мешаю?..» Мне хочется кому-нибудь пожаловаться и рассказать, как несправедливо поступает со мною учитель арифметики.

Иду к Станиславу и ему, старому солдату, приношу свою обиду.

— Гей, хлопец, иы журишь!.. Хиба ж господа понимают сиротыну?.. Боны люди письменные, дюже разумные... Им наше горе — шо для волка слеза заячья...

Старик нежно гладит меня по плечу и всячески утешает.

От Станислава бегу на кухню, где подробно рассказываю о случившемся Оксане и Филиппу.

— То-то я гляжу, что за история такая: тащит Ратнер нашего парня, точно городской пьяного, — говорит Филипп, но Оксана перебивает: — А я так вся замлила... Думаю: «Нашкодил мой хлопчик».

— Ты, парень, сделай вот что, — советует Филипп, — сходи к Нюренбергу и расскажи ему все дочиста... Он смекалистый и тебя в обиду не даст. Вот какая история...

Сочувствие моих друзей меня успокаивает, но вместе с тем угасает мой гнев и притупляется острота перенесенного унижения. И когда встречаюсь с Нюренбергом, я жалуюсь ему уже без подъема, но мой покровитель и так понимает меня, и я вижу грусть в черных глазах и улыбку жалости на красивом смуглом лице.

— Придется нам потерпеть... Пришлют метрику, тогда определим тебя на законном основании, — говорит Нюренберг, а затем добавляет: — Ты пока поработай сам: учись читать и писать. Перед вечером заходи ко мне в общежитие: я буду задавать тебе уроки... Учиться необходимо. Если хочешь войти в жизнь и быть человеком, — учись, иначе бу-

дешь скользнуть по обрывам и скатываться на каждом шагу...

Говорит, а сам задумчиво глядит вдаль, и когда он уходит, я долго гляжу ему вслед и готов заплакать: всюду полно осенней печалью. Обмок ободранный сад, и там, где еще недавно пышно догорали фиолетовые клены, сегодня в серой мути безогненного дня озябшими нищими стоят мокрые деревья с черными прутьями оголенных ветвей.

«Учись, учись! — повторяю я слова Нюренберга. — А как тут учиться, когда писать надо правой рукой, а я левша?..»

Придавленный скукой и тоской, тихо плетусь к воротам, перелезаю через калитку и шагаю по безлюдной улице, сам не знаю зачем. Выхожу на Киевскую. Осматриваюсь.

На другой стороне поблескивают зеркальные окна самого большого магазина в Житомире. Наверху между окнами и карнизом протянута вывеска с аршинными золотыми буквами. Начинаю складывать и слог за слогом читаю.

— Ма-га-зин Жу-рав-ле-ва.

Несколько раз повторяю вслух прочитан-

ное, и даже самому не верится.

Чтобы убедиться в моем умении читать, я обращаюсь к проходящему мимо большому гимназисту:

— Это магазин Журавлева?

— Да. Но только не Журавлева, а Журавлева.

Мне немного стыдно, но я тут же успокаиваю себя: а какая разница? Но все же я прочитал, и не по азбуке, а по вывеске.

До самого обеда брожу по городу и учусь читать. И когда овладеваю такими многосложными словами, как: «ма-ну-фак-ту-ра, коло-ни-аль-на-я, цы-рюль-ня», — моей радости нет границ. Мне хочется бежать домой и рассказывать Станиславу, Оксане и всем, как я научился читать.

На Малой Бердичевской сталкиваюсь с Иосифом Розенцвейгом.

Он важно шествует, спрятав руки в карманы шинели. За спиной висит на желтых ремешках черный ранец. Лицо бледное, маленькое, и только кончик носа краснеет от холода.

— Здравствуй, Иоселе! — приветствую гим-

нациста.

Розенцвейг удивленно смотрит, но тотчас же узнает меня и растягивает тонкую кожу лица в улыбку.

— Где учишься? — спрашивает Иосиф, внимательно разглядывая мою шинель, фуражку и башмаки.

— Нигде еще... Жду метрики... Как пришлют, так сейчас же поступаю в институт. Сегодня читать научился. По вывескам научился...

— Кто показывал?

— Никто... Сам научился... Не веришь?.. Давай любую вывеску — прочитаю.

— И афишу читать можешь? — спрашивает Розенцвейг.

— Что такое афиша?

— Да вот, что висит на заборе, видишь? Там напечатано о театре... Вот прочти, ежели грамотный.

Мы подходим к афише.

Впиваюсь в черные буквы и не совсем уверенно объясняю, что читать умею, но не быстро.

— Пожалуйста, я не тороплю тебя: читай,

как умеешь, — говорит Иосиф, втягивая голову в поднятый воротник шинели.

Напрягаю память, зрение, складываю сначала про себя, а потом уже довольно четко произношу:

— Драматический театр, Гарин, «Король Лир», «Разбойники». Какие разбойники? — с неприятным удивлением спрашиваю я.

— Обыкновенные... Ну, как бы настоящие... Актерские... завтра я их увижу: с сестрой Эсфирью пойдем в театр... Билет стоит тридцать копеек. Вчера Яков ходил с Гришей... «Отелло» видели, а завтра мы увидим «Разбойников»... Неужели ты не видел?

Я не понимаю, но заинтересованно допытываюсь:

— И ты не боишься?

— Кого?

— Разбойников?

— Чудак... Ведь это же на сцене!.. Не понимаешь?..

— А что такое Гарин? — продолжаю допытываться.

— Гарин — великий актер... Мой брат Гриша говорит, что Гарин — самый великий на

свете... Он так представляет, что взрослые плачут. Ну, я озяб... Побегу домой... А ты молодец, что читать научился. До свидания!

И неожиданно Розенцвейг протягивает руку.

Осторожно и почтительно пожимаю холодную тонкую руку и невольно приподнимаю плечи, чтобы казаться выше ростом.

— А где оно находится, это представление? — спрашиваю я в надежде хоть издали увидеть таинственную штуку.

— Не представление, а театр... Наш переулочек пройдешь до конца, а там посреди площади театр стоит...

Я благодарю, кланяюсь и стираюсь быть почтительней, хотя я вдвое сильнее его.

— Если хочешь, — говорит Розенцвейг, — приходи к нам... Будем с тобой играть... У нас много книг с картинками...

— А разве можно? — спрашиваю я, удивленный и обрадованный неожиданным приглашением.

— Отчего нельзя?.. Ты прилично одет и читать умеешь... Мама моя позволит...

Иосиф сворачивает в переулочек и бежит

вприпрыжку, чтобы согреться. Я некоторое время гляжу ему вслед, а затем догоняю его...

— И я с тобой... Хочу театр посмотреть...

— Что же, беги... Там интересно, — говорит Розенцвейг, не останавливаясь.

Мы бежим рядом. Из вежливости стараюсь не обгонять его. А встречные, наверно, думают, что и я гимназист. У ворот дома, где живут Розенцвейги, мы расстаемся. Я бегу дальше.

Вот и конец переулка. Передо мною обширная площадь с большим каменным зданием посредине.

Пристально глядя, я вижу вывеску и читаю: «Городской театр».

Подхожу ближе. Дои хороший, крепкий, по без окон.

Обхожу вокруг здания и вижу изрядную кучу мальчишек и девчонок. Среди них немало гимназистов.

— Что здесь? — спрашиваю я.

— Здесь, — отвечает один из мальчуганов, — делают обрезание спрашивающим дуракам.

Раздается дружный смех. Я сконфужен, те-

ряюсь и не знаю, куда деваться. В это время со стоном и оханьем открывается тугая дверь, и появляется высокого роста мужчина с синими пятнами на щеках и верхней губе.

При появлении этого человека среди гимназистов происходит движение, и я слышу шопот:

— Вот он!.. Это сам Гарин!..

Бритолицый обводит нас большими серыми глазами, толстые губы складываются в улыбку, а затем он обращается к нам густым и низким голосом:

— Кто из вас хорошо понимает по-русски?

— Я понимаю! — неожиданно восклицаю я и чувствую, как загорается мое лицо.

— Ты?.. Очень хорошо... Ну-ка, давай познакомимся. Я — артист Гарин, а тебя знаю, как зовут: Мишка... Не спорь, пожалуйста... Мишка — и никаких чертей!..

Я подхожу к нему вплотную и головой чуть ли не касаюсь его колен.

— Ну, Мишка, пойдём ко мне, — говорит Гарин и широко открывает дверь.

Я следую за ним.

Попадаю в странное, никогда еще не ви-

данное мною помещение.

Вместо потолка на длинных палках висят какие-то полотнища, выпачканные зеленью. По бокам висят веревки. Всюду стоят огромные картины, изображающие деревья, горы, избышки и палисадники. На досчатом полу — будка с полукруглым отверстием.

Выбираемся из этих груд наваленногохлама и попадаем в широкий коридор. По обеим сторонам — комнаты, и в каждой из них вижу зеркало, стол и табуретки.

Следую за Гариным и никак не могу понять, что здесь такое.

Какие-то люди шмыгают мимо нас, торопятся и кричат друг на друга. Где-то стучат молотки и шуршит пила.

— Как вы трон поставили, идола! — слышится чей-то резкий, бранчивый голос.

Мы входим, как потом узнаю, в уборную самого Гарина. Комната просторней других и лучше обставлена.

Есть широкий мягкий диван, несколько стульев с высокими спинками, большое зеркало, а перед ним узкий стол, испачканный всякими красками.

Гарин садится на диван и всем грузным телом откидывается к стенке.

— Мишка, — обращается он ко мне, — дружок мой, скажи откровенно: ты грамотный?

— Грамотный, — отвечаю я игриво.

— А Киевскую улицу знаешь?

— Знаю. Я сегодня там был.

Гарин приподнимает голову и глядит на меня остановившимися глазами. Потом, икнув раза два, он строго спрашивает:

— Что ты там делал?

Начинаю понемногу робеть. Он мне кажется страшным. Говорит мой новый знакомый громко и раздельно, но каждое слово он сначала пожует, а потом уже сбросит с толстых и подвижных губ. И слова получают измятыми, ущербленными и пугающими.

— Я спрашиваю: что ты ди-а-дедал на Киевской? Ну?!

— Читал вывески, — тихо отвечаю я и мысленно измеряю расстояние, разделяющее меня от этого необыкновенного человека.

— Вывески?! — густой октавой переспрашивает Гарин и внезапно выплескивает кз себя такой сочный, заразительный смех, что

невольно и я начинаю прыскать.

— Читал вывески... Ах ты, Спиноза этакий!.. И придумал же занятие!.. Ох, не могу... ну и клоп!..

Громкий неудержимый смех катает его по дивану, крупное чисто выбритое лицо становится багровым, а громоподобный хохот потрясает комнату.

И вдруг он неожиданно умолкает, лицо вытягивается, становится серьезным, и он простым человеческим голосом говорит мне:

— Вот что, Мишка, ты мне нужен... Он достаёт из бокового кармана визитки запечатанный конверт и продолжает: — Это письмо снеси сейчас на Киевскую. Там найдешь Варшавскую гостиницу. Войдешь и попросишь швейцара, чтобы он показал тебе третий номер, где живет одна дама... Здесь, на конверте, все написано... Этой даме передашь письмо, получишь ответ и беги с ним сюда, ко мне. Понял?

— Да.

— Ну, так мчись!.. Исполнишь — награжу по-царски...

И я мчусь, но по дороге вспоминаю, что не

обедал, и сворачиваю домой. Письмо спрятано в боковом кармане шинели.

Прихожу во-время: Филипп и Станислав сидят в кухне за столом в ожидании обеда. Курсанты уже поели, и в пустой столовой видны неприбранные еще столы.

Немедленно усаживаюсь рядом с Филиппом, срываю с головы фуражку и, глотая слова, торопливо рассказываю о моих приключениях.

Оксана подает миску с супом и сама садится с нами.

Мы беремся за ложки.

— Увидит Мэн, что кушаешь без шапки, будет тогда история, — замечает Филипп.

Вилообразные усы Станислава шевелятся от тихого внутреннего смеха.

— А мы его заховаем, — говорит Оксана.

Среди этих людей я чувствую себя свободно, по-родному. И я знаю, что они любят меня и что я радую их своей резвостью и звонким смехом, заполняющим обширную закоптелую кухню.

Наиподробнее рассказываю о моих сегодняшних успехах на Киевской ули-

це и, конечно, не скуплюсь на преувеличения.

— А когда Розенцвейг услышал, как я читаю, — повествую я, — протягивает он мне руку и говорит: «Теперь ты мой товарищ на всю жизнь. Приходи ко мне каждый день: будем играть и учиться...» А дом-то у них большущий, игрушек горы, а книг с картинками — не счесть...

Лица у моих слушателей расцветчиваются улыбками, а у Станислава глаза суживаются и становятся поблескивающими щелками.

— Ну, хлопчик, почитай и нам трошки, а мы послушаем, — обращается ко мне сияющая от радости Оксана.

— А где тут вывески? — спрашиваю я и развожу руками.

Все дружно смеются. Даже у Филиппа рябинки наливаются румяной веселостью, и под ухом лихо качается серьга. Потом я рассказываю о моем знакомстве с «великим» Гариным и показываю им письмо.

— Он сказал, что наградит меня по-царски, — хвастаю я.

— По-царски?.. Вот история!.. — говорит

Филипп и спрашивает: — Что же он может дать тебе такое?

— Все, что захочет... Он даже может живую лошадь подарить...

— Вот так подарок! Куда же ты ее денешь? На печь живая лошадь не полезет...

— А я сяду верхом и в Петербург уеду...

Веселый смех окружает меня, и каждому хочется со мной пошутить.

Пообедав, вылезая из-за стола и берусь за шинель.

Оксана оправляет на мне воротник, застегивает верхний крючок и дает наставления: не озорничать, с мальчишками не драться, а как стемнеет, итти домой.

Понимаю, что Оксане без меня скучно. Но не могу же я всю жизнь сидеть на кухне, когда так интересно на свете.

## 14. Театр

**И**сполнив поручение, бегу к Гарину. Навстречу мне ползут сумерки наступающего вечера. Перед главным подъездом театра какойто человек на приставной лестнице оправляет лампу в одном из четырех фонарей.

Иду к заднему ходу, но попасть в театр не могу: не достать мне дверной ручки. А народу собралось здесь еще больше, чем днем.

Все говорят и спорят о каких-то контрамарках.

— Откройте, пожалуйста, — обращаюсь я к высокой стриженной девушке, стоящей близко к двери.

— А тебе куда?

— Мне к Гарину... Письмо ему несусь.

— К Гарину?! — удивляется она. — Дай мне, я снесу.

— Да... так я и дал!..

— Такой маленький, а уступить не хочет, — говорит она и смеется во весь рот.

— Он не маленький, — вступает в разговор кто-то, — у нас в доме живет карлик еще меньше его ростом, а лет ему за тридцать...

В это время кто-то изнутри распахивает дверь, и я мышью проскальзываю в театр.

За время моего недолгого отсутствия здесь уже все изменилось так, что не соображу, куда идти.

Предо мною какая-то высокая стена, и до того тонкая, что качается при малейшем при-

косновении, и двустворчатая дверь посредине. Переступаю порог и в полумраке вижу, что нахожусь в большой роскошной комнате. Мягкий ковер во весь пол, кресла, столы, цветы, позолота, бархат и... прежняя будка с черной полукруглой дырой. А за комнатой — возня, крики, перебранка и стук молотков.

В боковой стене вижу еще одну дверь и направляюсь к ней, чтобы выйти отсюда и найти уборную Гарина.

Письмо, полученное мною от красивой дамы в Варшавской гостинице, держу крепко в руке.

Осторожно, чтобы не запачкать ковер, плыву на цыпочках к намеченной двери. Но только выхожу, натыкаюсь на рабочих. Их двое.

Тащат огромную штуку в деревянной раме. На махине этой темно-коричневыми красками нарисованы не то шары, не то камни, а на камнях тучи вроде дыма...

— Куда волочите, идолы чортовы?.. — кричит знакомый мне голос.

— Приказано, — мы и несем... Наше дело маленькое, — ворчит один из рабочих.

Из темноты выплывает маленький быст-роглазый человек с неровными плечами: од-но значительно выше другого.

— Кто приказал?.. Зачем приказал?..

— Я велел, — несется из мрака чей-то ров-ный, спокойный голос.

— Вы?! Тем хуже!.. Должны же вы знать, что степь в третьем действии, а вы бурю та-щите на первый план.

— Знаем, знаем! — слышится все тот же го-лос невидимого человека. — Но нельзя же ку-лису нести через рампу! Напрасно горячи-тесь: все будет в порядке...

Рабочие трогаются. «Буря» скрипит и кача-ется — вотвот свалится. Первый рабочий, крепко вцепившись в рамку, движется спи-ной. Хочу перебежать и сталкиваюсь с рабо-чим.

— У, дьяволы!.. Откуда только эта мелкота здесь берется?.. Задавишь отвечай еще...

— Ты кто такой?.. Как сюда попал?..

Маленький человек стоит предо мною и ввинчивает карие зрачки в мое лицо.

— Я к Гарину... Письмо несу...

— Так бы и сказал... А то тычешься в но-

ги... Иди по коридору, третья комната направо... И скажи Гарину: «Режиссер просит гри-мироваться: реквизит привезли»...

Непонятные слова пчелами впиваются в мою память, и мне хочется запомнить их навсегда.

Вхожу в уборную и останаливаюсь в удивлении: «великий» Гарин лежит распластаный на диване с налитым кровью лицом.

Руки раскинуты, крахмальная грудь рубахи измята, ноги, обутые в лакированные ботинки, не вместе: одна на диване, другая — на полу, а сам храпит целым оркестром.

На столе мигает и пахнет керосином лампочка. Стою в нерешительности: будить боюсь, а письмо передать надо. Скоро наступит ночь, мне домой пора: Оксана браниться будет. Делаю еще один робкий шаг и хочу вложить в сжатую ладонь спящего письмо, но в это время входит еврей среднего роста, широкоплечий, грудастый, с толстыми волосатыми руками и с густой черной бородой.

Он похож на мясника. Вслед за ним появляется маленький крикун-режиссер. Сейчас его трехугольное, чисто выбритое лицо ласко-

во улыбается, и он просительными глазами смотрит на еврея.

— Ну где же ваше слово? — говорит еврей, указывая на лежащего Гарина. Вы же мне сказали, что он будет трезв, как стекло... И он-таки лежит, как стекло. Ой, я уже вижу, что мнетаки придется закрыть спектакли!.. Вы хотите, чтобы я нищим ушел отсюда... Ведь я городской управе плачу вперед, а сам получаю назад. Вы же помните, как «Человек, который смеется» не состоялся?.. А почему не состоялся?.. А потому, что господин Гарин на ногах не стоял... Но я не хочу докладывать на этом деле!.. Вы слышите?.. Не хочу!..

Еврей не говорит, а кричит изо всей мочи. И спящий просыпается. Сначала Гарин потягивается и рычит, потом приподнимается и обеими руками трет лицо и голову, а затем длительно зевает, встает и, заложив руки за голову, вытягивается во весь гигантский рост и так рывкает, что еврей невольно делает шаг назад.

— Кто вы и что вам от меня надо? — гудящим басом обращается проснувшийся к пришедшим.

— Господин Гарин... Извините меня... — начинает еврей тихо и примирительно, — но я пришел просить вас, чтобы вы мне из «Короля Лира» не сделали «Человека, который смеется»... Сегодня полный сбор... И если мне придется возвратиться публике...

Гарин не дает ему договорить:

— Вон отсюда!.. Здесь храм искусства, а не базар!..

Мощный голос Гарина ветром сдувает пришедших, и оба исчезают.

А я прижимаюсь к стене и не знаю — бежать или оставаться?

— Мишка!.. Ты здесь, миляга?.. Получил ответ?..

И уже другой человек говорит: тон мягкий и приятно-густой.

Я подаю письмо. Гарин подходит к лампочке, наклоняется и читает.

— Ага!.. То-то!.. Вот так лучше будет... — шепчет он про себя.

Потом садится на стул, задумывается и вдруг вскакивает, идет к двери, высовывает в коридор голову и кричит:

— Парикмахер!..

Рев Гарина катится большими барабанами, и сейчас же раздаются чьи-то торопливые шаги.

Вбегает тонкий, костлявый человек на длинных ногах-ходулях, в коротенькой черной визитке. Небольшая птичья голова его висит на гусиной шее впереди туловища.

— Уберите эту вонючку и дайте пару свечей! — приказывает Гарин.

Парикмахер, согнувшись в «э» обратное, хватает лампочку и молча уходит.

Гарин снова опускается на стул, роняет тяжелую голову на грудь и стонет.

— Какая гадость во рту! — ворчит он. — Футь, чорт возьми!

Потом, обращаясь ко мне:

— Мишка, голубчик ты мой... Сбегай, душа моя, за квасом... Знаешь, тут на площади погреб есть...

Он запускает два пальца в жилетный карман, достает двугривенный и протягивает его мне...

— Сбегай... сделай милость...

С этого момента попадаю во власть Гарина, теряю представление о времени и уже не

думаю об Оксане.

Возвращаюсь с квасом и застаю парикмахера. Комната освещена двумя свечами, воткнутыми в бутылки.

— Принес?! — радостно восклицает Гарин. — Ну, что Мишка за молодец такой!.. Сдачу возьми себе на орехи, — добавляет он.

В моей руке целый пятиалтынный! Мне даже не верится: никогда еще таких больших денег у меня не было.

Гарин выпивает квас залпом — стакан за стаканом.

Ладонью вытирает толстогубый рот, поднимается, расправляет широкие плечи, откидывает назад большую темнорусую голову, обеими руками подтягивает брюки и пробует голос:

— Та-ма-ра... Са-ла-ман-дра...

Из богатырской груди вырываются не звуки человеческого голоса, а вопли необычайной силы, заполняющие не только нашу комнату, но и все смежные помещения.

— Ну, что... как звучит голос? Недурно как будто? — спрашивает Гарин.

Парикмахер, прежде чем ответить, оправ-

ляет выскочивший из короткого рукава визитки манжет, вытягивает вперед голову с остренькой бородкой, похожей на запяную концом вверх, и говорит на плохом русском языке:

— Разве у вас голос звучит? Он бьет пудовым молотом прямо по голове.

Гарин хохочет. А спустя немного становится в позу, делается меньше ростом, суживает глаза, лицо принимает выражение оскорбленного человека, доведенного обидой до отчаяния, а затем голосом, полным злой горечи, декламирует.

*Дуй, ветер, злись, пока не лопнут  
щеки!..*

*Вы, хляби вод, стремитесь ураганом,*

*Залейте башни, флюгера на башнях...*

*Вы, серные и быстрые огни,  
Предвестники громовых тяжких  
стрел,*

*Дубов крушители...*

*Летите прямо*

*На голову мою седую.*

Я слушаю с остановившимся сердцем, и

полнозвучные слова, произносимые Гариным, живут и гнездятся под моим черепом.

— Вот что, дорогой мой, — неожиданно обрывает Гарин, обращаясь к парикмахеру, — с третьего действия мне понадобится второй парик... Тот самый, что надевал в Виннице...

— Это все можно, но где я возьму помощника? Захарка уже второй день валяется пьяный, а сегодня действующих лиц — целая си-нагога... Вот вы, господин Гарин, — продолжает парикмахер, — не любите евреев... А за что? За то, что мы не пьяницы? Мне уже сорок лет, а я, извините, ни разу еще не был пьян.

— Да неужели?! — перебивает Гарин. — Прожить сорок лет — и ни разу... От всего сердца жалею вас... А что касается помощника, то я рекомендую Мишку: человек на редкость... Мишка, пойдешь в помощники?

— Пойду, — откликаюсь я, уверенный, что мое согласие доставит удовольствие Гарину.

Парикмахер поворачивает свою маленькую птичью голову в мою сторону и всматривается в меня глазами ученого, разглядывающего козявку.

— Вы все шутить любите! — говорит Гарину парикмахер. — Какой же это помощник, когда он ниже моего колена?

— Это ничего не значит: мал, да удал...

Длиннокостный парикмахер подходит ко мне, наклоняется и спрашивает на родном языке:

— Ты еврейское дитя?

Я утвердительно киваю головой.

— Ну, идем уже, — обидчивым тоном говорит парикмахер и первый выходит из комнаты.

Я следую за ним. В коридоре нам встречается еврей, разбудивший давеча Гарина.

— Ну, что?.. Как там у него?.. — спрашивает еврей.

— Вы уже можете войти: он в порядке...

— Ой, вы себе представить не можете, сколько крови стоят мне эти знаменитые актеры!..

— Разве театр приносит вам убыток?

— Хорошенький вопрос!.. Уж я вам скажу по секрету: если бы я не держал ассенизационного обоза, я бы отсюда ушел без рубахи. Обоз — это действительно золотое дело. Но у

меня же еврейское счастье! И управа грозит отнять у меня ассенизацию, если я откажусь от театра. И вот то золото, что я добываю от вывозки нечистот, я отдаю этому сумасшедшему дому, чтоб он вам сторел.

Арендатор приподнимает широкие плечи, запускает толстые пальцы в темную чашу жестококудрой бороды и направляется к уборной Гарина. Не проходит и полчаса, как я уже становлюсь здесь своим человеком.

Все, что происходит сейчас перед моими глазами, поднимает меня на вершину радости, где я обогащаюсь новыми словами, новыми понятиями. Я на лету хватаю куски доселе неведомой мне жизни, заглядываю в тайны театрального волшебства, впитываю в себя и закрепляю в памяти своей каждое слово, малейший жест и мимику играющих лиц.

Быстро узнают меня актеры, плотники, режиссер, актрисы, бутафор, парикмахер... И всем я нужен, и поминутно меня зовут...

«Мишка, поддержи! Мишенька, подай щипцы!.. Мишка, позови бутафора!..» И я волчком обвиваю кулисы, шмыгаю по уборным актрис и актеров, вьюном проскальзываю через все

цели, ведущие на сцену, заглядываю в будку суфлера и не чувствую усталости, а время летит мимо, не задевая меня.

Нарождается сказка. Обыкновенные люди превращаются в королей, принцев, завоевателей, героев... Неинтересные женщины, старые и бедные, вдруг становятся царевнами, молодыми и гибкими, в богатых нарядах из шелка, бархата, парчи и сверкающих камней...

Эта живая сказка разворачивается с необычайной быстротой.

Только что бритоусые люди, с испытанными лицами, убогие и обтрепанные, перебранивались из-за какого-то пустяка, а сейчас они уже в рыцарских плащах, при шпагах, в шляпах с перьями, в высоких ботфортах с шпорами гордо и важно прохаживаются за кулисами.

А Гарин... Он — король до ногтей, до корней волос...

Хочу узнать его, но не могу: другая походка, и не его совсем глаза... Какое величие в его поступи, какая осанка, и какое холодное выражение лица. Я боюсь его...

— Мишка! — кричит режиссер. — Возьми вот этот колокольчик, пойди на сцену и дай звонок.

Не трудно вообразить, как я это делаю. В куцей и тесной курточке, в длинных, закатанных снизу брюках с двумя карманами, несусь вдоль рампы и так трясу колокольчик, что рука устает.

От радостного волнения горит мое лицо, кольца черных кудрей падают на глаза, пока подбежавший режиссер не вырывает у меня колокольчик.

— Ты никак взбесился! — шипит он на меня. — Сколько же надо звонить! Отнеси королю Лиру посох... Вон в углу стоит...

Еще немного — и начнется спектакль.

— Занавес! — хриплым шопотом приказывает режиссер.

И когда занавес поднимается, я впервые вижу зрительный зал, переполненный людьми. На темном фоне скупо освещенного театра желтыми пятнами выступают сотни лиц с сверкающими точками глаз.

Человеческая громада взволнованно молчит в ожидании зрелища.

## 15. Гарин

Осенняя ночь делает город липким, мокрым и темным.

А я иду, стучу ногами по каменной тишине пустынной улицы и ни чуточки не боюсь. Во мне сейчас живет король Лир, и ничто меня не страшит. Хочется только скорее попасть домой, втащить на печь неостывшие впечатления и осыпать Оксану рассказами о театре.

Подхожу к институту. Калитка на замке. В черной глубине ночи плавает красный глазок сторожевой лампочки.

— Дедушка Стась, я пришел! — кричу я.

Самого Станислава не видно: он весь ушел в огромный тулуп — наверно, спит. На мой голос, расколовший немую тьму, отзывается собачка, ночующая на стеклянной террасе, а потом приходит в движение тулуп Станислава. Сначала поднимается рукав, и из него высовываются два пальца, отгибающие края высокого воротника, а затем уже показывается лохматая бровь и длинный ус старика.

— Ну, кажить, люди добрые!.. Виткиля ты взялся?.. А тут Оксана все кутки очами перетыкала: тебя шукала... Хиба ж можно так гу-

ляты махонькому хлопцю?..

Станислав кряхтит, жалостливо вздыхает, медленно поднимается и шагает к калитке.

— Дедушка Стась, а я в театре был... Вот интересно где!..

— Тихо... Який ты горлатый!.. Панив разбудись... Эх, дитынка ты безридная!

Иду на кухню. Добрая Оксана не закинула крючка и не загасила лампочки. В буйном нетерпении срываю с себя одежду и по мешкам с мукой вскакиваю на печь.

Оксана спит. Подползаю на четвереньках к спящей, забираюсь к ней под одеяло, обнимаю ее за шею, нарочно прижимаюсь к ней плотнее, а она не слышит. Вот досада!

Кому же я расскажу о том, что делалось в театре?

Спать мне совсем не хочется... Да и как тут уснешь, когда перед тобою сам король Лир!.. Вот он стоит ночью во время бури...

На нем рваный плащ и пучок соломы на голове. Родные дочери выгнали старика, и слезами полна каждая морщинка на его лице, плачет каждая складка его одежды, и жалок каждый волос на его седой голове...

Я вижу взбудораженный зрительный зал. Гарин подходит к самому краю сцены и наклоняет голову, а взволнованные зрители осыпают его ливнем рукоплесканий, восторженными криками и топанием ног.

Опускается занавес. Гарин идет за кулисы. Я стою, прижавшись к «буре», и плачу от жалости к Лиру.

— Мишка, ты о чем это? — спрашивает Гарин прерывающимся голосом.

— Да... мне, чай, жалко вас...

— Жалко?.. И ты из-за меня плачешь?.. Ах ты, миляга этакий!..

И Гарин, подняв меня, целует в голову.

— Вот кто по-настоящему оценил меня! — говорит он, обращаясь к подошедшим актерам. — Никогда этого не забуду.

Воспоминания живут и горят в моей голове... Громоздятся образы, плывут розовые туманы, смешиваются лица и голоса, разверзается темная глубь, я падаю в бездну и... засыпаю.

Просыпаюсь поздно, после завтрака. Сегодня воскресенье, и училище закрыто. Со двора не доносится обычного детского шума.

Филипп заканчивает уборку столовой.

Оксана подходит к печи и, видя, что я проснулся, делает мне выговор.

Впервые слышу в голосе доброй горбуны недовольство и раздражение. Меня это огорчает и волнует. Наскоро одеваюсь и начинаю лебезить.

— Тетенька Окся, ты не сердись на меня: ведь я в театре был...

И вдруг вспоминаю, что у меня имеется подаренный мне Гариным пятиалтынный. Бросаюсь к шинели, нахожу в кармане монету и подношу Оксане:

— Вот что я заработал!

Оксана удивлена и обрадована. Тут же она решает купить ситцу и сшить мне рубаху. А я безумолку рассказываю о Гарине, о режиссере, рассказываю про еврея, обливающего золотом театр, излагаю историю короля Лира, говорю о парикмахере и о том, как Гарин меня поцеловал и велел сегодня притти на репетицию.

— А що це таке? — спрашивает Оксана.

— Это... это такое непонятное слово... Я теперь много непонятных слов знаю. Вот слу-

шай: «рампа», «монолог», «трагедия», «грим»...

Стою посреди кухни, размахиваю руками, откидываю назойливые кудри, падающие на глаза, и рассыпаю звонкие слова, прочно засевшие в моей памяти.

В квадратном отверстии столовой живым портретом в раме стоит Филипп. А у дверей в недоумении останавливается вошедший Станислав с трубкой в усах.

— Як це вин запоминав! — удивляется Оксана.

А Филипп рассуждает:

— Почему не запомнить, ежели охота есть? У нас в полковой церкви дьячок был, так всю библию и житие святых наизусть выливал, как из пожарной трубы. Вот какая история...

— Хотите знать, как Гарин говорил, когда дочери выгнали его в степь во время бури?

— Валяй, валяй, послушаем! — поощряет меня Филипп.

Принимаю позу Гарина и, к моему собственному удивлению, произношу монолог «Дуй, ветер, пока не лопнут щеки» до конца и

без запинки [Этот монолог, в том виде, как его произносил Гарин, я запомнил дословно а помню по сей день.]

Результат получается неожиданный. Оксана хмыкает и подносит кончик передника к глазам, а Филипп и Станислав серьезно переглядываются и глазами выражают свое удивление.

И я понимаю, что изумил и растрогал друзей, и радуюсь тому, что умею бросать перед взрослыми такие сильные и печальные слова.

А когда после этого я заявляю, что отправляюсь сейчас в театр, Оксана меня не удерживает, понимая, должно быть, что я попал в хорошее место.

На дворе сухо, холодно и просторно. Сквозь сад, раздетый догола, серая пустыня горизонта веет стужей. Ветер бьет по лицу морозными колючками. Ледяные струи воздуха забираются в рукава и обвивают шею. Всовываю руки в карманы шинели, прячу голову в поднятый воротник, бегом несусь к театру. Моментами, изображая дикую лошадь, пускаюсь вскачь, и, когда вырываюсь из переулка

на площадь, мне даже становится жарко.

Но я торопился напрасно: театр закрыт, и я догадываюсь, что прискакал слишком рано. Тогда поворачиваю обратно домой.

Проходя мимо дома Розенцвейгов, вспоминаю о вчерашней встрече с Иосифом и останавливаюсь у знакомых ворот.

Одну минуту стою в нерешительности, а потом, набравшись смелости, отталкиваю калитку, вхожу во двор и вижу в окне лицо Иосифа. Он узнает меня, приветствует улыбкой и рукой показывает, куда идти.

Дом у Розенцвейгов большой. Комнат так много, что заблудиться можно.

Прежде, когда моя мама служила здесь стряпухой, я забегу, бывало, к ней в уголок и жду, а мама с румяным и влажным от пота лицом хлопчет около сковородок да чугунов и нет-нет да взглянет на меня, вздохнет, улыбнется, а потом подойдет ко мне, поглядит большими серыми глазами, всунет в руки кусочек съедобного и торопит меня:

— Иди домой, мой птенчик... Иди, мой маленький... Здесь нельзя долго...

А сейчас мы с Иосифом проходим через

несколько больших и богато обставленных комнат, пока не попадаем в детскую, где я Розенцвейгу рассказываю о театре и о Гарине. Иосиф, не дослушав меня, кричит через открытую дверь:

— Яков, иди сюда скорей!..

Из соседней комнаты входит брат Иосифа. Ему уже теперь двенадцать лет. Он перешел во второй класс. Он по прежнему горд и самостоятелен. Лицо у него смуглое, глаза черные, а на остром подбородке ямочки.

— Чего орешь? — спрашивает Яков, покосившись в мою сторону.

— Понимаешь, он знаком с Гариным... Вчера весь вечер пробыл за сценой... Гарин поцеловал его... Он, когда хочет, может пойти в театр без билета... Честное слово!.. — сыплет без передышки Иосиф.

Яков заинтересовывается, но не хочет показывать виду и сдвигает черные брови. Но я вижу, как с его тонкого лица спадает гордое выражение, а губы складываются в улыбку.

— Это правда? — коротко спрашивает он, обращаясь ко мне.

— Да, правда...

— Как ты попал к Гарину?

— Он сам со мною познакомился... Я стоял около дверей, а он выходит из театра и говорит мне: «Давай познакомимся... Я — артист Гарин, а ты Мишка...»

— Какой Мишка?

— Не знаю. Назвал он так, и теперь весь театр меня Мишкой зовет...

Иосиф хохочет, а Яков улыбается уже по-настоящему.

В это время мимо детской проходит Эсфирь — сестра Розенцвейгов. На ней коричневое платье и черный передник. Длинная и толстая коса, цвета спелого каштана, перевязана красной ленточкой. Лицом похожа на Якова.

— Эсфирь, пойдика сюда! — приглашает ее Яков.

Девочка входит, скользя темным взором по нашим возбужденным лицам, и, подняв тонкую, с острым локтем руку к затылку, перебрасывает тяжелую косу со спины на грудь.

Запоминаю ее высокие башмаки, плотно обхватывающие ноги и поблескивающие черным лаком.

— Вот этот мальчик хорошо знаком с Гариным, — представляет меня Яков.

— Гарин его Мишкой называет, — сквозь смех вставляет Иосиф.

Эсфирь медленно поднимает ресницы и спрашивает, обращаясь ко мне:

— А как вас на самом деле зовут?

Впервые за всю мою жизнь мне говорят «вас», и я от неожиданности начинаю краснеть.

— В Петербурге, — отвечаю я, — меня звали Сеня, а здесь — Шимеле... Сейчас пойду на репетицию... Меня там ждут... — бессознательно добавляю я и чувствую, как стыд обдает меня горячей кровью.

Эсфирь черными ресницами проводит черту по моему пылающему лицу и насмешливо кривит губы, обнажая сверкающую россыпь нежно-кремовых зубов.

— Вы там какую роль играете? — спрашивает она, и хитрым женским смехом наполняются ее прищуренные темные глаза.

Мне становится душно в этом просторном доме, и уж не помню, как хватаю фуражку и ухожу. На улице глотаю свежий воздух и спе-

шу к театру.

Слышу, меня кто-то догоняет. Оглядываюсь — Яков.

— Послушай... мне нельзя с тобою? — просительно спрашивает он.

— Отчего нельзя? Можно... Попрошу Гарина — он и позволит. Ты мне только дверь открой: ручка высокая очень... Я войду один, а потом тебя позову.

Яков на все согласен, лишь бы попасть в театр.

На сцене обычная суета: готовятся, как я потом узнаю, к репетиции «Разбойников». Обстановка та же, что и вчера. Нет только «бури», и позолоченный трон обтянут коричневой материей. Актеры бродят по сцене с тетрадками в руках. Суфлер залезает в будку.

— А, Мишка! Пришел? Тебя Гарин спрашивал, — бросает мне на ходу режиссер.

Бегу в уборную Гарина и застаю его сидящим за гримировальным столом. Перед ним — недопитый полуштоф водки, кусочек черного хлеба и обкусанный соленый огурец. На нем — ночная сорочка, брюки и мягкие туфли. На диване измятая постель.

— Вот молодец, что пришел... Здравствуй, миляга!.. Ты, брат, мне нужен...

Гарин откидывает мягкую прядь волос и молча, но выразительно показывает на диван.

— Здесь ночевал... Вот что жена делает... Эх-хе! Хотят меня разлучить со сценой... Ну, конечно, разве можно?.. Именитая дворянка, и вдруг муж комедиант... Позор!.. А того она не знает, что сорок тысяч прекраснейших женщин не смогут меня, Константина Гарина, оторвать от искусства...

Я понимаю, что Гарин говорит сейчас не со мною, а что ему просто необходимо высказаться. По его красивому, но измученному бессонной ночью лицу и по протяжным вздохам, время от времени вырывающимся из его широкой груди, видно, как этот человек страдает, и в моем сердце растет к нему такое участие, что готов на какие угодно подвиги, лишь бы вернуть его к тому веселому и безобидному настроению, в каком я его видел вчера.

— Мишка, друг мой... После репетиции я напишу письмецо, и ты отнесешь его на Ки-

евскую улицу... Эххе!.. Еще одно, последнее сказанье — и жизнь семейная окончена моя.. Вот что, Мишка... Вчера ночью я попал в какую-то гадость и башмаки испакостил... Можешь ты их вычистить?

— Могу, господин Гарин! — с горячей готовностью откликаюсь я.

— В таком случае, возьми их, и в бутафорской...

Не дослушав, хватаю ботинки и убегаю. А немного погодя когда возвращаюсь с начищенной обувью, я вижу Гарина, широко шагающего по комнате и на ходу подтягивающего брюки.

— Ай да Мишка!.. Хороший ты, брат, человечиче...

Он подходит к столу, берет в руку зеленоватый штоф и задумывается.

— Пить или не пить! — произносит он по-театральному.

— Не пить! — почти бессознательно восклицаю я.

Гарин быстрым движением оборачивается ко мне и долга смотрит на меня сверху вниз.

— Ин быть по-твоему... Эх-хе!.. — произносит он протяжно и печально, а затем подходит к зеркалу, внимательно вглядывается в свое отражение и густой октавой роняет слова: — Вот она рожа разбойника... С такой физиономией Гамлета не изобразишь... Эххе!..

— Мишка, — неожиданно обращается он ко мне, — пойди, миляга, на сцену и скажи режиссеру, что репетицию начну со второй картины. Ну, что же ты? добавляет он, видя, что я мнусь на месте.

— Господин Гарин, у меня товарищ... Гимназист второго класса... Стоит на площади... Ему хочется посмотреть на репетицию... Можно?..

— Ну, конечно же!.. Гимназисту, да еще второго класса!.. Я, брат, люблю образованных... Тащи его в зрительный!..

Мы с Яковом сидим в первом ряду и с радостным волнением воспринимаем все, что делается на сцене. Режиссер объясняет актерам, что они сейчас находятся в корчме и должны изображать людей, готовых стать разбойниками.

На сцену поднимается Гарин. Он идет вя-

лой, изломанной походкой, с опущенной головой и притом еще сутулится. Сонными глазами окидывает он собравшихся вокруг стола актеров, громко и длительно зевает, а затем садится верхом на первый попавшийся стул, руками обнимает спинку и спрашивает:

— Можно начать?

— Да, да, — поспешно откликается режиссер.

Гарин тихим и ровным голосом читает свою роль, а остальные действующие лица подают ему реплики. Режиссер, маленький и подвижный, с опухшей от флюса щекой, хлопчет изо всех сил, поминутно вмешивается, делает указания, обозначает места, где кому стоять, сидеть, ходить, поправляет интонацию, жесты, мимику...

От бесконечных повторений одних и тех же слов и сцен и от будничных голосов усталых актеров просачивается к нам, сидящим в первом ряду, монотонная серая скука.

Вижу, как Яков хлопает глазами, и мне становится неловко за Гарина, за актеров, а главное за то, что угостил Розенцвейга таким негодным и пустяшным зрелищем. Как вдруг

Гарин встает, отшвыривает стул, выпрямляется и мгновенно становится артистом. С первым поворотом его прекрасной гордой головы и широким властным взмахом рук исчезает скука, а сам Гарин преображается до неузнаваемости.

Он гибок, строен, ритмичен и весь пылает страстью.

— К чему все это? — бросает он режиссеру. — Зачем вы их расставляете, как солдат? Не забывайте, что мы не простые разбойники, а революционеры...

Гарин выходит на середину сцены, горячим взглядом больших темных глаз пробегает по всем действующим лицам и, напитав голос бунтующими нотами, громким голосом продолжает:

— Мы протестуем против существующего строя... Вслушайтесь в слова Карла: «Мне ли заковать свою волю в существующие законы? Закон заставляет ползать улиткой того, кто бы взвился орлиным полетом. Закон не создал еще ни одного великого человека, тогда как свобода рождает гениальных водителей человечества!..» Поняли? — обращается он к

актерам. — Кто вы, собравшиеся сюда? Вы мои единомышленники. Через несколько минут вы выберете меня своим атаманом. Мы хотим сорвать плесень с болота, именуемого жизнью... Так действуйте!.. И пусть ваши мятежные сердца горячей кровью брызнут по зрительному залу...

С этого момента Гарин сам ведет репетицию. Под его страстным и бурным руководством актеры оживают, становятся бунтарями, их голоса крепнут, звучат убедительно, и репетиция превращается в спектакль.

Мы с Яковом взволнованы и потрясены до того, что не находим слов, и выражаем свой восторг тихим оханьем да вздохами и толканием друг друга локтями в бока.

## 16. Розенцвейги

**И**з чувства благодарности Яков сопровождает меня на Киевскую улицу, куда после репетиции отправляюсь с письмом по поручению Гарина, а на обратном пути он приглашает меня к себе.

— Со мною и пообедает, — говорит Яков, — а потом с Иосифом поиграешь, — добавляет он тем покровительственным тоном,

каким старшие говорят с младшими.

Сознаю, что, не будь на моем пути Гарина, Яков не обратил бы на меня никакого внимания. Да оно и понятно: какой я товарищ гимназисту второго класса, сыну богатых родителей, я, никому не принадлежащий мальчик, да еще такой маленький?.. И хотя я это понимаю, но внутри меня все же горит обида, и мне хочется доказать брату Иосифа, что я не так уже глуп, чтобы со мною нельзя было вести знакомство.

С этой целью я всю дорогу рассказываю о моих близких отношениях с Гаринным и со всей труппой.

— Знаешь, Гарин от меня ничего не скрывает, а иногда даже советуется со мною. «Пить или не пить?» — спрашивает он у меня, а я ему: «Не пить!» И он не пьет... Сегодня я ему ботинки почистил. Вот уже был он рад!.. И еще знаешь, что?.. Я короля Лира помню...

Яков на минуту останавливается, заглядывает мне в рот и спрашивает:

— Как ты его помнишь?

— Наизусть. У Гарина выучился... Не веришь? А хочешь, я сейчас произнесу «Дуй, ве-

гер, пока не лопнут щеки...» А то еще: «Зачем живет собака, лошадь, мышь?..» И это я знаю.

Мы входим в переулок, где живут Розенцвейги. Шагаем вдоль деревянного забора. Прохожих не видать. Мороз высушил мостовую, и переулок без обычной грязи кажется пустынным и холодным.

Я становлюсь в позу и приступаю к монологу. Подражаю Гарину до последней черточки. Повторяю его жесты, паузы, мимику, и как у него, так и у меня кипят слезы в горле, и тяжкая обида вырывается из надломленной старческой груди стонущие вздохи.

У Якова от изумления лицо становится длинным и тонким и глаза круглыми.

— Замечательно!.. Как это ты запомнил?.. И ведь все верно!.. Замечательно!..

Чувствую, что покори́л Якова, однако мне этого мало, и я приступаю к «Зачем живет собака» и так далее, но в это время изза угла показывается незнакомая женщина с ребенком на руках, и Яков меня останавливает.

— Здесь не надо... Пойдем к нам. Я позову всех наших, и ты сыграешь короля Лира... Даже можно настоящий спектакль устроить...

Это будет замечательно!.. Ты ведь согласен?..

Я, конечно, согласен и заранее торжествую: вот когда я отвечу Эсфири на ее вопрос: «Вы там какую роль играете?»

На этот раз попадаю в дом Розенцвейгов не через кухню, а через парадный вход. В обширной передней с стоячими вешалками, нагруженными шубами и всяким иным верхним платьем, Яков предлагает мне снять шинель. Из передней мы попадаем в большую комнату, освещенную пятью окнами, украшенными тюлевыми гардинами. Вдоль стен расставлены черные стулья и кресла с пунцовыми атласными сиденьями. В правом углу от входа поблескивает черным лаком фортепьяно с белым оскалом клавишей.

В зеркале, поднимающемся от пола до потолка, я вижу себя и Якова.

Впервые предстаю перед самим собой во весь свой ничтожный и жалкий рост. Какая разница между мной и Яковом! Он вдвое выше меня, выпуклая грудь осыпана золотыми пуговицами, сапоги новые скрипят, голова гладко причесана на косой пробор, и весь он сияет чистотой. А я, с моей, лохматой, кудря-

во спутанной головой, похож на пуделя, наряженного бедным мальчиком. Мои искривленные башмаки, покрытые засохшей грязью давно минувших осенних дней, длинные закатанные брюки и коротенькая тесная курточка с заплатами на локтях делают меня смешным и неподходящим к этой шикарной обстановке, где каждый стул кричит мне: «Осторожней, запачкаешь!..» Вдобавок ко всему у меня нос не в порядке, и я не знаю, во что и как высморкаться.

С каким удовольствием я бы сейчас повернул назад, чтобы не быть среди этой роскоши, не видеть этого противного зеркала и не ступать по этому ковру! Но Яков тащит меня дальше. И я помимо воли следую за ним, тихо шморгаю носом и от стыда обливаюсь потом.

Выходим в широкий полутемный коридор, заставленный сундуками и шкафами необычайной величины.

С обеих сторон коридора — белые двери, ведущие в разные комнаты.

— Здесь, — объясняет мне Яков, — наша половина. Тут моя с Иосифом комната, а в остальных живут дедушка с бабушкой, стар-

шие братья и Эсфирь. В будущем году у меня тоже будет отдельная комната, — добавляет он солидно и приглашает войти к нему.

Помещение небольшое, и убранство неважное. Вдоль стен две кровати, накрытые красными одеялами. (Впоследствии я убеждаюсь, что любимый цвет Розенцвейгов — красный). На стене висит полка с книгами. Стол, забрызганный чернилами, и пара простых стульев довершают обстановку.

— Ты посиди здесь немного, а я пойду на счет обеда. Сейчас, наверное, Иосиф придет, — говорит Яков и уходит.

Как только остаюсь один, я начинаю шарить по комнате, нахожу листик почтовой бумаги, свертываю фунтик и освобождаю нос, а бумажку прячу на полку за книгами.

И мне сразу становится легче.

В доме так тихо, что он мне кажется необитаемым.

Вдруг напротив меня раскрывается дверь, и показывается маленький старик с круглой седой бородой, румяным сморщенным лицом и белыми пушистыми бровями. В одной руке держит зажженную свечу, а в другой — тол-

стю палку с мягким наконечником.

— Хане, где ты? — хрипловатым голосом зовет кого-то старик и весь трясется, а свеча в сухой руке качается и роняет капли воска. — Я ищу тебя с огнем, — продолжает он.

В это время открывается дверь следующей комнаты, и показывается старушка в белом чепце и в темном гладком платье.

— Я здесь, — откликается она и мелкими шажками идет ему навстречу. Что ты беспокоишься?.. Меня уже теперь никто не похитит...

Старушка подходит к старику вплотную и тушит свечу. Тот смеется мягким беззубым смехом.

Догадываюсь, что это дедушка и бабушка Розенцвейгов, но не могу понять, зачем понадобилась старику свеча, когда и без того еще светло.

Когда я об этом рассказываю Якову, он мне объясняет, что дедушка большой шутник и что он часто забавляет бабушку, делая вид, что ищет ее «днем с огнем».

— Нашему дедушке уже девяносто два года, — хвастливо замечает Яков.

Горничная нам приносит обед.

После обеда Яков приступает к устройству домашнего спектакля.

Ему горячо помогает Иосиф.

Вначале они хотят из простынь сделать занавес, но ввиду того, что действующих лиц, кроме меня, никого нет, решают обойтись только расстановкой стульев для «публики».

Все это происходит в детской, в довольно просторной и почти пустой комнате, если не считать одного длинного стола, черной классной доски и нескольких географических карт, развешанных на стенах.

Иосиф поминутно убегает и возвращается с сообщением о том, кто выразил согласие быть на спектакле.

— Бабушка с дедушкой сказали, что придут обязательно... И мама обещалась... А у Гриши товарищи. Сейчас пойду просить их... Можно? добавляет Иосиф, обращаясь ко мне, и, не дождавшись ответа, убегает.

Яков расставляет стулья, принесенные из всех комнат. Я сижу в углу и с тоской поглядываю на Якова. Сознание, что я сейчас стану для всех смешным, тревожит, волнует и зара-

нее стыдит меня.

Из моей подавленной памяти выливаются первые слова: «Дуй, ветер, пока не лопнут щеки...», а дальше — ни звука. Все остальное кто-то «вы дунул» из моей головы. И зачем так торопиться?.. Лучше бы завтра это устроить... Ах, если бы я мог превратиться в муху и незаметно вылететь отсюда!..

Прибегает Иосиф.

— Яков, скажи ты Эсфири... Чего она ломается?.. Ее подруги Прива и Лиза хотят пойти, а она отговаривает.

— Ладно, сейчас пойду сам, — отзывается Яков, занятый расстановкой стульев. — А Мендель придет?

— Он читает Дарвина и разговаривать не желает.

— Хорошо, сейчас иду...

Яков уходит, и мы с Иосифом остаемся вдвоем.

Маленький Розенцвейг не умолкает ни на минуту и пристает ко мне со всякими глупыми вопросами и советами. А я трушу, собираюсь в комочек и заранее измеряю глубину пропасти, куда я неминуемо скачусь, как

только соберется публика.

Появление Эсфири с двумя подругами убивает меня наповал.

От сильного смущения у меня глаза заволакиваются и в ушах шумит. Но это состояние длится не долго. Яков, должно быть, сумел убедить сестру в том, что я отлично подражаю Гарину и что мое выступление окажется «замечательным».

Сейчас Эсфирь смотрит на меня не прищуренными глазами, и в ее улыбке я уже не замечаю презрительной насмешливости.

Напротив, она хочет принять деятельное участие, советует меня загримировать и до начала спрятать меня от «публики».

Мысль, брошенная Эсфирью, сейчас же находит отклик, и тихий дом оживает, наполняется молодыми голосами, раскатистым смехом, вспышками коротких споров, беготней и хлопаньем дверей.

Притаскивают ширму, чтобы спрятать меня от зрителей до моего выхода. Потом приносят «мамин» платок.

Из него Эсфирь с помощью подруг — двух тоненьких блондинок с голубыми ленточка-

ми в коротеньких косичках — хочет сделать для меня плащ.

Но я так мал, а платок настолько велик, что приходится сложить его вдвое. Меня вертят во все стороны, заставляют изгибаться, выпрямляться, забывая, что я предмет одушевленный. Вся эта суетня вокруг моей особы начинает мне нравиться, и я постепенно осваиваюсь. Когда длинноногая Эсфирь, с булавками в губах, заправской портнихой опускается предо мною на корточки, чтобы закрепить складки «королевского плаща», я весело смеюсь ей прямо в лицо и в упор разглядываю двух поблескивающих мальчиков в ее черных густообресниченных глазах.

Собирается публика. Первыми появляются бабушка и дедушка.

Иосиф усаживает их в первом ряду и тараторит безостановочно.

Говорит он со стариками по-еврейски.

— Это ничего, что он маленький... Яков говорит, что он настоящий артист... Честное слово!..

— Ты мне скажи, кто он такой и откуда взялся? — спрашивает дедушка и в ожидании

ответа отгибает раковину уха большим и указательным пальцами.

— Его мама служила у нас прислугой, — понизив голос, отвечает Иосиф и отходит от стариков.

Я понимаю, что маленькому Розенцвейгу неловко перед чужими девочками: он не хочет, чтобы они знали, что среди них находится сын кухарки. При этой мысли мне самому становится неловко, и, чтобы не пасть в глазах Эсфири и ее подруг, а главное, чтобы не выдать моего низкого происхождения, я начинаю говорить громко, становлюсь требовательным, капризным... А когда Эсфирь хочет вместо соломы положить на мою голову какую-то тряпку, я решительно, отказываюсь от этого украшения, угрожая уходом.

— Ну, ладно, Сеня, пусть будет по-твоему, — успокаивает она меня.

И я действительно успокаиваюсь и надолго запоминаю нежный голос Эсфири, впервые назвавшей меня «Сеня».

Пока со мной возятся за ширмой, Яков собирает «публику», а я поглядываю сквозь щелку и о каждом входящем спрашиваю у Эс-

фири: «А это кто?» И девочка дает мне подробные объяснения. Она старается быть ласковой, потому что я разрешаю ей делать со мною все, что хочет.

О дедушке она рассказывает, что он «страшно» умен и образован: перевел с латинского на древнееврейский язык сочинения Спинозы. Меня это очень удивляет: по моим понятиям, человек, не говорящий по-русски, образованным быть не может.

Входит Гриша — старший брат Розенцвейгов. Он высок и широкоплеч. На плоском подбородке пробивается черный пушок.

Верхняя губа у него испорчена — не то обожжена, не то изъедена, и большие желтые зубы всегда обнажены. Гриша в последнем классе гимназии. Его сопровождают два товарища — тоже восьмиклассники.

Эсфирь сообщает подругам, что Гриша написал о Гарине «целое» сочинение и что оно будет напечатано в киевской газете.

Последним обстоятельством я до того заинтересован, что на время забываю о предстоящем выступлении и почти остаюсь равнодушным, когда Яков жженой пробкой натира-

ет мои щеки, с целью придать страдальческое выражение моему лицу.

Появляется мать Розенцвейгов, тетя Сося, как ее называют чужие дети. Она входит на двух костылях: одна нога у нее согнута.

Потом я узнаю, что это случилось с ней, когда она родила Иосифа.

Лицо у тети Соси красивое, смуглое, а волосы седые, гладко причесанные и ничем не покрытые.

Она садится рядом с бабушкой и дедушкой. Постепенно комната заполняется зрителями. Среди них много гимназистов — товарищей братьев Розенцвейгов. Последним приходит Мендель — гимназист четвертого класса.

Он почти рыжий, с круто вьющимися, коротко остриженными волосами цвета старой бронзы. Лицо у него задумчивое, толстые губы сжаты, говорит он редко и мало.

Этот тощий длинноногий юноша ничего не признает и ни во что не верит, читает запрещенные книги...

— Скоро вы там начнете? — осведомляется дедушка.

Раскрасневшаяся и возбужденная Эсфирь

высовывает из-за ширмы голову и объявляет:

— Ставим третий акт «Короля Лира»... Сцена во время бури... Сейчас начнется...

«Публика» отзывается смехом и рукоплесканиями.

Яков шопотом учит Иосифа делать губами ветер.

— Ты вой потоньше, а я — потолще, и получится у нас: «то как зверь она завоет, то заплачет как дитя...» Понимаешь?.. Выйдет замечательно...

Эсфирь шепчет:

— Готово... Выходи!

Плохо сознаю, что вокруг меня делается, а перед глазами расстилается туман. И когда, подталкиваемый Эсфирью, выхожу на середину комнаты, я окончательно теряю волю. Зрители представляются мне темной массой, надвигающейся на меня.

Мое появление встречается громким смехом и хлопаньем в ладоши. Я, должно быть, действительно очень забавен: мой плащ, связывающий меня по рукам и ногам, рожа, измазанная сажей, и взлохмаченная черная голова могут рассмешить, кого угодно.

За ширмой начинается «буря», напоминающая вой голодных волков. Яков с Иосифом стараются вовсю. Я делаю шаг вперед, с трудом кланяюсь одной только головой. Публика безудержно хохочет и осыпает меня трескучими хлопками.

Ко мне понемногу возвращается уверенность. Отхожу немного назад и приступаю к монологу. Ясной книгой раскрывается память, голос крепнет, и мой чистый альт хрусталем звенит по всей комнате.

Становится тихо. Меня слушают и удивляются моему четкому произношению и необычайной памяти. Даже ни во что не верующий Мендель — и тот заинтересован и о чем-то нашептывает Грише.

А я, наполнив голос серебром, бросаю вверх:

*Гром небесный, все потрясающий,  
Разлей природу всю, расплюсни  
Толстый шар земли  
И разбросай по ветру семена,  
Родящие людей неблагодарных...*

Становится еще тише. В груди моей буря, и в горле закипает «гаринская слеза». Глаза мои

увлажняются, и, почти рыдая, я кричу:

*Так тешьтесь в волю, подлые ра-  
бы,  
Когда вам не стыдно идти вой-  
ною  
Против головы седой и старой.  
Как эта голова...*

При последних словах: «седой и старой, как эта голова» — я обеими руками хватаюсь за мою чернокудрую голову, и вдруг из публики несется смех. Я теряюсь: у Гарина это место не вызывает смеха... Но зрители не дают мне опомниться и так рукоплещут, что я невольно начинаю раскланиваться.

В общем я имею успех, и Розенцвейги, в особенности взрослые и старики, одаривают меня ласками и конфетами.

Ухожу поздно вечером, довольный и радостный, с гостинцами в карманах и парой сапог Иосифа подмышкой.

## 17. Мечты

Однажды просыпаюсь, гляжу в окно и вместо двора вижу ровное белое поле.

— Тетенька Окся, что это — зима?

— Зима, хлопчик, зима... Бачишь, яким пу-

хом билым господь землю устилав?.. — говорит Оксана и тихо смеется.

Быстро одеваюсь и выхожу из кухни. Вот она где зима! Всюду снег, да такой чистый и яркий, что от него даже свет исходит. В прошлом году я не выходил: сапог не было. Зато теперь не боюсь: шинель на вате, а в сапогах Иосифа ногам моим просторно и тепло.

Радостным взором оглядываю двор. Пресный запах льда щекочет ноздри. Снег выглядит розово-голубым и мерцающим.

Везде ровно, чисто, нигде ни одной крапинки, ни одной соринки.

В прозрачном воздухе четко выступает узорчатое плетение оснеженного сада. Крыши сияют серебряной парчой, осыпанной алмазной пылью. А тишина такая и такое молчание, что нерассказанной сказкой кажется мне это зимнее утро, и хочется крикнуть в застывшую немоту и отпечатать по пышно-белому насту следы моих ног.

Делаю я это быстро, старательно, и не проходит двух минут, как снежный лист двора испещрен кругами, восьмерками и квадратами.

Подбегает ко мне Ласка — директорская собачка. Этот живой густокруглый комок белее снега, и если бы не черный треугольник — два черных глаза и носик, трудно было бы заметить собачку. О нашем столкновении перед бадейкой с объедками мы давно позабыли, и дружба между нами крепнет с каждым днем.

Ласка меня любит и на мой зов откликается веселым лаем.

Она понимает каждое мое слово. Впрочем, я убежден, что не только собаки, но и лошади, кошки, свиньи, коровы и козы понимают только по-русски, потому что все животные христиане и никогда евреями не были. Вот почему даже раввины не говорят с ними на еврейском языке.

Впервые я убеждаюсь, что зима совсем не плохая вещь, когда человек одет и ощущает в себе сладкий чай и теплую заварную булку с маслом.

Выбегаю на улицу. Здесь еще краше. Вчера мостовая, измятая ногами людей и животных, лежала покрытая расшатанными булыжниками и серыми комьями полузамерз-

шей грязи, а сейчас светлооранжевым полотнищем стелется она, безупречно чистая.

Где-то далеко за городом катится невидимое солнце, и холодные огни позднего восхода пожаращем растекаются по глубокой синеве.

Озаренный снег бьет по глазам миллионами сверкающих игл, и густыми пятнами ложатся тени домов. Показываются гимназисты, закутанные в башлыки, с тяжелыми ранцами за спиной. А вот и Розенцвейги: Яков, Иосиф и Эсфирь. Меня встречают дружески.

— Почему ты к нам не приходишь? — спрашивает Эсфирь и, не дождавшись ответа, добавляет: — Мы хотим повторить спектакль. О тебе до сих пор говорят у нас... Ты — настоящий артист.

Она втягивает меня в поблескивающие щелки прищуренных глаз, ласкает полнозубой улыбкой, и я хорошо запоминаю ее красивое смуглое личико, слегка подрумяненное морозом.

В разговор вмешивается Яков. Он расспрашивает о театре, о Гарине, и явно намекает о своем желании попасть на «Гамлета», идущее

го сегодня. Я обещаю устроить его.

— Ты Майн-Рида читал? — неожиданно спрашивает он меня, забыв, должно быть, что я умею читать только вывески.

— Нет, не читал, — отвечаю я.

— Ну, так приходи сегодня же после классов... Мы будем читать «Золотой браслет»... Вот замечательный роман!..

Незаметно подходим к гимназии и расстаемся.

Возвращаюсь домой вприпрыжку. Чувствую себя умным, счастливым и сильным. Хочется с кем-нибудь подраться... Попадись теперь мне Либерман, показал бы я ему свои мускулы!.. А мой враг — вот он, бежит навстречу! Завидя меня, Либерман ускоряет бег, чтобы раньше прошмыгнуть в ворота училища, но не так-то просто можно от меня уйти! Несколько быстрых прыжков и я стою перед Либерманом и стараюсь сделать страшным лицо мое.

— Ну, давай подеремся, — выжимаю я сквозь стиснутые зубы.

— Я тебя не трогаю! — кричит струсивший неприятель.

— Ага, теперь не трогаешь!.. А когда я тебя не трогал, зачем ты меня трогал?.. Зачем ты учителю арифметики донес на меня?

— Пусти...

— Пущу, когда тебе морду набок сверну. — Подношу кулак к самому лицу Либермана. В это время из сторожки выходит Станислав.

— Гей, вы, вояки-каки!.. Хиба ж можно на вульце ярманку подниматы?.. Вы же не пивни на огороди...

Либерман, ворча и угрожая, медленно отступает.

Тот день, когда я научился читать по-настоящему, считаю счастливейшим в моей жизни.

С этого момента не знаю одиночества: меня всюду сопровождают мечты мои. В самые тяжкие часы холода, голода и заброшенности я прибегаю за помощью к героям Майн-Рида, Купера, и они, эти сильные, прекрасные люди, озаренные моей фантазией, поднимают меня над жизнью, и я витаю над Тихим океаном и властно вхожу в девственные леса Америки, где «Стеклянный Глаз», «Меткая Стрела», «Золотой Браслет», «Красный Волк» и

множество других великих вождей индейских племен — мои друзья, мои защитники.

Я вместе с ними борюсь за справедливость и в рубленую капусту превращаю «белых негодяев», обижающих честных и гостеприимных дикарей.

Я верю в каждое прочитанное слово, преклоняюсь и благоговею перед каждым героем, роднюсь с «железными» людьми, плачу крупными слезами, когда мои герои страдают, и нет границ моей гордости, когда мои герои побеждают.

Книги достаю у Якова. Становлюсь в доме Розенцвейгов своим человеком. Даже Мендель удостаивает меня разговором.

Однажды подхожу к нему и как можно вежливее спрашиваю:

— Будьте добры сказать мне: от Житомира до Америки очень далеко?

Мендель, сидящий за большой толстой книгой, медленно поднимает свое длинное тонкое лицо и, скривив толстогубый рот, в свою очередь задает вопрос:

— Тебе это на что?

— Когда немного вырасту, хочу отправить-

ся в девственные леса, где живут индейцы, — отвечаю я, скромно потупившись.

— Вот оно что!.. Ты уже хлебнул Майн-Рида... Ну, так знай: когда «немного» вырастешь, тебя тянуть в Америку не станет.

— Позвольте спросить вас: почему?

— Потому что майнридовский вздор вылетит из твоей головы. Ты будешь знать, что белые давно уже превратили индейцев в рабов, что их уже осталось немного, а «Золотые Браслеты» да «Меткие Стрелы» давно уже не вожди и занимаются тем, что пасут не им принадлежащий скот. А когда ты «немного» поумнеешь и прочтешь «Происхождение видов» Дарвина, а также «Историю цивилизации Англии» Бокля — тогда ты поймешь, что Америка не сказка, а самая мерзкая страна, где кровь человека дешевле воды.

Плохо поняв Менделя, иду за разъяснением к Якову.

— Слушай его больше... Он это нарочно, чтобы свою образованность показать... Кто, по-твоему, больше знает — Майн-Рид, Купер, Густав Эмар или наш Мендель? Ведь если бы это была неправда, кто бы разрешил такие

книги печатать?

Яков сразу убеждает меня, и я снова на ди-  
ком мустанге несусь по золотым степям Мек-  
сики или сажу у костра в обществе вождей и  
с чисто индейским хладнокровием гляжу на  
белого предателя, привязанного к дереву...

Моя жизнь раздваивается. Действитель-  
ность едва ощущается мною. Оксана, Стани-  
слав и Филипп перестают быть обыкновен-  
ными людьми. В зависимости от прочитан-  
ной книги они становятся когда индейцами, а  
когда плантаторами. В моем воображении зи-  
ма превращается в знойное лето, Ласка — в  
свирепую тигрицу и директорский сад — в  
необитаемый остров.

Самым близким другом моим считаю Яко-  
ва. Он тоже умеет мечтать. В сумерках забе-  
ремся с ним в какой-нибудь уголок и уносим-  
ся в несуществующий мир.

Ошеломляющее впечатление производит  
на нас история Робинзона. Яков решительно  
заявляет, что, как только наступит весна, он  
отправляется со мной на один из необитае-  
мых островов, где он будет Робинзоном, а я  
Пятницей. Несколько дней подряд он называ-

ет меня Пятницей. Я, конечно, не возражаю, но про себя думаю, что наши роли изменятся, когда прибудем на место. Оно иначе и быть не может. Яков — барчук, нежный парень, а я все умею делать. Умею обед готовить, лучину щипать, гвозди вколачивать, хорошо плаваю... еще вопрос, кто из нас сильнее!..

Хорошо мечтать, когда тебя никто не трогает. Лежишь ли на печи, сидишь ли в каморке Филиппа, уткнувшись в книгу, или бродишь по опустевшим после классов дворам института, — твой путь свободен и широк. Мечты поднимают тебя над миром, и ты живешь среди таких чудес, плывешь по таким морям, достигаешь таких далей, что сердце растворяется в необъемлемой радости, а из глаз исчезает серая безогненная действительность.

— Ты что же нас обманывал? — вдруг слышу я голос Нюрнберга в тот момент, когда после невероятных усилий взбираюсь на вершину отвесной скалы, откуда хочу обозреть новую страну, только что мною открытую.

При первых звуках хорошо знакомого мне

голоса я качусь вниз и стою виноватый перед большим добрым человеком, скрашивающим суровый вопрос тихой ласковостью простых черных глаз.

— Ты нам говорил, — продолжает Нюренберг, — что тебе восемь лет, а вот, наконец, прислали из Свенцян твою метрику, и там ясно сказано, что тебе не восемь, а целых одиннадцать лет. Таким образом, ты теперь переросток. В подготовительный тебя не примут. Приходится в первый класс поступить, а ты ни читать, ни писать не умеешь.

— Умею, господин Нюренберг, умею!.. — почти кричу я.

— Что умеешь?

— Читать умею. Я уже сколько книг перечитал.

— Каких книг?

— Майн-Рида, Купера... А скоро начну читать «Происхождение видов» Дарвина и «Историю цивилизации Англии» Бокля.

От удивления мой покровитель даже отступает.

— Когда же ты все это успел? И почему ты от меня прячешься?

— Не прячусь я... Но мне некогда: каждый день к Розенцвейгам хожу... В театре работаю...

— Ты?.. В театре?.. Ничего не понимаю!.. Нет, пойдём-ка в общежитие и расскажи все подробно.

Нюренберг, забыв, что мне одиннадцать лет, берет меня за руку и направляется к белому корпусу, где живут курсанты.

Там он показывает меня Пинюку, Вейсброду и другим товарищам.

Мною заинтересованы. «Редкий экземпляр!» — говорит обо мне Нюренберг.

Этого для меня вполне достаточно, чтобы мои ответы звучали громко и уверенно.

И все, что я уловил за кулисами театра, в доме Розенцвейгов, в прочитанных книгах, я смело бросаю окружившим меня курсантам, слушающим меня с веселым, улыбочивым изумлением.

Кончается тем, что произношу «Дуй, ветер, пока не лопнут щеки» и привожу институтчиков в шумный восторг.

Меня хвалят, ласкают, расспрашивают, а пуще всего удивляются моему чистому говору

и полному отсутствию еврейского акцента в моей речи. Мне подают книгу и предлагают прочесть несколько строк.

Медленно, но внятно и без каких-либо запинок прочитываю целую страницу, мне совершенно непонятную, «О методах новейшей педагогики и о психологии ребенка».

— Как видите, — заявляет Нюренберг, — по русскому языку он хоть сейчас может поступить в первый класс... А как ты пишешь? — обращается он ко мне.

Я молчу. Нюренберг повторяет вопрос. В сильном смущении опускаю голову.

— Ты что же молчишь? Писать не умеешь? — настойчиво допытывается мой покровитель.

Я отрицательно качаю головой.

— Как? Совсем писать не умеешь? Даже азбуку?.. Почему же ты не учился писать?

— Учился.

— И что же?

— Не выходит.

— Почему не выходит?

— Я — левша.

— Что?

— Левша я. В правой руке перо не удерживается...

— Пустяки ты говоришь! Научиться всему можно. Была бы охота! Вот что, мой друг, до весны осталось немного. Я сам займусь тобою как следует, и в мае сдашь экзамен...

Доброта этого человека, его ласковый голос переполняют мое сердце такой горячей благодарностью, что в моих глазах появляются слезы, и я взволнованно говорю ему:

— Никогда не забуду вас за это...

Мое волнение немедленно передается Нюренбергу, и он мгновенно вспыхивает и произносит перед товарищами пламенную речь. Он говорит о нищете и забитости еврейского народа, о погибающих детях, о разбойничьем режиме существующего строя и укалывает на меня:

— Вот вам один из сотен тысяч... Способный ребенок... Ему одиннадцать лет, а выглядит шестилетним... Почему? Да потому, что мальчик этот рос на свалке нечистот... Да и сейчас валяется на кухне. Наш прямой долг спасти этого мальчугана от неминуемой гибели. Пусть он станет сыном нашего института.

Я вливаюсь в Нюренберга и готов умереть от любви к нему.

На всю жизнь запоминаю его мягкий грудной голос, его легкое, гибкое тело, красивое смуглое лицо и бездонные черные глаза, умеющие бросать молнии протеста и согревать нежной лаской и добротой.

То обстоятельство, что в один день делаюсь старше на три года, меня мало огорчает. Напротив, я рад тому, что отныне мы с Яковом почти ровесники, но вместе с тем я замечаю, как со стороны взрослых изменяется отношение ко мне. Я уже не вызываю удивления и никого не радую.

Обо мне, наверно, думают: «Ничего особенного, парнишка уже в годах, и ему давно пора за дело взяться...» Оксана искренно огорчена и откровенно заявляет, что спать с нею на печи мне теперь уже нельзя...

Приходится просить Филиппа разрешить мне притулиться к нему.

Нюренберг от слов переходит к делу. От имени четвертого курса он подает прошение в педагогический совет института.

В бумаге этой говорится о моих природных

способностях, о моем бездомном сиротстве и о том, что весь курс ручается за то, что ко дню экзаменов я буду подготовлен по всем предметам. В заключение он просит принять меня на казенный счет.

Но этого мало. Нюрнберг составляет подробное расписание уроков, наделяет меня учебниками, тетрадями, перьями, карандашами и по каждому предмету назначает из своих товарищей особого преподавателя.

И я учусь изо всех сил. Даже театр и Розенцвейгов оставляю и по целым дням твержу наизусть басни Крылова, таблицу умножения и черчу косые палочки. Но при всем желании не могу научиться писать.

Один вид бумаги и гусяного пера вызывает во мне чувство отчаяния.

Даже голова кружится, и я твердо убеждаюсь, что самое трудное дело писать [Научился я писать в тюрьме, на двадцать третьем году моей жизни. Писал плохо и малограмотно, и когда начал печататься, долгие годы работал с помощью орфографического словаря.].

Мое желание поступить в школу так велико, что я добровольно отказываюсь от многих

привычек, самого себя ловлю на шалостях и делаю самому себе строжайшие выговоры. «Чужие люди о тебе хлопочут, а ты ленишься и в снежки играть хочешь...» И я припадаю к учебникам, по совету Филиппа связываю левую руку полотенцем, чтоб не мешала, заставляю Оксану выслушивать заученные мною басни и пристаю к Станиславу с просьбами задавать мне задачи по сложению и вычитанию.

В жизни нашего города что-то происходит, непонятное для меня. Взрослые волнуются. Говорят, что царь хочет турецкому султану объявить войну. И где только встретятся двое, останавливаются и тихо о чем-то шепчутся, пугливо озираясь по сторонам.

В общежитии среди курсантов не прекращаются споры. Чаще всего я слышу имена Мачтета, Короленко, Писарева, но чаще всего спорят о «народе». О каком народе идет речь, я не знаю, но все почему-то хотят войти в этот народ, а для чего — понять не могу.

В центре моего внимания стоит Нюрнберг. Когда он спорит с товарищами, я зорко всматриваюсь в каждое его движение, вслу-

шиваюсь в его голос и мысленно подражаю ему. «Наша задача — вырвать народ из темноты», — скажет он, а я запоминаю и ночью повторяю слово в слово.

Жду весны. Твердо верю, что буду принят в училище. Пристаю к Филиппу:

— Скоро весна придет?

— Как потеплеет, так и придет.

— А когда потеплеет?

— Этого, парень, никто не знает. Бывает случай, когда в марте цветет, а то и май может снегом угостить. Вот какая история!..

Время быстро катится, а я все еще потею над палочками и нолями. Зима вянет. Желтеет снег. С деревьев сползают белые лохмы, и снова чернеют оголенные ветви. Наклоняюсь к виляющей хвостиком Ласке, провожу рукой по ее пышно-кудрой спине, а рука моя вся в шерсти.

— Собачка линяет, стало быть, и весна недалече, — говорит Филипп, когда я ему об этом рассказываю.

Дуют теплые ветры, и голосистей чирикают воробьи.

На стене в солнечном круге неуверенно

ползает первая муха.

Проходит еще два дня, и весна с веселым гомоном врывается в город. Бульбулькают коричневые ручьи, свистят птицы, выпрямляется сад.

Я выхожу на улицу без шинели. Солнце греет и сушит город.

Бегут по голубому небу белые овечки. Чего еще надо? А взрослые ничего не замечают, на ходу сутулятся, и в глазах — испуг.

В общежитие приходят киевские студенты в широкополых шляпах и пледах. Нюренберг тихонечко меня выпроваживает:

— Приходи завтра... Сегодня мы будет заняты...

А мне еще лучше: избавлюсь от ненавистного чистописания.

Но мне, видно, суждено никогда больше не учиться и никаким писанием не заниматься.

Следующее утро приносит страшные вести, опрокидывающие мою маленькую жизнь. Узнаю, что ночью в институт ворвалась полиция, учинила обыск и арестовала девять курсантов, в том числе и Нюренберга.

Служащие и учителя стараются делать

вид, что ничего не произошло. Обычным порядком идут уроки, на переменах галдит детвора, но в походке преподавателей, в выражении сосредоточенных лиц и в шелесте роняемых слов я улавливаю тревогу и скрытую печаль.

Этот день полон событий. Ко мне прибегает Иосиф и, задыхаясь от волнения, сообщает:

— Вчера нашего Гришу и Менделя исключили из гимназии... Папа сегодня уехал в Киев хлопотать за них... Мама плачет...

— За что это их?

Иосиф, подражая взрослым, зорко оглядывается и шопотом заговорщика роняет мне в ухо:

— За землю и за волю.

— А что это такое?

— Я сам не знаю, и Яков не знает.... А Эсфирь не говорит, дура...

В тот же день в первый раз за три года встречаю тетю Сару.

Она похожа на нищенку. Лицо бледное, исхудалое, дырявый платок на костлявых плечах и рваные башмаки делают ее особенно жалкой. В красивых серых глазах уже нет

прежних огней — их заменяет тихая покорная грусть. Наши взгляды сталкиваются, и тетя узнает меня.

— Шимеле!.. Ты все еще маленький, а я думала: «Наверно, вырос мой племянник», — говорит тетя и двумя — пальцами вытирает и без того сухие губы. — А у нас несчастье, — продолжает она, — дядя второй месяц лежит в постели... На прошлой неделе последнюю подушку продала... Арестовали Пинеса...

Тетя подносит кончик платка к глазам, и я вижу, с какой болью она проглатывает слезу.

— А Мотеле что?... — вырывается у меня вопрос.

Тетя не скоро отвечает, ей трудно говорить: что-то в горле застряло. Она, должно быть, стыдится плакать на улице, потому что на нас прохожие обращают внимание.

— Мотеле теперь один... Сестренка этой зимой умерла... Бог пожалел ее...

— Что же он делает?

— Плачет, нос рукавом вытирает и к нам ходит нужду делить, — говорит с печальной улыбкой тетя.

— Я к вам приду...

— Приходи, когда сыт будешь...

Мы расстаемся.

Не могу уснуть. Мечты поют в моей голове, и я плету венки небывалого счастья. Я разбиваю тюремные запоры и освобождаю Нюренберга. Проникаю в богатые дома, забираю деньги, золото, бриллианты и отдаю тете Саре. Совершаю великое множество подвигов, моим собственным солнцем озаряю я бедных людей и осыпаю их цветами никогда не бывавших в Житомире радостей.

## 18. Похороны

Убит Нюренберг. Все говорят об этом. Над воротами института курсанты вывешивают черный флаг. Директор Барский приказывает немедленно снять его. Данило и Станислав, кряхтя и охая, исполняют приказание.

Все знают, что Нюренберга били жандармы и городовые, а потом его свезли в тюремную больницу, где он тотчас же и скончался. Но как именно убивали и за что, — никто не знает.

Взрослые ушли в себя и со мною разговаривать не хотят. Даже Станислав и тот от меня отмахивается рукой.

В институте большое смятение. Сегодня будут хоронить Нюренберга, и школьные занятия отменены.

Старосты обращаются к директору с требованием позволить привезти тело убитого в институт, но Барский решительно отказывается.

— Тогда мы процессию остановим на улице перед нашим главным зданием! громко и дерзко заявляет ему Пинки, один из старост и ближайший друг Нюренберга.

— Делайте, как хотите, но во внутрь института позволить не могу...

Здесь, на дворе, где происходит разговор, директор не производит впечатления грозного начальника, каким я его видел, когда приходил к нему с Нюренбергом. Сейчас он обыкновенный маленький старичок с серыми бачками и слезящимися глазами. Я стою совсем близко и смотрю ему прямо в лицо, и если бы не Станислав, обнаживший перед начальством свой желтый череп, я бы чувствовал себя еще смелей.

На нашей улице густыми толпами собирается народ.

Скоро принесут убитого. Не знаю почему, но мне так холодно, что весь трясусь. В голове у меня никаких мыслей и никаких огорчений, но я чего-то боюсь, и от этого меня лихорадит.

Человеческие громады все гуще и шире вливаются в улицу, затопят панели, мостовую, рокочущими волнами вздымаются и громятся на лестницах наружных крылец, облепляют ограды, окна и балконы.

Теплое безоблачное утро осыпает город золотыми цветами весеннего солнца, а на нашей улице темно от черного месива еврейских бород, глаз, картузов, котелков, бурнусов и платков.

Говор многотысячной толпы густым и низким гудом вползает во двор, и мне становится страшно.

Мне кажется, что сейчас начнут падать дома, деревья и разверзнется сама земля, — до того велика жуть, реющая над этой беспокойной многоликой массой.

Иду на гимнастический двор, вскарабкиваюсь по лестнице на крышу двухэтажного корпуса, и я вижу всю улицу. Но сейчас это не

улица, а черная река с остановившимся течением.

Шум толпы достигает моего слуха, и я различаю мужские, женские и юношеские голоса.

Среди струдившихся масс я не вижу богачей и раввинов. Сюда текут волны бедноты. Все, кто надломлен трудом и голодом, подобно семье тети Сары, несут вместе с останками Нюрнберга свой протест и ненависть.

Сегодня можно кричать под открытым небом, можно проклинать и возмущаться. И евреи это делают с такой силой, с таким пламенем, что город превращается в сплошной костер человеческого негодования, страстной пропаганды и мятежных требований.

Похороны длятся долго. С крыши мне все видно. Я вижу не только нашу, но и идущую наперерез Чудновскую улицу, круто гористую. И мне видно, как медленно, темной лавой поднимается человеческая масса.

Внезапно становится тихо, а затем в чистом голубом воздухе рождаются звуки погребального псалма. Поют, как я потом узнаю, соединенные хоры синагог института и гимна-

зии. Пение приближается, ширится и крепнет.

Народ внимает согбенными плечами и едва-едва движется.

Торжественной печалью реет над толпой похоронная песнь.

Показались носилки с черным покрывалом.

Под этим покрывалом лежит тело Нюренберга.

Студенты, прибывшие из Киева, распоряжаются. Один из них, самый большой, в черной широкополой шляпе, заходит вперед, оборачивается лицом к носилкам, поднимает руки и останавливает процессию перед домом института.

Рискуя скатиться, я на четвереньках приползаю к самому скату крыши и свешиваю голову. Отсюда мне хорошо все видно и слышно.

Пение прекращается. Недвижно стоит народ. Все чего-то ждут.

Но вот на балконе противоположного дома появляется юноша.

Я его знаю. Он сын портного, живущего

неподалеку от тети Сары. Ему лет двадцать. Росту небольшого, одет плохо. Но лицо его, освещенное черным огнем пламенных глаз, притягивает к себе и вызывает сочувствие.

Его зовут Михель. Он известен всему городу как замечательный оратор.

Распоряжающийся студент делает ему знак, и Михель начинает.

Говорит он на чистом еврейском языке, мало мне понятном.

Говорит он громко, внятно и с большим волнением. Его голос, гибкий и певучий, несется над головами сурово притихших тысяч людей.

С сердитым вниманием прислушивается народ к словам юного оратора.

С каждым моментом речь Михеля становится сильней.

Его жесты делаются шире, голос поднимается до предельной возможности.

— Пусть вот этот замученный сын еврейского народа будет последней жертвой самодержавия!.. — заканчивает оратор.

Толпа отзывается тихим вздохом, но этот вздох, вырвавшийся из множества уст, сжи-

мает мое сердце и буравит слух.

Весь остаток дня брожу по опустевшим дворам института, заглядываю взрослым в глаза, хочу вникнуть в суть совершившихся событий, но говорить не с кем. Все хмурятся и молчат.

Ночью, свернувшись кренделем в каморке Филиппа, я лежу с закрытыми глазами, но не сплю. Все происшедшее я переживаю до мельчайших подробностей. Но этого мне мало. Я хочу знать, как убивали Нюренберга. И вот я себе представляю «полицию» в виде сырой и темной комнаты. Нюренберга окружают свирепые городовые и жандармы.

— Мы тебя сейчас будем бить, — говорит один из них.

— Бейте, но я вам не подчинюсь, — гордо заявляет Нюренберг.

Тогда на него набрасываются, связывают ему руки, чтобы он не мог сопротивляться, и бьют его по лицу. Ему выбивают глаза и зубы, и прекрасное доброе лицо Нюренберга превращается в изуродованный, окровавленный ком мяса.

А он гордо молчит.

Вся эта сцена с такой четкостью живет в моем воображении, что я начинаю испытывать физическую боль. И мне впервые за весь день становится жаль Нюренберга.

Эта жалость тревожит мое сердце и сжимает горло.

«Бедный, бедный мой Нюренбергчик! — мысленно причитываю я. — Ты такой был ко мне добрый, а они тебя замучили!..» Тут я спохватываюсь, что говорю ему «ты», но сейчас же вспоминаю, что покойникам всегда говорят «ты».

Не могу уснуть и боюсь открыть глаза. Но постепенно мучительное чувство жалости слабеет, и во мне зарождается желание отомстить. Становлюсь жестоким, неумолимым. Вооруженный отравленным кинжалом, ярываюсь в «полицию» и начинаю косить.

У меня просят прощенья, клянутся, что никогда больше не будут убивать, но я беспощаден.

— А вы жалели?.. — кричу я им. — За что вы убили Нюренберга, моего учителя? Как я теперь без него жить буду?.. Ведь я теперь совсем один остался!..

Из глаз моих льются настоящие живые слезы, и в слезах этих я засыпаю.

## 19. Буквы

Дни мои текут так быстро, что не могу удерживать их в памяти.

Смерть Нюренберга и необычайные похороны все реже приходят на ум, и печальные события постепенно тускнеют и забываются. Да и как станешь думать о прошедшем, когда сейчас весна грохочет, звенит и веселым потоком разливается по всему городу?

Скоро приемные экзамены. Пинюк, этот громоздкий и добрейший человек с белыми ресницами и светлыми глазами, все свои досуги посвящает мне «во имя покойного Нюренберга», как он сам неоднократно говорит мне.

Весна не любит тянуть канитель, и все, что она делает, выходит у нее быстро и сильно. Загремит она первыми грозами, так уже загремит! Трещит и разламывается мраморное небо.

Красные мечи разрезают наливные тучи, и полноводные теплые дожди жидким жемчугом осыпают размягченную землю, пахну-

щую парным молоком.

Ничего нет добрее весны: она снимает с меня тяжелую ватную шинель и теплым ветром ласкает обнаженную грудь.

Меня тянет к реке, и хочется побывать в ореховой роще, но Пинюк твердит:

— Учись, осталось несколько дней. Выдержишь экзамен, — и ты спасен.

«Спасен»... Сильное слово, и я его понимаю: буду спасен от сиротства, от одиночества и стану одним из многих учащих, а потом пойду с образованными людьми по одной дороге.

И вот однажды, в певучее весеннее утро, на кухню приходит Данило, обслуживающий первый этаж училища, и своим обычным сильным голосом обращается ко мне.

— Тебя в учительскую требуют.

— Уже?! — весело кричу я.

— Да, учитель русского языка тебя спрашивает и господин Навроцкий, что по рисованию...

«Если они спрашивают, — значит я принят. Это они во имя Нюренберга хотят меня принять в институт».

И, думая так, я бегу, не чуя почвы под ногами. Уверенность в том, что я уже принят, так убедительна, что я встретившемуся Станиславу кричу:

— Дедушка Стась, а я уже принят!.. Иду в учительскую!..

— Ну, ну, дай боже!.. — родственно-мягко воркует старик.

И я бегу и внутренне смеюсь от счастья. И вот я уже несусь по широкому коридору, а еще секунда — и предо мною белая дверь учительской.

Вхожу и... становлюсь совсем-совсем маленьким. Я вижу многолюдное собрание учителей. Вижу синие вицмундиры, золотые пуговицы, крахмальные воротнички и манжеты, гладко причесанные головы, чисто выбритые лица, усы, бакенбарды, длинный стол, покрытый сукном цвета спелой малины, и в золотой раме — портрет самого царя.

Неожиданно попав в такое высокое общество, я теряюсь и не знаю, что делать с руками: держать ли их по швам, как меня учит Станислав, или всунуть их в карманы куртки.

Из-за стола поднимается учитель русского

языка Колобов и указательным пальцем подзывает меня к себе.

Когда я, вконец смущенный, подхожу к нему, он слегка наклоняется ко мне и спрашивает:

— Скажи мне, Свирский, куда ты девал буквы?

Ощущаю мелкую дрожь в нижней челюсти и небывалую слабость в ногах. Ищу и не нахожу обычной ласковой улыбки на лице учителя, но... это совсем не он, не Колобов, а чужой и строгий господин в блестящих пуговицах.

— Какие буквы? — тихо спрашиваю я и тут же теряю соображение.

— Голубчик мой, ты хорошо знаешь, о каких я буквах говорю. Но если ты забыл, я могу тебе напомнить. В подготовительном классе стоит черная доска с шестью перекладинами, куда я вставлял большие буквы, передвигал их, составлял слоги, а из слогов — слова, а вы читали хором... Вспомнил теперь?

— Вспомнил, — шепчу я.

— Так, так... Ну, и вот... часть этих букв пропала, и все говорят, что они у тебя...

Холодными потоками льются на мою голову слова учителя русского языка, и мне становится страшно.

— Господин учитель, я этих букв не брал и не дотрагивался...

— Даже не дотрагивался?! — восклицает Колобов.

Происходит движение среди педагогов. Лица суровые и сосредоточенные. У всех губы сжаты, и ни одной сочувственной черты. Даже Навроцкий, учитель рисования, добрейший из добрых... В его красивое лицо я впиваюсь с надеждой вызвать знакомую мне ласковую улыбку, по напрасно: и он отворачивается.

— Ты, вот что, Свирский, — говорит мне Колобов, — если у тебя эти буквы сохранились, принеси их, попроси прощения, и я за тебя похлопочу...

Весь учительский персонал настораживается. Впереди всех просовывается серая борода Ратнера. Его злая улыбка обнажает ломаную шеренгу гнилых зубов.

— Что же ты молчишь? Я тебе говорю?.. — слышу я голос классного наставника.

— У меня нет этих букв... — произношу я плачущим голосом.

— Куда же ты их дел? — настаивает учитель.

Я молчу. Тогда начинают говорить преподаватели.

Больше всех горячится директор. Этот старик с молодым голосом произносит бурную, но мало мне понятную речь о какой-то наследственности, об окружающей среде, о вредном влиянии и о прощении, поданном четвертым курсом о принятии меня в институт на казенный счет.

Мне кажется, что если я стану внимательным, послушным и тихим, то мимо меня пронесется то страшное, что нависло надо мной, и я стараюсь быть хорошим, серьезным и просительным делаю лицо мое, но все напрасно: эти большие ученые люди в вицмундирах огораживаются от меня неумолимой строгостью.

— Итак, ты решительно отрицаешь, что стащил буквы? — снова обращается ко мне Колобов.

Боюсь собственного голоса и на последний

вопрос отвечаю утвердительным кивком головы.

— Так ты вот как!.. Продолжаешь отрицать... Хорошо! В таком случае придется сделать очную ставку со второй группой...

— Я бы давно это сделал, — перебивает Колобова Ратнер, — ведь это с научной точки зрения факт поразительный... Сам Достоевский до этого не додумался бы... Весь класс говорит «да», а он один, такой маленький, настойчивый, отрицает... И притом ни капли раскаяния...

Окончательно перестаю понимать, что вокруг меня делается.

Сознаю только, что со мною хотят что-то сделать, и это «что-то» пугает до дрожи.

Меня ведут по коридору. Позади шаркают ноги учителей. Вот старшая группа подготовительного класса. Я здесь давно не был, с тех пор, как меня выгнал учитель арифметики Ратнер.

— Встать! — командует Колобов.

И шестьдесят малышей вскакивают с мест и замирают при виде входящих учителей.

Мой взгляд блуждает по знакомым чертам

еврейской детворы.

Много смуглых темнооких лиц. Среди черных голов редкими пятнами выделяются светлорусые волосы.

У многих глаза широко открыты, полны удивления и наивной детской чистоты.

На самой середине первой парты стоит Либерман. Он на меня не смотрит.

— Сесть! — приказывает наставник, и квадратный массив маленьких человечков опускается к партам.

Колобов всходит на кафедру. Преподаватели выстраиваются полукругом. Отдельно держат себя директор Барский и Розенцвейг — инспектор.

На груди директора сияет орден. Нижняя губа отвисает, а усталые веки наполовину закрывают глаза — старик вот-вот заснет. Бодрее выглядит Розенцвейг. Это единственный еврей в Житомире с выбритым подбородком и бачками.

— Дети, требуется внимание. Кто из вас видел у Свирского буквы?

— Я видел!..

Узнаю голос Либермана. Он это произно-

сит четко и твердо.

— Врет! — невольно вырывается у меня.

Учителя переглядываются. Ратнер, высоко задирая голову, говорит Навроцкому:

— Вы слышали? Делает отвод... Настоящий преступник...

Колобов поворачивает голову к директору и тихо о чем-то спрашивает его. Тот утвердительно кивает головой. Тогда наставник обращается ко всему классу.

— Тише!.. Будьте внимательны. Кто из вас видел у Свирского буквы, пусть встанет!

К моему ужасу, все шестьдесят малышей встают одновременно.

Среди учителей движение. Директор торжественно обводит педагогов многозначительным взглядом. В это время появляется Канегисер. Он подходит к Колобову и что-то говорит ему страстным, взволнованным шопотом.

— Пожалуйста!.. — отвечает ему довольно громко классный наставник. Только без проповеди...

Канегисер взбирается на кафедру и обращается к классу на еврейском языке.

— Дети, перед вами сирота... Вашим неверным показанием вы...

Ратнер подходит к Канегисеру и дергает его за рукав:

— Вас просили без проповеди.

— Хорошо... Дети, если вы меня понимаете, пусть встанет тот, кто букв не видел у Свирского.

Весь класс сидит, за исключением маленького рахитика Аптекмана. Но он до того мал и худ, что его никто не замечает.

Один только я вижу, как этот слабосильный мальчуган сочувственно мне мигает воспаленными веками.

Директор о чем-то спрашивает Розенцвейга. Тот, указывая на Канегисера, отвечает так тихо, что ничего не могу уловить.

Преподаватели при полной тишине вполголоса ведут оживленный разговор. По отдельным словам, долетающим до моего слуха, догадываюсь, что говорят обо мне.

И вдруг для меня становится совершенно очевидным, что эти большие образованные люди в парадных мундирах не любят меня и что они хотят гибели моей.

## 20. «Сознайся!»

За столовой находится черный двор, где зимеется помойная яма, мусорный ящик и уборная для общего пользования. Сюда редко кто заглядывает. Иногда прибежит Ласка понюхать мусорный ящик, да две вороны после заката садятся на вершину одинокой ветлы, обглоданной временем и ветрами, и дотемна ведут каркающий разговор.

Вот здесь я прячусь и провожу сейчас остаток печального дня.

Подставив спину падающему солнцу, сижу на большом круглом камне и ни о чем не думаю. Прилетевшие на днях ласточки кричат детскими голосами и без усталости режут черными крыльями голубой простор.

Сижу и... не плачу. Прибит мой крохотный ум, и ни о чем думать не могу. Чаще всего на память приходит та минута, когда директор, закрыв рукой орден и наклонившись ко мне, говорит замороженным голосом:

— Уходи, мальчик, отсюда и чтоб никто больше тебя здесь не видел...

Минутами во мне вспыхивает чувство острой злобы к Либерману.

Я его считаю единственным виновником моего несчастья. Но и эта мысль горит недолго, уступая место тяжелому бездумью.

А вот и Филипп! Он несет ведро с помоями. Его плотно сбитое туловище слегка наклонено в сторону ведра.

При виде Филиппа я впервые начинаю ощущать обиду, и меня душит горячий приступ слез.

Так бывает, когда сорвешься с ограды чужого сада: вскочишь и побежишь, а потом уже начинают болеть ушибленные места.

Хочу рассказать буфетчику о случившемся, а он уже сам все знает. Приходил Мэн и приказал меня на кухню не пускать. И Станиславу велено со двора гнать.

— Вот какая история... — заканчивает Филипп свое сообщение. — И за что они тебя так? — спрашивает он.

Негодую и плача, я рассказываю ему о происшедшем.

Говорю прерывисто, икаю от слез, отвечаю на целый ряд недоуменных вопросов, и наконец мне удается убедить Филиппа в моей невинности. Тогда он испускает сочувствен-

ный вздох, идет к помойке, выливает из ведра содержимое, возвращается ко мне и, трянув серьгой, говорит:

— Ты вот что, паренек: пойдя завтра к учителям и сознайся...

Вскакиваю с камня. Стыдом загорается лицо мое, и слезы сохнут.

— И ты мне не веришь?!

— Верю, паренек, верю... А сознаться все же надо... Вот какая история...

— Но я же букв не брал!.. В чем же сознаться?..

— Экий ты непонятливый какой!.. Сознаться все едино следует, чтобы господский характер смягчить и чтоб им конфузно не было за их ошибку. Вот какая история... У нас в полку случай был: пропала у ефрейтора сапожная щетка. Всю казарму перерыли, а щетки нет. И вздумай кто-то сказать, что у Фролова в руках она была. Ну, тут, известное дело, пошли допросы, а Фролов свое твердит: «Знать, мол, не знаю, ведать не ведаю...» Доползло дело до самого ротного. «Украл щетку?» — «Никак нет, ваше благородие!..» Ротный хлясть Фролова по скуле. «Сознаешься?» — «Никак нет, ваше

благородие!» «Так получай, сукин сын, для равновесия!..» И кулаком — по второй скуле. Тут действительно офицер горазд озлился и всердцах донес самому полковнику. И вышел приказ: всыпать Фролову полсотни горячих. А когда привезли розги, фельдфебель пожалел солдата и посоветовал ему сознаться: дескать, щетку продал, а деньги прокурил. Прodelали все как следует, по закону военному: выстроилась рота, а Фролов на коленях покаяние свое выкладывал. Вот такая история...

— И тогда что? — спрашиваю я.

— Известное дело, смягчили наказание: двадцать пять только дали. А вечером, после молитвы, ефрейтор стал свой сундучок перебирать и щетку нашел. Ну, тут посмеялись ребята насчет того, что зря человека высекли. Вот такая история...

На минуту забываю о собственном горе и думаю о неведомом мне солдате.

— Не буду я сознаваться! — решительно заявляю я.

— Почему не будешь?

— Все поверят — вот почему.

Филипп в раздумьи берет ведро и уходит.

Остаюсь один. Взбираюсь на камень и снова впадаю в бездумье.

Хочу понять и обсудить свое положение, но не могу. Выпадают из головы мысли, и никак не собрать мне их.

Гаснут золотые озера, и густую синью наливается небо.

Знаю, что скоро наступит ночь.

«Куда я пойду? Театр закрыт, Гарин давно уехал, а тетя Сара сама придавлена нищетой и голодом».

Спать улетают ласточки, падает медный гул с далекой колокольни, звенит земля отголосками дневной жизни, и басистой струной жужжит майский жук. Реющий над городом вечер покрывает темнотой последние блики дня, и чернота ночной дали пугает меня.

Хочу уйти из этих сумерек, где каждая тень, где малейший шорох тревожит меня. Слезаю с камня и намереваюсь оставить двор, как вдруг слышу знакомые шаги, равномерные и тяжелые.

Это идет ко мне Станислав.

Старик взволнован и весь исходит жалостью ко мне.

Шершавой старческой ладонью гладит он мою голову и называет меня ласкательными именами. Журчащим шопотом рассказывает Станислав о том, как они втроем — он, Оксана и Филипп — только что держали совет по поводу моего сегодняшнего ночлега и решили, что лучше всего переспать мне в сторожке, куда никто не вхож.

— Жартуют панови над сиротыною... Хай им бис!.. Ну, пойдь до мене, хлопчик!..

И Станислав берет меня за руку, как брал покойный Нюренберг, и ведет к себе. Он верит, что я букв не брал, но тоже советует мне сознаться, а я твержу свое:

— Дедушка Стась, не могу я этого сделать... Навру я на себя, все поверят и будут вором дразнить...

Старик соглашается со мною, но все же велит сознаться.

Раз такой грех случился, что весь класс идет супротив правды, то я должен склониться.

Еще только рассветает, а Станислав уже будит меня:

— Вставай, зозуленька, вставай!..

Просыпаюсь, вспоминаю, что мне оставаться здесь нельзя, торопливо протираю кулаками глаза, наскоро зеваю и выхожу за ворота.

Город спит. Улица лежит обнаженная. Восход играет красками. То загорятся окна сонных домов, то брызнут сверкающими лучами золотые кресты церквей и костелов, а то желто-голубыми лентами разукрасятся карнизы домов. Никогда еще так рано я не выходил на улицу и мне жутко бродить по спящему городу.

Четко стучат мои шаги по сгнившим доскам панели. Поворачиваю в переулок, где живут Розенцвейги, и чувствую, что засыпаю на ходу.

Сажусь на первую попавшуюся скамейку у ворот чужого дома.

Мне хочется спать. Голова не держится: то на одно плечо упадет, то к другому прикинется. Дрожу от холодного предутренника.

Птицы свистят, чмокают, чирикают, а я, собрав себя в комочек, ложусь на скамейку, кладу одну руку под голову, другой накрываюсь и падаю в глубокую темноту.

Кто-то дергает меня за рукав. Просвгааюсь и не могу глаза открыть: солнечный праздник ослепляет меня. Всюду золотые огни, все вокруг сияет, смеется, звенит, и даже крошечный кусочек стекла у ног моих сверкает алмазными лучами.

— Ты что тут делаешь?

Прищурившись, вглядываюсь и узнаю Якова.

— Я шел к тебе... Но было рано... — отвечаю я. — Ты знаешь, что со мною случилось?.. На меня выдумали, что я...

— Знаю, знаю, — быстро перебивает меня Яков. — Папа рассказывал... Весь институт видел у тебя эти буквы... Зачем они тебе понадобились?

— Яков, голубчик, — кричу я, поднявшись с места, — ей же богу не брал!.. Пусть я сгорю под этим солнцем, если я хоть дотрагивался! Это Либерман выдумал за то, что я его поборол...

Яков, видя, что я готов заплакать, начинает мне сочувствовать.

— Знаешь что, — говорит он мне, — сходи к моей маме и попроси ее, а она скажет папе,

а он ведь инспектор и может приказать учителям простить тебя... Это будет замечательно!.. Иди сейчас...

Смутное, тонкое лицо Якова улыбается, и он, похожий на Эсфирь, ласкает меня приспущенными ресницами.

— Иди, послушай меня, — уговаривает Яков. — Ах, черт возьми, спохватывается он, — я ведь опаздываю! И все из-за Монте-Кристо!.. Вот книга — так книга. Замечательно интересно...

Последние слова бросает он на ходу. Я провожаю его долгим взглядом и вижу, как у него прыгает ранец на спине. Стою в нерешительности: итти или не итти к тете Сосе? Но солнечное утро твердит мне, что впереди долгие дни без пицци и крова, что вне института я пропаду, и, набравшись храбрости, иду к Розенцвейгам молить о помощи.

В доме никого нет: дети ушли в гимназию, прислуга, наверно, отправилась на базар, а я брожу по опустевшим комнатам и чувствую себя неловко: «Еще подумают, что воровать пришел...»

Около детской встречаюсь с бабушкой. Она

в белом чепчике, а на лбу у нее очки. Старушка плохо видит и близко подносит ко мне — свое маленькое сморщенное личико.

Бабушка спрашивает, зачем я пришел, когда детей нет. На плохом еврейском языке отвечаю, что пришел по делу к тете Сосе.

В это время дверь ближайшей комнаты с легким скрипом приоткрывается, и я вижу сначала клок седой бороды и белые брови, потом просовывается нога в мягкой туфле, палка с резиновым наконечником, а затем уже выходит весь дедушка в ермолке и халате.

— Хане, с кем ты тут философствуешь? — спрашивает старик, подойдя к нам.

Долго и с большим волнением рассказываю о моем несчастье.

Оба внимательно выслушивают меня, внимают в каждую мелочь, интересуются, любопытствуют и так сочувствуют, что временами эти маленькие мягкоротые старики кажутся мне детьми, и я перестаю стесняться.

Дедушку смущает свидетельское показание целого класса, потому что всем известно, что дети всегда говорят правду.

— Но он ведь тоже дитя! — восклицает ба-

бушка, указывая на меня.

Дедушка соглашается с нею и велит бабушке проводить меня к Сосе. Ей сегодня нездоровится, и она не выходит из спальни.

Тетя Сося лежит на кровати. Тонкие пальцы худых рук на красном одеяле светятся янтарем. Бабушка напоминает ей, что я сын покойной прислуги Фейгеле и что надо попросить Ошера (имя старика Розенцвейга), чтобы он переговорил с директором.

Больная выбрала какую-то точку на моем лице и смотрит не мигая. И этот упорный взгляд немного пугает меня.

— Как же ты: такой... артист — и вдруг...

Слезным голосом прошу я ее поверить мне и доказываю, что я не мог этого сделать уже потому только, что доска такая высокая, что мне ни за что бы не достать букв.

Мой плачущий голос, искренний тон, а может быть, мой жалкий вид трогают больную, и она говорит мне:

— Я тебе, мальчик, посоветую следующее: пойди сейчас в институт, зайди в учительскую и обратись прямо к инспектору, к мужу моему, попроси прощения и... сознайся.

— Тетя Сося, миленькая, родная... а иначе нельзя? — спрашиваю я и чувствую, как по щекам моим скатываются слезы.

— Иначе нельзя, голубчик... Пойми, весь класс утверждает... Маленькие дети врать не станут... Тут какое-то недоразумение... Знаешь поговорку: «Когда двое говорят — пьян, третий должен ложиться спать...», — заканчивает тетя Сося с улыбкой на бескровных губах.

Иду сознаваться. Весь мир наваливается на меня, и я задыхаюсь под непосильной ношей.

Волочу ложь, и эта ложь так велика, что не вмещается в моем сознании.

«Зачем врать на самого себя, когда я не виноват? Но ведь мать Эсфири не станет же мне, ребенку, советовать плохое...»

— Геть, хлопчик!.. Не могу я пускать... Дюже строго приказувалы сам пан Барский...

Это говорит мне Станислав, стоя у калитки.

— Дедушка Стась, я в учительскую... Сознаваться пришел...

— Оце добре дило... Ходы швитче, доки пе-

ремина иде...

Вхожу в коридор. Из классов доносится галдеж. Данило, завидя меня, становится в позу человека, намеревающегося поймать курицу.

— Нельзя, нельзя!.. — кричит он, растопырив руки и ноги.

— Дяденька, я в учительскую... Сознаться пришел...

— Вот оно что!.. Ну, ступай!

Преодолев последнее препятствие, подхожу к белой двери учительской и на секунду останавливаюсь, чтобы собраться с духом, а затем осторожно прижимаюсь плечом, слышу тихий стон дверных петель и бочком переступаю порог. И снова я вижу людей в синих вицмундирах с золотыми пуговицами.

Первым замечает меня Ратнер. Злыми шажками подплывает он ко мне и шепчет:

— Как ты смел сюда явиться?!

И тут же, повернувшись, указывает на меня Колобову. И когда учитель русского языка подходит ко мне, я просительно складываю руки и едва слышно произношу, краснея и заикаясь:

— Господин учитель... Простите... больше не буду... Не прогоняйте меня...

— Наконец-то! — слышу я голос подошедшего директора. — Почему же ты нас так долго и упорно обманывал? Против целого класса пошел?.. И куда ты девал буквы?

Молчу...

Передо мною дымится туман.

Я плохо вижу и ничего не соображаю. Качусь в пропасть.

Педагоги с научным любопытством, как теперь я это понимаю, рассматривают меня, изучают, и каждый старается глубже заглянуть в мои глаза, увлажненные слезами.

— Я тебя спрашиваю, куда ты девал буквы? — падает на меня голос директора.

— Я их бросил... Простите меня...

— Куда ты их бросил?

— В нужник, — роняю я совсем тихо и сам удивляюсь собственной лжи.

Маленькое личико старика морщится. Он отступает немного назад, ладонями разглаживает бачки, достает из заднего кармана мундира платок, плюет в него, а затем обращается к учителям:

— Я говорил неоднократно, что самое скверное влияние имеет улица. К нам ворвалась улица и может заразить все училище... А тебе, — вдруг обращается он ко мне, и я вижу, как старик начинает дрожать от ненависти и злобы, — я приказываю исчезнуть навсегда отсюда... Слышишь?! Навсегда!.. Вон!.. визгливо кричит он и топает ногой.

Я напуган, измят, уничтожен. Ударяюсь головой об дверь, когда в страхе бросаюсь в бегство. И только, пробежав половину коридора, начинаю понимать, что со мною поступают несправедливо.

«Я же сознался!» — внутренне кричу я. И вдруг меня заливает горячая волна злобы. Бросаюсь обратно, со всей силой распахиваю дверь и бросаю учителям:

— Разбойники вы все!..

И с диким воем раненой собаки бегу вон. Я не плачу, а реву во весь голос.

С этими воплями я выбегаю на двор и натываюсь на Пинюка.

— Что с тобою?.. Кто тебя?.. Ну, успокойся, мальчик!.. Нельзя же так...

Припадаю головой к животу грузного доб-

ряка и сквозь колючее рыдание жалуясь ему на директора. Долго не может понять меня курсант, всячески старается меня успокоить. И когда, наконец, ему это удается и он узнает, в чем дело, Пинюк вспоминает, что видел эти буквы в общежитии первокурсников.

Ради забавы курсанты притащили буквы и составили из них смешные слова.

В это время из училища выходит директор. Пинюк преграждает ему дорогу.

— Ваше превосходительство, этот мальчик не виноват. Буквы...

— Ничего слушать не хочу! — перебивает Пинюка Барский. — С меня довольно одного Нюренберга. Очага революции у меня не будет... Скорее институт закроем...

— Позвольте... — делает попытку заговорить Пинюк, но директор не дает ему.

— Прошу без возражения!.. А тебя, — обращается он ко мне, вцепившись острыми глазами в мое горло, — я сейчас в полицию отправлю...

Но меня уже нет. Слово «полиция» кнутом свищет над моей головой, и я бегу без оглядки, без передышки, по мягким пыльным ули-

цам, оставляя далеко позади себя институт, единственное мое убежище, где я три года жил, питался, рос и мечтал.

## 21. Изгнание

**Н**е знаю, что сейчас: утро или день. Сажу на берегу Тетерева и смотрю, как солнце пощипывает лучи свои. Недавно прошел лед. Река широко распласталась и взбухла, а купаться еще нельзя: вода студеная.

Хочется есть. В институте уже, наверно, обедают. Припоминаю, как хорошо там кормят, и подложечкой начинает сосать.

Но до каких же пор я буду здесь сидеть? Надо итти. Тетя Сара часто говорит дяде Шмуни, когда с ним ссорится: «Кто сидит на месте, тот не замесит теста».

Встаю, окидываю взором речной простор, задеваю взглядом далекую рощу, покрытую зеленой фатой молодой листвы, и поворачиваю к городу. Теперь уже я не бегу, а тихо, постариковски, беру подъем Приречной улицы, сутулясь на ходу. Мне некуда итти, а я все иду, иду... и маленькие быстро меняющиеся мысли осами роятся в голове.

Вот Паненский плац, где стоит заколочен-

ный театр, а совсем близко переулок Розенцвейгов.

Маятником хожу я взад и вперед вдоль хорошо мне знакомого дома, но войти не решаюсь. Уж лучше подожду: может, кто-нибудь выйдет. Перебираюсь на другую сторону прогуливаюсь до усталости и кошу глаза на калитку. И наконец мое желание исполняется: из дома выходит Иосиф. Одет по-летнему: парусиновый китель, такие же штаны, на голове — белая фуражка с гимназическим гербом. Выйдя на улицу, маленький Розенцвейг на секунду останавливается, быстрым движением головы оглядывает переулок и, не заметив меня, пускается вскачь. Я окликаю его, он не слышит. Тогда во весь дух пускаюсь вдогонку и настигаю приятеля на самом углу.

— Здравствуй, Иосиф!.. Ты куда?

Розенцвейг останавливается, но прячет от меня глаза.

И я догадываюсь, что он давеча, когда вышел из калитки, нарочно сделал вид, что не замечает меня, и от этого предположения лицу моему становится жарко.

— Куда ты идешь? — повторяю я свой во-

прос, желая убедиться в справедливости моей догадки.

— К Гурлянду, — тихо отвечает Иосиф, а затем, не глядя на меня, добавляет: — Ты к нам больше не ходи... Папа строго приказал прекратить знакомство...

Кривлю рот в улыбку, отворачиваюсь от Иосифа и медленно шагаю по панели.

Куда ни пойдешь, везде кушают. Через раскрытые окна домов слышу звон посуды, а когда прохожу мимо подвалов, вижу, как целые семьи сидят вокруг столов с набитыми пиццей ртами.

«Я ничего не сделал скверного, а меня отовсюду гонят, мысленно жалуясь я. — Ну, и пусть!.. А я пойду сейчас к сапожнику Нухиму — он богатый, продам ему сапоги свои и съем двадцать пирогов сразу. И никто меня за это бранить не станет: летом все дети босиком ходят».

Когда Нухим сидит за работой, а окно открыто, его голова приходится вровень с панелью, и разговаривать с ним очень удобно.

— Я к вам по делу...

Сапожник поднимает широкую бороду с

проседью, круглые очки, завязанные на затылке бечевкой, и спрашивает:

— Ты от кого?

— От себя... Хочу вам мои сапоги продать...

Нухим приподнимает верхнюю губу так, что плоский нос его зарывается в усы.

— Они тебе мешают?

— Да... в них жарко, и... тесные они очень, — слегка привираю я.

— А что твоя мама скажет?

— Моя мама давно умерла...

— Ну, а отец разрешил тебе продавать сапоги?

— Отец у меня живет в неизвестном городе. Так вы купите?

— добавляю я, чтобы прекратить неприятный допрос.

— Почему нет, если они еще сапоги?.. Садись, на чем стоишь, и сними их.

Сажусь ногами в комнату, а спиной к улице. Сапожник выплевывает в руку несколько деревянных гвоздочков, высыпает их в сардинную жестянку и освобождает из-под ремня старый башмак, лежащий у него на коленях подошвой вверх. Мои сапоги он рассмат-

ривает с большим вниманием и хвалит их.

— Чудесные сапожки!.. Из варшавской кожи. Когда-то они были новенькие... Ах, тридцать лет назад я тоже был молод и все зубы у меня находились в полном сборе. Сколько же ты просишь за эти... обноски? неожиданно заканчивает Нухим.

— Что дадите... не знаю...

— Хорошенькая коммерция, когда купец не знает, что стоит его товар...

Сапожник запускает корявые и обожженные лаком пальцы в бороду, нечесаную с тех пор, как выросла, и продолжает:

— Если бы ты был сын Скомаровского, я бы тебе за эти сапоги даже фигу пожалел бы дать, но я вижу, что тебя притащил ко мне далее [Далее — нищета.], и три злотых я могу тебе отсчитать. Ты не думай, — спохватывается он, что я мало даю: три злотых — это девяносто грошей или сто восемьдесят полушек. Сосчитай-ка...

— Давайте, я согласен...

— Что ты торопишься?.. Я — не жених, а ты — не старая дева. Погоди немного: сейчас позову кассира... Ципе, ты здесь?!

Открывается дверь, и сначала просовывается большой острый нос, а вслед за тем входит маленькая женщина с темными пятнами на тощем лице. Она черными мышинными глазками пробегает по мне, по моим сапогам и по-кроличьи поводит носам и губой.

— Деньги есть у тебя? — спрашивает Нухим.

— Деньги? Смотря для кого и сколько...

— Три злотых хочу ему дать за его... голенища.

— А сапоги его собственные? — спрашивает Ципе, недоверчиво поглядывая на меня.

— Он их снял с собственных ног, и, значит, они ему принадлежат...

Объяснение Нухима успокаивает его жену, и я получаю полную горсть медных монет.

Два пирога — один с ливером, а другой с горохом — до того меня насытили, что, бродя по городу, ищу чего бы испить: икота одолевает. В левой руке у меня зажаты сорок копеек, и это обстоятельство меня больше беспокоит, нежели босые ноги, отвыкшие ступать голыми пятками по острым булыжникам мостовой.

Я знаю, что это очень солидная сумма, и даже думаю пойти к тете Саре и отдать ей эти деньги «на жизнь», но неожиданная встреча со старым другом Мотеле разбивает мое намерение.

— Ты откуда взялся? — кричит он мне издали.

Я несую ему навстречу улыбку сытого человека. Мы стоим на Чудновской улице у забора синагоги, где помещается талмуд торе, откуда и вышел сейчас Мотеле.

Он тоже босой. На нем длинный, в заплатах, сюртук; Мотеле отрастил пейсы. Меня немного смущает, что он выше меня ростом: а ведь недавно мы были одинаковы.

— Какой ты стал большой и... тонкий!..

— Мне уж исполнилось одиннадцать лет...

— И мне столько же!.. Слушай, — продолжаю я после коротенького, но тяжелого раздумья, — я ушел из института... Совсем ушел... Навсегда...

— Ты сам ушел?

— Н-нет... Понимаешь, тут какая штука вышла... Про меня выдумали нехорошее. А я ни в чем не виноват... Вот как мы стоим под

этим небом... Не виноват... Понимаешь?..

Лицо Мотеле замыкается и становится су-  
ровым.

— Что выдумали? — холодно спрашивает он.

— Будто я... понимаешь?.. утащил буквы...

— Если бы я очутился на твоём месте, меня бы тоже выгнали...

— Ты что?.. Не веришь?.. — почти кричу я, готовый заплакать.

Не знаю почему, но я мучительно хочу, чтобы Мотеле мне поверил. Свободной рукой хватаю его за рукав, стараюсь ближе стать к нему и готов обнажить перед ним мое сердце, полное тяжкой обиды.

— Да слушай же!.. Там все уже знают, что буквы нашлись и что я не виноват... Меня, понимаешь, прогнал директор за то, что я назвал учителей разбойниками...

— Вот это ты-таки хорошо сказал!.. — вдруг восклицает Мотеле. Они-таки да, разбойники!.. По субботам курят, бороды бреют...

Мой друг оживляется, размахивает живыми длинными руками, и губы его корчатся в улыбке.

Я раскрываю ладонь и показываю ему мой капитал.

Увидав деньги, Мотеле застывает в изумлении.

— Ой, откуда у тебя столько денег?..

Рассказываю ему, как я продал сапоги, и предлагаю угостить его пирогами.

— Ты с чем любишь: с горохом или с ливером?

— С тем и другим, — коротко отвечает приятель и заранее облизывается.

Отправляемся на развал, где я кормлю друга. Потом идем на бульвар. Здесь торгуют сладостями: мороженым, семечками, орехами, пастилой и маковыми лепешками.

Деньги мои тают с быстротой мороженого, попавшего в рот.

Это мороженое в виде маленького орешка стоит две копейки.

Заплатив за четыре шарика восемь копеек, я из деликатности спрашиваю у Мотеле, не хочет ли он еще...

— Не знаю, как ты, а я могу всю банку съесть.

Тогда я делаю намек на то, что мороже-

ник — русский, и евреям вряд ли можно кушать...

Мотеле испуганно таращит глаза, но все же проглатывает последний кусочек, отплевывается и от дальнейшего угощения отказывается.

Идем дальше. Мы уже на Приречной, недалеко от тети Сары.

На последнем углу стоит торговка Хане, продающая медовые маковки.

Мотеле замедляет шаг и в упор глядит на лакомство.

— Если мороженое, — говорит он, — действительно трэфное, то нам следует заесть его маком, иначе грех этот останется на нас.

Понимаю, что Мотеле хитрит, но я сам не прочь испробовать заманчивые сласти и сознательно поддаюсь обману. Стоим друг против друга и жуем крепкую, но сладкую лепешку из толченого мака.

Рты у нас набиты доотказа, а руки и губы измазаны липкой патокой.

В это время из-за угла показываются мои двоюродные сестренки-босоножки: Фрейде, Бейле и Малке. Последней пять лет, а пер-

вая — моя ровесница. На них юбочки грязные, нищенские, а сами они тонконогие, с тонкими вытянутыми лицами.

Заметив нас, а главное, увидав, что мы едим, Фрейде выталкивает вперед самую маленькую и просит кусочек «для ребенка».

Покупаю три куса и раздаю им. Босоножки вспыхивают от неожиданности.

Смотрю на моих сестренок, гляжу, с какой жадностью они торопливыми зубами перемаывают черствые сладости, и мне становится весело. У меня является желание похвастать перед взрослыми, и, когда отдаю торговке последний пятак, я предлагаю всей компании отправиться к тете Саре.

Жуя на ходу, мы трогаемся в путь.

Вот давно оставленное мной кривобокое крылечко.

Под ногами дрожат ветхие ступеньки, а вот и сенцы с настежь раскрытой дверью в комнату.

Меня обдает затхлостью. Из каждого угла выползает нищета.

Комната пуста: никакой мебели. Даже кровати нет. Вдоль стен на полу собраны в кучу

мягкие лохмотья.

Догадываюсь, что это постели. Около печи на двух длинных скамьях, покрытых бесформенным тряпьем, лежит дядя Шмуни.

Борода свалялась в рыжий ком, лицо — янтарное, веки приспущены, и безжизненные руки вытянуты вдоль тела.

Войти не решаюсь. В этой темной обители нужды гаснет смех и снижается голос до топота.

Серые лохмы паутины, спускающиеся с потолка, кислый запах голодной трущобы вызывают у меня чувство брезгливости, боязни и недоумения: «Почему все это?»

Из соседней совершенно пустой комнаты выходит тетя Сара.

Узнаю и не узнаю ее. Из-под темного платка выбивается седой завитушек. Нищенки, стучащие в чужие окна, лучше одеты.

На босых ногах — дядины шкрабы.

Вместо лица я вижу оскал продолговатого черепа, обтянутого сухой желтой кожей.

Сестренки наперерыв рассказывают ей, как я угощал их, и показывают остатки недоеденных маковок.

— Сколько же ты истратил?

— У меня было три злотых... Я сапоги продал... — робко отвечаю я.

— Где же остальные? — наклонившись ко мне, тихо допытывается тетя.

— Все истратил...

Мой ответ отталкивает ее от меня. Отступив назад, она выпрямляется. Узкокостная, безгрудая, с колючими точками в глазах, она говорит со стоном:

— Все... Три злотых!.. И ничего не осталось... И тебя еще земля держит?..

И вдруг она возвышает голос до крика, и слова вырываются из горла, наполненного бесслезным рыданием:

— Да знаешь ли ты, что я на эти деньги могла бы неделю прожить со всей семьей?.. Ведь я могла лекарство купить и спасти умирающего мужа!.. Что ты наделал, несчастный?.. И зачем ты сюда пришел?..

Дальше я не слышу... Убегаю из этой свалки нищеты и на Приречной ищу Мотеле, но его нигде не видать.

## 22. Уход

**Н**очую в синагоге вместе с Мотеле. У него тоже нет своего дома, и мы с ним крепко дружим. Питаемся где попало и чем попало, но чаще всего мы только говорим о еде.

Вечерами Мотеле учит меня читать по-еврейски, а я ему за это рассказываю сочинения Майн-Рида, Купера и Густава Эмара.

Он слушает меня внимательно, с волнением и верит даже тогда, когда кое-что и от себя присочиню.

Я помогаю ему мечтать, и часто мы с ним уносимся в неведомые земли, где нет бедных и где люди геройски борются за правду и «честь».

Дни стоят теплые, солнечные, но в садах деревья еще только цветут, а на огородах чуть-чуть пробиваются зеленые ростки.

Голод наталкивает меня на мысль снова заняться выделкой арабских мячей.

— Ты не заметил, — спрашиваю я у Мотеле, — на Черной балке попадают старые калоши?

— А что?

— Хочу мячи делать. Теперь как раз время: коровы линяют, и шерсти набрать можно,

сколько хочешь. Как по-твоему: стоит заняться?

Мотеле на все согласен, лишь бы сытым быть.

И вот, после трехлетнего перерыва, возвращаюсь на Черную балку. Здесь, среди маленьких оборвышей, я роюсь в мягких кучах городских отбросов: теряю навыки институтской жизни, покрываюсь грязью, обзавожусь вшами и постепенно забываю о прошлом. Только в редкие минуты, когда удастся хорошо покушать, вспоминаются теплые глаза Эсфири. И тогда мне становится грустно, и мысль, что сестра Якова может увидеть меня навозным жуком, копошащимся в мусоре, пугает меня.

— Уж лучше не встречаться.

Сегодня мы с Мотеле сыты. Два мяча собственного изделия проданы очень выгодно — за двадцать грошей, мы сидим на зеленом откосе реки и лениво дожевываем последние куски белого хлеба, густо намазанного гусиным жиром.

Высоко над нами колышется весеннее солнце. Хрустальная рябь Тетерева сверкает

так, что больно смотреть.

Голубой атлас горизонта обещает скорое лето, и нам хорошо лежать на мягкой молодой траве.

Простор, тишина и сытый желудок вызывают желание заглянуть по ту сторону горизонта, проникнуть в глубь небес и посмотреть на бога.

— Если там, наверху, сидит один только наш еврейский бог, то почему живут на свете русские, поляки и другие неверующие? — спрашиваю я.

— Для примера, — коротко отвечает Мотеле.

— Для какого примера?

Мой собеседник медлительно накручивает на палец пейсу и голосом объевшегося человека цедит сквозь зубы:

— Представь себе, что на земле не станет воров, откуда тогда бог возьмет разницу между хорошими и скверными людьми? Если все люди станут евреями, у бога не будет избранного народа, и ему не с кем будет тогда нянчиться.

Объяснение Мотеле меня не удовлетворя-

ет, и я продолжаю рассуждать.

— Раз бог все видит и знает, а евреев любит больше всех, почему он не сделал так, чтобы мы были сильнее и богаче всех? Ведь, ему стоит только слово сказать, и мы перестанем голодать... Почему он этого не делает?..

Ответа я не получил: мой Мотеле, обогретый солнцем, уснул, прижавшись щекой к траве.

А на другой день найдена еще одна старая калоша, и я работаю над третьим мячиком.

Тружусь с большой старательностью. Мелюзга из Черной балки смотрит на меня с завистью. Режу зубами лапшу из старой калоши такими ровными полосками, каких и ножом не сделаешь.

День воскресный. Освященный золотым водопадом утренних лучей, работаю под звон колоколов. При этом освещении мое лицо, измазанное грязной резиной, делает меня похожим на маленького трубочиста. Но я не горюю и на шутки товарищей по поводу моего «беленького личика» не обращаю внимания.

Мячик получается на редкость. Он не велик, но в то же время крепок, тяжел и подска-

кивает лучше настоящего.

— Ты за него злоту проси, — советует мне Мотеле.

— А ты думал как? За меньше не отдам.

У меня вдруг является интересная мысль, и, не стесняясь малышей, окружающих нас, я отвожу Мотеле в сторону и нашептываю ему:

— Знаешь, если я продам этот мяч за целую злоту, я таких наделаю сотню штук, и на вырученные деньги мы с тобой уедем... знаешь куда?.. В Америку...

— А там живут евреи? — тихо спрашивает Мотеле.

— Конечно, живут! Они там краснокожие, но молятся по-еврейски. Так ты согласен?

Мотеле утвердительно кивает головой.

Мы выбираемся из Черной балки и вползаем на Приречную. За нами следует компания маленьких оборванцев.

Идем по главным улицам, и я уговариваю самого себя не стыдиться. Штанишки мои порваны так, что голые коленки видны, шапчонка, служащая мне и подушкой, не держится на свалявшихся кудрях, и весь я измаран до того, что идущие навстречу «приличные

люди» торопливо дают мне дорогу.

«— Ну, и пусть!.. Я беден, но честен», — вспоминаются мне слова одного майнридовского героя, но когда я попадаю на Малую Бердичевскую, уверенность оставляет меня, сердце падает, и исчезают мысли.

Хочу повернуть назад, но боюсь Мотеле: он подумает, что я действительно виноват перед институтом. Тогда я бросаюсь в другую крайность и становлюсь хозяином улицы: громко разговариваю, хохочу во всю глотку, пугаю девчонок свистом, выхожу на середину улицы и подбрасываю мяч.

У ворот института стоит карета. На козлах сидит кучер Семен в синем армяке, охваченном красным поясом.

Русая борода кучера пышно расчесана, в руках держит струнами натянутые вожжи. Пара вороных лоснится на солнце, и четко выступает серебряный набор черной маслянистой сбруи.

У ворот стоит Станислав. В первое мгновение хочу подбежать к нему, приласкаться, но, мысленно взглянув на себя со стороны, не решаюсь этого сделать. Тогда, думаю, лучше сде-

лать вот что: бросить изо всей силы мяч и пуститься вдогонку. Старик и не заметит меня, когда промчусь мимо.

Задумано и сделано. Размахиваюсь, бросаю и... тут происходит нечто такое, что холодом обдает меня и запоминается на всю жизнь.

В тот миг, когда пускаю мяч, из калитки выходит директор в полной парадной форме и с треуголкой на голове.

Мой тяжелый, крепкий шарик попадает в Барского, попадает в самое ухо, и оглушенный директор, вскрикнув, падает набок...

Треуголка, украшенная золотой тесьмой, скатывается к колесам. Станислав спешит к упавшему. Медленно слезает с козел кучер.

Я застываю на месте и надолго запоминаю мельчайшие подробности происшедшего.

Но когда к месту катастрофы сбегаются люди и начинает расти сумятица, мне становится страшно, и я бросаюсь в бегство.

Бегу без передышки, бегу изо всей мочи, а страх кричит во мне:

«Скорей удирай, да подальше!»

Живу в тумане и плохо сознаю, что вокруг

меня делается.

Понимаю, что совершил ужасное преступление, хотя сделал я это помимо воли. Вышло все не нарочно.

Но ведь этого не докажешь... И теперь я убежден, что все взрослое население города против меня.

Через плотину вбегаю в рощу, забираюсь в самую густоту и здесь прячусь от преследования.

Нисколько не сомневаюсь, что, если поймут, избьют до смерти, и я поминутно останавливаюсь, напрягаю зрение и слух, но ничего угрожающего не улавливаю. Над рощей спокойно горит солнечный день, весело почмокивают птицы, и сквозь бледнозеленую, едва распустившуюся листву поблескивают зеркальные осколки далекой реки.

Тишина и безлюдье понемногу уменьшают кипящую во мне бурю, и я постепенно привожу в порядок свои мыслишки.

«Я же не знал, что мячик выскочит у меня и попадет куда не надо!.. рассуждаю я. — А директор сам виноват: зачем он меня выгнал из института? Что я ему худого сделал?.. Пусть

он теперь почешет ухо... Так ему и надо!»  
Найдя для себя оправдание, я окончательно успокаиваюсь. Сердце перестает метаться, и я чувствую себя смелей.

Не спеша, выбираюсь из рощи. Выхожу к реке и... вижу Мотеле! Он бежит через плотину. В руке у него что-то белое.

Черные фалды развеваются, а сам в мою сторону и не смотрит.

Тогда запускаю в рот два пальца и тонким резким свистом режу голубую даль.

Мотеле останавливается, поворачивает свои пейсы, вглядывается, узнает и мчится ко мне.

— Я догадался, что ты сюда убежал!.. Вот тебе большой кусок белой булки... Это твоя доля. Свою я уже съел... — задыхаясь от бега, говорит Мотеле.

— Где ты взял?

— Купил.

— А деньги?

Мотеле опускает голову и, видимо, смущаясь, рассказывает мне о том, как он тоже испугался, хотел было бежать, но подумал, что его поймают, и остался на месте.

А когда «старого пана» унесли в дом, а толпа разошлась, он стал искать мячик, нашел и продал одному богатому мальчику за десять грошей.

— Я знал, что ты очень голоден, — оправдываясь, добавляет Мотеле.

— Неужели на руках унесли? — спрашиваю я, занятый мыслью о директоре.

— Да... Ему, наверно, очень больно...

— Что же теперь будет? — допытываюсь я и в то же время набиваю рот свежим хлебом.

— Мне кажется, что ничего не будет.

— Почему ничего?

— Потому что никто не знает, кто бросил мячик... Там говорили, что кто-то кинул камнем... Ну, теперь я, — заканчивает Мотеле, — пойду в школу, а то мне достанется от учителя. А ты к вечерней молитве придешь в синагогу и будешь там спать.

Мне не хочется оставаться одному, но приходится отпустить друга. Служка синагоги Меер знает меня и хорошо относится ко мне.

На скамье, где я сплю, лежит березовое полено.

Это он, служка, положил, чтобы я восполь-

зовался им для изголовья.

Меер очень беден, а большая семья навалилась на него так, что ссутулила ему спину в дугу, и когда служка ходит, всем кажется, что он чего-то ищет, до того низко согнуто его туловище.

Меня он любит за то, что я помогаю ему в работе.

Во время утренней уборки вытираю пыль с амвона, выношу плевательницу с окурками, а иногда и пол подметаю.

На третий день после случившегося со мною несчастья Меер поздно вечером заходит в синагогу и подзывает меня:

— Ну, Шимеле, должен тебя опечалить: больше здесь находиться тебе нельзя...

— Почему? — тихо спрашиваю я и сразу ослабеваю...

— Потому что ты сделал пана Барского глупым на всю жизнь. Весь город знает, что это дело рук еврея. Губернатор вызвал самого Скомаровского... И что же, ты думал, наш миллионер?..

Он сказал, что ты евреям не нужен, и что он, как член управы, распорядится отправить

тебя через полицию в колонию для малолетних преступников...

Сообщение Меера вызывает во мне лихорадку. Слова «полиция» и «малолетние преступники» до того пугают меня, что я готов немедленно бежать, несмотря на поздний час.

— Дядя, я сейчас уйду... Разрешите, прошу вас...

— Куда ты пойдешь ночью?..

— Я совсем уйду... Прошу вас... Не выдавайте... Я — сирота...

Служка еще ниже сгибает и без того изломанную спину, и его чернобородое лицо приходится вровень с моим лицом. И я вижу по его искривленным губам, как он страдает от жалости ко мне.

— Не будь глупым мальчиком и ложись спать. Рано утром я тебя разбужу. Ты переоденешься и уйдешь.

При слове «переоденешься» в моем воображении проносится картина из «Разбойников»: на мне широкополая шляпа, маска, черный плащ, и шпага на боку.

— Во что я переоденусь?

Меер улыбается.

— Во что? В целый костюм... Случилось, дитя мое, такое дело: у резника Гаркави вчера умер сын — восьмилетний мальчик... Умер от каких-то белых прыщиков в горле... И мать покойного мальчика отдала мне его одежду и велела сжечь... Ну, как ты думаешь, стану я сжигать хорошие вещи?.. Конечно, нет!.. Вчера же я их продал, потому что у меня все дети — девочки, а один костюмчик, как раз на твой рост, остался...

Ну, а теперь ложись спать и не думай, — заканчивает Меер и ласково хлопает меня по плечу.

Светает. Город спит. Я шагаю по Киевской улице. На мне крепкие штанишки и чистенькая рубашонка. Подмышкой кусок хлеба.

Это все, что мог дать мне в дорогу Меер.

Покидаю Житомир. Ухожу без провожающих и без напутствий взрослых. Прощаюсь с золотой вывеской магазина Журавлева.

Тихая грусть сосет сердце, когда иду мимо больницы, где умерла моя мама...

Вот и конец города. Налево разгорается пожар восхода.

Впереди сиреневая даль, очерченная синей полосой далекого леса.

Иду, а рядом со мною моя крохотная тень.

И больше никого.

Серая лента дороги, тишина и светлые горизонты неисхоженного делают меня таким маленьким, беспомощным и одиноким, что моментами у меня является желание повернуть назад к родному городу, к живым людям, шуму и звону каменных мостовых, но слова «полиция» и «малолетние преступники» бьют меня по затылку и толкают вперед.

### **23. В далекий путь**

**Ш**ирокая дорога, обсаженная с двух сторон высокими тополями, поворачивает направо, а за поворотом я вижу вдали небольшой домик. Перед домиком стоит огромный дилижанс на больших, облепленных высохшей грязью, колесах.

Вокруг допотопного экипажа суетятся люди. Различаю женщин, пожилых мужчин и целую гору мешков, сундуков и саквояжей.

Прибавляю шаг — и вот я в человеческой гуще.

Из разговоров знаю, что собравшиеся здесь

люди — пассажиры, едущие в Киев, а широкобородый еврей, одетый в брезентовый балахон, возница. Все его называют фурманом. У него через плечо висит на ремне кожаная сумка.

Фурман обходит пассажиров и собирает деньги за проезд.

Незаметно пробираюсь в толпу и с озабоченным видом задираю голову и заглядываю в рот каждому говорящему.

— Имейте милосердие! — кричит одна полная еврейка, окруженная пятью ребятишками. — Где же слыхано было, чтобы за таких маленьких детей брали целый карбованец?..

Возница торопится и, мельком взглянув на многодетную мать, бросает ей на ходу:

— За милосердием обращайтесь не ко мне, а к тому, кто награждает вас таким приплодом. Ну, пассажирчики, — обращается он ко всем, — кто не платил, раскрывайте кошельки. Время не ждет. Поезд из Киева на Одессу отходит в восемь вечера... Занимайте места. Сейчас напою лошадей, и тронемся в путь...

Начинается перебранка из-за мест.

— Ты с фурманом сядешь? — спрашивает

меня один из едущих мальчуганов смуглолицый, с большими оттопыренными ушами.

— Разве можно? — задаю я вопрос в свою очередь.

— Отчего нельзя?.. На козлах места много. Я бы сам взобрался, но не могу отца оставить.

— Почему не можешь?

— Потому что отец у меня слепой. Вот он стоит и ждет меня... Как маленький... — добавляет мальчуган раздраженно.

— Когда ты ослепнешь, — вдруг раздается надо мною мертвенно-сухой голос, — тебя, мерзавца, тоже будут водить.

Оглядываюсь и вижу перед собою среднего роста мужчину с длинной узкой бородой. Вместо глаз у него сморщенные веки и красные щелки.

— Ты слышал, — продолжает слепой плывущим над нами ровным голосом, что было сказано?.. Время не ждет... Ну!..

Он протягивает бледную руку с длинными, тонкими пальцами.

Мальчуган, только что разговаривавший со мною, сердито хватается за руку и ведет слепого отца к дилижансу.

Сижу на высоких козлах рядом с возницею. Шестеро лошадей, запряженных цугом, должны покатить наш тяжелый дом на колесах.

Фурман перебирает в руках веревочные вожжи, чмокает, цокает, сечет свистящим бичом длинную шеренгу разношерстных коней и кричит:

— Н-но... мои пламенные!..

А «пламенные» трутся сухими боками о дышла, прядут ушами, косятся темными яблоками глаз, царапают подковами каменистую дорогу, и... ни с места.

Тогда фурман, не взглянув на меня, передает мне вожжи, велит держать крепко, а сам слезает с козел.

Радостным волнением полно сердце от сознания, что держу в руках целую шестерку лошадей. Вот бы посмотрел Мотеле!

Фурман подходит к первой паре, тянет уздечки на себя, нокает, чмокает и наш дилижанс, перегруженный донельзя, скрипит, стонет, качается и, наконец, трогается.

Фурман вскакивает на козлы, берет у меня вожжи, и мы едем.

Навстречу нам стелется земля, покрытая молодой, нежной зеленью. Солнце, голубое небо, многоголосый свист невидимых птиц веселой музыкой вливаются в уши и долго живут в моей памяти.

Глубоко вдыхаю чистый воздух светлого утра и пьянею от запаха сосен и надушенных цветами полей. Как чисто, светло и празднично на этом неоглядном теплом просторе!

Но постепенно начинаю уставать от нескончаемой красоты, и меня клонит ко сну.

— Дяденька, скоро будет Киев?

Фурман поворачивает в мою сторону темнорусую бороду и впервые вглядывается в меня.

— Ты с кем едешь?

— С вами, — просто отвечаю я.

— Со мною!.. А ты кто мне такой — племянник или двоюродный сын?.. Откуда ты взялся?..

Только теперь начинаю соображать, что являюсь бесплатным пассажиром, и с трепетом жду, когда буду сброшен с козел.

Куда я денусь?..

Подъезжаем к крутому спуску. Возница

останавливает лошадей, передает мне вожжи, слезает, достает из ящика тяжелую, длинную цепь, служащую тормозом, и отправляется к задним колесам. Потом он возвращается, берет у меня вожжи и велит мне слезть.

Медленно и нехотя исполняю приказание. И когда я уже стою на земле, фурман наклоняет ко мне огненную бороду, освещенную солнцем, и спрашивает:

— Тебе непременно нужно в Киев?

— Да.

— А кто у тебя там есть?

— Сестра...

— Замужняя?

— Нет... Она старше меня на три года...

— Только-то!.. Ну, в таком случае, иди по этой дороге, никуда не заворачивай, пока не наткнешься на Киев... Н-но!.. — заканчивает он и щелкает бичом по воздуху.

Машина с завязанными цепью задними колесами сползает с горы.

Иду один и со слезами на глазах гляжу вслед уходящему дилижансу. С каждой минутой огромная карета становится меньше и тонет в пыли. А когда ковчег совсем исчезает, я

робко шагаю по неохватному пространству и понемногу начинаю трусить.

Меня пугает синеющий впереди лес: боюсь встретиться с разбойниками или с медведями.

— Эй, парень, погоди малость!..

Вздрагиваю от неожиданности и оглядываюсь. Недалеко от дороги по меже озимых всходов идет человек.

Длинные светлые волосы волнисто спускаются на плечи.

Голова покрыта мягкой черной скуфейкой. Одет в коричневый подрясник, опоясанный широким ремнем. Ноги босы, а за спиной холщевая туго набитая сума. В руке толстая суковатая палка с замысловатой загогулиной.

Человек, выбравшись из поля, идет ко мне.

— Ну, здравствуй, хлопец! Куда идешь?

— В Киев.

— Неужто в Киев? Ай да молодец!.. Из Житомира плетешься?

— Да... А вы откуда знаете?

— Невелика хитрость: по ножкам видно, что не из Москвы шествуешь... Ну, да ладно... Поговорим вон там, в лесу, а сейчас гайда впе-

ред!.. Люблю, брат, попутчиков. Не могу без них. Вот уже неделя, как товарища потерял...

Мне нравится этот незнакомец: у него приятный голос, добрые голубые глаза, а небольшая русая бородка делает его похожим на икону.

Мы сидим в лесу: далеко от дороги, на берегу тихо булькающего ручья.

Мой спутник раскладывает костер.

В лесу прохладно и пахнет смолой. Деревья, обвитые лучами, горят золотыми бликами. Перекликаются птицы.

По моей ноге ползет божья коровка. Хоть немного и щекотно, но я ее не трогаю. Пусть ползет, бедняжка!

— Как же это ты так: отправляешься в дальний путь без ничего? спрашивает меня мой спутник, ставя наполненный водой котелок на огонь.

Сбивчиво и кратко рассказываю я об обстоятельствах, заставивших меня покинуть Житомир.

Рассказ нравится моему слушателю. В ожидании кипятка он ложится рядом со мною, и между нами завязывается беседа.

— Ты из каких будешь, из обрезанных?  
Я утвердительно киваю головой.

— Что ж, это не плохо... Израильтяне народ умственный...

— А вы тоже в Киев идете? — спрашиваю я после минутного молчания...

— Обязательно в Киев. А то куда же больше! Для моего товара только Киев да Москва и созданы! Я, брат, торгую такую вещью, какая ни одному купцу не приснится...

— Какою?

— А тебе уже и знать хочется!.. Какой любопытный!.. Погоди маленько все узнаешь... У меня, брат, товар первый сорт: себе ничего не стоит, а продаю по вольной цене: что дадут, мне все в пользу... А торгую я... богом.

— Как — богом? — восклицаю я, изумленный.

Мой собеседник смеется громко и весело. Он рад, что удивил меня.

А я, поняв это, стараюсь усилить произведенное на меня впечатление.

— Да, брат, товар — лучше не найти. Ведь бога никто не видит, никто не знает, но все его боятся. Я прихожу и говорю: знаю бога и

давно с ним знакомство веду. И шабаш... Я — святой. Меня кормят, поят, ласками задабривают, и каждое мое слово дороже золота. О боге, что ни выдумай, за правду сойдет. Скажешь, к примеру: «бог дунет — морозом землю скует, а плюнет — всемирный потоп грянет...». И поверят... Дураков много на свете... Ох, как много, братец ты мой!..

Мой спутник мечтательно улыбается, долго глядит на высокую крону ближайшей сосны, а потом продолжает:

— Давеча ухожу я из села, а бабы за: околицу провожают со слезами, с молитвами да с просьбами не, забыть о них, грешных, когда сподоблюсь до Печерской лавры добратся.

Говорящий осыпает бородку смешком и лукаво поглядывает на меня.

— Не веришь? На, погляди, сколько наторговал за одно утро...

Он вскакивает, берет сумку; развязывает и начинает вытаскивать всякую снедь. Вынимая вещь за вещь, он приговаривает:

— Вот яичко, вот пшеничные лепешки, вот сала кусок... А это, брат, соль, а это сахар... Глянь-кось, и чаю отсыпали... Теперь мы, ста-

ло быть, закусим, а когда вскипит вода, — чайку похлебаем... А потом ляжем и соснем маленько... А птички хвалу вам воспоют... И в такой-то мы с тобой заживем роскоши, что богачи от зависти поперхнутся, — заканчивает он звонким смехом и ласково хлопает меня по плечу.

Чувствую, как начинаю любить этого веселого и доброго человека.

Приготовив все как надо, мой спутник складным ножиком отрезает кусок белого сала, кладет на лепешку и протягивает мне.

— Начнем с этого... — говорит.

Знаю, что на лепешке лежит свиное сало, и оттого, что я это знаю, у меня появляется позыв к рвоте.

— Мне этого нельзя... Извините, пожалуйста... ста...

Стараюсь быть как можно вежливее и улыбаюсь предсмертной улыбкой.

— Да ты что? Всерьез это?.. Как же так?.. По-русски брешешь правильно, а свинины не жрешь! Даже непонятно.

Спутник кладет подле меня свое угощение и продолжает:

— Нет, брат, ты должен покушать, а не то большой мне конфуз будет.

— Нам нельзя... Наша вера запрещает...

— А немецкая? А русская? А польская? Эти веры не запрещают?.. Вот видишь, сколько вер на свете.... И все они этого куска сала не стоят... Уж ты, брат, покушай и меня не конфузь...

С чувством невыразимого отвращения откусываю передними зубами маленький кусочек жира и заправляю лепешкой. Проглатываю и жду, не вырвет ли. Но ничего, проходит. А потом уже начинаю и вкус ощущать... Мой спутник смеется на весь лес, треплет меня по щекам, и, видимо, рад, что совратил меня.

Однажды перед вечером в час заката взбираемся на гору, и мой спутник, протянув вперед руку, говорит мне радостным голосом:

— Вот и Киев! Гляди и любуйся...

Вдали, в розовой пыли догорающего дня, громоздится большой город. Вижу высокие трубы заводов, золотые шапки церкви, белые груды домов и светящуюся ленту реки.

— Вот мы и пришли, — говорит мой спут-

ник. — Теперь присядем маленько и потолкуем о тебе. В Киеве со мною тебе делать нечего. Твои чернцы кудри и глаза не подойдут к нашим монастырям. Но я для тебя другое дело придумал...

Он достает из кармана лист газетной бумаги, отрывает узенькую полоску, свертывает собачью ножку и вытаскивает кисет с табаком.

— Какое дело? — спрашиваю я, потеряв терпение.

— Погоди малость, сейчас все разъясню. Есть один город, для тебя самый подходящий. Называется он Одесса.

— Знаю!

— Что знаешь?

— Слышал...

— А ты не перебивай и слушай со всем вниманием. Город этот большой, красивый и богатый. А черненьких, вроде тебя, не счесть сколько. Там тебе лафа будет. Приедешь...

— А на чем ехать? — перебиваю я.

— Погоди, не мешай... Все по порядку изложу... Немного погодя войдем в город и направимся прямо на вокзал. Там я тебя уложу под

скамейкой... Знаешь? В вагонах скамейки для пассажиров имеются. Ну, вот... Ляжешь и засни, пока до Одессы не доедешь. Ну, а теперь я тебе самое, главное скажу.

Он докуривает, отплеивается, расправляет усы и, наполнив смехом голубые глаза, продолжает:

— Прежде всего не будь трусом. Приедешь в Одессу, ходи по улицам, задрав голову, и никого не бойся. Главное, никого не уважай, тогда тебя станут уважать. Человек — что собака: увидит, что ты его боишься, он тебя и слопает. А захочешь жрать, на работу нанимайся.

— На какую?

— На всякую. Пойди по торговым рядам, заглядывай в купеческие рожи и весело спрашивай: «Не надо ли вам мальчика?» А купцы на вашего брата горазд охочи.

— Почему?

— Потому что вас, маленьких, обижать легче. Ну, теперь ты все понял?

Молчу, опустив голову. Мне не хочется расставаться с этим человеком, а предстоящее одиночество путает меня, и тоскливое чув-

ство сжимает сердце.

— Гайда вперед! — вдруг командует мой спутник, и мы почти бегом спускаемся с горы.

Этот неведомый мне человек, навсегда оставшийся для меня без имени, водит меня по Киеву, показывает невиданные диковины, прогуливается со мною по главным улицам, показывает Днепр, огромные зеркальные магазины, городской сад, бульвары, железнодорожный мост и, наконец, вокзал.

Здесь он угощает, меня горячими щами с белым хлебом и, по моей просьбе, заслоняет меня от любопытных евреев.

— Если ты сделаешь, как я тебе велю, то завтра в полдень будешь в Одессе, — говорит мой спутник.

— А меня не могут найти? — спрашиваю я.

— Кто же тебя найдет, раз будешь смиренно лежать под скамейкой? Ну, пойдём! — добавляет он, заплатив за щи.

Спустя немного я лежу под одной из скамеек вагона и тихо глотаю слезы.

## 24. «Не надо ли вам мальчика?»

Пассажиры оставляют вагон. Догадываюсь, что приехали, и собираюсь тоже уходить.

Выползая из-под скамейки, рукой попадаю в плевок. Ворчу от злости, вытираю ладонь о рубаху и выхожу из вагона.

На платформе людей — хоть отбавляй, а солнце торит во-всю — блины печет.

Все обуты, одеты, а у меня ноги босые, коричневые, что твоя береста наизнанку, а на голове вместо шапки, забытой под скамейкой, нечесанные кудри чернее ваксы.

Шмыгаю среди людей и думаю: «Вот где случай кошелек с деньгами найти!..» Промеж женских юбок да мужских штанов штопором ввинчиваюсь в толпу и пробкой выскакиваю на площадь.

Гляжу — впереди Одесса-город купается в солнце, что в масле, горят золотые купола, пенятся белые дома, текут в тепле прямые улицы, разукрашенные зелеными деревьями.

— Вот так город! Мое почтение!..

Прицепляюсь к задней оси шикарной коляски и барином въезжаю в светлое кружево домов.

Прохожу по первому десятку улиц, натираю о камни пятки, пялю глаза на магазины, на богатых людей, на золотые вывески, и

злость меня берет.

Попросить не у кого, слямзить нечего... пропаду я на этом празднике... А кишки голодный марш играют.

И до чего жрать охота! Весь слюной истекаю.

«Нет, — думаю, — так нельзя... Надо на работу наниматься».

Вспоминаю я совет моего спутника и отправляюсь к торговым рядам.

— Не надо ли вам мальчика?

— Нет, не надо, — отвечают.

А один толстый купец на табуретке в тени сидит и шею потную платком вытирает, глядит на меня ласково и спрашивает:

— Сколько лет?

— Двенадцатый.

— Такой маленький, а уже двенадцатый!

Потом улыбается и спрашивает:

— Не жулик ли? По карманам не лазишь?

— Что вы!.. Я — сирота... Никогда таким делом не занимался...

— Ну, хорошо... иди себе... Мне мальчика не надо...

Иду дальше.

На одном углу, смотрю, стоит перед корзиной с галантереей рыжебородый человек в парусиновой тройке и кричит козлом:

— Каждая вещь две копейки!.. Любая вещь на выбор две копейки!..

А в корзине чего только нет!.. И пуговицы, и гребешки, и ножики, и шпильки, и всякая всячина.

«Вот, — думаю, — дело сподручное».

И, когда рыжий умолкает на минуту, я спрашиваю:

— Не надо ли вам мальчика?

Торговец шарит по мне коричневыми глазами и спрашивает:

— Голос у тебя есть?

— Есть.

— А ну-ка, покричи...

Набрал я духу, да как резану через всю улицу:

— Каждая вещь две копейки!..

Даже извозчик, проезжая мимо, выпучивает глаза и от неожиданности ругается.

Торговцу мой крик нравится, и мы тут же заключаем условие: десять копеек в день, хозяйские харчи всухомятку и ночлег.

Три дня колокольчиком заливаюсь я по Базарной улице, а на четвертый, когда вместо голоса из зева моего вырывается не крик, а шипенье гусака, хозяин отсчитывает мне тридцать копеек и говорит:

— Придешь, когда голос вернется.

Лихо живу я день на собственные средства и ночь провожу в ночлежке.

А потом снова старое. И опять я ласковым щенком заглядываю людям в глаза и жалобно спрашиваю:

— Не надо ли вам мальчика?

Но чем жалобнее спрашиваю, тем круче отворачиваются люди.

Тогда я начинаю улыбаться.

Вечереет. Тени от домов вытягиваются и темнят улицу. В далекой вышине ласточки строчат черные узоры по синему небу.

Толкучка на базаре расходится, а я еще ничего не ел, всем улыбаюсь и не знаю, где буду ночевать.

Не люблю спать без крыши. А хуже всего — нет у меня товарища. Одному ничего не сделать. Вон старая еврейка предлагает остаток пирога. Я их очень люблю.

Будь у меня товарищ, угостились бы за милую душу.

Один заговорил бы торговке зубы, а другой слимонил бы пару горячих и... пойдя догони нас!..

— Не надо ли вам мальчика? — обращаюсь к одному прохожему, нагруженному большим ситным хлебом, бумажными свертками, самоварной трубой и пачкой разноцветной бумаги. Из одного свертка сыплется не то сахар, не то соль. Человек останавливается, тяжело дышит. Глаза наши сталкиваются. Я изо всех сил улыбаюсь, и сердце замирает в последней надежде. Человек устал. Ему жарко.

Светлыми шариками скатывается пот от висков к подбородку.

Темные глаза из-под лохматых бровей уткнулись в меня, верхняя губа вместе с седящими усами приподнимается, и сквозь белые крепкие зубы процеживается:

— Нам нужна малцык... Мы — греки... Сахарным миндалем торгуем... Бери хлебуска... Тасцы...

Обеими руками хватаю десятифунтовый каравай, я мы трогаемся.

Хлеб оказывается свежим, и хотя на улице жарко и душно, но еще ни одна: мать так крепко и нежно не прижимала к груди младенца, как я — эту теплую булку с румяной корочкой.

Люблю, когда корочка хрустит на зубах!

На другой день рано утром мой новый хозяин ставит меня на соборную площадь и велит продавать жареный миндаль, залитый сиропом.

Товар замечательный. Будь я богат, весь лоток откупил бы.

На лотке лежит мой товар в маленьких бумажных фунтиках.

Штука — пять копеек. По-моему, не дорого.

На ногах у меня дамские ботинки на кривых, но высоких каблучках. Хозяин дал для приличия. На шее у меня висит кисетик для денег. Сегодня на заре гуляла над городом гроза, а сейчас, вымытый ливнем, он смеется звонким смехом. На голубом небе ни одной пылинки. Солнце усердно сушит влажные мостовые, а горячие лучи допивают последние лужи.

Ко мне подходит женщина с маленькой де-

вочкой. Я настораживаюсь и стараюсь первую покупательницу задобрить улыбкой.

— Какой тебе нравится? — спрашивает мать у ребенка.

Живая кукла из-под большой соломенной шляпы круглит на меня голубые глаза и пальчиком указывает на розовый фунтик.

— Можно... можно?

— Сию минуту...

Я так стараюсь, что чуть не опрокидываю лоток, лежащий на зыбких легковесных козлах.

Покупательница уплывает пятком и удаляется с девочкой.

Я смотрю ей вслед с уважением и благодарностью.

На монету трижды плюю, для счастья, и прячу в кисетик.

Народу много, время идет, а никто ко мне не подходит.

Стоять на дамских, да еще искривленных каблучках не очень весело. Уж я для легкости пробую попеременно то на одной ноге постоять, то на другой, скуки ради прыгаю через каменную тумбочку ограды, потом мне есть

хочется!.. А люди проходят мимо — и хоть бы кто взглянул на мой товар!

Тут я вспоминаю, что у меня имеется выручка и что я могу сам купить для себя фунтик миндаля.

Вытаскиваю из кисетика пятак, кладу его на лоток, выбираю самый, на мой взгляд, большой фунтик, монету опускаю обратно в кисет, а в рот отправляю сладкое зерно.

Но не успеваю я зубами расколоть миндаль, как чорт приносит откуда-то двух мальчишек, запыленных, обшарпанных, босоногих и грязных.

— Выплюнь: хозяин идет... — кричит один из них и заливается звонким смехом.

Стыд жжет мое лицо. Разгрызенный миндаль прячу за щеку.

Видя мою растерянность, мальчишки быстро наглеют и вплотную подходят к лотку.

— Дай и нам, мы никому не скажем...

— Скажи... я не боюсь: на свои деньги покупаю...

— Рано же у тебя деньги завелись!..

Вдруг прибегает третий мальчуган, совсем маленький, с черной собачьей мордочкой, по-

движной, задористый и весь озорной.

— Что здесь такое?.. Где скандал?.. Почему скандал?.. За что скандал?..

Он сыплет словами, морщит лицо, вращает глазами и явно поднимает меня насмех.

Пахнет дракой, мне становится жарко...

— Уходите!.. Уходите, говорю вам! — кричу я, стараясь казаться страшным.

В ответ раздается дружный смех.

У меня что-то сжимается подложечкой... Начинаю трусить. А все потому, что не знаю, как здесь, в Одессе, дерутся! Будь это в Житомире, — я бы показал им, на каком месте яблоки цветут...

— Уходите! — кричу я на всю площадь и скрежещу зубами.

— Ты брось в нас миндалем, мы испугаемся и убежим! — говорит старший из троих и оскорбительно смеется.

— Ой, не бросай — убьешь! — кричит самый маленький и, разбежавшись, падает к моим ногам, да так ловко, что я лечу через него прямо на лоток.

И вся моя лавочка разваливается.

Рассыпанные фунтики с миндалем валя-

ются в дождевой лужице.

Погиб товар... Хозяин убьет... С отчаяния бросаюсь в бегство...

В затуманенных слезами глазах мелькают дома, люди, тарахтят колеса, звенят каменные мостовые... Я мчусь по широким одесским тротуарам, бегу по аллеям из акаций, обгоняю разряженную толпу мужчин и женщин, бессильной злобой обдаю сытые рожи разгуливающих одесситов, плачу, без слез, глотаю горькую обиду и... вдруг останавливаюсь на бульваре, мгновенно зачарованный: я впервые вижу море...

Я сразу догадываюсь, что это не река и не озеро, а настоящее море, живое, глотающее золотые слитки солнца, и без другого берега.

Теперь я знаю, что с этого синего моря начинается каждая сказка.

Но одного я не знаю: что здесь я роняю свое детство и вхожу в жизнь, еще более огромную и более опасную, чем это море.

# Часть вторая

## 1. Море

**Н**ас трое: солнце, море и я. На этом сверкающем просторе я занимаю такое крохотное место, что реющим надо мною белокрылым птицам я кажусь черной ракушкой, выброшенной на желтый песок.

Мои недавние волнения, страх, обида и слезы поглощаются неизмеримым пространством и уносятся в те светлые дали, где небо смыкается с морем.

Здесь есть на что посмотреть! Куда хочешь гляди, а конца не увидишь... Вот бы Оксана да дедушка Стась посмотрели, где я нахожусь...

Мысли мои замирают в восторге; я сливаюсь с этой солнечной пустыней и перестаю ощущать самого себя.

Долго сижу один среди тепла и света и устающими понемногу глазами слежу за одинокими парусниками, плавно скользящими по голубому атласу тихо дремлющего моря.

Меня убаюкивает равномерный шорох прибрежных струй, напоминающий шелест сухих листьев.

Чтобы не уснуть, я встаю и делаю несколько шагов.

Жара. Одолевает желание выкупаться. Охотно снимаю с ног дамские башмачки, порядком надоевшие мне, и далеко закидываю их: не хочу больше носить такую дрянь.

Подхожу к воде. Сажусь на камень и ногами пробую море.

Оно теплое, ласковое. Тогда быстро раздеваюсь и, по старой привычке, со всего размаха бросаюсь в море.

Лечу в прохладную пропасть и не достаю дна.

Непомерная глубина у самого берега пугает меня, и я изо всех сил карабкаюсь вверх. В нос попадает противная горько-соленая вода. Чихаю, отплеываюсь и тороплюсь выбраться на сушу. Но это очень трудно сделать: весь берег утыкан скользкими камнями. Только подплывешь и прикоснешься к мокрой глыбе, как обратно сползаешь головой в воду. И снова плыву вдоль камней, покрытых зеленой слизью.

Начинаю зябнуть. Становится страшно. Боясь утонуть. Силы мои слабеют, а плавать тя-

жело. Но хуже всего то, что нельзя постоять и отдохнуть: дна нет. Кричать о спасении? Но кто услышит мой голос в этой мертвой безлюдной шири?..

И в то время, когда держаться на воде мне уже невмочь, вижу человека, спускающегося с городской кручи и направляющегося к берегу.

— Дяденька... Помогите... Я сейчас утону!.. — кричу я предсмертным криком.

А налитые тяжестью ноги тянут меня вниз, и я стараюсь откинуть голову, чтобы в рот не попадала вода.

— Дяденька!..

Лежу голый на песке и прячу глаза от солнца. Тошнит. Не могу вспомнить, как и кто меня вытащил из воды.

Подле меня сидит белобровый и белоусый старик.

Перед ним удочка, помятое ведро и стеклянная банка с червями.

— Хорошее местечко выбрал ты для купанья... Здесь взрослые пловцы боятся утонуть... А ты куда полез...

Старик говорит таким осторожным шепотом.

том, каким говорят на похоронах.

— Я, милый мой, — продолжает он нашептывать, — сорок лет по морям ходил, в скольких авариях участвовал, в добровольном флоте шкиперов да боцманов замещал, плаваю, что твоя камбала, но что б я, трезвый человек, в таком омуте стал купаться, — никогда!.. А ты, этакий щенок, креветка, можно сказать, ничтожная — и вдруг залез... Хорошо, что я сегодня, по случаю трезвости, поудить пришел... А ежели б меня здесь не было?.. Ну и капут поминай как звали мальчика...

Слова моряка действуют на меня лекарственными каплями, и я чувствую себя лучше. Приподнимаюсь, сажусь, подсовываю под себя ноги и украдкой поглядываю на старика.

Он занят удочками. Налаживает поплавки, прикрепляет к ним крючки и делает все это ловко и быстро, хотя руки у него толстые, а пальцы кривые. Одет он очень бедно: на босых ногах опорки, а штаны в коленках порваны. Морщинистое и обветренное лицо покрыто серебряной пылью небритой бороды. Маленькие острые глаза черными искрами поблескивают из-под лохматых бровей.

— Дедушка, вы меня вытащили из воды?

— А то кто же?

— А как вы это сделали?..

— Очень просто: вижу, что тонешь, ну, я тут живым манером, по-матросски, лег на камень, рукой поймал тебя за волосья и вытащил. Штука не хитрая... На своем веку немало дураков вылавливал из воды.

Старик еще что-то говорит, но так тихо, что мне ничего не слышно.

Слежу за тем, как он, не торопясь, достает из банки червя и натягивает его на крючок.

— Дедушка, позвольте, я вам помощником буду... Я умею... Мы на Тетереве...

— Тсс...

Старик грозит мне пальцем, и я обрываюсь...

— Какого дьявола ты звоном рассыпаешься! Всю рыбу разгонишь, — шипит старик, склонив ко мне желтый безволосый череп. — С твоим голосищем тебе по дворам «Разлуку» петь, а не рыбачить... Рыба, милый мой, — продолжает он уже миролюбивым шопотом, — зверь чуткий и тишину любит. У нее, у рыбы-то, ушей хоть и нет, зато глазами слы-

шит...

— Как глазами? — спрашиваю я как можно тише.

— Очень даже обыкновенно. У рыбы глаз и зрячий и чуткий. Она, милый мой, даже тень слышит. Скользнет, скажем, по воде тень чайки, а рыба, глядишь, уже винтом зарывается в море... Ну, а теперь, милый мой, натяни штанишки и уходи с богом... Мне помощников не надо.

Ухожу, провожаемый горячим солнцем и сонным журчанием покойного моря.

## **2. Сытые и голодные**

**П**редо мною гигантская лестница, каких я еще никогда не видывал. Она шире улицы, выше киевского Подола и вся из камня.

Лежит, распластанная на солнце, и пятки обжигает. Скачу по расплавленным ступеням вверх, беру последнюю площадку и попадаю на бульвар перед большим бронзовым человеком со свертком в правой руке, протянутой к морю.

Здесь так красиво и богато, что начинаю трусить: боюсь, что меня, босоногого, отсюда прогонят. Не вижу ни одного простого челове-

ка. Гуляют одни господа и барыни. Гуляют парами.

В конце бульвара на широкой площадке, украшенной желтыми, синими и красными цветами, собираются музыканты. Они поднимаются на эстраду, похожую на большую белую раковину.

Верчусь среди красивой, нарядной публики, вдыхаю миндальный запах цветущих акаций, и мне кажется, что попал на богатую свадьбу. Вот заиграет оркестр, и все пары начнут танцевать.

Забываю о пяたке, лежащем в кисетике, о толкучке, о горячем пироге с ливером... Мне не хочется уходить отсюда. Понемногу осваиваюсь, обхожу весь бульвар, всматриваюсь в отдельные лица, запоминаю украшенные золотом кортики, болтающиеся на черных ремешках у морских офицеров, и пунцовые розы в темных волосах женщин.

Подхожу совсем близко к обширной террасе, защищенной от солнца парусиной, где в светлых костюмах за мраморными столиками сидят кавалеры с дамами, едят мороженое, а из высоких хрустальных бокалов через

соломинки сосут прохладительный напиток цвета рубина.

Здесь я готов простоять всю жизнь, — как вдруг меня кто-то ударяет ниже спины чем-то твердым. Ударяет не очень больно, но и не совсем ласково. Оборачиваюсь и замираю: надо мною мясистое круглое лицо городского.

Черные усы пиявками изогнуты поперек толстых, налитых темною кровью щек.

— Пшел отседа!..

И затуманивается сказка красивой жизни, и я снова шмыгаю по горячим плитам одесских улиц.

Голод приводит меня на базар. Из мира красоты и роскоши попадаю в царство бедности и понятной мне простоты. Босоногих мальчишек и девчонок не счесть.

Здесь не приморский бульвар, где говорят глазами да улыбками и где тишину и порядок охраняет свирепый городской. Тут люди, собравшись в большом количестве, грудью и локтями проталкивают себе дорогу. Здесь не стесняются, а каждый человек старается горлом и кулаками вырвать у жизни кусок хлеба.

На этой ежедневной ярмарке, где бедные продают нищим свою нужду, никогда не бывает просторно. Среди бесчисленных ларьков, палаток, будок и лавчонок плещется распятое человеческое месиво, густо растекаясь по узким проходам.

Божба, клятвы, уверенья, перебранка, проклятия, смех и стоны сливаются в один сплошной, непрекращающийся ни на минуту разноголосый шум.

Два пирожка — один начиненный горохом, а другой с измельченной требухой — я ем на ходу, вызывая зависть у незнакомых сверстников, жадными глазами отсчитывающих каждый кусок, каждый глоток.

— Хочешь, кусочек? — спрашиваю я у одного мальчугана, ближе всех идущего за мной.

— Еще как хочу!.. — дрожащим голосом отвечает он, а большие глаза недоверчиво мерцают темным блеском.

Осторожно, чтобы не уронить крошки фарша, отрываю кусочек и даю ему. Мальчик не жует, а проглатывает сразу, по-собачьи. Смотрю на него с удивлением.

Он выше меня ростом, но такой тонкий, что полуистлевшая грязная рубаша тряпкой болтается на нем.

Сквозь прорехи видны сухие ребра.

— Что ты тут делаешь? — спрашиваю я у мальчугана.

Мой новый знакомый оглядывается, наклоняет ко мне черноглазое лицо и таинственно шепчет:

— Хочу что-нибудь своровать, но ужасно боюсь... Вчера одного поймали... Он из палатки вязанку бубликов стянул... Ой, как его били!..

— Да, за это не ласкают, — солидно замечаю я. — А ты что хочешь своровать?

— Разве я знаю что?.. Мне две копейки нужны на молоко. У меня сестра очень больна... Если молоко не достану, она умрет... Сегодня умрет...

— Отчего это она?

— От стирки... Ходила по стиркам и заболела...

— А у меня мама умерла, когда я еще был маленьким, — говорю я ему в утешение.

И вдруг вспоминаю о моем способе заработка...

тывать.

— Знаешь что?.. Мы можем добыть деньги у купцов.

Мой собеседник хватает меня за руку и вплотную прижимается ко мне. В его глазах вспыхивает надежда, и голодное лицо его с острым подбородком становится осмысленно-подвижным.

— Ой, скажи скорей, как это можно сделать...

— Очень легко... Подведи меня туда, где много магазинов, и там мы станем заходить к купцам и спрашивать: «Не надо ли вам мальчиков?»

— И тогда что?..

— Нас наймут и будут деньги платить... Вот что тогда.

— Меня не возьмут, — говорит мальчик, и я вижу, как недавняя оживленность гаснет и лицо замыкается печалью.

— Почему не возьмут?

— Разве ты не видишь? Я весь оборван...

— А можно так сделать: я один захожу, а когда наймусь — о тебе скажу... Хорошо?..

— Ну, ну... Пусть так....

И мы покидаем толкучку.

### 3. Хозяева

**П**одходим к Александровскому проспекту, где очень много магазинов.

— Я вон куда зайду, — говорю я своему спутнику, указывая на одну из галантерейных лавок, — а ты подожди меня.

— Хорошо, — соглашается мальчуган.

Вхожу в большую лавку с высокими полками, заставленными картонными коробками. Перед прилавком на венском стуле в положении дремлющего человека сидит хозяин лавки. У него через весь живот тянется золотая цепь от часов. На нем летний светлосерый костюм и рыжая борода.

Подхожу и останавливаюсь у порога.

— Тебе что?

— Не надо ли вам мальчика? — спрашиваю я по-русски и приветливо улыбаюсь.

Хозяин подымает сонные веки и старается хорошенько рассмотреть меня.

— Ты кто — болгар? — спрашивает рыжий.

— Нет.

— Кто же ты — грек?

Я отрицательно качаю головой.

— Так, может, ты грузин будешь?

— Нет, я — еврейский мальчик.

Хозяин еще шире раскрывает веки, и его коричневые зрачки входят в мои глаза.

— Ну-ка, подойди сюда...

Он манит меня указательным пальцем, и я замечаю, что рука у него осыпана веснушками и золотыми волосиками.

Нерешительно переступаю порог. Меня почему-то пугает этот маленький рыжий человек с желтой плешинкой на макушке.

— Раз ты еврей, — обращается он ко мне, — то почему ходишь под открытым небом без шапки? А?..

— Извините меня... Я ее забыл под скамейкой, — вежливо отвечаю я.

— Что значит под скамейкой?

— В вагоне... Я из Киева приехал...

— Кто же прячет шапку под скамейкой?

— Я там лежал...

— Ага, теперь я понимаю: ты настоящий аристократ... Ну, а что ты умеешь делать?

— Что прикажете...

— А в галантерейном деле ты что-нибудь понимаешь?

— Понимаю... Я кричал: «Каждая вещь две копейки».

— О, вот это я-таки ценю... Ты, значит, галантерейный крикун... Очень хорошо... Ну, погоди немного...

Он встает, расправляет плечи и, зевнув, кричит:

— Этль, выйди в магазин.

За стеной раздаются скрип кровати, сопение, оханье, а потом, согнувшись, входит через маленькую дверь женщина богатырских размеров. На ней все преувеличено и кругло. Лицо, плечи, груди и живот туго набиты мясом и жиром.

— Ты уже соскучился? — спрашивает она по-еврейски и оголенными до локтей руками закрепляет на затылке рассыпавшиеся волосы, а толстые губы растягивает в улыбку.

— Мне не давал скучать вот этот... путешественник, — отвечает хозяин, указывая на меня.

Великанша наклоняется, щурит заплывшие глаза и внимательно разглядывает меня.

— Хочу нанять его зазывальщиком и помощником Соньки...

— Вот этого?! Так он же немногим больше блохи...

— Но зато он говорит по-русски, как настоящий москвич, и умеет делать все, «что прикажете»...

Последнюю фразу он произносит по-русски, повторяя мои слова.

Хозяйка подходит ко мне, подбоченивается и обдает меня теплым тяжелым дыханием.

— Ну, а полы мести умеешь? — обращается она ко мне.

— Ну, а самовары ставить?

— Ну, где твоя мама?

— Я сирота.

Хозяева переглядываются, отходят к прилавку и осыпают друг друга быстрым и мелким шепотком.

Из долетающих ко мне обрывков этого торопливого разговора я начинаю понимать, что им нужен мальчик и что они меня оставляют.

#### 4. Соня

— Ну уж если ты такой умный, что умеешь делать, «что прикажете», так идем — я тебе дам командира...

Все это хозяйка произносит ласково и шутливо, а я, привыкший ко всяким неожиданностям, осторожно и с оглядкой следую за нею.

Через дверь, прорезанную в задней стене магазина, мы входим в полутемную комнату, заставленную шкапами, комодами и широкой неубранной кроватью.

Из этой комнаты входим в следующую. По обстановке догадываюсь, что мы проходим столовую. Отсюда по деревянной скрипучей лестнице спускаемся в кухню.

Следую за хозяйкой, понур я голову. Из-за ее широкой спины мне ничего не видно.

— Соня, вот тебе помощник...

Хозяйка отодвигается, чтобы показать меня, и я вижу между чисто прибранной кроватью и огромной русской печью сидящую на табуретке в одной рубаше молодую девушку-смуглянку, натягивающую на ногу тонкий длинный чулок цвета крем.

Соня на секунду приподнимает голову, отягченную пышной черной косой необычайной длины, обдает меня темным взглядом черных глаз и, усмехнувшись, говорит:

— Я просила взрослого мальчика, а не

грудного младенца... Я — не кормилица...

Острое чувство стыда обжигает лицо мое. За меня заступает хозяйка.

— Пожалуйста, оставь свои капризы... Ему уже двенадцать лет, а что он мал ростом — это ничего не значит... Расскажи ему, что надо делать, и сама скорее одевайся. Тень уже на нашей стороне, жара спадает, и скоро появятся покупатели... Ну, а ты, — обращается ко мне толстуха, — будь внимательным и делай все, что она тебе прикажет.

Мать уходит. Соня принимается за второй чулок. Слежу за каждым ее движением и боюсь, что она меня прогонит. Покончив с чулками, девушка оправляет подол рубахи, ноги всовывает в маленькие ночные туфли и встает высокая, гибкая...

— Тетя Соня, возьмите меня. Я все буду делать, что захотите, обращаюсь я к ней, а сам от робости и волнения даже потеть начинаю.

Соня обнимает меня добрым взглядом миндалевидных глаз и вдруг раздражается звонким смехом.

— «Тетя Соня»... Я уже тетя...

Мне нравится ее веселый, заразительный

смех. Особенно милы две ямочки на щеках. В одной из них во время смеха или улыбки проваливается черная точка — родинка.

— Я старше тебя на пять лет и уже тетя, — говорит она, смеясь, и подходит ко мне почти вплотную. — Ах, ты, черненький такой!.. Тебя не обронили по дороге цыгане?..

— Нет, тетя Соня, я приехал из Киева.

Девушка снова заливается, и я доволен, что мне удалось притворной наивностью развеселить ее.

— Подойди-ка к окну... Надо хорошенько разглядеть моего помощника... Э, да ты крепенький... Плечи широкие, руки толстенные... Настоящий мужчина. А это что? Ай, срам какой!.. Такие чудесные кудри и осыпаны гнидами... Ты, должно быть, сирота? Я так и знала... Сейчас вымою тебе голову и вычешу всю эту гадость...

Минута — и мы приступаем к делу.

— Раздевайся... Ну!.. Кому говорят?..

Я ошеломлен, сконфужен, растерян, но в то же время ласковый голос красивой девушки и непритворное участие убеждают меня в том, что она ко мне относится без насмешки,

и это сознание успокаивает меня. Но раздеться я все-таки не решаюсь.

А Соня от слов переходит к делу, я исподлобья наблюдаю за нею. Работает она быстро, умело, и все ее движения мягки, пластичны, а походка легкая, живая, танцующая. Большие черные глаза с голубой эмалью белков освещают тонкие и правильные линии лица, украшенного темными дугами бровей, продолговатым с горбинкой носом и сверкающим оскалом безызъянных зубов. Запоминаю каждый жест, малейший поворот головы этой жизнерадостной девушки.

В большой медный таз наливает она горячую воду, достает мыло и поминутно забрасывает на спину толстую иссиня-черную косу, сползающую на пол.

— Что же ты стоишь?.. Сказано — раздевайся... Скажите пожалуйста, еще стыдиться вздумал... Я старше тебя и не стыжусь... Ну, живо!.. Скидывай рубашонку и штанишки!.. да, да... Ну, скорей — вода стынет... Вот так, молодец...

Склоняюсь над тазом, и начинается мытье. Соня старается вовсю: скребет голову ногтя-

ми, мыла не жалеет, и в глаза попадает горечь.

— Вот теперь ты станешь чистеньким мальчиком и всем будешь нравиться, приговаривает она.

Прислушиваюсь к ее голосу, и мне вспоминается то далекое время, когда надо мною ворковала моя покойная мама.

После мытья Соня приступает к уничтожению вшей.

Делает она это с помощью частого гребешка и причиняет мне такую боль, что я зубами скрежещу, но молчу, не издаю ни одного крика, ни одного стога.

— Ах, ты, бедняжка моя, как ты мог жить с такой головой? — говорит Соня.

Она сидит на табуретке и сжимает меня коленками, чтобы я не сбежал.

По голосу, каким Соня говорит со мною, я начинаю понимать, что она видит во мне маленького и глупого ребенка. А когда она пугает меня известной сказкой о том, что вши могут из моих волос сплести канат и утащить меня в море, я окончательно убеждаюсь, что Соня играет со мною в «мать и дитя», и чтоб

ей доставить удовольствие, я подыгрываю: делаю большие глаза и боязливо припадаю к ней, но в то же время люблюсь пунцовыми ленточками, сложенными бантиками на плечиках ее ажурной сорочки.

Я никак не могу понять, почему эта на редкость красивая девушка, похожая на креолку Луизу из романа Майн-Рида, так старательно занимается мною. А мне так приятно быть возле нее, слушать ее низкий грудной голос, ловить ее полнозубые улыбки, ощущать ее свежесть, пахнущую цветущей яблоней, что боюсь чём-нибудь нарушить это случайное благополучие, неожиданно выпавшее на моем шатком пути. Причесанный, умытый и одетый в свою рубашонку и коротенькие штанишки, стою перед Соней, а она, сделав серьезное лицо, говорит:

— Вот так все сироты... Если нет за ними присмотра, нет доброго человека — дети погибают... Ты думаешь, Бершадские — хозяева магазина — мои родители? Ничего подобного! Мне было четыре года, когда отец женился на этой коровице и погиб из-за нее. Отец у меня был человек честный и тихий... А по-

том, когда он умер, она вышла замуж за нашего приказчика Бершадского... Теперь он корчит из себя хозяина и ничего не делает... Рыжий жулик...

Я слушаю с глубоким интересом и боюсь одного: спохватится Соня, что разговаривает с глупым мальчишкой, и прекратит рассказ.

И я изо всех сил стараюсь придать моему лицу осмысленное выражение, морщу лоб и поджимаю губы.

— А меня, — продолжает Соня, — круглую сироту, превратили в рабу... На меня все свалили, а сами только и делают, что жрут, спят и по гостям шляются. Но ничего... Мне уже семнадцать лет, и я объявила им войну... Была дурочка — и довольно...

— Соня, ты скоро поднимешься в магазин?.. Что за безобразие такое!.. раздастся сердитый голос хозяйки.

Я съеживаюсь.

До самого вечера сижу один на кухне и жду, когда обо мне вспомнят. И лишь перед тем как закрыть лавку спускается Соня.

— Сейчас будем с тобою ужинать. Ты, наверное, проголодался? Да. Ну, сейчас покуша-

ешь. Пойдем наверх... Покажу тебе, как надо ставни закрывать.

Иду за Соней. В магазине темно: двери закрыты, а единственное окно заставлено деревянными щитами.

Соня выходит со мною из магазина, где она показывает мне, как надо просунуть железный болт в маленькое отверстие, пробуровленное в стене возле окна.

Оглядываюсь. Близятся сумерки. В сквере шумят дети.

Предвечернее небо обнимает город, и деревья темнеют. Вдруг у чугунной решетки напротив магазина замечаю мальчика, моего сегодняшнего спутника.

«Неужели он весь день стоит и ждет меня?» Эта мысль обжигает меня, и чувство жалости и боли присасывается к сердцу. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я обращаюсь к Соне:

— Вы видите вон того мальчика? Он ждет меня. Весь день ждет... Ему нужны две копейки: у него сестра умирает...

— Да что ты говоришь?.. погоди, я сейчас... Она вбегает в лавку, мигом возвращается и

сует мне в руку двугривенный.

— На, отдай ему...

Перебегаю дорогу и подхожу к мальчику.

— Ты все время здесь?

— Да, — тихо шевелит он бескровными губами.

— Возьми и лети домой...

Он протягивает руку. Кладу ему на ладонь двугривенный.

Мальчик не благодарит, но на его густых черных ресницах поблескивают крупные прозрачные капли слез.

## 5. Зазывальщик

— **П**ожалуйста к нам, господа! Получены свежие брюссельские кружева... Самые модные товары у нас найдете... Пожалуйста, заходите — уйти не захотите... Прошивки, вышивки... ленты, пуговицы, подвязки из Парижа... Венские шики... Пожалуйста.

Так я кричу в предвечерние и утренние часы, стоя у лавки. Мой крик похож на лай маленькой, но очень интересной собачонки. Все проходящие обращают на меня внимание. Одет я в желтую косоворотку и широкие шаровары, впущенные в русские сапожки с ла-

кированными голенищами. Черные кольца кудрей падают мне на глаза и уши. Мой звонкий, чистый альт серебром рассыпается по всему проспекту.

Через некоторое время становлюсь «знаменитостью».

Покупательницы вступают со мною в разговор, а конкуренты-соседи лопаются от зависти.

— Откуда они вырыли этого чертенка?.. Везет Бершадским, чтоб их ангел смерти посетил...

А Соня, сама прошедшая эту школу, учит меня и ежедневно обогащает мой зазывательный лексикон новыми словами.

— Когда ты говоришь о кружевах, прибавь слово «испанские», — поучает она и пальцами взбивает мои кудри.

Постепенно впрягаюсь в новую жизнь. Трудовые обязанности мои с каждым днем множатся, и получается так, что кроме субботы у меня нет ни одного свободного часа.

А мне хочется жить, и я с завистью гляжу на свободных сверстников, бегающих по скверу и не знающих «хозяев». Временами меня

мучает желание уйти отсюда куда-нибудь, где живут другие люди, ворваться в гущу подростков, принять участие в их играх, в их за-  
теях; но разве можно об этом мечтать, когда сама Соня будит меня чуть свет...

Я сплю с нею рядом на двух досках, положенных на козлах возле печи. Соне ничего не стоит протянуть руку и растормошить меня.

Но я на нее не сержусь. Понимаю, что она будит меня для того, чтобы мне не доставалось от строгих и требовательных Бершадских.

Сейчас же после меня встает Соня. Она сбрасывает с себя ночную рубаху, влезает в большой таз и, стоя, обдает себя холодной водой из кувшина. Потом она суровым полотенцем растирает тело до того сильно, что спина, ноги, живот и груди становятся тёмно-красными, и тогда она мне кажется индианкой из девственных лесов Америки.

Первая моя обязанность — поставить самовар. А самовар этот почти с меня величиною. По пятницам я его чищу кирпичным порошком, не сдвигая с места.

Покончив с этим делом, набираю, в тяже-

лый медный чайник воды и тихонько, чтобы не разбудить хозяев, поднимаюсь в магазин, обрызгиваю пол и плоским веником подметаю лавку. Потом бегу через дворовые ворота на Тираспольскую улицу, где в булочной Амбатьелло покупаю горячие бублики.

Тогда только встает мадам Бершадская, и мы с нею идем на базар. С плетеной корзиной на изгибе руки я следую позади хозяйки босиком (сапоги мне выдают, когда зазываю покупателей). На обратном пути эту самую корзинку, наполненную мясом, помидорами, огурцами, капустой и всякими кореньями, я с помощью хозяйки ставлю себе на голову, и мы шествуем домой.

Перед тем как сесть за утренний чай, просыпается сам Меер Бершадский или, как он себя называет, Михаил Петрович.

Соня убирает квартиру, а я открываю магазин, и начинается мой трудовой день. Зазываю покупателей, бегаю в табачную лавочку за папиросами для мусье Бершадского, слежу на кухне за тем, чтобы суп или щи не выкипали, а после обеда, когда Бершадские по случаю жары идут отдыхать, я предварительно

выгоняю мух, закрываю в спальне ставни, а сам возвращаюсь в магазин, где из вороха всевозможных остатков лент, кружев, прошивок, тесьмы, резины и вышивок должен подобрать кусочки по сортам, по узорам, по цветам, а потом наматывать их на куски картона.

Работа нудная, и я, не выспавшись, делаю все это сквозь дрему, и, чтобы скорее отделаться, я путаю кружева с прошивками, репсовые ленты с атласными и лишь последние ряды я правильно кладу на картон.

А ближе к вечеру я опять в сапожках лаю на прохожих и всячески стараюсь заманить их в магазин.

## 6. Любовь

Однообразие жизни обтачивает дни мои так, что я не отличаю их один от другого, и они катятся непрерывной полосой, унося из моего бытия часы, дни, недели, месяцы...

Если бы не Соня, я бы давно сбежал отсюда, но эта замечательная девушка, полная неиссякаемой веселости и жизнерадостной энергии, удерживает меня, и я исключительно ради нее тяну эту надоевшую мне лямку.

Соня умеет писать и хорошо разбирается в цифрах, а читает она хуже меня.

Однажды, в одну из суббот, когда обычно все уходят, а я остаюсь один сторожить добро, я нахожу за печкой растрепанную книгу под названием «Фиакр номер тринадцатый». Сажусь за кухонный стол у окна и принимаюсь за чтение.

С первых же страниц книга поднимает меня и уносит в прекрасную страну, где так много солнца, красивых людей, золота, благородства, безудержных радостей, любви, ревности и злодейства.

Я давно уже знаю, что такое любовь. Знаю, что влюбляются мужчины в женщин, а женщины в мужчин.

Мне также известно, что любовь живет среди красивых людей, а уроды никого не любят и ненавидят влюбленных. Из прочитанных мною книг я знаю, что тот, кто любит, мучительно страдает, завоеывая свое счастье подвигами, красотой, дуэлями, богатством, львиной храбростью, а иногда истекая кровью. И я, когда читаю о любви, сочувствую влюбленным и ненавижу соперниц и сопер-

ников, разбивающих нежные и возвышенные чувства несчастных героев и героинь.

Увлечшись чтением, я не слышу, как Соня открывает своим ключом дверь и входит в кухню.

— Шимеле, ты никак книгу читаешь?

От неожиданности вздрагиваю и растерянно гляжу на своего «командира».

На ней красная юбка с оборочками, белая кисейная кофточка с малиновым бантиком у воротника, тонкая талия охвачена черным лакированным пояском, на голове широкополая соломенная шляпа, украшенная алыми розами, а в руке шелковый зонтик под цвет шляпы.

Соня кладет руку мне на плечо и наклоняется над книгой. От нее пахнет липовым медом.

— Неужели ты понимаешь, что здесь напечатано?

— Очень хорошо понимаю, — говорю я, оправившись от смущения, и тут же вкратце рассказываю ей о том, как я научился читать, говорю о Житомире, о Нюренберге, о тете, о Гарине и о многом другом.

Она слушает меня с большим вниманием, и я чувствую, что Соня перестает видеть во мне глупенького мальчика.

— И ты все это пережил?.. Ах ты, мой милый Шимеле!

Она обнимает мою голову, прижимает ее к груди своей и целует меня.

— Ну, теперь читай вслух, а я послушаю.

Она снимает шляпу, подвигает вторую табуретку и садится рядом. А во мне поет радость, и я не знаю, что мне сделать для Сони, чтобы быть достойным этой мимолетной и столь неожиданной для меня ласки.

В следующую субботу, когда Бершадские уходят в гости, а мы с Соней остаемся вдвоем, между нами на той же кухне происходит следующий разговор:

— Шимеле, ты меня очень любишь? — спрашивает Соня, и обе ямочки на щеках улыбаются, а в прищуренных глазах теплится мягкая, нежная доброта.

— Да, — тихо отвечаю я, ошеломленный неожиданным вопросом.

— И ты для меня сделаешь все, что попрошу?

— Все...

— Ну, так слушай, Шимеле... Я открою тебе одну тайну, и ты должен ее хранить, как мать хранит ребенка. Понял?

— Да, очень хорошо все понимаю, — отвечаю я; а сам трепещу при мысли, что Соня усомнится во мне и тайны не откроет.

— Так слушай же, Шимеле... Со мною случилось несчастье...

Ямочки на щеках исчезают, шире раскрываются теплые черные глаза, и красивое лицо становится грустносерьезным.

— Да, со мною случилось несчастье, — повторяет Соня тихим голосом. — В меня влюбился сын Амбатъелло — Николай... Ты его знаешь — он стоит за кассой в булочной... Высокий такой, красивый, с черными усиками...

— Так он же грек! — невольно вырывается у меня.

— Да, Шимеле, он — грек... И в этом мое горе... Теперь ты все знаешь и должен мне помочь. Вот тебе пять копеек, сбегай в булочную, купи пирожное и, когда будешь платить, незаметно передай ему мою записочку... Сделаешь?..

— Да.

— И никто этого не узнает?

— Умру, а не скажу! — взволнованно и твердо заявляю я.

Соня благодарит улыбкой и ласково проводит рукой по моим кудрям.

С этого момента моя жизнь наполняется новым содержанием. Живу за себя и за Соню. Меня теперь интересует каждый ее шаг, каждое движение. Я замечаю, как Соня расцветает, становится еще красивей и веселей.

Работает она с великой охотой и без всякой усталости. Торгуется одна за всех. Пока Этль — наша одушевленная глыба из мяса и жира — повернется, Соня уже успевает отпустить несколько покупательниц, сбегать на кухню, приготовить что нужно для варева, подсчитать вчерашнюю кассу, убрать комнаты и снова работать за прилавком.

И все это она делает легко и бодро. А вечерами она готовится к свиданию и плетет венки из цветов своей первой любви.

Я всем сердцем ей сочувствую, бережно храню доверенную мне тайну, радуюсь ее радостями и в то же время мучаюсь вопросом:

почему грек?.. Ведь греки совсем чужие нам люди?

Через некоторое время я начинаю замечать, что Соня чем-то озабочена и реже смеется. Записочки от нее передаю ежедневно молодому Амбатьелло.

Мы с ним уже хорошо знакомы, и когда я плачу ему за бублики, он сам протягивает руку за сониной запиской и улыбается всеми зубами. Он действительно очень красив. Черноглазый, румяный, широкоплечий парень, — он со всеми ласков, приветлив и всегда одет по-праздничному.

Пробежав глазами по записке, он рвет ее на мелкие кусочки, наклоняется ко мне, треплет меня по плечу, сует в руку конфету и шепчет: — Скажи, что буду...

Соня рдеет от счастья, когда я передаю ей коротенький ответ Николая...

## 7. Обида

Догорает лето. Тяжелее становится таскать корзину с базара. Ко всем обычным продуктам прибавляются виноград и арбузы.

Днем еще тепло, а ранним утром откуда-то дуют сквозняки и от деревьев пахнет сыро-

СТЬЮ.

Время и родственное отношение ко мне Сони прикрепляют меня к новой жизни, и я привыкаю к окружающей обстановке. Но когда остаюсь один, а читать нечего, тоска до боли сжимает сердце, и я готов бежать отсюда без оглядки, бежать туда, где много людей, где вертится, клокочет, кричит и поет многоголосая жизнь.

Осень здесь тянется долго и оставляет для зимы очень коротенькое время. В такие дни, когда льют дожди, когда прохожие, сторбившись под зонтиками, не только не замечают меня, но и не слышат твоих зазываний, когда ветер срывает с моря синий покров и море становится желто-серым и, кипя седыми космами вздыбленных валов, мчится с воплями в атаку на город, и когда умирающие тополя и акации, раздетые догола, мечутся в предсмертной лихорадке, — скука окончательно заедает, и мысль об уходе неотступно преследует меня.

Хозяева сердятся. Что между ними происходит, я не знаю, но чаще всего Этль нападает на Меера, упрекая его какой-то Кларой.

— Помни, несчастный супчик... Если эта дешовка осмелится еще раз войти в мой магазин, я и тебе и ей глаза выколю...

Меер молчит и трусливо ухмыляется, но потом он затаенную злобу вымещает на мне: придирается ко всякому пустяку, зло подшучивает и всячески старается причинить неприятность, оскорбить и унижить.

Всеми силами начинаю ненавидеть этого рыжего человека, осьшаниого веснушками, золотыми запонками и перстнями на волосатых пальцах.

Всегда так бывает: одна неудача тащит за собою другую.

Однажды стою утром перед лавкой и механически выкрикиваю зазывательские слова, давно уже потерявшие для меня всякий смысл и опротивевшие мне до последней степени. Как вдруг я вижу бегущую через дорогу к нам бедно одетую женщину с вязанным платком на голове. Она вихрем врывается в лавку и набрасывается на хозяйку.

— Вы что же это такое делаете!.. За мою кровь и потом добытые деньги вместо товара отпускаете мусор!.. И вы думаете, что это

вам сойдет!.. Ошибаетесь... Я всю Одессу при-  
тащу сюда... Пусть все знают, за чей счет бога-  
теют Бершадекие...

— Ша, прошу вас... Не кричите так... Поду-  
мают, что вы сюда рожать пришли... — слы-  
шу я голос Этль.

Из дальнейшего мне становится ясным,  
что всему виною я. Сама Этль отмерила поку-  
пательнице из остатков три аршина кружев.  
Но эти кружева когда-то собирал я, и в трех  
аршинах оказываются пять различных кусоч-  
ков, скрепленных булавками.

Знаю, что мне за это достанется, и я начи-  
наю стараться и кричу во весь голос:

— Пожалуйте, господа!.. Получены свежие  
товары из Парижа... Венские шики...

Но тут я умолкаю: Меер выбегает из мага-  
зина, хватает меня за руку и тащит к прилав-  
ку, где белеет грудa всевозможных остатков.

— На, шарлатан, полюбуйся... Это твоя ра-  
бота?.. Видишь, что наделал!..

Он крепко сжимает мое ухо и наклоняет  
меня к кружевам и прошивкам.

— Покажи, покажи ему, арестанту, как на-  
до работать!.. — кричит Этль. Какие неприят-

ности мы имеем из-за тебя, дармоеда!.. Чтоб ты сгорел на медленном огне, мамзер несчастный...

Я молчу, терплю, трушу, а сердце наливается злобой и ненавистью. При Соне они бы не смели так расправляться со мною. Но ее нет, она где-то у оптовиков закупает товар для магазина.

Мелкокудрая, цвета красной меди голова Меера, его коричневые зрачки, вращающиеся на одном месте, и желтая борода, подстриженная совочкам, вызывают во мне отвращение и страх, а громоздкая Этль с большим жадным ртом, наполненным гнилыми, дурно пахнущими зубами, приводит меня в ярость, и я мысленно придумываю для нее всевозможные казни.

«Хорошо бы ее поставить рядом с двумя каменными бабами подпирать балкон дома Маразли» [Маразли — миллионер; городской голова Одессы того времени, один из организаторов еврейского погрома в 1891 году.].

А вечером того же дня происходит новый скандал.

Мне приказывают поставить самовар. Ра-

ботаю почти бессознательно. Решаю большой вопрос, весьма для меня важный и серьезный: если уйти, то куда, и как к моему бегству отнесется Соня?

Поставленный мною самовар через минуту уже начинает петь.

Меня это удивляет, и кроме того замечаю, что кран согнулся.

Подхожу с тем, чтобы его выпрямить, а он и вовсе отламывается.

— Смотрите, — обращаюсь я к Мееру, — кран отклеился...

— Отклеился?! А воду ты налил?.. Вот я этот кран к твоей цыганской роже приклею...

И Меер, размахнувшись, попадает мне крапом в глаз.

Звериный крик вырывается у меня из горла.

— Аи, аи!.. Спасите!.. Я слепой!.. — кричу не столько от боли, сколько от злости.

На мой крик прибегает Соня, а вслед за нею и сама хозяйка.

— Что случилось?..

Соня подходит ко мне, отрывает мою руку, прижатую к глазу, видит на оцарапанном ве-

ке кровь и приходит в неистовство.

— Как вы смеете... разбойники?! Где ваше милосердие?.. Калечите сироту!.. Сейчас позову полицию...

Соня неузнаваема. Она воя — пламень. Огромные глаза сверкают черным блеском, высоко вздымается грудь, и в каждой черточке ее красивого лица пылают негодование и протест.

— Пойдем, Шимеле, в полицию...

Она берет меня за руку и ведет к выходу, но дорогу нам преграждает Этль.

— Соня, пожалуйста, без скандала... Меер нечаянно это сделал... И не надо кричать: здесь не сумасшедший дом...

Меер прячется за жену. В эту минуту он напоминает воробья у подножия памятника.

Три дня я ничего не делаю. Соня лечит мой глаз примочками, хотя оцарапанное веко и без того заживает.

Пользуюсь полной свободой и могу выходить на улицу; но в моем сознании живет нанесенная мне обида, и чувство неприязни к Бершадоким не оставляет меня.

— Если бы не вы, — говорю я Соне перед

тем, как спать, — я бы ушел отсюда...

— Куда?

— В карантин. Вот куда...

— Что же ты там стал бы делать?

— Разгружал бы фрукты... Там много детей занимаются этим делом. Им за это деньги платят и хозяев у них нет.

Соня поражена и вглядывается в меня расширенными глазами.

— Шимеле, откуда у тебя такие мысли? И когда ты успел все это узнать?..

— О, я уже сколько раз там был!.. Как отпустите меня погулять, так я сейчас же бегу к морю... Мне там очень нравится: пароходов много, барж, лодок... А людей еще больше... Оттуда можно даже в Америку попасть.

— Глупости говоришь ты, — перебивает меня Соня, — в порту одни только босяки, дешовки и пьяницы... Тебя там убить могут... Ах, какой ты глупый мальчик!.. Вот уж я не думала!.. Зима на дворе, а ты уходить хочешь... Спи лучше. Завтра пойду с тобою и куплю тебе теплое пальтишко и шапку. Я уже говорила Бершадским, и они деньга дали. Спи!

Укрываюсь байковым платком, прижимаюсь спиной к печи, вспоминаю все обиды, нанесенные мне хозяевами, глажу раненое веко и беззвучно плачу.

## 8. Тарасевичи

Однажды, в одну из суббот, в свободный час выхожу на нашу Тираспольскую улицу. Мороз, тишина и далекое низкое солнце. Снег сухой, скрипучий и белее сахара. На мне длинное ватное пальто, купленное Соней на рост, а на голове круглая шапка из поддельной серой мерлушки.

Соня говорит, что эта шапочка очень подходит к моим черным кудрям.

Выхожу из ворот и вижу хромого мальчика на костылях, катающегося на одном деревянном коньке; другая нога у него согнута пополам.

Катается он очень ловко: разбежится, взмахнет костылями и на одной ноге проделывает несколько фигур.

Хромой конькобежец меня заинтересовывает. Подхожу ближе. В это время у мальчика развязывается конек.

Тогда он прислоняется к стене, повисает на

костылях и силится закрепить развязавшуюся бечевочку.

Вижу, что хромоту трудно приходится, и говорю ему:

— Дай я тебе помогу...

— Помоги, если не шутишь.

И наше знакомство начинается.

Узнаю, что его зовут Петя, что живет он рядом в большом подвале, где помещается столярная мастерская его отца. Отец у него украинец, а мать русская. Узнаю также, что из пяти братьев и сестер он самый старший, хотя ему всего десять лет.

— У меня еще один конек есть... Хочешь покататься? Я сейчас вынесу, хочешь? — предлагает мне Петя и с помощью костылей скачет к себе в подвал.

Я остаюсь ждать его. Он мне нравится. Лицо у него маленькое, заостренное у подбородка и печальное, а глаза лучистые, цвета весеннего неба.

Впоследствии я узнаю от самого Пети, что у него нет товарищей: он боится сверстников. Мальчишки обижают его, отнимают костыли и относят их подальше, а когда он скачет на

одной ноге к своим костылям, ребята бьют в ладоши и улюлюкают.

— У меня коньки настоящие... Я их сам делаю... И железка вставлена для скользкости... Видишь? — говорит Петя, возвращаясь ко мне.

Мой новый товарищ хоть и хромой, но катается лучше меня.

Скользим мы по снегу в золотисто-снежное утро, смеемся, когда я падаю на мягкую зимнюю панель, и скачем вперед.

Вдруг Петя останавливается и шепчет в испуге: — Бежим назад... Вон они...

— Кто?

— Булочки...

Из дома, где помещается булочная Амбательелло, выбегает сука мальчишек. По их смеющимся рожам и ужимкам чувствую, что без стычки дело не обойдется.

Правда, — ребята маленькие, но их четверо, а один из них ростом повыше меня и, судя по его ухваткам, драчун несомненный.

— Цапля-капля, стук-стук-стук... — хором приветствуют они Петю, смело наступая на него.

Хромой жметя к стене и всеми пальцами впивается в костыли.

Начинаю саМ трусить, хочу задать стрекача, но стыдно перед беспомощным Петей.

— Вы чего? — кричу я, когда мальчишки ближе подходят к нам.

— А ты чего? — голосисто спрашивает один из них.

— Я ничего.

— И мы ничего...

— Поднеси ему, Васька, тютю... Чего смотришь?.. Он «из наших»...

Это говорит водитель шайки, самый большой. А Васька, румянощекий, курносый и сероглазый, не задумываясь, подскакивает ко мне и одновременно по-одесски — ударяет меня кулаком в грудь и ногой по моим ногам. От неожиданности теряю равновесие и сваливаюсь.

Мое падение сопровождается громким смехом детворы. Стыд и злоба поднимают меня. Вырываю у Петьки костыль и бросаюсь к мальчишкам, но те разбегаются и уже издали грозят мне. А старший кричит на прощанье:

— погоди, черномазый, наскочишь на мои

кулаки!

Мы с Петей торжествуем.

— Идем к нам... Ты будешь моим товарищем... Хорошо? У меня книжки с картинками, верстак с инструментами... Пойдешь?.. Да?..

Голубые глаза Пети светятся такой ласковой добротой, а голос звучит так просительно, что не могу отказать и следую за ним.

По дороге спрашиваю у Пети:

— Давно у тебя с ногой?

— Давно... Я еще маленький был, когда с лестницы свалился... Батя говорит, что ее могут выпрямить...

— Кто может?

— Такие доктора имеются... В Питере живут. Вот как батя получит большой заказ, заработает много денег, мы с ним покатаем в Питер, а оттуда я вернусь как все, без костылей...

Мы по каменной лестнице спускаемся в подвал. Над входом читаю вывеску, написанную печатными буквами углем: «Ось де столяр Тарасевич живет»

Помещение большое, но оно ниже улицы, и когда проходят люди, мы видим только но-

ги. При входе в подвал в нос проникает смешанный запах сырости, клея, русских щей и свежих сосновых стружек.

Меня окружают белоголовые ребяташки, с любопытством рассматривающие меня.

— Ты кто?

— Ты для чего сюда пришел?..

Петя бесцеремонно отгоняет мелюзгу и ведет меня «к себе».

Это «к себе» представляет собою небольшой угол за печкой, где в строгом порядке находятся детские столярные инструменты, книжки с картинками, тетради, карандаши и ажурные полочки, выпиленные самим Петей.

Мать моего нового приятеля — блондинка среднего роста, с добрым, симпатичным лицом и приятным голосом. Она — русская из Ярославской губернии. Меня она тотчас же узнает: видит меня чуть ли не ежедневно, как проходит мимо лавки Бершадских.

Сам Тарасевич немного пугает меня: он похож на медведя, поднявшегося на задние лапы; а лицом напоминает запорожца с темно-русыми усами, висящими ниже подбородка. Но он только с виду кажется страшным, а ко-

гда заговорит и смешливые огоньки зажгутся в карих глазах, — перестаешь его бояться.

Родители Пети обходятся со мною ласково. Они, видимо, рады, что у их первенца нашелся товарищ.

— Батя, мы с этим мальчиком дружить будем... Он хороший, защищает меня, — говорит Петя.

— Добре, добре, хлопчики, — соглашается отец.

— Как тебя зовут? — обращается ко мне мать.

— Шим... Нет, просто Сеня, — отвечаю я, немного смущенный тем, что не сразу назвал себя по-русски.

— Идем к себе, — настойчиво приглашает меня Петя.

За нами вдогонку по чисто вымытому полу быстро ползет малыш с закатанной до затылка рубашонкой. Мальчишка беспричинно смеется, показывая два молочных зуба.

Отныне у меня есть дом, куда могу приходить, когда мне вздумается. Ко мне здесь относятся хорошо, а малыши уважают меня за силу и за вранье: я часто рассказываю им

небылицы, мною самим выдуманые.

Жизнь Тарасевичей мне понятна и близка. Понимаю, что бедность заставляет их жить в подвале и пить чай вприкуску. Но эта бедность освещена всеобщей мечтой о «большом заказе». И вот когда будет получен заказ и когда Тарасевич заработает много денег, тогда жизнь изменится: снимут светлое, сухое помещение, наймут подмастерьев и каждый день станут есть мясо. Откуда явится заказ — никто не знает, но вся семья верит в это чудесное завтра, и в ожидании лучшего они бодро переносят нужду, весело «жартуют» над постными щами и над «братской могилой», как называет свой подвал сам Тарасевич.

## 9. Неожиданное событие

Зима в Одессе гостит недолго: дыхнет море теплом, и мякнет снег, и снова звенят по камню железные шины биндюг, и высекают искры из обнаженных мостовых мчащиеся рысаки собственников. Все выше и выше плавает над городом солнце, и голосистей перекликается зоробьи.

Еще немного — ив белый город врывается

весна.

Поют ручьи. По нежной лазури теплого неба кочует перламутровая зыбь легких облачков. Смеется и кричит детвора, цветут улыбки на лицах женщин и мужчин, и даже у стариков выпрямляются спины и уверенней становится их шаг.

Соня живет какой-то своей, нездешней жизнью. То, что с нею происходит, так огромно, что моментами, когда ей не под силу одной нести в себе все радости и печали, все сомнения и восторги, Соня чуть-чуть открывает краешек своей сердечной тайны и, за неимением другого слушателя, вводит меня в свой, ей одной принадлежащий мир.

В такие минуты я напрягаю все Свои умственные силы, чтобы быть достойным этого высокого доверия.

— Ах, Шимеле, ты не поймешь... Он такой нежный, благородный, красивый... Мне с ним так хорошо и так... страшно... Пойми, Шимеле, мы с ним совсем разные... Отец у него суровый и чужой для меня... Старик никогда не допустит... А я готова на все жертвы... Я знаю — меня погубит красота моя, потому что

я бедная и сирота... Бедные не имеют права быть красивыми... Нет, Шимеле, ты не поймешь этого...

Черные горячие глаза Сони наполняются слезами.

Что делать? Как мне осушить эти алмазные капли, сверкающие на темных изогнутых ресницах дорогой и близкой девушки? Как доказать ей, что я все понимаю и что я готов умереть за нее?..

И все, что я знаю о любви, все, что мною вычитано в книгах, и все слова лучших героев приходят мне на память, и я голосом, напитанным пламенным сочувствием, доказываю Соне, что любовь сильнее людей, что она на пути своем сокрушает все препятствия и соединяет любящие сердца...

Соня слушает меня с удивлением и любопытством. Я вырастаю в ее глазах, а сам, когда говорю, прислушиваюсь к собственному голосу, физически ощущаю свои мысли и горжусь тем, что могу в таком серьезном деле быть поверенным и советчиком взрослой девушки.

Перед тем как уснуть, я мысленно следую за Соней, вижу ее вместе с Николаем, слежу

за тем, как он берет ее под руку... Потом они садятся на скамейку, шепчутся, целуются... И вот тут впервые мною овладевает тяжелое чувство, мне самому непонятное, и я перестаю любить молодого Амбатъелло.

Весна все ярче и шумнее гуляет по городу и осыпает людей золотыми цветами молодого солнца. Но этот буйный праздник южной весны неожиданно омрачается невероятным и страшным событием.

Однажды встаю по обыкновению раньше всех, иду открывать ставни и вижу на всех домах висят черные флаги. По городу носится тягучий звон церковей. Тишина.

Людей мало. Чувствуется какая-то тревога.

— Ты что делаешь?

Оглядываюсь и вижу «нашего» городового — толстого усача, получающего за что-то от Бершадоких три рубля в месяц.

— Магазин открываю.

— Не смей открывать! Видишь, кругом все закрыто.

— А какой сегодня праздник!

— Вот я тебе покажу праздник... Закрывай обратно!.. Ишь ты праздник... Царя убили, а

он — праздник...

Один момент — и я уже в спальне хозяев.

— Вставайте, царя убили!.. — кричу я.

Из-за тяжелой туши Бершадской шевелится маленький Меер. Он, по-детски, кулаками протирает глаза, зевает, сопит носом и, наконец, приходит в себя.

— Кто сказал?

— Наш городской. Все магазины закрыты...

— Этьль, ты слышишь?

— Шимеле, что случилось? — доносится из кухни голос Сони.

Просыпается хозяйка. Начинаются расспросы, шопоты, вздохи, и я становлюсь центром внимания, хотя сам ничего не знаю.

— Позвольте мне выйти на улицу и посмотреть, что делается, — предлагаю я.

— Ну, ну, иди... Только скорей возвращайся.

Верчусь по ближайшим улицам, присматриваюсь к взрослым, прислушиваюсь, хочу понять смысл случившегося, но ничего не выходит: люди потеряли голос, и если говорят, то до того тихо, что до меня редко какое слово долетит. Зато по выражению лиц догадыва-

юсь, что все очень встревожены и чего-то бо-  
ются.

По всему видно, что евреи больше всех за-  
интересованы событием. Они собираются  
кучками, торопливо перебрасываются коро-  
тенькими фразами, размахивают руками и  
пугливо озираются по сторонам.

— Аи, бросьте... Не будет Александра вто-  
рого — станет царствовать Александр третий,  
четвертый, пятый... Что у них — мало Алек-  
сандров?..

Это говорит молодой смуглолицый еврей,  
одетый не по-одесски: в длинный сюртук до  
пят и высокие русские сапоги. Вдоль сухих  
щек, обрамленных мелкокудрой бородкой,  
висят черные винтообразные пейсы. Молодо-  
го человека окружают несколько пожилых  
евреев, слушающих его с большим внимани-  
ем.

— А я думаю, что все кончится тем, что мы  
окажемся виноватыми, — тихо говорит ста-  
рый еврей с широкой седой бородой.

— В чем вы видите причину такого исхо-  
да? — задает вопрос молодой с пейсами.

— Когда дело касается евреев, причины от-

сутствуют.

Я только одно знаю: всякая ихняя неприятность кончается одним и тем же: «бей жи-дов!»

— Ша, говорите тише, пожалуйста...

— Позвольте, — начинает молодой, — в телеграмме стоит, что бомбу под царя бросил студент Рысаков. А Рысаков — не еврейская фамилия...

В это Время на другой стороне проспекта показывается небольшая группа конных жандармов, и беседующие торопливо расходятся.

Бегу домой, чтобы рассказать все, что знаю. А знаю я много: воображение работает безостановочно и, фантазируя, рисует картину за картиной. И, как всегда, начинаю верить в то, что сам выдумываю.

По дороге ныряю- в подвал Тарасевичей — хочу и с ними поделиться интересными новостями.

— Слыхали?.. Царь убит! - весело и звонко кричу я с порога.

Но здесь уже знают. Мать Пети очень взволнована, поминутно крестится, охает, причитает и никак не может успокоиться.

Сам Тарасевич — единственный грамотный в доме — пошел читать телеграммы, расклеенные по всему городу.

— Господи Иисусе, что же это будет? Освободителя и вдруг убивают... И как они могли это сделать? — причитает петина мама и недоуменно разводит руками.

— Очень — просто, — объясняю я. — Прокрался в спальню Рысаков... студент такой, и как шваркнет под кровать бомбу... Тут и царь и подушки сразу разлетелись в куски... и сам дворец раскололся пополам...

— Брехня! — вдруг раздается голос Тарасевича. Царь ехал в карете, а не в кровати...

Вижу его длинные висящие усы, насмешливый взгляд карих очей, мне становится стыдно. Петя тащит меня «к себе», но я решительно отказываюсь и лечу домой.

Здесь уж я не стесняюсь и фантазирую, сколько мне хочется.

Бершадские и Сони слушают меня с широко раскрытыми глазами.

— Царь по главной улице ехал в золотой карете. Вдруг из-за угла выбегает студент такой... Рысаков... и бросает бомбу... Раздается

гром... И карета и царь разлетаются на мелкие кусочки...

— Слава богу, что не еврей это сделал, — вставляет хозяйка.

— Это ничего не значит, — твердо заявляю я. — Нас все равно бить будут...

— Откуда ты это знаешь?

— Раввин говорил.

— Какой раввин?

— Молодой, с черной бородкой... Его слушали старики и качали головами... Он говорил, что так всегда бывает: как бьют царя, так сейчас же начинают громить евреев...

— Ой, мне дурно делается... Ведь это может случиться...

Этль ломает руки, она в отчаянии, а мне ничуть не страшно, и я доволен, что мне удалось крепко заинтересовать взрослых.

## 10. Уход

Все ждут чего-то, а ничего не случается. Евреев никто не думает бить, и все идет по старому. Ежедневно ношу записочки от Сони и ежедневно таскаю корзину с базара.

Но проходит еще недели две, и Одесса снова возвращается к убитому царю. Оказывает-

ся, что среди лиц, напавших на царя, имеется одна еврейка — Геся Гельфман. И как только об этом становится известно, неприязненное отношение к евреям усиливается.

Всюду говорят о предстоящем погроме. Захожу к Тарасовичам.

Петя радуется моему приходу, тащит к себе и сообщает просто и деловито:

— Скоро ваших бить будут.

— За что?

— За то, что они Христа распнули и царя убили...

Заглядываю в голубые глаза Пети и не нахожу в них никаких признаков злобы или ненависти.

Домой возвращаюсь растерянным: не могу себе представить погрома. А главное, не знаю, когда это происходит — днем или ночью. Если ночью, то должно быть очень страшно.

Но в нашей собственной маленькой жизни в эти тревожные дни происходит такое непредвиденное событие, что мысли о погроме отходят в сторону.

Отчетливо помню весеннее утро, когда без посторонней помощи просыпаюсь и не вижу

на обычном месте Сони.

«Ого, я проспал!» — мелькает у меня в голове, и первым делом бросаюсь ставить самовар.

— Соня, что ты валяешься!.. — падает из спальни голос мадам Бершадской. — Ты забыла, что надо ехать за товаром?..

— Она уже уехала! — кричу я.

И снова тишина. А спустя немного я уже слышу свистящий храп хозяйки.

Наскоро умываюсь и бегу за бубликами. В кассе сидит младший брат Николая — Сергей. Я его знаю. Ему восемнадцать лет, и на верхней губе уже пробивается темный пушок.

Просовываю в окошечко пять копеек и вежливо спрашиваю с исключительной целью поговорить с красивым взрослым парнем:

— Сегодня вы вместо господина Николая?

— А тебе какое дело? Получил бублики и убирайся к черту!..

В булочной много покупателей. Все слышат... Ухожу, обожженный стыдом.

А дома у нас скандал. Хозяйка проверяет выручку и убеждается, что Соня уехала за то-

варом без денег.

— И о чем она только думает, эта паршивая кукла... Да разве она может думать, когда голова набита кавалерами.

Голос Бершадской заполняет все помещение. Потом она раскрывает гардеробный шкаф, чего-то ищет и опять раздражается ругательствами.

— Ну, как вам это нравится!.. Пошла в оптовые ряды и расфрантилась, как на свадьбу... Ну, не дура она?.. Ох, давно ее космы не были в моих руках... А ты чего тут шморгаешь носом, холера? Бери корзину... Ну...

Последние слова относятся ко мне.

Когда мы с хозяйкой возвращаемся с базара, нас встречает Меер, радостно взволнованный, с маленькой записочкой в руке.

— Ты видишь эту бумажку? Нам письмо от Сони: «Ушла от вас навсегда».. И больше здесь ничего нет, заканчивает мусье Бершадский.

— Ой, я сейчас в обморок упаду, — тихо произносит Этль и опускается на стул, широко расставив толстые большие ноги.

Только теперь я начинаю понимать, в чем дело. Соня бежала с Николаем.

Ушла «навсегда» и безжалостно унесла с собою все то, что наполняло мое личное крохотное существование.

Весть об исчезновении Сони распространяется по всему нашему торговому ряду. Больше всех тараторят женщины, а девушки — сверстницы и подруги бежавшей — хотя и молчат из скромности, но в их глазах горит такое любопытство, такое желание узнать подробности происшедшего, что мне, знающему больше всех, с трудом приходится хранить поверенную тайну, и я молчу, притворяясь маленьким и ничего не понимающим.

Но и без меня все становится известно. На другой день к нам в магазин приходит старик Амбатьелло с толстой тростью в руке. Он сразу набрасывается на Бершадоких и стучит палкой об пол. Он еще крепкий старик с круглой седой бородой. Из-под мягкой фетровой шляпы выбиваются серые колечки вьющихся седин. Но глаза и брови у него черные и сердитые.

— Вицтози это такое?.. Заманили доцькой насого сына... А? Десять тысяч рупли стасцили... А?! Я градоначальника пойду... А?!

Старый Амбатьелло не говорит, а стреляет в Бершадских колючими словами. И в каждом звуке его голоса слышится угроза, ненависть и презрение...

В первый раз я вижу струсившую Этль. Она не только молчит, но становится ниже ростом. Старается улыбками и поклонами задобрить старика, но тот ничего видеть не хочет: кричит, ругается и угрожает всему еврейскому народу. А Меер совсем в комочек превратился, и его рыжая, насмерть перепуганная голова едва видна из-за прилавка.

Вдоволь накричавшись, Амбатьелло, дрожа от волнения и все еще кому-то угрожая, выходит из магазина, тяжело опираясь на трость.

С уходом старика моя хозяйка мгновенно преображается. Теперь уже она негодует и воя горит безудержной злобой.

— Еврейское дитя бежит с греком!.. Какой срам! Какими морями смыть этот стыд!.. Разве она не знает, что греки еще более православные, чем русские? Ну, как после этого жить на свете?.. Растила, воспитывала и выкормила змею... Чтоб черными стали дни ее

подлой жизни.

Из широкого толстогубого рта Бершадской выпадают тяжелые и жуткие слова.

Чтобы не попадаться на глаза, я поминутно бегаю то на кухню, то на проспект зазывать покупателей.

Мысли мои бегут вразброд, и мне трудно собрать их, не могу вдуматься, не в силах понять то, что вокруг меня происходит. Мне очень обидно, что Соня не сочла нужным посвятить меня в тайну побега, но в общем я доволен случившимся и считаю Соню великой героиней...

— Ты давно здесь служишь?

Поднимаю голову и вижу перед собою еврея среднего роста, с небольшой коричневой бородкой и круглыми светло-кариими глазами.

— Не узнаешь меня?.. Забыл, как ты кричал у меня: «Каждая вещь две копейки»?., Я — Давид Зайдеман. Вспоминаешь?

Вспоминаю и радостно улыбаюсь моему первому работодателю.

— Скоро уже два года будет с того времени, — говорит Зайдеман, — а ты все такой же

маленький. Почему не растешь?

— Не знаю, — тихо отвечаю я, немного смущенный.

— Службой ты доволен?

— Нет, — отвечаю я искренно и просто.

— Да, жить у Бершадских — не рай. Я их знаю. Сколько они тебе платят?

— Ничего.

— Как ничего?! Они обязаны тебе жалованье платить.

— Они меня кормят, одевают...

— Подумаешь, какое благодеяние!.. Но ты должен иметь и свою копейку...

Из предосторожности заглядываю в лавку. Там продолжается буря, и хозяевам не до меня. Тогда я уже смелее начинаю разговаривать с Зайдеманом. В немногих словах сообщая ему о бегстве Сони, чем привожу его в крайнее изумление, а потом жалуюсь на собственную судьбу, говорю о том, как тяжело мне жить у Бершадских, и рассказываю об обидах, наносимых мне этими злыми и грубыми людьми.

— Вот что, — перебивает меня Зайдеман. — Ты знаешь дом Черепенникова?

— Знаю... Мы с хозяйкой через этот двор на базар ходим. Там училище...

— Вот, вот, казенное двухклассное еврейское училище... Я там служу сторожем. Скоро, по случаю летнего времени, училище закроют, и мне там будет мало дела. И вот, как раз сегодня я вошел в компанию к моему старшему брату Леве, и мы сняли погреб.

— Зачем погреб? — спрашиваю я, крайне заинтересованный.

— Чтобы торговать фруктами. Нам нужен будет мальчик. Если захочешь — мы тебя найдем...

— Хочу, очень даже хочу!.. — живо перебиваю я, захлебываясь от радости.

— Тогда сделай вот что. Завтра суббота, занятий в училище нет. Придешь, и мы с тобой сговоримся... Приходи пораньше... Согласен?

— Очень согласен... Спасибо вам, господин Зайдеман...

Давид удаляется, я остаюсь один с моими торопливыми мыслями об уходе. Пользуясь тем, что Бершадским сейчас ни до кого дела нет, перестаю твякать на прохожих и ухожу в мои мечты.

Завтра оставлю это место «навсегда». Трудно только дождаться этого завтра: время совсем не двигается. Весь горю нетерпением, а впереди еще целая ночь. Пусть теперь Бершадские поторгуют без «нас». Мы — это я и Соня.

Мысли путаются и кружатся, подобно снежинкам на ветру. Никак не могу остановиться на самом главном: что я буду делать у Давида Зайдемана? Вместо этого в моем воображении живет Соня. Где она?

Куда бежала с Николаем? Наверно, в Америку, — решаю я, — и образ красивой черноглазой Сони неотступно преследует меня.

И я вижу ее в сиянии волшебного счастья. Она смелая, умная, прекрасная...

Потом перехожу к дому Черепенникова. Я знаю этот дом: каждый день проходим с хозяйкой через его двор на базар. Снаружи обойти дом Черепенникова — дело не легкое: устанешь. А внутри двора живет, клокочет и нищенствует целое местечко. Народу там столько, что в год не сосчитать. Там и трактир «Белый орел», выходящий прямо на толкучку, и греческая ресторация, похожая на вокзал. А как войдешь в ворота с Базарной

улицы — читаешь вывеску: «Еврейское казенное двухклассное училище». Эти слова вызывают во мне воспоминание о житомирском учительском институте, и когда я их читаю — в мое сердце вливается грусть.

Завтра пусть сам мусье Бершадский ставит самовар, а я уйду тихонечко, чуть свет. Сделаю то же, что и Соня.

«Ты долго еще будешь дрыхать, холера?» — закричит мадам, а меня уже нету... Вот потеха будет!

## 11. На новом месте

**Ж**иву у сторожа двухклассного училища Давида Зайдемана. Живем отлично: сплю на столе, а мой начальник — на складных козлах, обтянутых мешком.

Работа пустячная: по утрам моем швабрами полы, снимаем пыль с парт, доливаем чернильницы и влажной тряпкой стираем мел с классных досок. Во время перемен на нашей обязанности — наблюдать за ребятами, чтобы они не забирались в «Белый орел» слушать машину и не вступали в разговоры с пьяными.

Никто на меня не кричит, никто не пону-

кает, и я чувствую себя свободным. Кончатся классы — и я могу делать, что мне угодно и уходить, куда захочу.

Зайдеман мне нравится — он всегда весел, шутив и редко жалуется на судьбу. Его брат Лева приходит к нам по субботам, когда ему делать нечего. Он недавно женился на немецкой еврейке Матильде, получил в приданое сто рублей и хочет заняться торговлей фруктами, чтобы жить покрасивей. Сейчас он подкидалыцик — в хлебных амбарах лопатой пшеницу ворошит, получая за это восемьдесят копеек в день.

Лева ростом выше Давида, шире в плечах и не похож на еврея.

Он светлый блондин с большими на выкате глазами и хорошо говорит по-русски. Он бреется и носит светлорусые усы.

Начинаю понимать, что между житомирскими и одесскими евреями большая разница. Если бы дядя Шмуни увидал этого Леву и тысячу, ему подобных, нарушающих законы религии, если бы он увидал их курящими в субботу и кушающими ветчину, — он бы умер от ужаса.

Товарищей у меня сколько хочу. Весь второй класс — мои сверстники. Я с каждым из них боролся, и теперь они меня чтут за силу и смелость.

Во время занятий я чуточку открываю дверь и простаиваю до конца урока. Когда идут устные урки по русскому языку, я чувствую себя первым учеником. Запоминаю стихи, басни, прочитанные рассказы и про себя отвечаю на все вопросы учителя.

И снова начинаю мечтать о том, чтобы стать образованным.

Вечерами, когда мы с Давидом остаемся наедине в нашей маленькой передней, я держу перед ним экзамен и произношу наизусть стихи Пушкина и басни Крылова.

Давид слушает внимательно и удивляется моей памяти, но когда я говорю ему о моем желании поступить в школу, Зайдеман отрицательно качает головой.

— Это все равно, — говорит он, — если бы пастух захотел поступить в помещики...

— Почему?

— Тут, дитя мое, много этих «почему», а главное «почему» заключается в том, что ты

много понимаешь, мало знаешь...

Но Давид ошибается. Из Житомира приезжает Резник, окончивший там учительский институт и назначенный учителем в наше училище. Резник меня хорошо помнит. Он даже почти мой родственник — сын родного брата дяди. Шмуни.

На второй день после появления нового преподавателя мы с ним сталкиваемся у дверей учительской, где я мелом чищу медную ручку.

Резник узнает меня с первого взгляда.

— Это ты, Шимеле?

Предо мною стоит молодой учитель в новеньком вицмундире с сияющими пуговицами. Он небольшого роста, узкогрудый, бледнолицый и старше меня на шесть лет.

— Как ты сюда попал?

— Приехал из Киева, — тихо отвечаю я, низко склоняя голову.

— Что же ты здесь делаешь?

— Я помощник сторожа.

Чувствую себя неловко. В руке у меня грязная тряпка и по обыкновению неблагополучно с носом.

— Ты так нигде и не учишься?

— Нет...

— Жаль... Помнится, ты был очень способный мальчик... Неплохо читал...

— Я и сейчас хорошо читаю...

— А как ты пишешь?

Еще ниже опускаю голову и молчу. Учитель задумывается.

Чувствую, что он меня жалеет.

— Совсем писать не умеешь?

Продолжаю молчать.

— Жаль, очень жаль... Если бы ты умел писать, я бы мог тебя принять во вторую группу... Окончил бы училище, а там, может быть, и дальше пошел бы.

— Я никогда писать не буду! — неожиданно вырывается у меня восклицание, и слезы затуманивают глаза.

— Отчего не будешь?..

— Оттого, что я... левша, — отвечаю, едва удерживаясь, чтобы не заплакать.

— Пустяки... Когда человек захочет — всего достигнуть сможет... Ты не волнуйся... Я поговорю с заведующим, и что-нибудь придумаем... Ну, не вешай головы...

Резник узкой и хрупкой ладонью ласково проводит по моей щеке и уходит. А я остаюсь в коридоре с тряпкой в руке и долго ощущаю на лице прикосновение тонких, холодных пальцев молодого учителя.

Заведующий училищем Сегаль очень красивый человек. Из черной рамы окладистой бороды выступает бледное чистое лицо, озаренное большими темнокариыми глазами. Он высок ростом, вицмундир на нем сидит без единой морщинки, а сам строг и величав. Я его побаиваюсь. При случайных встречах я ему кланяюсь и очень вежливо приветствую: «Здравствуйте, господин заведующий». А он хоть бы взглянул...

И вдруг на другой день после моего разговора с Резником к нам в переднюю приходит Хася — прислуга Сегалей, пожилая женщина с таким большим животом, что голова ее кажется откинутой назад.

Хася кончиком передника вытирает нос и обращается ко мне.

— Тебя зовут.

— Кто?

— А я знаю — кто? Хозяева зовут... Мне ты

не нужен...

Иду за Хасей, а у самого сердце неспокойно. За что?

Чем я провинился?.. И вспоминаю, что сегодня после уроков один из старших учеников, Вейсман, вызвал меня «один на один». Я принял вызов, и мы немного подрались, но тут же и помирились.

Неужели заведующий все это видел? Ну, тогда я погиб... Мы с Хасей проходим через все классы и останавливаемся перед, белой дверью, ведущей в квартиру Сегалья.

— Ну, войди, а я уйду на кухню, — говорит Хася и оставляет меня одного.

Осторожно открываю дверь и воровато вхожу в первую комнату.

Там никого. Стоят большой письменный стол, мягкие кресла и стеклянные шкафы, набитые книгами. Знаю, что это кабинет заведующего и вместе с тем и учительская, а следующая — столовая, откуда доносятся голоса. Там, наверно, обедают.

Тихонько просовываю в дверь голову, не решаясь войти. За обеденным столом сидит вся семья Сегалья и Резник. Догадываюсь, что

новый учитель здесь — свой человек, а может быть, и родственник, потому что жена Сегалья, рыжеватая блондинка, затянутая в легкое голубое платье, говорит ему «ты».

— Войди, что ты там стоишь? — говорит мне Резник.

И когда я подхожу ближе к столу, он меня представляет:

— Рекомендую... Вот он и есть наш житомирский Шимеле...

Все глаза обращены на меня. Чувствую, что больше всех заинтересованы девочки — дочери заведующего: старшая Анюта и младшая Женя. Анюта имеет большое сходство с отцом — у нее такой же широкий разрез темнокарих глаз и такой же бледноматовый цвет продолговатого лица. Волосы с черным блеском гладко причесаны и наполовину закрывают, уши. Женя, наоборот, живая копия матери: веселые серые глаза, круглое румяное личико и желтые кудельки, падающие на лоб и вдоль румяных щек. Догадываюсь, что от меня чего-то ждут, и настораживаюсь. Во мне просыпается артистическая жилка, унаследованная мною от Гарина, и я начинаю позиро-

вать.

— Говорят, что ты очень начитанный мальчик, — обращается ко мне жена Сегалья. — Какие же ты книги читаешь?

— Здесь я мало читаю — книг негде взять, а у нас, в Житомире, я читал сочинения Майн-Рида, Купера, а потом и... ученые книги читал...

— Какие, например? — спрашивает сам Сегаль.

Замечаю под его черными усами ласковую улыбку.

Тогда я делаю жест Гарина из третьего действия «Разбойников»: переплетаю пальцы обеих рук, одну ногу слегка выставляю вперед и голову откидываю назад. По лицам взрослых пробегает благожелательная усмешка, а девочки впиваются в меня удивленными глазами.

— Читал я Бокля «История цивилизации Англии» и Дарвина «Происхождение видов»...

Чувствую, что сейчас скачусь, и заранее начинаю краснеть, но голос мой помимо воли продолжает звучать, и я вру до конца.

— Что же ты вычитал у Дарвина? — все с

тою же добротой спрашивает заведующий, разглаживая свою черную шелковистую бороду.

— Я узнал, что человек родился от обезьяны...

Внезапно раздавшийся, смех моих слушателей обрывает меня. Но я доволен, что этим заканчивается допрос и начинается более серьезный разговор.

Теперь рассказывает Резник. Мое присутствие его ничуть не стесняет, и он говорит о том, как я «валялся» на кухне института, как на меня обратил внимание убитый жандармами Нюрнберг и как до сих пор я не умею писать.

— Как же так: читаешь такие мудрые книги, а писать не умеешь?! — восклицает жена заведующего, пожимая узенькими плечами.

— У меня не выходит: — я левша, — упавшим голосом говорю я.

— Это ничего не доказывает, — вдруг врывается в разговор старшая дочь Дня. — У нас Лиза Гликман тоже левша и ничего правой рукой не делает, а наша классная наставница ее лечит: на уроках чистописания она левую

руку Лизы привязывает полотенцем... Я его тоже могу выучить писать...

— Видишь, Шимеле, — говорит Резник, — как тебе повезло. Даже учительница нашлась... Ты ведь хочешь учиться?..

— Хочу... Очень даже хочу, — живо отвечаю я.

Радостно взволнованный, бегу через все комнаты в нашу переднюю, где Давид стоит перед печуркой и, обливаясь потом, варит неизменную фасоль с сахаром.

— Вы знаете, что со мной случилось?

— Сейчас, наверно, узнаю.

— Меня принимают в училище и прямо во второй класс.

— Как принимают — за гостя? — насмешливо спрашивает Давид.

— Нет, не за гостя, а я буду экзамен держать...

— Держаться можно за все — за дверь, за палку и даже за собственный живот, но чтобы держать экзамен — надо что-нибудь знать. Надо хоть уметь написать слово «дурак» с твердым знаком на конце.

— Меня научит писать Анюта.

— Она сама сказала?

— Сама.

— Ну, тогда твое дело в сундуке. Учительница у тебя — первый сорт. Недаром ее из третьего класса не выпускают... Два года сидит.

Шутки Давида меня не обижают — знаю, что он не со зла.

— А вот я тебе сообщу более интересную новость, говорит Давид, ставя на стол горячий горшок с фасольной кашей. — Завтра мы севой едем за товаром.

— За каким?

— За самым вкусным — вишни и абрикосы...

— И я с-вами поеду?

— Конечно, поедешь... Кому не лестно за фруктами ездить!

И новая полоса вычерчивается на маленьком поле моей жизни.

## **12. В ожидании**

Опять лето. Всюду солнце, фрукты и цветы. Богачи уезжают на Фонтаны, а мы, остающиеся в городе, принимаем горячие души из солнечных лучей, глотаем мелкую пыль мо-

стовых и боремся из-за хлеба.

Впрочем, мне лично хлеба искать не приходится. Работаю у братьев Зайдеман и голода не ощущаю. Училище закрыто на все лето, и мы с Давидом приходим сюда только ночевать.

Анюта недовольна мною. Она говорит, что я никогда не научусь писать, если по целым дням не буду дома.

Сознаю, что она права. Мне самому хочется стать образованным человеком, и кроме того, учительница мне очень нравится, но разве можно это сравнить с фруктовым погребом, где так много яблок, груш, апельсинов, персиков...

Наш погреб угольный и выходит прямо на толкучку, а на другом углу большая вывеска с золотыми буквами на синем поле — «Белый орел».

Торгуем мы на славу. Людей здесь огромное множество, и в покупателях недостатка нет. Внизу, под каменной лестницей, ведущей в нежилой подвал, где хранится наш товар, стоит корзина, наполненная «браком». Эта корзина предоставлена мне, и я могу от-

туда брать сколько хочу. И я частенько спускаюсь вниз, вылавливаю грушу или персик, пальцем выковыриваю гнилые места, а хорошие куски отправляю в рот.

Бывают дни, когда я сам отказываюсь обедать, — я сыт фруктами.

В те часы, когда мои новые хозяева отправляются за товаром, а я остаюсь один, меня, посещают знакомые.

Подходят некоторые из учеников нашего училища, дружески здороваются со мною и чего-то ждут. Я надеяю их браком. Иногда прискачет на костылях Петя. Я и его угощаю. Но чаще всех наносит визит мой первый одесский приятель, получивший когда-то от Сони двугривенный.

Он все такой же оборванный, голодный и страшно худой. Тонкое оливковое лицо его совершенно разучилось улыбаться, а в темных глазах часто вспыхивают злые огоньки недобитой собаки. Зовут его Шмерл. Он просится ко мне в помощники. Но разве Зайдеманы примут такого халамидника...[Халамидник базарный жулик.]

Никогда еще я не был так доволен жиз-

нью. Чего мне не хватает?

Работа у меня легкая и занятная — торгую фруктами! Сыт доотказа, сплю много, крепко и одет прилично.

И если бы не Шмерл — этот живой призрак нищеты и голода, вызывающий во мне мучительное чувство жалости, переходящее подчас в досаду, и если бы не Аня, упрекающая меня в лени, — я окончательно считал бы себя счастливым.

И вот в эти горячие солнечные дни, когда мне так хорошо живется, вдруг снова носится по городу тревожный слух о погроме.

На этот раз говорят, что евреев хотят громить греки за то, что где-то в Турции убит их самый большой священник, по имени патриарх Григорий.

— А при чем тут евреи? — спрашиваю я у Давида.

— Евреи тут не при чем, но кого-нибудь надо же бить!.. если нападешь на немцев — они сдачу дадут, у них войска, крепости, пушки... То же самое у французов, у англичан... У евреев же ничего и никого. За нас никто не заступится... Ну и бьют...

В его дрожащем голосе мне слышится речь взволнованного человека, и, кроме того, в его темно-коричневых глазах я улавливаю блестящие сдерживаемого негодования.

— Когда бывает погром — днем или ночью? — допытываюсь я.

— Этого никто не знает. Пожар, землетрясение и еврейский погром случаются неожиданно, без расписания.

— Скажите, кого больше в Одессе — евреев или греков? — спрашиваю я.

— На одного грека приходится десять евреев, — отвечает Давид и тут же добавляет: — Но нам не греки страшны, а русские...

— Разве русские тоже бить нас будут?

— А ты думал как?.. Портовая босовня, полиция, священники, купцы, а может быть, и сам градоначальник ждут этого праздника...

Последние слова Давид произносит таким осторожным топотом, что у меня по спине холодные шарики катятся.

В эту ночь я долго не могу уснуть. Картины предстоящего погрома лезут в глаза. Я думаю: «Как же бог?.. Ведь он все видит и евреев любит больше всех... Почему же он допускает?..»

Ему стоит только рукой махнуть — и все кончится».

Потом предо мною встает трудный и неразрешимый вопрос: «За что?» И, не найдя ответа, я засыпаю.

Сегодня воскресенье, и тревога растет. Все утверждают, что погром начнется после обедни, когда православные выйдут из церквей.

На толкучке народу меньше обыкновенного. Многие палатки и ларьки заколочены. Население нашего района сильно взволновано.

Испуг кривит лица и горбит спины.

Черный страх с оскаленными зубами ползет по улицам, по площадям, проникает в дома, отравляет сознание, шуршит в ушах и острыми когтями впивается в череп каждому, кто чувствует себя евреем.

Даже дети перестают шалить и смеяться. Они испуганно заглядывают в лица взрослых и боязливо жмутся к каменным выступам домов.

Напротив нас в трактире «Белый орел» гремит машина, в открытых окнах мелькают белые рубахи шестерок и пьяные рожи посетителей.

Мне этот трактир хорошо знаком: часто бегаю сюда с чайником покупать кипяток. И каждый раз, когда попадаю в теплый и влажный пар, напитанный тяжелым смрадом человеческого гнилья, пота, пьяных отрыжек, махорочного дыма и кислого запаха тряпья, мне хочется скорей миновать угар и выбраться на свежий воздух, но любопытство замедляет мой шаг и заставляет прислушиваться к реву обалделых мужчин и женщин и запоминать небольшие кучки маленьких оборванцев, с удивительной точностью подражающих взрослым. Они тоже курят, отплевываются углами ртов и произносят длинные кабацкие ругательства.

Среди возбужденных лиц, среди бород, воспаленных глаз, среди лохмотьев, грязных кулаков, опорок, бессмысленного гвалта, барабанной трескотни и яростного звона медных тарелок играющей машины и воплей поющей голытьбы — я четко и навсегда запоминаю фигуру известного одесского босяка по имени «Мотя-Стой».

Этого человека знает вся Молдаванка. Когда он шествует в огромных опорках по база-

ру, его взлохмаченная и ничем не покрытая голова высоко плавает над толпой.

О его силе рассказывают чудеса. Утверждают, что он на своей спине может снести рояль, а когда работает в порту, ему платят двойную цену за то, что сразу два мешка пшеницы взваливает на себя.

Из всех оборванцев нашего района Мотя-Стой самый тихий и безобидный. Никто не боится ни его гигантского роста, ни его звериной силы. К евреям он относится миролюбиво и по субботам за шкалик водки снимает подсвечники и выполняет всякие иные мелкие поручения.

Мотя-Стой знает много еврейских слов и выговаривает их правильно и чисто. Дети его любят и ничуть не боятся, когда шутя замахивается на них.

А вот сегодня, когда ждут погрома, Мотя страшен, и все вспоминают, что он — русский, что он — чужой.

Мотя выходит из трактира и направляется к нам. Я слежу за ним внимательно и зорко. Сейчас в его просторных серых глазах живут усмешка и задор подвыпившего человека. Его

огромное и крепко сбитое мускулистое тело покрыто замасленными парусиновыми штанами и рваной курткой. Украшенная татуировкой богатырская грудь, как всегда, нараспашку, и мне хорошо виден выжженный на живой коже рисунок, изображающий сломанный якорь у ног плачущей женщины.

— Лева, гиб а эпль дай яблоко, — обращается Мотя по еврейски.

В его голосе мне слышится не просьба, а приказание.

Лева выбирает хорошее яблоко и молча протягивает великану.

Мотя-Стой с треском откусывает большой кусок, а я слежу за тем, как он размалывает яблоко крепкими зубами, как при этом раскачивается его серая, набитая пылью борода, похожая на небольшой обрезок войлока, и как ходуном ходит его крупное скуластое лицо.

— Не жалеешь?.. Все едино разнесут? А?.. — сильным голосом спрашивает Мотя.

Лева вскипает.

— Кто разнесет?.. Вы — несчастные дешовки?.. Посмейте только...

Мотя большой широкой ладонью проводит по давно нечесанной голове и, усмехнувшись, отходит прочь,

— Знаешь, Лева, уберем лучше товар. Можно один день пропустить... Все же безопаснее будет, — говорит Давид.

— Оставь, пожалуйста!.. Я их не боюсь, — возражает Лева и с особенной старательностью и упрямством раскладывает фрукты так, чтобы они бросались в глаза всем проходящим.

— Пусть только посмеют... — ворчит про себя Лева, продолжая свое дело.

Хоть я и боюсь чего-то, но мысленно хвалю моего хозяина за стойкость и мужество. Он единственный человек, не поддающийся панике. Все же остальные, живущие вокруг нас, так придавлены муками страха, что взглянешь — и самому становится страшно.

Хуже всего на меня действует шопот взрослых. Я к нему прислушиваюсь с болезненной остротой, стараюсь вникнуть в смысл происходящего, — и ничего понять не могу.

К нашему погребу подходят и останавливаются две женщины: Песя-жена кузнеца Аро-

на, нищенски одетая, бледная, истощенная двадцатилетняя «старуха» с преждевременными морщинами на лбу и вокруг глаз, и Голда — торгующая пирогами. Голда страдает водянкой, ужасно толста, с трудом переводит дыхание, а конкурентки во время ругани называют ее свиньей, ожиревшей от сытости. Сегодня Голда не торгует — боится погрома.

— Почему вы думаете, что на Молдаванке — да, а на Дерибасовской нет? — тихо спрашивает Песя, пугливо озираясь по сторонам.

— Потому, — отвечает, задыхаясь, Голда, — что со вчерашнего дня большие балабатам и габоим ходят с листом и собирают деньги...

— Откупаются, ростовщики... — цедит сквозь зубы Лева.

— Ну, конечно, разве богачи допустят, чтобы их грабили, когда они сами грабежом занимаются...

Хозяева и синагогальные старосты.

В это время из трактира вышибается кем-то оконное стекло, и оно со звоном разбивается о камни тротуара.

Безудержный страх овладевает всей толкучкой.

— Началось! — кричит кто-то.

И люди бегут, давя друг друга. Дрожащие руки торопливо закрывают окна, двери, ворота.

В истерике мечутся женщины, под тяжестью животного страха сгибаются мужчины и плачут дети.

И все оттого, что неожиданно и случайно зазвенело разбитое стекло.

В просветах трактира показываются смеющиеся бороды и усы веселых биндюжников, портовых грузчиков, амбарных осьгащиков, представителей «золотой роты», мелкого жулья и всякой иной трущобной голи одесских окраин. Смеются, улюлюкают, свистят и пугают страшным выкриком:

— Бей жидов!..

А внизу, одержимые паникой, бьются в страхе евреи всех возрастов. Они бросают к ногам русских свою беспомощность, свою покорность и больные улыбки, полные мольбы и ненависти...

Но вот проходит ложная тревога — и опять в кварталах бедноты тишина и скорбный покой... — Песя держится за железный прут на-

шего погребца и плачет.

— Сколько же времени мы будем жить в ожидании погрома?., ведь это невозможно вынести!..

Мы молчим, и молчат над нами голубое небо и пламенное солнце, обдающее нас расплавленным металлом.

Проходит один только день, и все успокаиваются.

Если вчера не было полрома, когда весь город его ждал, то, значит, его никогда не будет. И снова улыбаются люди, и уверенней звучат голоса.

Лева с Давидом привозят целый воз свежего товара, и мы дружно работаем до самого полудня. Впервые в нашем деле принимает участие жена Левы-Матильда.

Она — маленькая веселая брюнетка, похожая на мальчика.

Вьющиеся черные волосы коротко острижены, и когда темные кольца волос падают на глаза, она задорным кивком головы откидывает их назад.

Матильда говорит на ломаном еврейско-немецком языке и сама первая смеется

над неправильностью своей речи. Гибкая и ловкая, эта маленькая женщина вносит в нашу работу шумную радость, а ее звонкий мальчишеский голос не умолкает ни на минуту.

В ее присутствии Лева не морщит лба и не хмурит бровей. Он ласков, внимателен, и в его пышных светлорусых усах дрожит улыбка счастливого человека.

Со мною Матильда обращается по-приятельски. Для первого знакомства она ударяет меня детским кулачком по затылку и спрашивает:

— Карашо?

— Нет, — отвечаю я, заливаясь смехом.

— Ты маладес, малшишка... — продолжает шалить хозяйка, смешно выговаривая русские слова.

Два каменных выступа нашего погребаразукрашены фруктами так, что невольно залюбуешься. Большие тёмнокрасные яблоки, бледно-зеленые груши, оранжевые персики, янтарные венки из винных ягод, фиолетовые пирамиды из скороспелых слив яркими и заманчивыми цветами светятся над каменны-

ми плитами серой панели.

— Ты бы сбегал домой, — говорит мне Давид, — и посмотрел бы, что там делается. Уже заодно и поучишься немного, а то учительница твоя от скуки все свои ногти изгрызла...

Бросаю последний взгляд на нашу выставку, на прыгающую по ступеням погребка молодую хозяйку и ухожу.

День чудесный. Под синевой безоблачного неба горит солнце.

Но сегодня не жарко: откуда-то дует прохладный ветер, и дышится легко. Чувствую себя бодрым и не знаю, куда девать избыток сил...

Хорошо бы сейчас с кем-нибудь побороться или поднять невероятную тяжесть и удивить взрослых.

На мне кремовая косоворотка, изрядно поношенные брючки и... больше ничего. Здесь босоногих — сколько хочешь, и мне ничуть не стыдно.

Раньше чем направиться домой, я решаю пройтись по Тираспольской улице и заглянуть на минутку к Тарасевичам, где я давно не был.

Прохожу мимо булочной Амбатьелло и останавливаюсь в изумлении: за кассой стоит Николай. Он все такой же красивый, и, как прежде, густой румянец играет на смуглом черноусом лице.

«Если он здесь, — думаю я, — значит, и Соня вернулась».

От этой мысли сердце наполняется радостью, и кровь приливает к лицу.

Не отдавая себе отчета в том, что делаю, вхожу в булочную.

— Здравствуйте, господин Николай...

— Тебе чего?

Предо мною совсем другой человек — не ласково улыбающийся Николай, а жестоко озлобленное лицо, искаженное до неузнаваемости.

Черные глаза на выкате, губы сжаты, а в крепко стиснутом кулаке хрустят пальцы.

Делаю быстрый скачок назад, углами глаз задеваю двух продавцов, стоящих за прилавком, озорно кричу: «А где Соня?!» — вылетаю из булочной.

К Тарасевичам попадаю во время обеда. За столом сидят одни взрослые. Детишки, види-

мо, уже поели и бегают, шумят и кружатся по обширному подвалу.

Меня встречают дружески и весело. Петя скачет предо мною на костылях, ласкает голубыми лучами ясных очей и смеется тихим, нежным смехом.

— День добрый, — отвечает на мое приветствие петина мама. — Ты совсем нас забыл, — добавляет она сочным грудным голосом.

За столом вижу двух незнакомых мне мужчин — один из них с одутловатым круглым лицом, заросшим тремя кустиками коричневой бородки, а другой тощий, в переднике, с белыми жидкими усами, он ест с аппетитом, и скулы, обтянутые сухой кожей, работают сильно и безостановочно.

Догадываюсь, что незнакомые — подмастерья. Наверно, Тарасевич получил заказ.

— Молодой Амбатьелло приехал, — говорю я, обращаясь к хозяйке.

— Да, миленький, вернулся... С повинной к отцу явился... Говорят, в ноги поклонился...

— И Соня тоже? — тихо спрашиваю я.

— Эге, якый ты швыдкий! Хиба ж дивчина ворочается?.. Ей ходу нема... Бона тепер по

рукам пошла...

— Как по рукам?! — невольно вырывается у меня.

Тарасевич вытирает пальцами темные длинные усы и ухмыляется.

— Бачил ты, як на стройке кирпич кидають? Вот так и Соню твою теперь швыряють...

Слова Тарасевича я воспринимаю в буквальном смысле. Я живо представляю себе, как Соню неизвестные и жестокие люди бросают из рук в руки, и мне страшно становится за нее. Но Петя не дает мне одуматься. Он почти насильно тащит меня в глубь подвала и говорит, говорит без передышки:

— Помнишь, я сказал тебе, что придет большой заказ? Помнишь?.. Вот и пришел... Теперь батя повезет меня в Питер на операцию, и я вернусь с ногами... Вот когда мы с тобой побегаем! Да?..

Петя на минутку останавливается, повисает на костылях так, что плечи поднимаются до ушей, и ждет моего согласия, после чего вводит меня в мастерскую.

Здесь в обширном помещении стоят три верстака, кругом высятся желтые кучи све-

жих стружек, много выструганных досок. В одном углу светятся длинные золотые багеты, а в другом сложены на полу, иконы с изображениями святых мучеников, апостолов, Христа, богоматери и всяких иных с длинными седыми бородами угодников, похожих на наших еврейских цадииков.

— Почему они на полу валяются? — спрашиваю я у Пети, указывая на иконы.

— Сейчас ничего, можно... Хочешь, я даже сяду на них — и мне ничего за это...

— Почему?

— Вот чудак... Не знает... Да потому, что они еще не освящены... А вот когда батя делает киоты... Знаешь, киоты? Такие ящички со стеклами, куда вставляются иконы... Ну, вот... Тогда сам митрополит освятит их, окропит иорданской водой... Ну, тогда совсем другое дело... Тогда знай крестись да прикладывайся...

Слушаю объяснения Пети, а сам думаю о нашем еврейском боге. Как же это он, всевидящий и всезнающий, допускает все это?..

### 13. Погром

От Тарасевичей направляюсь домой. Прохожу через наши ворота и вижу Анюту. Она шагает взад и вперед вдоль здания, где помещается училище. В одной руке, закинутой за спину, белеет истрепанная книжка — арифметика Малшина и Буренина. Другая рука находится около рта — моя учительница грызет ногти. Глянцовиточерная голова, гладко причесанная, низко опущена, а сама медленно ступает, широко расставляя длинные тонкие ноги. На ней форменное коричневое платье, а на белой пелеринке покойно лежат две черные косички, перевязанные красной ленточкой.

Подхожу совсем близко, а она меня не видит — занята зубрежкой.

— А я — вот он! — кричу.

Анюта поднимает голову, и тонкое лицо ее озаряется улыбкою.

— Вот хорошо, что пришел! Тебя нарисовать хотят...

— Кто хочет?

— Один наш знакомый студент. Отлично рисует... Видишь стеклянную галерею? Вон там, в углу двора. Видишь?

Анюта указывает рукой на противоположную сторону нашего двора, где на солнце поблескивает множество маленьких стекол в рамах деревянной галереи. Туда мы и направляемся.

Под галереей в нижнем этаже помещается портняжная мастерская Нухима и его четырех сыновей, а рядом — для малолетних.

Сейчас малыши высыпали во двор и кричат птичьими голосами.

Когда мы с Анютой подходим к галерее, я вижу у открытой рамы молодого человека в серой, ярко вышитой косоворотке.

— Вот я привела его, — обращается Анюта к молодому человеку. [Студент этот — впоследствии известный художник Л. О. Пастернак, отец современного поэта.]

Тот всматривается, проводит рукой по мягким темнокаштановым волосам и велит нам оставаться внизу.

— Я буду, — говорит студент, — рисовать с балкона. Позировать умеешь? спрашивает он меня.

Студент ласково улыбается и внимательно оглядывает меня.

— Он настоящий артист, — отвечает за меня Анята.

— Смеяться умеешь?

— Умею, — отвечаю я и тут же показываю.

Опускаюсь на корточки, откидываю назад чернокудрую голову, прищуриваю глаза, растягиваю раскрытый рот, и получается такая рожа, что все окружающее меня становится смеющимся.

Заливчато звонко смеются дети, указывая на меня пальцами, стонет и давится хохотом Анята, смехом наполняются большие добрые глаза студента, и живыми улыбками мне кажутся солнечные зайчики, на белой стене галереи.

— Могу и плач показать, — предлагаю я, почувствовав успех.

— А ну-ка...

Показываю. И снова смех.

— Ну, нет, уж ты лучше смейся, — говорит студент и торопливо раскрывает альбом в парусиновом переплете.

Понимаю, что шевелиться мне сейчас нельзя, и застываю в позе хохочущего мальчугана. Но вскоре мне становится трудно си-

деть на корточках и скалить зубы... А студент подбадривает меня, лихорадочно работая карандашами и резинкой.

— Сейчас отдохнешь... Еще немного... потерпи чуточку. Ну, вот, на сегодня довольно. Завтра придешь?

— Приду. А можно посмотреть?

— Когда кончу — покажу, — отвечает студент и захлопывает альбом.

— А теперь идем учиться, — приказывает Аня, и мы направляемся к училищу.

Сидим рядышком за партой в пустом классе. Аня учит меня писать палочки. Для меня это скучное и бесполезное занятие.

Заранее убежден, что никогда не научусь писать. Но зато Аня очень довольна. Ей лестно быть учительницей, а больше всего ее радует моя покорность. Что хочет, то и делает со мною. Мою левую руку привязывает полотенцем к спине, меня самого поминутно поправляет: то не так сажу, то неправильно держу перо, а когда вылезаю из линейки, она берет меня за ухо и приговаривает:

— Зачем вылез? Говорила тебе, что нельзя... Говорила!

Хорошо понимаю, что для Анюты я — живая игрушка. И все оттого, что я мал ростом. Моя учительница забывает, что мы с нею одноклассники.

— Это, голубчик мой, не палочка... Это... червяки, а не палочки... Дай, я твоей рукой водить буду.

Анюта узкой и длинной ладонью обнимает мою короткопалую руку, велит прямо держать перо, и... выходит еще хуже. Голова учительницы прикасается к моей голове. Свободную руку она кладет на мое плечо, и мы сливаемся в одно целое. Розовая мочка ее уха почти у самых губ моих, и, забыв, что она мне совсем чужая, я чуть слышно целую ее смуглую щеку.

— Как ты смеешь?

Учительница вскакивает и выходит из-за парты.

Внезапный стыд обжигает лицо мое. Хочу исчезнуть, уничтожиться и боюсь взглянуть на Анюту.

— Как ты осмелился?.. Разве можно так поступать с... женщиной.

В ее голосе я улавливаю примирительную

ноту.

— Если тебе, — продолжает она, — я нравлюсь, и скажем, что ты даже влюблен, — все равно не смеешь целоваться, пока не объяснишься в любви.

— Я умею объясняться, — кричу я, окончательно успокоенный.

Анюта подходит к окну, выпрямляется, делает повелительный рукой и приказывает:

— Объяснись... я требую... Ну!..

Изо всех сил напрягаю память, чтобы повторить слова книжных героев, но в голове кружится одна и та же фраза: «По улицам слона водили, как видно напоказ»... И больше ничего.

Гляжу на учительницу, на ее выжидающую позу, замечая, как от нетерпения у нее раздуваются крылья продолговатого носа, краснею, пальцами рук ловлю воздух, и... вдруг чьи-то торопливые шаги в соседнем классе, а вслед за этим в дверях показывается сам заведующий.

На нем все в порядке — черная шелковистая борода разглажена, белый китель с блестящими пуговицами сверкает чистотой, но

лицо бледнее обыкновенного, а в темных глазах мерцает беспокойство.

— Анюта, ступай в комнаты: в городе погром.

Для меня этих слов вполне достаточно, чтобы в одно мгновение очутиться на улице. Но как быстро все здесь изменилось и стало по-другому. Кто прибил, кто снизил жизнь...

Дрожащие руки закрывают окна; в нижних этажах захлопываются ставни. Детей не видать... И это в солнечный летний полдень.

Стою посреди Базарной улицы и всматриваюсь в даль. Там, далеко, предгрозовой тучей движется черная живая масса. Вот уже доносится рев, вой, буйный посвист и слышится звон разбиваемых стекол. Позади меня мертвая жуткая пустота. Хочу бежать, но не могу: окован страхом. В мое маленькое тело врывается крупная холодная дрожь, и, чтобы не стучать зубами, я крепко сжимаю челюсти.

Ураганом несетя погром. Все ближе и ближе придвигается буря. Я уже вижу отважных грабителей, радостно преступающих закон человеколюбия... В грязных лохмотьях, с ис-

каженными лицами врываються они в жилые гнезда, бьют стекла, уничтожают домашний скарб, превращая бедняков в нищих.

Погромщиков, быть может, не так много, но в моих испуганных глазах толпа вырастает в человеческое море, заливающее мир.

— Бей жидов!..

Дзинь!..

И снова вдребезги разбиваются окна, и шумнее становится неистовство нападающих.

Одесская босовня гуляет... Минутная власть человека над человеком дает бодрость, отвагу и веселую жестокость...

— Бей жидов!..

Из раскрытых окон вылетают пух и перья разрываемых перин и подушек. Ветер поднимает все это, кружит над домами, и получается снежная метель среди летнего солнечного дня.

Вырываюсь из оцепенения и удираю, насколько хватает прыти.

Мчусь к нашему фруктовому погребу и попадаю в самую гущу погрома.

Весь толкучий рынок бурлит, клокочет и

буйствует. Здесь ломают, растаскивают деревянные палатки, ларьки, будки, лавчонки... Треск отрываемых досок, звон разбиваемой посуды, вопли женщин, свист, пьяный хохот — все это сливается в оглушительный гул, затуманивающий сознание.

Сколько здесь набежало людей, чуждых, неведомо откуда взявшихся, сколько страшных лиц, бород, воспаленных глаз, сжатых кулаков, оскаленных зубов и хмельной радости!..

Мотя-Стой, окруженный ватагой поклонников его могучей силы, выступает героем. Перед ним собачонкой прыгает и вертится Васька Мухомор, портовый босяк, изъеденный алкоголем и дурной болезнью.

Мухомор — маленький, тщедушный оборванец — не живет, а пирует.

Для него погром — большой праздник. На его круглом плоском лице вместо носа едва виднеется крохотный катышек с двумя дырочками, под глазом темнеет свежий синяк, но это ничуть не мешает Ваське быть счастливым от сознания, что и он, Мухомор, сегодня пугает людей.

— Мотя, голубчик, вот этот магазинчик опрокинь, миленький. Сделай одолжение! — сиплым голосом кричит Васька.

Мухомор приплясывает, гримасничает и старается быть забавным; а Мотя, подталкиваемый толпой, неспеша подходит к заколоченной лавчонке. Движения его размашисты и медлительны. На его крупном, обросшем путаной бородой лице живет мирная застенчивая улыбка.

Мотя-Стой заметно пьян, но крепкая сила все же чувствуется в его тяжелых мускулистых руках и необыкновенно широкой спине.

Ни минутку становится тихо.

Мотя подходит к палатке и плотно прижимается к ней.

Потом он сгибает колени, присасывая свое огромное тело к деревянной стене лавчонки.

Богатырская грудь Моти обнажена, и всем бросается в глаза фигура женщины, плачущей над обломками якоря. При каждом движении Моти татуировка оживает, и фигурка то кланяется, то сожмется, а то вытянется во всю истину грудь.

Найдя точку опоры, Стой надавливает пле-

чами палатку и медленно начинает выпрямляться.

Лавчонка под напором силача скрипит и постепенно приподнимается.

Вот уже будка оторвалась одним боком, и я вижу извивающихся красных червей на черной полосе обнаженной земли.

— Один раз!.. Еще раз!.. — кричат погромщики.

Мотя делает последнее усилие, и лавчонка, опрокидывается и разваливается.

Взлетает шум сотни голосов, начинается давка, победно кричат, смеются и свистят в два пальца подростки.

Грабят грошовую галантерею разбитой палатки.

## 14. Подвал спасения

**В**ихри погрома вертят меня на маленьком клочке — блуждаю вокруг одного и того же квартала, не нахожу дороги к дому и не знаю, как мне вырваться из этой человеческой бури, где плач, мольбы и стоны заглушаются хохотом, свистом и ломким треском нищенской рухляди.

Страх, животный, омерзительный страх не

оставляет меня ни на минуту. В расширенных зрачках моих живет весь ужас происходящего, а напряженный слух улавливает острые вопли женщин и беспомощный писк детей.

Всем телом прижимаюсь к выступам домов, стараюсь казаться незаметным, а когда толпа с пугающими выкриками пробегает мимо, я закрываю лицо руками и зам и раю в ожидании... Вот сейчас меня увидят и замучают д смерти...

Вдруг становится тихо. Базарная улица и толкучка уже «обработаны». Остаются только следы разбоя — мостовая и панели замусорены перьями, бумажками, битыми стеклами и обломками мебели.

Перестаю дрожать и постепенно прихожу в себя.

Лишь теперь замечаю, что нахожусь в нескольких шагах от нашего погребца, С трудом узнаю это место — ни товара, ни хозяев.

Валяются поломанные корзинки и желто-бурая каша растоптанных фруктов.

Осторожно обхожу дом Черепенникова, надеясь попасть домой через Тираспольскую

улицу. Откуда-то издалека доносятся обрывки многих голосов где-то, наверно, продолжают грабить.

Тихонько, с оглядками и по-стариковски сторбившись, вхожу в знакомую улицу и останавливаюсь в нерешительности: на другом конце, со стороны Соборной площади, я вижу собирающуюся толпу, с гаком и залихватским посвистом подвигающуюся вперед по Тираспольской.

Через два дома от меня блестит золотая вывеска с двуглавым орлом над булочной Амбатьелло. Один вид этой пекарни вызывает во мне бессильную злобу к грекам, участвующим в погроме. Малорослые, черноликие и сами похожие на евреев, — они науськивают русских и тонкими горловыми тенорками выкрикивают: «Бей зидов!» Напротив меня подвал Тарасевичей, а рядом другой маленький подвальчик — там живет вдова Мирьям и ее две дочери — тоже вдовы с детишками. По пятницам Мирьям выпекает из белой муки плетеные булки (хале) и сама продает их на базаре. Этим живет вся семья.

Не успеваю собраться с мыслями, чтобы

решить, куда мне удрать отсюда, как из ворот Амбатьелло вырывается многочисленная ватага булочников и во всю ширь занимает мостовую. Из магазина выходит Николай. На нем овежевыглаженная чесучовая тройка, а на голове соломенная шляпа.

Он кому-то отдает приказание, указывая рукой на подвальчик Мирьям. Полупьяные пекари с крепкими ругательствами бросаются к убогому жилищу трех вдов.

Николай стоит в нескольких шагах от меня. Я вижу его протянутую руку, украшенную сверкающим белизной накрахмаленным манжетом, и большую запонку.

У меня к горлу подкатывается горький ком, в глазах мелькают красные стрелы, от волнения сгибаются колени, я весь дрожу от безудержной ненависти к этому человеку.

Поворачиваю назад с тем, чтобы бежать, пока не поздно, и вдруг замечаю у самых ног большой осколок зеркала в палец толщиной. Наклоняюсь, поднимаю тяжелый кусок стекла и... неожиданно для самого себя изо всей силы бросаю его в Николая, а сам подбегаю к подвалу Тарасевичей и лечу вниз. Дверь рас-

пахиваю всем туловищем и падаю к ногам самого хозяина.

— Эх, як хлопчика злякалы, бисовые подлюги, — слышу над собой голос столяра. — Пойдь в куток — тамо Петрусь сидит... Пойдь, хлопчик...

Встаю и понемногу начинаю соображать. Подвал, к крайнему моему удивлению, переполнен евреями обоего пола и всех возрастов.

Запоминаю старшую дочь Мирьям — Хаве, красивую смуглую женщину.

Она стоя кормит грудью ребенка и безостановочно раскачивается взад и вперед. С одной стороны трехлетний мальчуган обеими ручонками цепко держится за ее ветхую юбку, а с другой девочка постарше сосет палец, старается плотнее прижаться к матери и смотрит испуганными глазами в одну точку. А рядом женщины, еще дети и мужчины, молодые и старые... Беженцев так много, что вся мастерская занята и нет почти прохода. Многие взволнованы до того, что по лицам их пробегает судорога и в глазах застывает испуг; а некоторых бьет лихорадка, и они зябко лясают оскаленными зубами. Шум и крики,

доносящиеся с улицы, на этих одержимых страхом людей действуют с такой силой, что они окончательно теряют рассудок... И тогда петина мама успокаивает их:

— Не бойтесь, пожалуйста... Сюда никто не войдет... Вы сами видите, сколько икон я расставила на окнах... не посмеют напасть на христиан...

Старики и женщины благодарят хозяйку низкими поклонами и просящими улыбками. И трясутся седые бороды, горбятся костлявые спины и текут безмолвные слезы...

Петя сидит у «себя» за печкой. При моем появлении мальчик хватает костыли и скачет мне навстречу. Он рад моему приходу и, по обыкновению, осыпает меня быстрым мелким говорком:

— Вот молодец, что пришел!.. Видел, сколько к нам жид... евреев набежало?.. Мама не позволяет ваших жидами называть... Их батя защищать будет... Сначала соседка с ребятишками прибежала, а потом — во сколько... Мама иконами все окна заставила... Теперь громщики не могут к нам войти... Правда, ведь не могут? Правда?

Не дождавшись ответа, Петя продолжает:  
— А ежели посмеют, батя им задаст...

Не успевает Петя договорить, как многочисленная толпа разъяренных людей с ревом обступает окна подвала, а в дверь раздаются громкие удары.

— Открывай, покуда не вышибли! — слышится за дверью чей-то пьяный голос.

Укрывавшиеся немедленно поддаются панике, и я впервые вижу предел человеческого унижения и беспомощного отчаяния. Собака, извивающаяся у ног хозяина, заносящего над нею плетку, не так жалка, как эти люди, умоляющие о спасении. Сколько рук, протянутых к хозяйке дома, сколько искаженных лиц, и какая унижительная, трепетная покорность!..

А перед подвалом собирается гроза. И снова дрожат каменные стены подвала от сильных ударов в дверь.

— Геть, паршивцы! — слышится громкий и уверенный голос Тарасевича, и он сам открывает дверь.

В подвал проникает буйный рев злого дня. Много голосов кричат одновременно.

— Гони жидов!.. Мы тебя не тронем...

— Ты кто — христианин?.. Зачем проклятых укрываешь? А!..

— Ты погляди, что с нашим молодым хозяином сделали... Православную кровь проливают, гадюки, не нашей веры...

— Геть, кажу вам!.. — покрывает всех голос Тарасевича.

Петя уже не храбрится. Его маленькое личико бледнеет, дрожит остренький подбородок, а в голубых глазах накапливаются слезы.

Евреи перестают дышать и становятся ниже ростом.

Там за дверью начинается борьба. Толпа наступает и хочет ворваться к нам в подвал. На помощь хозяину спешат подмастерья, вооруженные длинными и толстыми брусками. На улице шум усиливается.

— Тащи его за усы! Какого черта смотреть...

— Дорогу дай, хохлацкая образина!..

Мы с Петей высовываемся из-за печи, пригибая головы к полу, и сквозь окна наблюдаем за ногами бунтующих людей.

Среди опорок и рваных галош и просто босых ног я улавливаю крепкие хорошо сшитые

сапоги и ботинки на пуговицах...

— Посмотри, какая обувь хорошая на погромщиках, — говорю я Пете.

— А ты думал как... И порядочные люди против ваших идут... Глянь-кось, — вдруг меняет тон Петя, — бегут... Ей-богу, удирают!.. Вон мой батя какой молодец!

Сотни ног рассыпавшимся частоколом носятся и мелькают мимо окон. Слышны свистки полицейских и цоканье конских подков о каменные кубики мостовой.

Вместе с убегающими ногами удаляется и становится едва слышным только что гремевший водопад людских глоток. И наступает приятная ласкающая тишина.

— Ну, годи... Нема погрома... Градоначальник приказал закончить... отдуваясь и тяжело дыша, заявляет вернувшийся к нам Тарасович.

Евреи выпрямляются, и я вижу, как страх сползает с их плеч.

— Ну, дети, идемте, — говорит Хале, подбирая малышей своих.

— Теперь, — продолжает она шопотом, — их судить будут и в Сибирь сошлют... Закон

есть-таки закон...

— Нате вам орех с дырочкой за этот закон, — отзывается молодой парень в коричневом помятом пиджаке, осыпанном белым пухом. — А где была полиция раньше? — продолжает он. — Когда Молдаванку превратили в большой эгдеш[Э г д е ш — убежище для нищих.], тогда градоначальник приказывает: «Годи, бо бильш нема!..» Пусть они вам все сгорят на медленном огне, — заканчивает он и натягивает на голову мягкий парусиновый картуз.

— Еврею очень трудно угодить, — тихим говорком замечает небольшого роста старик с реденькой седой бородкой. — Ему все мало... Когда у него есть парх, то он еще и килу хочет...

Слышен сдержанный смешок. Люди ожидают и свободней начинают дышать. Многие горячо благодарят Тарасевичей за «спасение от разбойников». Все направляются к выходу, низко кланяясь хозяевам.

— Мы этого никогда не забудем...

— Дай вам бог увидеть ваших детей счастливыми...

Последней говорит Хаве, обращаясь к петиной маме:

— За то, что вы спасли моих сирот, пусть радость живет в вашем доме...

— Полноте, — отмахивается смущенная хозяйка. — Это такие пустяки...

У самого выхода дорогу уходящим преграждают внезапно появившиеся квартальный надзиратель и знакомый мне усач-городовой, получающий от Бершадских три рубля в месяц.

При виде полиции евреи шарахаются назад.

— Кто это? — спрашивает квартальный.

— От лиходеев спрятались, — сочным голосом отвечает петина мама.

Надзиратель неподвижным взглядом белесых глаз смотрит на сбившихся в кучу беженцев и, оправив на себе белый китель, делает широкий жест рукой, дескать, можете уходить. Еврей, сутулясь и кланяясь, робко один за другим оставляют подвал.

Я не свожу глаз с квартального. Он небольшого роста толстяк с выпуклой грудью и квадратной спиной. Он имеет вид человека,

только что вышедшего из горячей бани. Круглое безволосое лицо покрыто красными пятнами, на подбородке и верхней губе поблескивают крупные капли пота. Подмышкой у него набитый бумагами портфель. Тесный китель туго обхватывает мясистые плечи и складочками взбегаёт на живот; и надзиратель свой летний мундир часто одергивает.

Когда все посторонние оставляют подвал, квартальный снимает фуражку, платком вытирает вспотевший лоб и говорит, обращаясь к обступившим его подмастерьям и хозяевам:

— Мы сюда вот по какому делу: старший сын пекаря двора его императорского величества Амбатьелло тяжело ранен. Сейчас пострадавшего свезли в больницу. Имеются свидетели, видевшие, как мальчик Бершадских бросил в него чем-то острым, а сам спрятался у вас.

При последних словах я действительно прячусь за печкой в надежде, что Тарасевичи меня не выдадут.

— Когда это произошло? — слышу я голос хозяйки.

— Минут двадцать тому назад, — отвечает

голос квартального надзирателя.

— Тогда это ошибка: мальчик у нас с самого обеда... Сеня, иди сюда, возвышает она голос.

С тревожно бьющимся сердцем выхожу из-за печи, и вслед за мною стучит костылями Петя.

— Вот этот самый и есть, — подтверждает городской.

— Ты кто? — спрашивает меня надзиратель.

На секунду заглядываю в неподвижные стеклянные глаза квартального и тихо отвечаю:

— Я — мальчик...

— Сам вижу, что не девочка... Как звать?

— Сеня... а то можно Семен...

— Фамилия?

— Свирский.

— Сколько лет?

— Четырнадцать... а может, и больше.

Допрашивающий измеряет меня немигающим взглядом.

— Что врешь?

— Нет, господин надзиратель, я правду го-

ворю. Спросите у всех... У меня рост маленький...

Я говорю нарочно громко и много, чтобы отвлечь внимание от главного.

Квартальный оборачивается к городовому:

— Где же они, твои очевидцы?

— Сбежали, сучьи дети... Конницы спужались...

— Нет, стало быть, свидетелей?.. Ну, в таком случае дознание прекращаю. До свидания, — добавляет он, обращаясь к Тарасевичам, и направляется к выходу.

У меня из груди вырывается вздох облегчения.

Вечер. Из открытого окна я вижу в густой синеве горящую зеленым светом большую звезду. Тепло и тихо.

Ограбленные жители дома Черепенникова забились в свои норы и зализывают раны.

В передней училища за кухонным столиком напротив меня сидит Давид и плачет, закрыв лицо руками. Мне впервые приходится видеть плачущего мужчину, и эти всхлипывания производят на меня такое тягостное впечатление, что я готов бежать, лишь бы не

видеть этого откровенного, беззастенчивого горя взрослого человека.

— Господин Зайдеман, что случилось? Убили кого, да?..

Давид не отвечает и плачет не хуже маленького. Потом он сразу утихает, издает тяжелый вздох, встает с табуретки и принимается шагать по нашей маленькой комнатке, делая три шага вперед и три назад.

В полумраке летнего вечера я вижу только темную фигуру хозяина, шествующего мимо меня неровной, усталой поступью.

— Разве можно жить вместе с такими душегубами!.. Ни чести, ни совести, ни милосердия... Звери, идолопоклонники...

Зайдеман возвышает голос до крика, и мне становится страшно: боюсь, что он сошел с ума. Но вдруг он затихает и, чиркнув по стене серной спичкой, зажигает маленькую нашу лампочку и подносит свет к моему лицу.

— Тебя тоже били?.. Да?..

— Нет, я спрятался.

— Спрятался? Ты-таки хорошо поступил: могли убить... А у меня, ничего не вышло... Как я упрашивал Леву!.. Ах, как я его упраши-

вал... Давай, говорю я ему, запрем товар, а сами уедем за город... А он — ни с места... Ну, ну, так ему показали, что значит быть храбрым...

— А хозяйка? — осторожно спрашиваю я.

— Хозяйка? Так она ведь такая же сумасшедшая, как он — сам Лева! Как стали подходить погромщики, она, знаешь, что сделала? Стала бросать в них яблоками, как бросают камни... Ну, и тут началось... Эти дешовки не посмотрели, что она маленькая, слабенькая женщина... Набросились, разорвали на ней одежду, а один босяк, я его знаю — Васька Мухомор — ударил ее по лицу железной подковой и вышиб глаз... Она упала и покатилась вниз по каменным ступенькам.

— А где был дядя Лева? — спрашиваю чуть дыша.

— Ох, о нем рассказывать три дня и три ночи... Кто бы мог подумать, что еврей способен дойти до такого безумия!.. Он один вздумал вступить в битву с этой сворой бешеных собак... Выскочил на панель, врезался голыми руками в толпу и свалил с ног предводителя шайки... Вначале оборванцы растерялись; то-

гда что делает мой Лева? Бросается к погребу, хватает железный засов и опять поднимается к погромщикам... И... нет, не могу!.. Я этого не выдержу... Нет, нет!..

Давид срывается с места, хватается за голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, принимается выть.

Вижу тень на стене, огромную и уродливую, и едва сдерживаюсь, чтобы самому не зареветь.

Проходит несколько бесконечно долгих минут. Давид понемногу успокаивается, садится на прежнее место и снова приступает к рассказу.

— Чтобы так били человека!.. Если Лева останется живой — это будет чудо... Но что я мог сделать с взбесившимся стадом зверей?.. Я вымаливал у них жизнь брата, плакал, падал на колени; а они терзали его, рвали на куски... Били ногами, били по лицу, по глазам... Он весь в крови, голова изранена, изо рта хлещет кровь, а они все бьют, бьют, топчут его... Но лучше оставим это!.. Нельзя прикасаться к таким ранам... Завтра пойдем в больницу, и если мы его найдем живым — бу-

дет великое счастье...

На этом Давид заканчивает и утихает. Мы долго молчим. Мне хочется рассказать Зайдеману, как я посрамил Николая Амбатьелло, но не решаюсь. А потом, спустя немного, я не выдерживаю и начинаю издали:

— Я все время был у Тарасевичей.

— Кто они такие? — нехотя спрашивает хозяин.

— Рабочие... столяры...

— Евреи?

— Нет, настоящие русские... с иконами...

Они у себя в мастерской много народу спрятали.

— Это тебе приснилось или им заплатили?

— Что вы!.. У кого там могли быть деньги...

Прятались самые что ни на есть бедные.

— Откуда ты их знаешь...

— Кого?

— Да этих Тарасевичей?

— О, я давно с ними знаком. Их старший сын Петя — мой товарищ...

— Какие-то вчерашние сны рассказываешь ты мне, — ворчливо замечает Давид, занятый собственными думами, и низко опу-

кает голову.

— Совсем не сны... Честное слово, правда... Я еще, если хотите, могу вам рассказать самое страшное...

И подгоняемый желанием поделиться тайной, я излагаю происшедший со мной случай наиболее подробнейшим образом, вплоть до сцены с квартальным надзирателем.

За идем он все время слушал меня безучастно, но когда я дохожу до места, где квартальный говорит о тяжелом ранении и о том, что Николая свезли в больницу, — он быстро выпрямляется, заглядывает мне прямо в глаза, укоризненно качает головой, щелкает языком и вообще наводит панику.

— Несчастный, что ты наделал?.. Ведь это может вызвать второй погром!..

— А зачем он приказывал своим булочникам участвовать в погроме... Ведь я же все это видел, — возражаю я.

— Так-то оно так, но, знаешь, что я скажу? Тебе придется исчезнуть и не показываться им на глаза: поймают тебя булочники, и попрощайся с жизнью. Будь осторожен.

— Да я никогда по Тираепольской ходить

не буду.

— И хорошо сделаешь... Ты давно здесь?

— Очень давно... еще светло было...

— Наши господа дома?

— Никого нет. Здесь была одна Хася, и та собрала какие-то вещи и уехала на дачу.

— Школу не тронули?

— Нет... но окна с улицы все выбиты, и камни валяются на полу... Я даже боюсь войти туда.

— Ах, негодяи, даже училища не пощадили... Пойдем, посмотрим...

Давид со стены снимает жестяную лампочку и направляется к классам. Я следую за ним. Вот он открывает дверь и не без опаски переступает порог.

Впереди четыре пустых квадрата разбитых окон. В них глядит теплая летняя ночь, и мы чувствуем тишину безлюдной улицы.

Давид делает еще шаг и вдруг издает короткий, но такой страшный крик, что у меня спина холодеет и ноги ослабевают. В то же мгновение кто-то вышибает из рук Давида лампочку. Она падает на пол и гаснет.

— Караул!.. Убивают!.. — неестественным

визгливым голосом кричит Зайдеман, пятясь назад, к двери.

В моих глазах мелькает чья-то фигура, прыгающая по партам, а вслед за тем раздаётся падение тяжелого предмета, рассыпающегося металлических вещей. И сейчас же появляется на партах вторая фигура. А потом оба неизвестных один за другим выскакивают из оконных просветов на улицу. Мы слышим быстрые шлепки их босых ног по каменной мостовой.

— Жулики, — коротко произносит Давид, придя в себя.

Он зажигает спичку и на минуту освещает пустой класс. В проходе между партами белеет узел, набитый столовым серебром и всякой иной домашней утварью.

— Беги скорей за дворником, — приказывает мне Давид. — Не бойся, теперь никто тебя не тронет: я их на всю жизнь испугал, — бросает он мне вдогонку.

Я ощупью двигаюсь к выходу.

## **15. После погрома**

**П**роходят два-три дня, и пострадавшие от погрома начинают понимать, что их били

и грабили не босяки, а те, кто организовал это чудовищное насилие.

По этому поводу идут разговоры, сначала тихие, осторожные, а затем, под влиянием более смелых и горячих людей, растет сознание обиды, и боязливые шопоты превращаются в сплошной протест. И в то же время нет известно откуда идут упорные слухи, что все потерпевшие получают возмещение «убытков».

И вся Молдаванка и все улицы, прилегающие к базару, переполнены говорливыми и бурно жестикулирующими людьми. Эта часть города превращается в ярмарку или, лучше сказать, грандиозную выставку нищеты. Раскрываются раны и обнажаются язвы злой жизни.

Теперь уже нечего стесняться, и убожество, и гниль, и лохмотья беспросветного бытия выволакиваются на свет, на солнце.

Пусть все видят, как живет и чем дышит трудовая масса богатой и красивой Одессы.

Всюду пишут прошения, жалобы, удостоверения, свидетельства... Адвокаты настоящие и адвокаты подпольные завалены работой. Камеры мировых судей, приемная городской

думы, ремесленная и мещанская управы, благотворительные учреждения, синагоги и дом казенного раввина переполнены просителями.

Студенты, гимназисты и гимназистки старших классов ходят по густо заселенным кварталам, поднимаются на чердаки, проникают в подвалы, расспрашивают, отвечают на вопросы и что-то заносят в свои записные книжки.

Обыватели принимают их за благодетелей и забрасывают жалобами, мольбами, требованиями, и каждый при этом старается запечатлеть свою. нужду в их памяти.

Студенты напоминают мне Нюренберга и его товарищей. По их внешнему облику и по их обращению с бедняками я догадываюсь, что они сами дети небогатых родителей, и меня тянет к ним, к этим молодым, задорно смелым юношам, одетым в широкополые черные шляпы и ярко вышитые косоворотки.

Один из них, небольшого роста, длинноволосый, с остроконечной черной бородкой, особенно нравится мне.

Я следую за ним по пятам, запоминаю каж-

дое его движение и вслушиваюсь в каждое его слово. Со стариками и старухами он говорит на чистом еврейском языке, украшая свою речь древнееврейскими словечками. По всему видно, что этот длинноволосый студент является предводителем всей кучки молодежи, пришедшей сюда для обследования зверств, произведенных погромщиками.

У меня от любви этому студенту кровь бросается в голову.

Очень хочется с ним заговорить, но смелости не хватает. Я всячески стараюсь попасться ему на глаза, долго простаиваю на улице, когда он с товарищами входит в какой-нибудь дом, и первый бросаюсь ему навстречу, когда возвращается; а он меня, маленького, босоногого, не замечает. Ведь ему стоит только одно слово сказать мне, и я расскажу ему о Нюрнберге, о Гарине, о Розенцвейгах, о Соне и о том, как я отомстил Николаю Ам'батъелло. И когда выслушает, он меня полюбит и не даст погибнуть... Он из меня «человека» делает...

И я верчусь около студентов, мучаясь желанием вступить в разговор.

— Этот погром, — тихо говорит окружавшим его товарищам отмеченный сердцем моим длинноволосый студент, — крепкий удар по самодержавию... Тебе чего здесь надо?... Нечего подслушивать... Ступай своей дорогой.

Это относится ко мне и сказано в тот момент, когда мне, наконец, удастся войти в его темные густооресниченные глаза.

Раскаленными камнями падают на меня его слова, и, сгорая от стыда и унижения, я отбегаю прочь.

В Одессу из Винницы приезжает известный и любимый проповедник — он же и знаменитый цадик реб- Ицхок Шнеерсон. Говорят, что он приезжает по приглашению тех, кто от погрома не пострадал. Этих почтенных людей беспокоит слишком большой шум, поднятый по-в терпевшими «голодранцами», и состоятельные хозяева надеются проповедями Шнеерсона образумить «буйных крикунов».

Сегодня суббота. Давид будит меня раньше обыкновенного — нам надо в больницу. Сегодня приемный день.

Раньше нас не допускали, но по собран-

ным Давидом сведениям мы знаем, что Лева и его жена «еще живы».

— Если хочешь пойти со мной, вставай скорей, а не то один уйду, говорит мне Зайдеман.

Я вглядываюсь в него. Пиджак, порванный во время погрома, починен, а от синяка под глазом едва заметный след виднеется. В общем он тот же, каким был всегда.

Но теперь он уже не шутит, и в светлокоричневых глазах его не видать смешливых огоньков.

На столе лежит узелок, приготовленный еще накануне для наших больных.

Мне одеться и кончиками пальцев промочить глаза — одна минута. Мы готовы. Но в это время быстро и широко раскрывается дверь, и к нам входит человек с забинтованной головой и фиолетовыми кровоподтеками под глазами. Белые бинты туго обхватывают подбородок, лоб, уши и затылок.

— Ну вот, я уже сам выписался, — говорит изуродованный человек.

— Лева, это ты... — кричит Давид.

— Да, братик, это я... Но ничего, мы еще с

ними посчитаемся...

Он медленно опускается на табуреточку, кладет руку на забинтованное темя и слегка раскачивается.

— Болит? — участливо спрашивает Давид.

— Хуже: мне все кажется, что кто-то ввинчивает в мой череп буравчик, отвечает Лева. — Но ничего. Доктор говорит, что на еврее все засыхает, как на собаке, — добавляет он и вдруг с силой ударяет по столу, — не беспокойся, брат, они за все ответят... Это им так не пройдет!..

Смотрю на Леву, и меня жуть берет. Пугает меня его непомерно большая белая голова, густо обмотанная ватой и бинтами.

— Что с Матильдой? — спрашивает Давид.

— Мы с нею еще вчера вечером вышли из больницы. Она поправилась... Глаз уцелел, а ноги все еще болят... Теперь она старается комнату убрать.

— Благодарение богу, что хоть так случилось, — замечает Давид.

— Конечно, конечно... нашего бога за все благодарить надо... По этому случаю мы сегодня в синагогу собираемся... Я не шучу, — до-

бавляет Лева, заметив, что Давид смотрит на него с недоумением.

— В старой синагоге, — продолжает он, — сегодня парусиновые картузы побеседуют с бархатными ермолками. Будет жарко. А кроме того, святой Шнеерсон обогатит нас проповедью. Я сговорился с Бриками — они тоже идут. Пойдешь?

— Хорошо, пойду, — соглашается Давид.

— Дядя Лева, а мне можно с вами? — спрашиваю я.

— Ты ведь тоже еврей, а каждый еврей имеет право войти в синагогу, если хватит места. Можешь итти с нами...

Лева нервничает. Из-под белой повязки густые брови то сходятся вместе, то разбегаются врозь. Глаза горят сухим блеском, а русые усы на вспухшей от побоев верхней губе топорщатся и придают всему лицу, покрытому синяками, свирепый вид. Говорит он сегодня больше обыкновенного и слова подбирает язвительные и сугубо злые.

В десятом часу мы отправляемся в путь. Сначала Лева ведет нас на Прохоровскую улицу, где живут биндюжники (ломовые извоз-

чики) братья Брик. Я их знаю-они привозили нам фрукты с Карантинской гавани. Старшего зовут Беня, среднего-Саша, а младшего-Лазарь.

Такие евреи встречаются очень редко, и я всегда смотрю на них с удивлением.

Все трое огромного роста, с большими мозолистыми руками, грудастые и плечистые. Они блондины и бреются. Усы висят вниз по казацки. Говорят братья на смешанном русско-украинском языке.

Единственно, что есть в них национально-го, это то, что по субботам они на биржу не выезжают.

Брики попадаются нам навстречу, и мы все вместе поворачиваем назад и держим направление к старой синагоге.

Беня сочувственно пожимает руны Левы, возмущаясь погромщиками.

Завязывается разговор. Я ловлю каждое слово и узнаю, что Брики собственными силами отстояли часть Прохоровской улицы.

Лева спрашивает, не был ли среди погромщиков Мотя-Суой.

— Як же, був, — отвечает Беня. — Тилько

громить вин больше не буде, продолжает Брик, — нехай трошки похарькае кровью да ридну маму успоминае, шо родыла такого дурня...

Прислушиваясь к словам Бени, я с изумлением думаю: «Неужели этот ломовой извозчик — еврей?..» В глубине обширного двора возвышается громоздкое здание из серого камня. По бокам входа высечены из мрамора и покрыты золотом и синей эмалью скрижали с десятью заповедями. Мне знакома эта синагога — мы с Бершадским приходили сюда в большие праздники.

Огромное помещение переполнено до отказа. Широкий коридор набит людьми так, что пройти невозможно; но при виде забинтованной головы Зайдемана толпа в ужасе расступается и дает нам дорогу.

Братья Брик вызывают удивление, на них указывают, пожимают плечами, а один пожилой еврей, припав к уху соседа, шепчет: они — геры (чужие).

Стараюсь держаться ближе к Леве и в то же время остерегаюсь, чтобы не наступили на мои босые ноги.

С большим трудом из коридора попадаем в синагогу.

Меня заслоняют взрослые, и мне видна только верхняя часть молельни. Вижу высокий куполообразный потолок и тяжелую трехъярусную люстру, состоящую из бронзы, хрусталя и множества восковых свечей.

Во всю длину стен — южной, северной и западной — на самом верху вырезаны просветы женского отделения.

Нижние плинтусы этих фрамуг обиты мягким материалом и обтянуты плюшем цвета бордо. Из этих длинных, под самым потолком окон выглядывают женщины молодые, красивые, старые и бесцветные.

Их головы покрыты платками, шарфами, шляпками и черными париками с белыми проборами посредине. Гирляндами свисают руки. Между полными, белыми, сухожильными, смуглыми и выхоленными кистями рук то тут, то там светлячками поблескивают камешки на золотых колечках женских пальцев.

Обливаясь потом, мы жмемся в тесноте, подвигаясь на воробьиный шаг, и, наконец,

достигаем большой изразцовой печи, опоясанной с трех сторон скамейками. На них взобрались и стоят мальчишки. Они сейчас выше всех, и им все видно. Мне тоже хочется встать на скамейку. Кстати, и Шмерл там. Худой и, как всегда оборванный, стоит он на краю скамьи, вытянув тонкую гусиную шею, и глядит куда-то вперед.

Одним сильным толчком в сторону отделиюсь от Зайдемана, вскакиваю на скамью и я вижу все.

Предо мною несколько сот евреев, покрытых полосатыми талесами. От этой плотно скученной массы, а в особенности от чернобелых полос молитвенных покрывал рябит в глазах, и трудно здесь отличить одного человека от другого. Среди многочисленных бород — седых, черных и темнокаштановых — цветущими подсолнухами выделяются медно-рыжие и светлорусые бороды.

Несмотря на необычайное скопление народа, в синагоге тихо.

Все взоры устремлены на центр, где на трибуне перед столом, покрытым тяжелой скатертью темномалинового цвета, стоит вы-

сокий стройный старик. Шестигранная синяя ермолка хорошо оттеняет его белый чистый лоб. Бледное красивое лицо старика обрамлено седой бородой, длинной, широкой и пышно расчесанной.

Он говорит, а сотни Людей, сдерживая дыхание, ловят его каждое слово, каждый звук мягко-приятного голоса.

Когда тишину нарушают вновь приходящие, староста ударяет пухлой рукой по пюпитру и шипит: — Ша!..

И становится совсем тихо. Благоговейное молчание, полуоткрытые рты и напряженные взоры огромного собрания говорят о том высоком уважении, каким пользуется проповедник у слушателей.

— Кто это? — шопотом спрашиваю я у Шмерла.

Тот в припадке умиления пожимает мне руку, наклоняется ко мне, и я сквозь порванную рубаху вижу желтое костлявое плечо мальчугана.

— Это сам реб Ицхок Шнеерсон... добрый еврей... великий цадик, беззвучно и дрожа от волнения, высыпает мне в ухо Шмерл.

Его чувство немедленно передается мне, и я тоже начинаю уважать «великого цадика». И чем больше наблюдаю за ним, тем сильнее убеждаюсь, что Шнеерсон не простой человек: у него каждый жест рассчитан, каждое слово обдуманно... И невольно на память приходит образ Гарина — этого замечательного артиста.

Проповедник сейчас цитирует какое-то изречение из библии на непонятном мне древнееврейском языке. Делает это он так: приподнимает талес, покрывает голову так, что накладку, вышитая серебром и золотом, блестит расплавленной короной, опускает веки и произносит слова раздельно, чисто и медленно; а когда фраза кончена, он опускает талес на плечи, не спеша открывает веки и обводит слушателей зорким взглядом больших черных глаз. Каждому хочется, чтобы благодать очей святого человека коснулась именно его, и люди, зачарованные проповедником, ловят его взгляд, ища в нем надежду и утешение.

Теперь, когда у реб Иццока распахнут талес, я вижу на нем черный атласный сюртук

до пят, опоясанный шелковым платком цвета спелой вишни.

Выдержав небольшую паузу после произнесенной цитаты, Шнеерсон голосом трогательным и нежным обращается к слушателям на обычном разговорном и понятном для всех языке.

— Для кого это сказано? — Это сказано для тех, кто в дни несчастья, в дни больших печалей отвращает разум свой от всевышнего, кто, падая духом, вступает в борьбу с небесами...

Из женского отделения доносятся всхлипывания и сдерживаемые рыдания.

У проповедника лицо оживляется, черным пламенем загораются глаза, и голос становится гибче и уверенней.

— Это сказано, — продолжает Шнеерсон, — для тех, кто в горестном безумии ненавистью и местью осыпает свой путь к худшему.

— Ребе, а что сказано для тех, кто откупается от погрома и отдает бедных детей Израиля на растерзание?..

Это. Лева... Узнаю его голос. А вот и белая забинтованная голова... Зайдеман по ступе-

ням поднимается к трибуне... Лева стоит перед самым Шнеерсоном и резко впивается в него буйными глазами.

Все это происходит так неожиданно, а поступок Левы так необычен, что заправилы синагоги в продолжение нескольких секунд находятся в полнейшей растерянности.

Но вскоре поднимается настоящий скандал.

— Вон отсюда, грубиян... — раздается голос старосты, круглолицего и жирнотелого человека, обросшего бородой цвета луковой шелухи.

— Ша... — запальчиво отзывается Лева. — Я не к вам пришел и не с вами разговариваю, мусье Найдис... У меня еще с вами будет разговор, а сейчас я хочу спросить у нашего доброго еврея... Ребе, — поворачивает Лева израненную голову к Шнеерсону, — вы ближе стоите к богу, чем я... Спросите у милосердного, известно ли ему, что еврейской кровью удобряется русская земля...

— Да, да... Нашей кровью и кровью детей наших... — падает из женской половины истерический голос.

И заметеливается буря. Сотни голосов кричат нестройным хором. Ни одного спокойного лица, ни одной неподвижной бороды.

Там, у восточной стены, где возвышается кавчег завета, где дорого оплаченные места принадлежат состоятельным прихожанам, теперь собрались те, кто всю жизнь простаивал у дверей или в коридоре.

Тут шумят сейчас братья Брики в брезентовых плащах, муж Песи — кузнец Арон, портной Хацкель, курносый и мелкогрудый сапожник Кичка и многие другие представители молдаванской «рвани».

Буря разрастается в ураган. Множество голосов кричат вместе.

Древняя кровь, навеки согретая знойным солнцем Африки и кострами испанской инквизиции, вновь закипает в жилах, и мятежный темперамент разворачивается до крайних пределов.

Обиженные сбрасывают ярмо немой покорности и хотят здесь, где нет власти чужих, накричаться досыта, набуйствовать до усталости.

И дикие крики толпы бьются о каменные

стены, вырываются через настежь раскрытые окна и далеко разносятся по городу.

Один только Шнеерсон молчит. Его спектакль сорван, и нет величия артиста. Сейчас, когда никто на него не смотрит, он — обыкновенный еврей с седой бородой и туго накрученными пейсами.

## 16. В Америку

**Н**ебывалый скандал в синагоге приносит свои плоды.

Еврейская община приступает к сбору пожертвований.

Члены благотворительных кружков лично обходят магазины, склады, дома зажиточных людей с подписными листами. А «миллионеры» готовятся к большому благотворительному вечеру. О последнем меня осведомляет Аня. Моя учительница неузнаваема — говорит охотно и много, чему-то радуется и ждет чего-то необычайного.

Ее мама — ближайшая родственница казенного раввина — приглашена принять участие в вечере. По этому случаю заказывается платье, ходят по магазинам, покупают приклад, перчатки до локтей, шляпку, отделки,

искусственные цветы и кружева.

Анюта посвящает меня в тайны жизни богачей.

— Мадам Ашкинази, — рассказывает она, — сама ездила к градоначальнику за разрешением, а Бродская и Эпштейн согласились участвовать в концерте... Мама говорит, что банкирша Хаит уже успела выписать из Парижа самое модное платье... Вот ей будут завидовать!

— А для чего этот вечер? — спрашиваю я.

— Как для чего?.. Неужели ты не знаешь?.. Для бедных все это делается. Если бы не наши богачи, бедные умерли бы от голода...

— Но почему же в синагоге...

— Ах, оставь, пожалуйста, — сердито перебивает меня Анюта. — Они просто скандалисты и... неблагодарные... Неужели и ты этого не понимаешь?..

Я действительно плохо разбираюсь и делах богачей, живущих по ту сторону жизни, для меня недосыгаемой.

Но зато мне ясна и понятна жизнь окружающих меня людей.

От Давида узнаю, что первый еврейский

погром получил большую огласку. О нем уже известно даже за границей. А в Варшаве, Киеве и других городах бунтуют студенты, и царь Александр третий по этому случаю откладывает коронацию.

— Он боится надеть корону, чтобы ее не сняли вместе с головой, поясняет Давид.

И меня радует сознание, что сам царь боится нас, бедняков.

Но все это пустяки в сравнении с теми ощущениями, какие переживаю я, когда узнаю, что многие семьи, пострадавшие от погрома, в том числе и Зайдеманы, собираются уехать в Америку...

В эти бурные дни, когда люди в торопливой суматохе с гневной радостью собираются оставить родину, во мне вновь оживают мечты о далекой сказочной стране, озаренной чудесным светом моей собственной фантазии.

И когда я слышу разговоры о том, что в американском городе Нью-Йорке обыкновенный портной зарабатывает сорок рублей в неделю, я думаю о вождях индейских племен, совершающих великие подвиги.

А когда братья Брик отказываются ехать,

не желая бросить своих лошадей, мне хочется им рассказать о диких мустангах, свободно скачущих по цветущим долинам солнечной Мексики.

Все, что мною прочитано когда-то, и все, что рассказывал мне Яков Розенцвейг об Америке, сейчас оживает в моей памяти с необычной четкостью, и я весь трепещу от желания пристать, прилепиться к какой-либо семье и как-нибудь, крадучись, проскользнуть на пароход, когда евреи и дети их густой массой станут подниматься по трапу.

Уж создан комитет по оказанию помощи отъезжающим, и всюду готовятся в путь.

Из нашего двора собирается в дорогу многочисленная семья портного Нухима. Остановившись на улице мальчугана, одного из внуков портного, и спрашиваю:

— Вы тоже уезжаете?

— А то нет, думаешь?.. Мы уже все распродали — утюги, ножницы, кровати... Бабушка говорит — в Америке купим все новое.

Слушаю и сохну от зависти.

Школа по случаю летнего времени еще закрыта, мне делать нечего, и я брожу по бли-

жайшим улицам и всячески стараюсь принять участие в общем движении. Сейчас такое время, что можно войти в любой дом и посмотреть, что там делается. Окна и двери раскрыты, жизнь обнажена — нет никаких тайн, нет ничего скрытного. Вот так бывает во время пожаров или похорон.

Уезжающие становятся другими людьми. Еще недавно они боролись за свое скудное существование, всеми силами отстаивали свой грош, жадничали и дорожили каждой тряпкой, всяким обломком; а теперь, после погрома, эти люди теряют любовь к вещам и легко с ними расстаются.

— Сколько вы просите за сковородки и КУВШИН?

— Ах, чтоб я так знала свои мучения, как я знаю цену этим вещам... Что дадите — ладно будет...

Вот так сегодня торгуются. Вот так люди в последний раз, объединенные одним несчастьем, обмениваются убожеством и нищетой.

И когда Голда, опухшая от водянки и через силу двигая слоновыми ногами, тащит на себе кухонный столик с дверцами и ящиками,

приобретенный за четвертак, никто ей не завидует.

Вечером перед сном набираюсь храбрости и говорю Давиду:

— Господин Зайдеман, вы с дядейлевой не можете меня захватить с собой в Америку?

— Куда? — спрашивает сонным голосом улегшийся хозяин.

— В Америку, — робко повторяю я.

— Если бы ты был узелок, мы бы тебя захватили, а ты хотя и маленький, но живой... Под каким же видом мы тебя возьмем?.. Ты знаешь, как мы едем. Нас всех перепишут, составят семейные списки, где будут указаны даже грудные ребята, и всех проверят жандармы, когда попадем на пароход... Вот и соображай...

— А меня в списки нельзя вставить?

— Что значит вставить? Ведь ты же не стеклышко для очков... За такую «вставку» нас самих могут оставить в Одессе, и мы будем здесь жить до второго погрома...

Давид лежит, а я сижу перед столиком и через раскрытое окно гляжу на звезды. Печаль садится мне на плечи. Кладу голову на

ладони, и сквозь слезы звездная сеть в черной глубине-летней ночи пугает меня своей беспредельностью. Что я один буду делать в этом огромном мире?..

— Дядя Давид! — ~ с отчаянием в голосе взываю я.

— Ну? — откликается хозяин.

Слезаю с табуретки и подхожу к нему.

— Разве нельзя так сделать, чтобы я спрятался на пароходе?

Давид молчит.

— Во время посадки, — продолжаю я упавшим тоном, — легко проскользнуть... Многие знаменитые путешественники так делали, будучи мальчиками... Я сам читал об этом...

— Вот это совсем другая история... Все будет зависеть от ловкости... Ну, а лотом?..

— Что потом?

— Когда попадешь в Америку... Что ты там делать будешь?

Не будь Давид взрослым, я, конечно, не стал бы перед ним скрываться и рассказал бы ему о моем твердом намерении по прибытии в Америку отправиться в девственные леса и вместе с вождями индейских племен бороться-

ся за освобождение краснокожих, но я знаю, что Давид меня высмеет, и, притворившись тихим домашним мальчиком, я отвечаю:

— Буду работать, служить... Вместе с вами, с дядейлевой... Стану делать все, что прикажете...

— Что же, я ничего не имею против, если тебе удастся спрятаться. Думаю, что и Лева не станет возражать... Завтра поговорю с ним. В Америке ты не пропадешь...

Давид громко и длительно зевает, поворачивается лицом к стене и... уже спит.

И пусть спит. Он свое дело сделал: отравил сладким ядом мое сознание и успокоился. А мне не до сна. В этот тихий вечерний час я переживаю вечность. Никогда еще мечты не поднимали меня на такую высоту. Я уже в Америке и творю чудеса. Побеждаю белых, освобождаю рабов, торжественно возвращаю индейцам принадлежащую им страну, открываю алмазные копи, золотые россыпи и отправляюсь вместе с «Красным Волком» и «Меткой Пулей» в Россию наводить порядок. Вот и Петербург. Врываемся во дворец, и по моему приказанию «Красный Волк» срывает

корону с головы царя. Александр третий падает на колени, низко кланяется — бородой полметет и, плача, клянется, что никогда в России не будет еврейских погромов... Но я ему не верю и... сам засыпаю, сидя за столом.

Лева согласен взять меня с собой, если мне удастся спрятаться. Матильда тоже согласна. В первый раз после погрома она смеется и дружески похлопывает меня по плечу.

— Короша малшишка...

Но моя хозяйка уже не та: сошел живой румянец с лица, под глазом желтеет пятно заживающего синяка, и нет прежней восторженности в голосе.

Лева мне тоже кажется другим. Коричневый шрам от виска до подбородка и темно-серые струпья засыхающих ран на коротко остриженной голове делают его почти неузнаваемым.

Сейчас Зайдеманы для меня самые близкие люди, и я всячески стараюсь войти в их жизнь и стать им необходимым. Я готов расшибиться вдребезги, лишь бы угодить и помочь им.

Почти все вещи уже уложены и запакова-

ны. В комнате, всегда чистой и красиво убранной, теперь небывалый беспорядок. Железная кровать уже продана и стоит сложенная у стены и покрытая рогожей.

На подоконнике и на полу кучи мусора.

Лева работает над каким-то узлом, крепко стягивая веревку, и при этом кряхтит и сквозь стиснутые зубы выдавливая слова:

— Одесса-мама, чтоб тебя холера задавила... Шимеле, — вдруг обращается он ко мне, — не можешь ли где достать газетной бумаги?.. Не во что завернуть мелкие вещи...

— Сию минуту, — радостно откликаюсь я и выбегаю на улицу.

Минута — и я уже во дворе дома Черепенникова.

Здесь около ворот находится сарай, принадлежащий нашему училищу. Там мы держим все принадлежности для уборки классов — щетки, половые тряпки, мел, чернила и дрова. Кроме того, здесь же вдоль стены сложены большие книги в парусиновых переплетах. Это комплекты «Русского еврея» и «Рассвета» за целое десятилетие. Вот к этим переплетенным газетам я и хочу добраться;

но они лежат высокими кипами, и без подставки мне не достать.

Через открытую дверь солнце стелет золотую дорожку, и мне все видно. За рогожным кулем древесных углей стоит колода для колки дров. Обеими руками хватаюсь за куль и отшвыриваю его в сторону. Поднимается черная туча пыли.

Потом подкатываю колоду к штабелю книг, взбираюсь наверх и хочу сбросить первый фолиант, — как вдруг становится темней.

Оглядываюсь — и вижу в просвете Анюту в беленькой пелериночке.

— Где ты пропадаешь? Ни тебя, ни Давида... Папа беспокоится... скоро начнутся занятия, надо привести училище в порядок, а служащих нет...

Соскакиваю с колоды, руками вытираю вспотевшее лицо, а сам думаю: «Противная девчонка... и за коим чортом ее принесло сюда...»

Анюта, увидев мое лицо, всплескивает руками и хихикает.

— Ты — настоящий трубочист, — сквозь смех говорит она. — Где ты измазался?.. Слу-

шай, Шимеле, что я тебе расскажу, — успокоившись, продолжает она. — Благотворительный вечер прошел, блестяще... Мама рассказывает, что было много офицеров и генералов... Сам градоначальник посетил вечер, подошел к мадам Хаит, ручку поцеловал, выпил бокал шампанского и положил на серебряный поднос сто рублей... Вот он какой удивительный человек...

— А зачем он погром устроил! — перебиваю Анюту.

— Кто тебе это сказал?

— Все говорят... И Зайдеманы...

— Зайдеманы! — презрительно повторяет она, скривив рот и пожимая плечами. — Скажи лучше Давиду, что папа требует его к себе...

— Он не пойдет. И я не пойду... Мы уезжаем в Америку...

— И ты?!

У моей учительницы глаза становятся круглыми. Она поражена.

Мне хочется стать смелым и дерзким.

— Вам придется теперь русского сторожа нанимать, — говорю я.

— Почему? — тихо спрашивает Анята.

— Потому, что все работающие евреи завтра уезжают в Америку. И я тоже... Там, в Америке, мы рассчитаемся с теми, кто от погрома не пострадал, — добавляю я и угрожающе потрясаю кулаком.

Анята поджимает губы, сердито поворачивается и уходит.

Быстро взбираюсь на колоду, сбрасываю огромный том, с остервенением срываю переплет, складываю пополам весь комплект, с большими усилиями взваливаю газеты на плечо и бегу к Зайдеманам.

— Где ты взял? — спрашивает Давид и тут же догадывается, когда сбрасываю ношу на пол.

— Аи, аи, что ты наделал!.. Сегаль с ума сойдет. Ведь ты разрознил года...

— Я не боюсь... Все равно я уезжаю с вами в Америку... Уезжаю? Да?

Братья переглядываются, а я бегаю глазами по их лицам, ища подтверждения.

Маленькое молчание, а потом Лева обращается ко мне:

— Видишь ли... мы, конечно, рады будем,

если тебе удастся реправиться в Америку; но взять тебя с собой и внести в наш семейный список мы не имеем права. Понял? Ну, вот... Теперь будем так говорить: до времени ты нас не знаешь, а мы тебя не знаем... Понял?.. Дальше... тебе, скажем, удалось спрятаться... В море живых людей капитан парохода не выбрасывает. Наше судно будет нагружено одними евреями... Что это значит? Это значит, что тебе не дадут погибнуть. Но в случае чего — ты на нас не указывай, а прямо говори: я, мол, сирота, одинокий мальчик и хочу в Америку. Ну, а там посмотрим... Понял?..

— Очень хорошо понял, — бодро отвечаю я, в полной уверенности, что Америка от меня не уйдет.

Надо хорошенько спрятаться.

Ночь бдения, тихих бесед, вздохов и слез. Не спит беднота.

Приближается час разлуки. Старики, больные и робкие остаются в Одессе доживать свой безрадостный век, а крепкие духом готовы ринуться в неизвестность, сулящую свободу и достойное человека существование.

Мы тоже не спим. На большом сундуке,

крепко обмотанном толстыми веревками, сидит маленькая сутулая старушка — мать братьев Зайдеманов. Она мигает красными ободками воспаленных век и плохо видящими глазами старается хорошенько наглядеться на своих сыновей.

Делать нам больше нечего: все уложено и упаковано.

Говорить не о чем. Скоро начнет светать. Мы ждем Беню — он должен подать дроги и отвезти нас в порт.

Поминутно выбегаю и прислушиваюсь, не стучат ли колеса. Хочу думать о себе и не могу. Знаю, что наступает для меня решительный час, что в жизни моей произойдет очень важное событие, а в голове путаются мысли, коротенькие и ненужные.

Гаснут звезды. На востоке появляются оранжевые полосы восхода. Где-то далеко за базаром гроыхает телега. Это, наверное, Брик.

— Беня едет! — кричу я с порога.

И все приходит в движение. Старуха с помощью рук слезает с сундука. Все морщины ее маленького личика сбегаются к мягкому

беззубому рту. Она быстро-быстро мигает красными веками и протягивает сухие жилистые руки к старшему сыну.

— Лейбеле, — говорит старуха, — когда тебя избивали, ко мне прибегает Перелс и вопит: «Рохл, вашего сына убивают!» У меня ноги отнялись... Дышать стало трудно... А сейчас ничего... видишь, стою на ногах...

Она дрожащими руками гладит сына и беззвучно плачет.

— Мама, все к лучшему, — прерывающимся голосом говорит Лева и обнимает старуху.

Та припадает головой к пруди сына и шепчет жалобно и тихо:

— Лейбеле... Мой золотой Лейбеле...

В эту минуту старуха кажется мне маленьким, беспомощным ребенком. Слежу за выражением лица Левы и замечаю, как слеза катится стеклянным шариком по коричневому шраму и зарывается в усы.

С треском, грохотом и звоном подкатывают к нашему подвалу ломовые дроги.

— Тпрр... бисова дитына... — слышен сиплый голос Бени.

И тут же у нашего соседа Лропа раздаются

вопли его жены. Неся не может ехать: она должна скоро родить.

— Ну, будет... Успокойся, — слышим мы за тонкой перегородкой голос Арона. — Ведь я же не разбойник... Говорю тебе, как я — еврей, что первые заработанные деньги вышлю тебе на дорогу... Ну, перестань, Неся!.. Ты мне сердце сверлишь...

Но Бенья не унимается, и ее крики напоминают визги ушибленной собаки.

Бенья, стуча сапогами, входит в комнату.

— Доброе утро, еврей!..

Я хватаю первый попавшийся узел с намерением положить его на дроги; но Давид отнимает его, отводит меня в сторону и шопотом говорит мне:

— Шимеле, ты не должен с нами ехать в гавань. Увидят и скажут, что мы тебя везем с собою... Получится неприятность... Понимаешь?.. А ты сделай так: беги на берег, и там ты увидишь наш пароход, войдешь в него и спрячешься... А там уже видно будет... Понимаешь... Ну, беги!..

Выхожу на улицу. В глубоких сумерках рассвета четко вырисовывается любимый

копь Бени. Конь краснорыжей масти прочно стоит на коротких толстых ногах с белыми кистями вокруг копыт, со свежим дегтем.

Белая челка между ушами спускается к выпуклым глазам, похожим на большие сочные сливы. Волнистая грива цвета красной меди пышно расчесана, а промасленная шляя с белым набором лежит в обтяжку. Не конь, а щеголь. Особенно нравится мне широкая грудь с белой полоской на коричневом поле и лоснящийся бескостный круп с ложбинкой посредине.

Хочется мне погладить красавца.

Немного робея, подхожу к оглоблям, протягиваю руку и с любовной нежностью провожу ладонью по теплой шерсти.

Конь вздрагивает, поднимает голову и ржет бодрым веселым ржаньем сытого животного.

В это время из нашего подвала поднимается с корзиной на спине едущий вместе с Зайдеманами кузнец Арон — небольшого роста, с темной запыленной бородкой и широкими ладонями натруженных рук, покрытых железной копотью и зачерствевшими мозоля-

ми. Вслед за ним, тяжело дыша, с беременным животом, дрожа и плача, тащится его жена — «маленькая Песя».

Я удираю. Бегу к морю. Прислушиваюсь к тишине спящих улиц и упираюсь взглядом в малиновое пожарище восхода.

На бульваре останавливаюсь, перевожу дух и впервые ощущаю безграничную величину мира. Стою в необъятном куполе предутреннего неба и удивляюсь тому, что я — крохотная точка — могу так далеко видеть, измерять взглядом безбрежное море, расцветенное зарей, замечать, как розовым перламутром играет мелкая рябь по водной равнине и как золотыми мостами ложатся на жидком зеркале покойного моря огненные ресницы медленно поднимающегося солнца. Но я хорошо знаю, что эта огромная ширь не весь еще свет и что по ту сторону рубинового горизонта лежит Америка.

Наш пароход узнаю по портному Нухиму и его многочисленной семье, уже устроившейся на палубе.

Вся гавань полна народом. На одного уезжающего приходится десять провожающих. С

каждой минутой становится шумней и многолюдней. Сейчас прикатят Зайдеманы. Все, кому надо, свободно, без всякой задержки поднимаются по мостику с перилами по бортам и входят на пароход. Не вижу ни одного городского, ни одного жандарма. Отсутствие начальства придает мне смелость, и первый раз за всю мою жизнь мои ноги касаются деревянного настила палубы.

На меня никто не обращает внимания, и я очень скоро осваиваюсь, заботливо ищу укромного местечка, где бы я мог скрыться. А таких местечек здесь сколько хочешь.

Можно, например, забраться в одну из лодок, висящих на высоких железных крюках и покрытых брезентом.

Стоит только подняться по одному из столбиков, залезть и — лежи себе до самой Америки...

Но это хорошо сделать ночью, когда все спят. А сейчас на палубе евреев не меньше, чем в большой синагоге.

Хорошо, что меня никто не замечает и что никому до меня нет дела. Настоящим пассажиром могу разгуливать по этому огромному

пароходу и заглядывать, куда мне угодно.

Но до чего здесь чисто!.. Даже плюнуть негде... А сколько интересных вещей, машин, веревочных лестниц, высоченных мачт!.. А вот и целый ресторан с роялью и длинным столом, накрытым скатертью белее снега. Зажженные первыми лучами взошедшего солнца хрустальные бокалы и графины рассыпают по столу бриллиантовые блески... Но мне некогда заниматься разглядыванием — надо спрятаться, пока есть время.

Бродя по палубе, нахожу, наконец, пригодное место.

Предо мною квадратное отверстие с откинутой в сторону крышкой. Зияет темная глубина. Оглядываюсь. Вблизи нет никого.

Пользуюсь удобным случаем и по узенькой отвесной лесенке осторожно спускаюсь вниз. Сначала темно, а потом глаза привыкают, и я догадываюсь, что попал в какой-то склад. Тут и бочки, и ящики, и кули всякие. Пахнет свежей рогожей и смолой.

Тихонько подвигаюсь вперед и поминутно оглядываюсь на свет, падающий из квадратного отверстия. Обхожу бочку и натываюсь

на мягкую грудку пустых мешков. Ложусь. Бочка служит прикрытием.

С палубы доносится топот множества ног. Пронзительный крик сирены потрясает весь пароход. Слышны лязг цепей и гудение машины.

Вдруг над отверстием появляется человек. Он по лесенке спускается ко мне. Прячу голову и замираю.

Сейчас меня найдут, и конец всему...

Проходит несколько минут тяжелого ожидания. Меня не трогают, не ищут. Потом спускаются еще два человека.

— Майна! — кричит один из них диким голосом.

— Вира! — отвечают сверху.

И вскоре под лязг цепей и грохот машины появляется огромная вязанка ящиков. Становится темно. Груз медленно падает на дно, и освобожденный канат с большим железным крючком на конце сам собою поднимается вверх.

А после опять это бесконечное «майна-вира», и тюки, тюки без конца.

Усталость клонит мою голову. Мне хочется

спать. Тяжелеют веки, глаза слипаются. Мысли становятся далекими, обрывистыми. Я засылаю.

Вижу сон. Шагаю по зеленой степи неизвестной мне страны.

Трава высокая, сочная, приходится мне по самый пояс.

У меня через плечо индейский лук, а на боку из кожаной трубки торчат стрелы, отравленные смертоносным ядом. Вдали вижу пасущееся стадо овец. Чернолицый пастух сидит на краю степи на высоком камне.

Подхожу и вежливо здороваюсь с ним; а сам в это время замечаю, что у каждой овцы одна задняя нога перевязана веревкой.

— Зачем это? — спрашиваю.

— А ты подойди к самому краю этого луга да посмотри, тогда поймешь, отвечает пастух.

Делаю несколько шагов и невольно отшатываюсь назад. Стою на вершине отвесной скалы, а подо мною бездонная пропасть.

Пастух скалит зубы, и коричневые глаза его смеются.

— Понял?.. Овцы мои часто сваливаются, и чтобы они не погибли, я перевязываю верев-

кой одну только ногу, и когда овца падает со скалы, — я ее вытягиваю наверх. Сейчас я и тебя перевяжу, — добавляет он, поднимая с земли конец длинной веревки.

Хочу все это превратить в шутку, но черный пастух моментально свирепеет, хватая меня за ногу, набрасывает петлю и сталкивает меня со скалы.

Лечу головой вниз, бьюсь грудью и лицом о каменную громаду и в то же время чувствую, что веревка дошла до конца и пастух тянет меня обратно.

— Ишь, чертяка, еще упирается, — слышу я совсем другой голос и... просыпаюсь.

Быстро вскакиваю на ноги и никак не могу понять, где я нахожусь. Но когда человек, вытянувший меня за ногу из-за бочки, подводит меня к отверстию и когда я убеждаюсь, что предо мною стоит здоровенный жандарм, — я вспоминаю все, и мне становится холодно.

— Ну, марш скорей!.. Сейчас отчаливаем, — командует жандарм и награждает меня шлепком по мягкой части.

Быстро поднимаюсь по лесенке. За мной звенит шпорами жандарм. На высокой белой

площадке в летнем кителе с золотыми пуговицами стоит сам капитан, черноусый здоровяк с обветренным лицом. Он что-то говорит в медную трубку, торчащую рядом с ним.

Машина начинает работать. Под пароходом закипает вода. Из широкой черной трубы вылетают огромные черные мячи дыма. Пароход незаметно отрывается от берега, и взмыленная пена с шумом выбивается из-под кормы. Тяжелая рука ложится на мое плечо и толкает меня вперед.

Истерически кричат рыдающие женщины, мужчины плачут молча и ладонями вытирают глаза.

— Ты зачем в трюм забрался? А? — спрашивает меня жандарм.

— В Америку хотел... А вам жалко? Да?

Говорю вызывающе... Я сейчас никого не боюсь... мне все равно... хоть умереть...

— В Америку... Вот оно что!.. Сказал бы раньше — я бы тебе билет выправил... Ах ты, сопля несушенная... Америка ему понадобилась... Какую деревеньку нашел, Америку!.. Ну, ступай. А ежели еще раз попадешься, добавляет жандарм, — я тебя таким цимесом

угощу, что долго облизываться будешь!..  
Пшел!..

И он освобождает меня из-под тяжелой руки своей.

Иду по берегу моря и плачу без слез.

Что я теперь буду делать? Куда мне деться?

Мои взоры все еще тянутся к далекому горизонту, где полоска дыма пачкает чистую лазурь небосклона.

Жара усиливается. Монотонно шуршит прибрежная волна. Лежу на животе, уткнувшись глазами в песок. Не хочу ничего видеть, и не хочу, чтоб меня видели. Вдруг чудится: подле меня бренчит железо, а на мои оголенные ноги падают холодные капли. Приподнимаюсь, поворачиваю назад голову и вскрикиваю от неожиданности: предо мною стоит большая собака серо-дымчатой масти.

На ней ошейник с медным замочком. Она волочит по гравию длинную цепочку!

Пес величиной с теленка. Морда продолговатая, зрачки коричневые, белки человечьи, уши торчат, а из разинутой зубастой пасти выпадает красный язык. С этого языка и стекает тягучими каплями слюна. Собака дышит

коротким непрерывным дыханием. Ей, видно, жарко. Из предосторожности встаю и с опаской слежу за животным.

Собака подходит к воде, прячет язык и, понюхав море, пятится назад.

С береговой кручи белым шаром катится к нам маленький гимназистик в летней форме. Он размахивает руками, свистит — зовет собаку, а та даже головы не поворачивает.

— Марс, кому говорят?! Иди сюда, Марс! — визгливо кричит мальчик. Он поднимает конец цепочки и тянет собаку к себе. — Ты хорошо плаваешь? обращается он ко мне.

Отвечаю утвердительно.

— Тогда знаешь что? Возьми Марса и поведи его на глубокое место. Он тоже хорошо плавает... Не бойся: Марс маленьких не кусает...

Мне самому интересно поплавать с такой большой собакой, и я быстро сбрасываю с себя рубашку и штанишки, а гимназистик непрерывно осыпает меня словами.

— Одному купаться мне запрещает учитель. Ему и маме все кажется, что я утону. Вот чудачки!.. А как я утону, если я сам боюсь глу-

бины?..

Мальчик хлопает густыми черными ресницами и растягивает в улыбку толстые малиновые губы.

На нем все новенькое. Пряжка на поясе и герб над козырьком горят и сверкают на солнце. Из-под клешей парусиновых брюк выглядывают носы крепких ботинок.

Наливными яблоками играют румяные щеки, и весь он набит мясом и кровью. Даже спина горбится от жира.

— В подготовительный поступил? — спрашиваю я.

— Да, в первый класс не принимают, — мне девять лет.

— Неужели девять?.. — вырывается у меня восклицание, — и мне становится обидно от сознания, что этот сытый бутуз, будучи моложе меня на целых пять лет, одного со мною роста.

Держу собаку за ошейник. Стою голый и легонько прикасаюсь телом к горячей шерсти Марса.

— Мы живем на собственной даче, — продолжает без умолку мальчуган. Наша фами-

лия Чацкины. Вон наверху каменная ограда и железная решетка... Видишь?.. А в саду наша дача. Не нравится мне здесь жить... Комнат много, сад большой, а всех нас всего пять душ: я, Марс, мама, учитель и папа... Не с кем поговорить как следует...

— Можно? — перебиваю болтовню гимназиста и поворачиваю собаку к морю.

— Да, да, очень можно... Не бойся, Марс — умный пес.

Он еще что-то кричит вдогонку, но мы с собакой уже шагаем по воде и рассыпаем вокруг алмазные искры.

Достигаем глубины и пускаемся вплавь. Марс с вытянутой мордой и хвостом плавает отлично, по-лошадиному, и передними лапами не брызгает, как это делают маленькие собачки.

После солнцепека очутиться в ласковой прохладе морокой воды до того приятно, что я поминутно ныряю, смывая жару с головы. Мне хочется доставить это удовольствие и псу. Подплываю к нему вплотную, кладу руку на его сухую голову и надавливаю. Марс, окунувшись, тотчас же вырывает из воды морду,

фыркает, чихает и со всего маху несется обратно к берегу, выдернув из руки моей цепочку.

А на берегу стоит человек на длинных тонких ногах в чистенькой косоворотке и в белой фуражке с зеленым околышком и кокардой над козырьком.

По околышку и по строгому взгляду серых глаз я догадываюсь, что это учитель.

— Сколько раз я и мама говорили тебе, чтобы ты один к морю не бегал... Завтрак давно уже накрыт, а тебя приходится разыскивать...

Мальчуган хлопает ресницами и молчит, надув толстые губы. Они уходят, не взглянув на меня.

Сажусь на песок, нехотя тянусь рукой к моим ветхим штанишкам, слежу за поднимающимися по крутой тропинке учителем, его воспитанником, собакой и думаю о... боге.

«Ведь наш еврейский бог все видит, все знает и все может... Почему же он не сделал так, чтобы я был сыном богатых родителей, а не этот глупый мясистый приготовишка?..» И тут же перед моим воображением рисуется

просторная терраса с накрытым для завтрака столом. Мать встречает сына, усаживает его и подвигает к нему два больших и горячих пирога, начиненных ливером. Мальчуган, подобно всем богатым детям, подносит пирог ко рту и откусывает малюсенький кусочек...

Мой рот наполняется слюной, и я начинаю ощущать издавна знакомую мне боль голода. Мучительно сосет подложечкой, вся слюна уже проглочена, и шершавым становится сухой язык.

Поднимаюсь и медленно ухожу. Куда?. зачем?.. — сам не знаю.

# Часть третья

## 1. Фейерверк

Отчего это так бывает, что когда человек голоден, а есть нечего, время перестает двигаться? Вот, например, сегодня — поднялось солнце до самой середины неба и — ни с места. Уж я в который раз обхожу обе гавани, босями ногами измеряю береговые улицы, верчусь в порту среди грузчиков, ломовиков, разносчиков, босяков, глохну от воплей сирен, железного лязга, грохота биндюг, жадными ноздрями ловлю запах сельдей, роняю голодную слюну перед раскрытыми дверями харчевен, — а солнце все еще висит над головой, сушит воздух и... сжигает мои последние надежды...

Я погибаю... Погибаю в одесском порту, где так много хлеба, фруктов, сахару... Люди заняты, куда-то спешат и все наверно уже ели горячие бублики и пили чай внакладку...

Только я один, подобно собаке, потерявшей хозяина, кружусь без пользы и не смею подойти к кому-нибудь, чтобы рассказать о безвыходном положении.

Если бы среди множества незнакомых глаз увидеть хоть один зрачок, смотрящий на меня с участием!.. Если бы найти сейчас маленькую горсточку человеческой доброты!..

Двигаюсь с трудом. Я уже не в силах волочить свою голодную беспризорность. Надо этому положить конец...

Уйду подальше, в тень, упаду на камни и умру... Пусть тогда увидят взрослые, как погиб среди них никому не нужный мальчик...

Слабеет мысль, Через силу плету ногами маленькие шажки. Подложечкой такая боль, что готов зареветь.

Бессознательно ползу вверх по гигантской лестнице, ведущей на бульвар.

Брожу по душным улицам раскаленного каменного города и случайно попадаю на Александровский сквер, на тот самый сквер, где я целых три года выронил из моей недолгой жизни.

Предо мной хорошо знакомый маленький водопроводный фонтанчик.

Чугунный купидон держит во рту медную трубку, а из трубки поднимается тонкая водяная струя, падающая в большую чашу.

Поднимаюсь на цыпочки, наклоняю голову, припадаю воспаленными губами к прохладной влаге и... замираю.

Как я раньше не догадывался, что водой можно утолить голод!..

Да, сейчас, когда желудок налит доотказа, я чувствую себя бодрее.

Выхожу из сквера и попадаю на Базарную улицу.

Здесь я вспоминаю об училище и думаю: итти или не итти туда?

Если уже известно, что я утащил из сарая газетный комплект, то лучше не показываться, — Сегаль за воровство ласкаться не станет.

— Ты же уплыл в Америку! — вдруг слышу позади себя знакомый голос.

Оборачиваюсь, и предо мной Хася — стряпуха Сегалей.

Хася задыхается от жары, но круглое бородавчатое лицо улыбается.

— Хорошенький американец, нечего сказать...

— Тетя Хася! — восклицаю я. — Вы не смейтесь- я чуть-чуть не уехал!.. Я даже в середине парохода был, — добавляю я, обрадованный

встречей.

— На пароходе бывают всякие — и умные и дураки, но обычно уезжают первые...

— Нет, не так — перебиваю я. — И умный не уезжает, когда его жандарм выбрасывает на берег...

У Хаси от внутреннего смеха колышется живот.

— Ну, иди уж домой, великий путешественник... Тебя ищут...

— Почему ищут? — спрашиваю я настороженно.

— Потому, что каждую вещь принято искать, когда она пропадает... Вчера я весь день искала мочалку... Ну, иди уж...

Следую за Хассй и в то же время стараюсь по ее глазам, по выражению лица догадаться об ожидающей меня участи...

Опять я на старом месте. Скоро начнутся занятия, и на моей обязанности — привести училище в надлежащий вид. Мною все довольны. Взрослые удивляются моей силе и ловкости. Один, без посторонней помощи, передвигаю парты и классные доски. А когда мою полы, я тряпку так выжимаю, что после

меня ни одной капли не выдавишь...

Получаю то самое жалованье, что и Давид, — пятьдесят копеек в день или пятнадцать рублей в месяц, а лучше сказать-сто семьдесят в год. Вот так цифра!..

Пусть кто-нибудь попробует через год помешать мне уехать в Америку, когда обутый и одетый я взойду на пароход с билетом в боковом кармане!..

Моя бывшая учительница Аня отнесется ко мне с прежним дружелюбием; но до переэкзаменовки осталось несколько дней, и сейчас ей не до меня. Да и мне тоже некогда-мы готовимся к царскому празднику. Заведующий училищем хочет не только зажечь плошки по всему фасаду дома, но еще пустить фейерверк.

По поводу фейерверка между Сегалем и учителем Резником происходит спор. Стою у закрытой двери и прислушиваюсь. Голос учителя — высокий и тонкий взволнованно поднимается над низким грудным говором заведующего.

— Я спрашиваю, почему мы, евреи, должны особенно стараться?.. Почему именины

русского царя вы хотите превратить в наш народный праздник. Давно ли мы пережили погром?

— Для того, — не повышая тона, перебивает учителя Сегаль, — чтобы погрома в дальнейшем не было, мы обязаны всем нашим поведением доказать, что мы такие же верно-подданные, такие же...

— Бросьте!.. Этим не поможете!.. Чем ниже раб сгибает спину, тем выше над ним взлетает кнут палача!.. — кричит Резник.

Приближаются шаги. Я отскакиваю от двери. Входит Сегаль. На нем коричневый поношенный пиджак, а на руках — темно-серые перчатки.

Заведующий сегодня работает в качестве пиротехника, поэтому одет в столь необычный для него костюм.

Но и сейчас он производит впечатление гордого, недоступного человека, и меня удивляет смелость маленького узкогрудого Резника, спорящего с таким строгим человеком.

Боюсь Сегалья. Меня пугают его красивое бледное и малоподвижное лицо, обрамленное черной волнистой бородой, и безогнен-

ный взгляд больших темных глаз.

— Послушай, — обращается он ко мне, — ты умеешь толочь уголь?

— Да, — не задумываясь, отвечаю я и при этом, из вежливости, опускаю руки по швам.

— В таком случае сделай вот что: пойди к Хасе, и пусть она тебе даст ступку... или нет, пусть сама натолчет мелко-мелко... Надо только коробочку найти...

— У меня есть, — с живостью перебиваю я, — табачная коробка... От Зайдемана осталась... Годится?

— Конечно, годится. Но прежде всего сходим с тобой в сарай: там за полками у задней стены лежит картон для переплетов...

У меня кровь приливает к лицу — сейчас произойдет то, чего я пуще всего боюсь. Сегаль заметит исчезновение газетного комплекта, и начнется допрос...

Чтобы этого не допустить, я иду на маленькую хитрость: первый вбегаю в сарай и босыми ногами поднимаю такую пыль, что чихнув, закашлявшись, остается у порога, не решаясь войти.

С большим трудом мне удастся вытащить

из-под темных груд газетного старья огромную кипу, перевязавшую толстой веревкой.

Волочу по сараю непосильный груз, обливаюсь потом и выползаю на воздух черным пуделем.

Хозяин, боясь запачкаться, пятится от меня и отмахивается носовым платочком.

— Фуй, какая грязь!.. Надо заняться сараем как следует. А эту пачку тащи к черному ходу. Там развяжешь веревку, перетрешь листы тряпкой. И скажи Хасе, чтобы она тебе помогла.

Я слушаю, улыбаюсь всеми зубами и время от времени рукавом рубахи вытираю пот с лица или, вернее, размазываю грязь.

— Потом, — продолжает Сегаль, — отдельными частями перенесешь картон во второй класс. Там на столе станем делать гильзы для фейерверка и бенгальских огней... Кстати, умойся... На тебя смотреть страшно...

— Хорошо... Слушаюсь... — непрерывно повторяю я и с трудом сдерживаю буйный прилив горячей радости.

Меня приводит в восторг ласковое отношение ко мне заведующего и, главным образом,

то обстоятельство, что мы вместе делаем фейерверк и какие-то бенгальские огни, никогда мною не виданные.

Хасю нахожу в кухне. Толстуха сидит на широкой, скамье и дерет гусиные перья. На полу играет солнце.

Две наволоки — заменяют мешки — наполнены пером и пухом.

Вокруг стряпухи и над ее головой кружатся белые пушинки.

— Не входи, — запачкаешь пол! — восклицает Хася, завидев меня. — Из какой трубы вылез ты?..

— Не из трубы, а из сарая, — смеясь и тяжело дыша, отвечаю я. — Тетя Хася, вам приказал господин заведующий...

— У евреев нет господ, — перебивает меня Хася, — и свиней тоже нет; а потому — иди к колодцу, смой всю черную грязь, а затем уже будем разговаривать.

Она встает и встряхивает передник. От ее движений поднимается пушистая метель, напоминающая давно прошедшую зиму.

В просторную классную комнату внесен из учительской большой стол, а за столом сидим

мы: Анюта с Женей, их отец и я. На столе мисочка с клейстером, клубок суровых ниток, ножницы, шило, кисточки и грудка разноцветной бумаги.

Мы готовим ракеты. Сам заведующий с помощью ниток, круглой палочки и шила делает из нарезанного картона трубки, а мы эти трубки склеиваем красной, голубой, желтой, фиолетовой глянцевиной бумагой.

Я окончательно осваиваюсь и чувствую себя здесь своим человеком. Смелость моя доходит до того, что я позволяю себе шалить с дочерьми моих хозяев. То Женю толкну под локоть, то у Анюты вышибу из рук кисточку.

Сестры отвечают тем же: моя учительница намазывает клейстером клочок цветной бумаги и прилепляет к моей щеке. Под визгливый хохот Жени я подолом косоворотки вытираю лицо.

Входит жена заведующего. Эта маленькая рыжая Женщина всегда одета по-праздничному. И сейчас на ней белое ажурное платье, пышно отделанное широкими кружевами цвета крем. В ушах сверкают круглые камешки, а на длинной золотой цепочке висит и

болтается у самого живота перламутровый лорнет. Тонкая талия, крохотные золотые туфельки на высоких каблучках, маленькие осторожные шажки и плавно раскачивающаяся фигура делают мою хозяйку похожей на большую птицу из зоологического сада.

— Настоящая фабрика, — произносит она тонким певучим голосом, подойдя к столу. — Тебе волосы не мешают? Они у тебя совсем на глаза надвигаются, обращается она ко мне.

— Нет, не мешают, — звонко отвечаю я и лихим кивком головы отбрасываю к затылку свои действительно длинные и нечесанные кудри.

Клара Мироновна, — так зовут анютину маму, — берет в руки лорнет, надавливает какую-то кнопку; выскочившие очки она прикладывает к переносице, щурит голубые глаза, рассматривает меня и говорит:

— Удивительно: сам еще мальчик, а руки взрослого — толстые и жилистые...

— Мама, а ты пощупай, какие у него мускулы! — радостно кричит Анюта. Шимеле, покажи маме!.. — приказывает она мне.

Встаю, вытягиваю во всю длину левую ру-

ку и, весь содрагаясь от напряжения, медленно тяну крепко сжатый кулак к плечу.

Клара Мироновна двумя пальцами дотрагивается до моего вздувшегося бицепса и отступает в изумлении.

— Бернард, ты посмотри, какая у него мускулатура! — восклицает она, обращаясь к мужу. — Он настоящий силач!..

— Да, среди литовских евреев попадаются крепыши, — тоном ученого поясняет Сегаль.

В это время в дверях показывается Хася. Она подходит к нам, ставит на стол дымящуюся черной пылью коробку, наполненную толченым углем, и кончиком передника вытирает лицо.

Нас начинает разбирать смех. Первая колокольчиком рассыпается Женя. Вслед за нею закатывается Анюта, а когда я своим высоким и крепким альтом выбрасываю из глотки неудержимый, раскатистый и заразительный хохот, то не выдерживают и взрослые: отец Анюты зарывает в бороду густой смешок, причем его большие темные глаза наполняются веселым блеском. Клара Мироновна не смеется, а кудахчет, и при этом, сгибаясь, ста-

новится ниже ростом, а желтые кудряшки завитых волос золотыми колечками катятся по черным круто изогнутым бровям.

Смех вызван тем, что Хася кончиком передника, запачканного углем, навела себе усы и маленькую эспаньолку на круглом подбородке.

— Хася, вы сейчас настоящий молодой испанец! — сквозь смех выкрикивает Анюта.

— Слава богу, что молодой испанец, а не молодая дура! — огрызается Хася и под общий смех уходит, сердито хлопнув дверь.

Своими хозяевами я очень доволен: они зря не бранят меня и обращаются просто — иногда забываю, что я их слуга. Больше же всего меня приводит в отличное настроение сознание: я здесь необходим. Ведь недаром же заведующий не отпускает меня, и мы вместе готовим ракеты, начиняя их порохом, селитрой, углем и еще чем-то.

Работаем на дворе возле сарая, где, по указанию Сегалья, мною вырыта небольшая ямка.

День чудесный. Горячее солнце на высоком голубом небе и приятная прохлада в тени дают мне бодрость и твердую уверенность,

что жизнь замечательно хорошая вещь.

Заведующий сидит на корточках и с помощью круглой палочки и деревянного молотка набивает картонную гильзу темно-серой массой.

Сижу напротив хозяина и, заинтересованный до крайности, слежу за каждым его движением.

Первая ракета уже готова. Принимаемся за вторую.

— Принеси остальные палочки. Они лежат у меня на столе...

Заведующий не успевает кончить, как я уже улечучиваюсь, а через минуту возвращаюсь с тремя палочками в руке. Вот уже предомною широкая спина и белая фуражка на черноволосой голове. Сейчас протяну хозяину палочки с вежливым словом «извольте»... Но мне не удастся этого сделать: сильный сухой треск и облако дыма преграждают путь.

Слышен слабый человеческий крик, и Сегаль валится навзничь.

Его обожженное лицо неузнаваемо: оно покрыто черным песком, борода наполовину опалена, а вместо глаз — кровавые щелки.

На взрыв появляются люди. Первая прибегает Анюта.

Мелькают лица Жени, Хаси... Теснятся любопытные.

Слезы, вздохи, рты, искривленные состраданием, молчание, тишина. Появляются носилки, на них укладывают грузное тело Сегаля.

Обезображенное безглазое лицо покрывают куском черного шелка... И нет заведующего, и никто не думает о фейерверке. Доктор говорит Кларе Мироновне, что пострадавший выздоровеет, но зрение не вернется.

Маленькая хрупкая женщина стойко выслушивает врача, не плачет, и на деле оказывается сильнее всех.

Приходит Резник. Он очень взволнован.

— Я как будто предчувствовал, — говорит он. — Всячески упрашивал не делать из пустяка события. И вот результат...

— Ты был прав, но сейчас спорить уже поздно... Бернарду необходим полный покой...

Клара Миронозна тихо в мягких туфлях удаляется в комнату больного.

Вечером, после ухода врачей и родных, я мельком вижу хозяйку, сидящую за тем самым столом, где мы недавно делали фейерверк и где наш здоровый молодой смех звенел во всех углах обширной комнаты.

Клара Мироновна сидит спиной к дверям в скорбном согбенном положении. По ее вздрагивающим плечам и заглушчрным всхлипам я догадываюсь, что мама Анюты и Жени прячет от людей свое горе.

Неслышно прохожу мимо и на ходу кулаками вытираю мои намокшие глаза.

Все, что приказывает мне Клара Мироновна, я исполняю с особенным старанием. Мне хочется быть полезным, оказать помощь и насколько возможно облегчить тяжесть несчастья.

На другой день состояние больного окончательно определяется: Сегаль навсегда останется слепым, а наружные ожоги лица пройдут бесследно.

Клара Мироновна просит меня достать для больного кусочек льда.

Бегу к Хасе, хватаю первую попавшуюся кастрюлю и мчусь в «Белый орел». Действую с

быстротой пожарного.

В трактир проникаю через черный ход и неожиданно попадаю прямо на кухню, где десяток поваров в белых передниках и колпаках суетится вокруг огромной плиты, утопая в жирном пару.

— Нет ли льду у вас?.. Мне для больного... Один маленький кусочек... кричу я, переступив порог.

— А вот этого не хочешь?

Надо мною склоняется длинное морщинистое лицо с двумя клыками на нижней беззубой челюсти.

Отшатываюсь к дверям и не могу отвести глаз от уродливого лица старшего повара.

— Эй, берегись! — раздается позади меня.

Оглядываюсь и в испуге отскакиваю в сторону: еще одно движение — и я мог упасть в глубокий подвал.

Только сейчас, после окрика, я замечаю на полу рядом со мною поднятую деревянную крышку над зияющим квадратом черной пустоты.

Из темной глубины по невидимой лестнице подымается двуногое чудовище, нагружен-

ное огромным кулем, наполненным пудовыми глыбами каменного угля.

Матовый взгляд серых глаз, запыленная бородка в виде обрезка войлока и на широкой обнаженной груди татуировка, изображающая обломок якоря и плачущую женщину, — напоминают мне известного босяка «Мотю-Стой».

Великан, поднявшись наверх, сбрасывает ношу под лестницу, ведущую на второй этаж трактира.

Мотя узнает меня и приветливо скалит зубы.

— Ты что тут делаешь? — спрашивает он меня.

— За льдом пришел... Вчера у нас взрыв случился. У заведующего глаза лопнули... От пороха... Вот я и пришел за льдом, а они не дают...

— У них на крещение льду не выпросишь, а уж летом и подавно... Ну, давай посуду — сейчас достану...

Мотя-Стой берет у меня кастрюлю и обратно спускается в подвал.

Проходит время. Сижу на корточках под

лестницей и жду великана. Половые в белых косоворотках с измятыми салфетками на изгибе руки торопливо спускаются в кухню с различными заказами.

Надо мною скрипят деревянные ступени трактирной лестницы, сыплется мелкий песок, и в легкое движение приходит тонкий прозрачный паутинный щит, хитро сплетенный пузатым серым пауком.

Вижу самого мастера.

Быстро перебирая длинными петлистыми ногами, он поднимается по невидимой воздушной нити и там на высоте, забившись в угол, зорко осматривает выпученным глазом собственное произведение и ждет недогадливых мух.

— Отбивной котлет!.. Сборный гарнир!..

— Скобелевские битки — соус томат!..

— К паре пива — тарань да сушки!..

Прислушиваюсь к звонким голосам подростков и завидую им. Мее думается, что я не хуже их мог бы исполнять обязанности полового.

Что тут особенного?.. Пустяки, а не работа...

Но куда запропастился Мотя? Я уже готов сам спуститься в подвал, когда, наконец, появляется нечесаная голова... В широких и черных ладонях Моти особенно ярко сверкает кристально чистый квадрат искусственного льда.

— Черти полосатые, — ворчит Стой, — замок повесили... Боятся — провизию утащут... А кому она нужна?.. Пришлось сорвать... Ну, и задержался малость... Тикай да не оглядывайся...

Запоминаю выражение мотиного лица. Оно такое же ленивоспокойное, виновато-улыбчивое, каким оно было во время погрома, когда Мотя-Стой единолично, с помощью своей колоссальной спины, опрокидывал на толкучке деревянные лавчонки знакомых евреев.

Жизнь налаживается. Сегаля лечат бинтами и примочками.

Заведывать училищем он уже никогда не будет: слепым запрещается служить. Говорят, наше училище совсем закроют. Вообще носят слухи, что всем еврейским казенным школам скоро наступит конец.

Новый Александр не любит евреев и хочет запретить им учиться. Вот в кого хорошо бы бомбой угодить!..

В один из самых жарких дней Клара Мионовна посылает меня в аптеку получить заказанные бинты и вату.

Аптека находится на Тираспольской улице. Здесь я не был со дня погрома.

Прохожу мимо подвала Тарасевичей и хочу спуститься к старым друзьям, хочу остудить себя подвальным холодом, но решаю это сделать на обратном пути.

Еще немного, и я поравняюсь с булочной Амбатьелло.

Двуглавый золотой орел в центре вывески, горящий на солнце, ожигает мои ресницы, и я останавливаюсь в нерешительности — боюсь я этой булочной. Жалею, что не пошел кружным путем.

Сердце полно тревоги. Мною овладевает смешанное чувство ненависти и страха. Невольно замедляю шаг, чтобы в случае необходимости иметь возможность повернуть обратно.

Тоскливое ощущение, похожее на предчув-

ствие, давит мне грудь. На улице полное безлюдье — ни детей, ни взрослых, все прячутся от жары. Один я босыми ногами шлепаю по каменным плитам тротуара и с торопливо бьющимся сердцем прислушиваюсь к тишине, пугающей меня.

Мои опасения, моя боязнь не напрасны — я замечен и узнан булочниками и самим Николаем. Я даже успеваю углом глаза отметить черную повязку, в виде хомута, переброшенную через шею на грудь, и раненую руку с искривленной кистью.

— Он самый и есть...

— Держи его!..

События разыгрываются с необычайной быстротой.

Брошенные мне в спину угрожающие слова являются для меня толчком к бегству. Собираю весь запас моих сил, всю мою гибкость и кидаюсь вперед. Напряженный слух улавливает погоню. С предельной скоростью топчут по мостовой опорки, и порывисто дышит догоняющий меня человек.

Я весь во власти страха. Когтистые лапы неожиданного несчастья вот-вот вопьются в

меня, я упаду — и меня затопчут, уничтожат...

— Врешь, не уйдешь... — задыхающимся говорком рассыпает над моей головой настагающий меня человек.

Сгибаюсь под тяжестью чужой руки и подчиняюсь силе. Меня тащит за собой Гришка-Потоп. Я его знаю.

Он — молодой круглолицый булочник, рукоудрый, грудастый, любит подраться, поет высоким тенором, а когда пьян, длинно и непередаваемо грубо рассказывает о том, как жил в ковчеге Ной во время всемирного потопы.

К нам подбегают еще два амбатьелловских парня, и хотя я не сопротивляюсь, но каждый из них считает нужным вцепиться в мою косоротку. Потом нас обгоняет на извозчяке сам Николай и кричит своим работникам:

— Тащите прямо к приставу!.. Я там буду...

Окончательно падаю духом. Звенит в ушах, а в голове все мысли спутываются.

Выходим с Тираспольской и через площадь направляемся к Преображенской улице. Здесь уже попадаются прохожие.

При виде посторонних людей я быстро теряю покорность, перестаю шагать и всем туловищем опускаюсь на мостовую.

Булочники немедленно поднимают меня и уже не ведут, а волокут. Один из них — криворотый парень с выпуклым глазом, мокрым от вечной слезы, ударяет меня по затылку с такой силой, что на мгновение теряю сознание, и мне кажется, что лечу в бездну; но через секунду жгучая обида вливает в меня решимость, и, горя ненавистью, я издаю бешеный крик, вырываюсь из цепких рук, кричу о спасении, катаюсь по камням, сопротивляюсь до последней возможности и... снова попадаю в железные тиски обозленных булочников.

Вокруг нас собирается толпа. В моих затуманенных слезами глазах мелькают сутулые фигуры пожилых евреев и загорелые черноглазые лица женщин.

— За что они тебя?..

— Ах, безобразие какое!..

— Ну, скажите, пожалуйста, напали здоровенные голодрацы на ребенка.

— Надо позвать полицию... Где полиция?..

— Во, во, в полицию мы и ведем! — отзываются

ется на голос из толпы Гришка-Потоп.

К нам подходит человек с продолговатым чисто выбритым лицом, в фуражке с синим околышем и с кокардой над козырьком.

— В чем дело? За что мальчика терзаете?..

— Известно за что... Он нашего хозяина изувечил, — отвечает за всех Гришка.

— Как же он, такой маленький, мог изувечить?..

— Известно как, — перебивает булочник. — Схватил кусок стекла и шваркнул в живого человека.

— И что же? — допытывается кокарда.

— Известно что... Перерезал острым осколком жилу и навеки искалечил хорошего господина...

— Кто ваш хозяин?

— Известно кто... Амбатьелло — вот кто...

Происходит движение. Хорошо знакомое всему городу имя перекатывается из уст в уста. Больше всех волнуются евреи. Мой заостренный слух улавливает не только отдельные слова и фразы, но и характерную напевность еврейской речи.

— Вы слышите? Самого Амбатьелло...

— Чей этот мальчик, не знаете?..

— Не плохое дело сработал он... Попортить такого миллионера... Чтоб ему бог за это здоровья дал...

Человек с кокардой резонно замечает:

— Если так, то, конечно, следует мальчугана передать полиции. Там произведут следствие...

— Известно дело... Чего ради народ собираться... Гайда к приставу!..

Гришка хватает меня за руку и намеревается снова тащить, но я неожиданно для самого себя крутым движением вырываю руку и голосом, полным отчаяния, бросаю в толпу:

— Разве я виноват, если случилось со мной во время погрома? Их молодой хозяин стоял на улице и приказывал им, своим булочникам, разгромить бедных вдов и сирот. И они грабили, — указываю я на трех булочников, стоящих тут же, в белых от мучной пыли передниках, с обнаженными выше локтей руками и в опорках на босу ногу.

— Если мальчик говорит правду, то мы все должны сейчас пойти и потребовать от начальства задержать погромщиков...

Эту коротенькую речь произносит молодой человек в соломенной шляпе, в легком светлом костюме и с золотыми очками на носу.

Вокруг меня теснее смыкается толпа. Раздаются трели полицейского свистка, и в людскую гущу врывается городской.

От имени одесского градоначальника расклеены извещения о том, что всем евреям, пострадавшим от погрома, предоставляется право подавать заявления о понесенных убытках. Листки делают свое дело, и все учреждения градоначальника уже завалены прошениями. А Преображенский участок, куда я вхожу в сопровождении булочников, городского и случайных свидетелей, переполнен через край.

Попадаем в человеческую мешанину, говорливую, шумную и нервную.

Несмотря на то, что по широкому каменному коридору снуют городские и часто показывается из кабинета пристава усатый околоточный с грозящим окриком «тише!», — евреи не перестают шуметь и ведут себя так решительно и смело, что я, попав сюда впер-

вые, перестаю бояться, и даже такое страшное слово, как «арестантская», печатными буквами написанное мелом на одной из дверей, меня не особенно пугает.

На некоторое время я забываю о моем собственном положении и, заинтересованный до крайности, слежу за игрою возбужденных лиц, заглядываю в горящие протестом глаза и запоминаю энергичные жесты и неподвижные фигуры бунтующих людей.

Десятками голосов гудит здесь беднота, пострадавшая от погрома. Каждому хочется доказать, что он потерпел больше другого.

Русская речь то и дело переплетается с еврейской. Прислушиваюсь к бурному потоку голосов обиженных и улавливаю особенно крепкие слова, задорно смелые выражения и напитанные скорбным юмором язвительные поговорки.

— Любили погромничать — любите и ответ держать!.. — кричит среднего роста человек с широким губастым ртом, наполненным редко расставленными желтыми зубами...

— Вы думаете, начальство на самом деле хочет нам помочь? — задает вопрос длинный

и тощий еврей в коротеньких брючках и сам же отвечает, размашисто жестикулируя обеими руками: — Нет, их заставляют это делать студенческие беспорядки и заграничные газеты...

Слушатели вполне соглашаются с оратором и утвердительно кивают головами.

— Э, погодите немного, — продолжает длинноногий. — Усмирят студентов, и нас наградят новым погромом...

— А как же иначе, — слышится женский голос, — ежели еврей — что тесто: его бьют, а он подымается...

— Слушайте, мы отсюда не уйдем, пока...

— Тише! — раздается окрик околоточного, и в широко раскрытой двери кабинета появляется высокий пристав, одетый в новую офицерскую форму.

Сухое лицо с тонкими бачками, золотые эполеты, выпуклая грудь и застывший взгляд широко раскрытых серых глаз заставляют толпу притихнуть.

— Все подавшие заявления должны немедленно разойтись по домам и ждать, когда их вызовут, — отчеканивает пристав. — Вы слы-

шите?! - громко добавляет он и соединяет упереносья свои темные густые брови.

Толпа шарахается к выходу. Хочу воспользоваться удобным случаем и тоже увильнуть отсюда, но молодой человек в соломенной шляпе, выступавший на площади неожиданно делает шаг по направлению к приставу, смело откидывает назад голову и на чисто русском языке обращается к полицейскому офицеру:

— Разрешите мне на основании сегодняшнего постановления градоначальства сделать устное заявление...

При первых звуках этого голоса евреи останавливаются на полпути и в наступившей тишине с глубоким вниманием прислушиваются к каждому слову. А человек в соломенной шляпе длинными тонкими пальцами поправляет золотое пенсне на продолговатом с горбинкой носу и продолжает:

— Здесь находятся непосредственные участники погрома... Согласно постановлению вы должны их задержать и...

— Кто вы такой? — резко перебивает пристав. — Ваша фамилия?.. Чем занимаетесь?..

Узнав, что имеет дело с частным поверенным, пристав приходит в ярость. Стучит об пол ногой, обутой в лакированный ботфорт, и уже не говорит, а стреляет словами:

— Устраивать сейчас по желанию частных поверенных трибунал я не стану, но могу вам кое-что показать...

Он круто, по-военному, оборачивается к кабинету и делает пригласительный жест рукой.

— Пожалуйста сюда, Николай Христофорович...

В дверном просвете показывается Амбатьелло с перевязанной рукой.

— Вот этого господина, — обращается пристав к евреям, — искалечили не русские люди, а смиренные сыны Израиля... Этим делом займется суд, а пока требую немедленно освободить помещение!.. А не то... — с внезапным бешенством заканчивает пристав и угрожающе запускает руку в глубокий карман синих брюк.

Этого жеста вполне достаточно, чтобы у выхода поднялась паническая давка, а когда выходная дверь захлопывается за последним

посетителем, начальник участка, усмехнувшись, вытаскивает из кармана серебряный портсигар и вежливо предлагает Амбатьелло папиросу. Тот благодарит, закуривает и на прощанье протягивает левую руку.

Мы остаемся втроем: пристав, городской и я.

— Веди его сюда, — коротко приказывает пристав и первым входит в кабинет.

Робко переступаю порог и сталкиваюсь с холодным, жутким взглядом убитого Александра второго. Царь висит на стене во весь рост в широкой золотой раме.

Начальник участка садится за письменный стол, наклоняет коротко остриженную голову над чистым листом бумаги и намеревается писать.

— Ближе, сюда, — тихо говорит он, опуская перо в чернильницу.

Городовой кулаком подталкивает меня, и я подхожу к столу.

— Как звать? Родина? Где паспорт?..

На все эти вопросы я отвечаю дрожащим голосом и не свожу глаз с грушеобразной, ежиком подстриженной головы пристава.

В кабинете тихо. Брюхатый околоточный сидит напротив за своим столиком и что-то вписывает в большую книгу, блики солнца горят на сапогах и бакенбардах Александра второго.

— Откуда родом? — все тем же спокойным и приятным голосом переспрашивает пристав.

— Не знаю, — шепотом отвечаю я.

— Что?.. Не знаешь?!.. Тараненко, слышишь?.. Непомнящего изображает...

Околоточный с шумом отодвигает стул, подходит и внимательно вглядывается в меня.

— Э, тай я же его знаю! — весело говорит толстяк. — Вин у Бершадских зазывалыщжом жил!..

— Ах, чертово семя! — добродушно перебивает пристав. — Такой маленький, а уже Ивана Непомнящего разыграть хочет... Была ведь у тебя метрика?

— Была.

— Откуда ее получил?

— Из Свенцян...

— Свенцяны, говоришь... Гм, где это?.. Дай-

ка маршрутную, — приказывает он околоточному.

Пристав раскрывает большую книгу, водит указательным пальцем по строкам и повторяет про себя: «Свенцяны, Свенцяны...»

Обстановка самая мирная и ничего худого не предвещает. Во мне крепнет уверенность, что меня отпустят.

— Правильно, есть такой город, — низким, густым голосом не говорит, а воркует пристав. — Значит, ты родился в Свенцянах Виленокой губернии? Ну, вот... А то — не знаю... Так не годится, братец ты мой. Человек без родины, что свинья без корыта... Дас... Запомни это, милый мой...

Пристав припадает грудью к столу и принимается писать. В комнате солнечно и тихо. Слышно, как жужжит муха на оконном стекле и как царапает бумагу беглое перо начальника.

Хочу попросить подобрешшего пристава, чтобы он разрешил мне уйти отсюда, но я никак не могу найти удобного момента и все чего-то жду. Наконец я улавливаю улыбку на сухом треугольном лице полицейского офицера

и осмеливаюсь:

— Ваше благородие...

Мой голос среди безмолвия раздается особенно звонко и четко.

— Ну? — не поднимая головы, роняет пристав.

— Отпустите меня, пожалуйста... Больше не буду... Ей-богу не буду... Меня в аптеку послали... У моего хозяина от пороха глаза лопнули...

Начальник откидывается на спинку чресла, закуривает папиросу, со вкусом затягивается и густыми струями выпускает дым из ноздрей.

— То есть как это лопнули? — с доброй улыбкой спрашивает офицер ласковым голосом.

Начинаю понемногу осваиваться. А спустя немного мой голос рассыпается по всему кабинету. Меня слушают внимательно, с заметным любопытством, и все улыбаются. У городского улыбка приводит в движение густые коричневые усы, у околоточного расплывается по круглому полному лицу, а у начальника живою ниточкой извивается на тонких губах.

— Каков мальчик, а?

Пристав лукаво подмигивает, околоточному и встает из-за стола. Потом выходит на середину комнаты, потягивается, зевает и, собираясь уходить, отдает последние распоряжения:

— Проходное свидетельство передашь начальнику местной команды. Отправишь его завтра первым маршрутом в пересыльную тюрьму... Паек на месте...

Мне становится страшно: слова пристава гасят вспыхнувшую во мне надежду и бросают меня в черную бездну неведомого. В глазах, темных от слез, меркнет солнечный день. До боли ощущаю удар, нанесенный моей маленькой неустойчивой жизни, и навсегда запоминаю одесского пристава, его сухое, тонкогубое, чисто выбритое лицо с узенькими бачками вдоль впалых щек.

### **3. На Родине**

**Н**а рассвете следующего дня нас, арестованных, выводят во двор, выстраивают по четыре в ряд и, окружив конвоем, отправляют в тюрьму.

Со мной в последнем ряду — три женщины

ны, одеты легко, бедно и пестро. На одной красная кофточка без рукавов и зеленая юбка с прорехой назади, на другой коричневое платье, с белой пелеринкой в жирных пятнах, а на третьей ситцевое платье с желтыми грушами на красном фоне.

Вообще вся наша партия состоит из босяков, обвешенных грязными лохмотьями.

Предутренний сумрак пропитан ночной стужей. Я зябну, сжимаю челюсти, чтобы не стучать зубами, и не хожу, а прыгаю босыми ногами по холодным камням мостовой.

Нас тридцать два арестанта и восемь конвойных.

Огни еще не вошедшего солнца уже растекаются сиренево-розовыми озерами по светлеющему небу, и мягко сползают с домов легкие тени медленно отступающей ночи.

По спящим камням мостовой катится экипаж. Четко цокают подковы невидимой лошади, и звенят железные шины колес.

Мои спутники сильно заинтересованы вытягивают шеи и глазами ищут просвет между затылками идущих впереди.

— Не иначе Англичанин и Золотая ручка

свой фарт прогуливают, — говорит маленького роста женщина с опухшими темномалиновыми губами.

Она имеет в виду, как я потом узнаю, знаменитого одесского карманника и его не менее известную подругу — воровку.

Я иду с краю, мне видна даль улицы. На мягко-оранжевом фойе горизонта вырисовывается бегущий нам навстречу рысак, запряженный в легкую венскую коляску.

Различаю серую в яблоках масть и широкую грудь коня.

В прозрачном свежем воздухе весело бежит лошадь, размашисто перебирая звонкими ногами. Старой бронзой горит на заре широкая борода извозчика. В экипаже сидит морской офицер в летней форме, а с ним девушка в белой широкополой шляпе с красным кудрявым пером.

— Стой! — командует девушка, протягивает к желтому кушаку возницы тонкую руку в длинной до локтя перчатке цвета беж.

Извозчик опрокидывает назад спину, натягивает вожжи. Рысак останавливается. Офицер — беленький, тоненький, чистенький, с

густым румянцем на юношеском безусом лице, — спрыгивает с коляски и срывающимся голосом приказывает этапу остановиться.

Разводящий подчиняется команде, отдает честь, впивается глазами я смеющееся лицо моряка и ждет дальнейших, приказаний.

В это время намеревается сойти на мостовую девушка- спутница офицера. Она встает, одной рукой держится за плечо извозчика и медленно вытягивает обутую в черный атласный башмачок маленькую ножку в тонком, хорошо натянутом чулке того же цвета беж, что и перчатки.

Девушка сходит на мостовую и танцующей походкой приближается к офицеру. У моряка в руках небольшой кожаный бумажник, наполовину раскрытый.

— Костенька, миленький, отдай им все, отдай им все... На что нам деньги...

У девушки из-под шляпы выбивается черная волна густых волос.

Она растрогана и Глядит на нас с добрым и теплым участием. Ее большие черные глаза полны сверкающей влагой, и поблескивает белая россыпь зубов. Не стесняясь этапа, она

прижимается к моряку всем телом и истомно шепчет: «Отдай им все...»

Я вглядываюсь в лицо девушки и узнаю Соню. Мою Соню... Стыд обжигает глаза. Боюсь, что и она меня узнает. Прячусь за арестантами и готов провалиться, уничтожиться, лишь бы только Соня меня не узнала.

Я уже не маленький и все понимаю. Знаю, по какому колючему пути катится жизнь красавицы Сони. Недаром она сказала, что бедные не имеют права на красоту. И вот она уже не та. Пьяная, вместе с пьяным офицером, на заре летнего дня, она стоит перед молчаливой толпой арестантов и, по всей вероятности, не чувствует и не сознает, в каком она сейчас находится положении.

Немытые босяцкие рожи, окруженные конвоем, красавица Соня с ее горящими пьяными глазами, чистенький офицерик, рыжебородый возница, серый в яблоках конь, тихий восход и золотые цветы первых лучей поднимающегося солнца создают странную картину... Эта сцена врезается в мою память, живет и волнует мое сердце даже сейчас, когда набрасываю эти строки.

Нахожусь в пересыльной тюрьме — в общей камере для несовершеннолетних. Нас сорок человек, самому старшему восемнадцать, самому младшему двенадцать.

Меня сейчас будут бить за то, что я не имею двух копеек, чтобы заплатить за парашу, за то, что я не вор, а пуще всего за то, что я меньше всех ростом и совсем беспомощный. Стою, на нарах, прижимаюсь к стене и испытываю тяжкий гнет страха. Мои со товарищи по камере не стесняется и вслух обсуждают вопрос, как лучше меня изувечить.

— Сделать ему темный киф и заклеить пасть, чтобы не звонил, и баста! — говорит староста камеры Митька-Скок.

Непонятные слова ужасают меня. Но инстинкт самосохранения подсказывает мне, что я не должен и виду показывать, что трушу. И когда арестанты, вскочив на нары, окружают меня плотным полукругом, а один из них, с рябым лицом, по прозвищу Федька-Налим, совсем близко подносит к лицу моему кулак, я обращаюсь к камере неожиданно для самого себя с речью:

— Вы что думаете: вас поблагодарят за то,

что вы меня убьете?.. Нет, голубчики, вы за это так ответите, что всю жизнь будете помнить... Я вам ничего не сделал худого. И посмейте только!..

Мой взволнованный голос, а главное — чистое произношение русского языка приводит моих врагов в удивление, похожее на замешательство. Они переглядываются, делают какие-то знаки друг другу, и, наконец, Митька-Скок задает мне вопрос:

— А за что ты сюда попал?

— Я искалечил одного богача...

Камера поражена. Малолетние узники глядят на меня широко раскрытыми глазами.

— Ты?! Иskalечил? Ну, расскажи, как это ты сделал, и кто такой этот самый богач...

Чувствую себя освобожденным и с облегчением перевожу дух.

Подробно рассказываю своим слушателям о погроме и о том моменте, когда я бросил в Амбатьелло осколок зеркала. Меня слушают с большим вниманием.

Некоторые из арестантов, больше всех заинтересованные, предлагают мне сесть на нары и не бояться.

— Знаете что? — восклицает староста. — Сделаем его нашим звонарем, и он расквитается с нами за парашу.

— Хочешь быть звонарем? — обращается он ко мне.

— А что это значит? — в свою очередь спрашиваю я.

— Звонарь — это сказочник. Ты будешь нам рассказывать сказки, а мы тебя будем слушать, а за это ты не будешь платить за парашу... Вы согласны? спрашивает староста, обращаясь к остальным.

— Конечно, пускай... Что ж, послушаем... Видно, у него колокол хорошо работает.

— Дадим ему кличку.

— Давай дадим...

— Ты будешь у нас — Мишка-Арапчик.

— Почему Мишка? — невольно вырывается у меня.

— А потому, что ты кудлатый и короткопалый, вот и выходишь вроде медвежонка, — объясняет мне староста.

К вечеру я окончательно осваиваюсь и уже не чувствую никакого гнета тюремной жизни. Ребята хорошие, меня не обижают и мно-

го от меня не требуют.

Вечером, после проверки, я сажусь посреди камеры и рассказываю моим внимательным слушателям все, что я когда-либо слышал, все, что я прочел, а больше всего то, что я выдумываю во время рассказа. Получается смесь из рассказов, повестей и романов Майн-Рида, Купера, Монтшена, Габорио, волшебных сказок Арона Пииса и печальных сказаний Станислава.

Я сам испытываю внутреннюю радость, и мне нравится, что я могу заинтересовать слушающих меня. В голове роятся образы, происшествия, таинственные видения, герои необычайной силы и смелости, великодушные разбойники, грабящие для того, чтобы раздать награбленное бедным...

Рассказываю о том, как страдают люди от любви, от пламенной прекрасной любви... Рассказываю о бедных индейцах, замученных белыми плантаторами.

И все, о чем я мечтал в тихие вечера, и все, что мне представляется наиболее героическим, благородным и красивым, я отдаю притихшим узникам, забывая, что сижу в тюрь-

ме, что меня гонят на неведомую родину и что грядущую осень я встречу босиком и в холодной косоворотке.

Да и могу ли я думать о таких мелочах, когда, напивав свой голос звонким серебром, я бросаю горячие призывы к героизму, к уничтожению злой несправедливости, к обогащению бедных, к борьбе с богатыми, с жестокими царями и... городовыми!

В холодный сентябрьский день я в сопровождении конвойного выхожу из виленской тюрьмы и направляюсь к железной дороге.

Через два часа мы уже на станции Новые Свенцяны, где конвойный передает меня из рук в руки долговязому городовому, с облезлой шашкой на боку и говорит:

— Прими арестанта... Назначен в Старые Свенцяны в распоряжение исправника.

Тощий длинный городовой с опущенными усами и серыми безжизненными глазами драгивается рукой до моего плеча и нехотя роняет: — Идем!..

Выходим из вокзала и направляемся по шоссе на дороге, ведущей в уездный город Свенцяны. На мне полуистлевшая косоворот-

ка. Болят и покрыты корочками мои ноги, босые и заскорузлые. Мы идем по узкой тропинке соснового леса, перепрыгивая через множество луж. Городовой шагает длинными тонкими ногами широко и быстро, а я, чтобы успеть за ним, бегу мелкой иноходью, что отчасти меня и радует: на бегу согреваюсь.

Низкое небо, резкий холодный ветер и сыплющиеся с деревьев капли недавно прошедшего дождя создают тяжелое настроение. Не знаю, что ждет меня в этом городе, являющемся моей родиной.

Пытаюсь заговорить с моим конвойным, но тот, согнув узкую длинную Спину, хранит угрюмое молчание.

Вдруг позади нас раздается тарахтение колес. Конвойный оглядывается и говорит:

— Почтарь едет, може, подвезет...

Нас догоняет бричка, запряженная парой гнедых тощих лошадей.

На облучке сидит одноглазый еврей с длинным кнутом в руках.

— Стой!.. Подвези малость, — обращается к «ямцику» мой провожатый.

— Сядьте, панове, — говорит почтарь, и мы

забираемся на бричку.

Первым делом я зарываю ноги в сено и мокрыми руками закрываю грудь от ветра.

Ухабистая дорога, серое низкое небо и осенняя муть впереди наводят на печальные мысли.

«Что будет, что будет?» — мысленно задаю себе вопрос, но ответа не нахожу.

Элли, — так зовут почтаря, — причмокнув на лошадей, оглядывается, смотрит на меня и спрашивает по-еврейски:

— Ты чей?

Отвечаю, что я — сын Вигдора Свирского. Элли, по-видимому, удивлен.

— Вигдора, говоришь ты? Откуда же ты взялся?

— Из Одессы, — коротко отвечаю я.

— Слушайте, панове, — вмешивается в наш разговор конвойный, разговаривать с арестантом не полагается, но ежели дашь покурить, то можно.

Возница достает из-за пазухи кожаный кисетик с махоркой и протягивает моему стражу. Тот принимается крутить цыгарку, а Элли продолжает свой допрос:

— В Одессе жил, а?.. И почему тебя арестовали?

— Потому, что у меня нет метрики.

— Ну как же теперь быть, — твоего отца нет в Свенцянах. Он в Креславке, женился на молодой девушке, — сообщает мне одноглазый.

Вскоре наша бричка вкатывается в город, и на Базарной площади мы сходим. Идем с провожатым по главной свенцянской улице — Линтупсной. Народу мало.

Начинает лить дождь. Я и этому рад — меньше любопытных.

Но вот и полицейское управление. Меня вводят в канцелярию.

Только я переступаю порог, как из противоположной двери выходит одетый в мундир с блестящими пуговицами толстый исправник с большой круглой, коротко остриженной седой головой и длинными серыми усиками с подусниками.

— Откеда? — бросает он вопрос.

— Не могу знать, — отвечает городской и протягивает последнему проходное свидетельство.

Исправник, взглянув на бумагу, впивается в меня коричневыми зрачками и насупливает серые взлохмаченные брови.

— Проворовался?

— Нет, — отвечаю я.

— А по какому же случаю из Одессы гонят?

— За неимением письменного вида, — отвечаю я, наученный тюремной жизнью за время моего этапного путешествия.

— Кто ж у тебя тут еть?

— Не Знаю, — тихо отвечаю я.

В это время появляется околоточный надзиратель — маленький коротконогий человек в тесном мундирчике, с большой книгой подмышкой и с пером за ухом.

— Видзерский, — обращается исправник к околоточному, — кто тут у нас из Свирских?

— Их дюже много тут, почитай полгорода.

Исправник, покрутив ус, говорит:

— Я сам знаю, что их тут бисова туча, да тут, понимаешь, требуется человек домовитый, чтобы мальчишку мог принять.

— А можно крикнуть Мойше-Бере, он самый богатый.

— Добре, — соглашается исправник и

оставляет канцелярию.

Не проходит и получаса, как в полицейское управление является среднего роста еврей с черной кудрявой бородкой, большими черными глазами и круто завитыми кудрями цвета воронова крыла.

— Мне пан Родзевич просит?

— Да, да, сейчас выйдет к тебе, — отвечает околоточный и, открыв дверь во внутреннее помещение, сообщает о прибытии Мойше-Бера Свирского — родного брата моего отца, как я узнаю впоследствии.

До появления исправника Мойше-Бер, увидев меня, внимательно вглядывается в мое лицо и, наклонившись ко мне, спрашивает: — Ты кто?

— Я сын Вигдора.

— Почему ты сюда явился?

— Меня пригнали по этапу.

Мне очень трудно говорить. Я не совсем понимаю литовский еврейский выговор и отвечаю так, как говорят евреи в южнопольских городах.

Входит исправник.

— Добрый день! — низко кланяется Мой-

ше-Бер.

— Ага, день добрый... Знаешь этого? — рукой указывает на меня исправник.

— Знаю, — нехотя отвечает дядя.

— Добре, добре. Он тебе как приходится?

Мойше-Бер молчит.

— Ты не отмалчивайся, а скажи — ваш он?

— Наш-то он наш, паночек, тилько нам он не потребен.

— А я тебя не спрашиваю — потребен или не потребен, раз ваш, то возьми его, нам он тоже не потребен.

Спустя немного мы уже идем по улиде, держим направление к той же Линтупской улице — самой главной в городе.

Мое появление в Свенцянах производит сенсацию.

Родственников у меня действительно оказывается чуть ли не полгорода. Но самым богатым из всех родных оказывается дядя Мойше-Бер. У него собственный дом, хорошо построенный, во дворе, и большой длинный сарай, где несколько десятков женщин чешут лен.

Мой дядя зарабатывает деньги, торгуя

ЛЬНОМ.

Когда мы приходим и домашние узнают, зачем исправник вызывал Мойше-Бера, меня окружает целая толпа теток, дядей, двоюродных братьев и сестер, прибежавших словно на пожар. Одна из теток, по имени МинеТайбе, взглянув на меня, восклицает:

— Ой, я сейчас в обморок упаду, ведь это же сын Вигдора! Ведь ты Шимеле? Да?

Я кивком головы отвечаю утвердительно.

— Что ж мы теперь будем делать с этим ободранцем? — спрашивает Мойше-Бер, обращаясь к окружающим родным.

— Надо написать Вигдору, пусть он распорядится, ведь это его сын, советует кто-то из родных.

Жена Мойше-Бера — красивая женщина средних лет с добрыми серыми глазами, взглянув на мои ноги, тяжело вздыхает и говорит:

— Но нельзя же в таком виде его оставить... Он же совсем голый.

— Тебе это не нравится? Так возьми его, поезжай с ним в Вильну и сходи к Вейнштейну, и пусть он по твоему заказу сошьет ему

костюм, может быть, даже фрак...

— Ах, Берке, ты настоящий разбойник! А если бы с твоим сыном это случилось, так ты бы тоже смеялся?

Это говорит бедно одетая пожилая женщина с черным платком на голове.

Потом я узнаю, что это одна из сестер моего отца по имени Рашке.

Ее голос, мягкий и добрый, напоминает мне Оксану и Соню, взятых вместе...

Кончается тем, что тетя Рашке, поругавшись со своим братом Мойше-Бером, берет меня за руку и со словами: «Плюнь на них, пойдем со мной!» — уводит меня.

Тетя Рашке — самая старшая из семи сестер моего отца — считается среди многочисленной родни самой бедной женщиной. Она приводит меня в маленький покосившийся домишко, состоящий из сеней и маленькой комнаты, наполовину занятой русской печью. Живет тетя Рашке на жалованье своего мужа — хромого, преждевременно состарившегося человека. Он служит у Мойше-Бера сторожем и получает за свой труд три рубля в неделю.

Когда вхожу в комнату и вижу низенькие два оконца, две скамьи, ничем не покрытый стол и убожество всего помещения, — мне вспоминается тетя Сара с ее вечной нуждой.

Первой заботой тети Рашке было хоть чем-нибудь прикрыть мое наполовину обнаженное тело. Роясь на печке среди тряпья, она громко проклинала Мойше-Бера, подарившего мне старый картуз. Эту фуражку с засаленным козырьком, сползающую мне на глаза, я ношу целую зиму. Старые брюки с новыми заплатами, положенными тетей, и ватная кофта с загнутыми длинными рукавами составляют мой костюм.

Обут я в большие валенки, наполовину набитые соломой.

Нищенская обстановка, полуголодное существование, вечные разговоры о хлебе и тяжкий непрерывный труд тети Рашке меня не особенно смущают. Я отчасти даже доволен, что попал в это гнездо нужды, — с бедными чувствуешь себя легче.

Тетя Рашке меня подробно расспрашивает, когда и где умерла моя мать. В ее голосе я улавливаю мягкие задушевные нотки, ласка-

ющие меня, и я гляжу на нее с благодарностью и уважением.

Проходят несколько дней, и я привыкаю к окружающей меня обстановке и становлюсь настоящим свенцянжим гражданином. Меня скоро узнают все двоюродные братья и сестры и относятся ко мне как к человеку, больше их видевшему и знающему. Среди подростков я, конечно, имею успех, но зато старшие на меня смотрят не то с сожалением, не то с презрением и нередко запрещают детям очень дружить со мной.

Чаще всего я посещаю дом двух моих теток — старых дев МинеТайбе и Лее-Рохе. Им достался в наследство от деда дом, разделенный сенями на две равные половины.

В одной половине живут они, а в другой — еще один брат моего отца Айзик, его жена и сын Арон. От мальчишек-моих двоюродных братьев — я узнаю, что дядя Айзик и его сын Арон известны всей округе как самые смелые и отчаянные конокрады.

После тети Рашке наилучший прием мне оказывает дядя Айзик.

Это — единственный блондин из всех

Свирских. Он большого роста, широкоплечий, с широкой густой бородой. От него так и веет огромной физической силой и ничем не заглушаемой жизнерадостностью.

— Вот это я понимаю, сразу видно, что сын Вигдора. Черный, как уголь, и глаза жулика, — так приветствует дядя, дружески хлопнув меня по спине. Appetit есть у тебя? — спрашивает он.

Я, смеясь, отвечаю:

— Конечно, есть.

— Ну, так садись.

Тетя Цивье — его жена — ставит предо мною горячую картошку, селедку и подает полкаравая хлеба.

— Ну, покушай себе немножко, а потом расскажи, какими дедами ты занимался в Одессе, какие у тебя там были фабрики, заводы, банкирские конторы, — ведь я же вижу, что ты из богатых.

Меня не смущает насмешливый тон дяди: в нем очень много добродушия. Быстро привыкаю к нему и очень подробно рассказываю о моем житье-бытье. Но когда дохожу до того, как меня арестовали и как я по этапу пришел

в Овенцяны, он просит, чтобы я подробно ему рассказал о моей тюремной жизни. Особенно интересуется он тем обстоятельством, что не только в одесской тюрьме, но и в николаевской, харьковской, киевской, минской и виленской тюрьмах, куда попадал с очередными этапами, я исполнял роль звонаря, пользовался хорошим арестантским пайком и не терпел никаких обид.

— Это-таки правда, в тюрьме скорее найдешь хороших людей чем у нас на воле, — говорит он.

Раз в неделю на Торговой площади происходит конский базар, куда меня берет с собой дядя Айзик. Дядя — большой любитель и редкий знаток лошадей. Крестьяне его знают. Тайно они его ненавидят как конокрада, но из боязни обращаются с ним очень вежливо.

В один из базарных дней дядя Айзик, увидев у знакомого крестьянина небольшого роста гнедую лошадку, подходит к ней, гладит ее, ласково заглядывает лошади в глаза, а затем неожиданно наклоняется, просовывает голову под живот лошади, обхватывает ее руками и поднимает на себя. Литовцы, в серых

полушубках, с трубками в зубах, приходят в восторг и, ласково трепля дядю по плечу, повторяют:

— Ну, и сильный жидюга... Добрый мужик из тебя вышел бы...

Дядя ухмыляется, польщенный похвалой.

Тетя Мине-Тайбе и Лее-Рохе живут не плохо. Всегда у них чисто, хорошие вещи, стулья, столы, шкафы, комоды, все в порядке, хорошо едят, одеваются не хуже самых богатых хозяек города. У них бывают чиновники — акцизные, из ратуши, из полицейского управления. Тети их угощают водкой, закуской, и я никак не могу понять, откуда у них такое богатство. Потом уже от тети Рашке узнаю, что тети, хотя и старые девы, но очень красивые, получают свой доход от тех самых чиновников, что так часто посещают их дом.

На углу Линтупской и Казначейской улиц стоит больших размеров деревянное здание, принадлежащее Перецу Окуню — двоюродному брату моего отца. Окунь, его жена Ципе, дородная, большая женщина, и два сына живут в этом доме.

Чем занимается дядя Окунь, я не знаю, но

он молится три раза в день, аккуратно посещает синагогу и считается хорошим, солидным хозяином. Снаружи нет никакой вывески, а между тем внутри происходит то же самое, что бывает в харчевнях, кабаках, дешевых трактирах.

Даже имеется большая стойка, где разложены приготовленные закуски. День и ночь гостеприимно открыты двери этого дома, и часто слышны оттуда песни, крики, буйные скандалы... Начинаю понимать, что благочестивый Перец Окунь является настоящим корчмарем. Но все это делается втайне, чтобы не платить акцизного сбора.

Я люблю ходить туда. Там можно хорошо покушать, — Окунь не жадные люди. Там я научился впервые курить. Папиросами меня наделяет девица Ядвига, исполняющая обязанности буфетчицы. Но я часто вижу, как эта самая Ядвига в небольшой боковой комнате до поздней ночи сидит с чиновниками и приезжающими из деревень панями, пьет вино и услаждает слух гостей пением.

Здесь же мне приходится познакомиться с одной очень интересной семьей князьями

Ширинокими-Шихматовыми. Старый князь — бедно одетый, обрюзглый старик в фуражке с красным околышем, свидетельствующим об его дворянском происхождении, его жена — рыхлая старуха и сын Николай-молодой двадцатипятилетний парень — страдают алкоголизмом. Для того чтобы добыть деньги на водку, княгиня моет полы у состоятельных обывателей, стирает поденно и ни одной чертой не напоминает дворянку. А между тем в документах старого князя (эти документы он держит в фуражке и показывает каждому незнакомому человеку) говорится о том, что он действительно князь Ширинений-Шихматов, штабс-капитан в отставке, а его жена — урожденная баронесса Толь — не менее знатного рода.

Опустившись на самое дно жизни, эта пара не только не напоминает собой бывших богатых людей, но является для Свенцян самыми назойливыми и противными попрошайками.

Зато их сын Николай — такой же пьяница, как и отец, — на меня производит хорошее впечатление. Он никогда ни у кого ничего не

просит, не унижается и, несмотря на бедную внешность, гордо держит голову и с презрением отзывается о моем дяде Мойше-Бере и о многих других богачах города Свенцяи.

Мы с ним становимся друзьями. Не знаю почему, но Коля — как я его называю с его разрешения — мне очень близок и понятен. Ему я обязан как первому своему учителю, научившему меня смотреть правильно на жизнь.

Часто мы с ним уединяемся в боковую комнату дома Окуней, когда там никого нет, и он рассказывает мне чрезвычайно интересные истории о жизни первобытных людей и животных, о миллионерах, о тяжелой несправедливости капиталистов и о том, как надо поднять всемирное восстание против людей, загибающих все блага только для себя. Очарованный, я внимательно слушаю эти речи и проникаюсь уважением к моему старшему и образованному другу.

По внешности Николай мне кажется самым красивым человеком во всем городе. Он хорошего роста, шатен, с большими лучистыми голубыми глазами, обрамленными черны-

ми ресницами, и такими же круто изогнутыми бровями. Прекрасна его улыбка, когда он трезв и в хорошем настроении. Но и пьяный, он не производит отталкивающего впечатления. Он не говорит грубостей, не резок, но очень разговорчив. Говорит он тогда без конца и говорит все умные и дельные вещи.

— Если ты хочешь стать человеком и победителем, — говорит он мне, — ты должен помнить одно правило: не бойся жизни и презирай людей, вот тогда тебя начнут любить и уважать. Никогда не жди, тебя кто-нибудь ударил, но если ты замечаешь, что тебя хотят ударить, так ударь первый. Чем жесточе человек, тем он трусливее. Помни сие и не робей. Не завидуй богатым и не стремись к обогащению, если хочешь быть хорошим и благородным человеком, ибо богатство не уживается с правдой и добротой.

Подобные речи, произносимые с большим подъемом согретым вином, я всегда выслушиваю внимательно. Меня одно удивляет: как может жить в таком поганом городишке и довольствоваться нищенским существованием такой умный, образованный и деликат-

ный человек?

Однажды, набравшись храбрости, я его спрашиваю: — Скажите, Коля, почему вы живете в Свенцянах, почему вы не поедете в Петербург или Москву?

— А зачем это? — с задумчивой грустью в голосе спрашивает молодой князь.

— Как зачем? В больших городах много людей, а чем больше людей, тем...

— Тем больше свиней, — перебивает меня Коля.

На этом наша беседа обрывается.

#### 4. Отец

**Ж**иву в Свенцянах три месяца. Я уже ознакомился со всеми улицами и переулками и знаю почти всех жителей.

Город небольшой, жители — евреи, поляки, литовцы и чиновники — все между собой знакомы и почти все находятся в родстве. Если что случится, немедленно об этом узнает весь город. Живу большей частью у тети Рашке, но бываю и у дяди Айзика, у тети Мияе-Тайбе, а чаще всего у Оконя. Там всегда весело. Каждый день к вечеру приходит скрипач Давидка, маленький горбун с острым

длинным подбородком и тонкими худыми ногами. Он из футляра достает скрипку, садится в уголке боковой комнаты и начинает играть.

Играет печальные мотивы известных еврейских песен, а когда приходят чиновники и Ядвига вместе с ними угощается в комнатке, Давидка начинает играть «мазурки», и нередко под его скрипку пляшет Ядвига.

Ядвига — молодая девушка, темная шатенка, с удивительно добрыми, кроткими глазами темиосерого цвета, с длинными черными ресницами. Вот за эти глаза ее, по всей вероятности, больше всего любят чиновники. Я тоже ее люблю, но люблю за то, что она ко мне относится с нежным вниманием — то папироску даст, то вкусный пирожок сунет в руку, а то сядет напротив меня, водит рукой по моим кудрям, тяжело вздыхает и шепчет:

— Вот такой братишка и у меня имеется, да очень далеко живет...

Зима наступает внезапно. Ударяют сильные морозы, и если бы не мои валенки, набитые соломой, я бы не мог выйти на улицу. Город становится чистым, белый снег покрыва-

ет крыши и мостовые, и низкое красное солнце озаряет розовыми пятнами улицы, площади и в особенности высокий холм в конце Линтупской улицы, виднеющийся из окон дома Мойше-Бера. Там, за этим холмом, находится еврейское кладбище с плоскими могилами.

Однажды рано утром, когда дети тети Рашке и я валяемся еще на печи в ожидании завтрака, тетя кричит мне:

— Шимеле, вставай! Отец твой приехал.

Минута — и я уже на ногах.

— А где он?

— Известно где — у Мине-Тайбе.

— Он сюда придет?

— Нет, он сюда не придет, мы ему не нужны. Он велел тебе притти.

Не знаю почему, но известие о приезде моего отца меня не очень радует. Отчасти я даже испытываю неприятное чувство, похожее на боязнь. Тем не менее подчиняюсь обстоятельствам, и спустя немного я робко переступаю порог дома моих теток. Испытываю ощущение, неловкости из-за моей бедной одежды, особенно стыжусь моих огромных и гряз-

ных валенок. Отца я вижу прохаживающимся по комнате с заложенными за спину руками.

При моем появлении он останавливается, прищуривается и всматривается в меня близорукими глазами.

— А где Бася? — тихо спрашивает он меня.

— Не знаю, — отвечаю я.

— Почему ты не знаешь?

— Когда умерла мама, она была с нами, а потом уехала и поступила в няни.

— Куда уехала?

— Тетя Сара говорила — в Бердичев...

Чернобородое смуглое лицо отца затуманивается, и быстро трепещут ресницы черных глаз. Мне кажется, что он сейчас заплачет.

Он достает из заднего кармана сюртумб носовой платок, сморкается, вздыхает, — подходит к столу, садится и задумывается. В это время из соседней комнаты входит молодая красивая женщина и, улыбнувшись, спрашивает, обращаясь ко мне:

— Это ты и есть тот самый Шимеле?

Я догадываюсь, что это новая жена моего отца: о ней мне говорила тетя Рашке. Непри-

язненное чувство овладевает мною, и я оставляю ее вопрос без ответа.

Отец мой очень похож на дядю Мойше-Бера: такой же смуглолицый, широкоплечий, с такой же маленькой кудрявой бородкой, но чуть-чуть повыше ростом, и лицо его мне кажется красивее, чем у дяди.

Отец первый прерывает наступившее молчание:

— Как же ты жил в Одессе, что делал, и почему тебя пригнали по этапу? Знаешь ли ты, какой это стыд, какой это позор? И мне уже говорили, что ты не молишься, совсем отстал от еврейства и даже тфилн [Т ф и л н — обрядовый предмет, надеваемый религиозными евреями при ежедневной утренней молитве] не имеешь.

Вспоминаю поучения князя Николая, и в груди у меня закипает чувство досады и обиды, и я отвечаю:

— У меня рубашки нет, а ты заботишься о тфилн! Они мне не нужны.

Отец вскакивает с места, и в глазах у него зажигаются злые огоньки.

— Ты смеешь так разговаривать с отцом?

Ты смеешь так говорить о нашей вере?

— Да, смею, тем более, что меня и Басю ты бросил, когда мы были совсем маленькими...

— Это ужасно! — кричит из другой комнаты Лее-Рохе и вбегает в комнату. — Весь город говорит об этом ребенке, поднявшем знамя позора над всей нашей фамилией... Ты должен, — обращается она к отцу, — сделать все возможное, чтобы его здесь, в Овенцяхнах, не было...

Снова наступает молчание. Хмурится отец, молчу и я, приткнувшись к стене около дверей. Женщины тихо удаляются.

Отец медленно подходит ко мне, кладет руку на мое плечо и говорит уже другим голосом, мягким, и добрым.

— Ну, Шимеле, не будь таким злым, не думай, что я такой уж плохой человек... Мне обидно, что жизнь так зло насмеялась надо мною, и не думай, что я, и только я, виноват в том, что мама твоя ушла от меня...

Он опять вынимает из заднего кармана платок, вытирает глаза и начинает по диагонали взад и вперед ходить по комнате. Я смотрю на его сутулые плечи, и мне стано-

вится жаль человека, родившего меня.

В тот же день к вечеру я сижу в боковой комнате у Окуня в обществе князя Николая и Ядвиги и подробно им рассказываю о моем свидании с отцом. Ядвига возмущена.

— Ну, як же це можно... ридного сына... И що за люди!..

— Молчи, Ягодка, — перебивает ее Николай, — здесь нужно хорошенько обсудить вопрос, а потом уже возмущаться. — Затем, обращаясь ко мне, он продолжает: — Что он хочет дальше сделать с тобой?

— Ничего не говорит... Он только сказал, что ему тяжело видеть меня в этих отрепьях.

— Ага, значит, тяжело! Ну, раз тяжело — можно надеяться, — что он что-нибудь для тебя сделает.

— Нет, не сделает. Он очень беден, полгода находится без работы и живет за счет родных своей жены.

— Откуда ты все это знаешь?

— Мне Мине-Тайбе говорила.

— Да, плохи твои дела... А от Мойше-Бера, конечно, и ждать нечего... Ну и человек! Вот кому хорошо было бы выбить зубы!..

К нам в комнату входит сам Окунь с большой рыжей бородой, высокого роста, одетый в плюшевый картуз, а из-под околыша видна полукруглая полоска черной ермолки.

— Приехал отец твой? — обращается он ко мне.

Мне уже надоели все эти вопросы, и я только кивком головы даю ему понять, что отец приехал.

— Ты скажи ему, чтобы он ко мне пришел, мне с ним нужно поговорить об очень важном деле.

С этими словами Окунь поворачивается и уходит.

Оказывается, что важное дело действительно имеется.

Мой отец по специальности крошилщик табака и первоклассный папиросник. Окуням приходит мысль завести у себя в тайной корчме тайную табачную фабрику. Узнаю на следующий день, что отец до поздней ночи сидел у Окуней и вел длительную беседу. По уверению Рашке, участие принимал и дядя Мойше-Бер.

С помощью акцизных чиновников, пьян-

ствующих здесь, этой маленькой компании удается их замысел, и на чердаке дома Окуня устанавливается станок для крошки табака.

Дело прибыльное, и у отца появляются деньги. Прежде всего мне покупают пальто, рубаху, круглую шапку из поддельного барашка и первые в моей жизни новые кожаные сапоги. Но вместе с тем отец покупает и тфилн и настойчиво требует, чтобы я ежедневно ходил в синагогу, иначе он угрожает совсем оставить меня.

Я покоряюсь. Посещаю синагогу, обматываю правую руку ремнями от тфилн и вместо молитв шепчу все, что взбредет на память, вплоть до басен Крылова.

В синагоге я знакомлюсь с одним бедным парнем лет шестнадцати, живущим на общественный счет. Общество содержит его за то, что он очень способный, прекрасно знает талмуд со всеми комментариями и совершенно свободно говорит на древнееврейском языке. Зовут его Илель. Тощий, костлявый юноша с умным лицом, матово-смуглым, он на меня производит очень хорошее впечатление, и, невидимому, я ему тоже нравлюсь.

Однажды он уговаривает меня ночевать с ним вместе в синагоге. Я соглашаюсь. Сплю на широкой скамье около огромной печки, положив под голову маленький мешок. чек с моими тфилн.

Просыпаюсь ночью и вижу, как Илель садит за своим пюпитром и, раскачиваясь из стороны в сторону, тихо шевелит губами, заучивая что-то из книги.

Долго смотрю я прищуренными глазами на его профиль, на сальную свечу, приклеенную к краю пюпитра, и думаю: «Почему он так долго и так старательно учит талмуд. Неужели ему спать не хочется?»

Я тихо поднимаюсь со скамьи и подхожу к Илелю.

Тот, услышав меня, быстро, с испугом на лице оборачивается и рукой захлопывает какую-то небольшую книжку.

— Ты что? — спрашиваю я его.

Он растягивает сухие щеки в улыбку и говорит:

— Ты меня ужасно напугал. Прошу тебя только об одном: никому не говори, что ты видел вор эту книжку, прошу тебя.

— А что это за книжка?

Он мне показывает. Книга называется «Родное слово».

Меня это крайне удивляет.

— Так вот ты какой талмуд изучаешь! — восклицаю я.

— Шимеле, голубчик, никому ни слова, ты меня погубишь... Если узнает габе [Габе — староста синагоги.], — он меня выгонит, и я останусь на улице. Если хочешь, я расскажу тебе все по чистой совести.

Он садится со мной рядом на скамье и продолжает:

— Я хорошо изучил библию, знаю талмуд, знаю все законы нашей еврейской религии, но этого мне мало. Я хочу знать все, решительно все!.. И поэтому я изучаю русский и немецкий языки.

— А зачем тебе это все знать нужно?

— Понимаешь, у меня явились сомнения. Мне кажется, что бога нет на свете. Но как же это можно доказать? Ведь для того чтобы верить — не надо знать: верь — и больше ничего. Но чтобы не верить — надо очень много знать. Без знания неверие невозможно. Вот

почему я учусь тайно от всех, ибо по приказанию наших мудрецов мы не имеем права изучать науки иноверцев...

В эту ночь я долго не могу заснуть. Слова Илеля горят в моем мозгу, и мне тоже хочется знать истину — есть на свете бог или нет его?..

Дела отца идут в гору. Среди родных возникают всевозможные слухи о внезапном обогащении Свирских.

Чувство зависти зарождается в сознании моих теток, дядей, не имеющих отношения к тайной фабрике. Отец мой оказывается человеком щедрым: он тете Рашке — зато, что приютила меня, дает десять рублей. Об этом тоже говорят в городе: «Вигдор сорит деньгами. Хочет показать себя первым богачом. Но ничего, всему бывает конец. Фальшивыми делами долго не проживешь...»

В городе в большом количестве появляются очень вкусные папиросы: в коробках и рассыпные. Наряду с папиросами тети Мине-Тайбе и Лее-Рохе продают чиновникам табак цвета шафран. Коля говорит, что такого табака никогда в Свенцянах не было.

На чердак, где происходит работа, никто не вхож, даже мне запрещено входить туда. Меня это очень огорчает, а главное — стыдно перед сверстниками, что я не могу видеть, как работает родной отец.

С улучшением материального положения отец проявляет заботу об украшении нашей жизни. У него появляются часы с цепочкой; у Мине — моей мачехи — новое шикарное платье; у теток Мине-Тайбе и Лее-Рохе — много новинок.

Моя мачеха и тетки Лее-Рохе и Мине-Тайбе живут дружно. Все они, очень красивы и по внешности север: шенно различны, Лее-Рохе — высокая женщина лет тридцати, с продолговатым лицом и глазами с зеленоватым блеском. Одевается по-модному, видимо, следит за своей внешностью. Родная сестра ее Мине-Тайбе — моложе ее на два года. Она светлая шатенка с большой толстой косой, среднего роста, очень ловка, гибка, хорошо говорит, и, всем нравятся ее полнозубая улыбка и теплый взгляд, больших черных глаз. Но красивее их моя мачеха: она и моложе, и грациознее, и проще. Мы с нею становимся дру-

зьями.

— Шимеле, — говорит она мне однажды, — мне кажется, что тебе скучно жить без дела. Ты уже не маленький, и пора подумать о твоём будущем. Мы часто говорим с отцом о тебе, он хочет отдать тебя в учение к золотых дел мастеру. Что ты на это скажешь?

Немного подумав и найдя, что быть золотых дел мастером очень хорошо, я отвечаю согласием.

Но, увы, верно говорится, что счастье недолговечно, когда обогащение идет неправильным путем. Кто-то доносит кому следует, что на чердаке дома Окуней организована тайная табачная фабрика, и в один ясный зимний день из Вильны приезжает ревизор, и наших фабрикантов накрывают с поличным.

Мгновенно весь город узнает об этом. Одни выражают свое сожаление, другие, наоборот, радуются несчастью ближнего. Но дело кончается пустяком. Отец мой вместе с женой исчезают вечером того же дня, а Мойше-Бер и Окунь крупной взяткой освобождаются от ответственности. И опять течет жизнь по-преж-

нему.

Я шатаюсь без дела, дни провожу у Окуней и теток, а вечером, чтобы не видеть тяжелой нужды тети Рашке, не быть лишним ртом, я ухожу в синагогу. Тут у меня есть хороший собеседник — Илель. О чем только мы не говорим, каких планов мы только не строим! У Илеля мир — в кулаке. Протянув предо мною руку, он пальцем водит по ладони и говорит мне:

— Вот здесь, видишь? — Черное море. Вот тут стоит город Константинополь. Отсюда (он проводит пальцем по ладони) можно объехать весь мир.

И он рисует предо мной картину земной жизни. Он все знает.

Он знает, где лежит Америка, Африка, что собою представляет Австралия и где живут дикие народы, где добывают золото и бриллианты, где находятся высочайшие горы, непроходимые леса и бездонные океаны. Я слушаю его с замиранием сердца, и в моем мозгу вновь пробуждаются мечты о путешествиях, о далеких странах, о жизни по ту сторону горизонта. Жду весны. Хочу во чтобы то ни ста-

ло уйти из Свенцяна. Уйти от этих людей, надоевших мне, от этой бедноты, от вечной нищеты и невероятно жестокой борьбы за существование.

Помимо Илеля у меня есть еще один друг, укрепляющий мои стремления к уходу. Это молодой князь Николай. Вот он действительно хорошо разбирается в вопросах жизни и смерти. Для него нет никаких тайн, он все знает, и мне думается, что нет человека умнее и образованнее князя Николая. Меня только удивляет — почему он живет в Свенцянах.

В один из вечеров мы сходимся с Николаем в боковой комнате окуневского кабака. Князь только наполовину пьян. Ему приходит фантазия излить горечь действительной жизни. На столе стоят недопитый полуштоф, рюмка и красуется бутерброд из селедки.

Ядвига, положив голову на ладони рук, подетски, с широко раскрытыми глазами, слушает своего «красавчика».

— Ты не думай, — говорит князь, обращаясь главным образом ко мне, — что я всегда жил в такой грязи, как сейчас. О нет! Князь

Ширинские-Шихматовы это, брат, не блоха накашляла. У нас в Ковенской губернии рядом с поместьем графа Тышкевича был майонтек — побольше вот этого поганого городишки. Отец, рано уйдя в отставку, занялся, как говорится, хозяйством. Он связался с управляющим Тышкевича. Этот хитрый, жадный человек сумел поставить дело так, что незаметно для отца наше имение уходило все дальше и дальше от владельцев. Отец тогда много пил, проигрывал в карты; мать, чтобы быть ближе к мужу, научилась пить, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что и меня насильно заставили быть алкоголиком. Двенадцати лет, помню, я напился до бесчувствия, и няни и гувернеры отнесли меня на руках в мою комнату. Такое пиршество, конечно, не могло же вечно продолжаться. Росли долги. Неправильные, совершенно безумные сделки отца с разного рода темными личностями довели дело до того, что пришлось из проданного с молотка колоссального имения Ширинских-Шихматовых уйти... Мы очутились в Свенцянах, лучше сказать спрятались от позора... Но не думай, что я никогда ничему не

учился. Я два года имел честь находиться в стенах Пажеского корпуса, а потом пришлось уйти и оттуда. Теперь сообрази, что остается мне делать: сбросить с себя княжеский титул, плюнуть на фамильный герб несуществующего дома? Этого делать наше сословие не позволяет: «дворянин, да еще титулованный, обязан умереть дворянином...» Теперь ты понял, почему я в Свенцянах? Ну, а если понял, то не строго суди меня за то, что я закончу этот полуштоф...

Николай наливает стаканчик, смеющимися глазами смотрит на Ядвигу и со словами: «Ну, Ягодка, будь счастлива!» — опрокидывает стаканчик себе в рот.

Зима подходит к концу. С каждым днем темнее на огородах снег, все чаще голубым становится небо, и солнце, хоть еще низкое, но уже дарит нас яркими лучами, обещая скорую весну.

В один из таких дней Мойше-Бер неожиданно получает письмо из Нижнего-Новгорода. Пишет моя сестра, спрашивается о моем существовании и просит сообщить ей, где я нахожусь. В письме, очень коротеньком, гово-

рится еще о том, что сестра хочет взять меня к себе в Москву, где она постоянно живет, и для этого готова выслать мне на дорогу деньги.

Огромная радость вливается в мою грудь. Мне читают письмо, написанное на русском языке, с подписью: «Бывшая Бася, а ныне Александра Беляева». Письмо вызывает тяжелые нарекания, насмешки и проклятия.

— Она крестилась! Она изменила вере отцов! Так будь же она проклята! восклицает Мойше-Бер и, скомкав письмо, бросает мне в лицо.

Я подбираю бумажку и бегу к князю Николаю с просьбой еще раз прочесть письмо вслух.

С этого момента начинаю жить двойной жизнью. Все, что делается вокруг, меня, я едва замечая, но зато мысль в далекой Москве, о предстоящем пути и о новой жизни овладевает всем моим существом. И, очутившись один у подножья горы в конце Лиитупской улицы, я кричу, обращаясь к красноватому солнцу, медленно плывущему по голубому горизонту:

— Весна, я жду тебя!..

И приходит весна. Зазмеились вешние воды вдоль Линтупской улицы, бодрее запрыгали воробьи. Некрасивый деревянный городишко, похожий на большую деревню, под лучами вешнего солнца выглядит наряднее и красивее. Мы с Николаем совершаем загородные прогулки и наблюдаем за тем, как просыпается природа после зимнего сна.

В лесу поют, щелкают, свистят и чирикают маленькие невидимые птички. Гуще становится аромат соснового бора.

А я изнываю от тоски, рвусь всеми мыслями к далекой Москве: не могу больше оставаться в этом бедном, бессодержательном городишке, где люди не любят друг друга и не уважают чужих страданий.

Я советуюсь с Николаем, прошу, чтобы он рассказал мне подробно, каким путем можно мне без денег добраться до Москвы.

Николай меня поучает:

— Как ехать по железной дороге зайцем, я, пожалуй, тебя научу, у меня есть маленький опыт. Сделай так: войди в вагон третьего класса, займи место посреди вагона и следи — как, с какой стороны войдет кондуктор.

Тогда ты быстренько выйди из вагона... Там, где топка, ты увидишь дрова, бери одно полено, иди в уборную, становись в угол и держи полено перед собою. Кондуктор, проверяя билеты, обязательно откроет дверь уборной, чтобы убедиться, есть ли там кто. Дверь ударится о твое полено, и по ЗВУКУ кондуктор поймет, что никого нет. Он захлопнет уборную, пойдет дальше, а ты вернешься туда же в вагон, и — будьте здоровы! — мы едем.

Совет Николая мне очень нравится, это не трудно исполнить.

— Хорошо, — говорю я, — у меня выйдет как следует.

— Ну и чудесно... Теперь остается подумать вот о чем: тебе необходимо немного денег на дорогу, чтобы не умереть с голоду, пока доберешься до Москвы. Вот подумай: кто из твоей родни мог бы тебе дать пять рублей?

— Никто! — восклицаю я. — Тетя Рашке бедна; Мойше-Бер жаден, а дядя Айзик сидит в тюрьме.

Наступает молчание. Мы оба напряженно, думаем.

— Стой! Есть выход, — говорит князь. —

Пойдем к Коварскому...

— Он мне не дядя.

— Знаю, но он очень богат и не так жаден, как Мойше-Бер. Наконец можно и угрозой взять.

— Как угрозой? — спрашиваю я.

— Очень просто. Скажи, что подожжешь Свенцяны со всех четырех сторон, а у него самый большой двухэтажный дом в городе, он испугается и, смотри, раскошелится.

— А ежели он рассердится?

— Что ж он сможет сделать? Поймать тебя он не в состоянии: у тебя ноги быстрее...

Твердо решаю поступить так, как меня учит Николай.

## 5. Раннею весною

Несколько раз в день я хожу на Базарную площадь, внимательно осматриваю единственный в городе двухэтажный кирпичный дом, принадлежащий Ошеру Коварскому — первому богачу города Свенцяны. Я так внимательно изучаю этот дом, что могу легко вызвать подозрение. В одну из таких прогулок я решаюсь войти во двор посмотреть, что там делается. Предо мною большой квадрат неза-

мещенного двора. Гордо разгуливает огромный золотой летух, окруженный курами. Вижу деревянную галерею с лестницей, ведущей на второй этаж.

Довольный осмотром, я возвращаюсь в нашу боковую комнату и подробно рассказываю князю и Ядвиге о результате моих наблюдений.

— Мне думается, — говорит Николай, — что у тебя не хватит смелости выполнить намерение, а потому напишем лучше второй раз твоей сестре. Возможно, что она вышлет денег, и тогда поедешь барином.

Живо соглашаюсь с князем, потому что, если сказать откровенно, я-таки действительно трушу.

Ялвига жертвует марку. Коля сидит и пишет письмо моей сестре. Адрес известен: Ново-Пименовская улица, дом 31, квартира 20.

Не может быть, чтобы Бася не выслала денег. Ведь она же сама первая написала, что ищет меня. Письмо отправляется, и я снова ухожу в мою мечту.

Николаю в эти дни ничего не удается заработать.

Обычно он получает от обывателей и крестьян небольшие суммы, не больше тридцати — сорока копеек, за то, что пишет всевозможные прошения, ходатайства, удостоверения и письма. Но стоит ему только получить деньги, как он немедленно их пропивает. Тем не менее он дает мне слово, что если сестра все же не вышлет денег, а с Коварским ничего не выйдет, то он постарается скопить хоть сколько-нибудь и даст мне на дорогу.

Все мои ожидания напрасны. Никто не может мне помочь, и от сестры нет больше известий. Тогда я решаюсь — пойду к Коварскому.

Сегодня особенно светлый и теплый день. Решительно шагаю по Линтупской улице, дохожу до Базарной площади и вхожу во двор. Раннее утро. На деревянном балконе сидит за столом, в ермолке, с небольшой седой бородой сам Коварский пьет чай с молоком, а на тарелке лежат румяные бублики.

Поднимаюсь по деревянной скрипучей лестнице и останавливаюсь на площадке неподалеку от стола. Наши глаза встречаются. Старик салфеткой вытирает усы и спрашивает: — Тебе чего?

— Я к вам, реб Ошер...

— Ты чей?

— Я Свирский, сын Вигдора...

— Ну?

— Вы извините, пожалуйста... Я хочу просить у вас... не могли бы вы дать мне на дорожку пять рублей?

Старик ухмыляется, в глазах его вспыхивают насмешливые огоньки, и он спрашивает:

— А с какой стороны ты мне родственник, и почему ты ко мне обращаешься? У тебя ведь есть дядя Мойше-Бер...

— Нет, я вас очень прошу...

— Я тоже очень прошу, чтобы ты немедленно скатился вниз по этой лестнице... Я — не благотворитель. Надо трудиться, а не ниществовать, добавляет он.

Во мне закипает возмущение, и, не помня себя от злости, я говорю ему в лицо:

— Если так, то я подожгу город со всех четырех сторон!..

Коварский делает движение, чтобы встать. Я мгновенно отступаю на шаг назад.

— Ты!.. Такие слова говоришь, такой щенок?!

Старик не находит слов, чтобы выразить свое негодование.

Наконец он встает и как будто успокаивается.

— Если бы, — обращается он ко мне, — ты не был сын еврейского народа, я бы сейчас дал знать исправнику, и за эти слова тебе бы всыпали полсотни таких горячих, что ты целый месяц не мог бы сесть. Но ты все же еврейский мальчик, и я дам тебе пять рублей, но помни: ты должен дать мне сейчас же клятву, что, пока я жив — твоего духу здесь не будет...

Старик уходит и возвращается с пятирублевкой в руке.

— На и скорей исчезни!..

Я бегу, бегу без оглядки. В груди поет радость — жизнь моя спасена. Теперь я уйду и скоро увижу величайший город, а там — новые люди и новая жизнь, как хорошо!..

С момента, когда становится известно, что я покидаю Свенцяны, со стороны некоторых моих родных улучшается отношение ко мне. Тетя Рашке вздыхает и клянет судьбу, что не может меня — сироту — справиться на дорогу

как следует. Мине-Тайбе и Лее-Рохе доходят до такой нежности, что пекут мне на дорогу пирожки, и вообще я привлекаю внимание окружающих, что мне в достаточной мере льстит.

С Николаем и Ядвигой мы подробнейшим образом обсуждаем, как лучше мне ехать. Мой план — отправиться прямым путем по Варшавской железной дороге до Петербурга, а оттуда до Москвы — отвергается.

Отвергается он и моим другом Илелем, Он говорит:

— По этому пути ты погибнешь: между Петербургом и Москвой нет евреев. Лучше поезжай на Минск. Смоленск и Москву. Тут тебе будет целый ряд городов и местечек, наполненных евреями, и, что бы с тобой в пути ни случилось, ты сможешь найти помощь.

И я этот совет принимаю окончательно.

До станции Новые Свенцяны, отстоящей на двенадцать верст от города, меня бесплатно везет Элли, почтарь. Весь мой багаж состоит из небольшого холщевых мешочка, пожертвованного тетей Рашке и наполненного хлебом, пирожками и тфилн. О последних по-

заботился муж тети Рашке, очень религиозный человек. Помня наставления моих друзей, я покупаю билет до Вильны, заплатив шестьдесят копеек, а уже там дальше я буду ехать зайцем. Меня провожают солнце, голубое небо и несущийся из соснового бора веселый птичий свист.

Мчится поезд, а я сижу в вагоне — душном, накуренном, многолюдном — жду обычного появления кондуктора. А когда он входит, я уже достаточно опытный заяц, с независимым выражением лица выхожу в противоположную дверь. Должно быть, уже поздно, пассажиры наполовину спят. Я проделываю номер с поленом, хочу войти в уборную, но она заперта. Приходится ждать, когда освободится. Но вдруг преждевременно выходит кондуктор и видит меня с поленом в руке.

— Ты что здесь делаешь?

— Ничего.

— Билет?

— Простите, у меня нет билета.

— Ага, вот ты какой гусь! А зачем у тебя это полено?

— Если вы не рассердитесь, я расскажу всю

правду.

— Ну, говори.

Я честно и со всею откровенностью рассказываю о моем способе путешествовать по железной дороге.

— Откуда же ты едешь?

— Из Вильны.

— Так ты из Вильны проехал зайцем? Ну и дело!.. Вот пошли пассажиры! Ну-ка, пойдем к нам в бригадную.

Мы отправляемся по стучащим и пляшущим площадкам в последний вагон поезда. Там в служебном отделении сидит обер-кондуктор.

— Василь Дмитрич, вот я зайца поймал, так зайца! — кричит мой провожатый.

Обер-кондуктор, выслушав рассказ, приходит в неменьшее изумление, чем его помощник.

— Да, надо будет передать на ближайшей большой станции. Пусть жандармы познакомятся с ним.

Тут я начинаю просить: — Будьте добры... отпустите меня... я больше не стану... Остановится поезд, и я сойду...

Обер-кондуктор, подмигнув младшему кондуктору, говорит: — Ну, отпусти его.

Поезд замедляет ход, и я вижу сквозь окошко первые сигнальные огни. Кондуктор сопровождает меня до самой площадки и, несмотря на то, что поезд продолжает двигаться, ударом ноги сметает меня с площадки.

Лежу на песке почти без памяти. А потом, когда от поезда остается только далекий, замирающий гул, я встаю и вижу себя среди рельс и без дорожного мешочка.

Собравшись с мыслями и довольный тем, что в сущности я дешево отделался, направляюсь к полустанку, мигающему вдали желтыми язычками огней. С этого момента я твердо решаю идти пешком.

В этом году весна ранняя. Стоит середина марта, а земля уже совсем высохла от зимней влаги, и можно ходить по сухим тропинкам.

Печальнее всего то, что и мои сбережения — около двух рублей — тоже остались в мешочке, и я не знаю, как я пойду дальше и кто мне поможет. Маленький полустанок состоит всего из двух комнат.

В одной помещается телеграф, в другой —

комната для пассажиров и касса. Две лампочки бедно освещают здание. Вхожу в вокзал и натыкаюсь на сторожа.

— Тебе куда? — спрашивает он, глядя на меня подслеповатыми мигающими глазами.

Предо мною стоит небольшого роста сутулый человек с длинной узкой бородой и большими красноватыми глазами. В руке у него фонарь.

— Хочу здесь побыть до утра... Можно?

— Нет, нельзя. Никак невозможно. А ты откуда?

— Из Вильны.

— Вон оно откуда тебя принесло!.. А по какой надобности приехал?

Сторож поднимает фонарь и шарит по моему лицу.

— Я не сюда приехал, а еду в Москву, — отвечаю я.

— В Москву? А по какой — надобности?

— К сестре еду.

— Ну ладно, полежи вон там на скамейке. Скоро, чай, светать начнет, а там и поезд придет. Купишь билет и поезжай с богом.

Он уходит. Я ложусь на указанное место,

но уснуть не могу. Я не знаю, где нахожусь, и не имею понятия о том, каким путем мне надо идти, чтобы добраться до Москвы. Но все же перед рассветом сон осиливает меня.

Просыпаюсь от удара колокола, извещающего о прибытии товарного поезда.

Вскакиваю, протираю глаза, выхожу на платформу и встречаю старого еврея с седой бородой в длинном черном капоте, а рядом с ним — юношу с большими выпученными глазами и широким полногубым ртом. Я подхожу и спрашиваю — когда придет поезд на Москву.

— А тебе на что? — интересуется старик.

— Мне нужно в Москву, там живет моя сестра...

— В Москве живет твоя сестра? — перебивает старик. — А право жительства? И кто тебя туда пустит?

Я смущен я не знаю, что ему ответить. Наступает молчание. Мы продолжаем двигаться по деревянной платформе.

Только теперь, когда солнце поднялось над синим полукругом необозримого леса, я замечаю пустынные обглоданные пространства.

Тощая трава растет кустиками, и убогие маленькие жилища, раскинутые вокруг, говорят о бедности местного населения.

— Я у вас хочу спросить, — прерываю я молчание, — не знаете ли вы, где дорога на Москву? Я хочу пешком итти...

— Ну, а если я тебе скажу, так что? Ты пойдешь в Москву? Восемьсот верст хочешь пройти? Так ты ведь придешь туда седым стариком!

Мой собеседник тихо смеется. Растягивается в улыбку большой рот и у юноши, идущего с ним.

— А как же иначе? — говорю я. — У меня нет денег. Я все потерял в поезде, а без билета мне не добраться.

Еврей зорко вглядывается в меня острыми глазами, а затем подробно расспрашивает, откуда я иду, чей я сын и кто моя сестра.

Я подробно рассказываю ему все происшедшее со времени моего прибытия в Свенцяны, умалчивая о том, как меня на родину привели по этапу и что моя сестра переменила свое имя.

Старик проникается ко мне сочувствием. Я

об этом догадываюсь по выражению его лица и по участливому вздоху.

— Да, — говорит он, — трудно теперь живет еврей в России! Добраться до такого большого города тебе — мальчику — будет не легко. Есть одна возможность, но для этого ты должен будешь пройти до нашего местечка. Оно недалеко, в четырех верстах отсюда, за тем лесом...

— А как же туда дойти?

— Сейчас объясню. Когда приедешь в местечко, ты спросишь, где живет Меер Вишневич. Скажешь ему, что я, его отец, тебя к нему направил. Мы на днях будем отправлять в Москву через Минск поезд, нагруженный шпалами. Вот с этим поездом он сможет тебя устроить. Там, в трех верстах от этого местечка, будет станция, где грузят шпалы.

Я не знаю, как и благодарить старика. Я все время повторяю: «благодарю вас, благодарю вас!» — и низко кланяюсь ему.

Иду мягкой широкой тропой по указанному направлению и не отвожу глаз от синего полукольца соснового бора. Солнце поднялось до зенита, и мне становится жарко. Я

снимаю тяжелое длинное пальто, купленное отцом, и несу его на плече. Кругом безлюдно, пустынно. За все время встретились только две крестьянки с лукошками, наполненными яйцами, и больше никого. Обхожу край леса, и предо мною — очертания местечка с церковным крестом, сверкающим на солнце.

Дорога идет к низине.

Впереди виднеется маленький домишко, куда я и направляюсь.

Перед домиком старуха, загоняющая в хлев корову.

Подхожу и спрашиваю, могу ли я немного здесь отдохнуть и как мне ближе пройти к местечку, уже видимому с пригорка, где мы стоим.

Старуха обстоятельно объясняет мне, что ближе всего итти напрямик, но здесь опасно — можно попасть в болото, а лучше итти кругом, то есть сделать еще лишних две версты.

— Ты посиди, хлопчик; апосля и пойдешь.

Сажусь на завалинку и решаю вопрос, куда мне итти- кругом или напрямик.

— Видишь, — говорит крестьянка, — тут

надо прямо итти, никуда не поворачивать, а то, гляди, как бы болото не засосало... По этой тропинке ты быстренько дойдешь...

Оглядываю темно-серую полосу зеленеющего поля, усыпанного желтыми цветочками, и решаю итти напрямик. Для меня, чужака, слово «засасывает» не играет никакой роли, но зато ведь как близко...

Меня очень мучает голод. Со вчерашнего полдня я ничего не ел. Но как сказать, что я хочу есть! Стыдно быть попрошайкой.

Однако крестьянка или догадывается, или, может быть, в этой местности существует обычай, но она меня спрашивает:

— Исть хочешь?

— Да, — говорю я, — хочу.

— Ну, так взойди в хату и покушай на здоровье.

Сижу за длинным столом и с жадностью уписываю вкусный ржаной хлеб с простоквашей. Чувствую большую благодарность к этой простой женщине и думаю: почему бедные всегда узнают голодного?..

Незаметно уходит время, и когда я, поблагодарив хозяйку, направляюсь вниз по тро-

пинке, ведущей к местечку, солнце уже далеко уходит к западу.

Иду и чувствую, как мягко пружинит под моими ногами земля.

Вот начались кочки. Становлюсь на одну из них, перепрыгиваю на другую, слежу за тем, чтобы не сойти с тропинки, и осторожно продолжаю свой путь. И вдруг под моей ногой проваливается кочка. Я быстро становлюсь на следующую и та проваливается. Тогда я мгновенно оборачиваюсь назад и хочу идти обратно, но левая нога уходит почти по колено в холодную жижу.

Стараюсь выдернуть ее, и тогда уходит и вторая нога, и я чувствую, как постепенно погружаюсь в ледяное болото.

С каждой минутой глубже ухожу в этот кисель. Начинаю звать на помощь в надежде, что меня услышит старуха, оставшаяся в избе.

Сознаю, как велика опасность. Я уже увязаю выше колена; что-то крепкое и скользкое обматывает мои ноги и с силой тянет вниз.

Вот уже я по пояс в болоте. Садится солнце, справа и слева подымается зеленоватый ды-

мок влажного дыхания болотного поля, и нигде ни души. Я кричу изо всей мочи, и голос мой бесполезно катится по кочкам и замирает в клубах тяжелых испарений. Мне становится тяжело дышать, я уже ушел по грудь. Во мне стынет кровь. Холодный пот катится с лица. Я распластываю руки в надежде удержать свое тело, но я тяжелею и тону в холодной бездне. Вот уже руки мои поравнялись с ближайшей кочкой. Я судорожно схватываю ее, делаю последние усилия, чтобы подняться, но кочка вместе с моими руками уходит вниз.

И вот в этот момент, когда я теряю уже последнюю надежду, когда засасывает меня всего, когда плечи уходят в омерзительное болото, — я вижу небольшую группу людей, приближающихся ко мне.

По инструментальным ящичкам за спинами идущих я догадываюсь, что это плотники. Они останавливаются в пяти шагах от меня, а дальше итти боятся. Один из них, с красной бородой и в большой меховой шапке, снимает накрученную вокруг пояса веревку и кричит мне:

— Сейчас я брошу тебе узел, хватай ртом!

И действительно, я вижу, как извивается в воздухе веревка и узел попадает мне под подбородок. Я делаю последнее усилие, наклоняю голову, хватаю узел в рот и зажимаю зубами. Плотники, взяв конец веревки, медленно тянут меня вверх. Что есть силы сжимаю зубы и чувствую, как плечи мои уже освобождаются. Вот я уже могу свободно вздохнуть... А затем теряю сознание и прихожу в себя, лежа на земле возле избы, где меня так гостеприимно встретила хозяйка.

С трудом поднимаются веки. «Наверное, болото коснулось и глаз моих», думаю я. Подле меня суетится крестьянка, давеча накормившая меня, и все охает и вздыхает.

— Ах, боже ж мий... боже ж мий... Видный хлопче... Говорила ж я...

Плотники — мои спасители, убедившись, что я жив, уходят.

Вскоре из местечка, несмотря на вечерний час, прибегают подростки мальчишки и девчонки, смуглолицые, черноглазые, окружают избышку со всех сторон и голосят на еврейском языке:

— Что ж теперь будет?

— Как он тут будет жить?

— А он не умрет?

— Если умрет, то его похоронят на еврейском кладбище.

Прислушиваюсь к гомону ребят, и мне вправду становится страшно. Меня сильно начинает трепать лихорадка. Старуха говорит мне, что она затопила баню и что меня нужно будет хорошенько попарить.

Приходит старик-еврей из местечка, откуда я должен через несколько дней отправиться с лесом в Москву. У него озабоченное лицо, и меня он, видимо, очень жалеет.

Из рассказа крестьянки я узнаю, что на мне было так много грязи, что четверо плотников с трудом принесли меня к избе.

— Треба буде почистить да постирать, а то в такой грязи хлопчику нельзя буде ихать, — говорит крестьянка.

Старик-еврей соглашается с ней, но вместе с тем, наклонившись ко мне, шепчет:

— Завтра пятница, тебе же нужно будет где-нибудь «держаться» субботу...

Молчу, не знаю, что ему сказать.

С каждой минутой усиливается лихорадка.

Становится больно глазам, я их закрываю. Проходит время. Уже совсем темнеет.

Посторонние уходят, и со мною остается только хозяйка избы.

Поздно вечером она ведет меня в баню, раздевает догола и, поддав пару, в сильной жаре принимается мыть мое трясущееся от озноба тело. Не знаю сколько времени продолжается эта операция, но, когда прихожу в себя, вижу комнату, широкую скамью, стол и в красном углу иконы, с закопченными разбитыми стеклами киот.

Мне хорошо, перестало лихорадить, лежу, укрытый тулупом. Старуха подает мне стакан, наполненный зеленой жидкостью, и говорит:

— На, выпей, хлопче, и николи хворобы не будешь знаты.

Не могу отказать доброй женщине и пью неведомую мне настойку с большим омерзением. Такой горечи, такой гадости мне никогда не приходилось пить. Зато на другой день я просыпаюсь совершенно здоровым, бодрым, с твердым намерением снова пуститься в дорогу, но уже иным путем.

## 6. Сестра

Длинный поезд, нагруженный лесом, прибывает на товарную станцию Москва. Спрыгиваю с платформы.

Долго блуждаю по рельсам, путаюсь между стрелками, семафорами, сторожевыми будками и, наконец, замечаю вдали пассажирский вокзал. Еще немного — и я в Москве. Большая площадь, мост, высокие дома, многолюдная Садовая улица, но никакой поражающей красоты. Мне кажется, что Одесса выглядит наряднее и богаче. Но что меня удивляет и отчасти тревожит — это полное отсутствие евреев: ни одного типичного лица!

Иду и расспрашиваю, как мне добраться до Ново-Пименовской улицы. Мне охотно указывают и подробно объяснит, как пройти, вообще в Москве, как я вижу, люди вежливы и хорошо понимают по-русски. Нахожу Пименовскую улицу. Вот и двухэтажный домик за номером тридцать один. Сильно бьется сердце в груди. Непонятная робость овладевает мною. У меня даже слегка кружится голова.

— А вдруг... А если не примет?.. А может быть ее совсем и нет...

Каменная лестница. Второй этаж. Я робко дергаю звонок.

Открывается дверь, и передо мною маленькая красивая женщина с крохотной черной точечкой на верхней губе. Узнаю Басю.

— Сеня! — вырывается у нее возглас, и мы крепко обнимаемся.

Бася плачет, вытирает глаза и ведет меня в комнату.

Она сейчас одна во всей квартире: кухарка ушла на базар, и мы можем поговорить, не стесняясь. Переступив порог комнаты, я снимаю круглую свенцянскую шапочку из поддельного барашка и устремляю взгляд на большие разнообразные иконы в углу, освещенные лампадой.

— Садись, Сеня. Как ты плохо одет! — Неужели отец не мог тебя справиться как следует? Ведь я послала двадцать пять рублей...

Я вкратце рассказываю Басе о скверных обстоятельствах отца, о бедной тете Рашке и о жадном и жестоком дяде Мойше-Бере.

Она перебивает меня:

— Сеня, ты, пожалуйста, не называй меня Басей. Я теперь уже не еврейка, и меня зовут

Саша.

Молчу, низко опустив голову. Безотчетный страх заполняет мое сознание, и мне хочется уйти. Чего боюсь, я сам не знаю, но мне кажется, что моя сестра уже не сестра мне.

— Слушай, Сеня, ты знаешь, зачем я тебя вызвала сюда? Я хочу, чтобы ты стал человеком. Ведь так ты пропадешь. Кому ты нужен? Мы ведь с тобой одни на белом свете. Но жить евреям в Москве нельзя. Тебе придется принять православие, и я скажу тебе по чистой совести, что православная вера лучшая вера. Вот уже пять лет, как я приняла святое крещение, и я счастлива. У меня хороший муж, он меня любит. Я не испытываю нужды, и видишь — здесь не то, что у тети Сары.

Молчу и еще ниже опускаю голову. Вдруг звонок.

Саша спешит открыть дверь. Входит молодой человек хорошего роста с влажными голубыми глазами и белым лицом без всякой растительности, с небольшими рябинками вокруг носа.

— Вот мой брат. Видишь, Коля, какой он... Черный, как цыган.

Муж Саши — я сразу догадываюсь, что это так — дружески протягивает мне руку и говорит:

— Вот и хорошо, что приехал. Будешь жить с нами. Получишь образование, и хорошо нам всем будет.

Голос у Николая густой и в то же время мягкий, ласкающий. Мне он кажется симпатичным, а главное — его простое, милое отношение, голубые глаза и удивительно приятный голос развязывают меня, и я чувствую, как путы стыда и неловкости сползают с меня.

— Ну, так что ж, Сашенька, нужно накормить твоего брата... Кажется, Сеней зовут?

— Да, — отвечаю я охотно.

— Ну вот, пробуем, а потом побеседуем. Мне о тебе Саша много говорила. Хвастала, что ты очень способный мальчик. Вот мы эти способности и проверим. Водку пьешь? — неожиданно обращается он ко мне с вопросом.

— Нет, — отвечаю я, смеясь.

— Ну и отлично. обойдемся без водки. Что у тебя там есть? — обращается он к сестре. —

Сеня с пути, небось, голоден.

— Найдется, найдется, что покушать. Сейчас Катя придет и принесет что надо, а я накрою на стол.

Я всматриваюсь в движения бывшей моей Баси и не могу понять: как могла она так переделать себя. Ведь если бы не эта черная точечка на верхней губе и не густые вьющиеся локоны и эти маленькие ручки и ножки, — я бы ее не узнал. Совсем другая стала.

За обедом я рассказываю о моих приключениях, одесских и свенцянских. Меня слушают с большим вниманием. Саша несколько раз принимается плакать. Беляев нежно гладит ее по локонам и утешает:

— Не горюй, Сашенька, все будет к лучшему. Но только ему надо скорее принять правослаvie, иначе завтра же придет дворнику нам придется расстаться. А чтобы этого не было, — поворачивает он голову в мою сторону, ты должен хорошенько обдумать вопрос, и если у тебя явится чистосердечное желание, то все остальное уже дастся.

Весь день живу, нагруженный тяжелыми вопросами, касающимися моей дальнейшей

жизни, а главное — предстоящего крещения.

Никогда я не думал, что вопрос о перемене религии меня так устроит и взволнует. Ведь я же почти совсем не еврей. В бога хотя и верю, но не очень, и вообще наш еврейский бог мне представляется стариком с большой седой бородой, оглохшим от старости...

Несколько раз, в особенности ночью, предо мною встает образ Илея. Ведь даже его, такого замечательного талмудиста, знающего все законы нашей религии, и то одолевают сомнения. И все же мысль о предстоящем принятии православия меня сильно пугает.

Вечером того же дня, когда муж Саши, Николай Иванович Беляев — певчий синодального хора — отправляется ко всенощной, а мы с сестрой остаемся вдвоем, у нас завязывается беседа.

— Ну, чего ты, Сеня, боишься? В этом нет ничего страшного. Окунешься в теплой воде, куплю я тебе маленький крестик, и будешь жить человеком.

— Нет, Саша, я не могу на это решиться, пока я в точности не узнаю, что собою представляет русская вера...

— А что собою представляет еврейская вера? — живо перебивает меня сестра. — Много она хорошего нам дала, эта вера? Хоть раз заступился за нас, сирот, еврейский бог?.. Нет? Ну, так нечего и жалеть об этом. Вот я живу ты видишь, — и со мной ничего не делается, здорова, весела, и еврейский бог меня за это не наказывает. То же самое будет и с тобой.

— Как же все это случится? — спрашиваю я.

— Ах, вот это я тебе могу объяснить. Мы уже тут задолго до твоего приезда все обсудили и обдумали. У моего мужа имеется здесь родная сестра Елена Ивановна, она замужем за Протопоповым — протодьяконом о. Иваном, он служит в церкви при Межевом институте. Люди они замечательные, доброты необычайной. И вот этот самый Протопопов берет на себя весь труд по подготовке тебя к крещению.

— А какие это приготовления? — спрашиваю я.

— А как же? Он тебе даст евангелие, ты познакомишься с содержанием его, он будет разъяснять тебе все то, что тебе покажется

непонятным, укажет, какие молитвы тебе нужно выучить наизусть, а затем наступит день крещения...

— Когда? — перебиваю я.

— Наверное до пасхи — через неделю, может быть, через две. Назовут тебя другим именем, выдадут тебе новый паспорт, и будешь жить, как все христиане живут. Ну, что тут плохого.

— Так скоро... Почему так скоро?

— А ты думаешь как? Ведь откладывать нельзя: тебя вышлют из Москвы. А если Коля заявит в наш участок, что мы подготовляем тебя к принятию православия, то несколько дней тебе разрешат здесь жить...

— Расскажи мне, как это с тобой произошло и что ты испытывала? Какая причина заставила тебя креститься?

— Хорошо, я тебе все расскажу, и тогда ты убедишься, что другого пути у меня не было, как у тебя сейчас нет иной возможности, кроме принятия православия.

Мы садимся на диван, и сестра приступает к рассказу.

— Ты помнишь, когда и как умерла наша

мама?.. За два дня до ее смерти меня вызвали из Бердичева, где я Жила у Вейсов. Ну, а затем поплакали, погоревали, и я вернулась обратно к своим господам.

— А кто такие Вейсы? — перебиваю я.

— Вот погоди, сейчас расскажу. Сначала мне было очень хорошо там. Сам Вейс часто разъезжал по разным городам, жена его хозяйничала, а я няньчила трехлетнюю девочку. К нам часто приезжали гостить родственницы — молоденькие красивые девушки. Хозяйка говорила, что это ее двоюродные сестры, племянницы мужа... Долго они у нас не засиживались, а когда им надо было уезжать, сам Вейс их провожал до места жительства. Мне тогда шел тринадцатый год. Я была девочка развитая, кое-что понимала в жизни и очень страдала от того, что не знала грамоты: а Вейс, в утешение мне, говорил: — Вот погоди, исполнится тебе тринадцать лет, и я отдам в учение. И я ему верила. Однажды мне хозяин заявляет: — Если хочешь быть грамотной, я могу тебя устроить в школу, но не здесь, — таких школ в Бердичеве нет, — а мы поедем в Харьков. Там тебя научат и писать и

читать, и вообще будешь настоящей девицей. Я верила каждому слову и охотно поехала с хозяином в Харьков. Там он познакомил меня с Родзянко — содержателем большого русского хора. Никакой школы там не было, и я только впоследствии узнала, что Вейс занимается тем, что продает девушек Родзянко, а последний, научив нас петь, отправляет в Москву, Петербург, Варшаву... Ты знаешь, что такое кафешантан? Нет? Ну, так потом узнаешь... И вот я попадаю в Москву. Снимаю номер в гостинице, и я там живу втроем — еще с двумя такими же хористками, как я... Нас кормят, одевают, и мы ничего не делаем.

Однажды нас вызывают в какой-то большой дом, где мы находим весь русский хор Родзянко и его жены — Анны Захаровны. Вот эта женщина и сыграла самую важную роль в моей несчастной юности. Мы пели в Сокольниках, в ресторане «Золотой якорь», куда приезжали кутить самые богатые московские купцы. Я все поняла.

Мне уже шел четырнадцатый год, и я отлично видела, какой путь для меня подготовляет Анна Захаровна. Но протестовать я не

могла, некуда было девать себя, — а пойти на улицу-еще страшнее. Короче говоря, я сделалась хористкой кафешантана. Бессонные ночи., песни, пляски, нахальные мужчины, приставания, вино — все взятое вместе огромным дурманом окутало меня, и я завертелась в этом многоликом я страшном хороводе... У меня оказался очень хороший голос, меня выдвинули солисткой. Для меня специально молодые музыканты сочиняли романсы, марши, шансонетки, и я все это исполняла с большим успехом. Меня засыпали цветами, мне аплодировали, меня отвозили домой на рысаках, мне дарили бриллианты...

Тут Саша умолкает, подносит платок к глазам, и по ее вздрагивающим плечам я догадываюсь, что она плачет.

Горький ком катится вверх к моему горлу, и я употребляю усилия, чтобы самому не зареветь.

— Ты ничего еще не понимаешь в этой жизни, ты слишком молод и ничего не знаешь. Ах, Сеня, если бы ты знал, какие страдания, какие унижения, какой позор я вынесла за эти годы! Но зато стала знаменитостью. У

меня имеются и сейчас еще афиши, где я значусь знаменитой каскадной певицей Флеровой. Хочешь, я тебе покажу?..

И, не дожидаясь ответа, Саша быстренько идет в следующую комнату и приносит пачку афиш. Я читаю. Громадными буквами написано слово «Флерова».

— Почему Флерова? — спрашиваю я.

— А это псевдоним, у нас — у артистов — принято называть себя не своими именами, а выдуманскими.

— Ты, значит, артистка?

— Да, — не без гордости отвечает Саша. — Теперь у нас великий пост, и нам петь нельзя, а пройдет праздник, и тогда я снова начну играть. Уже договор у меня заключен с хозяином «Золотого якоря», и еще меня приглашают на лето в Эрмитаж. Каждый год езжу в Нижний на ярмарку... Вот из Нижнего я и написала первое письмо в Свенцяны... Ну, а теперь слушай дальше. В нашем хору пел один молодой человек, обладатель большого красивого голоса. Он в меня влюбился и стал предлагать, чтобы я вышла за него замуж. Я долго не хотела, отказывалась, но он не отсту-

пал, и в конце концов я дала согласие и стала женой Николая Беляева — теперешнего моего мужа. Я нарочно очень мало тебе рассказываю о моей жизни. Мне трудно перетряхивать всю нечисть и весь мой тяжелый путь... Пройдет время, и ты сам все увидишь, поймешь и узнаешь о том, о чем я сейчас промолчала... Ну, вот и все! — заканчивает сестра, обнимает мою голову и целует меня в глаза...

Квартира Саши состоит из двух комнат, передней и кухни.

Первая — самая большая комната — служит столовой и гостиной. Здесь помимо обеденного стола и буфета имеется еще диван.

— Вот здесь ты будешь спать, — говорит мне Саша.

Вторая комната — поменьше размером — является спальней. Тут икон еще больше, чем в столовой, и тоже горит розовая лампадка с золотым ободком.

Мне уже знаком обиход домашней жизни сестры. Курносая полнощекая Катя убирает комнаты, производит всю черную работу, а Саша стряпает. Делает она это с большим старанием и любовью.

Вообще Саша меня очень удивляет: как может она совмещать и хозяйку, и религиозную женщину, и артистку. Особенно меня поражает религиозность. Сколько раз я замечаю ее стоящей на коленях перед иконами. Стоит с устремленными на образа большими темно-серыми глазами в немой молитвенной позе, а потом — поклоны, поклоны без конца. Неужели она искренне так привязалась к чужой вере? Какая же она христианка, если и отец и бабушка евреи!

Однажды я не выдерживаю и завожу с ней разговор напрямик.

— Я сначала тоже очень смущалась, — говорит Саша в ответ на мои вопросы. — Но постепенно привыкла и нашла в этом утешение. Ах, Сеня, ты не знаешь, как бывает легко одинокой душе, всеми оставленной, никому не интересной, припасть с надеждой к тому, кто любит и оберегает всех обездоленных...

— Я тоже видел жизнь, — перебиваю я, — но не замечал, чтобы какой-либо бог — наш или русский — очень уж заботился об обездоленных.

— Ты так говоришь потому, что не веришь,

но когда прильнешь всей душой к религии, тогда почувствуешь совсем другое...

В таких разговорах с Сашей мы часто проводим время. С ней мне не стыдно говорить все то, что волнует мое сознание.

К предстоящему крещению идут большие приготовления и хлопоты. На третий день после моего приезда приходит сам Протопопов — будущий мой крестный отец.

Еще до его прихода, накануне. Саша особенно готовится, ставит тесто, готовит фарш — конечно, постный — для пирожков.

Николай старательно крошит шкурки апельсинов для водки, готовятся рыбные закуски. Вообще чувствуется, что ждут большого, солидного гостя. А у меня сердце не на месте. Наступают последние решительные дни, и от этого становится особенно тоскливо.

## **7. Алексей иванович**

Один вид дьякона Протопопова меня приводит в трепет. В комнату входит большой, дородный густобородый и длинноволосый человек с низким, немного надтреснутым голосом. Произносит: «Здравствуйте!» после того, как молча и длинно осеняет себя крестом,

поднявши глаза к иконам.

Садятся за стол, выпивают, закусывают. Замечаю, что Николай, выпив, хватает кусочек хлеба с солью и подносит не ко рту, а к носу. То же самое вспоминаю — делают и князь Николай и все пьяницы.

Беседа, посвященная мне, начинается сейчас же после первой рюмки.

— Ты грамотный? — обращается ко мне дьякон.

— Читать умею, — отвечаю я.

— А писать?

— Нет.

— Почему?

Я молчу.

— А кто его учил? — вмешивается сестра. — Ведь он круглый сирота. Кому он вообще был нужен! Вот почему я его и выписала, зная, что без нас он погибнет.

— Да, да. Это верно. — гудит дьякоу. — Но ты все-таки не очень-то горюй. Грамота — не звезда небесная, ее достать можно. А вот насчет того, чтобы ознакомиться тебе с Новым заветом, с нашей великий христианской верой, это уже моя будет забота... Прежде всего

надо тебе прочитать святое наше евангелие. Прочтешь от Матфея, а потом и евангелистов, а затем я с тобой поведу беседу. Ты, Саша, — обращается он к сестре, — заставь его выучить «Отче наш», «Богородицу», а самое главное — «Верую»... Ну вот, поворачивает он голову ко мне., - потрудись маленько, напряги свой разум и поверни сердце твое к нашему спасителю.

С этими словами, поддерживая одной рукой широкий рукав рясы, он берет рюмку, чокается и выпивает.

Пьет он чисто, аккуратно, ни одной капли не прольет, а выпив, крякает и берется за закуску. Вообще человек он очень сильный, с могучей широкой грудью и большим голосом.

Читаю евангелие, стараюсь быть внимательным и всячески сосредоточиваюсь. Мне нравится. Чудес очень много. Правда, и в библии их тоже не мало напихано, но здесь как будто их побольше, а главное — нет ни одного чуда без свидетелей — стало быть, можно считать, что и взаправду все это происходило. Запоминаю, как Христос шел по воде, и

мне самому хочется это проделать. Плавать, придет лето — попробую. Потом запоминаю воскрешение Лазаря, а больше всего мне нравится, как Христос накормил пятью хлебами пять тысяч человек, да еще в корзине осталось. Вот бы теперь так сделать веселее бы жилось!.. Но что производит на меня странное впечатление — это нагорная проповедь. Тут я уже не со всем согласен, и по этому поводу у меня происходит разговор с моим будущим крестным отцом — дьяконом Протопоповым, к кому я впервые прихожу в сопровождении сестры.

— Какие же у тебя сомнения? — спрашивает меня о. Иван.

— Да у меня, собственно, нет сомнений, а я как будто не совсем понимаю, — говорю я и продолжаю. — Вот, например, Христос говорит: люби ближнего, как самого себя. Ну, конечно, это очень хорошо, почему не любить, а вот зачем другую щеку подставлять, ежели тебе кто по морде дал? Тут я не совсем понимаю...

— А ты как хотел? — спрашивает меня мой первый христианский воспитатель.

— А у нас так говорится: ударил тебя кто в зубы — ты ему обратно, — вот и квиты...

Наступает маленькое молчание. Иван руками разглаживает бороду и, видимо, готовится возразить.

— Н-да... Сразу видно, что ты из иудеев. Сообразика хорошенько. Ежели мы пойдем по стопам Старого завета и будем выполнять — око за око, зуб за зуб, то ведь побоище будет всеобщее, на улицах и всюду драться будут, городских не хватит в участок тащить... Какая же это будет жизнь?

— А может быть, и не будут, — тихо возражаю я.

— Почему не будут?

— А потому, что ежели я знаю, что мне сдачи дадут, то я в драку не полезу, а раз я знаю, что я дам в морду, а мне другую щеку подставят, так и буду бить... Вот тут мне, извините, кажется, что очень большая жестокость выходит со стороны Иисуса Христа.

— Жестокость? Какая жестокость?

Дьякон очень взволновался, даже в глазах его, всегда безогненных, вдруг вспыхивает искра.

— Ну, ну, докажи, где тут жестокость, очень интересно...

Мне хоть и страшно, но уж раз я начал излагать свою мысль, то помимо воли качусь дальше.

— Жестокость, — говорю я, — в том, что если человек назовет меня безумным, а я ему в ответ — ничего, то получается такая картина: мой оскорбитель попадает в геенну огненную на веки вечные, а я за то, что промолчал, попадаю в рай, где радость и счастье, тоже на веки вечные. Вот я и думаю, что здесь большая жестокость. Нельзя же человека бросать в геенну огненную за одно только слово, а меня за то, что схитрил и промолчал, — в царство небесное...

Опять наступает молчание. Слышу, как тяжело дышит о. Иван и при этом отдувается, как будто глотнул горячего. Он бросает на меня косой взгляд и сейчас же отводит глаза.

— Прости ты, господи, — шепчет Протопопов, — впервые слышу такую ересь! Видишь ли, — возвышает он голос, обращаясь уже непосредственно ко мне, — ты еще не христианин и не проникся духом священного писа-

ния, и потому у тебя в голове зарождаются такие мысли. Ежели читать евангелие вот так, как ты читаешь, то, конечно, можно и бог весть что подумать. Но здесь следует понимать, что Христос говорит не простыми словами, а притчами. Нельзя каждое слово понимать так, как оно звучит. Ежели сказано — подставь другую щеку, то это не значит, что когда тебя бьют, ты должен щеку подставлять, а это значит, что ты должен призвать на помощь всю кротость твоей души и всю премудрость любви к ближнему...

Протопопов говорит много, долго, горячо, складно, но не совсем для меня понятно, и волей-неволей, подчиняясь обстоятельствам, а в особенности немым знакам сестры, я делаю вид, что соглашаюсь и что все для меня ясно.

Бесконечные беседы, уговоры сестры, мягкие и нежные речи Елены Ивановны — жены Протопопова, красивой полнотелой женщины, меня не убеждают, а только усыпляют. Мысль моя перестает жить, перестает работать так, как она всегда работала. Перед моими глазами и воображением встают иконы, горящие свечи и кресты, кресты без конца.

Иногда вижу Иисуса Христа с небольшой русой бородкой; красивый мужчина с длинными волнистыми волосами лежит на древнем мягком ложе, а у его ног прекрасная Магдалина вытирает его пятки чудесными своими волосами. Мне нравится такая картина, но особенной веры, христианской веры она в мое сознание не вливает.

Мне нравится внешность христианской религии. Уж очень все красиво и богато. Сколько в Москве одних только церквей и какое в них собрано богатство! Как чудесно там поют! Но все же мне боязно подойти и прикоснуться моим внутренним «я» к этим золотым и серебряным ризам, к этим трепетным огням.

Близится мой страшный день. Саша приносит мне черный пиджак, брюки с жилеткой, ботинки и мягкую серую шляпу. Мне даже не верится: неужели я все это буду носить?

— Ну, Сеня, — говорит сестра, — последний раз я тебя называю этим именем.

Сестра взбудоражена, взволнована. Ее большие с удлинненным разрезом глаза полны горячей веры. Она радостно возбуждена.

— Я так рада, так рада! — повторяет она беспрерывно. — Елена Ивановна собственно-ручно сшила тебе крестильную рубашку, а для торжественного случая даже заказала себе новое платье. Мы с нею сговорились быть твоими восприемницами. Ах, как хорошо, Сеня! Ты еще не все понял. Погоди, пройдет время, и ты поймешь — какая могучая сила живет в христианской религии.

Молчу. Да и что сказать? Не могу же я огорчить Сашу, горящую таким экстазом, и сказать ей, что, отправляясь в храм, я испытываю то самое, что, должно быть, испытывает человек, когда его ведут на эшафот.

Да, мне очень тяжело, но у меня нет никого, кому я мог бы отдать хоть небольшую долю мучительно терзающих меня сомнений.

Ночью я не сплю и много плачу, призывая на помощь покойную маму...

Приезжает Елена Ивановна, а с нею еще две старшие сестры с мужьями и детьми. Маленькая квартирка Саши наполняется народом, и мне моментами кажется, что в доме покойник. Говорят тихо, в спальне шепчутся. Девочки с розовыми и красными бантиками

на волосах сидят смиреннько на стульях, в белых чулочках и новеньких башмачках. Я, забившись в угол, сижу и зверски догрызаю последние остатки ногтей.

Дальше я уже плохо начинаю соображать. Саша уводит меня в спальню и велит мне переодеться. Я слышу звонки. Приходят люди, спрашивают — когда начнется, где Николай Иванович, будут ли певчие, и каждое слово, доходящее до моего слуха, бьет меня по сознанию, а сердце трепещет и мечется в груди, причиняя мне физическую боль.

Мне все это, должно быть, снится...

Меня вводят в храм. На моих ресницах горят золотые блики иконостаса, и всюду трепетно плещутся в воздухе огоньки свечей и лампад. С каждой секундой слабеет мое сознание, и я очень плохо соображаю. Какие-то ширмы, какой-то чан, наполненный водой. Дьякон в серебряной ризе кадит, широко размахивая кадилом. Все это происходит в страстную неделю, за три дня до пасхи.

Недавно закончилась обедня, и я надолго запоминаю странные, малопонятные слова: «Господи, владыко живота моего, дух празд-

ности, уныния, любоначалия...» К кому это относится, и при чем праздность и живот? спрашиваю я сам себя, но в затуманенной голове нет ответа.

Медленно снимаю с себя одежду. Дрожу всем телом и сгораю от стыда, когда встречаюсь с голубыми глазами Елены Ивановны. Какое радостное выражение ее пухлого лица, какая умиленная улыбка играет на ее губах. А я... Ах, если бы я мог упасть в бездну, не стать, не быть больше, уничтожиться, совсем уничтожиться!.. Но что-то произносит в нос тоненьким голоском священник — старенький о. Александр с седой длинненькой бородкой, напоминающей метелочку. Мне велят прочесть «Символ веры». Дрожащим голосом произношу: «Верую во единого бога отца, вседержителя...» и больше не могу. Слова застревают в горле, и чувствую, что вот сейчас неудержимые рыдания вырвутся из груди моей.

Меня выводит из тяжкого положения Саша. Она крепко сжимает мне руку и помогает одеться. Меня поздравляют солидные люди, седобородые священнослужители, старшие

певчие синодального хора пожимают мне руки и поздравляют с принятием святых тайн, а Саша падает мне на грудь и, крепко прижавшись ко мне, шепчет:

— Ты теперь мой дорогой и единственный Алеша...

Ко всякой мерзости может привыкнуть человек. Проходит всего два дня, а я уже привыкаю к новому имени.

Саша зовет меня «Алеша», а Протопопов, называет меня «Алексей Иванович». Елена Ивановна, принимавшая очень близкое участие в моем крещении, упорно называет меня «Леней».

Меня уже не смущает церковная служба, долгое стояние за обедней и вечерней, и я даже становлюсь на колени, когда все молящиеся падают ниц. Единственное, что меня тревожит, это мое смуглое лицо, черные глаза и кудри, делающие меня похожим на еврея. Когда вхожу в церковь — чувствую множество глаз, с удивлением и любопытством устремленных на меня. Но это так, только минутное замешательство, а потом все сглаживается.

Возвращаюсь домой с булочкой, похожей

на кукольную шляпку, и передаю ее сестре.

— Вот просвирка, — говорю я ей.

— Ну, вот видишь, Алеша, говорила я тебе, а ты боялся! Ничего в этом нет ужасного.

Я молчу, не желая возражениями огорчать сестру. Да если по правде сказать, то и возражений никаких у меня уж нет. Плыву по течению и стараюсь не думать о предстоящем.

Сегодня впервые по настоянию сестры я наношу визит моему крестному отцу, хотя время совсем не для визитов: сегодня страстная суббота. Везде и всюду готовятся к светлому празднику — так христиане называют пасху. Перед уходом Саша внимательно оглядывает меня, поправляет у воротничка галстук первый галстук в моей жизни, целует меня и говорит:

— Ведь я теперь не только твоя сестра, но и мать...

Я не возражаю и ухожу.

Квартира Протопопова во много раз обширнее и богаче нашей.

Комнат много, потолки высокие, окна широкие, обстановка богатая ковры, бронза, картины духовного содержания, портреты архи-

ереев и митрополитов, а уж икон — так и не счесть. Отца не застаю дома, зато Елена Ивановна принимает меня с такой сердечной теплотой, что меня сразу же оставляет смущение бедняка, попавшего в богатый дом.

Я даже чувствую, как Елена Ивановна, приветствуя меня родственным поцелуем, задерживает свои пухлые губы на моих губах. Меня угощают вкусными оладушками на постном масле с изюмом и великолепным компотом из всевозможных фруктов.

Возвращаюсь домой уже к вечеру и отвечаю на подробные расспросы Саши, как я провел время у Протопоповых. Застаю дома Николая. Этот человек мне все больше и больше начинает нравиться.

Удивительно добрый и нежный в своем обращении с Сашей и со мною. Я не замечаю с его стороны никаких резких жестов, никаких злых выражений, и о каждом знакомом или родственнике он всегда отзывается с большим доброжелательством.

Меня он называет «братишка» и, мне кажется, искренне ко мне привязывается. Особенно много внимания уделяет он моей

неграмотности.

— Скажи на милость, — говорит он мне, — как могло случиться, чтобы ты, такой начитанный малый, не мог заставить себя писать? Неужели это так трудно?

— Да я, Николай Иванович, левша...

— Брось, пожалуйста. Подумаешь, какое несчастье быть левшой! Можешь и левой рукой писать, а не хочешь — можно заставить себя и правой рукой работать. Все зависит от желания.

Когда наступает вечер, Николай приглашает меня в Кремль.

— Вот увидишь, как Москва встречает светлый праздник, и тогда ты полюбишь христианство.

— Знаешь, Коля, — вмешивается в разговор Саша, устрой его так, чтобы он видел крестный ход с Ивана Великого. Попроси Володю, и он это сделает.

Впоследствии я узнаю, что Володя — двоюродный брат Беляева и старший звонарь Успенского собора.

Приготовляемся к празднику. Саша одевается во все новое и выглядит красавицей. Все

на ней так складно, сама она так грациозна, и так чудесно блестят ее глаза, что Беляев по-минутно целует ее, каждый раз повторяя: «Прости, господи, мои прегрешения» — и при этом смеется мягким бархатным голосом.

## 8. Великая феерия

**В**ысокий тощий человек с козлиной желтой бородкой и непрерывно мигающими глазами встречает нас перед каменной лестницей, ведущей на высочайшую колокольню Кремля. Этот человек и есть Владимир Степанович Добровольский — двоюродный брат Беляева. Его-то Саша и называет Володей. Время — около десяти часов. В Москве тишина, жизнь на улицах затихает, чувствуется приближение торжественного часа.

Мы с звонарем медленно поднимаемся по крутой винтообразной лестнице и, наконец, попадаем в раздел, называемый «Двенадцать». Здесь имеется двенадцать колоколов такой величины, что мне кажется невероятным поднятие необычайной тяжести на такую огромную, высоту. Но Володя ведет меня еще дальше и говорит не без хвастливости в тоне:

— Это что — апостолы! Вот увидишь «Ивана Великого», тогда поймешь какой колокольчик висит над Москвой.

И действительно, когда, поднявшись на самую вершину колокольни, попадаем на гранитную площадку, где висит на толстых стальных балках колокол, объемом своим не меньше нашей комнаты, — я искренне прихожу в изумление.

— А как же можно было поднять это? — спрашиваю я.

— С помощью господней все возможно, — отвечает звонарь.

Я стою перед узким полукругом каменного просвета и вижу всю Москву. Колоссальный город, широко разметавшись, поблескивает множеством огней и чарует глаз.

Долго сидим мы с Владимиром Степановичем на низенькой каменной скамеечке и ждем момента, когда нужна будет ударить в большой колокол. Толстый канат, привязанный к огромному многопудовому языку колокола, лежит тут же, на скамье. Большие серебряные часы лежат на ладони звонаря, он, ежесекундно поглядывая на них, шепчет:

— Еще две минуты...

К нам приходят два помощника звонаря и берут канат в руки.

Владимир Степанович идет к просвету и впивается глазами в темноту теплой весенней ночи. Он оборачивается и делает знак рукой.

Звонари раскачивают язык колокола, и после третьего движения раздается невыразимый, непередаваемый медный густой гул. Я мгновенно глохну, все мое существо заполняется этим гулом.

Проходят два-три мгновенья, и нашему колоколу начинают отвечать сотни колоколов московских церквей.

Медные крики шумными волнами несутся в темноте тихой ночи и так кричат, так вопят, что я всерьез начинаю верить, что в небесах не могут не услышать этих призывных металлических криков.

Я стою у просвета и хорошо вижу широко раскрытые ворота Успенского собора. Оттуда вытекают густые волны людей. Это человеческое море ширится, растягивается и волнуется. В него со всех сторон Кремля вливаются

новые человеческие громады, и образуется один сплошной черный океан, осыпанный множеством золотых звезд — горящих свечей.

Быстро спускаюсь, с колокольни, чтобы влиться в крестный ход.

Я — наивный мальчик — убежден, что в этот день в Москве не найти ни одного голодного. У самых бедных людей на столах красуются творожные пасхи и пышные высокие куличи, украшенные искусственными цветами и сахарными барашками. Перед моими глазами проходят бесконечные ряды женщин и мужчин с белыми узелками, наполненными куличами, пасхами и крашеными яйцами.

Между рядами медленно плывут священники и дьяконы, окропляют эти праздничные яства «святой» водой, и обыватели — радостные и счастливые торопливо расходятся по домам, где их ждут малые дети и дряхлые старики.

И так всюду — от самых низких, сырых подвалов до господских бельэтажей в холодных чердаках столичной бедноты. Разговляются все. Сегодня тот праздник, когда люди

близко подходят друг к другу и считают себя братьями одной великой человеческой семьи.

Мы — я и Саша — разговляемся у Протопоповых.

Нежная розовая заря играет на высоких золотых куполах церквей, когда мы с Сашей приближаемся к дому моего крестного отца.

Входим, попадаем в столовую, ярко освещенную, с длинным развернутым столом на тридцать шесть персон.

И чего только нет на этом столе! Всевозможные водки, вина, ликеры, разные закуски, колбасы, рыбы, телятина, окорока — всего не перечесать. За столом уже сидит вся родня Протопоповых, но самого хозяина нет, как нет и Николая Беяева. Они где-то разъезжают по богатым домам и славят Христа. Елена Ивановна крепко обнимает меня, христосуеться по всем правилам: трижды, а в последний раз, должно быть, нечаянно, слегка кусает мою нижнюю губу. Замечаю в ее голубых глазах теплые сверкающие точки.

Солнце уже высоко, когда мы с Сашей возвращаемся домой, чувствую себя усталым и,

сказать откровенно, объевшимся. Я перегружен небывалыми в моей жизни впечатлениями, и мне хочется остаться одному и хорошенько во всем разобраться.

Николай приходит домой сейчас же после нас. Он слегка покачивается и без всякой причины тихо смеется.

Уже утро. Саша уводит его в спальню, и я слышу, как она уговаривает его лечь спать. Он что-то возражает, в чем-то упрекает Сашу. Саша всячески его успокаивает, и я слышу:

— Ну, с чего ты это взял? Ведь я же все время была с Алешей.

— Я все знаю, все!.. Меня не обманешь...

Что-то падает тяжелое, слышен легкий вскрик сестры.

Я настораживаюсь. Затем раздаются какие-то глухие мягкие удары и мелкий, совершенно неестественный смешок Саши.

— Ну, будет, не сумасшествуй... Ну, перестань...

И вслед за этим она сама выбегает в столовую, стараясь изобразить человека, готового сейчас расхохотаться после чрезвычайно смешного происшествия. Но странное выра-

жение ее глаз я тяжелое порывистое дыхание совершенно не гармонируют с ее как будто веселым настроением.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Да ничего. Ну, знаешь, человек выпил — день такой, вся Москва пьет, большой праздник, радостное настроение... Ну, он зацепил столик, там стояла лампа... Вот и все...

Минутное молчание, а затем Саша спрашивает меня, не хочу ли я спать.

— Нет, мне все равно не заснуть.

— Ну, тогда знаешь что, — живо подхватывает Саша, — пойди погулять... Сегодня ты увидишь Москву в самом прекрасном весеннем наряде... Пойди, голубчик, а потом, когда вернешься, мы поедем и тогда уже ляжем спать...

Очевидно, сестра старается убрать меня. Я это хорошо сознаю и, надев мое новое черное платье, купленное сестрой на рост, ухожу. Я крайне недоволен моим длинным пальто: оно всем бросается в глаза и портит всю мою фигуру.

Иду по Каретно-Садовой. Всюду флаги, и мелкие, торопливые, веселые, хохочущие зву-

ки маленьких колоколов наполняют Москву таким звоном, таким серебряным смехом, что невольно становится весело самому и особенно ярким кажутся блики весеннего солнца.

Хорошо!.. Да, в Москве сейчас очень хорошо... Вхожу на Тверскую улицу. Здесь еще краше — и дома, и чисто выметенная мостовая, и праздничные толпы людей, и даже кашляющие звуки гармоники и немного резкие песни подвыпивших мастеровых не кажутся уже столь дикими в это чудесное ароматное утро. Мне Саша говорила, чтобы я обязательно посмотрел на памятник Пушкину, поставленный в прошлом году, и я спрашиваю у одного прохожего — где стоит этот памятник.

— Пройдете прямо, — отвечает он мне, — и с этой же правой стороны увидите памятник, — он стоит в начале Тверского бульвара.

Я благодарю и иду дальше.

Сегодня нет свободных извозчиков. Мужчины и женщины, одетые по-праздничному, катаются по городу и делают визиты. Не только седоки, но и лошади разряжены.

В гривах и челках светятся разноцветные

ленточки, а в хвостах вплетена свежая зелень.

Страстная площадь. Трезвон не прекращается ни на минуту.

Колокольни перекликаются между собой, а здесь — внизу — веселые лица, смех и щелканье семечек.

На углах продают красные и голубые шары, появляются первые мороженики. Детвора заполняет улицу и тротуары.

На самом углу Тверской улицы и площади останавливается рысак, и из коляски выходят два молодых человека в туго накрахмаленных воротничках и новых шляпах. Оба сильно выпивши. По наружности, насколько можно судить, молодые люди принадлежат к богатому купеческому классу. Это подтверждается тем, что они разъезжают не на извозчике, а в своем собственном экипаже. Завидя меня, один из них, указывая на меня пальцем, громко смеется и кричит:

— Васька, гляди-ка, какой жиденок затесался!

— Где? — спрашивает другой, хотя отлично видит меня.

— Да вот же... Эй, ты, Мошка, стой!..

У меня кровь бросается в лицо, в глазах — колючие иглы, невольно ускоряю шаг. Вот уже бульвар, я вижу памятник.

Преследование продолжается и становится наглее.

— Тпру, Мошка, не удирай! — слышу я у себя за спиной.

Встречные улыбаются: всем, вероятно, нравится эта веселая молодых купчиков. Я почти бегу, но мое желание уйти от преследователей придает им еще больше смелости.

Стыд, огромный, невыносимый, тяжелый стыд сжигает меня. Я теряю соображение, сердце замирает в грудя.

Перед глазами мелькают неясные очертания вершин колоколен, куски голубого неба и желтые блики теплого солнца. Сворачиваю на бульвар, направляюсь прямо к памятнику, в надежде, что меня здесь оставят в покое.

Но один из моих преследователей хватает меня за пальто и кричит:

— Тпру, жид... тпру, жид...

Детишки помирают со смеху, и не очень огорчены взрослые. И вот тут со мной проис-

ходит страшная неожиданность. Я левой рукой ударяю молодого парня с такой силой, что он падает через цепь памятника на гранит. Силой инерции я сам теряю равновесие и сваливаюсь вместе с моим врагом, и, не помня себя от злости и мучительного негодования, я впиваюсь зубами в его шею...

В глазах моих темнеет. Теряю над собой волю...

Сбегается народ, я это чувствую по топоту ног и по множеству голосов. Слышу отдельные возгласы:

— Жид что делает, а? Кровь христианскую пьет...

И вслед за этим собравшаяся толпа плотнее смыкает ряды, и меня начинают бить. Сначала бьют кулаками, а потом и ногами. Но мне не больно, мне кажется, что кто-то надо мною высыпал мешок с картофелем, и мне даже приходит мысль, — хорошо, что не бьют по лицу. Не знаю, сколько времени продолжается эта сцена. Я теряю последние остатки человечности, челюсти мои помимо воли замыкаются в мертвой хватке, и я не могу разжать их, а избиение продолжается, особенно ощу-

тительны удары ногами в бока... Раздаются полицейские свистки, кричат: «Расступись!», и холодным куском металла кто-то раскрывает мне рот...

Что происходит дальше, я не помню. Хорошо представляю себе момент, когда, совершенно опустошенный внутри, без всякой мысли в голове, я поднимаюсь по лестнице квартиры Саши. Сейчас только я начинаю испытывать невероятную боль. Все тело ноет и горит. Саша, увидев меня, вскрикивает и бледнеет.

— Что с тобой? — кричит она.

— Я убит, — говорю я, — помоги мне... — и, шатаясь, подхожу к дивану и теряю сознание.

Саша и Катя помогают мне раздеться, пьяный Коля отит тяжелым сном и ничего не слышит. Когда с меня снимают рубаху, Саша вскрикивает и в ужасе отшатывается. Все мое тело покрыто сплошной синевой и огромными фиолетовыми подтеками.

— Не плачь и не изумляйся, так и должно было быть, и всегда так бывает, когда люди добровольно идут на обман...

Несмотря на сильные физические страда-

ния, мозг мой сейчас совершенно ясен, и предо мною с необычайной четкостью встают мельчайшие детали только что происшедшего...

Любовь к ближнему... Люби ближнего, как самого себя, — кто выдумал эту мировую ложь, какому злодею надо было человечеству завязать глаза...

— Проклятие! — кричу изо всех сил, внутри у меня клокочет буря, моему возмущению нет предела.

А Саша, ломая руки, умоляет меня не кричать и не будить Колю.

— Пусть, пусть проснется! Пусть пожалеет, что его не было на бульваре: он бы тоже мог принять участие в избиении жида...

— Ну, я тебя умоляю — не кричи, ведь ты не понимаешь, что может быть...

— Может быть? Да ведь это уже случилось? Худшего ничего не может быть. Нет, голубчики, теперь для меня все ясно. Мы с тобою — добровольные статисты большой феерии, разыгранной попами за счет народной темноты...

Эта минутная вспышка окончательно

ослабляет меня, и я снова падаю в бездну...

## 9. Николай Беляев

Сестра лечит меня серной вонючей мазью под названием «бадяга». Приглашенный врач — древний старик Карпов, известный в округе, осмотрев меня, говорит:

— М-да... Здорово вlepили. Но и ты молодец, не всякий выдержит.

— Сильных повреждений нет? — спрашивает сестра.

— Сейчас трудно сказать, но думаю, что никаких переломов не имеется. Вот только разве легкие подбиты малость... Ну, да у молодых это проходит быстро.

Катя весь день не отходит от меня и все ахает, вздыхает и шепчет:

— Ну и разбойники... Так исколошматить парня... Вот уж нехристи поганые!..

О происшедшем узнают все родные и близкие знакомые.

Получается большой конфуз. Елена Ивановна на другой день навещает нас, глядит на меня, в отчаянии ломает руки и не находит слов, чтобы выразить свое сочувствие. Николай, весь свой досуг отдает мне: помогает

сестре натирать мое избитое тело, всячески; утешает нас и вообще проявляет необычайную доброту и участие. Я понимаю, какое чувство испытывают окружающие меня, — им стыдно за тех, кто так жестоко поступил со мною. А я внутренне доволен их смущением и всячески стараюсь его усилить.

— Люби ближнего, как самого себя, — повторяю я тихо стонущим голосом, а Беляев, его сестра и другие посетители, слушая мои укоризны, молчат и не знают, что сказать. Они испытывают сейчас такое чувство, будто они авторы христианской религии и искренне страдают за свое произведение.

Болезнь моя затягивается надолго. Я прикован к дивану, хоть уже давно не чувствую острых физических болей. Но кровоподтеки не совсем еще прошли, и я продолжаю лежать.

Проходят недели. Я все больше и больше вхожу в домашний быт Беляевых, и многое мне у них нравится. Николай очень нежен и внимателен к сестре и ко мне. Саша готовится к выступлению, и Беляев разучивает с нею новый репертуар. Вокальные уроки Беляева

вносят в мою жизнь большую радость. Я готов слушать его без конца.

Голос Беляева производит на меня чарующее впечатление. Он поет мягким полнозвучным басом и так умеет утончать этот обычно тяжелый и грубый мужской голос, что временами кажется, что поет тенор или баритон.

У моей Саши от природы хороший слух и сильное контральто, но полная безграмотность в музыкальной теории. Она не знает нот и не имеет понятия о ритме.

Беляеву приходится учить ее чуть ли не с азбуки. Зато когда они вдвоем распевают те или иные дуэты или когда Саша сама поет уже заученные романсы или народные песни, — я положительно упиваюсь.

— А у тебя имеется какой-нибудь голос? — обращается Беляев ко мне.

— Не знаю, — отвечаю я. — Особенно много петь, не приходилось, но в Житомирском институте я пел в хору, вел добровольно... Стоят мальчишки и поют, и я подтягиваю. Однажды я взял очень высоко, меня и прогнали.

— Нет, у Алеши должен быть хороший голос, — вмешивается сестра. — Я помню, ты со-

всем маленький знал много песен.

Беляев берет в руки камертон и предлагает мне взять ноту.

Я беру, еще раз прохожу гамму. Беляев разводит руками.

— Запоздалый альт, но замечательно красивый по тембру. Это большая редкость — в семнадцать лет обладать альтом. Нужно будет его устроить к нам в синодальный хор, — Что ж, это очень хорошо, — говорит сестра.

С каждым днем все больше и больше сходят следы избиения. Я уже на ногах, помогаю Саше в хозяйстве, стараюсь быть ей полезным, но в глубине моего сознания не перестает жить и мучить меня происшедшее на бульваре. С вопросом религии я кончаю навсегда.

Никаких богов, выдуманных человеком, не существует, — твердо решаю я.

С этого момента между мною и сестрой хоть и незаметно, но прокладывается черта недовольства. Начинается с того, что, садясь за стол, я не осеняю уже себя крестом и далек от мысли посещать церковь. Саша боится, что об этом узнает Протопопов и придет в ярость, а мне — хоть бы что. Не могут же меня заста-

вить быть религиозным, если я не верую.

Беляев пьет с промежутками: пропустит два-три дня и напивается. И тогда он совсем другой человек. Все мягкие и нравящиеся мне черты его лица стусевываются, обычно добрый взгляд его голубых глаз становится сухим и колким. И, подобно многим пьяным людям, он придирается к пустякам и грубит окружающим. В такие дни я не люблю Беляева и готов пустить насмарку все его добродетели. Однажды, в одну из суббот после все-нощной, Беляев домой в сильно пьяном виде. Сестра старается уложить его.

В спальне немедленно вспыхивает скандал. Николай кричит на Сашу, бранит ее и при этом нисколько не стесняется употреблять самые омерзительные уличные ругательства.

Я мечусь по столовой в нервном возбуждении и не знаю, что предпринять. Моментами мне хочется ворваться к ним и крикнуть Беляеву, что он негодяй, и если нужно — вступить с ним в драку, но боязнь за участь сестры меня сдерживает. До поздней ночи скандалит пьяный человек. Он бьет посуду, без стес-

нения бьет кулаками по лицу Сашу, забывая о моем присутствии; наконец он вспоминает и меня.

— Так тебе не нравится христианство? Жидовский бог ближе твоему сердцу?.. — кричит он с искаженным лицом и белыми каплями пены у рта. — Жиды проклятые!.. Истолку я вас, уничтожу...

И он снова уходит в спальню, где опять начинает безумствовать.

Несколько раз собираюсь уходить, но сестра, умоляюще преграждая дорогу, просит, заливаясь слезами:

— Не уходи, Алеша, — не покидай меня!..  
И я остаюсь.

После троицы сестра переезжает в Сокольники, бросив зимнюю квартиру. Мы устраиваемся на новом месте.

Небольшой домик, окрашенный в зеленую краску, терраска, крохотный садик делают похожим это загородное жилище на дачу.

Стоят жаркие дни, и я предлагаю сестре отдать мне ажурную беседку, стоящую в саду, с тем, чтобы я там опал. Сестра соглашается.

Беляев давно уже не пьет, ведет себя пре-

красно. Вообще всегда после бурного пьянства, после скандалов и тяжелых неприятностей Беляев старается загладить внимательностью, добротой и нежностью то неприятное, что он делает, когда нетрезв.

Он пробует даже учить меня писать, но из этого ничего не получается. Как ни стараюсь, но нарисовать пером или карандашом какую-нибудь букву мне не удастся, получаются колеса и палки и больше ничего. Зато читаю много. Впервые знакомлюсь с русскими классиками. Проглатываю Гоголя, Писемского и многих других. Читаю запоем и все прочитанное запоминаю на всю жизнь.

Наступает время работы Саши.

Она берет меня с собой в Эрмитаж, где должна выступать под именем Флеровой в качестве каскадной певицы.

Охотно принимаю приглашение и сопровождаю Беляевых. Коля ежедневно не только провожает сестру, но дожидается конца и уезжает с нею домой, когда уже светает.

Попадаю в обширный многолюдный зал с расставленными всюду столиками, покрытыми белыми скатертями.

За столиками сидят посетители, мужчины и женщины, пьют, закусывают, стучат ножами по тарелкам, призывая официантов, а на сцене, сменяя номера, какие-то девушки в коротеньких платьицах сиплыми, простуженными голосами поют непонятные мне песенки на немецком, французском, испанском языках, задирают ноги до плеч и вообще выделывают невероятные па, приводя меня в смущение. Первый раз мне приходится это видеть.

Публика — та, что сидит ближе к эстраде — хлопает в ладоши, смеется, кричит и вообще не очень много уважения оказывает представительницам эстрадного искусства.

Но вот наступает момент, когда должна появиться Саша.

Какой-то мужчина в длинном черном сюртуке, гладко причесанный на косой пробор, с белым лицом и горящими глазами, бросает в публику:

— Господа, прошу быть внимательными и не стучать. Сейчас выход нашей знаменитой певицы Флеровой.

Раздаются аплодисменты, и вообще в зале

растет волнение перед интересным зрелищем. Оркестр играет бравурный марш, и на сцену не выходит, а вылетает Саша.

В руках у нее хлыст, она одета в шелковое короткое платье, а в локонах горит большая пунцовая роза.

Она поет военный марш, восхваляя гвардию. Я не помню слов, да не в словах дело. Важно отметить, что с первого момента появления сестры и до конца номера она овладевает вниманием всего зала. В каждом ее движении, в каждом звуке ее красивого молодого сильного голоса столько бодрости, огня, гибкости и особенной сверкающей красоты, что становится вполне понятным тот бешеный шум, какой поднимается в зале, когда номер заканчивается. Ее засыпают цветами: многие встают с мест, подходят к самой эстраде и кричат неистовыми голосами:

— Флерова! Флерова!..

Я ошеломлен. Ничего подобного не ожидал. Какая жизнь, какие люди, какой блеск! А потом — маленькая комната, пьяный муж, скандалы, руготня и побои. Какое уродство! И зачем она не уходит от этого изверга, ведь

она несомненный талант!..

Теплая летняя ночь. Ложусь спать в беседке. Саша дома. Она сегодня не поет, у нее простужено горло. Беяева нет дома, где-то, вероятно, кутит. Я засыпаю. Вдруг ощущаю сильный удар. Мгновенно вскакиваю я при свете наступающего утра вижу перед собою Беяева с толстой палкой в руке.

— Вставай, дармодед! — кричит он.

Но дальше я ему не даю говорить. Не помня себя от страха и боли, я обхватываю его, сжимаю в руках, поднимаю вверх и бросаю на землю. Беяев хотя и сильно пьян, но понимает, что вступать со мною в битву ему не выгодно, тем более, что палка уже в моих руках.

— Если ты посмеешь тронуть хотя одним пальцем Сашу, я тебе размозжу голову! — кричу я изо всей мочи.

На мой голос немедленно появляется Саша. Быстрыми маленькими шажками бежит она через террасу в сад и уже стоит между мною и Беяевым и кричит на меня.

— Ты не смеешь этого делать!

— А он смеет меня палкой бить, сонного?

— Вон отсюда! — кричит Беляев.

— Хорошо! — отвечаю я. — Сейчас уйду и уйду навсегда!..

Отправляюсь в беседку. Быстро одеваюсь, выхожу на сонную пустынную улицу и направляюсь к первой просеке Сокольничьей рощи.

## 10. Святые гнезда

Брожу один среди аллей соснового леса. Изредка попадаются скамейки. Иногда сажусь и жду, когда наступит день. Утреннее солнце косыми лучами обнимает оранжевые стволы высоких сосен, и вековые колонны загораются золотыми огнями. Где-то попискивает птичка, и я ощущаю свое одиночество среди большого зеленого простора. Что будет дальше? Вернуться домой не намерен: пусть лучше я погибну, но итти на поклон к пьяному человеку я не стану!..

Бросаю взгляд со стороны на самого себя и вижу — возвращаюсь к прошлому: опять без крова и без близких людей...

На мне — парусиновые брюки, перешитые сестрой из колиного старья, и белая сатиновая косоворотка. На ногах-мягкие серые туф-

ля и больше ничего. Впрочем, нет, на мне еще имеется одна ценность — на шее висит серебряный позолоченный крестик на тоненькой цепочке.

Запускаю руку за пазуху и сильным движением разрываю цепочку. Хочу отшвырнуть от себя, но одумываюсь и прячу крестик в карман.

Встаю и продолжаю свой бесцельный путь. Все выше поднимается солнце, реже становятся деревья, и я выхожу из леса. Предомною широкая улица с небольшими двухэтажными домишками. Продолжаю шагать, обуреваемый горячими бунтующими мыслями. Воспоминания об утренней сцене вызывают во мне острое возмущение.

Мои укоризны натравлены и против сестры. Как ей не стыдно! Какая низость!.. Что она в нем находит? Как может она переносить такие унижения?!

Я уже в самом городе. Незнакомые кривые улицы, большие дома, извозчики, ломовые... Уже не рано... Вдруг меня окликает женский голос:

— Леня!

Оглядываюсь и вижу Елену Ивановну в белом летнем костюме, с большой желтой соломенной шляпкой на голове. Она за руку ведет свою старшую дочку пятилетнюю девочку, нарядную куколку, всю в кружевах.

— Откуда ты? Как сюда попал?.. Ведь мы случайно сегодня приехали в город, все время живем на даче. Что Саша?

Стою, опустив голову, и не знаю, что ей сказать. Мне не хочется посвящать ее в наши семейные скандалы.

— Что с тобою, Леня? Почему ты такой скучный?

— Не из чего веселиться, — отвечаю я, и вдруг кровь бросается мне в голову, и я хочу все, все рассказать ей.

Зачем скрывать, пусть она знает, какой у нее брат...

Рассказываю подробно о безумных поступках пьяного Беляева. В голосе моем так много горечи, обиды и злости, что Елена Ивановна даже меняется в лице, слушая меня.

— Да неужели это правда? Как же мне Саша никогда об этом не говорила... Неужели Коля бьет ее? Какой стыд!.. Леня, пойдём с на-

ми. Ты у нас отдохнешь. Идем...

Я отказываюсь.

— Нет, — говорю я, — у меня теперь своя дорога. Довольно с меня! Хлебнул я любви к ближнему... И будет!

Говорю, а самому становится страшно. Боюсь неприютности, одиночества и бессонных ночей под открытым небом, Елена Ивановна, догадываясь, что я нахожусь в тяжелом положении, уже не просит, а требует, чтобы я шел с нею.

И я уступаю.

За завтраком я подробнейшим образом рассказываю Елене Ивановне о всей нашей жизни и обо всем, что произошло до сегодняшнего утра. Мы сидим с нею вдвоем в большой столовой с занавешенными окнами. Полумрак, тишина. Хозяйка дома рукой, мягкой и легкой, гладит меня по голове.

— Бедный ты мой Леня! Сколько тебе приходится страдать!..

Эта неожиданная ласка трогает меня, и я очень благодарен Елене Ивановне, так близко и нежно подошедшей к моему горю. Узнав от меня, что Беляев нашел во мне хороший альт

и думает меня определить в какой-то хор, Елена Ивановна оживляется.

— О, это превосходно!.. У тебя действительно хороший голос? Ну да, конечно, должен быть хороший, ведь и сестра твоя чудесно поет. Я скажу Ване, и он тебя устроит моментально.

— Как устроит?

— Очень просто. Главный регент синодального хора — Вигелев — женат на родной сестре Вани, ему стоит только слово оказать, и ты будешь принят. У тебя будет стол, помещение, тебя оденут, а потом, когда уже начнешь петь в храме, тебе и долю дадут из кружки.

Елена Ивановна приходит в очень хорошее, бодрое настроение.

— Замечательно! Завтра же я Ване скажу, чтобы он все устроил, и тогда не нужно тебе с Беляевым жить. А сегодня оставайся у нас, переночуешь... Ты любишь читать, у нас книг много, и все будет по-хорошему...

Она приподнимается, прижимает мою голову к своей мягкой, пышной груди и целует в шею. Заливаюсь стыдом. Елена Ивановна

быстро уходит.

Долго меня не оставляет смущение, мысли мои теснятся в голове, и я не знаю — как мне отнестись к тому, что сейчас происходит между нами. Первый случай в моей жизни... Правда, в Свенцянах Ядвига тоже меня целовала, но она тут же объясняла мне, что она это делает для того, чтобы лучше вспомнить своего братишку. Но у Елены Ивановны это получается совсем иначе. Не может же она меня, еврея, любить, как родного сына или брата.

Вспоминаю, что и во время пасхального розговенья и в день крещения она также близко прикасалась, вызывая во мне смущение и стыд.

Вообще весь этот день является для меня днем необычайных происшествий. Я совершенно теряюсь и положительно не могу совладать с моими мыслями и решиться на что-нибудь. Воля оставляет меня. «Что будет, то и будет», говорю я самому себе и весь день до самой ночи остаюсь здесь.

Елена Ивановна ездит по делам, что-то покупает, возится с портнихой и на меня уже не

обращает внимания.

Я очень доволен: чувствую себя освобожденным.

Беру толстую книгу из библиотеки Протопоповых, сажусь в детской комнате у окна и приступаю к чтению.

Книга называется «Четьи-Минеи». Первая повесть относится к биографии святого Алексея, человека божьего.

Меня зовут Алексеем в честь этого святого, и мне хочется узнать его жизнь. Читаю с большим интересом рассказ о том, как сын очень богатых родителей уходит из дому в тот день, когда должно состояться венчание его с прекрасной девушкой. Уходит, пропадает на долгие годы, бродяжничает, ведет нищенский образ жизни и хилым стариком возвращается домой и умирает у порога дома.

— Вранье, — говорю я, прочитав до конца. — У богатых родителей таких детей не бывает.

Перелистываю дальше, и там уже идут всевозможные Татьяны-победительницы, Екатерины-великомученицы, — все одно и то же, одно и то же... Все умирают за христову веру.

Тут вспоминается мне бульвар, памятник Пушкину и мое избиеение.

— А что, если бы меня тогда избиили на-  
смерть, я тоже мот бы попасть в «Четьи-Ми-  
неи» как великомученик христианской ве-  
ры...

Захлопываю книгу и задаю себе вопрос:  
что сказал бы Илель?

Рядом со спальней Протопоповых имеется  
продолговатая комната с венецианским ок-  
ном, выходящим в сад.

Комната красиво обставлена мягкой мебе-  
лью небольшого калибра.

Кушетка, пуфики, шелковые валики, мяг-  
кие подушечки и персидские ковры. Комната  
называется «будуар».

Елена Ивановна предлагает мне лечь  
спать на широкой турецкой тахте. Она сама  
стелит постель. Чистая полотняная шелестя-  
щая простыня, две мягкие пуховые подушки  
и легкое одеяло. Я смущен.

— Что вы, Елена Ивановна... Куда мне та-  
кая постель... Я могу прикорнуть где-нибудь...  
Что вы... Зачем это...

Я сам не знаю, что говорю, но мне действи-

тельно неловко, а главное меня смущает, как я лягу грязный на такой постели, тем более что белье на мне не первой свежести. Но Елена Ивановна только отмахивается рукой, обнаженной полной рукой с ямочками на локте.

— Ладно, я здесь хозяйка! — смеясь, говорит она и, пожелав спокойной ночи, удаляется.

Остаюсь один и долго не решаюсь раздеться: пышное ложе пугает меня своей редкой и невиданной мною белизной. Ведь стоит мне только раздеться и лечь, как будет пятно — черное пятно. Что от меня может больше быть?

Опускаюсь на близстоящий пуфик и долго сижу без дум, без желаний, наблюдая за тем, как все уже и уже становится малиновая полоска летнего заката. Неожиданно входит Елена Ивановна.

— Ты что ж не ложишься?! Сейчас же ложись! Мечтатель какой!..

Приходится подчиниться. Когда за Еленой Ивановной закрывается дверь, я раздеваюсь и ложусь на приготовленную постель. Прият-

но холодит полотно. Я вытягиваюсь во весь рост и испытываю удовольствие, когда щека моя тонет в мягкой пуховой подушке. Засыпаю.

Пробуждаюсь от легкого прикосновения чьей-то руки к моей голове. Раскрываю глаза и в темных сумерках летней ночи вижу силуэт наклонившейся ко мне женщины в рубашке с большим вырезом.

— Кто это? — топотом спрашиваю я, испугавшись неожиданного появления ночного призрака.

— Ты еще не спишь? — слышу шопот и сейчас же догадываюсь, что это Елена Ивановна. — Ах ты, трусишка такой... — шепчет она, — испугался женщины... Можно прилечь к тебе? Мне так скучно, я одна во всем доме...

Молчу, крепко стиснув зубы. Елена Ивановна откидывает край одеяла и ложится рядом со мною. Горячая волна пробегает по мне, сердце торопливо бьется... Ощущаю грудь Елены Ивановны и прихожу в полное замешательство. Елена Ивановна впивается губами в мои губы, и я окончательно теряю сознание...

Рассвет. Елена Ивановна уходит. Стараюсь собраться с мыслями, хорошенько подумать и дать оценку происшедшему, но ничего не получается. Омерзение, брезгливость, угрызение совести и стыд мучают меня, и я места себе не нахожу.

Елена Ивановна свое обещание выполняет полностью.

Протопопов дает мне записку к главному регенту синодального хора Вигелеву и говорит:

— Вот ты поступишь в хор... Знаешь ли ты, что такое церковный певчий? Это то же духовное лицо. Певчие во время богослужения должны быть херувимами в храме, и потому и мысли твои и все твое поведение должны быть чистыми, херувимскими...

Беру записку и по адресу — Большая Никитская улица отправляюсь на новое место.

Всю дорогу мне сопутствуют херувимы с Еленой Ивановной во главе.

— Н-да... хорошие мы херувимы!.. Если бы знал дьякон...

Вигелев оказывается человеком средних лет с небольшой бородкой, с темными, гладко

зачесанными назад волосами. Занимает большую квартиру и обладает многочисленным семейством.

— Сколько тебе лет? — спрашивает он меня.

— Семнадцать, — говорю я.

— Семнадцать? Какой же ты альт, тебе в тенора пора.

— Не знаю, всё говорят, что у меня альт.

— Хорошо, пройди в певческую. По двору пойдешь до самого конца — там флигель, войдешь и скажешь, что я велел сделать пробу.

В певческой нахожу много мальчиков, взрослых людей и стариков. Какой-то высокий, тощий человек со скрипкой в руке взбирается на подмости и дает знак смычком. Окружающие его певчие, мальчишки и взрослые, стихают и ждут знака. Скрипач проводит смычком, издает протяжный звук, а затем этим же смычком готовится дирижировать. Разучивается концерт под названием «На реках вавилонских». Меня поражают торжественный мотив, стройность хора и замечательная гармония детских голосов.

Подхожу к самым подмосткам и, когда хор

умолкает, протягиваю скрипачу записку. Он прочитывает, зорко вглядывается в меня и бросает сверху вниз.

— Подожди!

И снова хор повторяет только что пропетый концерт.

Живу в общежитии синодального хора. Нас — бездомных мальчиков, пользующихся казенным помещением, — Девять человек. У каждого имеется небольшая койка, столик и табуретка. Похоже на больницу, только гораздо грязнее.

Привыкаю к новой жизни и ничего лучшего не желаю.

Старшие обращаются со мной не плохо, а некоторые, даже любят меня, — в особенности бас Сперанский. Он живет тут же во дворе, занимает большую квартиру и имеет девять человек детей; из них мальчик Борис пятнадцати лет второй дискант — мой лучший товарищ.

Мы с ним почти неразлучны. Он светлый блондин с удлинённым лицом и темно-серыми глазами. Он выше меня ростом, тонкий, ловкий и чрезвычайно нежный. Отец Бориса,

подобно большинству певчих, пьяница. Пьет он всегда. много, нередко от него несет вином даже на клиросе. Но человек он добрый, ласковый и любит детей.

Я часто бываю у Сперанских. Там, забившись в какой-либо угол, мы с Борисом отдаемся мечтам. Мысленно путешествуем, посещаем далекие страны, изобретаем невероятные машины и шагаем по широкой волшебной дороге, ведущей к победам. Вот за эту выдуманную жизнь ко мне и привязывается Боря.

Занятия происходят ежедневно два раза — утром и вечером. У меня оказывается неплохой голос, а благодаря ежедневным упражнениям он крепнет, наливается металлом и получает особенную гибкость. Младший регент предсказывает мне блестящую будущность — солиста синодального хора. Помимо спевок у нас, мальчишек, имеются еще другие обязанности — обслуживать старших. Я приставлен к первому тенору, Миролубову Василию Петровичу. Он еще молод, красив и владеет чудесным лирическим тенором; Он холост, живет рядом с квартирой Сперанских, занимает

небольшую комнату с крохотной передней.

На моей обязанности лежит ежедневно будить его между семью и восемью часами утра. Прихожу, трогаю его за ногу. Он просыпается, здоровается со мною и велит приготовить бриться. Затем бегу за кипятком, покупаю баранки, и мы с Миролюбовым пьем чай.

Василий Петрович — единственный взрослый певчий, не пьющий вина.

— Вот за это, — говорит, — меня женщины очень уважают. Поцелуешься, и табаком не пахнет, а она в восторге... Ты сегодня, — добавляет он, понизив голос, — опять снесешь записочку, понимаешь? Туда...

Я киваю головой.

А спустя немного я стараюсь незаметно проникнуть в Никитский монастырь, находящийся рядом и отделенный от нашего двора высоким каменным забором. Но я знаю, что в самом конце забора имеется внизу небольшое отверстие. Надо быть очень ловким, чтобы пролезть через эту дыру на монастырский двор. Кроме того, надо быть зорким и не попасться никому навстречу.

Длинный корпус с низенькими маленьки-

ми оконцами, заделанными толстыми решетками, является главным помещением монашеских келий.

Самая последняя келья находится как раз напротив отверстия и не более чем в трех шагах от ограды. Мне стоит подняться на цыпочки и пальцем слегка стукнуть в окошечко, и не проходит минуты, как открывается малюсенькая форточка, появляется красивое женское личико, обрамленное черным платочком, застегнутым у подбородка.

Улыбка обнажает два ряда чудесных зубов, и в форточку тянется тонкая рука с длинными пальцами. Записка передана — и больше ничего, никаких слов, никаких разговоров.

— Передал? — спрашивает Миролубов, как только я появляюсь.

Я утвердительно киваю головой.

Не знаю почему, но мне не только нравится этот роман, но я горд доверием, оказываемым мне Миролубовым. Меня особенно интересует и волнует одно обстоятельство. Мне известно, что монахини идут в монастырь для того, чтобы покончить со всеми радостями земной жизни и предаваться молитвам и

служению одному только господу богу. Как же могла решиться такая затворница на столь смелый шаг?.. Ведь она отвечает не только перед людьми, но и перед небом?

В быту певчих имеется еще одна сторона: мы должны беспрекословно подчиняться всякому приказанию взрослых певчих.

Так, например, если солист-певчий посылает кого-либо из нас за водкой, мы должны сделать это бегом и без оглядки. Чаще всего посылает меня за водкой бас-октава под кличкой Сириус. Человек он пожилой, с припухшим коричневым лицом, заросшим круглой бородой, с толстым, большим, выдающимся вперед животом. Он сует мне в руку монету и говорит: — Живо... одним духом... марш!..

Не проходит и несколько минут, как я, спрятав под блузу полуштоф, бегу со всех ног выполнять приказание.

В певческой пить строго воспрещается. Бывают случаи, когда за это увольняют даже хороших певчих. Чаще всего пьют в трактире Саврасенкова, находящемся на углу Тверского бульвара и Страстной площади.

Трактир помещается в первом и во втором этажах.

Наверху гораздо чище и приличнее. Здесь можно видеть наших певчих, а также сотрудников «Московского листка» с Пазухиным во главе. На Пазухина я всегда смотрю с завистью и благоговением. Он — знаменитый писатель.

Пишет романы для «Московского листка». Я читаю их с большим вниманием и не дождусь следующего дня, чтобы проглотить продолжение. Пазухин молод, черноглаз и немного прихрамывает. Его знает и любит вся Москва, а в особенности Замоскворечье. Все его романы написаны из жизни замоскворецких купцов.

Я убежден, что лучшего писателя трудно найти, а он такой простой, такой милый, и каждый раз, когда я прибегаю в трактир звать старших на спевку, он указательным пальцем, украшенным толстым перстнем, подзывает меня и предлагает мне выпить рюмку водки. Я в смущении и большой бодрости отказываюсь.

— Ты что — бросил пить?

— Я никогда и не пил.

А затем в свою очередь, замирая от неловкости, спрашиваю:

— Господин Пазухии, ваш роман «Золото и слезы» еще долго будет продолжаться?

— Да, миляга, не скоро кончу... Это все будет зависеть от моего пищеварения, — добавляет он и густо смеется.

Ухожу довольный и счастливый: сам Пазухин меня удостоил разговором. Как хорошо быть писателем!.. Один в тиши царапаешь перышком бумагу, а потом, гляди, весь свет тебя читает.

Сегодня Миролюбов поздно вечером с большой тревогой в голосе говорит мне:

— Слушай, голубчик... Ты должен мне помочь... Понимаешь, тут такое дело вышло... Ну вот с этой, кому записки носишь. Надо ей помочь пройти сюда к нам во двор, а затем мы ее увезем...

У меня от этого холодеет кровь и сердце перестает биться. Чувствую, что совершается таинственное и очень страшное дело и я являюсь участником этой тайны.

Наступает вечер. Мы с Миролюбовым

идем туда, к концу двора, где имеется дыра. Никого вокруг, тишина, небо густо осыпано звездами, а здесь внизу уже пахнет опавшими листьями. Делаю привычное движение, растягиваюсь перед отверстием, ползу вперед...

Вот монастырский двор. Моя рука касается плоских камней, уложенных вдоль забора. Вылезаю и вижу черную фигуру, стоящую тут же.

— А можно будет мне пролезть? — тихо спрашивает монахиня.

— Конечно, можно. Вы только ложитесь и протяните руки, а, я уж тогда вам помогу...

Спустя немного мы с Миролюбовым тащим монашенку, лежащую животом вверх по ту сторону забора.

В певческой никого нет, — в углу горит лампада и тускло освещает обширную комнату с широкими скамьями вдоль стен.

Миролюбов тихонько вводит монашенку, усаживает ее возле дверей, а сам остается стоять перед нею.

Вглядываюсь в ее лицо, и мне становится понятным ее положение. Непомерно боль-

шой и высокий живот, кривящиеся губы, сдерживаемые стоны и слезы в больших черных глазах говорят о многом.

— Бега скорее за извозчиком, — дрожащим голосом говорит Миролюбов.

В точности исполняю приказание тенора. Прибегаю обратно и застаю не монашенку, а обыкновенную молодую женщину в сером пальто и в маленькой светлой шляпке. «Вот ловко!» — мелькает у меня в голове.

— Извозчик у ворот! — сообщаю я шопотом.

Миролюбов подает бывшей монашенке руку.

Стою один под звездным небом и прислушиваюсь к торопливо бьющемуся сердцу.

## **11. Николай Сперанский**

Ежедневно бываю у Сперанских. Мать Бориса, худенькая маленькая женщина, постоянно ходит с большим животом. Она очень проста в обращении и ко мне относится с большой добротой. С Борисом мы приятели. Мне мучительно хочется посвятить его в великую тайну, но боюсь — ведь я дал клятву. Миролюбов мне не простит, если станет известен его ро-

ман с монашенкой. Но я не могу удержаться и только намеками говорю Боре об этом.

— Если бы ты, Боря, знал, что произошло вчера на нашем дворе, вот бы ты удивился!..

— А что?

— Нет, голубчик, этого я никому не могу сказать... Я поклялся до самой смерти хранить тайну.

Боря заинтересован и пристает ко мне, чтобы, я обязательно ему рассказал, тут же клятвенно обещает хранить эту тайну, как я ее храню. Не выдерживаю и под величайшим секретом передаю ему всю историю. Боря поражен.

— Да не может быть! Вот интересно!.. Как же они не побоялись?..

— Значит, не побоялись, — говорю я.

А затем мы переходим на другие темы.

В тот же день к Сперанским приходит в гости Елена Ивановна.

Узнаю впоследствии, что жена Сперанского является дальней родственницей Беляевых и что Елена Ивановна иногда наносит визиты Сперанским.

Елена Ивановна приходит в тот момент,

когда мы с Борей собираемся к Вигелевым, где имеется наш третий приятель-Вадька, мальчишка четырнадцати лет, очень способный художник.

— Здравствуй, Леня, — приветствует меня Протопопова таким простым и спокойным тоном, как будто только вчера мы с нею виделись. — Расскажи, расскажи мне, как ты здесь живешь, каковы твои успехи... — продолжает она.

Молчу. Меня ее посещение угнетает, — не знаю, куда девать глаза.

В это время Сперанская зачем-то зовет Борю, и мы остаемся с Еленой Ивановной вдвоем.

— Слушай, Леня, я тебя очень прошу, — понизив голос, обращается она ко мне, — очень прошу... Приходи к нам после всенощной... Обязательно приходи... Я умираю от тоски... Ты мне очень, очень нужен... Придешь? почти шепотом добавляет она.

Я отвечаю кивком головы и ухожу с Борисом.

Появление Елены Ивановны, ее полная фигура, круглое белое лицо и голубые глаза вы-

зывают во мне то самое чувство омерзения и брезгливости, какое я испытывал в ту памятную ночь.

«И зачем она пристаёт ко мне?.. Такая старая... Ведь ей уже тридцать лет!.. Как не стыдно!.. Я же ей в сыновья гожусь...» Итти туда не думаю. Зачем пойду? Пусть она найдет другого...

Вечером того же дня меня просит жена Сперанского, чтобы я постарался привести старика. Он весь день сидит в трактире и, несмотря на ее записочку, не возвращается домой.

— Он тебя любит и, может, послушается. Пойди, голубчик.

Охотно выполняю поручение. Попадаю на второй этаж саврасенковского трактира в тот момент, когда Сперанский за столом Пазухина поёт старинные светские песни.

Посетители, подогретые вином, с умилением в глазах слушают песни. Сперанский поёт «Под вечер, осенью ненастной». Пазухин приходит в восторг от такого исполнения всем известной песни. И действительно, Сперанский здесь совсем не так поёт, как на клиросе.

Он умеет свой огромный голос сжать, сделать гибким и тонким, и каждое слово умеет так преподнести слушателям, что те внимают с притаившимся сердцем, боясь проронить хотя б один звук замечательного голоса.

Когда Сперанский кончает, некоторые пьяницы вытирают слезы.

Ему аплодируют, а один кривоногий посетитель смешно шагает через весь зал, держа в руке бокал, наполненный вином.

— Вот, голубчик, выпей на здоровье... Усладил ты мое сердце... Ввек не забуду.

Подхожу ближе к столику и не знаю, как приступить к Сперанскому. Меня замечает Пазухин. Этот человек способен пить круглые сутки и не быть пьяным.

— А, ты здесь? Очень приятно видеть тебя, почитателя моего таланта.

Сперанский поднимает красные веки и устремляет влажный взгляд на меня.

— Ты что, Алеша?

— Мария Васильевна прислала. Просит вас очень итти домой.

— Тзк-с... Соскучилась... Хорошо, сейчас идем...

— Одну минутку!.. Вы, дорогой Николай Вадимович, должны еще спеть нам про канарейку... Помните, как канарейка на ветке плакала? Вот ее спойте и тогда идите домой, — говорит Пазухин.

Начинаются просьбы со всех сторон, аплодисменты...

Готовится новый номер. Сперанский платком вытирает вспотевшее лицо, расправляет небольшую, с проседью, бородку, встает во весь огромный, тучный свой рост и приступает к исполнению старинной народной песни тихим тонким голосом. В зале наступает тишина.

Половые замирают на своих местах.

Сперанский поет, и с каждым мгновением его лицо оживляется, глаза становятся сухими и горячими, и разрастается песня.

Никогда в жизни мне не приходилось слышать подобного исполнения простой народной песни. Только теперь я понимаю, за что так любят Сперанского, московские купцы. Мария Васильевна говорит, что эта любовь хуже всякой ненависти, потому что купцы, кого любят, того и спаивают.

Мне жаль доброго старика; мне думается, что его роль здесь, в трактире, носит не тот характер, какой бывает, когда артист выступает в театре. Мне становится обидно за него, и я всеми силами стараюсь увести его отсюда, что и удается мне после упорного сопротивления со стороны сильно опьяневшего Сперанского.

Сперанский зарабатывает не плохо. Ему платят сто рублей за свадебного апостола. Он обладает едва ли не самым сильным и могучим басом. Он сам мне рассказывает, как присылают за ним карету и как он едет на свадьбу. Однажды одна богатая невеста во время обряда, когда Сперанский изо всей мочи рявкнул: «Жена да убоится своего мужа!», упала в обморок — так грозно гремел его голос.

Помимо жалованья, Сперанскому, как солисту и первой октаве, полагаются две доли из кружки. В общем он зарабатывает не меньше чем двести рублей в месяц, что является солидной цифрой.

И все же Сперанские очень бедны. Марии Васильевне приходится каждый день выдумывать, комбинировать, делать всевозмож-

ные экономические раскладки, чтобы добыть в достаточном количестве ту или иную провизию для прокормления многочисленной семьи. Мне хорошо известно, что ей приходится прибегать и к займу и тащить иногда необходимые вещи в кассу ссуд.

По этому поводу мы иногда беседуем с Борисом и мечтаем о том счастливом времени, когда мы — выдающие изобретатели — заработаем большие деньги и поможем всей семье.

— Если бы папа не пил, то мы были бы самыми богатыми среди певчих, грустно говорит Борис.

И я ему сочувствую, но ничем помочь не могу.

Сегодня Боря мне сознается и заранее просит у меня извинения за то, что он мою тайну рассказал Вадьке, а Вадька хочет нарисовать картину под названием «Похищение монашенки».. Прихожу в ужас.

— Ты же клятву дал! Зачем ты выдал тайну?

— Я и сам не знаю, уж очень мне захотелось заинтересовать Вадьку... Но ты не бойся,

он дал клятву, что никому не скажет ни слова.

Вечером того же дня Сперанский, вернувшись со севки совершенно трезвым, зовет меня, плотно закрывает дверь и говорит:

— Слушай, милый, здесь совершилась очень паршивая история, и ты, насколько мне известно, сыграл в ней немаловажную роль. Расскажи, было дело, изложи все, ничего не утаивай, потому что дело серьезное и надо как-нибудь его затушить.

От слов Сперанского у меня начинают дрожать ноги, но в то же время я сознаю, что этому добряку надо все оказать, иначе может быть хуже.

Выслушав меня, Сперанский глубоко задумывается и даже закрывает глаза. Мне становится страшно.

— Да, миленький, состряпали вы штуку!.. Аи да Миролубов!.. Все они, тенора, такие. Ах, черт возьми, э? Как же теперь быть? Ведь об этом уже сам Вигелев знает.

Я стою перед ним в виноватой позе и не нахожу слов и не знаю, как просить его, чтобы он защитил меня, если поднимется буря.

— Ну, вот что, — первый прерывает молчание, Сперанский, — найди мне Миролюбова и пришли сюда, а сам отправляйся с Борькой на Москва-реку, ловите рыбу, купайтесь, если вода не холодна, а в дела взрослых не вмешивайтесь, а там посмотрим.

— Спасибо, господин Сперанский, прошу вас очень, как-нибудь защитите меня. Ведь я не виноват, — мне что старший приказывает, то я и должен исполнить.

— Хорошо, хорошо, веди сюда Миролюбива.

Иду исполнять приказание. Во мне живет большая тревога, и тяжелые предчувствия давят грудь.

Скандал разрастается на другой же день и принимает свирепые размеры. Весь синодальный хор узнает о похищении монашенки тенором Миролюбивым. Следствие ведет сам Вигелев.

Миролюбов прячется от всех и даже меня к себе не подпускает.

Проходит еще несколько дней. Вигелева вызывают к митрополиту Иоангаикию, все кругом затихает в ожидании дальнейших со-

бытий. Все знают, что древний старец Иоанникий шутить не любит и когда нужно — может показать звериную жестокость.

До нас доходят всевозможные слухи, сплетни, рассказы, и мы узнаем, что настоятельница монастыря лично докладывала Иоанникию о происшедшем скандале.

Узнают об этом и в высших сферах. Черное духовенство старается всеми силами замять дело и не дать большой огласки.

Наконец судьба участников и даже посторонних решается быстро и страшно.

По предписанию митрополита Вигелев приговорен к ссылке в Виленский Троицкий монастырь, причем сделать это он обязан в трехдневный срок. Миролубов изгнан из хора, а мне приказано не показываться даже во дворе, а не только что в общежитии или в певческой.

И я ухожу отсюда, ухожу навсегда.

Сперанский перед моим уходом старается смягчить мое положение добрыми словами, всячески утешает меня и дрожащей рукой вытаскивает из жилетного кармана серебряный полтинник и сует мне в руку.

— Советую тебе, — говорит он, — пойти к Беляевым. Там у тебя родная сестра, да и Колька парень хороший... Иногда только в нетрезвом виде буйнить любит, а так я его знаю, человек он добрый.

— Нет, — говорю я, — туда не пойду. Вы сами знаете, что мы с ним не разговариваем, хотя ежедневно встречаемся в певческой.

— Ну; конечно, не может же он у тебя просить прощения, он ждет, когда ты подойдешь к нему. Ведь ты мальчик, а он взрослый человек.

Входит Мария Васильевна. Она тоже советует мне вернуться к сестре. Чтобы не огорчать этих добрых людей, я обещаю выполнить совет, но внутренне у меня уже созревает твердое намерение к Беляевым не возвращаться.

День пасмурный, с утра льет дождь с перерывами. На улице ветрено, всюду серый свет. Нависла над городом непроглядная муть, усиливающая мою тоску.

Шлепаю по мокрым камням мостовой, теряю почву под собою и ежеминутно готов заплакать.

## 12. Русь-матушка

Когда стоит непогожий день, когда нет солнца, нет неба и когда беспрерывно льет мелкий нудный дождь, — тогда вспоминаются все печальные переживания, все обиды, и начинаешь ссориться с жизнью, с судьбой, с богом и со всеми несуществующими силами, ища виновных в твоём несчастье.

Вот в таком именно настроении я нахожусь в памятный тяжелый день моего ухода, из Москвы. Тоска давит меня, сгибает спину и печально наполняет мой взор.

Не пою, каким путем выхожу из города. Предо мною шоссе, мелкие строения и широкие поля, окаймленные темно-синим лесом. — Конец Москве, — говорю я себе. — и отлично... Пусть так... Ни одного дорогого и близкого существа, за исключением Бори Сперанского, я не оставляю в этом многолюдном, богатом городе, где так много голодных и бездомных людей. Пусть Москва живет без меня... Мне надоели колокольные звоны, священные гнезда и великая ложь... Этой ложью устлана вся жизнь Москвы. Мне не жаль расстаться навсегда с Беляевыми, с Еленой Ива-

новной и даже с единственной моей сестрой.

Дойду до последнего здания, виднеющегося вдали, может быть, сделаю маленький привал и пойду дальше.

Это здание оказывается постоянным двором. Широко раскрыты ворота, в обширном дворе стоят телеги, а вдоль забора жуют сено лошади. Большое крыльцо, деревянные ступеньки, мокрые от дождя, и четыре вспотевших оконца дают мне понять, что сюда может войти любой человек. На вывеске большими синими буквами на желтом фоне написано: «Двор для приезжающих».

Поднимаюсь по ступенькам, вхожу в обширную комнату с длинным непокрытым столом посередине и с тяжелыми скамьями. Вокруг стола сидят, пьют чай и закусывают извозчики, ямщики, пешеходы и всякий иной люд.

У краешка стола при моем входе устраивается небольшого роста плотный широкоплечий человек, одетый бедно, но довольно чисто.

Лицо у него круглое. Вдоль щек и на подбородке растет рыжекрасная борода тремя ку-

стиками. Глаза у него небольшие, бойкие, коричневые. Они все видят, все замечают... Когда я вхожу, этот человек так смотрит на меня и так улыбается, что нас легко можно принять за добрых знакомых.

— Садись, — говорит он мне, видя мою нерешительность, — садись, садись! За этим столом все равны, ежели есть на кипяток и на хлеб.

Сажусь и слежу за тем, как незнакомый мне человек достает из туго набитой кожаной сумки ситный хлеб, соль в бумажке и осьмушку уже начатого чая.

— Откуда плетешься? — спрашивает он меня.

— Из Москвы.

— А куда путь держишь?

— А я еще сам не знаю.

Незнакомец весело поглядывает на меня и говорит:

— Все это мне нравится... Когда человек не знает, куда идет, — это уже хорошо.

— Почему? — вырывается у меня вопрос.

— А потому, что раз ты не знаешь, куда идешь, ты не знаешь и того, что тебя ждет,

и тогда интересно — а что именно тебя ждет?. Интерес тебя и подгоняет, и тебе легче шагать по земле, а когда все наперед известно — что ж тут заманчивого? Спроси у человека: «Куда ты идешь?» А он тебе ответит: «Иду домой». — «Зачем?» — «Пообедаю и лягу спать». Видишь — он все знает, какой же ему интерес жить на свете?..

Он кончает свою речь тихим смехом, отвязывает от сумки небольшой жестяной чайник и просит меня пойти в соседнюю кухню и достать горячего кипятку. Я исполняю его просьбу, а спустя немного мы сидим с ним друг против друга вроде давних приятелей и пьем чай, закусываем ситным и холодными кусками вареного мяса.

Удивительно интересный человек. Впервые сталкиваемся, а я уже к нему отношусь с полным доверием.

— Ну хорошо, — говорит он, — допустим, что ты сам не знаешь, куда идешь, но все-таки куда-нибудь надо же уйти, раз ты покинул Москву?

Тут я вспоминаю, что старший сын Переца Окуня — Михель — живет в Севастополе. Мне

говорила тетья Рашке, что Михель очень хорошо устроился там и часто высылает родителям большие деньги.

Почему мне приходит на мысль Севастополь и Михель Окунь — я сам не знаю, но с этого момента целью моей жизни становится Севастополь.

— Знаете, куда я хочу пойти? — обращаюсь я с вопросом.

— Полагаю, что сейчас узнаю, — с легкой усмешкой говорит мой собеседник.

— Мне хочется попасть в Севастополь... Ведь есть такой город?

— Ну конечно есть, да еще какой! Весь из белого камня. Бывал я там, только далеко отсюда стоит он.

— А как далеко?

— А так, что больше тысячи верст.

— Не страшно: у меня времени много.

— Да, это верно, времени много, только денег мало. А почему именно Севастополь? — хитро подмигнув мне, спрашивает он.

Я ему объясняю, что меня тянет туда один богатый родственник.

— Ах, вот оно что!.. Богатый родственник!

Ну, брат, заманка неважная, но все же цель есть, и это очень хорошо. Без цели никогда никуда не иди.

— А куда вы идете? — спрашиваю я.

— У меня тоже есть цель. Видишь ли, сейчас наступает конец лету, когда нашему брату надо подумать об осеннем и зимнем времени. Вот тут надо так устроиться, чтобы не быть сметенным с жизни зимними метелями и не утонуть в осенней непогоде. Вот у меня и есть цель — добраться до Тулы; это недалеко, и если итти не торопясь, то приду как раз к началу сентября.

— А дальше?

— Ну, а дальше придется подработать, а там, в зависимости об обстоятельств, двинуться дальше.

Покончив с чаепитием, мой собеседник все, что он достал из сумки, укладывает обратно и, по-видимому, готовится в путь. Гляжу на его плотную, уемистую сумку, на широкие ремни, и мне становится грустно. Вот он уйдет, и я останусь один.

— А мне нельзя с вами пойти?

— Куда?

— В Тулу.

— Отчего же нельзя? Тула ни для кого не запрет... Да тебе и по дороге, ежели хочешь попасть в Севастополь. Пройдешь Тулу, потом Орел, Курск, Харьков... Впереди еще сколько интересных больших городов!.. Ну, что ж, после коротенькой паузы добавляет он, — пойдем, ежели охота есть.

И мы оставляем постоянный двор.

К вечеру того же дня попадаем в большую деревню, где думаем заночевать.

За время нашего небольшого путешествия я окончательно узнаю своего спутника. Зовут его Степан Гаврилович, а фамилия его Государев. По его словам, он происходит из очень знатного рода.

Его дед и ближайшие родственники занимались ассенизацией — чистили отхожие места, иначе, — по его словам, — купались в золоте.

— Мои родители, — рассказывает мне Государев, — хотя сами были неграмотны, но из меня хотели сделать образованного. С грехом пополам кончил я городское училище и попал в помощники к отцу. Мне быстро надоело

наше ароматное дело, и на восемнадцатом году жизни я ушел из дому. Сейчас мне уже сорок лет, и я совсем отвык от дома. А жили мы в большом городе под названием Саратов. Вот и все. До Тулы еще далеко, пока дойдем — ты всю мою жизнь узнаешь, а хорошего понемножку, давай-ка заночуем здесь.

Первый раз в жизни мне приходится ближе увидеть русскую деревню. Она меня поражает своей убогостью, кривизной маленьких закоулков позади домов с соломенными крышами, слепыми оконцами и многим другим, чем полна нищенская жизнь русского крестьянства.

Мы находимся в избе старосты. Нам в сенях отводят место, застланное сеном. Мы устраиваемся на ночлег.

Мне нравится: пахнет ромашкой, не дует, и совершенно темно.

Засыпаю крепко и сладко. Чуть свет меня будит Степан Гаврилович.

— Вставайте, милорд, пора чай пить.

День обещает быть теплым и солнечным. Ни малейшего ветра, а далеко впереди, за лесом, разгорается пожар восхода.

Мы пьем чай, а затем отправляемся дальше. Над нами высокое голубое небо, а впереди желто-серой лентой светится бесконечно длинная дорога.

Мы идем по узкой мягкой тропе вдоль шоссе, держась ближе к сжатым полям. Куда ни глянешь — всюду желтые скирды хлеба и беспредельный светлый простор предосеннего утра.

— Нравится?

— Да, — отвечаю я, вдохнув в себя свежий, чистый воздух.

— Значит, будешь бродягой.

— А как живут бродяга? — спрашиваю я.

— Как живут? Вот так, как мы с тобой. Идут неведомо куда, меняют местности, ночуют часто в лесах, на берегах рек и озер. Летом, когда жарко, купаются, отдыхают на зелени, глядят в небо и часто плюют на весь мир. Им легко за плечами нет никакого груза прошлого, никому они не обязаны, и жизнь у них подобна птицам небесным: они не сеют, не жнут, а сыты бывают...

— Это в евангелии есть, — вставляю я.

— Вот-вот, по евангелию и живем. Но ты

спроси — кому мы нужны? Вот на это я тебе отвечу — никому, ни себе, ни людям.

Степан Гаврилович вздыхает, движением туловища поправляет за спиной хорошо налаженную сумку и говорит мне:

— Вот скоро будет село Вознесенское, там мы с тобой пообедаем. Согласен?

— Очень даже согласен. Степан Гаврилович, у меня деньга есть...

— Да что ты, неужели есть!..

Смешливые огоньки вспыхивают в маленьких коричневых зрачках Государева.

Я гордо вытаскиваю из кармана серебряный полтинник Сперанского и показываю спутнику.

— Хо-хо, так мы живем! Ну, ладно, пусть же нам светит солнце, благо это дается даром. Скоро сделаем привал. Ну, старик, вперед!

Он уже несколько раз называет меня стариком, и мне нравится это шутливо-добродушное обращение ко мне...

После нищенской приземистой деревни село Вознесенское кажется мне городом. Главная улица вымощена, горят на солнце кресты двух церквей, попадаетеся двухэтажный дом

имеется трактир, несколько кабаков и много лавок, где продают баранки; деготь, лапти...

— Ну, эта улица не для нас, — говорит Государев, — пойдем по боковушке, там найдем обед подешевле.

Сегодня воскресный день, и село оживлено. Много людей — женщин, детворы, девчат и парней. Разодеты все по-праздничному.

Светятся в голубом утре разноцветные ленты, платочки, ситцевые юбки с большими цветами и узорами; но попадаются и сермяги, лапти, облепленные грязью онучи... Звонят колокола, и где-то далеко за рекой наяривает гармошка.

Обедаем в маленькой избушке, где за нами ухаживает большого роста грязная старуха с острым взглядом черных глаз. Она ставит нам на стол миску горячих щей, соль и каравай хлеба.

— Ешьте на здоровье.

— Спасибо, спасибо, бабушка, уж постараемся для твоей милости, — откликается Государев.

С небывалым аппетитом пожираю горячую пищу, и мне по вкусу приходится дере-

венский хлеб, пахнувший парным молоком.

Уже полдень. Солнце стоит над селом, обливая его обильным золотом. Мы уходим.

В конце села, где находится кузница и совсем маленькие домишки, собрался народ. Слышу шум голосов и вижу массу детей в серых рубахах, со светлыми головками, цветом волос напоминающими солому.

— Что-то там интересное, — говорит Государев.

— А что?

— Не знаю, вот подойдем — увидим.

Когда мы приближаемся к толпе, я слышу воющий женский голос, а затем входим в толпу, и перед нами уже видна небольшая площадка перед кузницей.

Прихожу в изумление: в нескольких шагах от нас у деревянного столба, предназначенного для привязи лошадей во времяковки, стоит босая женщина, привязанная толстой веревкой к деревянной перекладине стойла. В кузнице разведен огонь, и я вижу темнобородого кузнеца, раздувающего мех.

Среди женщин, окружающих площадку, слышны шопот и робкие голоса. Все здесь

чрезвычайно возбуждены.

Даже сам Государев, все знающий, все понимающий, не может мне объяснить, что здесь делается, и только спустя немного, когда кузнец с маленькой подковой подходит к привязанной женщине и приступает к обычной операции, какую проделывают кузнецы с лошадьми, — нам становится ясным страшное, кошмарное дело, происходящее на глазах у крестьян. Пьяный кузнец в наказание хочет подковать свою жену, а та, худая, изможденная, с выбитыми передними зубами, тянет одну высокую воющую ноту, и никто из присутствующих не думает за нее заступиться.

— Что за безобразие! — вырывается, у моего спутника. — Чево вы глядите, — обращается он к женщинам, — разве можно так истязать человека?

— Она, чай, явонная жена, а муж волен над ею... — говорит стоящая ближе всех к нему женщина в желтом платочке.

Кузнец подходит к жене и хочет красную подкову приложить к подошве ее босой ноги. Женщина продолжает выть, а кузнец, обведя толпу мутными глазами, прикладывает горя-

чую подкову к пятке.

Раздается шипение, и слышен запах горелого мяса. Но тут происходит неожиданное. Государев движением руки и плеч сбрасывает с себя сумку, поднимает большой камень, подходит к кузнецу в ту минуту, когда он хочет еще раз приложить к ноге жены подкову, и ударяет его в грудь с такой силой, что кузнец сваливается наземь.

Поднимается многоголосый шум. Только сейчас многие начинают понимать, как хорошо сделал прохожий, не допустив полного искалечения женщины.

— Так ему и надо!..

— Нельзя так зверствовать...

— Ежели в чем виновата жена — ну побей, потешь душеньку, но зачем такие издевательства...

Удар оказывается настолько сильным, что кузнец с трудом встает на ноги, икнув раза два, издает звериный крик и, шатаясь, уходит в избу.

Никто не думает заступиться за кузнеца, и мы беспрепятственно выходим из села и продолжаем путь.

В моих глазах Государев вырастает в необыкновенного героя, и я смотрю на него с любовью и уважением.

### 13. Учитель

Сегодня мы с Государевым кончаем работу на железной дороге.

Нас наняли подбивать шпалы — поденно, конечно. За свой труд мы вдвоем получаем в день семьдесят пять копеек, Степан Гаврилович — полтинник, а я четвертак.

С непривычной мне приходится трудно. Кирка, заостренная с двух сторон, надета на длинную рукоятку.

Инструмент весит не менее пятнадцати фунтов. Стоя перед шпалой, надо бить по песку и этим способом приподнять настил.

Каждые десять минут мне приходится делать передышку. Потом становится жарко. А Государев, глядя на меня, посмеивается:

— Что, старик, устал? Не все же коту масленица... Вот, кончим сегодня и пойдем дальше — прямо на Орел.

Смотрю на Государева и удивляюсь ему. За все время нашего совместного житья я не помню его в скверном настроении духа.

Всегда весел, говорит прибаутками и ни на что не жалуется.

Работает усердно и умело, его движения ритмичны, неторопливы, рассчитаны и точны.

В полдень получаем расчет и отправляемся дальше.

Находимся в двадцати верстах от Тулы. Идем лесной тропинкой и глазами отыскиваем удобное местечко, где бы можно присесть пообедать и отдохнуть.

Сентябрь дарит нас золотыми улыбками ушедшего лета. Так тепло и так ярко светит солнце, что если бы не струящаяся золотая желтизна верхушек берез и не фиолетовые широкопалые листья кленов, опаленных заморозками, можно было бы подумать, что сейчас лето.

Хорошо шагать по мягкой, устланной опавшими листьями тропе и вдыхать свежий воздух, пахнущий грибами. В полуобнаженном лесу сейчас светло и просторно.

— Вон за тем бугорком, — говорит мой спутник, — есть чудесная поляна, там мы расположимся на отдых. Надо будет только до-

стать кипятку. Можно было бы зайти в деревню, да жаль: последние хорошие дни стоят.

Он прав. Действительно, за бугорком открывается прекрасная зеленая лужайка, охраняемая высокими березами. В полуверсте от нас видна деревня. Государев просит меня сбегать за кипятком.

Обед наш прост, но сытен. Состоит из вареной колбасы, неизменного ситного хлеба с изюмом и горячего чая вприкуску.

Сытые и довольные, мы растягиваемся на мягкой траве и предаемся отдыху. Толстыми, но умелыми пальцами свертывает Государев собачью ножку, набивает ее махоркой, закуривает, с удовольствием выпускает тонкий дымок и говорит:

— Ну, скажи, старик, чем плоха наша жизнь? Любой богач может позавидовать. Appetit у нас здоровый, желудок работает на славу, чего же больше?

Я долго смотрю в небо, слежу за хороводом легких белых облачков и говорю мечтательно:

— Почему так бывает, что весной все рождается, цветет, а зимою тихо умирает?.. Почему

му человек рождается, живет, а потом становится стар, хил и тоже умирает?.. Почему это?

— Очень просто почему — чтобы не надое-ло. Ты сообрази хорошенько: что хорошего в том, если бы человек не умирал? Ведь он не только другим, но и самому себе надоел бы. Вот поэтому и жизнь и смерть — для разнообра-зия, чтобы не было скуки на земле. Был та-кой на свете царь — Иван Грозный, и был другой такой же царь в древнем Риме по имене-ни Нерон. Ну, вообрази себе, если бы эти коро-нованные звери жили всегда — какой ужас был бы на земле! Вот природа так и делает — сметает все скверное, а на место этого стара-ется создать что-либо получше...

Я долго думаю над словами Государева, — но понять сущность его слов не могу, хотя все, что он говорит, мне нравится и кажется непреложной истиной.

Мы держимся ближе к железной дороге, «на всякий случай», говорит Государев. Часто нас настигает длительный гудок паровоза, а иногда останавливаемся перед шлагбаумом, даем пройти поезду и снова шествуем вдоль широкого шоссе. К вечеру мы подходим к ма-

ленькой станции Московско-Курской дороги и намереваемся там переночевать. Мы спускаемся с горки и при свете солнечного заката видим огромное количество людей — мужчин, женщин, детей.

— Переселенцы, — говорит Степан Гаврилович.

— А кто они такие? — спрашиваю я.

— Известно кто — мужики.

— А куда ж это они?

— Надо полагать, есть у них какой-либо путь. Теперь крестьяне расползлись по всей Руси подобно тараканам перед пожаром — землю ищут.

— А зачем это им? У них же есть земля?

— В том-то и беда, что у них нет земли, а глина да песок. Землю помещики себе забрали.

— Ну, и что ж?

— Ну, известно что. Каждый человек ищет, где лучше, вот и переселяются в разные далекие местности, где имеется свободная земля.

— А есть такая?

— Как же не быть, для чего-нибудь воюет же царь! Завоевываем новые земли в Средней

Азии, на Дальнем Востоке, в Турции и гоним своих крестьян.

— А как же те?

— Кто же?

— Да вот, кого мы завоевываем.

— Ну, брат, тех никто не станет спрашивать, на то они и завоеваны.

Мы совсем уже подходим к полустанку и попадаем в тесную гущу людей, одетых в серые и коричневые грубошерстные сермяги, в самотканые порты, обутых в лапти к суровые обмотки вдоль ног.

Узлы, мешки, маленькие и грудные дети, крики ребят, голосистые выкрики женщин и хмурые бородатые запыленные лица мужчин производят тяжелое впечатление.

Оказывается, что эта огромная толпа людей тоже намеревается провести здесь ночь под открытым небом в ожидании обещанного им товарного поезда. Впервые вижу я такое скопление крестьян.

— Как же они жили до сих пор?

— И до сих пор жили так, как сейчас, и до самой смерти будут жить, ни на минуту не расставаясь с нуждой, темнотой и безысход-

ной нищетой.

Государев говорит уже без усмешки, и глаза его полны печали.

Мне тоже жаль этих людей, в особенности маленьких ребят с заплаканными и грязными лицами.

На другой день чуть свет уходим, держа путь на Орел. Погода начинает портиться. Встают и тихо плывут по небосклону тяжелые серые тучи — вестники холодных дождливых дней. Наше настроение портится. Я жалею:

— Чорт возьми, как хорошо было вчера...

— А ты думаешь, вечно будет солнце светить? Нет, старик, надо ко всему привыкать. Подождем малость, а ежели осень ударит и польет изо всех труб, тогда мы с тобой снова найдемся на работу и будем искать непротекающую крышу, а пока что давай держать путь вон на ту деревню, видишь? И прибавь шагу.

Идем. Нас провожают плакучие березы и обмокшие лохмотья верб и ветел.

Не дойдя еще до деревни, мы замечаем большое оживление и даже видим двух всад-

ников, мчащихся прямо к селению. А когда входим в деревню, то попадаем на такой базар, какого я никогда еще не видел. По загонам люди с бляхами на груди тащат несколько коров, телят, овец и лошадей, а за ними с воем, криками и рыданиями следуют бабы. Их отгоняют урядники, сидящие на рослых сытых конях.

— Прочь отседа! — кричат они, размахивая нагайками.

— Что здесь? — спрашиваю я.

— Ничего особенного: начальство царскую подать выколачивает.

— Как выколачивает?

— А так. Не заплатили подушные за землю — вот у них отбирают живность в счет уплаты.

— Почему ж они не платят?

— Потому что денег нет... Откуда же мужику взять? А для мужика корова это, брат, кормилица, без нее совсем подохнешь.

— И они отбирают?

— Да, отбирают — сам, чай, видишь.

В это время одна пожилая женщина подбегает к своей корове, вырывает из рук сотского

веревку и тащит к себе обратно. Но тут подъезжает верховой и, размахивая над головой женщины нагайкой, кричит:

— Отстань, стерва, отпусти, а не то засеку до смерти!

— Секи, родимый, убивай, а Буренушку не отдам я тебе, детишки помрут мои, не отдам! — кричит баба.

— Уйдем, — шепчет мне Государев. — Представление не очень веселое, и сделать его лучше мы не можем. Пойдем до следующего селения, а там и отдохнуть можно. Эх... эх...

Мы уходим, провожаемые воем, плачем женщины и гиканьем и свистом урядников.

Сейчас Степан Гаврилович является для меня единственным близким человеком. Я привязываюсь к нему, как бывает только привязан человек к брату, к отцу. Я уже знаю не только его прошлую жизнь, но могу угадывать его мысли, знаю, как он отнесется к тому или иному факту. Люблю его слушать. Он говорит всегда просто, понятно и умно. Для меня наши беседы являются откровением. Я начинаю понимать, какой ужас представляет

собою человеческая жизнь, когда она скована жестоким бесправием деспотических законов.

— Почему так много крестьян, а защитить себя они не могут? Вот в деревне, где отбирали окот, там сотских и урядников было всего человек десять. Что бы стоило сотням крестьян задавить их и отнять свой скот?

— Да, нечего оказать, хорошие мысли гуляют в твоей голове! А не хочется ли тебе за эти слова сесть в тюрьму?

— Нет, мне не хочется, — отвечаю я. — Мне только желательно узнать, отчего это так бывает, что большинство людей подчинены меньшинству людей богачей.

— О, старик, куда ты забираешься! Видно, у тебя башка совсем не пустая. Ну, ладно, уж ежели так, то постараюсь тебе и это объяснить. Ты знаешь, что такое раб? Этот сорт людей существовал в самой глубокой древности и существует до наших дней. Раб — это человек, взятый другим человеком в плен. Более сильный заставляет на себя работать более слабого. Среди волков этого не бывает... И вот представь себе такую картину. Мы с тобой во-

оружены до зубов. У нас хорошие кони, мы садимся верхом и нападаем на ту самую деревню, где сейчас стоит стон обиженных. Налетаем, даем два-три выстрела и побеждаем всех — и сотских, и урядников, и всех крестьян, потому что мы напали врасплох и были вооружены. С этого момента ты можешь делать с людьми все, что захочешь. Прикажи пасть на колени — все упадут; прикажи работать — все возьмутся за труд; прикажи отдать все добытое трудом — все отдадут. Такова сила человеческой трусости и темноты. Этим пользуются все властители земли от древних времен до наших дней. И пока будут властвовать цари, короли, князья, бароны, помещики, до тех пор рабы будут жить во тьме и плоды своих трудов отдавать деспотам. Все понял?

— Да, — отвечаю я. — Но неужели нельзя найти справедливости?

— Как нельзя? Очень просто, можно. Слышал ты такое слово — восстание?

— Знаю. Индейцы в Америке тоже восстают.

— Ну вот. Восстают, сбрасывают с тронов

деспотов и выбирают президента.

— И тогда все уже хорошо?

— Не совсем. Президент, привыкнув сидеть на своем высоком кресле, начинает убеждаться, что он умнее всех и что все должно ему подчиняться, и тогда история начинается сызнова. Появляется новый деспот под названием президент, и число рабов становится еще больше.

— Чорт возьми! Какой дурак человек...

— Вот когда ты все понял! Раз ты это знаешь, то никогда не зазнавайся.

Наш разговор происходит на сеновале избы старосты, где мы ночуем.

Зима настигает нас, когда мы добираемся до Орла, — зима жестокая, с метелями, морозами, вьюгами.

Первые два-три дня мы ночуем в городской ночлежке среди вшивой босяцкой команды, в тесноте, духоте и махорочном дыму.

Проедаем последние гроши, оставшиеся от осенних заработков.

Государев целые дни куда-то ходит, переговаривается с какими-то людьми, заходит в частные слесарные мастерские и, наконец,

находит то, чего искал: мы поступаем в железнодорожный механический цех.

Степан Гаврилович в качестве слесаря, а я — подручным.

Государев работает не хуже любого специалиста. Он становится у тисков, подбирает инструменты, получает работу и вообще ведет себя как опытный хороший мастер.

А я ношусь по большой мастерской, таскаю куски металла, ручные станки, исполняя приказания старших мастеров.

Мне это нравится, а главное, понемногу приучаюсь и сам владеть то одним, то другим инструментом. Степан Гаврилович меня учит и приговаривает:

— Ты, старик, стань ближе к твердому металлу, тогда жизнь твоя будет мягче.

И я стараюсь изо всех сил. А спустя месяц я уже неплохо владею напильником и радуюсь, когда мне удастся исполнить тот или иной заказ Государева. Я уже не могу видеть равнодушно кусок железа или стали: мне хочется из бесформенных кусков сделать законченную полезную вещь.

Платят нам очень мало, но на питание хва-

тает. Степан Гавриилович снимает у одного рабочего небольшую комнатенку, и мы устраиваемся по-хозяйски.

Так проходит время. Знакомимся с многими ребятами из мастерской. Бывают выпивки с песнями и плясками под гармошку, причем Государев и здесь занимает не последнее место. Он знает много песен, веселит общество, и что меня особенно удивляет, — это его умение пить. Наступит момент — отставит от себя рюмку и скажет: «Баста», и тут уже никакие уговоры, никакие приставания, никакие ругательства и насмешки не в состоянии заставить Степана Гаврииловича выпить хотя бы одну каплю.

Вот за это я особенно люблю его.

#### 14. Один

**В** длинные зимние ночи, когда остаемся одни, Государев рассказывает мне о своих интересных приключениях и об огромных пространствах, пройденных его собственными ногами. Теперь мне понятно, почему Государев все знает, умеет жить, понимать людей — я смело отправляюсь в далекий путь.

— А когда пройдет зима, мы тоже здесь

жить будем? — задаю я ему вопрос.

— Что касается меня, — отвечает он, — то заранее могу сказать тебе, что с первыми же весенними днями меня здесь не будет, а ты можешь оставаться.

— Это почему же вы так говорите? — обидчиво спрашиваю я.

Я не могу даже мириться с такой мыслью, чтобы расстаться с Государевым.

— Если захочешь, пойдём тогда вместе встречать весну.

С этой ночи мы только и делаем, что мечтаем вслух об уходе из Орла.

И действительно, как только становится теплее и сходит снег, нам уже не сидится на месте.

В один солнечный голубой день мы закупаем все, что нужно на дорогу, весело и бодро покидаем Орел, направляясь к югу, туда, где на пути стоит Курск.

Только теперь я начинаю по-настоящему любить природу. Только теперь я оценю каждое дерево, каждую распускающуюся почку, каждую волну лесного аромата.

Как хорошо лежать на согретой солнцем

земле и вдыхать в себя сладкий и тонкий запах цветущей земляники!

Как удивительно звонко поют весною птицы. Откуда берутся у них такие сильные звуки, такие бесконечные песни? А эта голубая чаща над землею с ее перламутровыми облачками, освещенными солнцем... Как хорошо думается, глядя в высоту, какие мысли приходят в голову, какая смелость живет в твоей груди, когда обнимаешь далекие горизонты и чувствуешь себя живым участником всей этой безбрежной, необъятной жизни!

Мы делаем большие перевалы, совершенно незаметно и без всякой усталости. На рассвете, разбуженный моим спутником и учителем, встаю, закидываю за спину маленький мешочек, беру в руку палку, и мы отправляемся дальше. Бодро шагаем вперед, и, когда солнце встает над нами, мы уже отмахали двадцать верст.

— Теперь, — говорит Государев, — можно подзакусить и всхрапнуть малость.

Выбираем с большим знанием дела небольшой, но уютный клочок, где имеется все для нас необходимое: и ручей с ключевой

водой, и лес невдалеке, и не совсем крутой откос, и озеро или река, где можно купаться и поплавать, а главное — вблизи села или деревни, где легко раздобыть картофель и кусок свиного сала.

Да, мы умеем жить. Это не то, что бедняки-горожане, бегающие по лавчонкам и базарам, ищущие, где подешевле можно купить луковицу или стакан молока. У нас всего вдоволь, а главное и самое ценное — это золотые солнечные дни, малиновые закаты и сиреневорозовые тихие восходы. Где найдешь, где увидишь такие картины, такую красоту и такой отдых!..

Моя радость велика потому, что со времени ухода из Орла я не испытываю ни малейшего огорчения, никакой усталости и никакого недостатка в насущном хлебе. И когда Государев, желая отрезвить меня, рассказывает о тяжелых днях бродяжнической жизни, я не очень этого боюсь.

— Ну, так что ж, — говорю я. — Знаю, что неприятно ходить по дождю, шлепать босыми ногами по грязи, зябнуть холодной ночью, но не всегда же это бывает. Вот сейчас, когда

мы сидим здесь на берегу этого зеркального озера и когда мне хочется немножко поспать под звонкий свист птиц, мне даже противно думать об угрюмой осени и о зимних метелях.

Так говорю я, не зная и не предчувствуя, какое огромное горе ждет меня впереди.

Середина лета. Стоят жаркие, душные дни. Мы забираемся куда-нибудь на дно обрыва или к подножию холма, куда не проникает солнце, и двумя серыми комьями лежим без движения, без дум.

Но чуть солнце склоняется к западу и раскаленный воздух теряет зной, как мы уже на ногах и шествуем до поздней ночи, наверстывая время.

Сегодня мы ночуем в степи, неподалеку от города Александровска, на берегу широкого Днепра. Завтра Государев выберет путь, и мы двинемся дальше.

— Здесь много дорог, — говорит Степан Гаврилович. — Пойдешь направо, вдоль Днепра — до Херсона доберешься, пойдешь налево — на город Екатериноелав наткнешься, а ежели вздумаешь прямо держать путь, то в Область Войска Донского попадешь — на

родину Стеньки Разина. Вот, старик, сколько дорог перед нами.

— А где же Севастополь? — спрашиваю я.

— Отсюда дорога и на Севастополь. Пойдешь сначала направо, дойдешь до Мелитополя и по крымским степям доберешься и до Севастополя.

— Еще далеко?

— Нет, теперь уже недалече, верст триста, больше не будет.

Медленно начинает светать. Чуть-чуть светлеет синева, и далеко на востоке открывается оранжевая щель.

Там рождается солнце. Государев встает и велит мне собираться в путь. Идем прямо на Александровск. В светло-серых сумерках рассвета видны очертания города.

Немного времени спустя мы подходим к пристани — деревянный помост, а внизу караван больших, длинных, вместительных барж.

Тишина, безлюдье. Подходим ближе к воде.

На одной из барж, самой близкой к пристани, из трюма поднимается человек. На нем

парусиновые штаны и больше ничего.

Серой пылью покрыто давно не бритое лицо, и опущены вниз длинные, тонкие светло-русые усы.

Не спеша поднимается он на борт, ленивым движением сбрасывает штаны, становится на самый край и делает движение перед тем как броситься в воду.

— Тимоша! — вырывается у Государева.

Тот оборачивается, смотрит на нас, мгновенно натягивает на себя брюки и бежит к нам. Крепкое рукопожатие и радостные взгляды дают мне понять, что Государев неожиданно встретился с дорогим, близким ему человеком.

— Вот так встреча! — кричит весело и бодро Государев.

— А я, Степа, был уверен, что встретимся с тобой. А это кто? — указывая на меня, спрашивает Тимоша.

— Попутчик молодой, из самой Москвы шаландаемся с ним. Зимовали в Орле, а сейчас меня тянет на Херсонщину, а его на Севастополь.

Слова Государева меня пугают. Неужели

мы с ним должны расстаться? Этого не может быть. Но судьбе угодно нанести жестокий удар по моей жизни.

Степан Гаврилович, после небольших переговоров с Тимошей, обращается ко мне:

— Ну, старик, прощай, спасибо тебе за компанию. Я уйду на Херсонщину, а ты прямым путем ступай к Черному морю.

Молчу, чувствую, как глаза мои наполняются слезами и у горла. застревает горький ком.

— А мне нельзя с вами? — сквозь сдавленные рыдания спрашиваю я.

— Нет, голубчик, три человека в пути — это уже шайка. Так ходить не принято. Да и зря ты печалишься. Попутчиков сколько хочешь: выйди на шлях и выбирай по своему вкусу любого.

Я плохо вникаю в слова Государева, но каждый звук его голоса ударяет меня по сердцу, и я готов кричать от отчаяния. И наконец происходит то, чего я больше всего боюсь: меня оставляет Степан Гаврилович.

Один... Один среди необъятных странств... Куда итти?

Только теперь я понимаю, какое огромное значение для меня имел Государев. За его широкой спиной мне жилось спокойно. Он, мой учитель, защитник, ушел от меня... Бросил навсегда...

Я падаю на скамью, закрываю лицо ладонями и плачу горячими, болезненными, мучительными слезами.

Москва 1934 г.

## **Часть четвертая**

### **1. Миша Окунев**

**Г**олубой шелк взморья, светлый горизонт, озолоченный утренним солнцем, и широкая россыпь домов радуют мой взор. Стою на вершине холма, гляжу на распластаный в зелени долил город, и сердце взволнованно мечется в груди.

Наконец-то я достиг того, к чему стремился целых два года!

Сколько верст истоптал я босыми ногами, какие случались встречи...

Не счесть тяжелых дней, бесприютных ночей под открытым небом, и не забыть мне пу-

стынного одиночества, полного боязни перед огромными пространствами, лежащими впереди...

И вот я у цели — внизу лежит город Севастополь, где живет мой богатый родственник Михель Окунь — сын Переца.

Я знаю, как и где его можно найти, — три дня расспрашивал о нем всех, кто попадался мне по пути, еще задолго до приближения моего к городу. Теперь надо найти главную улицу — Нахимовский проспект, а там в самом конце на берегу бухты стоит большой белый дом.

Это гостиница Киста, а при гостинице служит комиссионером Михаил Петрович Окунев, или просто — Миша.

Меня волнует вопрос: есть ли этот Миша Окунев мой родственник — Михель Окунь. И еще меня смущает мой «костюм». Стараюсь привести себя в порядок. Плюю на тряпочку и вытираю порыжевшую грязь на моих искривленных и тяжелых сапогах. Застегиваю ворот серой косоворотки и аккуратно опоясываюсь коричневым шнурком. Бросаю палку, беру подмышку мой убогий узелок и медлен-

но сползаю по Матросской улице к центру города.

Вот и Нахимовский проспект. Улица красивая, богатая, зеркальные окна в магазинах, хорошая мостовая — почти Одесса.

Иду по теневой стороне. Солнце поднимается над городом.

Будет жаркий день. А вот и синий щит воды — значит, сейчас увижу гостиницу Киста.

Вхожу в разбитый на площади сквер, иду по главной дорожке, посыпанной мелким гравием. По случаю раннего часа в сквере нет гуляющих, и вообще город, по-видимому, спит.

Еще немного, и я сквозь густую зелень сада замечая белый дом. Подхожу к нему совсем близко, но подняться по мраморным ступеням парадного хода не решаюсь — меня пугают строгие бакенбарды и осыпанная блестящими пуговицами ливрея швейцара.

Несколько минут стою в нерешительности, не зная, что предпринять, как вдруг раскрывается дверь и появляется веселое, улыбающееся лицо человека в форменной фуражке с золотой надписью — «Отель Кист». Его русая

бородка, небольшой рост и жизнерадостное выражение больших серых глаз внушают мне доверие. Набравшись храбрости, подхожу к нему и вежливо спрашиваю:

— Скажите, пожалуйста,, не знаете ли, где здесь находится Михель Окунь?

Обладатель веселых глаз при моем вопросе немного отступает и в свою очередь задает вопрос:

— А вам на что это нужно? И откуда вы знаете Мяхеля Окуня?

Лицо его становится серьезным, и с губ соскальзывает улыбка.

— Он мне очень нужен, — отвечаю я. — Я ему родственник...

— Родственник?.. С какой стороны?..

— Со стороны отца, — отвечаю я уже более смело.

— А кто ваш отец?

— Вигдор Свирский...

— Вигдор а сын? — почти кричит мой собеседник. — Не может быть!.. Так я же тебя знаю!.. Ты Шимеле!.. Ну, так я-таки да Окунь...

И он протягивает мне руку.

— Ну, а теперь мы так сделаем, — говорит

Михель, — подойдем к пристани — сейчас придет из Одессы пассажирский пароход, — я, может, встречу гостей, а потом поведу тебя домой.

Я до того рад и счастлив, что не могу слова сказать и с трудом сдерживаю смех, готовый вырваться из глотки.

По пристани разгуливает публика. Преобладают светлые легкие костюмы. Бросаются в глаза красные и белые зонтики. За широко раздавшимися берегами бухты в тихой истоме разметалось безграничное море. Утро теплое, неподвижное, безоблачное. Огненные блики солнца дрожат, сверкают и плещутся в голубом просторе покойно дремлющего моря.

Всюду такая чистота, так прозрачны воздух и вода, такой опрятностью веет от белых платьев женщин, так нежно закутаны в зеленые плащи стройные кипарисы вокруг белого здания конторы, и куда ни взглянешь — везде так безупречно чисто, такая ласковая голубизна растекается по неохватным просторам, что невольно хочется стать невидимым, хочется исчезнуть вместе с моими грязными сапогами и давно нечесанной головой.

— Слушай, что я тебе скажу, — говорит Миша, слегка наклонившись ко мне, — сейчас придет пароход. Ты можешь себе стоять здесь, смотреть на все, что делается, а потом пойдешь, сядешь на скамейку и жди себе. А я к тебе подойду сам, и мы отправимся домой.

Я в знак согласия утвердительно киваю головой.

На далеком горизонте показывается темно-серая полоска. Это дым от невидимого еще парохода.

Публика приходит в движение. Все глаза устремлены на горизонт, где вскорости появляется крохотный силуэт плывущего судна. Постепенно вырисовываются мачты, трубы и бело-зеленый остов кузова.

Комиссионеры, с такими же золотыми лентами на шапках, как у Миши, но с разными названиями гостиниц, выстраиваются в один ряд.

— Это «Владимир», — роняет кто-то из собравшихся.

— А я думаю, что это «Святая Ольга», — слышится возражение.

— Думать можно, но только надо знать,

что «Ольга» третьего дня была и еще не вернулась из Константинополя, а вы хотите, чтобы она опять из Одессы шла сюда...

— «Владимир»!.. «Владимир»!.. — раздаются несколько голосов.

Пароход уже настолько близок, что можно разглядеть многие детали и даже пассажиров, столпившихся на палубе. Вот у борта стоит матрос, в руках у него свернутая в виде круга веревка, прикрепленная одним концом к канату, лежащему на косу парохода рядом с якорем.

«Владимир» делает крутой поворот и скользит к пристани.

Пассажиры машут шляпами, платками, приветствуя собравшихся на пристани. Кипит и пенится вода изпод кормы, слышна команда, матрос ловким движением руки бросает конец на берег, и совсем близко, почти касаясь деревянного настила пристани, прижимается колоссальный остов парохода.

Слежу за Мишей. Он впереди всех, поминутно снимает фуражку, кланяется, здоровается, и по всему видно, что он знает многих и многие знакомы с ним.

Сижу в сквере на первой от входа зеленой скамейке.

Жду Мишу. В сквере появляются гуляющие — няни с ребятами.

Катают колеса, бросают мячи. По ту сторону ограды показываются загорелые белозубые лица матросов. Они стараются улыбками, глазами, шутками обратить на себя внимание нянек и бонн. Матросы не смеют входить в сквер, потому что по аллеям расхаживают с дамами флотские офицеры в белоснежных кителях и с кортиками на боку.

Выше и выше поднимается солнце, а моего родственника нет.

Боль подложечкой напоминает мне, что я со вчерашнего полдня ничего не ел. В голову приходит пугающая меня мысль, что Миша забыл обо мне и не придет.

— Ну, ты-таки сидишь себе, — раздается позади меня уже знакомый голос.

Вскакиваю — и предо мною улыбающийся русобородый Михель Окунь.

— Ну, а теперь можем себе пойти домой... Позавтракаем... Ты кушать любишь? — заканчивает он свою речь вопросом.

Я смущенно молчу, но глаза мои говорят о моем сильном желании позавтракать.

Квартира Окуня находится неподалеку на Нахимовском проспекте в небольшом двухэтажном доме. По каменной лестнице поднимаемся на второй этаж. Нам открывает дверь небольшого роста худенькая женщина, черноглазая, с густым румянцем на впалых щеках. Одета в легкое полупрозрачное платье. Женщина смотрит на меня с удивлением, а когда замечает мои сапоги, на губах появляется брезгливая улыбка.

— Линочка, ты себе представляешь, кто он такой? Нет? Ну, так я тебе скажу: это мой двоюродный брат по фамилии Свирский... Как тебе это нравится? А?.. Ну, давай кушать, — обрывает Миша, заметив, что жена не разделяет его восторга по поводу моего появления в их доме.

Квартира состоит, судя по дверям, белеющим вдали, из нескольких комнат. Обстановка, на мой взгляд, богатая и красивая.

Чувствую себя немного смущенным, а неприветливость хозяйки дома окончательно убивает мою уверенность... «Ну, что ж, — ду-

маю я про себя, — дадут что-нибудь — возьму и пойду дальше».

— А ты знаешь, кто такая моя жена? — неожиданно обращается ко мне Миша, когда усаживаемся за стол. — Ну, конечно, ты не знаешь... Но, может, ты слыхал о знаменитом скульпторе Антокольском?.. Ну, так знай: вот эта Лина его двоюродная сестра...

— Ты закажи себе большую медную трубу и труби, кто я такая, произносит жена, поставив на стол большое блюдо с дымящимся жарким.

— А где Вадя? — обращается к жене Миша.

— Откуда я могу знать? Он- целыми днями шляется... Хоть бы скорее уж начинались занятия в гимназии...

— У меня есть сын, — говорит Миша, заглядывая мне в глаза. — Он у меня гимназист...

Завтрак окончен. Хозяин не дает мне опомниться: — Пойдем, я тебе покажу мой каретный двор... По дороге я расскажу, какое у меня дело и на какую работу я хочу тебя посадить.

Оставляю узелок в передней и следую за Окуневым.

Попадаем на Екатерининскую улицу. Меня поражают полуразрушенные дома с торчащими трубами, с обнаженными внутренними стенами. Можно подумать, что недавно здесь был пожар или произошло землетрясение.

— Что здесь такое? — невольно вырывается у меня восклицание,

— Это ты насчет поломанных домов? Таких поломали французы, итальянцы, турки, англичане... Была война... Понимаешь?..

— Давно?

— Говорят, тридцать лет.

— И никто не чинит?

— А кому это нужно? Царь здесь не живет, а купцам делать нечего. Коммерция тут плохая.

Подходим к самому большому и сильно разрушенному дому.

Ворота раскрыты настежь, и виден обширный, вымощенный крупными камнями двор. Вдоль ограды стоят тяжелые кареты, ландо, четырехместные коляски и рессорные брички. В полутемных конюшнях стоят лошади и перетирают зубами овес. Пахнет навозом и потными испарениями коней.

— Вот это все мое, — говорит Окунь, широко распластав руки.

— И дом ваш? — спрашиваю я.

— Нет. Дом принадлежит Красильникову, и очень хорошо, что не мой. Кому нужны эти камни? Но лошади и кареты — моя собственность.

К нам подходит широкоплечий рослый кучер с русой бородой, в длинной ситцевой рубахе с засученными рукавами. Он спрашивает, имеются ли пассажиры и какую надо приготовить запряжку. Миша отдает приказание, кучер уходит, и мы остаемся вдвоем. Здесь решается моя судьба, и я надолго прикрепляюсь к Окуневу.

Узнаю от Миши, что он живет в Севастополе без малого двадцать лет. Юношей прибыл сюда, устроился при гостинице Кистасначала в качестве подручного коридорного, а потом сделался комиссионером, каковым остается до сего дня. Зарабатывал он очень хорошо, обслуживая господ приезжающих. А когда скопил первую тысячу рублей, он по случаю приобрел четверку лошадей и одну подержанную карету. С этого у него началось. Ежегодно

прикупал лошадей и увеличивал число экипажей.

— И вот я себе, слава богу, живу, — рассказывает мне Миша, — и ничего больше не прошу у бога. Но ты же хочешь знать, зачем мне столько лошадей и карет? Так давай сядем на эти камни, и я тебе расскажу все.

Мы подходим к ограде, усаживаемся на большие цокольные камни, лежащие в тени, и Миша продолжает дальше рассказывать.

— Наш край был бы очень беден, если бы не московские купцы и петербургские князья. Эти люди имеют привычку каждый год весной и летом приезжать в Крым купаться, кушать виноград и целоваться с барынями. Сначала они приезжают сюда, в Севастополь, а уже отсюда едут в Ялту. А так как у нас нет железной дороги, то едут на лошадях... Ну, теперь ты понял, почему мне нужны лошади и кареты? Приезжает богатый господин. Я его снимаю с парохода или с вокзала железной дороги, везу его в гостиницу Киста, и он в моих руках, как ребенок у груди матери. Сколько хочу, столько он дает, и я его везу в Ялту, в Миехор, в Гурзуф, куда он хочет...

У рассказчика глаза купаются в смехе. Он рад, что может поделиться своим успехом, богатством и теми удачами, какими вымощена его жизненная дорога.

— Теперь, Шимеле... Нет, это не годится — Шимеле... Тебя надо назвать как-нибудь по-русски...

— У меня русское имя.

— Какое?

— Меня зовут Алексей... А еще можно и Алеша.

Миша смотрит на меня с удивлением, и в глазах у него какой-то испуг.

— Почему Алексей? Что это за имя?

Кровь бросается, — чувствую, как заливаюсь краской стыда, и жалею, что сболтнул, но делать нечего: приходится сознаться. И я в немногих словах рассказываю ему о московских событиях, о сестре и о моем крещении.

Несколько мгновений Миша сидит с опущенной головой, а потом, откинувшись немного назад, говорит:

— Э, знаешь что?... Ты хорошо сделал. По крайней мере у тебя имеется право жительства. А веры все хороши, когда деньги есть.

Только знаешь что? Пусть Лияка об этом не знает. Она такая религиозная, что просто ужас. Из-за нее мне приходится платить первую гильдию, чтобы иметь право на жительство. Первая гильдия стоит тысячу рублей в год, а креститься я бы мог за один полтинник... Но что поделаешь с сумасшедшей женщиной... Так пусть она ничего не знает, а я с тобой поведу дальше разговор.

Миша достает из верхнего кармана чесучевого пиджачка серебряный портсигар, предлагает мне папиросу и сам закуривает.

— Теперь я тебе должен вот что сказать: когда господин много дает, то он хочет за это получить большое удовольствие. Вот тебе пример-я беру с пассажира семьдесят пять, а то и все сто... Ну, и что же он за это у меня получает? Карету или, скажем, ландо, четверку лошадей и ночевание в Байдарах.

— Вы хотели сказать — ночевку, — вежливо поправляю я «Михаила Петровича».

Миша обеими руками расправляет бороду, смотрит на меня смеющимися глазами и повторяет:

— Ночевка... ночевка... Это-таки да, пра-

вильно. Меня вот этот язык губит. Если бы я говорил по-русски, как ты говоришь, — я бы уже давно был миллионером. И вот что я тебе скажу: за твой правильный русский язык я хочу посадить тебя на очень хорошее дело. Я уже тебе сказал, что я даю моим пассажирам. Но этого мало. Господину скучно ехать семьдесят верст на лошадах и всю дорогу молчать. Образованный человек любит поговорить. Он хочет познакомиться с окрестностями и со всякими замечательными предметами. Но с кем же ему говорить? С кучером? Так наши кучера умеют хорошо водку пить, а не говорить. Так вот я и хочу тебя сделать рассказчиком окрестностей.

— Ведь я же сам ничего не знаю, — перебиваю я Мишу.

— Погоди... Сначала ты сам узнай все, что попадется тебе по пути, а потом уже будешь рассказывать. Кроме всего, ты должен вежливо ухаживать за пассажирами. Что значит вежливо? Ты сидишь с кучером на козлах. Пассажир хочет остановиться, ты соскакиваешь, деликатно открываешь дверцы кареты и говоришь: «Пожалуйста, мусью или мадам...»

Ну, а потом еще в гостинице в Байдарах, где будут ночевать наши гости, подашь умыться, если нужно, сапоги почисть... Вообще будь вежливым и элегантным... Вот тогда тебе будут хорошо давать на-чай, и это уже будет твой собственный капитал. Я никаких процентов с тебя не буду брать.

— Мне неловко, — тихо роняю я, опустив голову.

— Почему неловко?

— Я очень плохо одет.

— О, вот об этом я и хочу говорить. Прежде всего я тебе куплю костюм, ботинки, соломенную шляпу и даже манишку монополь. Ты себе будешь выглядеть, как высокопоставленный лакей. И ты будешь получать хороший на-чай, если не будешь лениться. Все, что я на тебя истрачу, я высчитаю. Я, конечно, думаю, что ты согласен обеими руками на это. А если так, то пойдем на базар, и я тебя одену с головы до ног. Но помни, ты должен быть благодарен и не удрать с новым костюмом.

Мы встаем и покидаем каретный двор.

## **2 «Рассказчик окрестностей»**

Новая полоса жизни светится предо мной. Пригретый и обласканный крымским солнцем, начинаю чувствовать себя неплохо. Но то, что со мной происходит, так ново, — интересно, неожиданно, что я перестаю обращать внимание на неприятные мелочи жизни, временами больно ударяющие по моему самолюбию и сознанию человеческого достоинства.

Жена Окунева, не стесняясь моего присутствия, заявляет о своем нежелании видеть меня живущим в их квартире. Она называет меня вшивым бродягой. Михаил, находящийся в подчинении у этой маленькой злой женщины, вынужден меня устроить в доме Красильникова, в небольшой каморке рядом с кучерской. Там я сплю, вместе с кучерами — обедаю, пью чай, но чаще всего нахожусь в разъездах.

Пространство в восемьдесят верст, лежащее между Севастополем и Ялтой, мне уже хорошо знакомо. Я знаю все достопримечательности южного берега, могу назвать всех владельцев имений, с подробнейшими перечислениями титулов, родственных связей и

благосостоянии. На все вопросы господ пассажиров я отвечаю быстро, подробно и, конечно, не без выдумки.

С кучерами я в большой дружбе, по-братски делюсь чаевыми и часто являюсь ходатаем перед Мишей, когда он за пьянство прогонит того или иного возницу.

Конец августа. Сезон в полном разгаре. Гостиница Киста переполнена. Миша занят день и ночь. Он носится с пристани на вокзал, с вокзала в гостиницу, оттуда на свой каретный двор, снаряжает выезды и достает новых и новых пассажиров. Приезжают люди богатые — министры, князья, банкиры, фабриканты — весь «цвет» обеих столиц.

Никогда еще мне не приходилось видеть такого скопления знаменитых аристократов, замечательно красивых женщин... Какие наряды, шелка, кружева, бархат! Как сладко пахнет духами!.. Среди этой богатой, утонченной, образованной ярмарки верчусь я в коротеньком пиджачке и в серых туфельках на босу ногу.

Сегодня Миша мне говорит:

— Ты поедешь себе с очень хорошим госпо-

дином. Он один, а заплатил за тройку лошадей семьдесят пять рублей. Будь внимательным, вежливым и, как я тебя учил, элегантным. Ты получишь хороший на-чай. За это я тебе ручаюсь.

В восемь утра мы с кучером подаем открытую коляску, сверкающую на солнце черным блеском лакированных крыльев. Швейцар, низко огибая спину и широко раскрыв парадную дверь, пропускает мимо себя человека в темно-сером пальто, в фетровой шляпе, с небольшой темной бородкой и длинными, ровно подстриженными на затылке волосами. Миша петушком бежит за ним, нежно дотрагивается рукой до локтя пассажира, когда тот поднимается на подножку экипажа, и, сняв свою комиссионерскую фуражку, желает пассажиру счастливого пути и светлых радостей.

Откуда Миша взял эти «светлые радости», я не знаю, но он решительно всем пассажирам повторяет это пожелание.

Пассажир грузно опускается на пружинное сиденье, откидывается на спинку, снимает шляпу, проводит рукой по каштановым с про-

седью волосам, закинутым назад, устремляет грустный взгляд больших серых глаз на пристяжную и мягким грудным голосом роняет:

— Можно...

Кучер перебирает вожжи, натягивает их, чмокает, и мы срываемся с места. Кучер Данила любит быструю езду.

Едем. За нашей коляской рыжими клубами несется пыль. Жарко.

Приступаю к своим обязанностям. Оборачиваюсь лицом к пассажиру, осторожно вглядываюсь в его лицо, в его утомленные полузакрытые глаза и, указывая рукой на пышную зелень, вырисовывающуюся с левой руки, далеко от нашей степной дороги, говорю:

— Вон там английское кладбище. В земле зарыты генералы, офицеры и множество солдат... А еще дальше ио той же линии будет французское кладбище. Видите, вон там вдали темнеет... вроде леса... Миллион человек похоронено.

У моего слушателя в углах рта чуть-чуть появляется усмешка. Улавливаю в его глазах хитрые блески. Мне становится неловко. Умолкаю и незаметно поворачиваюсь обрат-

но к лошадям.

В полдень, когда солнце висит среди неба и обжигает землю потоками знойных лучей, мы въезжаем в Байдарокую долину. Здесь гораздо интереснее. Уже чувствуется близость моря и прохладной тени от густо разросшейся зелени богатой и сочной долины. Здесь я уже не могу молчать и считаю долгом своим заинтересовать, развеселить моего угрюмого, молчаливого пассажира. И я говорю, говорю без конца. Рассказываю ему о том, как выглядит море с высоты Яйлы, какие бывают здесь восходы и как хорошо чувствуют себя господа, остающиеся ночевать в гостинице Осипова. Подробно излагаю перед ним, какие прелестные виды открываются на утренней заре, когда идешь смотреть на восход солнца.

Пассажир смотрит на меня добрыми, многоречивыми глазами и спрашивает:

— Так ты советуешь переночевать? Нет, милый, слишком много времени терять надо. Думаю иначе устроить наш отдых. Пока накормят лошадей, ты сбегай в гостиницу и закажи хороший завтрак, а вино у меня в чемодане. Все понял?

— Очень даже понял, — говорю я и на ходу, не дожидаясь остановки экипажа, спрыгиваю на шоссе и бегу к гостинице Осипова — небольшому белому домику, состоящему из четырех комнат и обширной террасы.

Мой пассажир завтракает. На столе разнообразная закуска.

Подают шипящую. на сковороде большую отбивную телячью котлету.

Господин пьет из маленького граненого стаканчика охлажденную водку.

Стою неподалеку от стола и помогаю Осипову обслуживать этого скромного на вид, но, должно быть, судя по стараниям хозяина гостиницы, богатого человека.

— Лошади уже поданы, — говорю я, выглянув из окошка.

— Ну, что же, поданы так поданы... У лошади четыре ноги — может постоять. Не беда... — добавляет пассажир и снова берется за графин.

Замечаю, что лицо его делается все оживленней, на Широких калмыцких скулах появляется легкий румянец; шире становится улыбка, и влажным блеском наполняются

просторные умные глаза.

— У тебя, я замечаю, всего две ноги, а потому приглашаю тебя присесть, — говорит мой господин, лаская меня добрым голосом и веселым взглядом.

Сажусь. Он предлагает мне выпить. Я отказываюсь.

— Простите. Я еще никогда не пил...

— Охотно прощаю, — приятным баритонным голосом говорит пассажир, после чего выпивает сам и закусывает не котлетой, а кусочком соленого огурца.

— Хочу сказать тебе, милый мой проводник, несколько полезных для тебя слов. Ты хорошо и складно врешь, но делаешь ты это без огня. Так не годится. Надо так врать, чтобы тебя самого слеза умиления, восторга и радости прошибла. Вот тогда тебе поверят, и ты станешь впереди людей. Я сам брехун великий... Меня вся Россия знает, и за хорошую брехню большие деньги платят... Запомни это... А сейчас — едем дальше.

Он поднимается, велит позвать Осилова, щедро расплачивается и направляется к экипажу.

Всю дорогу до Ялты не перестаю думать о пассажире, сумевшем так ловко уличить меня во лжи. Но кто же он? Почему он знает?..

Только к вечеру узнаю от швейцара первой-классной гостиницы «Россия», что он знаменитый московский адвокат и зовут его Плевако.

Иногда случается возвращаться из Ялты порожнем.

Мой хозяин не любит таких «пустых» возвращений. И тогда мне достается.

— Ты что себе думаешь, — сердито говорит Миша, — лошади у меня едят воздух? А кучера и ты совсем не кушаете?.. Вот то-то... Надо подумать хорошенько... Я — не Ротшильд...

Если во время хозяйского выговора присутствует Лина, то, поджав тонкие, бескров-ные губы, она замечает, блестя злыми черны-ми глазами:

— Ты, Миша, напрасно ищешь подков из-под ленивого коня — ленивый конь подков не теряет...

Я знаю, чего от меня хотят мои хозяева. Они были бы мною довольны, если бы я каж-дый раз возвращался из Ялты с «обратными»

пассажирами. Но мне, по правде говоря, не очень улыбаются беготня по гостиницам, мебелированным комнатам, заискивающие расспросы, просьбы, унижительные выпрашивания с обещаниями процентного вознаграждения.

Люблю возвращаться один. И тогда шутки ради я изображаю богатого господина. Сажусь в ландо, закуриваю, угощаю кучера, разваливаюсь на мягких кожаных подушках и капризным тоном приказываю:

— Послушай, братец, будь, пожалуйста, осторожнее на поворотах.

Кучер, тоже шутя, отвечает ругательной лаской.

Больше всего мне нравится, когда проезжаем мимо виноградников Ливадии и Ореаады. Янтарные гроздья среди сникшей от жары зелени дразнят глаз. Приказываю кучеру остановиться, что тот исполняет с большой охотой.

Вползаю в самую гущу и, лежа на спине, поедаю с большой жадностью сладко пахнувший виноград. А наевшись доотказа, тащу долю кучеру.

Но самый большой и незабываемый для меня праздник — это те три часа, когда в Бай-дарах кормим лошадей.

По знакомым тропинкам легко взбираюсь на вершину горы, откуда в осенние утренние зори проезжающие аристократы любят смотреть на восход солнца.

Здесь все нравится, и каждый куст, и великаны-деревья, и цветы, и густая листва-близки и дороги мне. Один стою на высоте темно-зеленой горы и до усталости восхищаюсь Морем. Отсюда чистым голубым глазом мира кажется мне эта водная равнина.

Вот где хорошо и сладостно мечтать! Никто не мешает. Я могу говорить о чем угодно.

Знаю и помню, что на моей верхней губе с недавних пор растет темный пушок. И вместе с ним крепче бьется в груди сердце, и в моих мечтах все чаще появляется женщина. Кто она-не знаю. Но она становится мне родной. Я готов с этой невидимой, но хорошо ощущаемой девушкой беседовать, объясняться в любви, источать порывы сердца, пролить за нее буйную кровь юности и плакать слезами умиления и глубокого счастья.

Когда на нашем горизонте появляется очень богатый или знаменитый «гость», то еще задолго до его появления Миша уже знает, когда, с каким поездом или на каком пароходе прибудет ожидаемое лицо.

Вот так носятся слухи о предстоящем приезде королевы Наталии, бывшей жены сербского короля Милана.

Миша суетится, готовится, ежедневно посещает каретный двор, велит угнать, вычистить, вымыть, покрыть лаком лучшую коляску.

В один солнечный, ясный день приезжает бывшая королева. Весь Севастополь заинтересован. Особенно много сегодня гуляют в сквере около гостиницы Киста-моряки и артиллеристы. Все чисто выбриты, лакированные ботфорты горят чарным блеском, и мне кажется, что каждый из офицеров кочет сделать грудь свою шире и выпуклей.

В полдень мы подаем коляску. Миша собственноручно оправляет на мне манишку и красный галстучек бантикам и велит убрать упрямые иссиня-черные кудри, падающие мне на глава.

Собирается народ. Шуршат по гравии сабли кавалеристов и позванивают шпоры. Выходит королева. Одна.

Одета в светлосерое платье с блестящей нитью перламутровых пуговиц позади. Никаких украшений. Без золота, без бриллиантов, ничего королевского. Милое улыбающееся лицо, матово-смуглое, озаренное большими темно-серыми глазами, прекрасная, гибкая, молодая фигура и радостная полнозубая улыбка на правильно очерченных губах.

Офицеры подносят руки к вискам. Она, любезно блестя глазами, отвечает поклонами и, слегка приподняв платье, ставит маленькую ножку, обутую в туфелек цвета платья, на ступеньку коляски.

Дашша, лучший из наших кучеров, одет по-праздничному.

Тщательно расчесана и пышно расправлена борода, на затылке лоснятся под скобку остриженные волосы, и на малиновой безрукавке ни одной пылинки. Даже темно-рыжие пристяжные изогнувшись кренделями, косят черными выпуклыми яблоками масляных глаз на интересную пассажирку.

Пятый час пополудни. Спадает жара. Легкий ветер пропитан запахом моря. Едем по голой степи. Жду с нетерпением, когда справа на минуту блеснет голубая лента в каменном коридоре Балаклавы. Тогда, может быть, пассажирка задаст какой-нибудь вопрос. Мне очень хочется обернуться к ней лицом и поговорить об окрестностях.

Мне впервые приходится возить одиноко едущую женщину. Знаю, что моя госпожа — «бывшая» королева, и в моей памяти оживают образы всех знакомых мне цариц, королев... из прочитанных книг. То, что было недостижимо, сейчас становится живой действительностью.

Не графиня и не княгиня, а настоящая королева сидит в нашей коляске.

Но почему она молчит? Хоть бы одно слово сказала, а там я поговорю как следует... И вдруг:

— Что там такое? — раздается тонкий женский голос.

Маленькая ручка в серой перчатке протягивается по направлению к показавшейся Балаклаве.

Быстрым движением поворачиваюсь на козлах, не без опаски обнимаю глазами королеву и отвечаю:

— Это Балаклава... Здесь во время войны погиб многочисленный флот. Один водолаз, нырнув до два, видел эти суда...

— Когда это было?

— В прошлом году, — не задумываясь, твердо лгу я.

Королева удивлена. Мне нравится приподнятая бровь над серым ясным главам.

Стелятся сумерки наступающего вечера. До Байдар еще десять верст. Королева заби-лась в угол коляски и молчит и не смотрит.

Зато я спокойно верчусь на козлах, заглядываю в коляску, надолго сохраняю в зрачках моих образ красавицы и перебираю в уме несколько ярких полосок из ее жизни, известных мне из рассказов Миши.

Она дочь бессарабского помещика, миллионера. За красоту, а может быть, и за огромное состояние король Милан взял ее себе в жены. А потом, с обычной для королей жестокостью, создал такую обстановку, что дочь помещика отказалась от высокого коро-

левского звания, ушла из дворца, вернулась на родину, и вот сейчас я везу ее в Ялту.

Не знаю почему, но я ни о чем другом не могу думать, как только о бывшей королеве. Моментами мне даже становится жаль ее: «Бедняжка, носила корону, была вхожа во все царские дворцы, а теперь сидит одна-одиноченька в мищиной коляске и, наверно, страдает...» Вот и Байдары. Встречает нас сам Осипов, заранее оповещенный телеграммой. Лучшая комната убрана со всею тщательностью и вниманием. Освещена двумя лампами. На столе бархатная скатерть с узорами. Кровать блещет чистотой. На окнах живые розы. И сам Осипов в новом костюме.

Королева приказывает подать чай. Я иду к воротам.

Люблю выглянуть из ворот и посмотреть на лежащее у подножья горы море. Всегда оно неожиданно появляется, и всегда меня радостно поражает этот безбрежный простор и далекие-далекие горизонты, но сейчас вечер с черным небом, украшенным бисерными узорами сверкающих звезд. Заглядываю за ворота и вижу огромный золотой шар, катящийся

по водной пустыне. Это — месяц.

От него тянется к самому берегу серебряный зыбкий мост.

А по обеим сторонам моста в темных глубинах вод горят, сверкают и трепещут маленькие огни. Догадываюсь, что ночное небо с поднимающейся луной отражается в воде, и прихожу в волнение: такой картины я никогда еще не видал.

Бегу в гостиницу, открываю дверь в комнату пассажирки и говорю:

— Не хотите ли посмотреть на восход луны?

Королева стоит у зеркала с распущенной косой. Она чуть-чуть поворачивает голову, обдает меня ледяным взглядом серых глаз и движением руки указывает мне на дверь. И ни слова.

И кончается сказка. Нет королевы, нет красавицы, а есть холодная женщина, чужая и недоступная. Ну и пусть так... Не нужна она и мне.

Ухожу в купеческую, пью с Данилой чай, закусываю сладкими булочками и ложусь спать.

На рассвете меня будит Осипов.

— Вставай... На восход солнца пора...

Быстро вскакиваю и кулаками тру сонные глаза... Я уже привык к подобным встряскам: часто приходится на рассвете водить приезжих господ на вершину Байдар.

Выхожу во двор, у колодца промываю студеной водой глаза и направляюсь к королеве. На мой длительный стук в дверь раздается сонный, капризный женский голос:

— Не мешайте спать. Сама позову, когда надо...

Возвращаюсь на свое место и мгновенно засыпаю.

Солнце выходит из-за гор, когда Осипов вторично будит меня и велит итти к пассажирке. Застаю королеву сидящей на постели в одной сорочке.

— Дай умыться. Принеси холодную воду и чистый таз...

Выкатываюсь из комнаты с горячими иглами в глазах.

Мне стыдно, неловко и в то же время чрезвычайно любопытно. И пока я исполняю приказание, не перестаю про себя повторять: «По-

чему ей не стыдно?.. Ведь я мужчина... Неужели. не видит, что скоро должны у меня вырасти усы!..» Приношу большой белый таз, кувшин холодной воды и, стараясь не глядеть на пассажирку, направляюсь к двери. Но королева меня останавливает:

— Погоди, ты мне поможешь...

С этого момента я не выхожу из состояния сильного смущения и неловкости. И все, что происходит, до того необычайно, что кажется мне сном. Но когда красавица сбрасывает с себя рубаху, войдя ногами в таз, и приказывает мне поливать ее из кувшина, я окончательно теряюсь, и кувшин качается в моей дрожащей руке.

Дальше идут уже мелочи — обтирание тела лохматой простыней, пахнувшей духами, свертывание длинных волос в узел и последние слова:

— Ступай, ты больше мне не нужен...

И при этом ничего не выражающий холодный взгляд

Спускаемся по зигзагообразной желтой ленте шоссейной дороги из Мисхора в Ялту. Сижу рядом с Даниилой и храню упорное мол-

чание.

Ни разу не заглядываю в коляску. Я зол и мысленно не перестаю ссориться с королевой. Моему возмущению нет границ. За кого она меня принимает? Она смотрит на меня, как на собаку. Перед животным человеку не стыдно. Так пусть же она знает, что такое отношение и у меня к ней. Пусть она и королева, но раз в ней нет стыда к человеку, стоящему ниже нее, то в моих глазах она теряет всякое достоинство.

И когда швейцар гостиницы «Россия» сует мне в руку пятирублевку, говоря, что королева меня награждает за оказанные услуги, — я до боли сжимаю бумажку в руке, подхожу к коляске и передаю пятерку Даниле.

— Это тебе, Данила...

— А сколько ты получил?

— Ничего... И не хочу никаких наград от таких королев.

Вот все, что живет в моей памяти от поездки с высокопоставленной особой от Севастополя до Ялты.

### **3. Пресыщение**

**У** Миши есть компаньон — ялтинский дачевладелец Цыбульский.

Владение Цыбульского обширно, застроенно разнообразными зданиями, большой конюшней и красивым домом с просторной террасой на море.

Находится владение Цыбульского на Аутской улице, с виноградником, поднимающимся вверх по Яйле.

Цыбульский — небольшого роста толстяк с длинными опущенными усами похож на Тараса Бульбу. Он держит лошадей с легкими шарабанами, пролетками и является единственным конкурентом известного и прославленного московскими Купчихами Османа и его многочисленных братьев. Отношения между Мишей и Цыбульским заключаются в том, что мы имеем стоянку у компаньона.

Последний обязан кормить лошадей и рекомендовать «обратных» пассажиров. За это Миша уплачивает Цыбульскому известный процент и в свою очередь рекомендует приедем дачу Цыбульского и его экипажи для прогулок по окрестностям Ялты.

Заканчивается летний сезон. Реже приходится возить приезжих из Севастополя, но зато из Ялты попадают чаще обратные пассажиры.

Живу большей частью у Цыбульского. Человек он с виду очень добродушный, приветливый и шуточный. Со Мною обращается хорошо и всегда шутя находит для меня работу с обещанием вознаградить меня за это «по-царски».

— Отъ, добре, шо приихав. Есть до тебе да-ло одно: треба конюшню принарядить. Уж я за цие тебе награду дам таку, шо помираты будешь — добрым словом меня вспоманешь.

И мы вместе с единственным работником Цыбульского — долговязым Петрухой — чистим конюшню.

Конечно, никакой награды не получаю, но не обижаюсь. Хозяин до того мил и приятен, что подчиняешься ему охотно и без мысли о вознаграждении.

Для меня приходят самые тяжелые и неприятные дни.

Прекращается съезд, и я становлюсь оседлым жителем Севастополя и вынужден еже-

дневно сталкиваться с женой Миши.

Она смотрит на меня как на служащего и заставляет меня работать по дому. Мою лестницы, бегаю на базар и в лавчонки, чищу вадькии сапоги, а нередко Лина заставляет меня гулять с мальчишкой и следить, чтобы он не озорничал и не пачкал новый костюмчик.

Вообще хозяйка моя не любит, когда я сижу без дела.

Сейчас же что-нибудь выдумает и заставит взяться за ту или иную работу.

Если бы не глубокая осень со злыми ветрами и хмурым небом, я обязательно ушел бы из Севастополя.

Однажды, когда мое раздражение достигает предела, я заявляю Мише:

— Если Лина не прекратит надо мною своих издевательств, я брошу все и уеду в Одессу.

— И ты-таки сделаешь большую глупость, — говорит Миша.

— Почему? — вырывается у меня вопрос. — Почему?..

— Потому, что ты не успеешь как следует высморкаться, как снова придет весна, и мы

опять заживем. Ты меньше на эту дуру обращай внимания. Возьми себе пример с меня: когда она ругается, я себе молчу, а когда плачет — я себе смеюсь. И у ней-таки да, чахотка, а у меня нет.

Кончается тем, что мы с Мишей посмеемся, и я на время утихаю.

Миша прав. Зима здесь не держится долго. В конце февраля и в начале марта уже начинается весенний слет богатых и больных людей.

Миша узнает, что в ближайшие дни в Крым приезжает знаменитый французский миллионер барон Ротшильд. Когда Миша произносит это имя, его лицо принимает гордое и счастливое выражение.

— Вот это богач!.. — восклицает Миша и при этом прищелкивает языком.

— Разве и Ротшильд поедет на наших лошадях?

— А ты думаешь, что уж если Ротшильд, то он должен ехать на козлах? Конечно, на коих-я... И чем мои лошади плохи?. Я их покупаю у самых лучших помещиков, когда они по пьяному делу продают их почем зря...

И Ротшильд действительно приезжает. Миша в большой ажиотации.

Именем Ротшильда полна сейчас вся его жизнь. Меня он не перестает поучать и рассказывает все, что сам успевает узнать о знаменитом банкире.

— Вот это, я понимаю, человек!.. Каждую минуту он имеет десять тысяч рублей прибыли! Понимаешь ты, что это значит? Теперь подумай — сколько надо иметь ума, чтобы получать такие доходы?

— А зачем он приезжает? Разве во Франции нет своего собственного Крыма?

— Ой, ой, еще какой Крым! Дай бог каждому... Он едет сюда по любопытству. У него имеется хорошее дело в Баку. Он себе закупил все наши нефтяные фонтаны. Но раз он хозяин — ему хочется посмотреть на свою покупку. А уже заодно прокатиться по южному берегу Крыма... Понял?

Проникаюсь уважением к знаменитому миллионеру и жду с нетерпением моей поездки с ним по хорошо знакомой мне дороге.

Наступает долгожданный день, приезжает Ротшильд с женой. Я разочарован: никаких

признаков миллионера не замечаю в наружности, одеянии и обращении этого длинного сухощавого человека с рыжими, горизонтально лежащими усами. А его жена — молодая, небольшого роста, круглолицая женщина — одета в простое гладкое платье цвета венгерской сливы. Ни в ушах, ни на руках, ни на шее нет никаких бриллиантов, жемчуга и золота.

Моментами кажется, что Миша принимает этих простых и с виду небогатых людей за Ротшильдов по ошибке.

Барон и его супруга не говорят по-русски. Меня это очень огорчает: хотелось бы в пути наговориться со знаменитыми пассажирами. Миша мне советует:

— Попробуй поговорить с ним по-немецки...

— Я не знаю немецкого языка...

— Э, брось, пожалуйста... Каждый дурак может говорить, когда знает язык. А ты попробуй себе поговорить по-еврейски, но чтобы это выходило, как по-немецки... Вот тогда ты-таки да, будешь хороший проводник. Не забудь Ротшильд настоящий еврей и должен

понять, когда с ним беседуют на немецко-еврейском языке... Что тут особенного?..

В сияющий полдень южной весны мы с кучером Данилой подаем к гостинице самое «шикарное» ландо, запряженное четверкой лошадей.

Барон с баронессой в присутствии собравшейся толпы Любопытных садятся в открытый, по случаю хорошей погоды, экипаж.

Я взбираюсь на козлы, и мы трогаемся.

Разговор с Ротшильдам у меня начинается, когда проезжаем мимо французского кладбища! Я оборачиваюсь лицом к седокам. Старанюсь придать лицу игриво-веселое выражение и, чудовищно коверкая еврейский язык, говорю:

— Вот тут французское кладбище.

Ротшильд при первых звуках моего голоса расправляет пальцами усы, улыбается кариими глазами и спрашивает:

— Почему французское?

— Потому что здесь была война, и всех убитых французов похоронили, отвечаю я, радостно взволнованный тем, что знаменитый человек меня понимает.

Жена тоже заинтересовывается, и, все, что я говорю, Ротшильд немедленно переводит ей. Таким образом у нас завязывается оживленная беседа. Стараюсь быть как можно более интересным.

Особенно хочется смешить миллионера, и, разыгрывая наивного человека, я задаю ему вопрос:

— Окажите, вы настоящий Ротшильд? Да?

Пассажир немедленно переводит жене заданный мной вопрос я, смеясь, отвечает:

— Да, я настоящий... А почему вы сомневаетесь? (Это первый пассажир, говорящий мне «ВЫ».)

— Все утверждают, что вы богаче царя, а этого совсем не видно... У вас даже часы простые, и вы их носите в кармане брюк. И на вашей жене ни одной брошки...

Ротшильд смеется во весь голос, и жена прыскает, когда он переводит мои слова.

Насмеявшись вволю, пассажир отвечает мне полушутя, полусерьезно:

— Человек никогда не бывает доволен собой я всегда хочу казаться не тем, кто он есть. Глупый старается казаться умным, бед-

ный — богатым, а богатый — бедным. Вот почему мы не хотим, чтобы нас встречали как богатых.

— А в Ялте вас уже давно ждут, — говорю я после некоторого молчания.

— Кто ждет?

— Евреи.

— Зачем они ждут?

— Затем, чтобы на вас посмотреть и просить о помощи...

Ротшильд молчит, внимательно разглядывает свои ногти.

Мне кажется, что я немного огорчил его, и внутренне браню себя за излишнюю болтливость.

Мягкое покачивание рессор, ритмичное цокание подков четверки гнедых я нежное дыхание расцветающей весны навевают дрему. Храним молчание. Я крепко сжимаю железный прут сидения, чтобы не свалиться, если засну. Лениво перебираю в уме события дня и останавливаю мысль на пассажирах.

Как это случается, что один человек обладает таким богатством, каким удовлетворились бы десятки тысяч людей, если бы разде-

лить между ними это состояние поровну?

Миллионы, принадлежащие Ротшильду, представляются мне в виде огромного подвала, заставленного сундуками, набитыми Золотом и бриллиантами. Откуда? Каким путем этот рыжеусый человек, такой скромный с виду, мог нажить неисчислимые богатства? Почему французский король разрешает частному человеку быть богаче себя?

Эти наивные и нелепые вопросы выводят меня из полусонного состояния. Перед моими глазами нескончаемой вереницей проходят живые образы людей, встречавшихся на моем жизненном пути. Сколько голодных, оборванных, сколько горьких слез, жалоб, бессильных угроз приходилось мне видеть и слышать!.. А вот сейчас в нашем экипаже сидит обладатель несметных богатств, хозяин источника вечной радости, сытости, блаженства и наверно считает себя лучше всех. Почему такая несправедливость? И почему люди допускают такое неравенство? С этого момента Ротшильд теряет в моих глазах тот высокий интерес, каким я был полон, слушая восторженные отзывы Миши о нем.

«Хоть он и еврей, но настоящий атаман разбойников», — твердо решаю про себя и больше не хочу забавлять миллионера.

До Байдар мы с Ротшильдам — ни слова. Он молчит, и я не считаю нужным возобновлять беседу. Въезжаем в долину. Кучер по обыкновению лихо подкатывает к гостинице Осипова.

— Что здесь? — спрашивает Ротшильд.

— Байдары. Будем кормить лошадей, — отвечаю я.

— Долго?

— Два часа. Если хотите, можете покушать. Здесь очень вкусный стол, добавляю я, вспомнив, что в моя обязанности входит рекомендация Осипова.

Ротшильд что-то говорит своей жене. Та отрицательно качает головой и сонными глазами глядит на распускающуюся зелень.

— Нет, мы ничего не хотим, — говорит знатный пассажир.

— Не желаете ли взойти на крышу вот этих ворот? Оттуда очень хорошо все видно.

Мое предложение принимается, и мы по крутой лестнице взбираемся на гранитную

вершину Байдарских ворот.

«Теперь уже я их удивлю», — мысленно говорю себе и первый вскакиваю на ворота. Но я ошибаюсь — моих господ невозможно удивить. Они безразлично относятся к полнокровному весеннему солнцу, обливающему нежным светом молодую зелень, лазурь необъятного простора. Желтая лента извиистой дороги, острокрылые чайки, снежными хлопьями падающие на голубую равнину моря, далекие горизонты и белые вершины темных гор, всегда приводящие меня в восторг, не производят на Ротшильдов никакого впечатления. Сидят на скамье, испещренной фамилиями и именами никому неизвестных путешественников, глядят безучастными глазами и ничему не радуются.

Через два часа Давила подает ландо. Кони отдохнули. Правая Дунька, огибается в дугу и фыркает на своего соседа — тяжелого гнедого мерина ростом вдвое больше нее.

Осипов стоит на террасе в застывшей позе. Надо видеть его злое лицо, чтобы понять неудовольствие хозяина гостиницы, не получившего никакого дохода от столь редко-

го пассажира. А какие были приготовления, как чистились комнаты для приезжающих, какая провизия лежала на леднике... И вдруг даже через порог не переступил всемирно известный банкир!

С высоты моих козел стараюсь пожиманием плеч и выражением глаз доказать Осипову, что моей вины здесь нет.

Едем...

Узкое твердое шоссе южного берега с крутыми обрывами, жуткими пропастями, хаосом нагроможденных камней пугает жену Ротшильда. На круглом матовом лице и в темных глазах ее виден испуг. Она что-то говорит мужу.

Тот отвечает успокоительным жестом руки и обращается ко мне:

— Скажите кучеру, чтобы ехал тише.

Не оборачиваясь, передаю приказание Даниле. Тот вполголоса произносит обычное ругательство и натягивает вожжи.

Когда достигаем имения великого князя Константина Николаевича, Ротшильд, протянув руку по направлению хрустального дворца, спрашивает:

— Что там такое?

— Ореанда, — коротко отвечаю я, будучи уверенным, что каждый человек должен знать Ореанду.

И вновь наступает молчание. И так до самой Ялты.

Даже Ливадия не вызывает никакого любопытства со стороны моих пассажиров.

В Ялте уже известно, что Ротшильды остановятся в гостинице «Франция», а не «Россия», где останавливаются самые знатные и богатые люди.

Представители ялтинской еврейской общины встречают нас у парадного подъезда. Ротшильд, помогая жене выйти из экипажа, делает вид, что не замечает собравшихся евреев в количестве пяти человек с раввином во главе.

— Высокому гостю приносим привет и уважение, — говорит почтенного вида, с широкой седой бородой еврей, состоящий старостой синагоги. — Мы хотим обратиться к вам...

Ротшильд торопливо снимает шляпу, делает общий поклон и поднимается по мрамор-

ной лестнице, где его уже ждет хозяин гостиницы, черноглазый, маленький и коренастый француз.

Вот и весь Ротшильд. А какие надежды возлагал Миша, как славословил он великого еврея.

#### **4. Серафима вельская**

**Т**омлюсь желанием уехать отсюда. Жду паспорта. Отправил на родину старый документ с двумя рублями. Как только получу, обязательно уеду. Куда? Не все ли равно...

Надоели мне красоты Крыма. Пусть ими пользуются Ротшильды, а я уеду туда, где живут простые, но настоящие люди...

Беда только в том, что не могу накопить хоть сколько-нибудь денег на дорогу, Миша рассчитывается со мной так, что я всегда остаюсь ему должным. Купит мне пиджак или сапоги и пойдет высчитывать, и получается, что он от меня в убытке.

Уже начало сентября. Погода стоит теплая, с удовольствием купаюсь, пудами пожираю виноград, а в ветрах уже чувствуется холодное дыхание уходящего лета. Знаю, что в такое время пускаться в далекий путь небез-

опасно.

Лучше всего уходить весной, когда впереди ждут тебя теплые, солнечные дни... И я набираюсь терпения и с тоской думаю о предстоящей зиме, о тяжелой жизни в доме Окуневых и о сварливой, вечно недовольной хозяйке.

И вдруг неожиданный праздник. Миша говорит мне:

— Завтра повезешь в Ялту с ночевкой в Байдарах актеру Серафиму Вельскую. Пассажирка она так себе. Больших выгод от нее не жди... Но все же везти надо...

Равнодушно выслушиваю сообщение Миши. Меня давно уже не интересуют пассажиры. Вообще за последнее время нахожусь в угнетенном состоянии. Меня мучает сознание, что брожу по краям жизни и становлюсь сорной травой в цветущем саду южного берега Крыма.

Меня уже не радуют солнечные восходы, синяя гладь теплого моря, обильный сладкий виноград, ароматные цветы и тяжелый гранит высоких скал. Меня мучает моя безграмотность, мешающая мне войти в середину

жизни.

Сегодняшний день, солнцелюбивый, с чистым голубым небом и необжигающей теплотой, ничуть не гармонирует с моим угрюмым настроением.

В назначенный час мы с Захаром, длинноусым и сухощавым кучером, подаем изрядно потрепанную коляску, запряженную тройкой серых, в яблоках, лошадей. Весело и легко выходит из гостиницы новая пассажирка, одетая в белую кружевную мантилию, с мешочком, вышитым бисером, в руках. Миша идет рядом с ней и многозначительно играет глазами. Усадив пассажирку, он желает ей как обычно, «светлых радостей».

Новая пассажирка хорошо сложена. Миловидное лицо с задорным, слегка вздернутым носом полно неиссякаемой радости.

Весело горят большие глаза, густо оресниченные.

Только выезжаем из города, Вельская заявляет:

— Не люблю, когда две спины торчат перед моими глазами, — ничего не видно...

При первых звуках ее голоса я быстро обо-

рачиваюсь.

— Ведь нас же двое! — восклицаю я.

— Ничего не значит... Садись на скамейку напротив меня, и одной спиной меньше будет.

Я удивлен, но подчиняюсь с удовольствием. На полном ходу вскакиваю в коляску и сажусь на указанное место.

— Мне говорил комиссионер гостиницы, что ты первоклассный «рассказчик окрестностей»... Правда это?

Артистка смеется. Две ямочки на щеках и поблескивание прищуренных глаз, полных жизни и счастья, рождают во мне бодрое настроение.

Одет я сегодня довольно прилично. На мне новые ботинки на пуговицах, серые в полоску брюки и желтая косоворотка, опоясанная красным шнуром с кистями. Вчера подстригся, и кудри не лезут в глаза. Мысленно оглядываю себя и остаюсь доволен.

— «Рассказчик окрестностей»... — вспоминает пассажирка и заливается на всю степь.

Не могу отвести глаз от нее. И все в ней мне нравится... И крохотные туфельки фи-

сташкового цвета, и маленькие ручки в кремовых перчатках, и тонкий запах жасмина, исходящий от нее.

— Ты здешний? — неожиданно спрашивает она меня.

— Нет, я издалека... Живу у родственника второй год... Это его лошади.

— Во второй раз еду в Ялту, — говорит пассажирка. — В позапрошлом году проезжала из Симферополя через Алушту... Дорога интересная и красивая... А здесь мне не особенно нравится.

— Подождите немного, — говорю я, — до Байдар доедем — останетесь довольны... Всем очень нравится берег от Байдар до Ялты.

Эта молодая жизнерадостная женщина не любит молчать, и получается так, что она меня занимает разговорами, а не я ее.

Узнаю много интересного. Меня очень удивляет происхождение Серафимы Вельской — она крестьянка Рязанской губернии. На сцене уже Три Рода. Она мне объясняет, что играть в оперетке очень трудное надо уметь говорить, петь, плясать, плакать и смеяться.

Меня поражает простота и необычайная откровенность молодой женщины. Гляжу на себя со стороны и горжусь тем, что являюсь собеседником такой замечательной артистки, и еще тем, что сижу не на козлах, а в коляске.

К Байдарамъ подъезжаем уже друзьями. За три часа езды я не только успеваю ознакомиться с прошлым моей пассажирки, но самым подробнейшим образом рассказываю ей о моей бродяжнической жизни.

В гостинице Вельская заявляет о своем желании переночевать.

— И приготовьте вкусный и сытный обед, — говорят она, обдавая большого, неповоротливого Осипова весело смеющимся взглядом. — Грешна... люблю поесть... А теперь, — обращается она ко мне, — поведи меня на ворота и куда хочешь...

Серафима приходит в детский восторг, когда, взобравшись на каменные ворота, вдруг видит безбрежный голубой простор.

— Какая прелесть!.. Ах, как хорошо!.. С ума сойти.

А я гляжу на пассажирку и чувствую, как

радость вливается в мое сознание, и как счастлив я оттого что сумел так удивить артистку!

Насмотревшись вволю, идем обратно. По привычке, легко и ловко прыгаю по рассыпанным камням, заменяющим ступени. Вельская кричит:

— Погоди, шалый!.. Ну и кавалер!.. Дай руку... Ведь тут и шею сломать недолго.

Сознаю свою вину, поднимаюсь и неловко подставляю ей плечо.

Медленно сползаем вниз. Ощущаю близость женщины, слышу ее дыхание, прикосновение ее руки, и голова моя приятно кружится, и сердце играет в груди.

— Вот так... А то бежит, дикий... Ну, ничего, подрастешь — мужчиной будешь...

Последние слова обжигают меня стыдом. Неужели она принимает меня за мальчика?

Предраассветная тишина и холодное дыхание спящих гор. По крутой каменной тропе среди корявой, ветвистой поросли взбираемся к вершине горы, откуда хотим смотреть на восход солнца.

Сумерки ушедшей ночи светлеют с каж-

дым мгновением. Неведомо откуда льются потоки света, и перед нами неожиданно выступают темная зелень тесно растущих елей и серые выступы нахмуренных скал.

Кругом до того тихо, что даже наши легкие шаги и осыпающиеся камешки из-под ног производят шум, пугающий нас.

Неподалеку раздается сухой треск... Рука Вельской впивается в мое плечо... Мы останавливаемся... В десяти шагах от нас на краю отвесной скалы ясным видением вырисовывается небольшая горная козочка на розовых тоненьких ножках с темными копытцами.

Животное залито серебряным светом вставшего утра, и нам хорошо видны горячий черный глаз, пушисто-мягкая мордочка и приплюснутые ноздря, нюхающие воздух.

— Можно ее поймать? — шепчет Вельская.

— Да, поймаешь ее, когда она молнией носится по крутым склонам и прыгает через смертельные пропасти, — осторожно роняю в ответ.

Но серна чутким ухом ловит шелест наших голов и ныряет в каменистую бездну.

Беспрерывно меняются краски. Густо-ма-

линовые полотна растекаются по небосклону, рдеют и разворачивают бледнозеленные, серебристо-сиреневые полосы. Все эти краски отражаются в воде и живыми радугами стелются по морю. Необъятный простор покрывается такими чудесными огнями, такими драгоценными камнями, так сверкает мелкая зыбь воды, что боишься дыханием помешать невидимому художнику.

Встает солнце, огромное, багровое, и катится к горам.

За ним плывет ярко-пунцовая мантия с зелеными и оранжевыми краями. Этот шлейф, растянувшись на десятки миль, одновременно светит и морю я небу.

— С ума сойти!... С ума сойти... Спасибо тебе, родненький... — в тихой истоме шепчет Вельская, обняв мою голову.

Чувствую себя награжденным сверх меры и сверх всякого ожидания. Никогда не забуду Нежной ласки замечательно простой и прекрасной женщины.

В солнечный полдень спускаемся с Мисхора. До Ялты осталось уже немного. Меня заранее гнетет тоска. Через час подъедем к гости-

нице «Франция;», пассажирка заплатит за проезд, даст мне и кучеру на-чай и... улетучится мое свидение... Никогда не буду вблизи этой женщины, никогда не услышу ее чистого певучего голоса и не увижу симпатичных ямочек на улыбающемся лице...

— Здесь что? — перебивает мои мысли Вельская, когда приближаемся к Ореанде.

— Имение дяди царя Александра, — тихо отвечаю я.

— Ты что это, малец, приуныл? Не робей, подрастешь — мужчиной будешь...

Стараюсь откинуть невеселые мысля и ответной улыбкой гоню печаль.

— Ореанда... Ореанда... — тихо повторяет артистка и вдруг ударяет меня маленькой ручкой по коленке. — Это рядом с Ливадией? Да? Так я знаю... Там у меня один старикан есть знакомый, — добавляет она, хитро прищурив смеющиеся глаза.

Приезжаем в Ялту. Вельская останавливается в гостинице, лично расплачивается со мной, дружески похлопывает меня по плечу.

Я плохо соображаю, в глазах у меня горячие круги; механически кланяюсь, желаю

всего хорошего и медленно спускаюсь по мраморной лестнице.

А по городу расклеены анонсы, и всюду мелькают на белом фоне большие красные буквы: «Серафима Вельская».

Цыбульский советует остаться до вечера — ему мерещатся обратные пассажиры. Но я хочу скорее удрать отсюда и велю Захару запрячь свежую тройку лошадей.

Через час сажу один в коляске. Лошади шагом берут подъем.

Мне так грустно, что хочется плакать. Едем мимо ореандовских виноградников, и я, скорее по привычке, чем по желанию, велю кучеру остановиться. По узкой крутой меже ползу вверх к светящимся спелым гроздьям, опаленным солнцем. Ложусь на спину и приступаю к уничтожению любимого мною десертного винограда, крупного и сладкого. Ем прямо с куста, не срывая гроздей. Янтарные ягоды с красными щечками до того сочны, так приятна тишина, отрывающая меня от действительности, и так кротко светятся голубые просветы неба, что невольно выпадает из памяти только что пережитое.

Вблизи раздаются чьи-то шаги. Уверен, что это Захар.

Вот дурак, бросил экипаж!.. Все равно я ему принес бы долю...

— Ага, попался наконец!..

Голос незнакомый... Неразжеванный виноград застревает в горле. Быстро вскакиваю. Предо мной круглое загорелое лицо управляющего Ореандой. Я его знаю — он бывший матрос и любимец великого князя Константина Николаевича.

— И не стыдно? А? — говорит управляющий, отдавая меня насмешливо-злым взглядом- холодных серых глаз.

— Очень пить захотелось... Что тут особенного?.. Винограда так много:.. - бормочу я, не вникая в смысл произносимых слов.

— А если много, так это уже твое? Да? Ну, идем... Покажу я тебе много...

Он берет меня за руку выше локтя и сжимает с такой силой, что я готов закричать от боли.

Спускаемся по узенькой дорожке, ведущей к имению.

Вспоминаю: в прошлом году поздней осе-

нью Миша дал ему лошадей для проезда в Ореанду.

— Отпустите... Больше не буду... А если понадобится, прокачу вас на наших лошадях...

— Нет, брат, лошадьми меня не подкупишь, — отзывается управляющий, и я чувствую, как разжимается его железная рука. — Теперь, брат, — продолжает он, — не такое время, чтобы ходить по чужим виноградникам. В прошлом году мы поймали подосланных из Ливадии отравителей. А я почему знаю, кто ты такой?.. Может, филлоксеру прививаешь?..

Все это говорится спокойным, ровным голосом, и мне кажется, что широкоплечий и грудастый матрос окончательно подобрееет и отпустит меня. Но вот, вот уже недалеко узорные ворота Ореанды, а он и не думает отпустить меня.

Еще немного, и мы уже а имении и проходим мимо обширной дворцовой террасы, охраняемой тесной шеренгой темнозеленых кипарисов. В ту минуту, когда мы поворачиваем к знаменитой аллее роз, держа путь к небольшому белокаменному домику, с терра-

сы двorca опускается сам хозяин имения, и мы неожиданно почти сталкиваемся с ним. Управляющий мгновенно вытягивается, поднимает руку к козырьку, и его богатырская фигура становится неподвижной.

— Ваше императорское высочество, имею честь доложить... Сейчас поймал на винограднике, — говорит управляющий, глазами указывая на меня.

Великий князь — плотный, выше среднего роста старик, с небольшой седой бородой лопаточкой и большими голубыми, влажными глазами под пушистыми серыми бровями, рукой делает знак управляющему «быть вольно».

— А дальше что? — немного сильным голосом спрашивает князь и запускает руки в карманы белой тужурки, тесно облегающей его мягкие, мясистые плечи. Такие тужурки носят офицеры:

— Ваше императорское высочество, ничего худого я не сделал, — просительным — тоном говорю я. — Мы возвращались из Ялты... Захотелось пить... Никогда больше не буду... Ей-богу, не буду... Я артистку Вельскую свез и

ехал обратно.

Великий князь ладонью руки отгибает раковину уха, склонив немного набок голову, остриженную бобриком.

— Как ты сказал? Кого привез?..

— Артистку Вельскую...

Старик выпрямляется и велит освободить меня. Низко кланяюсь и хочу уходить, но князь меня удерживает.

— погоди немного... Позови мне Семена, — приказывает он управляющему.

Остаюсь вдвоем с великим князем.

— Где она остановилась? — спрашивает он меня.

— В гостинице «Франция», ваше императорское высочество, — бодро и громко отвечаю я.

Приходит садовник. Старик отдает ему какое-то приказание вполголоса, мне велит он подождать, и сам поднимается на террасу.

Мне становится ясным. Теперь только понимаю, какой знакомый «старикан» имеется здесь у Вельской.

Начинаю осматриваться. Впервые я нахожусь в Ореанде. То, что я вижу, превосходит

мои представления об этом лучшем и роскошнейшем из всех имений южного берега Крыма. Большой сверкающий дворец, украшенный хрустальными просветами и белой воздушной колоннадой, кажется сказочным. Хороша и аллея роз, ведущая к морю и вся пропитанная тонким и сладким ароматом. Здесь розы всех величин и окрасок: черные, белые, голубые, фиолетовые и бархатно-красные... Цветы сплетаются в яркие гирлянды и горят множеством красок на голубом фоне спокойного моря и безоблачного неба...

Одновременно появляются: садовник Семен с громадным букетом роз и спускающийся с террасы князь с маленьким конвертиком в руке.

— Где твои лошади? — обращается ко мне старик.

— Здесь на дороге.

— Хорошо... Возьми букет и вот этот конвертик, лети обратно и передай все это Серафиме Михайловне.

Делаю движение, чтобы уйти, но князь задерживает меня.

— Погоди, погоди...

Старик запускает два пальца в верхний карманчик тужурки и вытаскивает оттуда трехрублевую бумажку.

— Вот, возьми себе на сласти, — говорит он, передавая мне кредитку.

Четыре версты от Ореанды до Ялты мы скачем во весь карьер.

Подъезжаем к гостинице. Старика-швейцара я чуть с ног не валю... Взлетаю наверх и стучусь во второй номер.

— Войдите, — слышу знакомый мне голос.

Застаю Вельскую перед большим зеркалом. Она налаживает прическу. Черные вьющиеся волосы зачесаны назад, и пышный узел закреплен длиннозубой черепаховой гребенкой, украшенной перламутром.

— Что это?.. Откуда?.. Какие цветы!.. Какая прелесть! С ума сойти...

— Из Ореанды. Сам великий князь прислал. И вот вам маленькое письмецо.

Вельская бросает поданный конвертик на диван, а из букета вырывает темномалиновую розу и быстро вкалывает ее в черный омут пышных волос.

Ухожу с тяжелым сердцем, с непонятной

грустью и колкими мыслями, царапающими мое сознание.

Лишний я человек на земле. Кругом солнце, радость, любовь, а я стою в стороне, никому не нужный и ни для кого не интересный...

А все потому, что безграмотен. Ах, если бы научиться писать!..

Выхожу из гостиницы. Ко мне подходит старый еврей в черном котелке и с большой серой бородой.

— Можно вам сказать два слова? — обращается он ко мне по-еврейски.

Я утвердительно киваю головой, польщенный вежливым обращением.

— Ну, так пойдете вот сюда, за угол, и я вам все расскажу...

Узнаю от старика, что его с женой и замужнюю дочь, только что родившую ребенка, выселяют из Ялты, согласно закону о черте еврейской оседлости.

— Исправник кричал, топал ногами и сказал, что если мы сегодня не покинем Ялты, то он нас отправит, как самых последних арестантов, рассказывает мне дрожащим, взволнованным голосом седобородый еврей.

— Чем я могу вам помочь? — спрашиваю я.

— Чем? Вы можете нас окончательно спасти. У вас есть лошадь. Вы все равно едете обратно... Возьмите нас... Будем всю жизнь за вас бога молить... Денег у нас очень мало... Осталось только на железнодорожные билеты... Будьте так добры...

Давида Черняховского знают не только в Ялте, но и во всей округе как единственного и самого лучшего шорных дела мастера. Его знают татары, извозчики и все, у кого имеются лошади.

— Еще в прошлом году, — рассказывает мне старик, — бывший исправник предписал мне покинуть Ялту, но за меня заступились старожилы. Мне удалось доказать, что я сорок лет живу здесь, что мой отец — николаевский солдат пользовался всеми правами и что, наконец, я сам занимаюсь честным трудом и никому зла не причиняю. Но теперь действует новый исправник — и ни мои просьбы, ни слезы женщин и детей не помогают... и мы, как собаки, выброшены на улицу...

— Хорошо, — перебиваю я старика. — Сде-

лаю. Но надо, чтобы вы сейчас поехали.

Еврей крепко пожимает мне руку, и в его черных глазах накипают слезы.

## 5. Последний пассажир

Лошади с трудом тащат вверх полностью нагруженную коляску. Сажу на козлаж рядом с Захаром и боюсь за целостность рессор. Экипаж набит мелисами, чемоданами, всяческим хламом, а сверху всего — старик Черняховский с женой, его дочь с крохотным младенцем на руках и ее муж — тощий, длинноногий человек с застывшей скорбью в карих глазах.

Знаю, достанется мне от Миши за своеволие, но я не могу отказать, когда старики плачут...

Меня мучает желание спрыгнуть с козел и уйти, куда глаза глядят. Не хочу быть примазанным к Окуневу и участвовать в его обогащении. И вообще, надоел мне Крым!

В восемь часов вечера, за полчаса до отхода поезда, мы подъезжаем к вокзалу. И первый человек, кого я вижу, — это Миша.

При виде «пассажиров» у Миши глаза становятся круглыми, а лицо вытягивается.

— Что это значит? — грозно спрашивает он.

— Их выселяют...Исправник хотел арестовать... Мне стало жалко...

— Жалко?! — уже кричит на меня Миша. — А лошадей не жалко?.. Посмотри, в каком они виде... В поту купаются... Негодяй!.. Как ты смеешь!.. Рожу твою поганую набью!..

Сгораю со стыда. Перед моими затуманенными глазами проходят с виноватыми лицами Черняховские. Плохо вникаю в слова, тихо произносимые Захаром в свое оправдание, а Миша продолжает беситься, поливая меня тяжкими оскорблениями.

Ночью я долго не могу заснуть. Лежу в темной камерке рядом с кучерской и обдумываю план действий.

Твердо решаю покинуть здешние места и двинуться в далекий, неведомый путь, где, может быть, найду более интересную жизнь.

Прихожу к окончательному решению: завтра отправляюсь в Ялту, а затем поплетусь на родину. Пусть тогда Миша рассказывает, как я обманул его. Моя совесть чиста. Два с лишним года мучает меня «богатый родствен-

ник», вытягивая из меня все жилы. Что я ему стою? Гроши... Нет, довольно! Не хочу быть у Окунева. Здесь нет для меня просвета...

Утром меня будит Данила.

— Вставай, Ляксей... Хозяин приказывает везти на перекладных молодого барина с барышней... Швейцар сказывал — шантрапа, а не пассажиры... Ну, уж и не везет мне!.. — заканчивает бородач, махнув рукой.

Миша встречает меня с обычной улыбкой и смеющимися глазами.

От вчерашнего — ни следа. Все забыто.

Выругал, осрамил, назвал негодяем, обещал набить морду, а сейчас он в добром настроении и ждет от меня обычного послушания.

Нет, брат, меня ты этим не подкупишь. Я тебе больше не дурак — ищи себе другого.

Стараюсь быть обозленным — боюсь примирения. Мне надо быть твердым, иначе никогда не вырвусь на свободу.

Сегодняшний пассажир для Миши не представляет особенного интереса, но ему нужно вернуть Цыбульскому поданный сегодня экипаж. Приезжий занимает рублевый номер,

ничего не заказывает из ресторана, и сопровождает его просто одетая девица с гладкой Прической и печальным лицом. Коридорный Федька выносит чемодан и корзину, тяжелую, набитую книгами.

— Бары из-под нары... По гривеннику на чай отсыпают... Вот здорово!..

Данила сердито расправляет бороду и, крикнув, натягивает вожжи.

Из гостиницы выходит человек с небольшой черной бородкой, с длинными волосами, бледнолицый, с большими грустными глазами. Его ведет под руку молодая спутница. Несмотря на теплый день, на плечах пассажира висит тяжелый клетчатый плед. Сразу видно — везем больного.

Всю дорогу молчим. Пассажир кашляет, выделяя густую мокроту.

Спутница белым платком вытирает ему рот.

Этих господ ничто не интересует. Они ни о чем не спрашивают и ничего не хотят знать.

В Байдарах, выполняя свои обязанности, предлагаю, пока перепрягут лошадей, взойти

на ворота. Выслушав мое предложение, пассажир взглядывает на меня черными теплыми глазами и спрашивает:

— Это недалеко отсюда?

— Нет, вот они...

— Нельзя, нельзя, — вмешивается спутница, — там дует...

Едем дальше. Вот и Мисхор, Спускаемся по твердому узкому шоссе шагом. Сползаем по крутым зигзагам дороги и приближаемся к Ореанде.

— Глянъ-кась, никак царь приехал... Что-то народу собралось подле Ливадии, — говорит мне Данила.

Вглядываюсь и вижу большую толпу людей, длинной шеренгой растянувшихся вдоль дороги. Подъезжаем ближе, и сразу догадываюсь, что собравшиеся встречают нас.

Вижу молодые лица, горящие глаза, приветственные улыбки и живые цветы. Здесь гимназисты старших классов, гимназистки, студенты, всевозможные школьники и даже офицеры...

Нас приветствуют. Машут шляпами. Бросают в коляску цветы и низко кланяются.

Оглядываюсь на пассажира. Он снимает шляпу, улыбается, а в глазах искрятся взволнованная радость и счастье. Он тоже кланяется и худой белой рукой поправляет черные пряди волос, падающие на его высокий чистый лоб, покрытый мелкими каплями пота. Сотни рук приветственно машут нам. Живые улыбки, сверкающие молодые зубы и цветы, цветы без конца... Свежими розами устлан наш путь...

Никогда и никого еще так здесь не встречали. Незамеченной проехала королева Наталия, и никто не улыбался Ротшильду, а тут бедняк, больной, дающий гривенники на чай, — и вдруг такая встреча! Замечаю слезы в серых глазах спутницы...

Но кто он? Почему такая честь?

В Ялте встреча принимает грандиозные размеры. Толпа запруждает всю набережную, и мы подвигаемся шагом.

Снова цветы и радостные улыбки. У больного лицо покрывается румянцем. Восторг толпы все еще волнует пассажира, но в его черных влажных глазах я замечаю усталость.

Согласно распоряжению Миши, везу моего

пассажира к Цыбульскому.

Спутница заявляет, что больной чувствует себя плохо и просит меня и хозяина дачи помочь ей отвести больного в номиату. Приезжий впадает в забытие. Осторожно дотрагиваюсь да его сухой, костлявой руки, помогая ему выйти из коляски.

— Какая была встреча! — говорю я Цыбульскому, оставшись с ним наедине. — Вы не знаете, кто он? Почему его так чествуют?

— А кто его энае... Фамилия ему Надсон, а где служит — неизвестно...

Мне это имя тоже ничего не говорит, и я с досадой пожимаю плечами.

Получаю от Миши телеграмму: «Выезжай немедленно имеются первоклассные гости».

Не знаю почему, но телеграмма хозяина вызывает во мне сильнейшее негодование, я проклиная день и час, когда вздумал пойти в Севастополь.

Два с половиной года живу среди злых людей, впускающих меня в дом с черного хода. Ни одного дружеского слова, ни малейшего участия... Мише нет дела до моих переживаний, а когда однажды я заявляю, что хочу

учиться, он высмеивает меня... Ну, так пусть же он живет без меня... Такое счастье я найду везде.

Помню, зимой Данила находит за подушками ландо толстую книгу, забытую кем-то из пассажиров. Миша от книги отказывается, тогда я беру ее себе. Книга оказывается трудной, и все же я ее одолеваю. Название книги: «Характер». Написана английским ученым по фамилии Смайльс. По прочтении книги убеждаюсь, что у меня нет никакого характера, но что можно его создать. И вот теперь я решаю укрепить мою волю и покинуть Крым. Пусть меня ждет неизвестность, но не может же служить целью жизни — состоять «рассказчиком окрестностей»...

План ухода мною выработан подробно. Сорок рублей, полученные от последнего пассажира, беру себе на дорогу. Убежден, что в этом нет ничего преступного. Небольшая сумма явится единственной оплатой за мой длительный и нелегкий труд.

Расстаюсь с Окуновым легко и без всякой печали.

Знаю, что меня ждут тяжелые дни, дни

бесприютного одиночества, но все же сидеть на тряских козлах и врать для забавы господ проезжающих гораздо хуже.

## 6. Неизвестность

Ухожу из Ялты ранним утром. Иду по мягкой тропе вдоль широкого шоссе. Направо — синий простор, украшенный золотым просветом восхода и белыми осками бегущих волн, а налево — тёмнозеленая вязь густолиственных садов и парков.

В светлой тишине струятся запахи созревших слив, яблок, винограда... Дышу полной грудью, радуюсь моей свободе и бодро шагаю по массандровской дороге. Держу путь на Гурзуф.

В этот рассветный час, когда чайки боятся криком нарушить тишину встающего дня, когда при полном безлюдии особенно просторны и светлы горизонты и когда земля пахнет медом и крепким звоном медленно уходящего лета, я приветствую самого себя — независимого, вольного бродягу...

Знаю — впереди ждет меня ненастье... Ну и пускай...

Зато сейчас я один — прощальным голо-

сам провожает меня голубое море, малиновым знаменем машет мне заря, приветливо кланяются освобожденные от плодов вершины яблонь, шлют свое «прости» тяжелые ветви, украшенные фиолетовыми ожерельями сочных слив, радуют мой взгляд озаренные утренними лучами янтарные гроздья позднего винограда, и по-родственному улыбается мне вечно цветущий Никитский сад.

Прохожу мимо Гурзуфа, прекрасного гнезда избалованных богатствам людей. Сейчас я вижу над долиной возвышающийся Ай-Даниль. Мой слух улавливает топот лошадей и шум колес по мелкому гравию шоссе. Оглядываюсь. Меня настигает легкий плетеный шарабан, запряженный парой малорослых буланых шведок. На козлах сидит Керимка — широкоскулый паренек с косыми поблескивающими щелками вместо глаз. Я его хорошо знаю. Он приемыш Османа, известного содержателя лошадей, легких экипажей и лучшего проводника.

— Эй, куда шатай-болтай? — кричит мне Керимка, растягивая толстогубый рот в улыбке.

— А ты куда? — спрашиваю я.

— На Сымферополь лайда... Осман продал...

— Что продал?

— Лошадка продал... Шарабан продал...

Мене продал...

— Кому?

— Бухштаб... Знаишь Бухштаб?

Сообщение Керимки меня не удивляет. Разбогатевшие в Крыму торговцы любят обзаводиться собственными дачами и выездами.

По приглашению Керимки сажусь в шарабан, прямо в Симферополь, с кормежкой, как водится, в Алуште.

Брожу по местному базару и обзавожусь имуществом. Покупаю — смену белья, холщевую сумку, какие носят пешеходы за спиной, приобретаю жестяный чайник, сахар, целых два фунта колбасы и большой ситный хлеб.

Сначала думаю итти пешком, но вспомнив, что родина моя — Свенцяны находится за много сотен верст отсюда, решаю воспользоваться остатками моего капитала и приобрести железнодорожный билет, а уж заодно и пиджак. В голове моей созревает план: мне

хочется попасть в солдаты. Буду обеспечен на целых пять лет и уж, конечно, научусь писать. Попаду в учебную команду, выйду унтер-офицером, займусь самообразованием и достигну высших ступеней жизни. Через месяц мне исполнится двадцать один год, и меня по закону должны принять в армию.

Впервые еду настоящим пассажиром, с билетом в кармане, и чувствую себя отлично. Одного только не замечаю, что поезд, вырвав меня из теплого Крыма, бросает в холодные объятия северных равнин.

На шестой день рано утром подъезжаем к станции «Новые Свенцяны». Здесь так же холодно и малоллюдно, как было пять лет назад, когда впервые меня пригнали сюда по этапу.

Выхожу из вагона один. Никому не нужны Свенцяны.

Меня встречает сердитый ветер, бросая мне в лицо колючие иглы осеннего дождя. Прохожу через вокзал на площадь, покрытую вязкой грязью. Неподалеку стоит почтовая бричка, запряженная парой старых, худых кляч.

Вслед за мной с кожаным мешочком для

писем спускается с каменной ступени станции знакомый мне одноглазый Элли.

Вое, что попадаетея мне на глаза, напоминает мое пребывание здесь. Ничто не изменилось, та же корчма на углу шоссеной дороги, те же невзрачные, рассыпанные домишки, окруженные полуразвалившимися плетнями, тот же почтарь и те же старые клячи.

У Элли хоть и один глаз, но он видит им далеко. Тяжело влезая в бричку, он оглядывается и сейчас же узнает меня.

— Опять ты здесь? — обращается он ко мне, взяв в руки веревочные вожжи.

— Да. Требуют меня в солдаты... Вы не можете меня довести до города?.. Я заплачу...

— Ты, значит, богатым вернулся? Очень хорошо... Тебе, видно, новый бог помогает... Ну, уж садись, — заканчивает старик, остро взглядываясь в меня одноокиим взглядом.

Сажусь рядом с почтарем, достаю из кармана пачку папирос и угощаю старика.

Элли толстыми корявыми пальцами с трудом выдергивает папиросу и достает из-за пазухи серные спички.

— По-настоящему я делаю грех, что везу те-

бя, — говорит старик, закуривая.

— Почему? — невольно вырывается у меня вопрос, хотя я и догадываюсь, о чем говорит почтарь.

— Ты еще спрашиваешь?.. Когда еврей изменяет вере отцов, он этим предает свой народ. Ты это сделал, ты крестился и думаешь — никто об этом не знает... Ошибаешься, — в тот день, когда пришла бумага из Москвы, все узнали, что сын Вигдора стал мешумедом.

Старик умолкает.

Молчу и я. Невеселые и тревожные мысли гнетут меня. Только сейчас сознаю, какую непоправимую ошибку я сделал, явившись сюда.

Зачем мне эта родина, где у меня нет ни своего крова, на близкого человека и ни одного друга?.. Только теперь я понимаю, какую бездонную пропасть вырыло между мной и еврейством крещение.

С тоской гляжу на обмокший лес и на серые лужи избитой дорога и думаю: какое ужасное зло причинила мне родная сестра, заставив меня креститься. Брошенный в мир с новым именем и волчьим православным

паспортом, я никому не близок. Далекий я русским и отвергнут евреями.

Поднимаемся на последний бугорок. Сквозь мгlistую сеть мелкого дождя вырисовывается вдали город Свенцяны.

Элли останавливает лошадей.

— Ну, теперь можешь идти куда хочешь. Въезжать с тобой в город не считаю для себя большой честью. Эх, эх... — тяжким вздохом заканчивает старик, видимо жалея меня.

Иду один, выбираю посуше местечки, прячу шею в приподнятый воротник жиденского пиджачка и ни о чем не могу думать. Тупеет мысль, и весь я скован несчастьем.

Боковыми улочками между огородами, прячась от людей, пробираюсь к правлению уездного исправника.

Начальник города уже другой, совсем незнакомый человек. Он высок ростом, тонконог, черные глаза горят сухим огнем, а темные концы грозных усов касаются крыльев носа.

Узнав, что я приехал отбывать воинскую повинность, исправник машет костлявой кистью руки и говорит:

— Рано пожаловал! Придешь через два дня в воинское управление... Я там буду.

И не глядя больше на меня, он уходит в другую комнату.

Покидаю полицейский дом и выхожу на улицу. Куда итти? Этот вопрос страшным призраком встает предо мной. У маня нет пути. К отцу, даже к такой доброй тете Рашке, после того, что говорил Элли, я не смею итти. Но все же, подгоняемый ветром, иду по Казначейской улице, не отдавая себе отчета, куда и зачем двигаюсь по этому чуждому и враждебному мне городу.

И вдруг встреча. Предо мной небольшого роста, худенькая, бедно одетая женщина, закутанная в большой черный платок.

— Неужели тебя — сына Вигдора — я вижу?

С трудом узнаю постаревшую Ядвигу. Здравуемся.

В нескольких словах рассказываю ей о моем пятилетнем странствии.

— Сюда надолго пожаловал?

— Нет. Приехал отбывать солдатчину. Исправник приказал через два дня явиться. Те-

перь не знаю, куда мне итти.

— Почему не знаешь? Разве мало Свирских у тебя имеется?..

— Меня никто не примет... Я для них чужой...

— Почему?..

— Долго рассказывать... Есть такая тайна...

— Ну, тогда идем к нам...

— Куда к вам?

— Пойдем — увидишь...

Спустя немного мы поворачиваем в ближайший переулок. Между двумя огородами вижу небольшую двухконную хатенку.

— Вот здесь мы живем, — говорит Ядвига, указывая на домик.

Сени, русская печь и комната с низким закоптелым потолком.

Ничем не покрытый стол, две скамейки вместо стульев, большой сундук в углу и деревянная кровать составляют всю обстановку убогого жилья. На кровати, покрытый ватным одеялом, лежит человек с болезненно бледным лицом, черной бородкой и откинутыми назад темно-русыми волосами. Узнаю князя Николая и останавливаюсь в нерешит-

тельности.

— Узнаешь? — обращаясь к больному, спрашивает Ядвига.

Николай отвечает глазами. Эти большие умные глаза, полные мягкой теплоты, составляют все, что осталось от прежнего Николая.

От Ядвиги узнаю, что князь болеет уже второй месяц и что самый лучший свенцянский врач Гордон говорит о неизлечимости этой болезни.

На другой день Ядвига, вернувшись с базара, сообщает мне, что Свирекие уже знают о моем прибытии и очень взволнованы.

— Они хотят, — говорит мне Ядвига, — просить воинского начальника взять тебя в солдаты...

— А для чего это им нужно? — спрашиваю я.

— Неужели не понимаешь? Чудак... У Мойше-Бера — твоего дяди — есть сын Иоселе, твой ровесник... Вот они хотят, чтобы ты пошел вместо него.

— Ну и пусть... Мне все едино некуда деваться...

Больной слегка приподнимается и, тяжело

дыша, говорит:

— Зря... с какой стати... Сейчас трудно, а потом легче станет... Быть солдатом штука не хитрая...

Сильный кашель мешает ему говорить.

Ядвига права — не только Свирекие, но и все свенцянские евреи взволнованы моим появлением. «Сын Вигдора крестился... Одним мешумедом стало больше...»

Говорят, возмущаются, проклинаяют, а я боюсь показаться на улице.

Ядвига подробно объясняет мне, где находится управление, куда я должен явиться.

Рано утром безлюдными переулками иду по направлению к городской ратуше.

Прихожу первым. Глухой сторож — старый инвалид — с лицом, покрытым сивой шерстью, не хочет меня впускать.

— Куда в такую рань привалил? — ворчит старик. — Присутствие открывается в полдень, а ты вон когда забрался...

Я прошу его позволить мне посидеть в приемной на широкой скамье вдоль стены, обещая быть тихим и не курить.

Сегодня нет дождя, нет ветра, а временами

сквозь тучи проглядывает скупое осеннее солнце, На обширном дворе ратуши собираются новобранцы деревенские парни, одетые в новенькие свитки и тяжелые смазные сапоги. Попадают и старухи в белых шерстяных платках и старики с носогрейками в зубах. Догадываюсь, что это отцы и матери, приехавшие из окрест лежащих деревень провожать и попрощаться с сыновьями. Понемногу начинают появляться местные рекруты-евреи в сопровождении многочисленной родни.

Приходит исправник. Сегодня он особенно строг. Его усы, поднятые к носу, и звякающие шпоры — сильное впечатление на свенцянских обывателей. В приемную входят: дядя Мойте-Бер с женой и старшим сыном, а немного поезди следуют мои тетки — Лее-Рохле и Мине-Тайбе. Опускаю глаза и делаю вид, что не замечаю их. Но зато родственники прекрасно меня видят и перебрасываются между собой оскорбительными для меня замечаниями.

Прибывают два офицера из виленского гарнизона, военный врач и письмоводитель.

Начальство во главе с исправником усаживается за длинный стол, покрытый зеленым сукном, и присутствие начинается. Быстро заполняется зал призывниками и родными.

— Прошу посторонних очистить зал, — объявляет исправник.

Письмоводитель подает ему список. В это время к столу, сняв шапку, подходит дядя Мойше-Бер.

— У меня есть вам сделать заявление, — начинает он, обращаясь к исправнику. — Приехал сын моего брата Вигдора. Мы просим принять его.

— Где он? — не глядя на Мойше-Бера, спрашивает начальник.

Заявление дяди вызывает во мне сильное чувство озлобления.

Вскакиваю с места и подхожу к столу.

Вместе со мной подходят и остальные мои родственники.

— Мы вас очень просим принять его в солдаты, — говорит Мине-Тайбе и улыбкой стареющей кокетки старается задобрить начальство.

Офицеры, по-видимому, заинтересованы и

остро вглядываются в меня.

— О тебе речь идет? — обращается ко мне исправник.

— Да.

— Почему они так стараются?

— Потому что я принял православие, — отвечаю я громко и четко.

Сидящие за столом многозначительно переглядываются между собой.

— Дай мне посемейный список Вигдора Свирского, — приказывает начальник письмоводителю.

Молча и внимательно изучают сидящие за столом сшитую тетрадь ветхих листов метрических, брачных и воинских свидетельств.

— Ты единственный сын? — спрашивает меня председатель, с явным любопытством оглядывая меня.

— Да, — коротко и твердо отвечаю я.

— Брешет вин, панове... — вырывается восклицание у Мойше-Бера.

Тетки злорадно хохочут.

— Хорошенький единственный, когда у него еще три брата! — выкрикивает Мине-Тайбе.

— Туточка он единственный... А в Креславке, где живет со второй женой Вигдор... — говорит вторая тетка, но исправник не дает ей кончить.

— Нам нет дела до Креславки. — Здесь, — ударяя рукой по списку, продолжает исправник, — ясно указывается, что у Вигдора один только сын...

— Но теперичка он уже не сын, — вставляет МойшеБер.

— Почему? — задает вопрос один из офицеров.

В приемном зале, — переполненном народом, происходит движение. Евреи начинают шуметь. До моего слуха доносятся отрывки фраз и проклятья.

— Как только бог терпит...

— Эти мешумеды — один позор для нашего народа...

— Нет, вы только посмотрите, какие у него бесстыдные глаза, чтобы его холера задавила...

— Уж лучше родить жабу...

— Тише... Прошу очистить зал! — грозно, восклицает начальник. Перед моими глазами

вертятся огненные круги. Начинаю плохо соображать. Злые глаза впиваются в меня, и я сознаю лишь одно: очутись я один среди этих родственников, они бы меня растерзали.

Письмоводитель, низко склонив над бумагой безволосый череп, старательно и быстро вписывает что-то в большую разлинованную книгу. А когда он кончает, книга переходит к председательствующему. Исправник читает: «Сын Вигдора Свирского Шимн Довид, а по святому крещению — Алексей, как единственный сын освобождается от призыва и зачисляется в ополченцы первого разряда».

Решение воинского присутствия выталкивает евреев из ратуши.

Спустя немного мне выдают свидетельство, и я ухожу.

## **7. По новым тропам**

**В** холодный бессолнечный день ухожу из Свенцяи.

Уношу тяжелое чувство обиды, тоски и ненависти... Никогда не увидят меня здесь.

Широким шагом подвигаюсь по лесной тропе, идущей вдоль шоссеиной дороги. Иду по опавшим листьям, охваченным утренним

заморозком. Под ногами с хрустом разбиваются вдребезги тонкие пленки вчерашних луж. На спине ощущаю дорожную сумку, набитую хлебом, солью, махоркой, спичками и несколькими круто сваренными яйцами. Все это — заботы бедной, никому неведомой Ядвиги. Сейчас думаю о ней и удивляюсь, ее необычайной доброте. А ведь она мне не сестра и не тетя...

Прихожу на станцию «Новые Свенцяны». Вижу впереди кирпичное здание вокзала, пустынное полотно дорога, холодный блеск рельсовых нитей и далекий синий полукруг соснового бора.

У меня еще нет твердого плана, но, помня, наставление моего первого спутника Государева, стараюсь придумать цель предстоящего мне пути.

Пойду, решаю я, в Вильну, а там узнаю, как добраться до границы, и махну в Пруссию. На что мне Россия?

Здесь и без меня обойдутся. Только подумал, а мечта уже вьет гнездо в моем сознании, и предо мной открывается новый мир.

Замечаю на запасном пути длинный со-

став товарных вагонов.

Издали мне кажется, люди что-то ищут на обширной площади, лежащей между полотном дороги и синей стеной леса. Прибавляю шаг и, хорошо обогретый ходьбою, приближаюсь к товарному поезду и тут только вижу: он весь заполнен рабочим людом. Подхожу вплотную к вагонам. В них сотни людей в тряпье и в густо облепленных грязью сапогах, лаптях и опорках. При виде людей одиночество, всегда пугающее меня, спадает с плеч моих.

Еще немного — я уже в человеческой гуще. Узнаю, что весь этот люд собран в ближайших городах и селах, направляется в город Ковно. Там строится огромная крепость и нужны рабочие руки.

Спрашиваю молодого парня с круглым сероглазым лицом, на нем ветхий, заплатанный пиджачишко:

— Кто же вас на работу нанимает?

— Есть такой у нас вербовщик... Не без того... Василь Михалыч звать... Да вот он сам и есть...

К нам, в сопровождении нескольких обо-

рванцев, подходит среднего роста человек в темно-синем кафтане из добротного сукна и в русских сапогах бутылками. Широкая русая борода, мягкий картуз с большим козырьком делают его похожим не то на торговца из Замоскворечья, не те на подрядчика.

Подошедший внимательно и зорко оглядывает меня и спрашивает:

— Куда путь держишь, паренек?

— Хочу к вам в артель вступить, — отвечаю я неожиданно для самого себя.

— А ты к какому делу приспособлен?

— Ко всякому, ежели показать... Могу и по слесарной части... — не совсем уж уверенно говорю я.

К нам подходит еще несколько человек, и разговор становится общим.

Поезд будет здесь стоять два или три часа. На станции нет кипятка, и у некоторых является мысль развести костры и согреть воду.

На обширной поляне вспыхивает несколько костров. В вагонах никого не остается. Все идут на огоньки — согреться и хлебнуть горячего. Поле принимает вид лагеря.

Присматриваюсь и прислушиваюсь к

окружающим и начинаю понимать, что нахожусь среди людей, выброшенных из жизни.

Безземельные крестьяне, городская босовня, вконец спившиеся мастеровые и фабрично-заводские рабочие, доведенные до отчаяния длительной безработицей, — вот кто откликается на призыв Василь Михалыча.

По изможденным лицам, по печальным глазам и по лохмотьям, висящим на костлявых плечах, легко догадаться, из каких низин, из каких трупов удалось вербовщику собрать этот «живой товар».

За костром узнаю, что здесь нет ни одетого человека, охотно идущего за Василь Михалычем. Только нужда и полнейшая безысходность заставляют за бесценок отдавать свой труд и силы.

Тоской и безнадежностью веет от этих людей, и, глядя на них, невольно падаю духом. И когда к нашему костру подходит вербовщик и предлагает мне наняться на работу, суля четвертак за десятичасовой рабочий день, — я без дум, без колебаний даю согласие.

Едем в Ковно строить крепость. Двадцать вагонов набито нами до отказа. Ни нар, ни

скамей; валяемся на полу, пахнущем навозом.

Рано утром приезжаем в Ковно. С товарной станции, где останавливается наш поезд, мы идем нестройной толпой к пассажирскому вокзалу, откуда должны направиться к месту работы.

У выхода на площадь ко мне подходит пожилая еврейка и предлагает, если мне нужно, ночлег. Она берет дешево, и жить у нее очень приятно. Отвечаю, что иду в крепость и если там не найдется помещения, то воспользуюсь ее предложением.

— Тогда будьте добры запомнить вот этот длинный домик. Спросите Хане Ципкес, и вам всякий покажет, — говорит женщина, указывая рукой на тесно сбитую кучу деревянных строений.

На всякий случай запоминаю эту женщину, ее залоснившееся пальто, большой коричневый платок на голове и черные быстрые глаза на горбоносом лице.

День угрюмый, холодный. Широкой серой полосой поблескивает Немая, когда переходим длинейший деревянный мост. Прихо-

дим к месту работы. Перед нами холмы и бесконечные глыбы камней, кирпича, железа, бревен и иных строительных материалов. Всюду, насколько может охватить глаз, видны согбенные фигуры рабочих, разбивающих гранит, толкающих перед собой тачки, нагруженные землей, копающих широкие канавы, поднимающих тяжелые камни на крутые помосты лесов.

Нас, прибывших, ведут в контору, переписывают и отдают в распоряжение десятских. Мне и одному долговязому парню велят нагружать тачки мелким щебнем, по узкой дорожке, застланной досками, отвозить их до места назначения и здесь сбрасывать щебень в глубоко вырытые ямы. С непривычки очень трудно управлять тачкой.

Как ни стараюсь сохранять равновесие — тачка накренивается, и мне стоит невероятных усилий выпрямлять ее и двигать вперед.

Меня одолевает усталость. С каждым часом становится труднее работать. Бывают моменты, когда мне кажется, что вот-вот упаду в яму вместе с тачкой. Обливаюсь тяжелым потом, хотя на площади дует осенний ветер. К

концу дня я окончательно выдыхаюсь: вянут мускулы, дрожат нога, и кровь стучит в висках.

Боюсь завтрашнего дня. Неужели опять придется встать на непосильную работу?.. Нет, не хочу отдавать свою жизнь во имя какой-то крепости!

В шестом часу, когда на улице совсем уже темно, я получаю поденный расчет и с четвертаком в кармане и сумкой за спиной выхожу из района крепости.

Вот тут вспоминаю о Хане Цшжес и направляюсь по уже знакомой дороге к вокзалу.

Открываю дверь и захожу в обширную, слабо освещенную, с низким потолком комнату, переполненную народом. Не успеваю переступить порог, как Хане быстрыми шажками приближается ко мне, вглядывается в меня и тотчас же узнает.

— Ах, это вы... Очень приятно. Вот вы увидите, какой у вас будет хороший ночлег, — говорит женщина, приветливо улыбаясь тонкогубым мягким ртом.

За длинным столом, покрытым суровой скатертью, и на широких скамьях вдоль стен

сидят евреи всех возрастов.

— Тут для вас найдется еще одно местечко, — любезно говорит хозяйка, указывая на правый угол.

Мои симферопольские ботинки на пуговицах, все еще приличный на вид пиджак и парусиновая сумка с карманами и ремнями для плеч производят в этом гнезде бедноты заметное впечатление.

Догадываюсь, что нахожусь в ночлежном приюте. Обычная неловкость, когда попадаешь в чужой дом, оставляет меня. Занимаю указанное место и шопотом спрашиваю у хозяйки, сколько с меня следует.

— Э, я как дорого беру за ночлег, что даже нищие благодарят меня, говорит Хане и добавляет: — Садитесь пока за стол, и если у вас имеются две копейки, то вы еще чаю напьетесь с хлебом и сахаром.

Спустя немного я сижу за общим столом и маленькими глотками пью горячую воду, закусывая черным хлебом. Сидящий рядом со мной средних лет еврей с широкой бородой, украшенной белыми нитями седины, блеснув черными глазами, спрашивает:

— Что вас заставило итти в крепость? Разве это еврейское дело? Пусть строит крепость тот, кто боится врагов, а нам здесь так хорошо живется, что никакие враги нам не страшны.

— Я вообще хотел знать, что такое крепость? — раздается голос с противоположного конца стола. Это говорит молодой сухощавый человек с длинными пейсами вдоль ушей и темными близорукими глазами. — Мне кажется, продолжает он, — что если бы люди были умнее, они бы крепостей не строили...

— Почему? — спрашивает мой сосед справа.

— Потому что крепость является верной могилой для тех, кто ее защищает, и для тех, кто на нее нападает.

— Вы, значит, совсем отрицаете войну? — спрашивает мой сосед.

— А почему нет? — сейчас же откликается молодой еврей. — Война не бог: ее не грех и отрицать...

Спор разрастается. Чаще всего упоминается имя Александра третьего.

— Да, он настоящий миролюбец, — слышится голос одного из сидящих на скамье; в

полумраке не видать лица говорящего. — А вы знаете, что значит, когда царь не хочет войны? — слышится все тот же голос. — Это значит — царь воюет со своими верноподданными и боится, чтобы ему внешние враги не помешали добить внутренних...

Хане Ципкес чувствует себя настоящей хозяйкой. Случайные и постоянные ночлежники для нее не ночлежники, а дорогие гости. Она многих знает по именам и фамилиям, интересуется судьбой каждого, любит поговорить, и всегда у нее находятся слова участия. Она охотно дает советы и практические указания тем, кто впервые попадает в Ковно и над кем нависает беда.

Хозяйка входит к нам из смежной комнаты и слышит, что речь идет об Александре; она сейчас же вмешивается в разговор.

— Евреи, перестаньте заниматься царями. Ваше неудовольствие их не сгонит с тронов, но вас за излишнюю горячность метут погнать туда, где вы никогда не были. Вот вы, молодой человек, — обращается она ко мне, расскажите нам, что вы делали в крепости и какая там жизнь.

— Жизни никакой — одна сплошная ка-  
торга, — отвечаю я.

А затем я говорю подробно о тяжелой работе, о людях, загнанных нуждой. Жалуюсь на свою усталость и на боль в ногах.

Меня слушают с участливым вниманием.

— Хотите, я вам дам совет? У вас руки есть, голова имеется... Ну и довольно... Можно плюнуть на эту большую крепость и найти себе маленькую, но более приличную работу. Об этом я поговорю с вами завтра, а сейчас, обращается она к остальным, — не будем тратьть керосин и ляжем спать. Спокойной ночи.

Хане уходит в свою комнату.

Утром меня будит сама хозяйка. Просыпаюсь и вижу себя на голой скамейке с сумкой вместо подушки. Протираю глаза и убеждаюсь, что я один в этой обширной комнате, где вчера так много было народу.

— Куда они все ушли? — вырывается у меня вопрос.

— Известно куда: искать хлеба... Вас я не стала будить — вы спали мертвым сном. Что вы теперь будете делать? Может, вы помоли-

тесь и чаю напьетесь?

— Нельзя ли умыться?

— Почему нет?.. В сенях висит рукомойник, и мойтесь себе на здоровье.

Спустя немного я один сижу за длинным столом и пью кипяток с молоком, закусывая вкусным еврейским хлебом. Напротив меня сидит Хане. Она мне сегодня не кажется уже такой старой. Черные волосы, выбившиеся изпод платка, живые темные глаза и отсутствие морщин на лице делают ее довольно молодой женщиной.

— Вы, значит, в крепость сегодня опоздали? — спрашивает Хане.

— Ну, и слава богу, — продолжает она. — крепость — не еврейское дело... Откуда вы родом? — после коротенькой паузы задает она мне вопрос.

Не спеша я рассказываю хозяйке о том, как я жил в Крыму, с какими высокими людьми я встречался, рассказываю о несправедливом отношении ко мне Миши Окунева и заканчиваю воинским призывом и прибытием сюда в Ковно, с многочисленной артелью рабочих.

Выслушав мой рассказ, Хане с явным лю-

бопытством разглядывает меня и спрашивает: — Ну, и чем же все это кончилось?

— Что кончилось? — недоумеваю я.

— Ваш призыв чем кончился?

— Меня освободили...

— Почему?

— Я — единственный сын.

— Таковой же счастливец!.. Вам и думать теперь не о чем... И что я вам еще скажу... Вы — золотой жених... Только я вас еще хочу о чем спросить: вы, наверно, никакой специальности не знаете...

— Я немного умею работать по слесарной части...

— Что вы говорите? — перебивает меня Хане. — И он себе сидит и молчит... Ведь золото в ваших собственных руках! Вы знаете, что такое слесарь? Это же лучше, чем быть часовых дел мастером.

— Почему? — удивленно спрашиваю я.

— Почему? Потому что у наших ковенских евреев нет часов, но зато кровать, утюг, машинка швейная и всякое другое железо вы найдете в каждом доме... Но о чем долго говорить, — сегодня же я вас устрою к Перельма-

Ну.

— Это кто?

— Он лучший мастер в нашем городе. И он живет один, но я не знаю, захотите ли вы пойти к нему...

— А что?

У Хане лицо оживляется и глаза загораются черным блеском.

— Скажу вам откровенно, этот Персльман мне почти родственник, его покойная жена была моей двоюродной сестрой. Но дело не в этом, а в том, что Перельмана все оставили и на него сам виленский гоен[Г о е н — высшее духовное лицо.] — реб Ицикл — наложил херем[Херем — проклятие.]...

— За что?

— Вот это я и хочу вам рассказать. С семьей Перельмана произошла страшная история. Четырнадцать лет прожили они — муж и жена — очень дружно, но бездетно, и вдруг счастье: покойная Двойре родила мальчика. Можете себе представить, какая была радость у этих людей!.. У Перельмана тогда была большая и единственная во всем Ковко слесарная мастерская. Работало у него не мень-

ше пяти человек, и он среди нас считался богачом. Помню, в день обрезания собралось гостей полгорода. Когда мальчик вырос и ему исполнилось двенадцать лет, он удивлял всех своими замечательными способностями. Он знал талмуд не хуже самого раввина. Умел читать и писать не только по-еврейски, но по-польски и даже немножко по-русски, красавец он был такой, что и рассказать невозможно. Ну, сами можете понять, как его любили родители. Они готовы были двадцать раз в день умереть за него. И однажды Беничке идет себе купаться и домой уже не возвращается — утонул в Немане. Мать не выдержала, сошла с ума и в сумасшедшем доме убилась насмерть, выпрыгнув из окна. С тех пор у Перельмана началась борьба с богом...

— Как с богом?

— Сейчас я вам и это расскажу. Если так на него посмотрите, то ничего не заметите, — человек как человек, но на самом деле он давно уже потерял рассудок. Он, не про вас будь сказано, возненавидел бога... Вы понимаете, какой это ужас?.. Он смотрит на бога, как злой кредитор на неоплатного должника... Он

богохульствует, выражается, что страшно рассказывать. Все от него отступились. Работает один, от верующих заказов не принимает.

— Почему он знает?

— Что знает?

— Кто верует и кто не верует?

— Так вот теперь я хочу у вас спросить, пойдете ли вы к такому святотатцу?

— С удовольствием! — искренне восклицаю я.

— О, я так и знала, что вы не очень богомольны... Ну, хорошо... Тогда мы так сделаем. Вечером, когда станет совсем темно, я пойду с вами... Днем к нему ходить не совсем хорошо: могут заметить, и пойдут разговоры... Так вы, значит, согласны?

Не дожидаясь ответа, она встает и уходит в свою комнату.

## 8. Богоборец

Вечером Хане ведет меня к Перельману. На улицах темно и холодно. Мы идем по боковушкам, переулкам и, наконец, достигаем цели. В одном из обширных дворов, в небольшом деревянном флигельке находим слесарно-лудильную мастерскую Шолома Перель-

мана.

Так гласит вывеска, прибитая к дверям.

Хане предлагает мне подождать, а сама входит в дом.

Через несколько минут она приглашает войти. Попадаю в низкую квадратную комнату, служащую мастерской.

Преодо мной тяжелый верстак, тиски, всевозможные инструменты, куски жести, железа и меди. Мастерская освещена большой, с картонным абажуром, керосиновой лампой, висящей под самым потолком.

Переступаю порог и вижу крепко сложенного человека, с широкой выпуклой грудью и тяжелыми кистями рук с обожженными от работы пальцами. Замечательнее всего его лицо, густо заросшее круглой серой бородой и широкими нависшими бровями. Такой же густо свалывшийся ком волос покрывает его голову. Особенно хорошо и надолго запоминаются небольшие глаза, пронзительно острые.

Хозяин мастерской приветствует меня кивком головы и коротко спрашивает: — Где вы работали?

В немногих словах рассказываю ему о мо-

ем первом опыте в городе Орле.

— Вы, значит, напильник в руках держать умеете и хорошо... А на плечах у вас, я вижу, есть голова... Вы мне только одно скажите — бога вы боитесь?

При этом вопросе Перельман немного отступает и впивается в меня горячими угольками светлокарих глаз.

Хане в изнеможении опускается на табуретку. Я отвечаю:

— Бояться можно только того, кто существует, а я, извините, не верю, что бог есть на свете.

Перельман делает быстрый звериный скачок и кричит мне в лицо:

— Что вы сказали, несчастный!.. Неужели вы не чувствуете существования бога? Надо быть глухим, слепым и окончательно выжившим из ума, чтобы не верить в существование бога!.. Кто же, как не он, обдаёт нашу несчастную землю злым дыханием?.. Откуда все несчастья!.. Откуда человеческие страдания, болезни, преступления, войны, предательства и все то, что отравляет, мучает и сводит на нет все человечество!.. Откуда, я вас

спрашиваю, все это?.. Конечно, от него, от этого милосердного, вездесущего, величайшего предателя земли и неба...

— Ой, боже мой, боже мой, — шепчет Хане, — а я думала, что вы, реб Шолом, уже успокоились... Ну так как же вы насчет этого молодого человека?

— Так мы уже покончили с ним. Он будет жить здесь, работать, а я постараюсь из него сделать верующего. Вы же знаете, Хане, как я не люблю безбожников...

— Ваше имущество при вас? — обращается ко мне Хане, указывая глазами на мою сумку.

Я утвердительно киваю головой. Хане желает нам покойной ночи и уходит.

Остаюсь жить у Перельмана. Мое беспокойство и некоторая робость, испытанные мною от сознания, что имею дело с человеком странным и ненормальным, оставляют меня при более близком знакомстве с Шоломом. Он оказывается хорошим, заботливым хозяином, не жадным, не придирчивым.

Работы у нас немало. Обильно поступают заказы.

Мой хозяин — единственный специалист по швейным машинам.

Берет он недорого, а исполняет работу добросовестно и к сроку.

Меня он учит просто, без всяких окриков и бескорыстно вводит во все тайны слесарного мастерства.

Привыкаю к Перелыману, питаю к нему большое чувство благодарности и сознаю, что с каждым днем крепнет моя дружба к нему.

Прихожу к убеждению, что рассказы Хане о ненормальности Шолома значительно преувеличены. Правда, он не молится, суббот не справляет, а во всем остальном живет подобно всем ремесленникам.

Время катится вперед. Наступают первые зимние дни.

Я рад моей новой жизни. Работа интересная, разнообразная, питаемся мы вкусно, сытно, и у меня еще имеется время для чтения книг, оказавшихся в большом количестве у Перельмана. Эти книги остались после Веночки.

Однажды, в одну из длинных зимних ночей, мой хозяин приходит в непонятное для

меня беспокоит. То мечется по мастерской, то забьется в угол, запустив пальцы в жесткий войлок волос.

Я сижу за столом и читаю «Дети капитана Гранта».

Хозяин срывается с места, подходит ко мне и кладет свою тяжелую руку на мое плечо.

— Ну, мастер, давайте поговорим...

Поворачиваю голову и не узнаю моего хозяина. Густо заросшее лицо озарено горящими глазами. Беспокойный трепет пробегает по всему его телу. Чувствую мелкую дрожь в его руке.

— Да, пора вам поговорить... Мы слишком долго молчали... Вы убеждены, что бога нет, а я вам скажу, что — вы ошибаетесь... Если бы не было бога на земле — не стало бы преступлений... вспомните хорошенько историю создания человеческой жизни на земле. Как поступил он с первыми людьми?.. Чем помешали ему Адам и Ева?.. Люди жили в раю, не знали забот и волнений, но ему, видите ли, жалко, когда люди живут хорошо, и он уговаривает змея соблазнить Еву, а ее — соблазнить Адама... Зачем это, я вас спрашиваю, за-

чем ему это нужно было?.. А эти подлые провокации с Каином и Авелем... А измывательства над Авраамом... Несчастный старик по приказанию всемилостивого поднял нож над единственным сыном...

Голос у моего хозяина крепнет, становится жестким, кулаки сжимаются, и весь он приходит в бешеную ярость, бегаёт по мастерской и уже кричит исступленно:

— А я... Что я ему сделал?.. За что он погубил моего сына?.. За что он разбил мою жизнь?.. Спросите у ковенских евреев, и они вам скажут, что я был первым молитвенником, самым щедрым жертвователем, и мой труд, мои чувства, я отдавал ему, великому обманщику...

Мне становится страшно. Этот человек начинает сильно пугать меня. Его звериные выкрики, его жгучие, острые глаза, все его большое, грузное тело, бегающее и скачущее по обширной комнате, и напряженная неестественная сила его мускулов вселяют в меня непреодолимую боязнь — и я готов бежать из этого ужасного приюта человеческого безумия.

С этого вечера мое положение в доме Перельмана резко изменяется к худшему. Хозяин ежедневно с наступлением ночи превращает меня в свою аудиторию. Я обязан не только слушать, но и задавать вопросы. Свои речи он не говорит, а выкрикивает, напрягая голос до последней возможности.

Я боюсь этих бурных выступлений Шолома. Я давно ушел бы отсюда, но во всем городе у меня нет ни одного близкого лица.

Кроме того, зима окончательно укрепляется, и с каждым днем морозы и вьюги усиливаются.

В течение дня Перельман ведет себя совершенно нормально: работает, сдает заказы, усердно следит за тем, чтобы я правильно обращался с инструментами, учит меня паять, калить, ковать... Но чуть только начинает смеркаться, мой хозяин теряет обычную свою уравновешенность и приходит в заметное волнение. А после ужина он уже готов. Из спутанной густой растительности, покрывающей лицо и голову, вспыхивают горячие, колкие глаза, и грузная медвежеобразная фигура хозяина вырастает, трепещет и заполняет

всю мастерскую. И начинаются мои мучения. Шолом заставляет себя слушать. С безумной силой и злобой излагает он содержание библии, осыпает меня цитатами из пророков, законоведения и талмуда. Во всем он видит обман, предательство и всяческие изуверства, убивающие человеческий разум и достоинство.

— Что делает царь, когда восстает народ? — задает вопрос Перельман и тут же сам отвечает: — царь идет на уступки и старается народную кровь пить меньшими глотками. Ну, а если подданные все же не успокаиваются? Что тогда?.. Тогда царь уходит — и народ сам управляется... Вы ведь ничего не можете возразить против?.. А теперь я вас спрашиваю, — кричит Перельман, мечась по комнате, — если не народ, а все человечество протестует и призовет к ответу не царей земных, а царя небесного? Что тогда будет?.. Теперь вы понимаете?..

Перельман почти вплотную подходит ко мне, скрежещет зубами, поднимает надомной сжатые кулаки и вопит:

— Ну, где же, чорт возьми, ваши возраже-

ния?!

У меня по телу пробегает холодный трепет и перед глазами встает розовый туман.

Второй месяц живу у Перельмана. Мое несчастье заключается в том, что я лишен возможности бывать вне дома. Шолом не имеет привычки уходить один. Работодатели сами являются за своими заказами, а если ему надо покупать материал, он берет меня с собой. Чувствую себя в положении заключенного и подобно настоящему арестанту мечтаю о «воле». Мне хочется повидать город, взглянуть на небо, подышать чистым морозным воздухом, потолкаться и зайти на минутку к Хане, моей единственной знакомой. Но Шолом следит за каждым моим движением, когда наступает вечер.

— Куда? — слышу резкий окрик Перельмана, когда случайно окажусь подле дверей.

И снова надо мной реет безумие, и сердце сжимается от тоски и страха.

Но однажды в светлый солнечный день мне удастся на время уйти и освободиться от зорких глаз моего тюремщика. Происходит это вот как: Шолом, окончательно усталый

после целого ряда бессонных ночей, бросает работу и, виновато улыбаясь, говорит мне:

— Извините меня, пожалуйста, на минутку хочу прилечь...

Он уходит в свою комнатку, падает на кровать и крепко засыпает. В доме раздается густой храп спящего.

Набираюсь храбрости и, заперев за собой снаружи дверь, выхожу на улицу.

Иду по скованному морозом городу. Чувствую себя свободным.

Не ощущаю над собой дыхания сумасшедшего Перельмана и, бодро шагая по незнакомым улицам, запоминаю все, что бросается мне в глаза.

Мороз бодрит и ускоряет мой шаг.

Попадаю на вокзальную улицу и здесь вспоминаю о Хане Ципкес. Еще несколько минут, и я переступаю порог еврейского ночлежного приюта.

Хане встречает меня с приветливостью доброй знакомой.

— Как это случилось, что вы днем свободны?

И при этом смех плещется в ее черных гла-

зах.

— Ну, зайдемте ко мне, — скороговоркой добавляет она и ведет меня в свою комнату.

Здесь скромно, уютно, чисто. Широкая кровать, украшенная кружевным покрывалом и белой горкой подушек, пузатый комод, овальный стол перед диваном, два мягких кресла в белых чехлах-вот и вся обстановка. Перед окном за швейной машиной сидит спиной к нам женщина и усердно работает.

— Ну, садитесь, пожалуйста... и расскажите, как вы живете с нашим Перельманом?

Вкратце рассказываю о безумных ночах, о болезненном страхе и о моем безудержном желании уйти куда-нибудь, лишь бы не жить с этим глубоко несчастным, но в то же время страшным человеком.

Хозяйка с участливым вниманием выслушивает мой рассказ, вздыхает, многозначительно указывает глазами на женщину, сидящую за машиной, и говорит:

— Я вам удивляюсь, молодой человек. Вы находитесь в полном здравьи, обладаете двумя хорошими рабочими руками и сидите здесь в этом паршивом городе, переполнен-

ном нищими, голодными и холодными. Что здесь держит вас?..

— А куда итти?.. Зима, холод... Поневоле будешь жить...

Хане снова показывает глазами на женщину и замечает:

— Знаете ли, что я вам скажу: все зависит от вашего желания. У нас настоящих ковенских евреев осталось не больше половины... Все уехали в Америку, и уже от многих имеются, слава богу, радостные вести. Америка — не Россия: там черты оседлости нет, и ты можешь себе жить где хочешь и заниматься каким угодно делом... Двойре, обернитесь немножко на нас, неожиданно обращается хозяйка к швее.

Та прекращает шитье, поворачивает к нам голову и стыдливо опускает веки. Толстогубый широкий рот, одутловатое, круглое лицо, темно-русые кудряшки на лбу и печальные серые глаза, обрамленные черными густыми ресницами, — вот все, что успеваю разглядеть и запомнить.

— Вот эта девушка, — обращается ко мне Хане, — она почти ваших лет, и она тоже хо-

чет уехать в Америку. Эта швейная машина — ее собственность, а когда нужно будет — то найдется и еще что-нибудь. Ну, как вам это нравится?

Догадываюсь, что Хане играет здесь роль свахи, и стыд обжигает лицо мое. И в то же время замечаю на щеке Двойры внезапно разлившийся румянец.

Наступает неловкое молчание. Хане, вспомнив, что ей нужно на минуту забежать к соседке по делу, оставляет нас вдвоем. Я первый нарушаю наступившую тишину и обращаюсь к Двойре:

— Неужели вас тянет в Америку?.. А я, знаете, всю жизнь только и думаю об этом. Даже во сне я часто переплываю океан и вступаю в девственные леса... Вас не пугает это?..

Двойре уже более смело смотрит на меня широко раскрытыми серыми глазами. Она, видимо, сильно взволнована: по ее большой мягкой груди замечаю учащенное дыхание.

— Почему меня должна пугать Америка? — тихо переспрашивает она и добавляет: — Я круглая сирота, и для меня весь мир — родина...

Двойре из шитья берет маленький обрезок и прикладывает его к глазам. В это время входит Хане.

— Уже плачет... Ах, это мое несчастье... Она живет на белом свете одна... Живет подобно камню в пустыне... Вы, кажется, тоже сирота?..

— Да, у меня мать умерла, когда я еще был маленьким, — отвечаю я и поднимаюсь с места.

— Вы куда? — с некоторой тревогой в голосе спрашивает хозяйка.

— Мне обязательно надо... Ведь я Перельмана запер... Проснется — придет в ярость...

— Это, положим, правда: не надо живого человека запирасть на замок. Мало ли что может случиться... Но вы должны все-таки с ним поговорить. Он не имеет права вас держать в заключении... Знаете что, — спохватывается Хане, я сама с ним поговорю. Завтра же пойду и скажу ему. Ку, а теперь пойдите, я вас немножко провожу. А вы, Двойре, не будьте слишком скромны, встаньте и подайте молодому человеку руку, как это делается среди настоящих аристократов.

Когда Двойре встает, она окончательно перестает мне нравиться. Большое мясистое туловище и короткие толстые ноги делают ее неуклюжей.

Хозяйка провожает меня до полдороги, безостановочно говорит о Двойре, всячески восхваляя ее.

— Вы себе представить не можете, какая она замечательная девушка. Что она честная — за это я вам головой ручаюсь, но у нее, кроме того, еще и золотые руки... Она шьет белье, платья, шляпки... Это же на редкость хозяйка... Во всем Ковно трудно найти такую... Она печет хале, так каждая булочка легче воздуха... Но что я вам буду долго рассказывать... Двойре-бриллиантовая невеста... Поверьте мне, вы будете с ней счастливы, как в раю...

Я молчу. Я смущен: впервые попадаю в положение жениха. Хочу понять все это, осмыслить, но Хане вздохнуть не дает. Говорит, говорит без конца.

Перельман снова становится нормальным человеком.

С богом он больше уже не борется, а ко мне

относится с большой заботливостью и вниманием. Сегодня он заказывает для меня высокие русские сапоги. Он сам тоже такие носит. А когда приходит Хане, он просит отдать кому-нибудь сшить для меня две смены белья.

— Ой, так что же я могу сейчас сделать. Вы знаете дочь покойного Менделе Нехамеса? Ее зовут Двойре. Так она же ему сошьет белье, как для принца... Только я хочу вас, реб Шолэм, просить отпустить этого молодого человека на завтра вечером... У меня будет Двойре, и она с него мерку снимет.

Перельман не возражает и даже дает Хане два рубля на материал.

Ночью я долго думаю о себе, о Двойре, а больше всего об Америке. Моя мечта может быть осуществлена. Мысленно я уже по ту сторону океана, вижу и даже живу в громадном американском городе Нью-Йорке... Купаюсь в океане и говорю по-английски... Да, я могу стать счастливым человеком, если бы не Двойре... Она — главное препятствие. Мысль, что могу жениться на этой незнакомой девушке, меня приводит в трепет... Боюсь связать свою судьбу с этой сиротой... Она мне ни-

чуть не нравится...

В назначенный вечер иду к Хане. Прохожу через ночлежку в комнату хозяйки. И конечно застаю Двойре. Она одета по-праздничному. Желтая кофта, туго застегнутая на груди маленькими костяными пуговками, синяя юбка, оттеняющая крутые бедра, и круглое, полнощекое лицо производят на меня удручающее впечатление. Непонятное чувство отчужденности вызывает во мне широкогубый рот и влажные колечки на большом выпуклом лбу. Двойре, наученная свахой, встречает меня с жеманной улыбкой и, здороваясь со мной, немного трясет мою руку.

Хозяйка не дает нам опомниться и говорит за двоих.

Для нее уже все ясно. С наступлением весны, сейчас же после пасхи, состоится свадьба, а затем отъезд в Америку. Она уже говорила с комиссионером Вейсманом, первым специалистом по отправке евреев в Америку, чтобы он имел в виду достать к сроку две шифкарты.

Хане угощает нас чаем со свежими булочками собственного изготовления, называет

меня женихом, и до того она оживлена, такою радостью горят ее черные влажные глаза и так много желает она нам добра и счастья, что невольно вырастает в моем сознании чувство благодарности к этой на редкость живой, деятельной женщине.

— Ну, Двойреле, — говорит Хане, обращаясь к невесте, — готовься к новой судьбе... Я буду тебе матерью!..

Двойре всхлипывает, достает из-за пояса платочек и принимается плакать, сначала тихо, а потом уже во весь голос; при этом она шморгает носом, а глаза становятся красными. Намереваюсь удрать. Встаю из-за стола. Хане старается меня удержать.

— Посидите, пожалуйста... Она сейчас перестанет. Все невесты плачут, так принято.

Не знаю почему, но эта плачущая толстуха производит на меня невыносимо тяжелое впечатление, и при первой возможности я покидаю этот гостеприимный кров.

Перельман уже не буйствует, не кричит и с богом не борется.

Он становится удивительно добрым, любвеобильным и желает всем людям прочного

счастья. Ежедневно после работы, поужинав, садимся за стол, и тут начинается бесконечный разговор о боге, о земле и обо всем, что существует на свете.

Мой хозяин — очень начитанный человек. Он прекрасно знает древнееврейский язык и свободно читает любую книгу. Вначале наши мирные беседы мне нравятся. Узнаю много, интересного, поучительного и полезного. Но с каждым днем философские дискуссии Шолома становятся более продолжительными и для меня совершенно непосильными. Мне хочется спать, а Перельман, страдающий бессонницей, заставляет меня бодрствовать. У меня начинаются головные боли. Боюсь захворать.

— Вы только вникните в смысл бытия... К чему вся эта комедия?.. Зачем богу нужно было создать небо, землю и человека?.. Какая тут цель?.. Чтобы человек жил, страдал и умер?.. Ну, хорошо, сделай это на один год, на сто лет, но ведь это же тянется тысячелетиями... И даже конца не видно... Ну, давайте рассуждать по-доброму... Я не хочу волноваться, не хочу ни с кем бороться... Я только

хочу понять, зачем бог мучает людей и когда он думает перестать... Вы видите, я совсем не сержусь, но я прошу ответа. Пока я жив я хочу знать, зачем я живу и кому это нужно?..

Так начинается Перельман очередной вечер. Сегодня в его глазах я замечаю острые огоньки, предвестники грядущих бурь. И я не ошибаюсь. После мирного вступления Перельман постепенно возбуждается, волнуется и возвышает голос. А в полночь он уже во власти безумия, и я задыхаюсь в нашей мастерской, заполненной жуткими, чудовищными призраками.

Но в те редкие минуты, когда хозяин, обесиленный, падает в изнеможении на кровать, я, освобожденный, все же не могу предаться отдыху: предо мной встает Двойре.

Я окончательно теряюсь и не знаю, как мне быть, что предпринять, чтобы избавиться от тяжелых, непредвиденных обстоятельств, овладевших всем существом моим.

Невеста ежедневно дает о себе знать. То сама приходит ко мне, то Хане почти насильно тащит меня на свиданье с ней. А Двойре плачет, шморгает носом и просит меня не губить

ее молодость.

— Если вы меня обманете, я умру от самоубийства, — говорит она, всхлипывая.

Нет, все, что происходит, так нелепо и страшно, что мне хочется бежать без оглядки... Только бы скорее весна!..

Ни одного дня не останусь...

## 9. Вдоль границы

**Х**ане Ципкес развивает сватовскую энергию до невозможных пределов. Она ухитряется втянуть в устройство судьбы двух «сирот» самого Перельмана. Мой хозяин обещает материальную помощь и не противится, когда Хане просит разрешения сыграть свадьбу в его доме.

А я терзаюсь сомнениями, кажусь самому себе дурачком и падаю духом в присутствии тяжеловесной Двойре.

Атакованный окончательно обнаглевшей свахой и всегда заплаканной невестой, я постепенно сдаю позиции и отступаю в глубь моих мечтаний, где вижу себя свободным, сильным человеком, смело порывающим с бедной, злой и серой действительностью.

Пользуюсь каждой свободной минутой,

чтобы выйти на улицу, взглянуть на далекие горизонты теплеющего неба, прислушаться к дыханию предвешнего ветра и помять в руках тающий снег.

До свадьбы остается всего один месяц. Двойре собственными руками шьет для себя подвенечное платье. А со мной непрерывно ссорится моя совесть, упрекая меня в жестокости и подлости. Но тем не менее я окончательно решаю бежать. Старательно и тайно от всех готовлюсь к уходу. Делаю это терпеливо и осторожно. Боюсь хитрой свахи, повадившейся ходить к нам чуть ли не ежедневно.

Моя дорожная сумка почти готова. Там уложено бельишко, табак, спички... Запаиваю чайник, на всякий случай укладываю немного инструментов и прячу небывалый в моем распоряжении капитал — пятьдесят рублей, полученные мной от Перельмана на свадебные издержки.

Меня торопят весна и мечта о новой жизни.

Пусть Двойре будет счастлива с другим, а ей не муж. Мне самому еще надо окрепнуть.

Вот хозяйина мне жаль покинуть. Заранее представляю себе его негодование. Мой уход он, наверное, сочтет за бессмысленную провокацию со стороны бога.

Наступают последние часы... Ничего не подозревающий Перельман садится со мной за стол ужинать. Вглядываюсь в его волосатое лицо, улавливаю в спокойных глазах особенную доброту, и смешанное чувство стыда и жалости неожиданно заставляет меня открыться перед хозяином мою тайну.

Перельман выслушивает меня внимательно, и мне кажется, что его маленькие глаза наливаются веселой влагой.

— Так вы ее совсем не любите?

— Нисколько... Мне немножко жаль ее-она все плачет...

— Я очень рад за вас, — после некоторого молчания роняет хозяин, причем лицо его становится вдумчиво серьезным. — Вы бы утонули в ее обильных и глупых слезах. Вы еще так молоды... Жениться и сойти с ума никогда не поздно.

В эту минуту Перельман становится мне особенно близким, и я решаю окончательно

быть откровенным и рассказать о задуманном мною побеге.

— Видите ли, — говорю я, понизив голос, — не хочу вас обманывать... Вы для меня так много сделали... Хочу всю правду вам сказать... Я задумал нехорошее дело... Мне перед вами очень неловко.

Наши взгляды встречаются. Ничего колкого не замечаю в зрачках хозяина. Он по-прежнему внимателен и добр.

— Ну, ну, говорите... Не бойтесь, — подбадривает меня старик.

— Я задумал бежать...

— Почему бежать? От кого и куда? Говорите уж, говорите, раз начали...

— Я решил уйти за границу и сделать это хотел тайно от вас...

— Почему тайно? — перебивает меня Перельман.

— Мне кажется, что вы против этого...

— Напрасно. Я не бог и никаких запретов на людей не накладываю. Каждый человек, если он не глуп, кует свою жизнь по собственному усмотрению. Вы молоды, и вам хочется уйти в другую страну, где нет черты оседло-

сти, где топор царя не висит над головой каждого из нас... Что ж, вы имеете на это право. Если бы не мои годы, я бы сам ушел отсюда...

Перельман опускает голову и грустно смотрит на свои короткопалые жилистые руки. Наступает молчание. Мне жаль этого человека, такого доброго, чуткого, несчастного и одинокого.

— Хорошо, идите... Я вам мешать не стану... А невеста ваша наплачет целую речку и поплывет к другому жениху... Когда же вы думаете уйти? заканчивает вопросом Перельман, подняв голову.

— Если позволите, то завтра на рассвете...

— Хорошо, идите... Не думайте, что мне очень легко... Я привык к вам. В минуту отчаяния не с кем станет беседовать... Могу на прощанье дать вам совет: ни на кого не надейтесь и никому не доверяйте. Добывайте жизнь собственными руками, а не надеждами. Не живите чужими мыслями, а постарайтесь вникнуть в житейские мудрости своей головой... Вот и все. Теперь давайте ложиться спать... — Перельман первый встает из-за стола.

Просыпаюсь до рассвета и с удивлением вижу, что мой хозяин не только встал, но уже хлопочет вокруг стола, приготовляя завтрак.

Меня сильно трогает заботливость старика и в моем сознании растет чувство благодарности к нему.

— Не хочу сегодня работать, — говорит Перельман, — надо же и мне когда-нибудь отдохнуть... Покажу вам лучшую и ближайшую дорогу к морю.

После завтрака взваливаю на плечи туго набитую сумку и вместе с хозяином выхожу из дому.

Сегодня день обещает быть особенно хорошим. Спускаемся к реке. На широком многоводном Немане празднично и тихо. Бесконечно длинный, густозеленый коридор с голубым куполом наверху и сверкающим зеркалом внизу поражает нас необычайной и величавой красотой.

Даже Перельман останавливается и роняет радостное восклицание: — Вот так здорово!..

Мы стоим на крутом обрыве, и пред нами далеко расстилается прозрачная лента реки.

По узкой тропинке, протоптанной среди молодой травы, гуськом подвигаемся по направлению к Юрбургу.

Ровным, неторопливым шагом идем по крутому берегу и вдыхаем чистый утренний воздух, пропитанный запахом свежей земли. Молчим.

Вдали выступает узорчатое плетение железнодорожного моста. Скоро конец городу. Вернусь ли я когда-нибудь сюда-не знаю. Но я здесь живу более полугода и, как всегда в подобных случаях, покидая насиженное место, испытываю чувство тихой грусти.

Мне жаль людей, вынужденных унижительной борьбой добывать себе хлеб «насущенный», густо напитанный кровью, слезами, муками бесправия, и вечно гоняться за лучом исчезающей надежды. В эти минуты забывай о моем крещении и сердцем припадаю к отравленной чаше еврейского горя.

— Ну, теперь можем проститься, — говорит Перельман, останавливаясь перед самым мостом. — Идите себе прямо вдоль реки, — продолжает он, — никуда не сворачивайте, не торопитесь, и завтра вы будете в Юрбурге.

Мы крепко пожимаем друг другу руки и расстаемся.

Отхожу немного, оглядываюсь и вижу в голубом свете теплого утра согбенную широкоплечую фигуру Перельмана.

Снова я один под открытым голубым небом, среди цветущей земли, голосистых птиц и необъятных просторов.

Иду...

Думы о будущем сплетаются с воспоминанием о давно прошедших днях. Мне хочется уйти так далеко, чтобы мое прошлое не могло догнать меня.

В тихой беседе с самим собой не замечаю движения времени и не считаю отмеряемых моими ногами верстовых кусков земли. Только солнце, все выше и выше поднимающееся, заставляет подумать об отдыхе и еде.

Круче становится лесистый берег реки. Сейчас возьму лежащий предо мною подъем и там сделаю привал.

Стою на высоком берегу и не узнаю Немана — вместо сверкающего хрусталя воды лежат большие желтые квадраты плотов.

Насколько может охватить глаз, тянется

караван туго связанных бревен. Видны соломенные будки и серые фигуры плотовщиков. Вдоль берега разведены костры. При ярком солнечном свете едва заметными белыми лентами поднимаются огни.

Еще немного, и я среди живых людей. Прошу позволения согреть воду, а потом достаю из сумки чайник, бегу за водой и быстро завожу знакомство. Узнаю, что лес гонят в Пруссию. Большинство плотовщиков — старове-ры, сосланы сюда за «ересь» из центральных русских губерний. Вожатый ближайшего десятка бутов, Силантий, пожилой мужик с круглой бородой цвета желтой меди, усаживается рядом со мной. Его интересуется моя сумка.

Он пробует пальцами наплечные ремни, ощупывает костяные пуговицы наружных карманов.

— Знатная штука... Где ты такую раздобыл? Чай, не дешево стоит?

Охотно отвечаю на все вопросы и в свою очередь расспрашиваю о Юрбурге, о границе и о том, сколько времени нужно мне идти, чтобы достигнуть моря. К нам присаживают-

ся еще несколько человек.

Плотогоны одеты по-летнему — серые су-ровые рубахи, такие же порты и... больше ничего. У некоторых сквозь расстегнутые ворота видны медные крестики. Незамысловатая работа и простая жизнь этих людей становится мне ясной и понятной: из дремучих лесов царства польского и княжества литовского вырубают миллионы высоких деревьев и по Неману отправляют за границу. Днем и ночью на своей широкой спине уносит Неман строевой материал, а они, лесосплавы, за плату, хватающую только на хлеб и соль, ведут бесконечные караваны тяжеловесных плотов.

Рыжебородый Силантий уже третий год занимается лесосплавом и является среди плотовщиков человеком «бывалым» и знающим.

— Почему вы кашу варите не на плотках, а на берегу? — обращаюсь я к Силантию.

— Тут, паря, случай вышел: передние буты в речную дугу врезались. Ну, тут, можно сказать, вышел у нас застой.

— А далеко это?..

— Чего?..

— Да вот передовые-то плоты?..

— Верст с пяток будя... Вон посланный обратно бежит, — заканчивает Силантий, указывая рукой на человека, быстрыми шагами приближающегося к нашему костру.

Штаны городского покроя, небольшая темная бородка, высокая стройная фигура делают посланного скорее похожим на горожанина, нежели на плотовщика.

— Можно спокойно еще посидеть здесь, — говорит подошедший, опускаясь к костру.

— А что? — спрашивает Силантий.

— Известно что — гвоздем врезались в берег и всячески стараются оттолкнуться...

— Эх, пустоглазые, а еще в передовые нанимаются!.. Сказывал я им будьте осторожны с крутыми изгибами, а они вон что... Ну, давайте уж пообедаем. Небось, до вечера постоим, — заканчивает Силантий.

Я внимательно вглядываюсь в посланного. Он мне нравится. Его большие серые глаза глядят весело.

— Вы откуда? — спрашивает меня вновь пришедший.

Мне только этого и надо. В немногих словах рассказываю ему о моей зимовке в Ковно и об уходе из города.

— Куда же вы теперь путь держите?

Вежливое обращение этого человека окончательно убеждает меня в том, что имею дело с жителем города.

— Хочу попасть за границу, — отвечаю ему вполголоса.

— По делу или просто любопытства ради? — допытывается мой новый знакомый, приветливо улыбаясь.

— Нет, у меня есть цель: хочу повидать другой мир и, может быть, остаться там навсегда.

— А знаете, ведь у меня тоже имеется такое желание. Надоела мне серая родина... Да вот попутчика никак найти не могу... А одному неохота пускаться в такой далекий путь.

Незаметно отходим от костра и в сторонке, около самого леса, в густой тени, падающей от высоких сосен, заводим тихий, задушевный разговор.

Его зовут Михаил Караулов. Он житель города Владимира. Сын мелкого чиновника.

Тайно бежал от родных.

И вот уже четыре, года бродит по стране, ища новой жизни.

— А при чем тут плоты? — задаю я вопрос.

— Леня одолела... Захотелось по реке прокатиться. Но я ничего не имею против начать снова ногами мерить землю. Ведь мне тоже на Юрбург нужно. Давайте вместе пойдем, — заканчивает Караулов, лаская меня глазами.

Охотно принимаю предложение и с этого момента становлюсь спутником Караулова. Он хорошо знает дорогу, он опытнее меня, видимо, хорошо грамотен, и я подчиняюсь ему.

Вторую неделю шествуем с Карауловым, держась близ шоссейной дороги. Мы уже миновали Юрбург и приближаемся к морю. Большой частью идем лесом.

Я очень доволен своим товарищем. Мы окончательно сдружились и говорим друг другу «ты». Я для него — Алеша, а он — Миша. Во многом мой новый спутник напоминает мне Государева: он тоже хорошо знает жизнь людей, животных, много читал и очень интересно рассказывает. Готов его слушать без конца...

Сейчас мы лежим на берегу небольшого озера. Миша лежит на спине, со взглядом, мечтательно устремленным в теплую лазурь высокого чистого неба. Тихим голосом говорит он.

— Лежу и думаю — как хорошо сейчас, а в голове уже зарождается мысль о ночлеге, и наше райское житье перестает улыбаться...

— Почему перестает? — лениво задаю вопрос с исключительной целью продолжить беседу и не уснуть в сладкой истоме майского дня.

— Потому перестает, что когда думаешь о будущем, настоящее теряет свою цену. Кроме того, однообразие надоедает человеку. Если на его пути не попадаются препятствия, он их нарочно изобретает для того, чтобы путем борьбы разрушить им же самим созданные преграды.

— Зачем это он?

— Затем, чтобы иметь повод для борьбы. Вообще человек без борьбы, по-моему, существовать не может. Один борется за свое собственное благополучие, а другой — подготовить счастье для потомков. В борьбе человек

приобретает опыт и силу. У зверей этого не бывает. Зверь живет только настоящим... — Миша закуривает, тонкой струей выпускает дым и заканчивает: Как знать, может быть, зверь поступает умнее.

— Почему умнее?..

— Потому что зверь не знает разочарований и сомнений... Ведь как обидно — всю жизнь бороться и к концу потерять веру в содеянное... Но, с другой стороны, без борьбы жизнь превращается в заплесневевший пруд... Вот ты, например, лежишь сейчас на мялкой траве, природа ласкает тебя не хуже родной матери, а ты, вместо того, чтобы насладиться счастливой минутой, думаешь об Америке, о какой-то неведомой стране, о героических подвигах...

— Верно! — восклицаю я, и мое сонливое состояние уступает место бурному наплыву живых мыслей. — Всегда думаю о будущем, — подтверждаю я. — А что толку — лежать на месте? Ничего не узнаешь, никого не встретишь и ничему не научишься.

Сегодня по освещенной закатными лучами шоссе́йной дороге приближаемся к городу

Полангену. Моря еще не видно, но навстречу нам уже плывет свежий ветер, налитанный влагой. Спустя немного мы входим а первый пограничный город, лежащий на берегу Балтийского моря.

Город небольшой, но чистенький. Все улицы вымощены, дома белые, а крыши черепичные. Чувствуется, что город находится на границе другой страны, откуда веет иной жизнью — опрятной и разумной.

Куда ни глянешь — везде море: безбрежное, живое, трепетное и могучее...

Караулов ведет меня по набережной. Здесь на самом берегу, по словам Миши, имеется хороший и дешевый заезжий двор, где можно поужинать и переночевать.

Хозяйка этого пристанища — древняя старуха — встречает нас приветливо а когда узнает, что мы хотим переночевать, открывает дверь, ведущую в маленькую комнатку, освещенную одним окошком, выходящим на море.

— Вот здесь можете жить, сколько вам угодно, — говорит хозяйка, причем ее черные глаза зорко вглядываются в нас.

Нам подадут хлеб, масло, сыр и маленький кипящий самоварчик.

Миша отдает за это свой последний дву-гривенный. Делаю попытку участвовать в расчете, но он отстраняет мою руку и говорит:

— Сегодня я угощаю...

В эту ночь мы долго не можем заснуть: шум морского прибоя, круглый месяц, висящий перед окном, отгоняют сон, и мы вводим бесконечные разговоры о жизни, в людях, о высокой чести и о мрачных преступлениях.

Просыпаюсь, когда в каморке уже совсем светло и когда за стеной слышны голоса. Потягиваюсь, зеваю, рукой шарю под койкой, стараясь достать сапоги, но не нахожу их.

— Миша, ты спишь?

Ответа нет. Поднимаюсь, оглядываюсь — на другой койке не вижу товарища. Тогда окончательно встаю, ищу сапоги и не только не нахожу их, но убеждаюсь в исчезновении моей сумки. Мне становится страшно. Ощущаю сильный прилив крови к голове.

Быстро одеваюсь, выхожу из комнаты,

встречаю хозяйку и спрашиваю: — Вы не видели моего товарища?

— А что?

— Его нет. Я даже не знаю, что это такое...

Пропала сумка и мои сапоги...

— Что вы говорите?!

Старуха всплескивает руками, и ее беззубый, мягкий рот раскрывается от удивления.

Меня лихорадит. Я окончательно слабею, опускаюсь на близстоящую табуретку, и крупные слезы выкатываются из глаз моих.

## 10. З'емляки

**И**юльское солнце греет море, сушит лес. Я не спеша подвигаюсь по желтому песку морского берега, крепко утрамбованного буграми.

Иду босиком, без сумки и без денег. На мне сильно поношенные брюки, блуза из сурового полотна, в руке толстая палка и пустая торбочка на плече-подарок старухи из Полангена.

Нанесенная мне рана совсем уже заживает. Иногда только в часы, когда лежу на лесном обрыве и слежу за игрою моря и солнца, мне вспоминается Миша Караулов, так же-

стоко обманувший меня, и тогда мне особенно становится грустно и стыдно за человека...

Ветер, весь день шумевший в лесу и раздражавший море, сейчас усталой птицей опускается на землю и затихает. В наступившей тишине солнце, налитое огнем и кровью, повисает над далеким краем водной пустыни, и червонным золотом расплавляется море.

Сверкающая рябь несется к берегу.

Лес притаил дыхание.

Жадными глазами ловлю и запоминаю краски, гляжу на порозовевшее небо, на быструю смену огней и ни не чем не думаю.

Я еще и потому спокоен, что вот уже два месяца как иду вдоль берега Балтийского моря и не испытываю обычно сопутствующего мне голоса. Хорошо знаю, что через каждые семь-восемь верст в лесу стоит пограничный кордон, где живут солдаты, оберегающие границу.

Пограничники — народ гостеприимный. Они рады каждому свежему человеку, в особенности, если пришедший явился из далекой России или с Украины.

Знаю, что мне стоит только встать, найти

тропинку — и через десять минут я буду в третьем от Либавы кордоне. И еще я знаю, что попаду в большую казарму, где живет сам вахмистр Тарас Васильевич.

Он мне уже знаком-по рассказам в последнем кордоне.

Все гуще и темнее становятся огни заката. Скоро вечер.

Поднимаюсь, вхожу в лес и по широкой тропе иду к кордону, светлым пятном выглядывающему вдаль, среди оранжевых колонн высоких сосен.

Вот и казарма.

— Добрый вечер, — приветствую я дневального, сидя щего на табуретке перед раскрытыми сенями.

— Вечер добрый...

Молодой белокурый солдат, коротко остриженный, смотрит на меня детскими голубыми глазами.

— Виткеля? — спрашивает он, внимательно осмотрев меня.

— С Украины, — коротко отвечаю я.

— Го? — удивленно восклицает дневальный. — А из яких местов?..

— Из Полтавщины...

Дневальный встает, открывает дверь в казарму и кричит:

— Федченко, ходь сюды...

Появляется высокого роста широкоплечий черноусый солдат.

— Бачь, земляк пришел...

Федченко прищуривает черные глаза и остро вглядывается в меня.

В немногих словах рассказываю солдатам, как я, пройдя всю Украину, попал в Ковно, где работал в крепости, а сейчас из Полангена иду в Ригу.

Чувствую, что с первых слов становлюсь близким этим людям, выброшенным из родных гнезд и отправленным в далекий край, где говорят, думают и живут не «по-на шенски», а по-чужому.

По крутому обрыву поднимаются три солдата с полотенцами в руках. У одного из них рукава и ворот вышиты галуном. Догадываюсь, что это сам вахмистр.

— Тарас Васильевич, к нам земляк пришел, — говорит Федченко, указывая глазами на меня.

Вахмистр — могучего роста человек с большим животом, крупными чертами лица и тремя жировыми складками на затылке — смотрит на меня приветливыми карими глазами и пальцами разглаживает свои пышные темно-русые усы. Он приглашает меня войти в кордон, усаживает за длинный стол и велит подать чай.

— Ну, рассказывай, откуда и куда идешь и что делается на белом свете...

И начинается мой обычный в подобных случаях рассказ. В казарме наступает тишина. Десятки глаз впиваются в меня. Момент — и я весь во власти моей фантазии и вру напропалую.

Перед моими слушателями поднимаются высокие белые города, расплываются деревни и села, золотыми волнами хлебного урожая играет ветер, красуются сады, обремененные вкусными, сочными плодами, и ширятся бесконечные баштаны, заполненные кавунами, подсолнухами, огурцами и сладким горохом. Рисую картину за картиной, вылепляю живые фигуры людей, рассказываю о многоводном Днепре, о Черном море и о тех малино-

вых зорях, какие бывают только на родине. Меня слушают так, что моментами мне кажется, что говорю в пустой комнате. Так слушать умеют только простые люди да дети.

А время не стоит. Мне видно из окна, как догорают последние огни заката, как сумерки наступающего вечера стекают с высоких сосен и в лесу становится темней. А я все говорю, увлеченный неожиданными образами, неведомо откуда рождающимися в моем радостном возбужденном сознании.

Но вот на пороге появляется кашевар Нетронь, грудастый, широколицый солдат с оголенными по локоть руками.

— Ужин готов! — провозглашает Нетронь.

Сказка обрывается.

Просыпаюсь на солдатской койке. В раскрытое окно видно море.

В обширной спальне все кровати прибраны, а в столовой ружейная стойка пуста. Догадываюсь, что уже идет утреннее ученье.

Быстро встаю, одеваюсь и покидаю казарму. Чувствую себя неловко — не могу понять, как случилось, что я проспал.

Выхожу из леса и останавливаюсь на краю

обрыва.

Предо мной светлая даль и длинная желтая лента песчаного берега.

Ни малейшего ветра. Море спит. Узенькой белой полоской пенится прибрежная струя, а у подножья лесной горы идет ученье.

Пограничники должны знать воинское искусство во всех его видах. Они и моряки, и сухопутные армейцы, и кавалеристы.

Пограничники обязаны хорошо владеть веслом, парусом, конем, винтовкой, саблей и револьвером.

Тарас Васильевич в полной форме стоит на возвышении и внимательно следит за действиями солдат.

Шестнадцать всадников на гнедых лошадях строятся в четыре ряда, а ефрейтор Омельченко, красивый чернобровый парень, гарцуя на рослом сером жеребце, объезжает колонну и отдает команду.

Маленький отряд с места бросается в карьер. Омельченко припадает к гриве коня, показавши сжимает ладонью левой руки темя и несется вскачь вдоль берега. За ним следуют остальные. Потом кавалерия вытягивается в

одну линию. Живая цепь всадников на полном ходу проделывает разные аллюры, меняя строй.

А на воде идет другое ученье. На плоскодонном баркасе восемь пар весел мерно и плавно, крыльями большой птицы, то вздымаются над тихой гладью, то ныряют в жидкое прозрачное стекло неподвижного моря.

У самого края леса Федченко обучает первогодников шагать и делать повороты.

Эхо подхватывает каждый звук, каждый шум и разносит по лесу человеческие голоса, отдельные выкрики команды и ритмический четкий топот солдатских шагов.

«Аррш!.. Азз!.. Два!.. Стой!.. Смирно!..» — прокатывается по лохматым шапкам столетних сосен и далеко разносится среди тишины спокойного моря и дремлющего бора.

Ученье кончается. Широкий взмах руки вахмистра моментально останавливает всякое движение:

— Вольно!.. Купаться!..

И вот тут наступает мой черед. Сейчас покажу, как плавают греки-рыбаки на Черном море.

Скатываюсь с обрыва, на ходу роняю одежду и бросаюсь в воду.

Иду к большому, с острой вершиной камню, откуда начинается глубина. Быстро влезаю на самый верх, встаю во весь рост, соединяю над головой руки, делаю прыжок и падаю вниз головой. Достая руками дно, раскрываю глаза и в зеленом свете воды плыву изо всех сил. И когда уже нет мочи держать дыхание, выкидываюсь на поверхность.

Земляки удивляются моему длительному нырянию. Чувствую устремленные на меня взгляды. Это придает мне смелости, и я проделываю фигуру за фигурой. Вытягиваюсь доской, складываю ладони в виде лопастей, плавно скользит мое тело; а то вдруг перевернусь на спину, соединяю руки с ногами и быстро кружусь на одном месте, изображая мельницу. Плыву стоя, плыву без рук, то встану головой вниз, и по воде скользят только одни ноги пятками вверх.

Солдаты в восторге. Хохочут, хлопают в ладоши и от всего сердца награждают меня похвалами вроде:

«Отъ, бисова дытына...», «Ну, и сучий

сын...», «Як его носит, племянника...»

После завтрака и после смены патрулей пограничники, перед тем как заняться «словесностью», получают отдых на один час.

Тарас Васильевич в мягкой расстегнутой косоворотке сидит со мной в садике, разбитом подле кордона, и участливо расспрашивает меня о моей жизни, о прошлом и, о том, затем и куда я иду. От его заросшей темной шерстью выпуклой груди и от его крупного мягкого лица, освещенного большими карими глазами, веет такой добротой, что не могу ничего скрыть и подробно рассказываю ему о последних годах моей жизни, полных невзгод и обид.

— А что же ты будешь делать в Риге? — спрашивает вахмистр, внимательно выслушав меня до конца.

— Рига большой город... Там заводы имеются... Мастерские разные. Буду работать по слесарной части...

— Ну что ж, это хорошо... Только до Риги рукой не достанешь... А, ежели пешком пойдешь, то не раньше как зимой увидишь Ригу. Так не годится.

— Но я же другого способа не имею...

— Ладно, — после коротенького молчания говорит Тарас Васильевич, можно так устроить, что морем отправишься. Тут у нас есть капитан один латыш. Ему предстоит в Ригу поехать... У него свой парусник имеется большой, — двухмачтовый. Вот с ним и поедешь, — заканчивает вахмистр и поднимается с места.

— Очень вам благодарен, — шепчу ему вслед, не находя других слов.

А наверху ефрейтор Омельченко дает солдатам урок словесности. Сначала команда должна назвать по именам и титулам весь царствующий дом, а затем учитель задает вопрос:

— А кто из вас знает, как зовут нашего главного начальника?

Солдаты молчат.

— Уже забыли, сучьи дети... — возвышает голос ефрейтор. — Вчера я вам объяснял, что наш начальник не военный генерал, а совсем даже штатский...

— Знаю, — раздается голос Федченко.

— Ну, говори.

— Министр финансов...

— Молодец, Федченко... А как его зовут?

— Господин Вышнеградский.

— Повторить! — приказывает ефрейтор, а солдаты отдельно и хором повторяют:

— Выш-не-град-ский... — ский... — вторит в лесу эхо.

Наступает тишина. Вдруг из ближайшей патрульной дорожки рассыпаются трели тревожного свистка.

Дежурный по караулу, тонкий, сухой и гибкий человек, вырывает из гнезда стойки винтовку и на полном ходу врывается в лес.

Спустя немного он возвращается и сообщает, что патрульным замечен на горизонте корабль.

Об этом докладывают Тарасу Васильевичу.

Вахмистр снимает со стены морской бинокль, становится у раскрытого окна и вглядывается вдаль.

— Петере идет, — равнодушным голосом говорит он, отойдя от окна. — Вот с ним я тебя и устрою, — добавляет он, обращаясь ко мне.

Я тоже обвожу глазами горизонт, но никакого судна не вижу.

Много времени спустя появляются на краю, моря озаренные полуденным солнцем бело-розовые крылья плывущего корабля.

На противоположной стороне леса на многоверстной поляне раскинута село Клейн-Ирбен. Небольшая речка рассекает это селение на две равные части. Жители Клейн-Ирбена — крестьяне-латыши.

Самым богатым и знатным человеком считается здесь капитан Петере. Лучший дом на селе принадлежит ему, и хозяйство у него помещичье: огромные пашни, большой крепкий дом, породистые коровы, резвые кони и богатый фруктовый сад. Его старшая дочь Мильда, рослая, сильная, голубоглазая блондинка с золотым снопом волос, является завидной невестой.

Солдаты пограничной стражи частенько заглядывают в Клейн-Ирбен, прогуливаются по главной улице, всячески стараются познакомиться с девушками, но местные парни не совсем ласково встречают русских и всеми силами охраняют неприкосновенность своих односельчанок.

Один лишь Сладенко, каптенармус, заку-

пающий в селе продукты для кордона, хорошо знаком с Мильдой.

Он единственный из всех пограничников здоровается с ней за руку.

Сладенко нравится Мильде: он самый красивый, сильный и ловкий из всех солдат, но главное — у него жгучие темные глаза и черные усики на верхней губе полнозубого рта.

В тот момент, когда на море показывается парусник, появляется Мильда с двумя подругами. Коротенькая клетчатая юбка из само тканного полотна и белая кофточка составляют весь костюм Мильды. Она и ее подруги ходят босиком.

Сладенко, завидя девушек, выбегает из казармы, распластывает руки, широко улыбается и шутя преграждает дорогу.

— Сюда нельзя... строго запрещается...

Мильда с подругами останавливается. Она тоже смеется и, видимо, играет с красивым солдатом.

— Запрещай?.. Хорошо... Молоко сам ходи бери...

Сладенко бросает взгляд на стоящего у окна вахмистра, улавливает в лице начальника

снисходительное выражение и смелеет.

— Нет, молоко сама носи... А сейчас попробуй пройти силой... Вот я стою, а ты меня с места не сдвинешь...

Мильда делает быстрое движение вперед и ударяет Сладенко ладонью в грудь так неожиданно и с такой силой, что солдат скатывается с ног.

Раздается дружный смех пограничников. Солидно ухмыляется и сам Тарас Васильевич.

Но Сладенко уже снова стоит перед Мильдой, загораживая собою путь.

— Так нельзя... Я не ожидал... Давай по-честному... Вот, попробуй свалить меня.

По всей фигуре и по выражению лица видно, как солдат напряжинивается и собирает всю силу.

Но Мильда решительно обхватывает Сладенко, приподнимает и бросает на землю.

Громкий смех вырывается из солдатских глоток и оглушительным хохотом прокатывается по лесу. А Мильда стоит зарумянившаяся, с высоко поднимающейся от частого дыхания грудью и голубыми лучами глаз ласкает мир. Голодные взгляды солдат скользят по ее

крутым бедрам и крепким икрам обнаженных ног, и каждому из них хочется быть на месте Сладенко.

А судно между тем с каждым мгновением вырастает на горизонте, и уже хорошо видны паруса.

Еще немного, и прибывший парусник бросает якорь.

Тарас Васильевич приказывает снарядить баркас и в сопровождении команды гребцов отправляется на осмотр прибывшего двухмачтового корабля.

Солдаты мне рассказывают о хозяине прибывшего парусника, капитане Петерсе. Он очень хороший человек, не жадный, добряк, но в то же время самый ловкий и увертливый контрабандист. Вот почему Тарас Васильевич, идя на осмотр, всегда приказывает ребятам быть начеку и хорошенько прочистить винтовки.

Отныне все, что касается неведомого мне Петерса и его парусника, меня чрезвычайно интересует. Мне предстоит на этом корабле плыть не в мечтах, а в действительности, и я заранее волнуясь и хочу вообразить себе

предстоящее мое путешествие.

Незадолго до обеда баркас возвращается к берегу, имея на борту самого капитана Петерса. Он первый сходит на землю с большой толстой сигарой во рту. Он мне нравится. Хороший рост, широкие плечи, могучая грудь говорят о недюжинной силе этого человека.

Крупная темноволосая голова крепко сидит на полнокровной шее.

Хорошо запоминается чисто выбритое энергичное лицо, освещенное большими лучистыми глазами, похожими на глаза Мильды.

У Омельченко в руках большая раскрытая шкатулка, наполненная сигарами. Тарас Васильевич приказывает ефрейтору унести сигары в кордон.

— Зачем бери... Сам покупал Рига... Это не контрабанд...

— Знаем мы тебя... На каждой штучке берлинская марка... Нас не обманешь... — говорит Тарас Васильевич.

Эти здоровые большие люди стоят друг против друга, и на их лицах играют мягкая ласковость и добродушие.

Капитан смеется всеми своими крепкими и непорочными зубами, заранее уверенный, что сигары ему вернут.

— Хорошо, пропущу без пошлины, но ты должен за это взять у меня бесплатного пассажира...

— Какой пассажир? — спрашивает Петере, не переставая улыбаться.

Тарас Васильевич указывает на меня. Капитан протягивает мне руку и выражает свое полное согласие.

— А вы знайт, когда ми пошель на Рига? — спрашивает Петере.

— Скажи — тогда узнаю.

— Через цвей-дрей таге, — отвечает капитан, показывая на пальцах число дней.

— Ну что ж, — говорит Тарас Васильевич, обернувшись ко мне, у нас...

Вместо слов благодарности я отвечаю низкий поклон гаямистру и Петерсу.

Сижу и жду погоды. Петере говорит, что пака не подует попутный ветер, он с якоря не снимется. А я изнываю в тоске. Все, что можно было, я рассказал, со всеми солдатами ознакомился в досталь, и теперь чувствую се-

бя здесь лишним человеком.

А море едва колышется и опит в теплой истоме.

Но вот наступает желанный день. Слегка дохнувший с вечера легкий ветер к утру крепчает, расправляет невидимые крылья, шумит в лесу и будит море.

На рассвете шлюпка Петерса несет меня к паруснику. Гремит тяжелая цепь якоря, а спустя немного взлетают паруса, наш корабль медленно поворачивается носом к солнцу, и я ощущаю скользящее движение нашего судна.

Ветер крепчает. Огромными пузырями вздуваются паруса. Наш корабль ускоряет ход. Начинается качка. Берег исчезает, и мы в водной пустыне, среди вздымающихся валов и необъятного простора голубого неба,

С непривычки кружится голова. Пьянею от свежего воздуха и качки. Мне хочется лечь. А Петере и его два Младших брата работают, возятся с парусами, направляя их в нужную сторону.

Чувствуется необычайная любовь этих людей к морю. В каждом их движении, в их коротких словах проглядывают живая, крепкая

энергия и радость, а у меня все сильнее кружится голова, и я уже не в состоянии держаться на ногах.

В тихий рассветный час мы входим в Рижскую гавань. Предо мною обнаженный лес высоких мачт.

С помощью парового буксира мы втискиваемся в строй судов и приготавливаемся к разгрузке. Наш корабль нагружен березовыми дровами. В продолжение нескольких дней десять поденщиков, в том числе и я, разгружают нашу парусную баржу.

Работа тяжелая. Приходится на тачке по зыбкой доске, положенной между нашим судном и берегом, двигаться с большой опаской. Малейшее неправильное движение — и я могу скovyркнуться в воду.

Мои и без того ветхие брюки окончательно приходят в негодность, а босые ноги обрастают несмывающейся корой.

Недалеко от нас живет большой город, и мне страшно подумать о том дне, когда уйдет без меня наш корабль, а я, оборванный и бесприютный, окажусь в незнакомом и чуждом мне месте.

Но Петере оказывается очень добрым и справедливым человеком.

Мой труд он оплачивает наличными деньгами, и я по его совету отправляюсь на местный базар, расположенный недалеко от пристани, где приобретаю летнюю пару из чортовой кожи, парусиновые башмаки, смену белья и фуражку. От пяти рублей, полученных за работу, у меня еще остается двугривенный на махорку.

Прихожу одетый, умытый и остриженный. Весь этот день гуляю по узеньким полутемным улицам старинного города, застроенного высокими каменными домами.

К вечеру, вернувшись на корабль, я живу новой мечтой: мне хочется попасть в Петербург. Вот там я достигну высшей цели. Буду работать и учиться. Надо стать образованным во что бы то ни стало.

Отдам все свои силы, весь свой разум и молодое сердце, лишь бы научиться писать и получить право на жизнь.

Вот эти желания, вот эти заветные мысли я подробно и со слезами в голосе изливаю перед капитаном Петерсом.

Он сейчас особенно добр и ласков. Сидит в каюте, пьет коньяк, закусывает засахаренной клюквой и смачно затягивается сигарой.

— Это небольшое дело... Я могу сказать один капитан — мой снакомий... Он сафранит на Петербург... Он тебя бери... Карашо?

Доброта этого человека меня приводит в смущение.

Не знаю, как и чем отблагодарить его за такое неожиданно хорошее отношение ко мне.

## 11. петербург

Сегодня на нашем корабле пир. Капитан Петере празднует день своего рождения. В маленькой капитанской каюте тесно, жарко и накурено. В гостях: капитан Рейдис, собственник двухмачтового парусника и старый друг Петерса, два штурмана и один пожилой моряк колоссального роста по имени Отто Кравер.

Пьют коньяк, ром и еще какую-то смесь темно-зеленого цвета. Компания находится в том состоянии опьянения, когда люди, не слушая друг друга, говорят повышенными голосами и пробуют петь, но громоздкие звуки,

взметнувшись вверх, тут же обрываются и скатываются наземь.

Я исполняю роль посыльного. Когда чего-нибудь не хватает, Петере подзывает меня, дает деньги и коротко роняет: «коньяк» или «ром». И я охотно и быстро исполняю поручение. Мне уже известно, что с завтрашнего дня я буду работать по нагрузке алебастром корабля Рейдиса, после чего отправимся по Рижскому и Финскому заливам в Петербург.

Капитан Рейдис мне не особенно нравится. Выражение его лица жестокое, а глаза с зеленоватым блеском кажутся мне алыми. Тем не менее я очень ему благодарен за то, что соглашается взять меня с собой в Петербург.

На следующий день рано утром отправляюсь на место работы. Там я застаю нескольких оборванцев, нанятых для погрузки, и самого хозяина. От вчерашнего веселья никаких следов. Лицо капитана, обрамленное круглой бородой, замкнуто и по-деловому строго. Он объясняет нам, что и как делать, указывает на стоящую рядом с нами огромную баржу, нагруженную до верха белопеными глыбами алебаstra, велит положить

доски и приступить к работе.

Я уже не являюсь новичком, и тачка становится в моих руках послушной, но зато меня смущает то обстоятельство, что мой костюм пачкается и портится во время работы, а для смены у меня ничего нет.

Ровно через неделю заканчиваем погрузку и выходим из гавани в открытое море. Сейчас начало августа. В Риге, в этом городе, состоящем из тесных каменных коридоров, еще очень тепло, и безоблачное небо ничем не угрожает. Но когда наш корабль с помощью буксира выбирается на волю и, вздув паруса, идет к безбрежному простору, нас встречает тугой ветер. Он сдувает теплоту солнечного дня, бороздит водную равнину, играет парусами нашего одинокого корабля, едва заметно в этой неоглядной пустыне, и обдает нас солеными брызгами разбивающихся о наше судно темно-серых волн.

У руля стоит старый моряк Отто Кравер. Его серые глаза прищурены и устремлены вдаль. Бритое, безусое и обветренное лицо сосредоточено и неподвижно. Рыжая кайма шерсти вдоль ушей и подбородка делает его

похожим на большую сердитую обезьяну.

Вокруг меня два матроса и капитан мечутся среди наполненных ветром парусов, перебрасываются непонятными словами, стягивают веревки и стараются поставить полотна в необходимое положение.

Ветер набирается сил.

Выше вздымается море. Чтобы не быть сдутым в воду, я должен крепко держаться за борт.

Мною овладевает тоска. Этот необъятный бушующий простор становится страшным. Окружающие люди не видят и не замечают меня.

Начинаю зябнуть. По телу пробегает мелкая дрожь.

Все злее становится море. Боюсь оставаться на палубе. С большим трудом добираюсь до открытой крышка люка и опускаюсь на самое дно корабля. Здесь ложусь на грудь старых парусов и тревожно прислушиваюсь к топоту ног над моей головой, к свисту ветра, к скрипу мачт, всплескам волн. Боязнь истомляет меня. Затуманенный морской болезнью, я свертываюсь в комочек и не то впадаю в за-

быть, не то засыпаю.

Просыпаюсь от сильного толчка и от грохота рассыпающихся тяжелых предметов по палубе. «Тонем!» кричит во мне страх.

Вскакиваю на ноги. Ищу глазами квадратное отверстие люка, но надо мной и вокруг меня висит густая черная тьма, и мне приходится наугад и оцупью искать лестницу, ведущую наверх. Вот уж я рукой достаю крышку люка.

Кому нужно было закрыть трюм? Знаю, что крышка, очень тяжелая, но мысль, что мы тонем, придает мне необычайную силу, и я одной рукой отбрасываю ее назад.

Тяжелая струя воды бьет меня в лицо, и я с большим трудом удерживаюсь на лестнице, а затем быстро вскакиваю на мокрую палубу и ввергаюсь в бурю. Море кричит множеством голосов, белесый туман без неба, без просветов застит глаза, и я ничего не вижу. По водяным горам мятущегося моря наш корабль то вскочит на седые гребни валов, то ринется в бездну. Среди этой мглы, среди рева и грохота стихии мелькают бокрут меня красненькие точки.

Догадываюсь, что это фонари в руках моряков.

Один из блуждающих огоньков приближается ко мне, и в СКУДНЫХ лучах морского фонаря вырисовывается лицо хозяина судна. Одним быстрым движением он захлопывает крышку трюма и подносит свет к моему лицу. Он кричит, приказывает мне что-то сделать, но ураган срывает звуки его голоса и уносит их в пучину.

Видя, что я ничего не понимаю, капитан хватает меня за плечо и тащит к корме. У первой мачты он останавливается, сует мне в руку кривой нож, жестами и криками велит подняться, на самую вершину мачты и обрезать веревку, прикрепленную к треугольному куску полотна.

Бессознательно карабкаюсь вверх по мягким и липким веревкам лестницы. Когда добираюсь до кончика мачты, вижу, как огоньки вместе с палубой уходят прочь, а я повисаю над вопящей бездной. Поручение исполнено. Стою вместе с двумя матросами, держусь за деревянный рычаг и выкачиваю воду.

Темные силуэты людей, мелькающие оди-

нокие огоньки, скачущий по высоким волнам наш затерянный в пучине вод корабль, непрекращающийся рев бури и властвующий над этим адом ветер, свистом и бешеным хохотом выражающий свою хмельную радость, — окончательно обессиливают меня, и моментами удивляюсь тому, как я стою на ногах и как при этом у меня еще хватает сил выкачивать воду. Но в то же время я чувствую, что страшная опасность, нависшая над нами, отступает.

Ветер все еще крепок, но порывы его становятся ровнее. В окриках капитана уже не звучат угрозы, а серая стена тумана постепенно редет и местами разрывается в клочья. Далеко впереди появляется розоватая черта.

Туда, к этой ясной полоске, устремлены глаза рулевого.

Вся команда, состоящая из пяти человек, работает над парусами. Капитан снова приказывает поднять их.

Становится светлее. Голубые просветы неба прорезываются сквозь влажную мглу, а на горизонте все шире и светлее разгорается нежно-розовая река восхода.

Море все еще кипит и бушует, но в белопенных космах волн уже утихает грозный рокот. Боковая качка прекращается. Наш корабль, гонимый ветром среди необъятного безбрежья, кажется маленьким беленьким существом, скачущим по водяным холмам. Но это уже никого не беспокоит. На этот раз море оказывается снисходительным и, потрепав немного наше суденышко, отпускает его с миром.

И надо видеть лица моряков, их смеющиеся глаза, чтобы понять, какой здоровой радостью полны они сейчас. Каждый из них чувствует себя победителем и великодушно прощает морю его суровую забаву.

В Петербург мы прибываем ночью. Неуклюжий, черепахообразный буксир втягивает нас в темноводную Неву, украшенную звездными ожерельями огней гранитных берегов.

Стою на носу корабля, вглядываюсь в молочную муть северной ночи, и в груди моей взволнованно бьется сердце.

Петербург... Величайшая моя мечта последних лет осуществляется. Еще немного — настанет утро, и я собственными ногами

пройду по улицам столицы, уже знакомой мне по книгам и по рассказам бывалых людей.

Но не так складываются обстоятельства, как мне хочется. Рано утром прибываем к месту стоянки. Наш парусник, прижавшись к каменному берегу Черной речки, бросает якорь. Капитан отдает приказ немедленно приступить к разгрузке судна. И я вновь впрягаюсь в тяжелую работу.

Живу на корабле, сплю где попало. Днем занят разгрузкой, а вечером исполняю всякие мелкие работы, а когда все уходят в город, я остаюсь сторожить корабль.

Проходит десять дней. Хозяин парусника производит расчет с поденщиками. Уплачивает каждому из них по пяти рублей, считая пятьдесят копеек за день: мне же он сует в руку рубль и говорит:

— Ну, прощай!..

Не могу понять, что это значит: шутит ли со мной капитан, или он всерьез думает, что для меня и рубля достаточно. Неужели он не видит, что я весь оборвался на его работе!

— Извините, пожалуйста... Мне больше на-

до...

Зеленоватые глаза капитана становятся злыми и колкими.

— Мало?.. А кушал ты мало?.. А за проезд платил?.. Катись с палубы!..

Все это происходит так неожиданно, что я совершенно теряюсь и, стораю от стыда и бесильной злобы, схожу на берег.

На мне висят рваные клочья, башмаки совершенно разваливаются, весь я, испачканный алебастром, имею такой жалкий вид, что не решаюсь войти в город и кружусь по окраине до самого вечера.

Рядом живет огромный, красивый, богатый город, сотни тысяч людей находят там свой приют, свои радости, свое счастье... Меня тянет туда. Хочу войти в шум городской жизни и спрятаться от моего страшного одиночества.

Э, да не все ли мне равно!.. Кого стыдиться?.. Пусть будет стыдно им, вот этим сытым, ничего не делающим людям.

А я не виноват в том, что беден и оборван.

Эти мысли подгоняют меня, и я шагаю по широким светлым улицам столицы, хожу ча-

сами, хожу без устали, а сердце полно возмущенья — и я не перестаю ссориться с капитаном, так жестоко обидевшим меня.

Три дня и три ночи живу в Петербурге. За это время я успеваю ознакомиться с городом, запоминаю названия отдельных улиц и площадей, а с наступлением вечера ухожу в ночлежный приют.

В спертom воздухе тесной ночлежки, в тяжелом тумане махорочного дыма и винных испарений, среди скопища пьяниц, босяков, нищих и многих иных представителей столичной голи — чувствую себя освобожденным.

Здесь нет места стыду. Все равны, все выброшены за борт, и никого не удивишь своим несчастьем. Но зато здесь не найти ни одного лица в маске. Тебя окружают обнаженные мысли и раскрытые сердца.

— В прошлом годе, — громко рассказывает один из ночлежников по имени Петька-Желудь, — зима дюже лютая была, а на мне покрывка летняя — рубаха да портки. И случилось это со мной в Москве. Что тут делать... Замерзать по-собачьи?.. Нет, думаю,

шалишь, не зря мать рожала... Стану, думаю, как царь, задарма хлеб лопать да в тепле жить. Ну; ладно... Вот это я, действительно, заполз в полицейский участок и заявил себя Непомнящим... И я, братцы мои, до внешних дней просидел в тюрьме и бытовал по-княже-ски...

Дружным смехом встречается рассказ.

Хорошо запоминаю веселые карие глаза Петьки, его белые крепкие зубы, темный войлок волос на круглой голове и коричневую рванину на широких сильных плечах.

Наступают осенние дни. Злее становится жизнь. Часто вижу себя со стороны. Вижу никому не нужного человека, затерянного в многолюдной, шумной столице.

Весь день зябну и прячусь от дождя. Питаюсь от случая до случая.

Сегодня могу остаться без ночлега. Мне предстоит бесконечно длинную ночь провести под открытым небом. В моей бесприютной жизни случались такие ночи, но сегодня я с ужасом думаю об этом невыносимо тяжком, испытании.

В моем воображении встает картина ожи-

дающей меня ночи.

Город спит. Погашены огни. Глухая каменная тишина. Сквозь жидкие прутья холодного дождя серыми бесформенными глыбами выступают слепые безмолвные дома. Согнувшись под тяжестью ненастья, я шагаю по мокрым пустым улицам. Во мне стынет кровь.

Мелкую колючую дрожь вливает в меня осенний ветер.

Я до того одинок и беспомощен, что плачу от жалости к самому себе.

Да, я знаю, что меня ждет, и мысль об этом приводит меня в отчаяние.

Нет, лучше смерть, чем такая ночь!.. И вот тут в памяти моей пробуждается рассказ Петьки-Желудя.

Почему он смог так поступить, а мне кто запрещает?..

Сейчас адмиралтейские часы показывают полдень.

Надо приступить к делу... Ждать нечего... Иного пути не вижу перед собой.

Несколько минут колебания, и я решительно вхожу в казанскую полицейскую

часть. На все вопросы околоточного надзирателя отвечаю незнанием.

Сухой, тощий человек с длинным костлявым лицом и холодными серыми глазами сначала впадает в ярость, а потом, когда я решительно отказываюсь отвечать, он входит в кабинет пристава, откуда через минуту возвращается, и, вцепившись тонкими пальцами в мое плечо, вталкивает меня в помещение начальника.

За большим письменным столом, покрытым зеленым сукном, сидит сам пристав. Остриженная бобриком седая голова наклонена над бумагами, на плечах поблескивают офицерские эполеты. При моем появлении голова медленно поднимается, и я вижу узкий лоб, хмурые черные брови, темные глаза и пышные, горизонтально лежащие усы.

Коротенькое молчание. Чувствую, как в мое лицо вливается взгляд пристава.

— Откуда? — прокатывается густой, низкий бас начальника.

— Из Риги — отвечаю я.

— Как звать?

— Шимма.

— Фамилия?..

— Это все... Других имен у меня нет.

— Что?..

В обширной комнате наступает тишина. Пристав до того изумлен, что даже не сердится.

— В центре столицы... Да что же это такое!.. Бродяга... Не помнящий родства... А фамилия твоего отца?.. — снова обращается ко мне начальник...

— Я не знаю отца...

— А мать?..

— Тоже не знаю...

— Ах, ты... — из уст пристава вырывается длинное ругательство, и он кулаком ударяет по столу.

Не знаю почему, но я не испытываю никакой боязни.

Мне даже нравится, что привел пристава в состояние сильного озлобления.

Долго тянется допрос. Представитель столичной полиции всячески старается выжать из меня хоть какое-нибудь признание, а я в свою очередь не уступаю и твержу свое бесконечное «не знаю».

Борьба кончается вничью.

Меня водворяют в одиночную камеру и выдают суточный паек.

Растет дело непомнящего родства. Мою камеру посещают старшие и младшие чины казанской полицейской части и какие-то штатские люди... Последние особенно заинтересованы мной. Заглядывают в глаза, измеряют рост и всячески обнюхивают.

Догадываюсь, что меня принимают за очень важного преступника. Понемногу начинаю фантазировать и, как всегда в подобных случаях, творю легенду. Я не бродяга, а великий революционер. Я только что бросил бомбу в Зимний дворец и поднял на дыбы всю страну. А я сижу здесь в камере и смеюсь над приставом и над штатскими, изо всех сил старающимися узнать меня.

— Эй, ты, безымянный, собирайся!..

Меня куда-то отправляют под строгим конвоем.

Приводят в сыскное отделение. Здесь мне уже становится страшно. Добрый час меня фотографируют в разных видах. Потом раздевают догола. Заносят в протокол мои приме-

ты и тут же приходят к заключению, что я несомненно иудейского происхождения. Затем сбривают мне волосы и снова фотографируют.

Начальник отделения, высокий, дородный старик в жандармском мундире, с белыми аксельбантами на широкой выпуклой груди, пытливо вглядывается в меня большими влажными глазами и пальцами расправляет усы.

— М-да... — произносит он и, позванивая шпорами, уходит.

Протокол начинается словами: «20-го сентября 1888 года задержанный неизвестного звания человек...», но нигде не упоминается, что я сам явился в полицию.

День заканчивается мучительно длинным допросом, производимым следователем.

В памяти моей четко живет этот человек в длинном сюртуке, с шелковистой черной бородой. Он ласков и приветлив. Приглашает сесть в мягкое кожаное кресло и угощает папироской. У меня от этой ласки кружится голова.

— Давайте поговорим по душам, — начи-

нает следователь, усаживаясь напротив меня. — Можете быть со мной вполне откровенным. Вы видите, я даже не стану ничего записывать. Побеседуем просто. Я знаю, что очень тяжелое обстоятельство могло вас привести к нам. Что ж, бывают такие случаи... Но из этого еще не следует, что вы должны себя окончательно погубить... Вы, наверное, сами знаете, что за бродяжничество закон карает сильно. Вас закуют в кандалы и сошлют в Сибирь, Там, среди снегов и вечного мороза, вы встретите свой смертный час. Зачем это вам? Вы еще так молоды... Может быть, вас ждет счастливое будущее... Лучше последуйте моему совету и расскажите мне всю правду... Могу вас уверить, что получите свободу, а если обстоятельства позволят, мы вам окажем и материальную поддержку...

Долго еще говорит следователь, лаская меня черными, немного выпуклыми глазами.

Я слушаю, низко опустив голову, и по каплям собираю всю силу моей воли, чтобы не поддаваться соблазну.

Этим допросом заканчивается последний акт моей драмы. Меня отправляют в Дом

предварительного заключения.

За мной захлопывается дверь жизни.

## 12. Савельич

**Ж**иву без имени. Меня зовут — «Тринадцатый номер».

Живу в нижней галерее. Моя камера имеет четыре с половиной шага в длину и три в ширину. Но от меня зависит увеличить это число, уменьшая величину шага. Дверь массивная, с круглым глазком посередине. Напротив входа — высокий покатый подоконник. Небольшое окно, украшенное толстой железной решеткой, льет слабый, мутный свет, похожий на вечерние сумерки... На левой от двери стене висит железная койка с подстилкой, одеялом и подушкой. Она прикреплена к стене, и откинуть ее может только дежурный надзиратель. Для этого у него имеется ключ. Напротив койки у другой стены висит квадратный лист железа это стол. Немного ниже такой же кусок, меньших размеров и тоже прикрепленный к стене, служит стулом. Надо всем этим висит черный рожок газового освещения. В правом углу — унитаз. И больше ничего.

Но, боже мой, до чего я счастлив!.. Я один. Мне тепло. Я сыт и одет. На мне казенное белье. Ношу из толстого серого сукна штаны, куртку, халат и круглую шапку без козырька.

Жаль — нет зеркала. Хочется посмотреть на себя.

Что и кого я оставил за стенами этой тюрьмы? Пусть без меня живет мир, населенный алчным и злым человечеством.

Кто мешает мне в небольшой камере создать свой собственный мир?.. Да, здесь можно помечтать... О чем только не передумаешь...

Времени там много... А какая здесь тишина!..

Однажды просыпаюсь от коротеньких, торопливых стуков. Кто-то стучит за стеной. Так стучат телеграфисты.

Нетрудно догадаться, что рядом со мною живет другой заключенный и что стуки имеют известное значение. Он, наверное, желает установить между нами связь. Но я не умею отвечать.

Еще очень рано. В камере темно. Не могу уснуть. Жду повторных стуков. А когда мел-

кая дробь снова раздаётся, я набираюсь смелости и суставом указательного пальца тоже пробую постучать. После этого за стеной прекращаются сигналы навсегда.

Чуть свет по каменным гулким галереям раздаются лязг ключей и громкие выкрики надзирателей: «Кипяток!», «Кипяток!», «Кипяток!».

Открывается камера. Входит молчаливый надзиратель, зажигает газ, откидывает «стол», кладет хлебный паек и, не проронив ни слова, удаляется, хлопнув дверью.

Кипятком не пользуюсь, потому что не имею чая и сахара. Но зато мне предоставляется право ждать обеда.

Постепенно блекнет моя радость. Незаметно подкрадывается тоска. Мысль о том, что я забыт, меня начинает тревожить. С нетерпением жду появления надзирателя.

Интересуюсь каждым звуком, малейшим шорохом, доносящимся извне.

Ежедневно за два часа до обеда пользуюсь прогулкой. Меня выводят из камеры и направляют во двор.

Здесь на асфальтированном дне каменно-

го колодца сереет круглая постройка, состоящая из очень большого числа треугольников, наглухо отделенных друг от друга массивными перегородками. Каждый такой треугольник и является местом для прогулки. Отсюда можно видеть небольшой кусок неба и желтое пятно стены тюремного замка. Подобно волку в зоологическом саду, мечусь по клетке, откуда меня убирают ровно через сорок минут.

Но меня тянет к маленькому клочку неба, и я ежедневно считаю часы и минуты, когда позовут на свежий воздух.

Бледнеют мои мечты. Мысли беспомощно бьются о толстые стены камеры. С каждым днем растет тоска. Начинаю жалеть о прошлом.

Неожиданно в мою камеру входит старик-надзиратель. Вижу его впервые. На нем не куртка, а мундир. На груди несколько медалей и крест. Мелкие черты старческого лица с маленькими седыми бачками И полинявшие от времени голубые глаза успокаивают меня.

Не заметна обычная у надзирателя суро-

вость, и весь он какой-то мягкий, уютный, не казенный.

Впоследствии узнаю, что он по выслуге лет оставлен в качестве старшего надзирателя-контролера. Он следит за порядком и пользуется правом в любое время войти в камеру заключенного. Зовут его Савельич.

Он зорко всматривается в меня, улыбка чуть-чуть шевелит седые усы; наружной стороной ладони вытирает заслезившийся глаз и спрашивает:

— Сидишь за безымянность?

Я вместо ответа утвердительно киваю головой.

— Раненько, паренек, раненько пошел ты по дороге бродяг... Эх, эх... Ну, да ладно... Наскучит тюрьма, тогда вспомнишь про своих родителей. Эх-хе-хе, — заканчивает он не то кашлем, не то смехом.

Мне старик нравится. Он внушает доверие, и я ничуть его не боюсь.

— Ну, как же ты, паренек, живешь здесь? Чай, грамотен?..

— Читать умею...

— А писать?

— Учился, да ничего не вышло.

— Почему не вышло?

— Потому что я — левша.

Старик смеется. И вместе с ним в его руке легким смешком позванивает тяжелая связка ключей.

— Сказал тоже... Левша... Экая причина... Нет, паренек, здесь дело в лени... Да, брат, в лени, а не в том, что левша... А безграмотному в жизни все едино, что слепому среди цветов... Вот оно что...

— Читать я сам научился, — перебиваю я Савельича.

Этим я хочу доказать, что причина не в лени, а в природном моем недостатке.

— Этого, паренек, мало... Что говорить, быть слепым на полтора глаза все же лучше, чем ничего не видеть, а все же по нынешним временам безграмотному невелика цена.

Старик снова смеется.

В это время приоткрывается дверь и просовывается голова младшего надзирателя.

— Иван Савельич, вас в контору требуют.

— Иду, иду, — отзывается старик, выпрямляется и, бросив на меня доброжелательный

взгляд, уходит.

Я очень доволен неожиданным появлением Савельича.

Шутка ди сказать — в моей однообразной тюремной жизни блеснула новая полоска...

Живу здесь три недели. Но и за это короткое время мне уже хорошо известны все явления тюремного быта.

По четвергам меня ведут в ванную. По субботам и воскресеньям «приглашают» в церковь. В понедельник отправляюсь с конвоем к следователю. Идем тогда подземным ходом, соединяющим тюрьму с окружным судом. А затем идут мелочи дня: обед, ужин, прогулка и появление надзирателя, отпирающего койку и зажигающего газ.

Вот и вся жизнь. Все остальное время живу в скуке, молчании и мертвой тишине. Даже думать устаю.

Когда за моей дверью раздаются чьи-либо шаги или шелест человеческих голосов, я по звериному тихо подкрадываюсь к двери и замираю в ожидании: сейчас откроют камеру, и случится что-то новое, и на минутку рассеется острожная скука.

На другой день, сейчас же после прогулки, ко мне снова приходит Савельич. В руке у него большая растрепанная книга без переплета. Во мне вспыхивает радость.

Я готов этого милого старика прижать к своей груди.

— На, почитай вот... После старшего сына осталось... Погиб он у меня на железной дороге... Книг осталось — цельный сундук. Берегу их на память... А эта валялась на подоконниках... Вот и вздумал ее отдать тебе. Ежели правду говоришь, что читать умеешь, утешением послужит.

Старик взглядывает на меня добрыми влажными глазами и ухмыляется.

Я искренне благодарю Савельича. После ухода старика жадно припадаю к измятым страницам принесенной книги. Хотя в ней нет начала и конца, не могу оторваться и читакзапоем. Книга переносит меня в холодную Сибирь, на каторгу и окружает живыми людьми, звоном кандалных цепей и тяжелыми человеческими страданиями.

Перестаю скучать. Невыносимый гнет одиночного заключения уже не так остро дает се-

бя знать. Я не один. Со мною эта замечательная книга.

Новая мечта овладевает мной. Хочу во что бы то ни стало научиться писать.

Ежедневно ко мне приходит Савельич. Он дарит мне букварь и карандаш.

— На, пиши вот... А левую руку я у тебя отниму, — говорит он и, по обыкновению, заливается мелким детским смешком.

Он берет полотенце, туго привязывает мою левую руку к туловищу и приказывает: — вот и пиши... Весь букварь испиши... А я уже погляжу... Научишься писать и, гляди, меня когда-нибудь помянешь добрым словом...

Часами сижу за моим маленьким железным столиком и в полумраке осенних дней старательно вывожу на бумаге букву за буквой. Вскоре с помощью Савельича начинаю складывать слова и понемногу привыкаю действовать правой рукой.

В те дни, когда мне удастся написать одну или две строки, а Савельич, подходя ближе к подоконнику, не без труда, но все же прочитывает написанное, меня озаряет новое,

небывалое в моей жизни счастье.

Правда, я не знаю никаких правил и не имею понятия о грамматике, но все же могу свои мысли бросать на бумагу и перечитывать их.

У меня является желание написать несколько слов в честь Ивана Савельича. Работаю над этим безудержно в продолжение нескольких дней. И наконец достигаю цели.

Вот что я пишу: «Дорогой Иван Савельич. Вы для меня сделали большое дело. Вы научили меня писать. Никогда этого не забуду. Если когда-нибудь стану писателем, я сочиню про вас целую книгу. А сейчас с благодарностью припадаю к вашей руке. Ваш Безыменный».

Лично преподношу послание. Савельич долго стоит у подоконника, шевелит усами и часто ладонью вытирает глаза. Потом трясущейся рукой прячет бумажку за борт мундира.

У меня в глазах закипают слезы.

Таинственная завеса спадает перед моими глазами: я умею писать. Великое и недостижимое счастье, неоднократно виденное во сне, сейчас осуществляется. Я перерождаюсь.

Отныне черные крылья одиночества не коснутся меня: была бы бумага и перо.

Не знаю, что хорошего нашел во мне Савельич, но я чувствую, как с каждым днем он ко мне все сильнее привязывается. Отвечаю ему тем же, и мы становимся друзьями.

— Вот и писать научился, — говорит мне Савельич в одну из обычных наших бесед. — Теперь, стало быть, пора и о воле подумать. Напиши прокурору заявление. Расскажи, всю правду — как голод тебя в тюрьму загнал, назови себя настоящим именем, объясни, откуда ты родом, и будешь на свободе.

— А за обман ничего не сделают?

— Ежели ты правду заявишь, а справки подтвердят, то к вешним дням откроют камеру и скажут: «Ступай, откуда пришел». И все тут.

Крепко задумываюсь над словами Савельича, а на следующий день приступаю к заявлению.

Мне хочется подробно изложить мою жизнь за последние годы.

Прочтут мою биографию, поймут, какие обстоятельства заставили меня скрыть своё

настоящее имя, и простят, выпустят на волю, где я войду в жизнь равноправным человеком.

Время трогается. Места нет для скуки. Весь день и вечером, пока горит газ, я усердно сижу над моим заявлением. Десятки раз перечитываю, исправляю, переделываю: каждое слово, окончательно начертанное, является результатом упорного и тяжелого труда.

Савельич частенько захаживает, с большим вниманием выслушивает написанное, вносит поправки и хвалит меня:

— Ну, молодчага же ты, паренек!.. Иной годами сидит над таким делом, а ты вон как быстро писать научился...

— Нет, Иван Савельич, я еще не совсем научился: буквы корявые, да с ятью не знаю, что мне делать.

Савельич на минутку задумывается, а затем, подняв лысую голову, украшенную седыми кудерьками на затылке, говорит:

— А ты будь без сомнений — дели пополам... Ну, скажем, употребил шесть раз букву «е», столько же ставь и «ять». Вот и все по-хорошему будет... С этой штукой и мне труд-

ненько было... А потом, как привык обращаться с грамотой, «ять» сама, можно сказать, на свое место ложилась. Вот что, паренек...

В тот день, когда заканчиваю заявление, меня ведут в контору, где передаю свою бумагу смотрителю. Наступают дни нетерпеливого ожидания. Прокурор должен меня вызвать.

Приходит зима. Хрустит снег под ногами, когда иду на прогулку. Лицо пощипывает мороз. Редко и не надолго проникают слепые лучи зимнего солнца, но и эти негреющие огни зажигают во мне надежду, и я не перестаю думать о свободе.

Наконец меня вызывают к прокурору. Еще один последний допрос, еще один фотографический снимок, и я возвращаюсь к себе.

Днем и совсем в неурочное время открывается камера, и в сопровождении дежурного надзирателя входит помощник смотрителя тюрьмы. Круглый толстяк, с мясистым красным лицом и тоненькими жидкими усами на толстой губе, не торопясь переступает порог и ленивыми серыми глазами осматривает камеру, дотрагивается пальцем до моей книги и

обращается ко мне со следующими словами:

— Сегодня тюрьму посетит баронесса Тизенаузен. Если имеете какую-либо нужду, то она зайдет к вам.

Я молчу, не зная, что сказать.

— Ну, так как? Желаете видеть? — после маленькой паузы спрашивает начальник.

— А зачем это?..

— Известно зачем... Чтобы вам помочь. Она благотворительница...

— Пусть приходит...

После обеда, когда в тюрьме обычно наступает глубокая тишина, вдруг по нашей галерее раздаются шаги, лязг ключей и посторонние незнакомые голоса. Шум приближается. Я настороже. Стою посреди камеры, пятью пальцами причесываю волосы, изрядно выросшие за время заключения, и оправляю халат.

Открывается дверь. Предо мною молодая высокая женщина с лорнетом в руке.

Позади нее топчутся на месте караульный офицер, смотритель — длинный сухарь, — молодой, красивый брюнет в шубе с бобровым воротником и в такой же шапке и дежурный

надзиратель.

Баронесса лорнирует меня довольно долго, внимательно и беззастенчиво. Прихожу в смущение.

— Вы долго здесь содержитесь? — спрашивает меня благотворительница тонким певучим голосом.

— Вчера исполнилось два месяца, — отвечаю я.

— Ваша фамилия?

Вопрос баронессы оставляю без ответа.

Смотритель шаркает ногой, вытягивается и в немногих словах объясняет баронессе, что я — человек без имени.

— Это ужасно, ужасно... — шепчет благотворительница. — Вы обязательно вручите ему... Я уверена, что это внесет свет в его темную душу, заканчивает она, обращаясь к смотрителю.

Уходят.

Перед вечерней поверкой дежурный надзиратель от имени баронессы Тизенгаузен передает мне в черном переплете с золотым крестом небольшое евангелие.

На запрос прокурора моя родина — Свен-

цяны — не опешит с ответом, и мое одиночное заключение продолжается. Савельич говорит, что подобные справки тянутся месяцами, но меня это не особенно огорчает. Я сейчас обуреваем страстным желанием не только как следует научиться писать, но и сочинить книгу вроде той, что лежит на моем железном столике.

Однако все мои старания ни к чему не ведут: никак не могу приспособиться к неизвестному мне автору.

Много раз приступаю к работе, стараюсь подыскать простые, но сильные слова, а получается какая-то путаница, неразбериха, и я с досадой зачеркиваю написанное.

В этой работе уходят дни и вечера, а время мчится вперед.

Наконец наступают первые проблески весны. Голубеет мой клочок неба, теплеет воздух и бодро свистят птицы.

В один из таких особенно ярких дней меня вызывают в контору.

Меня встречает помощник смотрителя. Толстяк улыбается, у него весело поблескивают глаза.

— Ага, номер тринадцатый... Впрочем, теперь ты уже не таинственный номер, а человек с именем... Сейчас отправишься в низшую инстанцию — к мировому... А он куда захочет — туда и отправит. Веди его в цейхгауз, добавляет он, обращаясь к надзирателю.

С ужасом думаю о моих лохмотьях. Неужели придется мне снова очутиться оборванцем на светлых улицах столицы?

Только выходим из конторы, навстречу нам идет Савельич.

— Вот и дождался, паренек... Говорил я тебе... Ты его куда — в цейхгауз?

— Да, — отвечает надзиратель.

— Ну, ладно... Я за вами.

В обширном помещении, где хранятся вещи арестантов, происходит незабываемая сцена. Савельич из ящика № 13 достает узел, развязывает его и передает мне пару брюк, рубаху, пиджак и высокие русские сапоги.

— Вот, паренек... От Степы осталось... Одевай и носи на здоровье...

Я ошеломлен, придавлен добротой старика и от сильного волнения не могу слова сказать.

Не впервые приходится мне шагать по улицам больших городов с этапными партиями или одному в сопровождении конвойных. И всегда при этом меня мучает стыд. Но сегодня — сам не знаю почему — идущий со мной рядом городской с большой книгой подмышкой приводит меня в особенно сильное смущение.

Мы шагаем не по тротуару, а по мостовой. Мне кажется, что весь город смотрит на нас, и я сгораю от стыда.

Погибший сын Савельича был, наверное, большого роста: его пиджак на мне висит ниже колен, а штаны меня очень беспокоят, — мне все кажется, что они сползают с меня, хотя они крепко подвязаны бечевкой.

Приходим в камеру мирового судьи. Еще рано. В присутствии мало народа. Городовой велит мне сесть на первую от стола скамейку, а сам передает книгу секретарю.

Появляется судья — красивый, рослый человек с большой, раздвоенной на конце бородой. На груди — широкая, плоская цепь из бронзы. Он не спеша опускается в кресло и берет в руку первое дело.

— Свирский... Здесь?

— Так точно, — отвечает за меня городской.  
вой.

Секретарь привстает и трясущейся рукой подает судье какую-то бумагу.

— Вы из Свенцяи? — обращается ко мне мировой.

Отвечаю утвердительно.

— Что вас понудило скрыть свое настоящее имя?

— Нужда, — тихо отвечаю я.

Наступает молчание.

Судья наклоняется над бумагой и быстро пишет ровным, мелким, красивым почерком. Слежу за его пером и завидую. Мне бы так научиться...

Через минуту решение готово и судья читает его вслух в присутствии вставших с места посетителей.

Родина не только подтвердила мои показания, данные прокурору, но сочла нужным выслать новый паспорт.

Благодаря последнему обстоятельству судья меня освобождает.

### **13. На Воле**

Давно живу на воле. Далеко позади лежит Петербург, оставленный мною немедленно после освобождения. Давно уже исхожены мною светлые просторы и пережиты знойные летние дни. Сейчас нахожусь в пути между Киевом и Жмеринкой. Всеми мыслями тянусь к югу. Боюсь холодного ненавистного севера. Хочу во что бы то ни стало попасть в Одессу.

Уже начало сентября. В солнечные дни достаточно тепло, и шагать еще можно, хотя в утренние часы уже слышится прохладная свежесть в дыхании ветра.

Изнашивается пышный наряд лета. Линяет и становится ломкой трава, босые ноги уже чувствуют охлаждение земли, пахнувшей грибной сыростью. С тревогой и тоской слежу за желтыми потоками, стекающими с вершин тополей и берез.

Медленно уходит лето, а вместе с ним гаснут мои мечты и узким становится круг моих печальных дум.

Мое сознание полно одним стремлением — скорее укрыться от наступающей меня осени и спрятаться от нее в солнечную Одес-

су, где несомненно найду приют.

Вхожу в город перед вечером. Идет мелкий дождь, и с моря несет холодом. На мне почти истлевшая рубаха, длинные штаны, подаренные мне Савельичем, а на босых ногах — опорки. Пиджак и сапоги давно проедены мною.

Шагаю по Базарной улице, кружусь на толкучке и зорко вглядываюсь в лица прохожих в надежде найти знакомого. Все люди чужие. И город, суливший мне так много и так красиво сиявший в моих грезах, оказывается чужим и холодным.

Изнемогаю от усталости. Меня мучает голод, а впереди бесконечная, долгая ночь.

В полночь, когда город засыпает, я примащиваюсь на каменной площадке винного погребка и там остаюсь до рассвета.

Ухожу в гавань. Там верчусь вокруг торговых контор, десятки, раз обхожу пристань и всюду, где только можно, ищу работу. Готов отдать все свои силы за кусок хлеба и ночлег, но таких, как я, здесь множество, и, подобно чуме, свирепствует безработица.

Проходит еще один мучительный день без

крова и пищи. Но вот опять темнеет, и приближается страшным призраком осенняя ночь.

Мокрые от дождя улицы светятся сотнями огней. Медленно подвигаюсь к центру с твердым намерением выпросить на ночлег.

Голод, мучивший меня со вчерашнего дня, сейчас утихает, и я перестаю мечтать о пище. Обычные грезы о горячих пирогах, начиненных ливером, о теплом ситном с тонкой, хрустящей на зубах корочкой, мечты о ветчине, о колбасах и тушеной говядине истощают запас моих сил.

Сейчас во рту сухо, кружится голова, но есть не хочется: усталость побеждает голод.

Чувствую и сознаю, что больше не в состоянии оставаться под холодным осенним небом.

Стою на Соборной площади. Здесь не так светло и нет городского. У меня уже и фраза готова: «Помогите голодному».

Кратко и вразумительно.

Успокаиваю гордость, доказывая ей, что нет ничего позорного в том, если человек в моем положении остановит прохожего, обна-

жит голову, протянет руку и шепнет: «Помогите голодному». И гордость уступает.

Остается выполнить намерение. Проходит час, пропускаю сотни людей и не двигаюсь с места.

Один человек, я помню, очень добрый на вид и без зонтика, замедляет шаг и, мне кажется, смотрит на меня милосердными глазами, а я отворачиваюсь, притворяюсь озабоченным и отхожу в сторону.

— Ну, и околевай, — говорю я самому себе и оставляю площадь.

С каждым часом город становится тише. Пустеют широкие, длинные коридоры улиц. Реже стучат о камни подковы, и уже не слышать конок.

Давно погасли кричащие огни магазинов, и золотой отблеск витрин уже не играет на влажных плитах тротуаров.

Наступающая тишина пугает меня и приводит в отчаяние. Мною овладевает тоска, тоска по крову. Мне необходимо убежище, где бы я мог, наконец, почувствовать себя в четырех стенах и где бы надо мною висел потолок, а не эта черная тьма, сеющая дождь и холод.

С болью сердечной слезу за тем, как постепенно исчезает свет в домах. Вот там уже спят, а здесь еще только укладываются. У всех есть постель. Даже звери лесные спят в берлогах.

Человек, идущий впереди меня, так спешит, что я едва успеваю за ним. Я сейчас напминаю пса, потерявшего хозяина.

Боюсь одиночества и липну ко всякому проходящему мимо.

Во мне загорается злоба, и на минуту возвращаются силы.

Бунтуют мысли, и я рычу на город. Брожу по пустынным улицам и сею проклятия. А немного спустя, совершенно обессиленный, припадаю к холодной влажной стене многоэтажного дома, глотаю слезы и тихо шепчу:

— Умираю... Умираю...

Вот она — эта улица. Нашел-таки. А ведь сколько времени ищу ее. Здесь, на этой улице, имеется дом старинной постройки с подвальными торговыми помещениями.

К каждому из них ведут каменные ступени, а внизу — площадка и дверь. От дождя подвалы защищены железными односкат-

ными крышами. Стоит только спуститься вниз — и ночлег готов. Можно будет, наконец, вытянуть ноги во всю длину.

Выбираю самый крайний подвал — подалее от ворот.

Вот я уже внизу. Предо мною дверь. Висит тяжелый замок. И пусть висит.

Плоский камень совершенно сухой. Отлично. Меня не видно.

Полумрак и тишина. Где-то наверху позванивает дождь. Ложусь на холодную каменную плиту.

— Эй, ты, мусью, вылазь-ка!

Этот окрик камнем падает на меня. Но смутная надежда, что это не ко мне относится, заставляет меня помедлить немного.

— Слышишь ты, вылазь, говорят тебе, а не то метлой...

Делать нечего — придется подняться.

Наверху меня встречает бородатый дворник в тулупе, с метлой подмышкой, и усатый городской с клеенчатым плащиком на плечах.

— Зачем полез? — кратко и внушительно осведомляется городской.

— Спать захотел, — отвечаю я просто и без всякой боязни.

Мне сейчас все равно: пусть хоть на каторгу, только бы не оставаться на улице.

— Ловкач ты, видать. Какой Гран-Отель себе нашел. А что в руках у тебя? Куда фомку спрятал?

Городовой обшаривает меня руками, ничего не находит и охладевает ко мне.

— Проваливай, — говорит он в заключение.

— А вам жалко, если человек поспит на камне? Фараоны проклятые, что я вам сделал? Чем я вам помешал, дармоедам?

Я не говорю, а кричу. Мне хочется учинить скандал, быть арестованным, избитым, лишь бы не оставаться под открытым небом.

Но странно: ни городской, ни дворник на меня не обижаются.

— Ладно, проваливай знай. Грамотный больно. Ну, пшел прочь, покуда по-людски разговариваю!

И я отхожу.

Теперь знаю, что мне делать. Спасибо городовому.

Ведь ничего нет легче, как быть арестованным. Впрочем, для этого необходимо совершить беззаконие или, по меньшей мере, не иметь паспорта. Но что тут совершить, когда весь город спит? А паспорт, к сожалению, у меня имеется.

А вот я возьму и пошлю его ко всем чертям!

Опухшей мокрой рукой вытаскиваю из-за пазухи твердый, чистый, нигде не прописанный документ и рву его сначала пополам, а потом уже со злобной радостью дроблю бумагу на мелкие клочки и разбрасываю вокруг себя.

Становится легче на сердце. Оживает надежда на избавление.

Сейчас меня уже не пугают молчаливые каменные громады с черными квадратами потухших окон...

Скоро, скоро найду убежище. Стоит только добраться до первого полицейского поста.

Допрос учиняет дежурный околоточный, заспанный, злой и нервный. Маленький, сухой и черный, с рассеченной верхней губой, он топорщится, кричит и старается быть гроз-

НЫМ.

— Как звать? Род занятий? Какой губернии? Вероисповедание?

Он так осыпает меня вопросами, что я едва успеваю отвечать.

Околоточный распаляется.

— Ах, сукины дети! Откуда только беретесь вы, мазурики... Обыщи и передай его Злынде.

Это уже относится к городовому, стоящему тут же.

Меня ведут по длинному полутемному коридору.

Вот убежище. Погулял на воле — и будет...

На широкой наре спят арестованные. Воздух кислый, густой. Но зато тепло и сухо. А главное — есть потолок и стены. Воспаленным глазом краснеет маленький огонек висячей лампочки. На покато широком подоконнике стоит деревянная бадейка с водой.

Подхожу, чтобы напиться, и вдруг вижу кусок хлеба, почти целый паек. Меня лихорадит от волнения. Хватаю хлеб обеими руками, поворачиваюсь спиной к спящим и вонзаю в паек все зубы.

Меня радует, что хлеб оказывается черст-

вым: можно продлить наслаждение.

Быстро кончаю свой ужин, запиваю водой и ложусь на нары.

Снимаю опорки и кладу их под голову.

Мне хочется спать. В полузакрытых глазах расстилаются голубые дали, и легкие крылья веют надо мною.

Мне так легко, что перестаю ощущать самого себя. Уплывает огромный город с длинными улицами...

И совсем уже засыпая, тихо шепчу;

— Хорошо... Ах, как хорошо мне...

#### **14. Там, где нет зимы**

Двадцать четвертую весну моей жизни провожу в общей пересыльной камере ташкентской тюрьмы.

Живу в самом дальнем углу у крайнего окна и занимаюсь сочинительством. У меня имеется толстая тетрадь — подарок одного ссыльно-каторжного.

Горю желанием описать мою собственную жизнь, рассказать о моих страданиях, обидах, неудачах. Я до того увлечен, что не замечаю, людей, не вижу окружающей обстановки и частенько забываю, что я — арестант.

Описываю одесскую полицейскую часть, излагаю мой разговор с приставом и вспоминаю подробности свирепого отношения полиции к моему заявлению, что я житель города Ташкента. Мне верят и отправляют по этапу.

Меня гонят по кривым путям через всю южную Россию, через Кавказ, бросают в Закаспийский край, волокут вместе закованными в кандалы туземцами недавно завоеванного края и тащат пешком по Голодной степи из Самарканда в Ташкент. Много раз перечитываю написанное, исправляю слог, заменяю одни слова другими, жалею себя до слез, когда читаю наиболее печальные места, а потом сочинение мое кажется мне скучным, длинным, неинтересным...

И в самом деле, кого могу я взволновать рассказом о том, как злая судьба издевается над никому неведомым человеком! Это слишком простая история. Таких, как я, великое множество.

Прихожу к убеждению, что сочинить книгу можно только тогда, когда писатель думает не о себе, а о других, и рисует не ту жизнь, что перед его глазами, а выдумывает совсем но-

вую, интересную, не бывалую на земле.

Тогда и герои получаются другие, не простые Иваны да Петры, а люди с железными характерами, с твердой честью и необычайной справедливостью.

Эти мысли окончательно отрывают меня от начатой работы, и я возвращаюсь к действительности. Впервые вижу как следует нашу пересыльную камеру и моих товарищей по заключению. Из окна видны обширный тюремный двор и одиноко растущее огромное тутовое дерево, осыпанное сейчас сладко пахнущим цветом, похожим на белую малину.

Две недели содержусь в заключении и не знаю, что со мной будет дальше.

В день прибытия нашего этапа смотритель тюрьмы — худой, сутулый человек с темными жидкими волосами, зачесанными назад, и с большим фиолетовым носом на тощем, костлявом лице — подходит к нам, арестантам, выстроенным посередине двора, нехотя и равнодушно сосчитывает нас, тыкая каждого указательным пальцем в грудь, и простуженным голосом приказывает надзирателям от-

вести нас в общую для пересыльных.

С этого дня он куда-то проваливается, и мы в продолжение двух недель не видим и не слышим нашего начальника.

Тюрьма, видимо, недавно построена — на заднем дворе вдоль высокой ограды сереют груды строительного мусора, а от нар и дверей пахнет свежим деревом. Здание каменное, одноэтажное, выкрашенное охрой. Надзиратели бывшие солдаты черняевской армии, завоевавшей Ташкент, — держат себя по-домашнему. Охотно вступают в разговор, а у кого есть деньги, тем они приносят с воли табак, спички и иные запретные вещи.

От них я узнаю, что наш смотритель болеет запоем, и, пока болезнь не пройдет, всякое производство тюремных дел приостанавливается.

Помимо нашей общей пересыльной камеры имеется еще несколько отделений: для уголовных, политических и предварительно заключенных. Из ста пятидесяти арестантов я единственный русский.

Остальные — таджики, туркмены и узбеки.

Эти красивые чернобородые люди, стройные, высокие, большими огненными глазами, проводят время, сидя на нарах с поджатыми под себя ногами. Пестрые полосатые тубейки, вышитые бисером, и белые чалмы на головах ничуть не гармонируют с тяжелыми звонкими кандалами. Черные глаза этих людей полны пепла. Подобно всем людям, попавшим в плен, они держат себя тихо, осторожно, а выражение испуга не сходит со смуглых лиц.

Здесь есть надзиратель Брындюков, маленький крепыш с широкими сильными плечами и мягким расплывчатым лицом.

Мы с первых же дней становимся друзьями. Он меня посвящает во все тайны местной жизни, а я ему читаю мои «произведения».

Брындюков — первый мой читатель.

Ему очень нравится все мною написанное.

— Скажи на милость, как это тебе удается? Вот мне, ежели письмо домой послать, так всю ночь пропотею над бумажкой, а потом и сам прочесть не могу...

Польщенный похвалой надзирателя, я всячески стараюсь писать лучше и каждую но-

вую страницу спешу прочесть моему единственному слушателю и ценителю.

Если бы не железные решетки в окнах и если бы не часовой, днем и ночью шагающий вдоль высокой глинобитной ограды, то нашу тюрьму можно принять за обыкновенное мирное общежитие — до того здесь все просто, тихо и буднично. Лохматый раскормленный пес Трезор, огромный красноперый петух, гордо разгуливающий с десятком пестрых кур вокруг небольшого домика смотрителя, и стряпуха Тедосеевна с вечно подоткнутой юбкой и с засученными рукавами делают наш острог похожим на жилье безобидных и мирных людей.

Сейчас еще только начало апреля, а с высоты безоблачного неба текут такие горячие струи, какие бывают в России в середине лета.

Камеры в нашей тюрьме закрываются только на ночь.

Днем мы все, в том числе и кандалники, пользуемся значительной свободой и можем гулять по двору, а иногда нас «выгоняют» на улицу, где мы по приказанию начальства чи-

ним мостовую. Отсюда нам виден Новый Ташкент. Небольшие светлые домики выглядывают из густозеленых садов, и в теплой синеве особенно четко вырисовывается листовенная вязь широко разросшихся каштанов, тутовиков и стройных, необычайно высоких тополей.

Сегодня Брындюков не служит. У него день отдыха, но этот одинокий человек, тоскующий по родине, находит утешение здесь, в тюрьме. И хотя он может воспользоваться правом гулять по городу — его тянет сюда, за эту серую ограду.

После обеда, когда наш острог замирает в тепле и лени, мы с Брындюковым усаживаемся в тени ограды, и здесь я раскрываю перед ним мои писательские замыслы.

Бывший солдат слушает меня внимательно и сосредоточенно.

Широкий низкий лоб морщится, маленькие коричневые глаза прищурены.

Брындюков слушает, а я говорю, говорю много, горячо и, кажется, убедительно. Мною владеет сильное желание сочинить книгу о женщине.

Взволнованно рассказываю все, что знаю о тяжелой живни замужней женщины, соединяя действительность с фантазией.

Вспоминаю, как на моих глазах мужа избивали своих жен, передаю моему молчаливому слушателю рассказ одного ссыльно-кааторжного, зарубившего в лесу топором свою жену. Этот случай я вычитал в книге, подаренной мне Савельичем.

Рассказ производит на Брындюкова сильное впечатлеше, и когда я привожу последние слова убийцы: «Авдотьей звали ее» — слушатель не выдерживает и раздражается длинным и крепким ругательством.

— Ну, вот теперь посуди сам, какое может быть хорошее человечество, когда рождающая его женщина так страдает, — говорю я, обращаясь к Брындюкову.

У меня кровь приливает к голове, сердце усиленно бьется.

Вскакиваю на ноги и, бегая взад и вперед перед моим собеседником, с бурной страстью бросаю перед НИМ СВОИ МЫСЛИ.

— Ты пойми только... Если написать обо всем этом книгу и если ее прочтут цари да

министры, то утвердится новый закон, и брак между мужчиной и женщиной будет запрещен...

— Что правильно — то правильно, — тихо произносит Брындюков, подавленный моей страстностью и бурным красноречием.

И тут, у этой высокой ограды ташкентской тюрьмы, я твердо решаю написать книгу в защиту женщины. В тот же день запой смотрителя заканчивается, и незадолго до вечерней поверки начальник тюрьмы вызывает меня в контору.

Домик смотрителя, где помещается тюремная контора, состоит из трех комнат: первая, самая большая, служит канцелярией, вторая является столовой и опальной, а Третья, маленькая, с крохотным оконцем, почти пустая, называется «запойной». Здесь в известные сроки «болеет» начальник ташкентской тюрьмы.

Из рассказов Брындюкова я знаю, что наш смотритель был офицером черняевской армии, но потом за какие-то проступки разжалован и теперь служит при тюрьме. Фамилия его Кастецкий, а зовут — Сигизмунд Викен-

тьевич.

Вхожу в канцелярию. Перед вводом за письменным столом сидит начальник. Он очень бледен, а выпуклые серые глаза кажутся влажными.

Он пальцем делает мне знак подойти поближе.

— Почему ты назвал себя ташкентским жителем? — тихим голосом спрашивает меня Кастецкий.

— Мне говорили, что здесь всегда тепло, а я каждую осень и зиму страдал от холода...

Мой ответ приводит начальника в веселое настроение.

Смешок вырывается из его полуоткрытого рта, а глаза становятся совсем мокрыми.

— Ну, и что же?

Молчу.

— Я спрашиваю, что же дальше? Ведь паспорта нет у тебя? Придется гнать обратно... Это, милый мой, два года тюремных путешествий...

Молчу.

— Ты грамотный?.

Отвечаю утвердительно.

— И, кажется, хорошо грамотен? Даже, мне известно, сочинительством занимаешься?

Чувствую себя пойманным на месте преступления, до крайности смущенный.

— Вот что, милый, — после коротенького молчания продолжает Кастецкий, обратного этапа можно избежать, если согласишься работать у меня в конторе. Рага пустяшная, и я уверен, что справишься легко. Вести надо всего две книги. Я буду платить... Имей это в виду. Два рубля в месяц тебя вполне устроят... Первое жалование пошлем на родину, откуда тебе вышлют новый паспорт, и ты выйдешь на волю... Согласен?

— Да, — отвечаю я, облегченно вздохнув.

Кастецкий встает с места. Он ужасно худ, и белый китель висит на нем, подобно флагу в тихую погоду. Узкая длинная спина изогнута, а белые, бескровные руки дрожат мелкой дрожью.

— Ну, вот мы и покончили... Завтра после проверки придешь сюда... Здесь и питаться будешь.

Выхожу из канцелярии, полный сомнений и непонятной робости.

Мне хочется рассказать о происшедшем Брындюкову и посоветоваться с ним.

На другой день становлюсь конторщиком. Смотритель усаживает меня за свой письменный стол и раскрывает предо мной большую канцелярскую книгу.

— Здесь, — говорит он, — ты будешь заносить весь живой и мертвый инвентарь, принадлежащий тюремному замку Туркестанской области. Живой инвентарь — это арестанты, а мертвый — все предметы, обслуживающие заключенных. Понял? Ну, да это мудрость небольшая, — добавляет Сигизмунд Викентьевич и подает мне вторую книгу, приходо-расходную. — Ну, вот, продолжает он, — а теперь возьми вот эту кучу счетов, расписок и препроводительных документов и разноси их по этим двум книгам. Сделаешь молодецом будешь...

Смотритель выходит из канцелярии, а я приступаю к работе.

Новое дело, совершенно незнакомое, пугает меня, а посоветоваться не с кем. Но делать все же надо.

Проходит неделя, и я понемногу начинаю

осваиваться.

Становлюсь настоящим тюремным конторщиком.

Смотритель мною доволен и велит Федосевне посылать кормить меня.

Живется тихо; мирно и безобидно. Я почти не ощущаю тюрьмы, и временами мне кажется, что живу на свободе.

Брындюков частенько заходит ко мне, и я ему читаю те немногие страницы, какие успеваю сочинить между делом.

В наших отношениях я замечаю резкую перемену.

Брындюков иа покровительственного тона переходит в вежливый, а иногда говорит мне «вы». И, видимо, гордится моей дружбой.

Сегодня он приносит мне небольшой счет на сумму сорок копеек и говорит:

— Очень мне понравилось твое вчерашнее сочинение. Уж больно хороша Татьяна Ильинична, которую вы так сердечно, можно сказать, представляете...

Брындюков уходит, а я механически раскрываю приходо-расходную книгу и заносу счет. И вот тут меня поражает непонятное и

пугающее слово «розги». В счете сказано: «Уплачено за арбу розог сорок копеек».

Почему розги?.. Кому это нужно?.. Для какой надобности?..

Эти вопросы огненными кругами вертятся перед моими глазами, и мне становится не по себе.

Хорошо запоминаю это ясное апрельское утро. Окно в канцелярии открыто, и сквозь железные прутья ворот мне видны далекая степь и нежно-зеленый горизонт горячего восточного неба. Светлый простор, украшенный густой созревающей зеленью, голосистое чмокание небольших, никогда невиданных мною птичек с темне-синими головками и желтыми широкими хвостами, миндальный запах отцветающих акаций...

И вдруг среди мирной тишины раздается резкий человеческий крик.

В тюрьме смятение. Выбегаю во двор и останавливаюсь в тяжком недоумении. Два надзирателя ведут под руки старого кандалника Рустама. Длинная серебристая борода и белоснежная чалма, надвинутая до широких черных бровей, делают его похожим на по-

чтенного, всеми уважаемого патриарха.

На самой середине двора между корпусом тюрьмы и нашим домиком поставлена широкая скамья, бочка с водой и горка коричневых прутьев с желтыми пупырышками. Полукругом стоят: солдаты местной команды, несколько надзирателей, караульный офицер и сам Сигизмунд Викентьевич, согбенный и бескровный человек с трясущимися руками.

Рустам выступает прямо, с приподнятой головой, и в его больших черных глазах пылает гнев и презрение.

Старик он гордый и сильный. Это не он криком нарушает тишину, а его сын Мамед, который стоит у решетки камеры и посылает кому-то свои проклятья.

К розгам подходит Брындюков. Опытными руками он выбирает наиболее длинные и крепкие прутья и опускает их в бочку с водой.

У меня сердце замирает в груди, а голова начинает кружиться.

Сейчас станут сечь Рустама. С него сорвут халат, чалму, обнажат его тело — и Брындюков... Неужели Брындюков?.. Да, это он, широкоплечий, добродушный, наивный солдат

Черняевской армии.

А Рустам — ни звука. За него говорят кандалы мелким перезвоном и кричит его сын.

В наступившей тишине слышны свист розг и порывистое дыхание лежащего на скамье Рустама. Его седая борода, свисая, достигает земли.

Не могу этого видеть. Прячусь в конторе, но здесь слышны свист прутьев и хрипы старика Рустама.

По окончании экзекуции смотритель, входит в канцелярию. Он очень возбужден. В выпуклых и влажных глазах светится радость, а на бескровных губах играет улыбка. Маленькую черную бородку с кончиком, загнутым в виде запятой, он держит в пальцах и, пританцовывая, шагает взад и вперед по конторе.

Гляжу на него с чувством острой ненависти. Омерзение вызывает во мне каждое движение, каждый жест этого полусумасшедшего человека.

— Видал историю?.. А? — бросает он, не переставая шагать.

Молчу.

Делаю вид, что очень занят, и бессозна-

тельно перелистываю инвентарную книгу.

— Азиаты проклятые... Вот уж действительно басурмане... Десять лет продолжают бунтовать против нас... Не признают, дикари, царской власти...

Кастецкий останавливается перед письменным столом и, обдавая меня похмельным перегаром, продолжает:

— Эмир бессилен, конечно, бороться со своими верноподданными. Но мы ему поможем... Видел Рустама? Ни одного стога... Сукин сын!.. Эти крестьяне убийцы... Ты не думай, что мы их напрасно наказываем. Они убили трех баев, разорили богатейшее поместье... Но ничего... Усмирим мы их... Ты не думай...

Смотритель не договаривает — его прерывает необычный многоголосый шум, доносящийся из глубины двора.

В контору вбегают один из надзирателей, бледный, растерянный...

— Ваше благородие... В первом отделении неблагополучно... Вышибают двери...

Смотритель окончательно сгибается, руки сильнее трясутся, и последние капли крови

отливают от лица.

Из окна камер видны толпы бунтующих арестантов.

Мелькают полосатые халаты, сжатые кулаки, возбужденные лица; черные и седые бороды, и все громче и яростнее несутся вопли, проклятья и угрозы восставших.

Из маленького караульного домика выскакивает офицерик. Он крепко сжимает в дрожащей руке саблю, и в его небольших серых глазах трепещет страх.

— Сигизмунд Викентьевич, что делать? Вы слышите?.. Они сейчас вырвутся...

— Не знаю... Ей-богу, не знаю... Надо прокурору доложить... Надо...

Смотритель опять не договаривает: надзиратели и среди них Брындюков.

— Ваше благородие... Внутреннюю Решетку ломают...

— Дайте знать коменданту, — задыхаясь, Кастецкий, обращаясь к офицеру.

Бунт разрастается. Угрожающие крики, вырываясь из окон тюрьмы, несутся по двору и выкатываются из ворот на улицу.

В полдень прибывает рота солдат, окружа-

ет тюремный корпус.

Раздаются один за другим два залпа, после чего наступает тишина...

Из Сенцяи прибывает на имя начальника ташкентской тюрьмы новый паспорт сроком на один год. Я почти свободен, но окончательно уйти отсюда не могу: Кастецкий болеет вторым запоем.

Волею судеб становлюсь заместителем начальника.

Получаю пакеты, распоряжения, приказы, складываю все эти бумаги в одну кучу в ожидании выздоровления Сигизмунда Викентьевича.

Стоят жаркие безветренные дни. Уже созревают абрикосы, и горячим дыханием обдаёт землю приближающееся лето.

Всеми помыслами рвусь на свободу. Тюрьма противна до омерзения. Единственно, что облегчает мое пребывание здесь, — это возможность заниматься сочинительством.

Вначале я выдумывал какую-то сверхъестественную королеву великой страны, заступающуюся за женщину.

Эта королева издаёт закон о равноправии

женщин и об уничтожении брачных уз.

Однако с первых же написанных страниц убеждаюсь, что моя королева никуда не годится, ибо она не живая, а выдуманная. И я скромно ухожу из дворца и вхожу в кухню обычного мещанского дома. Там нахожу горничную и заставляю ее отказать жениху — скромному столяру. Свой отказ она объясняет тем, что не хочет связать себя навеки с мало знакомым человеком, а предлагает ему пожить просто, вне закона. Столяр поражен, возмущен, но в конце концов не в силах устоять перед чарами моей героини и соглашается связать свою судьбу с судьбой этой смелой женщины, не прибегая к помощи церкви.

Рассказ кончается трагически. После трехлетнего сожительства герой из ревности убивает героиню — первую ласточку, пропевшую песнь о женской свободе.

Пользуясь запоем моего начальника, я сижу за письменным столом в канцелярии, совершенно забросив конторскую работу, и все время только и делаю, что исправляю и перечитываю свою «Горничную».

Время идет, запой продолжается. Тоска по

воле с такой силой овладевает мной, что плачу с отчаяния. А мой паспорт лежит здесь на письменном столе и дразнит меня.

Невольно в голове зарождается мысль о побеге. Ведь ничего нет легче: прячу паспорт в карман, выбираю удобную минуту, когда калитка открыта и когда часовой с чисто турецкой наивностью идет на кухню к Федосеевне, чтобы напиться воды, незаметно выхожу на улицу и — будьте здоровы... Не поминайте лихом...

Думаю об этом сначала робко, издали, а потом постепенно осваиваюсь с этой мыслью. Желание крепнет, и с каждым, днем усиливается мое нетерпение. И наконец наступает решительный момент.

Полдень. Неподвижный зной. На тюремном дворе тишина и безлюдье. На калитке висит раскрытый замок.

Часовой на кухне. Забираю свою «Горничную», хлебный паек, завернутый в бумагу, и выискальзываю из тюрьмы.

Предо мною далекие просветы небосклона, вдали — густая зелень садов и звонкая, радостная свобода...

## 15. Номерной

Весь день прячусь в Старом городе. Брожу среди однообразных глинобитных домиков с плоскими крышами, заглядываю в узенькие улочки, зорко ищу городских и шатаюсь по местному базару.

На мне холщевая рубаха без пояса, коротенькие брючки и парусиновые туфли. На давно не стриженных кудрях румяным блином лежит коричневая кепка. В руках свернутая трубочкой моя рукопись — «Горничная». Паек съеден.

Иду налегке.

Боязнь быть пойманным оставляет меня. Прихожу к убеждению, что я давно имею право на свободу, раз у меня есть паспорт. Ведь других преступлений за мной нет.

Эта мысль меня успокаивает, и я решительно ухожу из Старого города и направляюсь к Новому Ташкенту.

Здесь широкие, просторные улицы, много садов, а Соборная даже вымощена.

Садится солнце. Спадает жара. Во мне зарождается издавна знакомая тревога. Куда идти? Где найти приют?

И вообще, что делать в чужом городе? Как добыть, как заработать ночлег и кусок хлеба? Мне больше ничего не надо.

Как всегда в подобных случаях, сутулюсь, низко опускаюсь и бессознательно перехожу из улицы в улицу, а при встрече с людьми бросаю исподлобья беспокойный взгляд, ища на лицах доброту.

Вот такой человек на одной из окраинных улиц попадаетея мне навстречу. Он высокого роста, с широкой русой бошэдой. Замечаю особенную мягкость в его серых глазах. И я осмеливаюсь:

— Можно вас спросить... Извините, пожалуйста, за беспокойство... Я сегодня прибыл в Ташкент... У меня никого здесь нет... Хочу найти работу...

Доброжелательная улыбка появляется на губах незнакомца. Он дотрагивается рукой до моего плеча.

— Что вы умеет делать?

— Мне все равно. Любую работу постараюсь выполнить. Я грамотный, — тихо и не совсем уверенно добавляю я.

— Паспорт у вас имеется?

— Да, конечно...

— Тогда идем ко мне. Там поговорим.

Тяжелый груз спадает с плеч моих, и я немного выше поднимаю голову.

Идем по длинной широкой улице, украшенной по обеим сторонам буйно разросшимися каштанами, дубами и тутовыми деревьями. Идем молча, пока не достигаем конца улицы. Здесь мы останавливаемся перед деревянными воротами.

В глаза бросается голубая вывеска: «Семейные банд».

Входим в продолговатый чистый двор. С правой стороны вдоль одноэтажного здания тянется деревянная панель. Дом похож на торговый амбар, имеет восемь дверей и столько же окон. Над каждой дверью белыми цифрами по голубому полю обозначен номер.

— Вот здесь мое владение, — говорит мой случайный знакомый.

— Вон там, в глубине двора, вы видите голубой домик с террасой? Там живу я с женой. Больше у нас никого нет. Меня зовут Мирошников, Иван Захарович. Мне нужен номерной. Вы понимаете? Эти бани имеют восемь

номеров. Мне нужен человек, который мог бы этими номерами заведывать. Что надо делать, я вам объясню потом, если согласитесь служить...

— Конечно, согласен... Даже очень согласен, — радостно взволнованный, говорю я.

— Ну, в таком случае зайдём в дом.

Мирошников мне нравится, хотя его слишком прямая фигура, ровный голос, строгий тон и некая величавость в движениях и жестах немного пугают меня. Не знаю почему, но я к нему подхожу с некоторой опаской.

На террасе нас встречает девочка, напоминающая куклублондинку. Круто вьющиеся локоны окружают хорошенькое личико, освещенное ясными голубыми глазами.

— Вот это — моя жена, Анна Федоровна. Твоя хозяйка.

Мирошников садится за стол, покрытый голубой скатертью.

Всеми силами стараюсь не выдавать своего волнения.

Девочка-жена и неожиданное обращение ко мне на «ты» сразу отдаляют меня от будущего хозяина. Я положительно боюсь его. Но

делать нечего. Приходится принять то, что предлагает судьба.

Мирошников долго, подробно и все тем же ровным голосом объясняет и перечисляет все мои обязанности. А я стою перед ним и чувствую себя неловко.

— Что у тебя торчит подмышкой? — внезапно задает вопрос хозяин.

Кровь бросается мне в лицо, и в глазах становится жарко.

— Это ничего... Упражняюсь... Пишу, когда делать нечего...

— Покажи.

Иван Захарович протягивает руку. А потом, когда я, совершенно растерянный, отдаю ему «Горничную», он раскрывает сверток, внимательно вглядывается в первую страницу, а затем, возвращая рукопись, говорит:

— Ты вот что: эти глупости оставь, а лучше займись полезной работой. Главное, следи, чтобы не было в номерах угара.

Домик состоит из двух комнат, террасы и кухни.

Рядом с кухней имеется небольшая чуланнообразная комнатка с крошечным, величи-

ной с форточку, оконцем, выходящим на задний двор. Вот это помещение хозяин представляет мне. Обстановка состоит из узенькой койки, одной табуретки и стола с ящиком. Когда остаюсь один, я прячу в стол «Горничную» и думаю: «Здесь в этой тишине хорошо будет сочинять». Замечаю, что во всем доме преобладает голубой цвет — под стать хозяйкиным глазам.

Иван Захарович вводит меня в курс моих обязанностей.

Наиподробнее образом изучаю все, что касается «наших» семейных бань. За исключением первого номера, наиболее обширного и лучше обставленного, остальные семь номеров представляют собой совершенно одинаковые помещения: маленькая передняя, мыльная и горячая с деревянным полом.

Я должен следить за тем, чтобы в баках была горячая вода, а в бочках с медными кранами — холодная. Хотя бани небольшие и носят какой-то домашний характер, тем не менее работы немало.

Встаю на рассвете, затапливаю четыре

печки (каждая печь обогревает два номера), ношу воду из колодца — сто сорок ведер, вымываю полы, полки, скамьи и шайки.

К десяти утра, когда каменки раскалены и когда над углями сгоревших дров окончательно исчезают зеленые язычки, я закрываю заслонки и жду посетителей. В восемь часов вечера бани закрываются, и тогда я свободен.

Работа тяжелая, унижительная, однообразная и никаких радостей в себе не содержит.

Питаюсь хорошо, вместе с хозяевами. Роль кухарки исполняет Хасан, пожилой татарин. Мы с ним по-братски делим наш труд. Я ему помогаю по кухне — чищу картофель, выношу помой, а он по утрам колет для меня дрова и носит воду.

Хасан тоже солдат черняевской армии, хорошо говорит по-русски и давно знает Мирошникову.

— Ты как думаешь, кто такой наш хозяин? — задает мне однажды вопрос Хаоан и, не получив от меня ответа, продолжает: — Он, брат, фельдфебель нашей первой роты. Лютый был человек. Очень любил порядок и чистоту. А чуть что — по морде так хляснет, что

зубы зашатаются...

— Почему же он банщиком стал?

— Известно почему — денюга завелась. Ну, и открыл себе дело. Он человек аккуратный, ему все на пользу идет. Жила тут Христина, вроде тебя номерами заведывала. При ней девчонка жила. Потом захворала баба и померла. Девчонку взял себе наш Иван Захарович и поженился...

— Сколько же ей лет?

— Теперь не знаю, а тогда годов четырнадцать было.

— А разве можно?

— А почему нельзя, ежели охота есть...

Хасан беззвучно смеется, и вместе с ним смеются темные щелки прищуренных глаз, жиденькая бородка пыльного цвета, широкое скуластое лицо с мелкими рябинками вокруг приплюснутого носа и маленькая тубетейка на бритой голове.

Люблю Хасана. Незлобивый он человек. Ему пятьдесят лет, но мы с ним живем по-товарищески и поровну делим тоску нашей безрадостной жизни.

Знакомлюсь с почтенными обывателями,

посещающими наши бани.

Больше всех запоминаю учителя Сыркина.

Он человек средних лет и на редкость толстый. Когда он переступает через высокую перекладину калитки, его огромный живот и непомерно широкая спина занимают весь просвет. На нем так много мяса и жира, что кажется удивительным, как может этот толстяк двигаться на своих, в сущности, маленьких ногах.

Сыркин — он же Лев Борисович — один из самых интересных ташкентцев. На его крупном, полнощеком лице всегда играет мягкая улыбка, а в его карих, немного заплывших глазах светятся ласка и доброта. Он вежлив и обращается со мной, как равный с равным, что чрезвычайно льстит мне.

— Здравствуй, друг мой, — приветствует меня Лев Борисович, с трудом переползая через нашу высокую калитку.

Веду его в первый номер, специально для него приготовленный.

Сыркин любит попариться и полежать на диване. Подобно всем толстякам он страдает одышкой и вообще движется с трудом. Зани-

мает он номер два часа и платит вдвойне.

— Ну, как у нас сегодня парок?

— Хороший, крутой... Уж мы с Хасаном постарались для вас...

Толстяк не спеша начинает раздеваться, при этом отдувается и тяжело дышит. Я помогаю ему и жду с нетерпением, когда он вспомнит и заговорит о моей «Горничной».

Он все знает. Мы с ним не впервые беседуем о моем прошлом и о моих попытках сочинить книгу. К этому человеку я питаю полное доверие и нисколько не стесняюсь его. Особенно хорошо с ним разговаривать, когда после мытья и пара он ложится на диван и, кряхтя от удовольствия, пьет холодный яблочный квас, заранее мною приготовленный в количестве шести бутылок.

Тайно от Мирошникова притаскиваю свою «Горничную» и, замирая от волнения, читаю учителю все написанное мною за неделю.

Лев Борисович лежит голый, в виде темно-розовой горы. Лежит на боку. Необычайных размеров живот не по: мещается на ложе и наполовину свисает.

Он слушает меня внимательно и серьезно.

Кончаю.

Сыркин, пыхтя и отдуваясь, залпом выпивает кружку кваса, а затем говорит:

— Хорошо, чорт возьми!.. Ей-богу, хорошо... Но, видишь ли, тебе все же следовало бы немного поучиться. У тебя не чувствуется грамматики. Но зато даешь правильное описание людей и предметов. А это уже чего-нибудь да стоит.

Слушаю его с большой радостью. В эти минуты я люблю его и готов для этого добряка сделать все, р чем бы он ни попросил.

Сыркин — первый образованный человек, близко подошедший ко мне. От него я впервые узнаю, как надо писать диалог. От него получаю первое представление о главных и слитных предложениях. Я весь полон благодарности, и его имя навсегда останется жить в моей памяти.

Сегодня пятница — банный день Сыркина. Мы с Хасаном стараемся вовсю. Каменка раскалена докрасна, и по-праздничному блестят чистотой простыни, подушки на диване и все прочие предметы банного обихода.

Скоро полдень. Сейчас явится мой друг-по-

сетитель. У меня уже готова новая глава. Кажется, удалась. Должна ему понравиться. Но вот уже проходит обычный час Сыркина, а его нет.

Хозяин с утра ушел в Старый Ташкент договариваться относительно доставки дров, а мы с Хасаном поминутно выглядываем за калитку, поджидая Льва Борисовича, но вместо него возвращается Мирошников. Он по обыкновению спокоен, нетороплив, и хорошо расчесана его пышная темно-русая борода.

— Ждешь учителя? Напрасно, — он вчера у Членова на третьей сотне пельменей скончался... У евреев дело быстро идет, ежели насчет покойников... Вчера помер, а сегодня уж весь город хоронит...

Черная пелена падает перед моими глазами. Готов закричать с отчаяния.

В одно из воскресений, когда бани закрыты, Мирошников делает мне неожиданное предложение. За столом сидят хозяйка, хозяин и я.

Иван Захарович не торопясь прожевывает последний кусок, салфеткой стряхивает с бороды крошки и, обращая ко мне, говорит:

— Вот что, милый... Хочу тебе еще одно дело предложить. Не хочешь ли ты позаняться с моей Анной Федоровной?

Иван Захарович обводит глазами жену, а потом упирается зрачками в меня. Прихожу в смущение.

— Ну, вот, значит... Будет тебе за это прибавка к жалованию.

— Я сам еще очень мало знаю...

— А нам многого и не надо, — перебивает меня хозяйин. — Читать научишь понемножку, ну и писать, — вот и все. Три рубля прибавлю на месяц.

В тот же день, когда Иван Захарович по обыкновению заваливается штатъ, мы с хозяйкой приступаем к первому уроку.

У нее есть азбука и тетрадка — остатки брошенного ученья.

Сам Мирошников пробовал поучить жену, но попытка оказалась неудачной.

Мы с хозяйкой сидим на террасе друг против друга.

Из спальни доносится равномерный храп спящего хозяина.

Голубые занавески опущены, но и сквозь

них знойные лучи полуденного солнца обдают террасу пламенем.

Моя ученица молитвенно сложила обнаженные руки и широко раскрытыми глазами по-детски смотрит на меня.

Трогательно ниспадают льняные локоны на узенькие плечики.

Никак не могу привыкнуть к мысли, что предо мною сидит не девочка-подросток, а жена бывшего фельдфебеля Мирошникова.

Чтобы не разбудить хозяина, мы разговариваем полушопотом.

— Вы писать совсем не умеете?

— Нет, — коротко отвечает Анна Федоровна.

— А долю занимался с вами Иван Захарович?

— Нет, всего один год.

И опять предо мною ясным светом блистают голубые детские глаза. В них так много кротости, доверчивой наивности, что мне становится даже неловко.

— Почему же вы не научились писать?

— Я боялась очень.

— Кого?

— Мужа своего... Как закричит, как топнет ногой, как сожмет кулак — я вся и обомлею. И все из головы выпадает.

Анна Федоровна обрывает речь, прислушивается и, убедившись, что муж спит, добавляет:

— Иван Захарович страсть какой строгий, — чуть что не по нем, так сейчас же в карцер.

— В какой карцер?

— А в такой, что у нас в сенях, такая каморка имеется...

— И что же потом?

— А потом ничего: посижу, поплачу — и все тут.

У меня сжимается сердце. И в моем сознании растет чувство ненависти к хозяину.

Не знаю, как приступить к уроку, с чего начать, а главное, не могу притти в спокойное состояние. Безобидный детский облик моей хозяйки беспомощное дитя, попавшее в лапы жестокого человека — усиливает мое чувство жалости к женщине-ребенку, и я готов вступить в борьбу с Иваном Захаровичем.

— А вы меня, не будете наказывать? —

неожиданно обращается ко мне хозяйка и с просительной лаской чуть слышно дотрагивается до моего локтя.

— Нет... Что вы, разве можно...

Задыхаюсь от волнения и чувствую, что сегодня наш первый урок сорван. Но, чтобы не навлечь гнева хозяина, я пробую показать Анне Федоровне, как надо читать по складам. Вскоре просыпается хозяин, и наш урок заканчивается.

Весь город знает, что умер учитель Сыркин. О нем говорят как об очень умном и на редкость добром человеке.

Но никому в голову не приходит, что номерной при семейных банях Мирошникова, человек совсем незаметный, плачет по ночам, вспоминая первого и лучшего друга.

Не могу писать. Робкие мысли не укладываются на бумаге, и моя тайная от всех работа не дает мне той высокой радости, какую я переживал, слушая одобрительные отзывы Льва Борисовича.

Теряю веру в свои силы и задыхаюсь в моей тесной, замкнутой жизни.

Суровый, холодный и равнодушный ко

всем людям Иван Захарович, забитая ограниченная Анна Федоровна с ее голубыми немигающими глазами куклы и даже Хасан, ежедневно повторяющий одни и те же рассказы о доблестях черняевской армии, до того мне надоели, до того наскучили, что только и думаю об уходе.

Не хочу быть номерным. Пускай лучше погибну на бродячих тропах, чем сидеть здесь, в этом жалком убежище, обслуживать и видеть голые тела ташкентских купцов и усатых полковников.

С такими приблизительно мыслями выхожу за ворота владения Мирошникова.

Сегодня праздник — Успенье. День нерабочий. Направляюсь к городскому парку, чтобы там на свободе хорошенько обдумать, как мне быть дальше и хорошо ли сделаю, если брошу службу.

Медленно поднимаюсь по нашей мягкой, пыльной улице. Скоро подойду к центру. Уже виден украшенный золотым крестом голубой купол нового собора. Вдруг останавливаюсь. На противоположной стороне улицы стоит молодая, коротко остриженная девушка и

старается с помощью палки сбить каштаны с растущего перед крохотным домиком громадного, ветвистого дерева.

Она это делает слабо и неумело. Часто палка не достигает нижних ветвей.

Останавливаюсь и слежу за движениями девушки.

Она очень мила. У меня является желание помочь ей. Перехожу улицу и останавливаюсь в нескольких шагах от дерева, сплошь осыпанного коричневыми плодами.

Брошенная палка вновь возвращается ни с чем. Девушка взглядывает на меня, разводит руками и смеется.

— Позвольте... Я сейчас сшибу, сколько хотите...

— Пожалуйста, — выражает она свое согласие.

Поднимаю с земли довольно тяжелую кривовую палку, размахиваюсь и с особенной силой швыряю в дерево. Густым дождем падают с дробным стуком каштаны.

Радостным восклицанием встречает мой успех девушка.

— Как это вам удастся? Спасибо большое...

Сейчас корзинку....

Она уходит в домик, а я наношу каштану второй удар. Из маленького оконца выглядывает голова старухи в белом накрахмаленном чепчике.

— Мама, посмотри, какое множество каштанов упало... — слышится со двора голос девушки, и вскоре она сама появляется с корзинкой в руках.

Мать называет ее Соней. Хорошо запоминую удлинённый разрез темно-серых глаз и на редкость густые черные ресницы.

— Позвольте, я соберу, — предлагаю я.

Девушка с веселой улыбкой протягивает мне корзинку. С чисто обезьяньей ловкостью собираю каштаны и через несколько мгновений возвращаю доверху наполненную корзину.

Девушка благодарит и уходит. В окне исчезает белый чепчик.

Вот и все. Но для меня, одинокого человека, этот маленький случай является чрезвычайно интересным событием.

— Соня, Соня... — повторяю я, сидя на скамейке в городском саду.

Мысленно вхожу в крохотный домик, где живет Соня.

По моему мнению, она должна быть умна и образована.

Припоминаю, что в Москве и Петербурге все учащиеся и образованные женщины носят короткие волосы.

На обратном пути, проходя мимо знакомого домика, осененного столетним каштаном, замедляю шаг, остро вглядываюсь в оконце, но никого не вижу.

## 16. Заря любви

**Н**аши занятия с хозяйкой ничего не дают ни мне, ни ей. Анюта, как заочно называет ее Хасан, не обладает памятью и вообще к учению неспособна. Во время урока она смотрит на меня застывшими глазами и часто повторяет: «Уж вы не сердитесь на меня». При этом она тоненькими пальчиками ласково дотрагивается до моей жилистой руки. Жалею хозяйку, стараюсь хоть чему-нибудь ее выучить, но все мои труды пропадают напрасно. Окончательно убеждаюсь в глупости и неспособности Анны Федоровны, и у меня пропадает охота учительствовать.

Обыкновенно мы занимаемся после закрытия бань. Из большого сундука, стоящего в коридоре, достаю два огарка толстых стеариновых свечей, употребляемых в номерах, и направляюсь к террасе, где меня уже ждет «ученица».

Иван Захарович иногда принимает участие в наших занятиях. Он старается доказать жене, что ей давно уже пора от складов перейти к чтению.

Вмешательство Мирошникова окончательно портит наш урок.

Страх, переходящий в ужас, овладевает маленькой женщиной, и она надолго теряет всякое соображение.

— Эх, ты, недоработанная!.. — роняет муж, больно дергает рукой за локоны и с досадой сходит с террасы.

Сегодня мне не до урока — предо мною образ Сони.

Вот она сгибается, неумело бросает палку, беспомощно разводит руками, смеется, и трепетно мигают черные ресницы. На ней красная блузка-косоворотка и черная, до подъема юбочка... Крохотные ноги обуты в домашние

туфельки. Золотистые волосы наполовину закрывает уши...

Темно-серые глаза чуть-чуть прищурены и... Нет, сегодня не могу заниматься... Пойду по нашей улице, пройду мимо крохотного домика... Может быть, увижу ее... Хоть издали, хоть на миг увидеть.

Иду по улице, стараясь придать себе беспечный и рассеянный вид. Ведь имею же я право в свободные часы гулять, думать и следить за тем, как на далеком небосклоне сверкает зеленым блеском вечерняя звезда.

Но вот уже близок заветный домик, и я замедляю шаг. Кажется, кто-то сидит на скамейке под окном. Неужели?.. Я почти перестаю двигаться. Удары сердца становятся торопливыми... Да, это она...

На ней та же блузка. Останавливаюсь и внимательно вглядываюсь в каштановое дерево.

— Вы что смотрите? Там еще много... В этом году исключительный урожай.

— Да, это верно...

Не узнаю своего голоса. Кто-то другой говорит во мне.

— Здравствуйте, — вдруг спохватываюсь я. Моя собеседница заливается громким, неудержимым смехом.

Чувствую, что краснею. Собираюсь уходить, но Соня меня удерживает.

— Куда вы?.. Простите, этот смех вырвался невольно. Вы просто немного опоздали со своим «здравствуйте», и это меня рассмешило. Вы не по делу спешите?

— Нет... Мне некуда спешить.

— В таком случае посидите со мною. Ужасно скучно. Мама ушла, мне одной не совсем весело. Вы любите сумерничать?

— Да, — голосом приговоренного роняю я и все же принимаю предложение и опускаюсь рядом с ней.

...Темнеет. Становится тихо.

— Вы любите летние вечера? — спрашивает Соня и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Не правда ли, как хорошо!.. Посмотрите, какие яркие звезды, а небо совсем черное... Мне кажется, что только здесь можно видеть такие звезды, ощущать такую тишину. Вы, наверное, недавно в Ташкенте? заканчивает она вопросом.

В моей голове быстро созревает рассказ. Соня узнает, что я приехал из Одессы, что раньше я жил в Москве, в Петербурге, а сюда попал из любви к путешествиям и приключениям.

Девушка прищуривает глаза и старается лучше разглядеть меня.

— Мы тоже недавно здесь. Мой отец находится сейчас в Бухаре, — после коротенького молчания сообщает Соня. — Вы, наверно, недалеко от нас живете: я часто вижу вас.

Как всегда в подобных случаях, взгляды ваю на себя со стороны, и уверенность окончательно оставляет меня.

Как сказать, какими словами передать этой девушке истину? Ей стоит только узнать, что я — номерной при семейных ба-нях, и нашему знакомству конец.

И я путаюсь, краснею и сбивчиво лгу... «Я даю уроки жене Мирошникова и сочиняю роман, для того чтобы напечатать его в Москве или в Петербурге...»

Соня заинтересована. Даже голос у нее меняется, и все, что она говорит, носит уже серьезный, вдумчивый и осторожный оттенок.

— Да?.. Вот как!... Это очень интересно... Я ужасно люблю литературу... Люблю классиков... У меня и сейчас лежит Достоевский... Жаль, что темно: мы могли бы войти к нам, и я показала бы свои книги... Но у нас ни свечей, ни керосина...

— Почему? — невольно вырвалось у меня. Соня некоторое время молчит, а потом упавшим голосом отвечает:

— Так случилось... Отец должен выслать из Бухары немного денег... А я за свои уроки получу лишь первого...

Я этой весной окончила гимназию, — неожиданно добавляет она.

А во мне уже закипает буря. Для меня все становится ясным.

Рядом со мною сидит образованная девушка, но очень бедная. Мне даже приходит мысль, что мать и дочь питаются сбитыми мною каштанами. Нет сомнения, что они голодают.

— Можно мне на минутку сбежать домой? Я сейчас вернусь.

— Пожалуйста... Я спать не собираюсь. Срываюсь с места, мчусь по мягкой, немо-

щенной улице.

Мы сидим за небольшим столчиком в крохотной комнатке, освещенной двумя стеариновыми свечами, принесенными мною. Небольшой шкафчик с книгами, в противоположных углах две узенькие койки, покрытые белыми тканевыми одеялами, небольшой письменный столик, три венских стула — вот и вся обстановка.

Но дышится здесь легко, и мне кажется, что я попал в родной дом. Соня читает мне вслух сочинение Достоевского под названием «Преступление и наказание». Как просто и как понятно написана эта книга! Сильнее всего меня поражает правдивое и точное описание Петербурга, осенних улиц, слякотной погоды и людей.

Я весь во власти этих памятных минут, и мне хочется остановить время, и долго, долго сидеть вблизи чудесной девушки и слушать тяжелую повесть о страшной жизни искалеченных людей...

Вдруг неожиданно открывается дверь и входит маленькая старушка с воспаленными, подслеповатыми глазами.

— Мама, это тот молодой человек, что так много сбил каштанов!

Тонкие губы старухи растягиваются в улыбку, и она приветливо кивает мне головой.

Встаю. Меня снова связывает неловкость.

— Очень приятно... Будем знакомы...

Это говорит старуха, подозрительно щуря глаза на свечи и на Соню.

— Пожалуйста... Я тоже... очень рад... До свидания... Меня ждут...

Ночью вспоминаю эти бредовые слова, произнесенные мною, и заливаюсь горячим стыдом.

Отныне моя жизнь раскалывается. Обязанности номерного исполняю механически, бездумно, но зато все мысли, желания, мечты и все, чем полон человек в двадцать четыре года, живет в маленькой бедной хатенке, где обитает она — чей голос поет в моем мозгу и чье дыхание улавливает мой настороженный слух.

Иногда рассудок силится доказать, что человек в моем положении не имеет права на любовь. Мое звание номерного, моя необеспе-

ченность, малограмотность, невежество не могут служить украшениями для того, кто хочет идти по пути любви. Ведь если Соня узнает, кто я, она отвернется, и никогда ее чистые глаза не взглянут на меня.

Знакомлюсь еще с одним интересным посетителем наших бань.

Его зовут Харченко Петр Данилович. Он тоже бывший солдат черняевской армии и однополчанин Мирошникова.

Мой хозяин относится к Харченко почтительно, с большим вниманием, и даже заочно называет его по имени и отчеству.

Мне известно из рассказов Хасана, что Харченко на военной службе, как младший унтер-офицер, подчинялся фельдфебелю Мирошникову. А теперь бывший начальник явно лебезит перед бывшим подчиненным.

Вначале поведение Ивана Захаровича меня удивляет, но впоследствии, когда узнаю, кем сейчас является Харченко, мне все становится ясным и понятным.

Харченко, как и покойный Сыркин, всегда занимает первый номер. Он тоже любит париться, отдыхать в предбаннике и пить хо-

лодный яблочный квас.

Он обладает привлекательною наружностью и кажется моложе своих сорока лет. Петр Данилович немного выше среднего роста.

Темнорусые вьющиеся волосы очень идут к его смуглому энергичному лицу, украшенному небольшими черными усами.

Однажды, когда Харченко после крепкого пара ложится отдыхать, а я подаю ему неизменный яблочный квас, он вступает со мною в беседу.

— Ты, должно быть, не здешний?.. Что-то раньше не встречал тебя...

Охотно отвечаю посетителю и уж заодно кое-что рассказываю из моей жизни. Я ему вполне доверяю, ничутьне обижаюсь за его обращение со мною на «ты», вообще этот — человек мне нравится.

Между прочим, неожиданно для самого себя, упоминаю о том времени, когда я, будучи проводником на южном берегу Крыма, лично познакомился с великим князем Константином Николаевичем.

— Да неужто!.. — вдруг восклицает Харчен-

ко. Черные живые глаза его вспыхивают, и сам, распаренный и румяный, слегка приподнимается от удивления. — Самого князя!.. Адмирала!.. Отца нашего Николая!.. Неужто правда?!

— Какая мне цель лгать!.. Меня в Крыму все знают... Королеву Наталью возил... Ротшильда... и мало ли еще кого...

Стараюсь голосу моему придать равнодушный оттенок и этим доказать, что не очень горжусь.

Вот с этого момента и начинается мое знакомство с Харченко, перешедшее потом в дружбу.

От него узнаю, что он служит управляющим у великого князя Николая Константиновича, сосланного в Ташкент за то, что женился на дочери полицмейстера города Казани.

— Разве великих князей ссылают? — задаю я вопрос, крайне заинтересованный сообщением Харченко.

— По приказанию царя можно и великих князей ссылать. А я все же доложу великому князю о тебе. Ему будет любопытно.

Позже узнаю от Петра Даниловича инте-

ресные подробности из жизни знатного арестанта.

— Ежели посмотреть на него издали, то можно принять великого князя за обыкновенного сарта, — рассказывает мне Харченко. — На нем шелковый полосатый халат, а на бритой голове самая что ни на есть простая азиатская ермолка. А когда ближе подойдешь да увидишь, какого он высокого роста и какие у него орлиные глаза, — ну, тогда сразу смекнешь, что имеешь дело не с простым человеком.

Слушаю Петра Даниловича с большим вниманием и осыпаю его вопросами, стараюсь при этом казаться наивным и чрезмерно заинтересованным.

Тогда Харченко становится окончательно откровенным и рисует своего повелителя такими красками, что моментами мне делается даже жутко.

Князь сильно пьет и в пьяном виде превращается в дикого зверя. Свою красавицу-жену, Надежду Александровну, забавы ради заставляет в одной сорочке при свете луны бегать по аллеям парка, подгоняя ее казацкой

нагайкой. А однажды он одного старика-еврея опустил в колодец. Если бы не Харченко, то старик утонул бы ни за что, ни про что.

Но все это мелочи. Вначале, когда князь только что прибыл сюда и когда военные действия не совсем еще прекратились, он вздумал на собственные средства с помощью наемных людей совершить поход на Хиву и завоевать ни в чем неповинное ханство.

Генерал-губернатору Кауфману немало труда стоило усмирить отпрыска дома Романовых и подвергнуть его домашнему аресту, с ведома и разрешения, конечно, Александра третьего.

— А вот недавно, — рассказывает Петр Данилович, — он такую штуку выкинул, что мы с Надеждой Александровной и посейчас находимся в большой тревоге. Ты представь себе только... Открывается у нас в Ташкенте по приказанию министра финансов Вышнеградского сельскохозяйственная выставка... А генерал-губернатор уже не Кауфман, а Розенбах... И вдруг приходит князю в голову посетить эту выставку. Надежда Александровна всячески его отговаривает, напоминая ему,

что он находится под домашним арестом. А он свое: «Мне наплевать: во мне самом кипит в жилах собачья кровь Романовых — и никому не подчиняюсь...» Вот тут он и выкинул штуку... На главной аллее встречается сам генерал-губернатор со свитой: «Ваше императорское высочество, вы, так сказать, под домашним арестом, а изволите гулять и прочее такое...» И что же, ты думаешь, делает князь?.. Не говоря худого слова, размахивается и хлоп его высокопревосходительство по морде!.. Ну, и получается скандал... Вот каков наш великий князь!

Эти мирные беседы, происходящие по субботам в предбаннике первого номера, незаметно сближают нас, и мы с Петром Даниловичем становимся почти друзьями.

Однажды не без смущения сообщаю ему, что занимаюсь сочинительством. А когда говорю ему, что у меня уже написана целая повесть, он коротко спрашивает:

— Как называется?

— «Горничная», — немного краснея, отвечаю я.

— Ты что же это, всерьез? Ну-ка, тащи сю-

да. Почитай... Послушаем... Интересно, какой-то такой сочинитель в Ташкенте объявился...

Приношу рукопись. Откупориваю бутылку, подаю наполненный стакан Петру Даниловичу, и когда он, выпив, вытягивает свое распаренное тело на диване, я приступаю к чтению.

Слушает он меня охотно. Молчит, не перебывает и только изредка, в интересных для него местах восклицает:

— Вот здорово!.. Откуда что берется!..

Кончаю. Взволнован я до крайности. Жду приговора.

Харченко переворачивается на спину и говорит:

— Дай кваску еще.

Быстро исполняю приказание и стараюсь по глазам угадать, понравилось ему или нет...

Петр Данилович выпивает квас, глубоко вздыхает и с чувством произносит:

— Неужто сам все это выдумал? Ежели так, то скажу тебе — хорошую штуку ты сделал. Я сам, брат, из Курска... Ну, а теперь давай одеваться.

Я и этому отзыву рад и мысленно благодарю Харченко за то, что до конца выслушал мое сочинение.

Моя жизнь незаметно начинает сливаться с жизнью Сони. Занятия с хозяйкой прекращены, вечера свободны, и я ежедневно посещаю маленький домик, где меня встречают с радостным блеском в глазах.

Я уже хорошо знаком с прошлым и настоящим семьи Сони. У нее еще имеется брат Давид — студент Киевского университета. Фамилия их — Александровы. Они родом из Могилевской губернии.

Старик Александров, еще недавно богатый человек, занимавшийся крупными железнодорожными подрядами, переехал в Среднюю Азию.

Переехал потому, что заключил с правительством договор на поставку материалов для железнодорожной линии Самарканд-Ташкент.

Сделка обещала большие барыши, и старый опытный делец пошел ва-банк. Ликвидировал все дела, распродал недвижимое и перекочевал в новый край.

Здесь он размахнулся во всю ширь. Желая сохранить за собой монопольное право, старик раздавал солидные денежные авансы местным поставщикам, подрядчикам, приехавшим из России комиссионерам и всем, кто имел то или иное отношение к недостроенной военной Закаспийской дороге.

Александров азартничал, горячился, а впереди светило солнце славы, богатства и почета.

Но тут надвинулась грозная туча. Дело в том, что «белый царь» победить — победил, а завоевать доверие и любовь побежденных ему не удалось, и во многих местах вспыхивали восстания. Кроме того, последовали угрозы со стороны Англии.

В это время военное командование вынуждено было в видах чисто стратегических отложить на неопределенный срок проведение железнодорожной линии между Самаркандом и Ташкентом.

И огромный коммерческий узел, наполненный надеждами, планами, многозначными цифрами, миллионными итогами, лопнул и разорил дотла Соломона Александрова, меч-

тавшего стать вторым Поляковым.

Вот и вся коротенькая история семьи Александровых.

Сейчас они разорены до нитки, бедствуют, недоедают...

Мне, конечно, жаль Соню, но где-то внутри меня поет веселый голос, благословляя неудачу, давшую мне, потомственному пролетарию, возможность быть вхожим в дом, где живет девушка с такими чудными глазами, что готов за один их взгляд отдать всего себя, стореть, погибнуть...

Сегодня прихожу к Александровым с твердым намерением сыграть роль доброго волшебника. Теперь мне уже хорошо известно, что мать и дочь голодают.

Знаю, что они третий день не готовят пицци. Живут спитым чаем и хлебом.

Час тому назад я выпросил у Мирошниковы в счет моего жалования пять рублей. Эти деньги, составляющие половину моего месячного оклада, хочу отдать Соне. Но как это сделать? Если просто предложить займы — мать и дочь обидятся. Решаю подкинуть мою пятерку. Выбираю наиболее удобный момент

и вкладываю кредитку в «Преступление и наказание», как раз в те, еще не читанные страницы, где следователь старается вырвать у Раскольникова признание своей вины.

Дело сделано. Сейчас Соня возьмет книгу, сядет на свое обычное место и станет читать вслух.

Начинается.

Сижу напротив и с преувеличенным вниманием прислушиваюсь к голосу чтицы.

Старуха устраивается в единственном кресле с недовязанным чулком в руках. При свете моих стеариновых огарков я углом глаза улавливаю сверканье спиц в сухих, изломанных пальцах.

Соня переворачивает страницу и вскрикивает:

— Мама!.. Здесь деньги... Пять рублей!.. В книге... Смотри!..

Мать подходит к столу, близорукими глазами скользит по моему лицу, разглядывает кредитку, а затем, выпрямившись, роняет с достоинством:

— Наверно, папа положил и забыл... Ведь мы не всегда были бедны...

Чтение прервано. В сумрак бедно освещенной комнаты входит тихая, сдержанная радость. Она светится в просторных глазах Сони и заметно играет на тонких губах старухи.

Ухожу довольный, счастливый и хвалю себя за добрый подвиг, совершенный мною.

## 17. Мать и дочь

Не могу больше служить у Мирошникова. Задыхаюсь в этом чистеньком склепе, где жизнь так неподвижна, убога и бессодержательна.

Но куда деваться?! Где найти пристанище?..

И вот тут впервые приходит на ум Харченко. Он такой добрый, простой и хорошо ко мне относится. Надо к нему обратиться, рассказать все... даже про Соню, и...

Но неделя проходит за неделей. Харченко аккуратно посещает баню, дружески беседует со мною, а у меня духа не хватает попросить помочь мне вырваться отсюда.

Никогда еще мой труд около семейных бань не казался мне таким противным и унижительным... В особенности тяжелой становится действительность после того, как мы с Со-

ней переходим от Достоевского к Пушкину.

Вот где красота!.. Вот кто умеет простые слова превращать в живые краски!..

Читает Соня, а я слушаю и взлетаю над миром.

Нет, этого не может быть!.. Не может быть, чтобы человек мог так сочинять...

Слушаю, восхищаюсь до слез и запоминаю сотни неумирающих людей... Мазепа, Евгений Онегин, Борис Годунов и каждый, попавший под перо поэта, становится бессмертным...

Какой неряхой и глупой встает сейчас предо мною моя «Горничная»!..

Соня советует мне бросить прозу и заняться стихами.

Так и сделаю.

Сегодня после «Медного всадника», когда собираюсь уходить, Соня выражает желание немного проводить меня.

— Можно, мама?..

Старуха разрешает.

Мы входим в тихий вечер, в звездное сияние, в серые тени наступающей летней ночи... Идем близко, чуть-чуть касаясь друг дру-

га.

В моем сознании звучат стихи Пушкина, поют рифмы и проходят живые образы людей, событий и нескончаемая панорама картин природы...

Как хорошо сейчас... Сколько неразгаданных тайн хранит в себе это черное небо, украшенное множеством сверкающих миров...

— Соня, я хочу вам сказать...

Это говорю я... Это звучит мой взволнованный голос.

Ее маленькую руку сжимаю в моей руке и, пьянея от охватившего меня чувства непередаваемой нежности, шепчу:

— Соня... Жизнь мою отдам за тебя...

Она обеими руками обнимает мою шею...

Неожиданная ласка умиляет меня, радует неиспытанной радостью, окрыляет сознание.

Этой ночью мне не спится...

На следующий день вечером прихожу к Александровым и застаю Соню в слезах. Заболела мать. У старухи сильный жар. Она бредит.

Из нескольких слов, сказанных Соней, догадываюсь, что в доме ни копейки и что о

приглашении врача думать нечего.

У меня болезненно сжимается сердце. Я напрягаюсь, ищу выхода из тяжелого положения. У меня тоже ничего нет, если не считать нескольких огарков, принесенных мною.

Соня беззвучно плачет.

Молча выхожу на улицу и, после недолгого размышления, иду к Харченко.

Среди темной зелени, окутанной вечерними сумерками, белый дом великого князя сказочным дворцом поднимается над Соборной улицей.

Прохожу мимо парадного подъезда, украшенного стройными колоннами.

Я не в первый раз здесь. Неоднократно прохожу мимо, гуляю, заглядываю в окна, слежу за калиткой, вырезанной в белой ограде сада, в надежде повидаться с Петром Даниловичем, но проходят дни за днями, Харченко не появляется, и я ни с чем возвращаюсь домой.

Но сегодня я его увижу во что бы то ни стало.

Приближаюсь к калитке. Дергаю медную ручку звонка. Мне откликается мелким зво-

ном колокольчик, заглушаемый лаем. Лает целый собачий хор.

Открывается калитка, и в повороте показывается крупное, полнокровное лицо с длинными, висящими вдоль подбородка усами.

— Кого треба?.. — Тыхо!.. Мовчать!..

Последние слова относятся к собакам, немедленно прекращающим лай.

— Мне на минутку Петра Даниловича... Два слова хочу сказать...

— Добре, добре, хлопче... Можно и покликать...

Предо мною стоит живой Тарас Бульба. Могучие плечи и необычайных размеров живот облечены в синий запорожский кафтан, опоясанный широким шелковым поясом. За пояс воткнуты нагайки, плети и люлька с длинным гибким чубуком.

— А по якому дилу?

Не торопясь, вытаскивает он из кармана широчайших штанов кисет с табаком и, видимо, намеревается набить люльку и вообще «побалакать» с незнакомым человеком.

Объясняю ему, что лично знаком с управляющим и хочу с ним поговорить по делу.

— Добре, добре... Зараз покличу, — говорит толстяк, выдергивая из-за пояса люльку.

Жду и с некоторой тревогой гляжу на собак, выстроившихся полукругом неподалеку от меня. Их не меньше двадцати штук, и все они разной породы. Тут и сенбернары, похожие на львов, и великаны-водолазы, напоминающие пуделей, и английские доги и ящерообразные таксы, и маленькие мопсы, и совсем крохотные собачонки с остренькими мордочками, на тоненьких высоких лапках.

Впоследствии узнаю, что собаки принадлежат лично Надежде Александровне — жене князя, и что толстяка зовут Михаиле Пивень.

Он дрессировщик собак и садовник, а наряд запорожца носит по приказанию великого князя.

Харченко принимает меня за гостя, собирается даже угостить чаем, но я тороплюсь, всячески стараюсь сократить беседу и закончить самым главным попросту говоря, хочу попросить немного денег...

Сидим в обширной комнате, хорошо освещенной большой висячей лампой. Недалеко от входа на самой середине стоит письмен-

ный стол, а за столом два кожаных кресла.

— Неужто десять рублей получаешь? — удивленно спрашивает Харченко и продолжает: — Вот так штука Иван Захарович!.. Кровосос, можно сказать, отличный... Ты хорошо сделаешь, ежели уйдешь... Таких мест сколько хочешь найдется у нас... Было бы желание задарма работать...

Харченко поблескивает черными глазами и особенно охотно разговаривает.

— Я про тебя говорил князю, — продолжает Петр Данилович, — работа для тебя уже имеется... Библиотеку после пожара надо в порядок привести. Сможешь?..

— Постараюсь, изо всех сил постараюсь. Ведь читать умею... — отвечаю я.

— Во-во... Раз сочиняешь, стало быть, и книги, как говорится, тебе в руки.

Петр Данилович громко смеется, близко наклоняется ко мне, и тут только убеждаюсь, что управляющий хлебнул спиртного и по этой причине находится в таком «бодром» настроении.

— Приходи завтра с утра и оставайся здесь, — говорит Харченко, закуривая. — У

нас, — продолжает он, — помещения хватит для тебя... А касательно твоей просьбы, так я с удовольствием...

Харченко встает, вытаскивает из кармана брюк кошелек, долго роется в нем, находит трехрублевую бумажку и отдает ее мне.

Роняю слова благодарности, осторожно пожимаю неожиданно протянутую руку и почти убегаю.

Приближаюсь к маленькому домику не один, а в сопровождении одного из моих банных посетителей — доктора Шмулевича.

Долго приходится мне упрашивать этого единственного в Ташкенте штатского врача, пока соглашается пойти к неизвестным ему Александровым.

Шмулевич еженедельно посещает наши бани и хорошо меня знает.

Доктор очень высок ростом. На нем все длинно и просторно.

Худощавое лицо его, продолговатое и костлявое, заканчивается бородкой-метелочкой табачного цвета.

Рассказываю ему про Александровых, говорю о том, как они были богаты и как по

несчастной случайности впали в нищету.

Шмулевич заинтересован, и, чтобы лучше слышать, он сильно наклоняется, и тогда мой длинноногий спутник напоминает человека, получившего удар в живот.

Соня встречает нас в коридорчике. Она очень взволнована.

Глаза сверкают горячим блеском.

— Спасите, умоляю вас...

Мелкая зыбь пробегает по нижней губе, а из глаз ее выкатываются прозрачные крупинки слез.

Доктор выслушивает старуху и находит, что она больна тифом.

Потом он мне и Соне дает подробные наставления, как ухаживать за больной, чем ее кормить и в какое время давать лекарство. На выписанных им рецептах он делает маленькую надпись — бесплатно.

То обстоятельство, что врач обращается ко мне как к близкому семье человеку, дает мне особенную бодрость, усиливает мою энергию, и я начинаю чувствовать себя здесь своим.

Бегу в аптеку, приношу лекарство, приготавливаю компрессы, всячески стараюсь по-

мочь больной и в то же время внимательно слежу за Соней. Предположение доктора, что она может заразиться, держит меня в тревоге. Хотя она мне и помогает, но в ее голосе, в потухающих глазах и в ее движениях я начинаю замечать необычайную вялость.

Меня это пугает. Временами я совершенно забываю старуху и все свое внимание сосредоточиваю на дочери.

На мои вопросы, здорова ли она, Соня отвечает, что у нее немного болит голова, но это пустяки — выспится, и все пройдет.

Ухожу поздно ночью. Издалека доносится пение петуха. Подхожу к дому. Калитка заперта. Приходится обходить кругом и постучаться к Хасану.

— Знаешь, что я скажу тебе, — шепчет Хасан, открывая дверь черного хода, — хозяин очень сердит. Хочет прогнать тебя...

— За что?

— Говорит, что ты много покрал свечей...

— Ладно, пускай... Я сам потребую завтра расчет, — говорю я и направляюсь в свою камеру.

Всю ночь терзают меня сомнения, одолева-

ют мрачные мысли, и болезненное состояние вызывает во мне предчувствие чего-то страшного.

Встаю на заре, выхожу во двор и направляюсь к колодцу, чтобы умыться холодной водой. И вдруг неожиданная встреча: сам Мирошников в своем утреннем халате выходит из первого номера.

Взглядываю на него и тотчас же убеждаюсь, что этот всегда спокойный человек готовится учинить мне большую неприятность. В его серых, обычно полусонных глазах я замечаю едва уловимые искорки, и чуть-чуть шевелится пышная борода.

— Ты что себе вообразил такое... Кто ты здесь?.. Запустил номера, всюду грязь, беспорядок... Да еще нечист на руку стал... Прогоню!.. Как собаку прогоню!..

С трудом сдерживаюсь, чтобы не наговорить дерзостей.

— Напрасно сердитесь: я сам уйду, хоть сейчас... А за ваши огарки можете высчитать...

— Ты... Ты смеешь...

Не узнаю Мирошникова: куда девалось его

величавое спокойствие? Он брызжет слюной, глаза вот-вот выпадут из орбит.

Борода прыгает по груди, и весь он налит звериной злобой. Он устремляется ко мне, размашисто поднимает руку с такой силой, что халат распахивается и я вижу обнаженную грудь, покрытую темной шерстью. Углом глаза улавливаю грозный размах и сжатый кулак.

Сейчас он меня ударит.

Не помня себя от страха и бешенства, я падаю на землю и хватаю его за ноги. Мирошников падает навзничь.

Я отступаю и вооружаюсь круглым тяжелым камнем.

— Убью!.. — почти бессознательно кричу я.

Мгновенно изменяется положение, Мирошников поднимается, зябко кутается в халат и угасает. На бледном лице блуждает странная улыбка. К нам приближается Хасан с ведрами в руках.

— Ты, брат, зря все это... Брось, — указывая на камень, тихим, примиренным голосом говорит хозяин. — Покричали и будет, — добавляет он совсем уже миролюбивым тоном. —

Не люблю я скандалов...

Я выпускаю из рук камень и чувствую, как внутренне опустошаюсь. Нет злобы, нет мыслей, и только мелкая лихорадочная дрожь по всему телу свидетельствует о пережитом потрясении.

Моя служба кончается. Хозяин щедрой рукой отсыпает мне два с полтиной за неделю и отпускает с миром.

Иду к себе в каморку. Укладываю свое имущество.

Небольшая полотняная сумка, сшитая собственными руками, вмещает все добро мое. В первое отделение прячу одну смену белья, кожаные туфли без подошв, запасную косоворотку, табак, спички и несколько пуговиц. Во второе отделение укладываю «Горничную», перочинный ножик и два карандашных огрызка.

Хасан на прощанье обменивается со мною крепким рукопожатием и скалит редко расставленные желтые зубы.

— Ну, прощай, Лексей... Не забывай нас... Приходи в праздник...

— Ладно, приду, — равнодушно отвечаю я.

Мирошников прячется где-то в номерах, — не хочет быть свидетелем моего ухода. Зато около террасы меня встречает хозяйка.

Детское личико опечалено, в голубых немигающих глазах поблескивает прозрачная влага.

— Мне ужасно как жаль, что уходите... — едва слышно говорит женщина-ребенок.

Я приветливо ей улыбаюсь и дружески протягиваю руку. Хозяйка неожиданно припадает губами к моей руке, обливает ее горячими слезами и прерывающимся голосом умоляет:

— Миленький, возьмите меня отсюда... Богу за вас помолюсь... Миленький...

Мне становится жутко. С некоторым усилием освобождаю руку, невнятно бросаю несколько слов, что-то обещаю и торопливо иду к выходу.

Вот улица. Как здесь хорошо, просторно и тихо!

Ощущается дыхание ушедшей ночи, и пыль, прибитая прохладой, серым, мягким настилом.

Сейчас, среди спокойного летнего утра за-

рождается страшная мысль: а что если посту-  
чусь к Харченко и мне не откроют?..

Тогда снова бесконечный путь скитальца — пустынная, бесприютная жизнь, где я всем чужой и где, подобно камню среди дороги, мешаю людям.

И меркнет светлое утро. Слабеет воля, замедляется шаг.

Робость бездомника снижает ум, убивает последние надежды и гасит мечты.

Но вот предо мною маленький домик. Как мог я забыть о нем!

Нет, тут я не чужой... Здесь меня любят и ждут с нетерпением.

Дверь в коридорчик не заперта. Тихо переступаю порог, оставляю сумку на скамейке и осторожно, на цыпочках, боясь разбудить старуху, подхожу к комнате, приоткрываю дверь и вижу Соню. Она лежит на своей кровати с широко открытыми глазами, устремленными в Одну точку. В лице ни кровинки.

У меня от волнения слабеют ноги и замирает сердце.

У противоположной стены лежит и слабо стонет старуха.

Вхожу. Приближаюсь к Соне и осторожно дотрагиваюсь до ее руки.

— Что с вами?.. Вы больны?.. Да?..

— У меня голова... очень болит... Не могу поднять... — отвечает тихим, едва слышным голосом Соня.

— Вам надо помочь... Сейчас побегу за доктором... Сию минуту вернусь...

Старуха манит меня рукой. Наклоняюсь к ней.

— Пожалуйста... Помогите ей... Она очень больна...

Осматриваюсь. Вижу на столе скомканную трехрублевую бумажку, оставленную мною вчера.

Какая беспомощность! И мать и дочь — обе погибают... Живые люди брошены на произвол судьбы. Ни родных, ни друзей, а глава семьи где-то в Бухаре.

Приходится мне превратиться в сестру милосердия.

Один начинаю обслуживать больных.

Все забыто. Мое собственное положение меня уже не волнует.

Перестаю думать о Харченко и отодвигаю

заманчивую надежду устроиться библиотекарем.

Попадаю в круговорот неотложных дел, забываю о времени и мечусь по маленькой комнатке, заполненной стонами, бредом и запахом лекарств и пота.

В минуту отчаяния выхожу на улицу в надежде увидеть какую-нибудь добрую женщину, но возвращаюсь один и снова принимаюсь растирать уксусом и водкой пылающие тела больных. Особенно тяжело мне бывает по ночам, когда мать и дочь пугают меня своим предсмертным видом.

Не знаю, сколько проходит времени, но однажды я чувствую себя таким ослабевшим, что едва держусь на ногах. Приходит Шмулевич. Это единственный добряк, не забывающий нас.

— Сегодня надо ждать кризиса, после чего наступит улучшение, если, конечно... — говорит доктор.

— Что «если»? — допытываюсь я, зорко вглядываясь в лицо длинноногого Шмулевича.

— Всякое бывает, — коротко отвечает врач

и уходит.

Доктор прав — после мучительной, памятной ночи у старухи замечается облегчение, и она в первый раз просит помочь ей сесть. Через день наблюдаю заметное улучшение и у Сони.

Наступают новые затруднения. Больных надо осторожно прикармливать дорого стоящими деликатесами, а денег ни копейки.

Тогда становлюсь добытчиком. Попросту говоря, становлюсь попрошайкой. Захожу в незнакомые дома, рассказываю о тяжком положении Александровых и, получив милостыню, иду на базар, покупаю, что надо, и питаю больных.

Вечер. Старуха — ее зовут Рахиль Мионовна — сидит в своем кресле и вяжет чулок. Соня лежит в постели. Она на пути к полному выздоровлению. Лицо исхудало, и от этого глаза стали еще больше.

Рахиль Мионовна непрерывно благодарит меня за все, что делаю для них.

— Уж я не знаю, какими словами выразить вам мою благодарность, говорит старуха. — Вот мы опять на ногах. Но не дай бог, вас не

было бы с нами... Что тогда?.. Смерть и больше ничего.

Эти благодарственные гимны матери сильно смущают меня.

Краснею, стараюсь замять разговор и в замешательстве бормочу:

— Что вы... Такие пустяки... Не стоит благодарности.

Сегодня после долгой борьбы с самим собой решаю постучаться к самому почтеннейшему ташкентцу — Членову. Ко мне выходит жена его.

— Вам чего?

Преодо мною высокая полная женщина, украшенная бриллиантовыми серьгами и толстым золотым браслетом.

Стыд мешает мне говорить. Сбивчиво и не совсем внятно рассказываю об Александровых и тифе...

Мадам Членова при слове «тиф» делает брезгливую мину и уходит в комнаты.

Остаюсь в передней. От волнения покрываюсь потом.

Горничная выносит мне полтинник...

Выхожу и чуть не падаю, споткнувшись о

порог.

Зато сейчас горит лампа под розовым абажуром, а для выздоравливающей больной приготовлено молоко и белая булка с маслом.

У нас тихо, спокойно, уютно. В этой маленькой комнатке чувствую себя своим, а мать и дочь я считаю самыми близкими и родными мне.

Мать совсем поправилась. Болезнь оставила небольшие следы на верхней губе в виде мелких продольных морщинок, и потемнела синева под глазами.

Сажу на стуле подле кровати Сони. Держу ее бледную руку в моих руках и рассказываю о своих скитаниях.

Когда в голосе моем звучит жалоба на обиды, причиненные мне жизнью, Соня тихо пожимает пальцами мою руку, и эта нежная, едва уловимая ласка любимой девушки является для меня вполне заслуженной наградой за все муки прошлого.

Мать сидит в своем глубоком кресле; в пальцах сверкают спицы, а серые, немного воспаленные глаза устремлены на меня.

Подхожу к тому месту, когда я, пятнадца-

тилетний мальчик, под давлением взрослых людей и тяжелых обстоятельств, подвергаюсь крещению. Бесхитростно, со всею откровенностью рассказываю о себе, ничего не утаиваю и без всяких прикрас обнажаю свою прошлую жизнь.

Убежден, что исповедь моя сближает и роднит меня с моими слушательницами. Пусть они знают, кто я, вошедший в их дом навсегда.

Кончаю ташкентской тюрьмой и моей службой у Мирошникова.

Соня пожимает руку и шепчет:

— Бедный, бедный...

— Да, тяжелую жизнь вы прошли, но все же не понимаю... зачем было креститься...

— Мама, ведь он же не виноват, — откликается Соня. — Какие силы могли быть у мальчика!..

Наступает молчание. В глубине моего сознания появляется легкая тревога: жалею, зачем рассказал о моем крещении.

Уже поздно. В лампе догорает керосин. Желая покойной ночи и ухожу «к себе» в коридорчик. Здесь я сплю на голой скамье, подло-

жив под голову свою сумку. Сплю на этой скамье в продолжение трех недель. Счастлив от сознания, что живу под одной крышей с Соной.

Меня будит почтальон. Подает повестку на имя Рахили Мироновны. Из Бухары прислано сто рублей. Стучусь в комнату.

— Войдите, можно... — слышу голос старухи.

В маленькую комнату, где так прочно свила гнездо нужда, вдруг со смехом и шумом врывается радость.

— Соня, ну, что ты скажешь?.. Есть бог на свете?.. А?..

Это кричит старуха. Она мгновенно перерождается: глаза блестят, рот смеется, и вся она становится подвижной, живой и бойкой.

А я молчу и не могу принять участия в неожиданно слетевшем сюда празднике. Настроение у меня падает, и мне кажется, что теперь нет во мне больше нужды и слабеют нити, связывающие нас.

Вскоре старуха уходит на почту. Мы с Соной остаемся вдвоем.

— Что ты? — обращается ко мне Соня.

— Ничего, — тихо отвечаю я.

Вглядываюсь в ее лицо, улавливаю в ее просторных, чистых глазах уже знакомую мне ласковую теплоту и не выдерживаю — опускаюсь на колени и припадаю к ее руке.

Она запускает пальцы в мои кудри, и в эту минуту мы чувствуем себя слитыми в одно целое. Мне хочется сказать любимой девушке, что я больше не могу так жить, и что сейчас, в эти тихие мгновения, когда мы слышим удары наших сердец, мы должны решить свою судьбу.

Я буду работать. Я отдам все свои силы на то, чтобы избавить ее от нужды. Поступлю в новую мастерскую, открытую в Ташкенте, а по ночам буду сочинять повести, рассказы. Их напечатают в Петербурге или в Москве, куда мы сами переедем.

Соня слушает, улыбается, гладит мою голову и тихо повторяет:

— Милый мой... Какой ты хороший... Я на все согласна... Но прежде всего поговори с мамой...

— Разве от нее зависит наше счастье? — задаю я вопрос и со страхом жду ответа.

— Не совсем от нее, но все же...

В это время возвращается мать.

Хочу моей судьбе взглянуть в лицо. Хочу знать, имею ли я право на жизнь.

— Рахиль Мироновна, у меня к вам просьба... Мы тут с Соней... говорили о нашем будущем... Хочу просить вас дать разрешение...

Тут я внезапно умолкаю, — таким холодным, строго неподвижным становится лицо старухи.

— Не продолжайте, — я вас понимаю. Но как вы, крещеный, осмеливаетесь делать предложение моей дочери!.. Я урожденная Перкис. В нашем роду имеются раввины и такие высокие люди, что вам никогда не дорастить до них...

Рахиль Мироновна больше не сутулится, а глаза горят небывалым блеском. Бросаю взгляд на Соню. Она лежит на боку, подперев рукою голову, и упорно глядит в окошко.

Ни одним словом, ни одним малейшим вздохом не вмешивается она в наш разговор.

Никогда еще за всю мою искалеченную жизнь я не переживал такого унижения и такой жестокой обиды.

Весь день брожу по окраинным улицам Ташкента и обдумываю план самоубийства. Нет, не стоит больше жить. Обречен — и пусть. У меня даже стишок готов.

Брошу эти предсмертные слова в маленький домик, где похоронены мои самые светлые мечты. Пусть она знает...

Прощай, мой день... прощай, земля...

Порвалась жизни нить.

Уйду, судьбу мою хваля

За то, что не дала

Душе моей при жизни сгнить...

Прочтет и, может быть, пожалеет...

Иду дальше. За спиной болтается сумка. Хочу выйти из города и там, в зеленеющей вдали роще, покончить с собой. И вдруг встреча: из-за угла ближайшей улицы показывается Михаиле Пивень в сопровождении целой своры собак. Увидав меня, толстяк машет плеткой — зовет меня.

— А мы уж шукалы, шукалы, а тебя чорт ма... — говорит, обращаясь ко мне, Пивень.

— Собаки миролюбиво окружают меня, обнюхивают и виляют хвостами.

— А зачем вы меня искали? — спрашиваю

я.

— А хйба ж я знаю... Петро Данилыч шукав тебе. А на шо ты ему сдався не знаю. Тилько вот шо я тебе, хлопче, скажу: пийдемо зараз до Харченко... Вин все, шо треба, расскаже. Ну, идемо, хлопче...

В моем сознании вспыхивает надежда.

Вот он, якорь спасения!.. Надо воспользоваться и этим отсрочить развязку.

С Пивнем и собаками направляемся к центру города.

## 18 Дворцовая жизнь

**Ж**ивем без хозяина. Великий князь, забрав с собой жену, Харченко и многочисленную свиту, состоящую в большинстве из узбеков, уехал в Голодную степь. Там он орошает пустыню. Копают арыки, насаждает деревья и организует два поселения: одно — Надеждинское, в честь жены, а другое Александровское, в честь старшего сына.

Здесь, во дворце, остались старики, домашние слуги и главный помощник Петра Даниловича Гуссейн Али-Бек.

Последний — очень красивый, дородный мужчина с большой черной бородой и выра-

зительными горячими глазами. На бритой голове белая чалма с позолоченным кончиком вдоль уха.

Временно живу в помещении Харченко. Сплю на его кровати. По утрам пью кофе со сливками и сочиняю стихи за его большим письменным столом.

Живется так хорошо, что временами жуть берет, — а вдруг все это кончится!

О Соне думаю только по ночам. Думаю с болью, с тяжелой тоской и слезами. Но бывают минуты, когда полученная обида вдруг ударит меня по лицу, и тогда я весь переполняюсь ненавистью и злорадно смеюсь «над разбитой любовью».

Больше всего мне нравится княжеский сад. Люблю гулять по центральной тополевой аллее. Иногда заберусь во фруктовую часть сада и здесь обжираюсь громадными ароматными грушами и сладкими сливами необычайной величины.

Одно только меня огорчает — это обязанности библиотекаря. Мое несчастье заключается в том, что огромный деревянный амбар наполнен нерусскими книгами. И я ничего в

них не понимаю. Возьмешь в руки книгу — прекрасный переплет, золотой корешок, а что в ней содержится, не могу понять.

Однажды Гуссейн заглядывает в сарай, видит меня сидящим на корточках перед грудой книг и говорит:

— Это, мальчик, английские кныги... Ты понымаешь?..

— Если бы не понимал, здесь не сидел бы, — отвечаю я коротко и внятно.

— Это значит — княз тебе любит будет, па-таму что здэсь ны одын человек этих кныг ны понымает...

Гуссейн, погладив обеими руками черно-шелковую бороду, выходит.

Но я хорошо запоминаю насмешливый взгляд его больших масляных глаз.

Сколько имеется прекрасных книг на русском языке — Пушкин, Достоевский, Майн-Рид, Дарвин... а ему, великому князю, понадобилась такая гора непонятных и никому не нужных томов...

Так думаю я, искренне возмущенный.

И вдруг, в замечательно красивом переплете, русская книжка — вся из стихов и без

фамилии автора. Только две буквы значатся на первой странице: «К. Р.», а внизу рукою написано: «Брату от брата».

Стал читать — не понравилось. У Пушкина лучше.

На моей обязанности лежит перенести все эти книги — около двух тысяч томов в кабинет князя, где между двумя красивыми книжными шкафами из красного дерева устроены полки под цвет шкафов. Вот на эти полки я должен уставить книги в полном порядке.

Но как я это сделаю? Хоть бы цифры какие-нибудь были на корешках, а то одно-два слова, и больше ничего.

Долго ломаю голову и, наконец, решаю расставлять книги по их росту и по рисункам корешков. Выходит красиво.

И вдруг еще одна русская книга — сочинение Эн Ве Гоголя.

Беру книгу, ухожу в сад, устраиваюсь в ажурной беседке и принимаюсь читать «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Вот тут я окончательно погибаю. Ухожу в новый, неведомый доселе мир, где чудесная фантазия Гоголя очаровывает сознание, и

упиваюсь удивительно мягкой красотой и ясными, чистыми образами новой жизни.

Вот кто умеет писать! Вот как надо рисовать человека и природу!

Гоголь окончательно покоряет меня, и только наступившие сумерки напоминают мне, что пора домой.

За отсутствием Харченко обязанности управляющего исполняет Гуссейн. По всему видно, что этот человек хорошо знает свое дело.

Всюду чистота и порядок. Нет такого уголка, куда бы не заглядывал Гуссейн. Не могу привыкнуть к этому человеку. В его мягкой, звериной походке, в его улыбке и во взгляде черных глаз я замечаю необычайную хитрость. Он всем интересуется, даже моим сочинительством, а однажды вечером он упрасивает меня прочесть ему немножко из моих писаний.

Я соглашаюсь и с большим чувством декламирую последние свои стихи.

Гуссейн внимательно выслушивает, а потом, обычным жестом погладив бороду, наклоняет глаза маслянистой влагой и говорит:

— Хорошо... Все хорошо... А зачем ты пишешь «земля, земля»?.. А почему ты неба не видишь? Небо лучше земли. Там аллах и золотые арыки из звезд, и луна ходит кругом... А ты все земля, девушка, любовь, и больше ничего... Ты неба давай. И когда напишешь — минэ читай — добавляет Гуссейн и уходит.

Зато иным человеком является Михаиле Пивень — с ним мы быстро сходимся и становимся друзьями. Пивень — человек простой, бесхитростный и удивительно добрый. Он знакомит меня со всеми тайнами княжеского двора. Он очень любит свою хозяйку Надежду Александровну. Когда Пивень говорит о ней, у него лицо становится блаженным и улыбка стекает по длинным серым усам. Любовь к собакам сроднила их. Но помимо этого княгиня, по словам Михайлы, женщина редкой доброты и совсем не похожа на княгиню — со всеми слугами просто и без всякого раздражения.

Совсем другое рассказывает мне Пивень о великом князе Николае. По его словам, князь — человек строгий, жестокий и неожиданный в своих поступках. То возьмет человека,

поднимет его выше тополей, а то швырнет и сотрет, как пылинку.

— Вин дюже разумный... Такой разумный, что аж дурный... — заканчивает характеристику князя Пивень.

Первый возвращается Харченко. Он имеет утомленный и грустный вид. На все вопросы Пивня он безнадежно машет рукой.

— Уйду отсюда... А ну их всех к бису! — бросает Харченко и идет во дворец наводить порядок.

— Живе с чаркой наш пан гетьман, — объясняет мне Пивень, намекая на запой великого князя.

Потом узнаю от него же, что великий князь — запойный пьяница, и что во время этой болезни сильно страдают окружающие его, а в особенности бедная Надежда Александровна.

Харченко заходит со мной в библиотеку, внимательно вглядывается в книги и, видимо, остается доволен моей работой.

— Красиво поставил. Князю понравится. Хорошо, что по росту книги подбирал. Получается вроде картины. Только теперь не надо

показывать князю все едино не поймет.

— А что? Он очень страшный? — спрашиваю я.

— А ну его... Зверь, а не человек... Не знаешь, где с ним найдешь, где потеряешь. То целует и кричит: «дороже брата ты мне», а то вчера увидал на мне «Георгия» и как ударит кулаком по крестику, так он у меня и впился в тело. «Сними эту гадость!.. — кричит не своим голосом. — Видеть не могу этого»... — Ну, и пришлось снять. Вот он какой. Завтра сам увидишь... заканчивает Харченко.

Утром на другой день со стороны скотного двора раздается конский топот, шум голосов, крики и смех. То возвращается домой великий князь.

Вот он сам идет из сада ко дворцу в сопровождении Харченко, Гуссейна и нескольких бухарцев.

Князь что-то рассказывает. Одни из слушателей почтительно и тихо подхихикивают, а другие гогочут во все горло.

Князь одет бухарцем — обычный халат с красными полосами на синем фоне охвачен широким оранжевым поясом. На ногах козло-

вые сапоги с мягкими задниками, а на бритой голове обыкновенная тубетейка. Он худ и очень высок ростом. Голова небольшая, птичья.

Никогда никто не скажет, что этот человек обладает большим богатством и носит звание великого князя. Если бы не предупреждение Харченко, я тоже принял бы его за обыкновенного таджика.

Не решаюсь близко подойти и наблюдаю из-за угла домика, где помещается контора управляющего.

Князь говорит, широко размахивая пестрыми рукавами халата, и поминутно оглядывается на свою свиту, как бы желая удостовериться, все ли смеются.

Запоминаю широкие, круто изогнутые брови, быстрые коричневые глаза, клювообразный нос и маленькую темно-русую бородку.

Князь велит приготовить завтрак на большой веранде.

Харченко, освободившись на минутку, объясняет мне, что сегодня князь хочет быть простым, добрым и веселым.

— А чем все это кончится, сам чорт не знает, — говорит Харченко и добавляет: — Ну, иди к княжескому столу...

— И мне итти?..

— Да, да, и тебе, и старшей скотнице, и непьющим мусульманам — всем приказано садиться на ковры. А не пойдешь — хуже будет...

Ничего не понимаю, немного трушу, но приходится подчиниться.

Со стороны Соборной улицы к парадному подъезду в двухместной коляске, запряженной парой вороных, подъезжает жена князя Надежда Александровна с крохотной собачонкой на руках. Экипаж, лошади, кучер, княгиня и даже собачонка — все покрыто густым слоем серой пыли.

Встречает хозяйку Пивень в сопровождении Геркулеса — желтобелого сенбернара.

Надежда Александровна на редкость красивая женщина. Она немного выше среднего роста, брюнетка.

Несмотря на простой дорожный костюм, она все же очень изящна.

Приезжая легко и гибко выскакивает из

коляски и приветливо ласкает черными глазами и нежной улыбкой толстого, неповоротливого Михаилу.

Княгиня подходит к сенбернару, велит ему стоять смирно и усаживает на его широкой лохматой спине Альму — свою любимицу, левретку с тоненькой мордочкой. Все идут в дом.

Геркулес, сознавая, должно быть, что несет на себе большую ценность, ступает осторожно и мягко. Черным пятнышком вырисовывается среди желтой шерсти сенбернара Альмочка, слабо повиливающая маленьким хвостиком.

Обширная веранда княжеского дворца превращена в большую ковровую залу восточного характера. Две глухие стены украшены чудесными персидскими коврами, кривыми саблями с золотыми рукоятками, осыпанными жемчугом и рубинами. Тут же висят старинные пистолеты, ружья и длинные, бисером обшитые чубуки древних кальянов. Дорогие ковры, привезенные из Геок-Тепе, из далекого Тавриза, из дворцов ханов древней Бухары и Хивы, распластаны по деревянному

настилу веранды.

Солнечные лучи, играя тополями, бросают на- пол ажурное плетение ветвей и подвижные золотые блики. За длинными, узкими и низенькими столиками, покрытыми узорными бархатными скатертями, сидят, поджавши ноги, слуги князя.

Сам он, в тюбетейке, съехавшей на затылок, и с засученными рукавами халата, сидит в центре. Вокруг него возвышаются горки набросанных пестрых шелковых валиков, мягких и легких.

В глиняных узкошейных кувшинах играет вино. Пьют из высоких хрустальных бокалов. Князь поминутно припадает губами к своему фужеру, наполненному шампанским.

— Эй, други!.. Пейте, не робейте!.. — выкрикивает князь на таджикском языке.

И «сарты», как называет князь узбеков, охотно опоражнивают бокалы.

Они — единственные во всей Средней Азии мусульмане, пьющие вино.

Князь пьян и весел. Белым шелковым платком с золотой каймой он вытирает вспотевшее лицо.

— Эй, Харчи, кто этот маленький, черный? — обращается князь с вопросом к Харченко.

— Это наш новый библиотекарь, — отвечает Харченко.

— Пьет?

— Так точно, — не задумываясь, отвечает Харченко.

— Дать ему русскую, — приказывает князь.

— Слушаю, — раздаётся голос Харченко.

Предо мною сверкающий на солнце необычайных размеров хрустальный бокал, наполненный водкой.

— Пей залпом и до последней капли, — нашептывает Харченко, слегка наклонившись ко мне.

Поднимаю бокал. Чувствую на себе колющий взгляд князя.

Наступает тишина. Пью, закрыв глаза. А потом все лица сливаются, вся веранда, слегка покачиваясь, покрывается серой пеленой, и я постепенно теряю соображение.

Прихожу в себя незадолго до рассвета и не могу понять, где я и что со мною.

Лежу на полукруглой деревянной скамье

садовой беседки. В.преддрассветных сумерках выступают деревья, и серой полосой светится дорожка аллеи.

Со стороны дворца слышны громкие человеческие голоса, перекликающиеся между собой. Похоже, что кого-то ищут или за кем-то гоняются.

Стараюсь припомнить вчерашнее, но в отяжелевшей голове ни одного воспоминания. Доносящиеся крики приводят меня в тревогу. Неужели ищут меня?..

Кто-то бежит по аллее. Вот уже совсем близко...

Встаю. Хочу выйти из беседки и вдруг в квадратном просвете вижу женщину. Она торопливо переступает порог и тяжело дышит.

— Ах!.. — испуганно вскрикивает она, а затем шопотом спрашивает: — Кто здесь?..

Узнаю Надежду Александровну и прихожу в смущение.

— Простите, это я... библиотекарь...

— А я тут немножко посижу... За мною гонится князь... Он, понимаете, хочет, чтобы я танцевала... Такой чудак... Это, конечно, у него пройдет, но сейчас он в очень плохом со-

стоянии...

Голос молодой женщины взволнованно прерывается и дрожит.

Крики со стороны дворца продолжают, но понемногу слабеют.

Рассеивается сумрак, и яснее вырисовываются предметы.

На красивом лице Надежды Александровны все еще блуждает страх.

Вдруг со всего размаха в беседку влетает сенбернар и бросается с радостным визгом к хозяйке. Вслед за этим раздается чьи-то мерные шаги, и показывается круглая, толстая фигура Пивня.

Со стороны дворца уже больше ничего не слышно.

— Ну, годи... Успокоился князь... Буде крипко спаты, як маленький... Можете иты до дому, — добавляет Михайло, обращаясь непосредственно к Надежде Александровне.

Княгиня благодарит и выходит из беседки. За нею, виляя пушистым хвостом, следует Геркулес.

Остаемся с Пивнем вдвоем. Узнаю от толстяка, что со мною было, когда опьянел после

водки. Оказывается, я по настоянию князя читал стихи, распевал песни и был очень весел, пока меня не стошнило. Тогда меня унесли в сад, положили в беседку, где нахожусь и сейчас.

Рассказ Михайлы вызывает во мне чувство жгучего стыда.

— Что же теперь будет? — спрашиваю я.

— А нычего... Выспится гетьман и зарастане похожим на человека.

Наступает затишье. Взбудораженная жизнь входит в берега. Князь ежедневно ездит на построенную им фабрику шелка. Часами сидит у себя в кабинете, принимает приезжих баев и часто призывает к себе Харченко, отдавая ему те или иные приказания.

Вечером того же дня, когда мы с Петром Даниловичем остаемся наедине, между нами происходит разговор, имеющий для меня большое значение.

Харченко рассказывает мне некоторые подробности прошедшей ночи. Князь развеселился до того, что облил чалму Гуссейна коньяком и незаметно поднес зажженную спичку. Голова Гуссейна вспыхнула зелеными

ОГОНЬКАМИ.

На счастье, некоторые догадались набросить на горевшую голову халат и тем спасли «любимца» князя.

— Сейчас ходит наш Гуссейн без бороды и без бровей, — продолжает рассказывать Харченко. — А потом пошла стрельба в цель и гоньба за княгиней... Эх, и жизнь проклятушная! — с сердцем добавляет Харченко, стукнув кулаком по столу. — А тебе мой совет — уходи отсюда, пока не поздно.

— Что ж... Уйду, если так... Но куда?

— Хочу тебе дать совет, — после некоторого раздумья говорит Харченко, поезжай в Бухару. Там нужны люди. Мне пишет мой бывший сослуживец Калмыков, что там жизнь дешевая, хорошая, сытная.

Пока говорит Харченко, у меня в голове уже созревает целый план. Увижу там отца Сони. Поступлю на службу, заработаю много денег, приоденусь, накуплю книг, займусь самообразованием и приеду в Россию настоящим человеком.

— Надо будет попросить князя, чтобы он записку дал тебе к господину Лессару.

— Это кто?

— Политический агент. Для Бухары — большая шишка. Нашего князя знает. Когда был здесь в Ташкенте — здорово выпивал.

Желание уйти отсюда, уйти в Бухару так сильно овладевает мной, что думать о чем-либо другом я не в состоянии. Взлетают мечты, и, как всегда в подобных случаях, ухожу от действительности и попадаю в мир сказок и несбыточных радостей.

Наша беседа с Харченко неожиданно прерывается.

К раскрытому окну подходит с забинтованной головой Гуссейн и велит мне итти к князю.

— Эй, сочинытель, тебэ кличет князь... Скорей иды...

В библиотеке на красном складном стуле сидит в пестром халате князь и в упор смотрит на книги, расставленные мною.

Вхожу в сопровождении Харченко. При виде меня князь улыбается, пальцем указывает на полки и спрашивает: — Твоя работа?

Едва слышно отвечаю: — Да...

— Да?

И громкий, неудержимый хохот князя заполняет обширную комнату.

Харченко из вежливости тоже посмеивается. А мне не до смеха.

Стою без дум, с низко опущенной головой.

— Мне говорили, — начинает князь, обращаясь ко мне, — что ты сочинитель... И стихи и романы пишешь... Ну, и молодец... И, видно, хорошо английский язык знаешь... Чудесно привел в порядок библиотеку...

И опять неудержимый смех.

— Ну, ступай... Ты больше мне не нужен, — переставая смеяться, говорит князь.

Сгорая от стыда, ухожу, забыв поклониться князю.

Спустя немного Харченко возвращается от князя и передает мне двадцать пять рублей деньгами и маленький треугольный клочок бумаги с надписью: «Господину Лессару. Прошу устроить подателя на службу. Николай».

— Доволен? — спрашивает Харченко.

Вместо ответа я крепко пожимаю ему руку.

— Но этого мало, — продолжает Харченко, — наши завтра едут в Самарканд и могут тебя захватить. Ну, а там из Самарканда до Бу-

хары по железной дороге попасть не трудно.

И снова предо мною далекая дорога в неведомое.

## 19. В стране рабов

Октябрь... А надо мною голубеет теплое небо, и сухая, рассыпчатая земля жаждет влаги. Иду по широкому шоссе, ведущему от железнодорожной станции к древней столице некогда могущественного бухарского ханства.

По обеим сторонам дороги тянутся высохшие за лето арыки, и высоко светятся раскидистые кроны тутовиков.

Поблекла листва. Ширятся голубые просветы ветвей, и незримая осень дышит над обескровленной зеленью.

Предо мною необозримая степь с далеким светлым небосклоном.

Кое-где спящими отарами овец кудрявится низкорослый саксаул. А далеко в стороне темнозеленой полосой встает стена гранатовой рощи.

В сумке у меня между двумя кусочками картона хранится залог удачи: записочка великого князя к российскому политическому

агенту Лессару. Со мною моя неизменная спутница «Горничная», запасная смена белья и две лепешки, купленные мною на станции.

Незаметно отбиваю ногами десяток верст и с последнего бугорка вижу Бухару. В голубом океане дня высоко поднимаются шапки минаретов, разукрашенных пестрой восточной мозаикой. Глинобитная стена широким серым поясом охватывает древнюю столицу.

Приближаюсь к самаркандским воротам. Здесь уже больше зелени. Встречаются верхом на малорослых конях и на осликах местные жители в разноцветных халатах.

Белые, оранжевые, красные чалмы, черные бороды, бисерные тубетейки и особенно яркие полосы рукавов издали производят впечатление большого движущего цветника.

Вхожу в город. Узенькие улочки, местами покрытые камышом, глухие глинобитные стены домов, полумрак, теснота и спертый воздух. Обычный азиатский город с шумными многолюдными базарами, с грязью и злым запахом скопища людей, верблюдов, собак, ослов и серых сторбленных фигур женщин без лиц.

Знаю несколько десятков таджикских слов, это помогает мне найти Лессара.

Нашего агента охраняет сотня уральских казаков. На обширном квадратном дворе построены временные стойла для коней.

Подхожу к одному из казаков и прошу его указать, как пройти и увидеть самого господина Лессара.

— А ты от кого? — спрашивает казак, зорко вглядываясь в меня серыми глазами.

— От великого князя Николая Константиновича, — твердо отвечаю я.

— В таком разе идем со мной. Поведу тебя к секретарю, а там уж видно будет.

Отправляемся к небольшому и скромному на вид домику, где обитает первый русский дипломат Средней Азии.

Лессар — человек среднего роста, довольно упитанный. Жидкие темные волосы причесаны на косою прибор.

Черный сюртук застегнут на все пуговицы. Манжеты и воротничок сверкают белизной. Темная борода подстрижена совочком. От него пахнет не то миндалем, не то ромашкой.

С сознанием собственного достоинства

протягиваю ему треугольный клочок бумажки с подписью «Николай».

Лессар вглядывается в «послание», и черные глаза наполняются смешком.

— У меня нет никакой службы... Князь должен это знать... А впрочем, спохватился он, — могу направить вас к Девятому... Он заведует недавно открывшейся конторой «Кавказ и Меркурий». Подите к секретарю и скажите, что я велел дать вам письмо от имени нашего агентства.

Я благодарю, вежливо кланяюсь и оставляю комнату.

Попадаю в Бухару в самое удачное для меня время.

Заведующий транспортным отделением известного волжского акционерного общества «Кавказ и Меркурий» набирает служащих. Но откуда их взять, когда во всей Бухаре, если не считать уральских казаков, двадцати человек русских не найдется! И вдруг новое лицо...

Девятое производит на меня самое лучшее впечатление. От его крупной фигуры и немного бледного лица, украшенного боль-

шой русой бородой, веет добродушием и ласковостью.

— Что вы умеете делать? — спрашивает он меня, приглашая сесть.

В немногих словах рассказываю о моем пребывании в Ташкенте и о моей последней «службе» у великого князя в качестве «библиотекаря».

— Так... Ну, а конторское дело вам знакомо? Счетоводное или по хозяйственной части?..

— Нет, такой службы я еще никогда не имел... Только я, конечно, могу привыкнуть ко всякому делу, — добавляю я.

Девятое немного задумывается, а потом быстрым движением поднимает голову, придвигается ко мне вместе со стулом и, положив мне руку на плечо, говорит:

— Вот что, дорогой мой... Вы только на меня не обижайтесь... На первое время хочу вас устроить маркистом. Вы знаете, что это значит?

— Простите, не знаю...

— Не знаете?.. Отлично, сейчас все объясню. В окрестностях Бухары у нас имеется

несколько пунктов, откуда мы отправляем в Россию хлопок. На каждой кипе этого хлопка надо ставить марку и адрес отправления. Вот и все. Краску готовят просто: кунжутное масло смешивают с сажой, а марку ставят кисточкой. Понятно?

— Очень понятно.

— Так вы согласны?

— Конечно... С удовольствием.

— Вот и хорошо. Значит, поладили. О жалованье с вами договорится управляющий делами Калмыков, он же и наш кассир.

Девятов, лаская меня большими голубыми глазами, протягивает мне руку:

Выхожу из кабинета заведующего, озаренный надеждой.

Сергей Иванович Калмыков, а то еще лучше — Сережа, встает в моей памяти с выразительной четкостью.

Живым вижу этого красавца, одетого в тонкие русские сапоги, хорошо сшитые, и в серую полотняную косоворотку с щедро вышитым подолом, воротником и обшлагами.

Он хорошего роста тридцатилетний здоровяк, гибкий, ловкий, замечательный стрелок

и один из лучших наездников края.

В первом его взгляде, в первом пожатии руки я чувствую друга. И действительно мы с ним в течение нескольких дней становимся друзьями, хотя Сережа старше меня на шесть лет.

Калмыков устраивает меня рядом с собой в небольшой сакле.

Здесь нет окна, но зато широкая одностворчатая дверь распахнута днем и ночью. Небольшой конторский стол, тахта и две табуретки составляют все убранство моего нового жилья. На полу камышовая цыновка, а под нею верблюжий войлок — защита от скорпионов.

Несколько дней ничего не делаю. Сажу в конторе, знакоблюсь со служащими, — их всего пять человек, — а в четыре часа пополудни, когда занятия прекращаются, Калмыков зовет меня к себе.

Там мы до поздней ночи ведем нескончаемые беседы.

Калмыков уже знает всю мою жизнь — с раннего детства и до скорбных дней изгнания моего из приюта первой любви.

Сереза сочувствует, утешает и в свою очередь знакомит меня со своим прошлым. Он родом из Киева, сын щейцара местной гимназии.

Жил и рос в бедности, коечему научился у гимназистов, хватал на лету клочки знания, а когда вырос, поступил «мальчиком» в книжный магазин. Здесь он с жадностью набросился на книги и без разбора проглатывал их десятками и сотнями. Без руководителя он впитывал в себя всевозможные познания и к двадцати годам считался «образованным» молодым человеком.

— На самом же деле моя голова уподобилась чулану, набитому всяким старьем и никому ненужным хламом, — так говорит о себе Сергей и продолжает: ...Случилось так, что книги заслонили предо мною жизнь, и я очень часто не ощущал действительности, а носился в каких-то розовых мечтах. Но вот попадаю в солдаты, меня гонят в Среднюю Азию, где в черняевской армии сталкиваюсь лицом к лицу с настоящей, неприкрашенной, серой и грубой жизнью. Вот как, дорогой мой, мне удалось вытащить мое спавшее сознание

на белый свет, заканчивает Калмыков.

Слушаю внимательно и запоминаю каждое слово.

Калмыков совершенно овладевает мной. Любуюсь его складной, мускулистой фигурой. Мне нравится каждое его движение, каждый жест, полнозубая улыбка и густой, приятно звучащий голос.

Но больше всего Сережа чарует своей простотой и готовностью помочь всякому, кто в нем нуждается.

Он по-братски делит со мною досуг и знакомит меня с городом и людьми.

Мой новый друг водит меня по базарам, показывает яркий и красочный дворец эмира, говорит об угнетенном бухарском народе, приводит на небольшую площадь, где широкими бритвами снимают головы у провинившихся, знакомит меня с центральной башней, самой высокой и красивой, откуда сбрасывают неверных жен, дает мне возможность приблизиться к глубокой квадратной яме с копошащимися на дне голыми телами людей, приговоренных к смерти, и приглашает заглянуть в смрадное убежище для прокажен-

НЫХ.

В первое же воскресенье Калмыков велит оседлать для меня «Конька-Горбунка» — конторскую небольшую, но быстроногую лошадку, а для себя «Осман-Пашу» — рослого, вороного скакуна.

— Покажу тебе дорогу на Пермес, куда завтра поедешь принимать хлопок, говорит Калмыков, с ловкостью настоящего джигита вскакивая на седло.

Утро теплое, солнечное. У городских ворот толпятся люди.

Много верховых с шашками на боку и с красными лентами через плечо.

— Что здесь такое?

— Сейчас увидишь, — откликается на мой вопрос Калмыков. — Вглядишься и запомни. Такого урока политической экономии ты нигде не получишь. Здесь покорный народ эмира приносит свою «добровольную» лепту. Сейчас выедем из ворот, и тебе все станет ясно.

За городской оградой по обеим сторонам дороги полукольцом выстроились сотни всадников, захватив огромное пространство.

Всякий прибывающий и выезжающий из

города, если он правоверный и если на нем полосатый халат и чалма, задерживается. К нему подходят двое — один с шашкой и лентой на груди, а другой без всякого вооружения. Последний приказывает верноподданному поднять руки, после чего приступает к обыску. Деньги отнимаются, и правоверный считается свободным.

— Видел? — коротко спрашивает Калмыков, когда выбираемся на дорогу. Этот грабеж, — продолжает он, — производится, по приказу эмира. А эмир потому обирает своих подданных, что наш «белый царь» требует с него контрибуцию.

— За что же? И почему эмир подчиняется?

— Здесь, голубчик, объяснить очень долго надо. А в общем причина та же, что и у волка, когда он съедает овцу. «Мы завоевали край, победили, можно сказать, а тебя, черноглазого эмира, мы не трогаем, хотя имеем возможность превратить твою страну в пепел. Вот за это и плати». Вот как рассуждает «белый царь».

— А ежели эмир не желает подчиниться?

— Тогда мы закрываем доступ воды, и Бу-

хара начинает потихонечку подышать от жажды. Ты видишь, все, арыки высохли. Сегодня ровно месяц, как река Зарявшан не дает ни одной капли влаги. А чтобы не погибнуть окончательно, эмир раздевает народ и платит дань. Завтра, наверно, поднимут шлюзы, и Бухара воскреснет...

Слушаю Калмыкова, вглядываюсь в скорбные лица узбеков, мысленно окидываю взором все это обездоленное ханство, погибающее от бесправия и нищеты, и верить не хочется, что здесь, под этим солнцем, дающим два урожая в лето, где так много риса, баранины, где вкусная большая лепешка стоит меньше копейки, где так обильна, так богата природа, — может существовать такое рабство, такое принижение человека — властителя земли.

Проходит немного времени, и я вплотную подхожу к своим служебным обязанностям. Почти ежедневно разъезжаю по окрестностям Бухары, принимаю бесчисленное количество хлопковых кип, ставлю марки, сам развожу краску и. поздно вечером возвращаюсь домой.

С «Коньком-Горбунком» становимся приятелями. Мой конек невелик ростом, весь гнедой, только ноги у самых щиколоток белые.

Издали кажется, что Горбунок носит гамаши. Частенько угощаю приятеля лепешкой или куском сахара. Он знает мой голос и, когда попрошу, головой чешет мне спину. До зимних дождей я успеваю побывать в Пермесе, Керки, Чарджуе и Самарканде, а с наступлением зимы, когда солнце заслоняют тяжелые тучи, когда бешеный ветер с гиком и воём мечется по степи, мои путешествия прекращаются, и я с помощью Калмыкова причаюсь к конторскому делу.

Старший бухгалтер нашей конторы, Егоров Иван Спиридонович, является единственным семейным во всей русской колонии. Он с женой и пятилетней девочкой Настей живет на нашем же дворе, занимая саклю в две комнаты. В глухие зимние вечера мы, служащие общества «Кавказ и Меркурий», часто собираемся у Егоровых и там за чаем, и иногда за пельменями «с водочкой» проводим время.

Неожиданно становлюсь на этих вечерах центральной фигурой.

Знаю наизусть много стихов, читаю «Записки сумасшедшего» Гоголя и высоким тенором пою русские песни.

Мой успех так велик, что однажды сам Девятое приходит меня послушать.

Люди, приехавшие сюда из далекой России, тоскующие по родине, живущие тихой, беззвучной жизнью, рады и мне.

А я стараюсь вовсю и чувствую себя настоящим артистом.

Когда я, заgrimированный с помощью жженой пробки и закутанный в простыню, изображаю сумасшедшего, причем дико вращаю глазами и кричу голосом человека, навсегда потерявшего рассудок, зрители мои так искренне рукоплещут мне, что голова моя на самом деле начинает кружиться, и где-то в глубине моего сознания встает образ Гарина, этого великого артиста, озарившего на один миг мое далекое темное детство.

Изредка Егоровы по случаю праздника или именин устраивают так называемые «большие вечера». Тогда собирается почти вся русская колония. Приходят агенты сахарозаводчика Бродского, основавшие здесь первую ба-

зу, является единственная женщина-врач Брейтман, пожилая особа с грустными глазами и маленьким, почти безгубым ртом. Калмыков называет ее «девушка на возрасте». Посещает Егоровых и сам Каров — хорунжий и командир казачьей сотни, обслуживающей Лессара, а также Калмыков и товарищ его по охоте.

Незаметно подкрадывается новый, тысяча восемьсот девяносто первый год. Егоровы к событию готовятся со всею старательностью.

Между нами идет складчина.

Еще за два дня до наступления праздника Анна Михайловна — жена Егорова, молодая здоровая блондинка с толстой светлой косой, приступает к заготовке колоссального количества пельменей посибирски.

Каров привозит полный курджум вина. Калмыков достает фрукты, коньяк и ликер для крюшона. Я готовлю «Портного» Никитина и «Папашу» Некрасова. Вообще к Новому году готовится вся колония, решившая встретить Новый год, «как дома».

Ввиду большого наплыва людей Девятое предоставляет нам обширное помещение

конторы.

Все готово. Длинный стол накрыт свежей белой скатертью, и алмазно поблескивают расставленные рюмки и бокалы. Внушительно глядит шеренга бутылок с красным и белым вином.

Калмыков стоит перед большой суповой миской, приготавливая крешон.

Собираются гости. Все одеты по-праздничному. Даже Калмыков снял свою неизменную косоворотку и нарядился в синий костюм, очень идущий к его лицу.

По общему желанию решено сначала дать «концерт», а ровно в одиннадцать, за час до пришествия Нового года, сесть за стол.

Открываю вечер я. Мой «Папаша» нравится, и публика горячо аплодирует. Без конца читаю, декламирую и пою. А затем меня сменяет Калмыков. Он садится за небольшой чайный столик с несколькими чистыми листами писчей бумаги. В руке у него рисовальный уголек.

— Моментальная фотография! — громко объявляет Калмыков. — Прошу быть спокойными и делать веселые лица. А главное — не

обижаться. Карикатуры рисуют и на королей... Итак, приступаю.

Калмыков проводит угольком несколько линий, а затем встает, снимает лист, прячет нарисованное и обращается к собравшимся:

— Сейчас вы увидите нашу прекрасную женщину-врача, всеми нами уважаемую БERTУ Наумовну Брейтман. Музыка, марш!..

Я запускаю два пальца в рот и насвистываю «болгарский гимн» с таким увлечением, что многие затыкают уши. Калмыков высоко поднимает набросок. Публика сначала сдержанно, чуть слышно роняет смешки, а потом не выдерживает и раздражается многоголосьем хохотом.

Даже сама Брейтман прыскает, взглянув на свое изображение.

Меня удивляет быстрота, с какой сделан рисунок, и поразительное сходство с оригиналом, несмотря на смешные, уродливые и ломаные линии.

После первой карикатуры следуют другие. Сережа меня совершенно затмевает. Но самое интересное он показывает последним номером.

— Прошу сейчас быть особенно внимательными, — обращается Калмыков к публике. И вслед за этим поднимает только что набросанный рисунок, изображающий императора Александра третьего, снимающего с эмира бухарского штаны.

Этот рисунок встречается сдержанным и немного робким смешком.

Но когда Калмыков показывает второй рисунок, изображающий бухарский народ совершенно голым, подносящим своему повелителю новые штаны, в зале раздается дружный хохот.

Этим заканчивается вечер, и гости садятся за стол.

Сегодня — Новый год. Контора закрыта, но воспользоваться днем отдыха нет никакой возможности: на дворе бушует ненастье. С невидимого неба падает холодная и колючая смесь снега с дождем.

Дверь в моей сакле закрыта, и два стеклянных квадратика наверху матовыми пятнами вырисовываются на темном фоне двери; в моей комнате до того темно, что с утра приходится зажигать свечу.

Все участники вчерашнего пиршества прячутся в своих конурах и не подают признаков жизни.

Один только раз ко мне стучится Анна Михайловна, просовывает в полуоткрытую дверь миску с пельменями и быстро скрывается.

Буря усиливается. Порывы ветра с такой силой бьются о дверь, что приходится накинуть крючок. Все, чем можно накрыться, тащу к тахте. Даже срываю со стола скатерть, данную мне на время Егоровой. Закутываюсь и стараюсь согреться.

Долго лежу неподвижным комочком, укрывшись с головой, и обогреваю себя собственным дыханием.

Становится покойнее. Перестаю дрожать и ляскать зубами.

Медленно тянется время. Хочется есть. Высовываю из тряпья руку, нахожу миску с пельменями и этим питаюсь.

Теряю понятие о времени. Не знаю, что сейчас: день, утро или ночь. Является желание встать, выйти из сакли и постучаться к Калмыкову; но там, за моей стеной, страшны-

ми голосами кричит ненастье, и у меня не хватает решимости.

Лежу, прислушиваюсь к воплям бури и постепенно, убаюканный завыванием ветра, засыпаю.

Кто-то стучится в дверь. Прислушиваюсь. Нет, это не ветер.

Ко мне стучится человек.

Торопливо встаю. В сакле светло. Не слышно метели.

Открываю дверь. Входит Анна Михайловна.

— Вы что это так заспались? Контора уже открыта... И знаете, что случилось?.. Наш Сережа пропал...

— Как пропал? — вырывается у меня, и только сейчас замечаю испуг на лице и в голубых глазах Анны Михайловны.

Узнаю от Егоровой, что Калмыков вчера, подобно всем, спал до полудня, а потом зашел к Егоровым, пообедал, ушел к себе, и с тех пор его не стало.

— Мы с мужем раз десять входили к нему. В комнате полный порядок, а его нет. И сейчас его нет. Сам Девятов встревожен, справки

наводит. И все безрезультатно... И знаете, что я вам еще скажу...

Анна Михайловна близко наклоняется ко мне и шопотом добавляет:

— Сережа арестован...

Мне становится жутко.

— Кто вам сказал?

— Никто не сказал, а наш сарайман видел сегодня на рассвете Сережу вместе с Каровым. Они ехали верхом по направлению к станции.

— Каров?.. Разве... При чем тут Каров?.. — бормочу я, окончательно сбитый с толку.

И в то же время в моем воображении выступает образ молодого казачьего офицера с удивительно тонким лицом и по-детски смотрящими глазами. Острый подбородок, тонкие губы и узенькие черные бачки вдоль ушей говорят о барском происхождении Карова.

— Вы конечно догадываетесь о причине?.. — чуть слышно спрашивает Анна Михайловна.

Я утвердительно киваю головой.

Исчезновение Калмыкова выбивает всех нас из колеи.

Говорим только о Калмыкове и ждем его возвращения.

Девятков приезжает из Самарканда, куда он ездил хлопотать за Сережу. При первом взгляде на хозяина убеждаемся, что хлопоты безрезультатны.

Мы уже знаем все подробности. Карову удается обманчивым образом завлечь Калмыкова на станцию Новая Бухарка, где он обещает снабдить Сережу, этого страстного охотника, порохом и дробью. Но там Калмыкова встречают жандармы... Остальное все понятно.

Мы возмущаемся, тихонько вполголоса протестуем и даже чуть-чуть кому-то угрожаем.

А Калмыкова нет. Нет самого живого, самого сильного и самого энергичного работника...

Плетутся дни за днями — без радостей, без подъема, без надежд.

Скоро оголенная земля покроется зеленью, станет ласковым голубое небо, заиграет солнце... Но что мне до того?..

Меня угнетает тоска, и во мне уже пробуждаются бродяжьи инстинкты.

Уйду отсюда. Уйду из этой страны рабов, где так дешева баранина и где еще дешевле человеческая жизнь.

## 20. Холера

Ранней весной, когда с белых вершин самаркандских гор скатываются водопады, когда в Голодной степи золотые зори будят черепах и когда верблюды, упоенные любовью, теряют покорность, — из далекой Индии приползает холера.

Злая и быстрая, она мчится по Средней Азии, источает яд и гасит жизнь. И тысячи людей заболевают тяжким недугом, теряют сознание, корчатся, извиваются и умирают мучительной смертью.

Умирают старики и юноши, женщины и дети, умирают в саклях и на улицах, в мечетях и в караван-сараях, в садах, в банях и на плоских крышах.

Черная смерть срывает всадников с коней и ослов, убивает работников на полях и нещадит купцов, ханов, министров.

На узеньких немощеных улицах древней Бухары валяются в пыли неубранные трупы людей и уныло бродят ослы, потерявшие хо-

заяв.

Рабы эмира умирают без статистики, без врачей, умирают густо, без счета, без жалоб, без протеста...

Начинается бегство «неверных». Ежедневно из Самарканда, Чарджуя, Асхабада, Мерва отходят по Военной Закаспийской дороге поезда, наполненные инженерами, попами, агентами, актерами, генералами и коммивояжерами. Эти люди бережно в утробах своих перевозят заразу из ханства бухарского в Российскую империю.

Холера беспрепятственно гуляет по Кавказу, переплывает Черное море, отравляет Дон и Волгу, играет в Москве и благополучно достигает Невы.

И когда в Петербурге узнают, откуда эпидемия, и когда в Средней Азии уже некому становится умирать, — туркестанскому генерал-губернатору отправляется «бумага» с «предложением» задержать холеру.

И меры принимаются.

Начальник Закаспийского края приказывает учредить недалеко от Узун-Ада временный карантин и туда направлять всех подо-

зрительных по холере.

Об этом приказе мы узнаем немедленно. Нас в конторе «Кавказ и Меркурий» остается три человека: я, старший счетовод Агафонов и Якуб — наш сторож. Егоровых и самого Девятого давно уже нет. Вся ответственность за контору возложена на меня.

Но я не хочу умирать за интересы акционерного общества и решаю оставить Бухару...

Довольно с меня чужбины. Хочу вернуться в Россию.

Хотя и там меня никто не ждет, но все же буду шагать под родным небом и по хорошо знакомой земле.

Знаю, что беглецов ловят, что на всех станциях усилена охрана, но тем не менее в одно знойное июньское утро ухожу из Бухары.

У меня имеется немного денег, и я щедро подкупаю кондукторов, прячущих меня от зорких глаз железнодорожных охранников. Добираюсь до Кизель-Арвата. Скоро конец пути, конец сухой пустыни...

Ночью происходит обыск в вагонах, чьи-то руки вытаскивают меня из-под скамьи и тащат в служебное отделение.

Все кончено. Я — пленник.

Солдаты вбивают в песок несколько кольев, обтягивают колья серым полотном, сколачивают нары, притаскивают котел, жестяной трехведерный самовар, наносят хлеба, боевых патронов, крупу, забирают с собою кожу для подошв, икону Николая-чудотворца, газетной бумаги для курева и водружают трехцветный флаг.

И в безлюдной мертвой пустыне маленькой точечкой затепливается жизнь. Вот к этому бараку и пригоняют нас, подозрительных по холере.

Нас одиннадцать человек. Живем среди сыпучих песков. Трое солдат Закаспийского железнодорожного батальона сторожат нас. Мы — временно задержанные, а длинный полотняный, наскоро сколоченный барак называется «военный карантин».

Вот уже третий день, как мы задыхаемся в нестерпимой жаре и не знаем, когда, наконец, освободят нас.

За три долгих дня мы успеваем отлично узнать друг друга и привыкнуть один к другому.

Мы — жители земного шара, сыны различных стран, народов, злой судьбой загнанные в Среднюю Азию, а теперь насильно соединенные, — живем вместе.

Все мы совершенно различны по крови, по вере, по рождению.

Еще недавно каждый из нас жил и мыслил по-своему, а сейчас несчастье крепче дружбы связывает нас, и мы объединены одним стремлением, одним безудержным желанием — скорее вырваться на свободу.

Вон у входа, на краю низкой широкой нары лежит индус, напоминающий собой маленькую желтую и сухую мумию. Лежит на спине, и едва заметно мерцают его темные глаза сквозь узенькие щелки приспущенных век.

На нем круглая черная шапочка из бумажной материи, серый балахон, похожий на дамский капот, и тяжелые кожаные туфли.

О чем думает этот тихий, молчаливый человек, в чьих жилах течет кровь, древняя, как мир?

Мелкие и тонкие морщинки на желтой, сухой коже его маленького лица напоминают

полустертые иероглифы на старом пергаменте.

Таинственны эти письма древности, и нас тянет к индусу, и мы хотим услышать его голос: но сын далекой Индии хранит молчание и тем еще сильнее разжигает наше любопытство.

Близок и понятен нам сейчас чернородый еврей из Варшавы.

Этот человек не молчит. Он безустали говорит, спорит, возмущается.

Его большое туловище с длинной сутулой спиной и короткие ноги находятся в постоянном движении, а маленькие, беспокойные и горячие глаза зовут нас к протесту, к бунту.

— Нет, вы только подумайте хорошенько, — говорит он, размахивая короткими толстыми руками. — Какой смысл имеет этот карантин? Взяли здоровых людей, посадили их на горячий песок и сказали им: «Живите себе, пока вас холера не возьмет». Ну, я вас спрашиваю: где здесь смысл?

— Вэррно... Ныкакой смысла!.. — коротко и сильно подтверждает смуглолицый армянин из Нахичевани.

Он стоит босиком на наре. Его парусиновый бешмет с влажными пятнами подмышкой расстегнут, и могучая грудь, покрытая мягкой мелкокудрой шерстью, обнажена во всю ширину. Лицо его, с громадным и немного искривленным носом, покрыто крупными каплями пота, и темно-коричневая борода всклокочена и имеет сердитый, драчливый вид.

Мы уже знаем всю жизнь этого армянина, знаем его прошлое и настоящее. Знаем, что его задержали между Мервом и Асхабадом, когда он возвращался на родину из Бухары, где он бойко торговал серебряными поясами, бусами, цепочками, табакерками, платками, туфлями и многими иными изделиями Кавказа.

В Нахичевани у него жена, дети и младший брат. Дома его ждут, и он телеграфировал, что едет, и вдруг — такая задержка!

— Зачим тылыграм я давал? Зачим? — уж не в первый раз спрашивает армянин и бросает взгляд, полный ненависти, на ни в чем неповинных солдат, мирно сидящих в углу за предобеденным чаем.

И армянину в ту минуту горячо сочувствует казанский татарин, нетерпеливый безусый юноша, с трудом переносящий жару. Недоволен своим положением и широкоскулый козоглазый калмык из туркестанских степей, плохо понимающий по-русски, и возмущается карантинном грек, маленький, круглый и вертлявый человек.

Равнодушными остаются только: молчаливый индус, хорошо сохранившийся старик-старобрядец из Новгорода с длинной седой бородой и апостольским лицом, бритоголовый бухарец в белой чалме и пестром халате, длинноусый желтоглазый перс из Мшхета и полуинтеллигентный русский бродяга, неизвестно какими путями попавший в Среднюю Азию.

Этот человек не унывает, говорит много и весело, охотно спорит с евреем и рассказывает смешные истории. У него большой открытый лоб, мягкие черты лица, голубые ясные глаза и высокий рост.

Я лично не особенно огорчен задержкой, потому что спешить мне некуда: меня никто нигде не ждет. Человек я одинокий и вдоба-

вок — без занятий. И потому, что мне все равно, я очень усердно возмущаюсь, желая этим поднять свое достоинство.

— Если бы мы таки были больны, — говорит нараспев еврей, широко жестикулируя, — я еще понимаю, но. раз мы здоровы, то кого мы можем заразить? Ей-богу, это просто смешная история!

— Почему же вы не смеетесь? — перебивает еврея полуинтеллигент.

— Почему я не смеюсь? Потому, что эта история надо мной смеется.

Еврей вдруг чувствует себя обиженным и умолкает.

В бараке душно и жарко. Еще далеко до полудня, а солнце успело уже раскалить пустыню, и горячий сухой песок дышит пламенем. Тоскливо и тихо становится в бараке. Солдаты отпили чай.

Армянин улегся рядом с татаринном, и они вполголоса беседуют между собой.

А жара с каждой минутой усиливается, и мы задыхаемся.

В полдень мы перестаем разговаривать, двигаться и думать.

Малейшее движение утомляет, обессиливает и вызывает обильный пот.

В этой истомной жаре боишься прикосновения собственной руки и лежишь, разметавшись; лежишь без дум, без желаний, без надежд. А солнце льет потоки зноя, и пустыня горит и сохнет.

И нигде ни капли влаги, ни клочка тени. Желтый океан кочующих песков мертвенно однообразен, и только на горизонте низко лежат корнеобразные, скрюченные кусты саксаула, обожженные и обугленные, кажущиеся издали черными овцами, спящими в пустыне.

Жажда томит нас, и мы пьем холодную воду из глиняных кувшинов с длинными узкими горлышками. Пьем так много, что животы вспухают, и с трудом переводим дыхание.

Бесконечно долго тянутся часы зноя. Нам кажется, что солнце никогда не сойдет с зенита. Подобно индусу, мы неподвижными комьями лежим на нарах и молча обливаемся потом.

В эти тяжелые часы мы сбрасываем с себя все, что можно, и наш барак напоминает то-

гда лагерь папуасов.

Ежедневно перед вечером к нам приезжает на туркменской арбе военный фельдшер.

Он входит в барак, спрашивает у ефрейтора, все ли здоровы: подходит к еврею, к армянину, протягивает им руку, говорит, что холера усиливается, и торопится назад.

— Позвольте, господин фельдшер... Одну минуточку, — удерживает его еврей. — Так вы уверены, что завтра нас отпустят?

— Не уверен, но думаю, что пора отпустить.

— Ведь мы же все здоровы! — восклицает еврей.

— Да, да я вижу....

— Послушайте, может, надо кому прошение написать? Пожалуйста, скажите. Если надо марки, я деньги дам на марки. Ради бога, научите, что делать. Ведь мы здесь можем умереть!

— Хорошо. Я сегодня узнаю и завтра сообщу. А пока до свидания.

И фельдшер уходит.

В это время закипает самовар, и мы приступаем к чаепитию.

Жара спадает. Близится вечер. Еврей ораторствует:

— Хорошо еще, что мы, слава богу, здоровы. Но что будет, если к нам приведут настоящего-таки холерного! Вы слышали, что фельдшер говорил? Там холера растет. И вот, припомните мои слова: приведут холерного, и мы все заразимся... Ну, я вас спрашиваю: разве можно это терпеть? Ведь это же все равно, что смертная казнь. А за что такое наказание? Что мы — убили кого, ограбили или против правительства пошли?..

Тут говорящий замечает, что начальник карантина, ефрейтор с круглым плоским лицом и холодными глазами, внимательно прислушивается к его словам, и он спешит добавить:

— А солдат зачем мучают? Солдаты нужны для защиты родины и царя, а не для того, чтобы они умирали от холеры.

Бросив солдатам эту взятку, еврей продолжает: — Вы только подумайте, что они с нами делают? Честных людей убивают медленно. За что, я вас спрашиваю? Уж лучше бы они посадили нас в тюрьму.

— А вы, видно, очень боитесь смерти? — прерывает еврея полуинтеллигент, слегка посмеиваясь светлыми голубыми глазами.

— А кто не боится смерти? Станный вопрос! Бояться смерти — разве позор?

— Позор — не позор, но и не добродетель.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — восклицает еврей, быстро воспаменяясь. Знаем мы эти разговоры. А придет смерть, вы сделаетесь бледный и покажете ей на меня, а не на себя.

— Грешно бояться смерти, — солидно вставляет свое слово старообрядец из Новгорода.

— Грешно... Вот это мне нравится! — горячится еврей и всплескивает руками. — В чем же тут грех?

— В том грех, что помышляющий о теле — о душе не печется.

Старик говорит ровным, спокойном голосом, точно книгу читает, а еврей, поймавший с первых слов основную мысль старообрядца, нервничает и нетерпеливо ждет, когда кончит противник, чтобы ему немедленно возразить.

— Конечно, святое писание есть-таки свя-

тое писание, торопливо начинает он, — но у нас, извините, тоже есть святое писание. Библия, кажется, по-вашему называется? Ну, так вот в этой самой библии Моисей, — вы, конечно, слышали, что был такой Моисей? — говорит нам: «Если ты исполнишь заповеди господя твоего, то долголетен будешь на земле, и благо тебе будет на земле». Все о земле, а о небе Моисей нам ничего не говорит.

Еврей беспокойными темными глазами упирается в серебряную бороду старообрядца и продолжает:

— Вы говорите, что в нашем святом писании... Вы думаете, что я не знаю и вашего писания? Еще как знаю!.. В вашем писании сказано: если ближний тебя ударит по одной щеке, то ты ему подставь другую. А почему это сказано? А потому, чтобы люди не воевали, не убивали и чтобы любили жизнь. Теперь я спрашиваю: как вы можете любить жизнь ближнего, когда вы собственной жизни не любите? Вот мне говорили, что поляки и русские — один народ. А чем они занимаются? Они режут друг друга. Режут с ножом и без ножа.

Говорящий умолкает и смотрит на старобрядца, ожидая возражения, — но старик упорно и вдумчиво молчит.

На горизонте низкие кудрявые кусты саксаула вспыхивают и горят ярким пламенем. Выцветшее за день небо быстро синеет и обливает пустыню голубыми сумерками.

Огня не зажигаем: нам хорошо и в этом полумраке.

Лишь бы не было жарко.

При появлении первой звезды бухарец расстилает на наре халат, опускается на колени, трижды проводит руками по лицу и по черной выхоленной бороде, закрывает глаза и шепчет молитву.

Казанский татарин делает то же самое и глазами следит за соседом.

Молящиеся не нарушают торжественной тишины летней ночи, и мы слышим, как шуршат на песке тяжелые панцыри неуклюжих черепах.

Встает с ложа индус. Он чуть-чуть приподнимает веки, бросает осторожно беглый взгляд в нашу сторону и поворачивается к нам спиной. Он, должно быть, молится, по-

тому что неоднократно падает ниц и едва слышно произносит отрывистые, непонятные слова.

Еврей готовит себе постель и тяжело вздыхает. У него имеются шерстяное узорчатое одеяло и гуттаперчевая подушка — предмет зависти армянина.

Перс, как и вчера, садится рядом с греком, и оба они приступают к ужину. Едят рисовые лепешки и запивают зеленым афганским чаем. Грек вполголоса что-то рассказывает на турецком языке, а перс слушает, улыбается и качает головой, покрытой высокой каракулевой шапкой с твердым доньшком овальной формы.

Полуинтеллигент ложится рядом с евреем, и между ними завязывается философский спор на тему о цели и смысле жизни.

— Вы, может быть, скажете, что и черепахи созданы для украшения мира? Кому нужны они, эти уродливые несчастные существа? Неужели бог не нашел ничего лучшего, как создать этих противных черепах?

— Ей-богу, я вас не понимаю, — слышится возмущенный и торопливый голос еврея. —

Если вы не верите в бога, то зачем вы о нем говорите? А если верите, что есть на свете бог, то почему вы его не уважаете? Вы городского больше боитесь, чем бога, потому что у городского вы не просите, зачем он идет туда или сюда или зачем он тащит пьяного в участок; а бога вы каждый день беспокоите глупыми, извините, вопросами: зачем жизнь, зачем он создал черепах, а не что-нибудь другое, зачем смерть?.. Ей-богу, это смешно. Поверьте, бог лучше нас знает, что делает. И вмешиваться в чужие дела — таки нехорошо...

И долго еще слышится голос еврея и коротенькие, язвительные реплики полуинтеллигента.

Старообрядец уже помолился и спит. Индус долго и сосредоточенно жует что-то, и его маленькая, сторбившаяся фигурка в плоскодонной круглой шапочке темным пятном вырисовывается на краю нары.

Истомленные дневной жарой, многие из нас спешат воспользоваться тихим, ласковым вечером и выспаться вдоволь.

В длинном, узком бараке становится тихо, и я отчетливо слышу, как шуршат на песке за

полотняной стеной черепахи.

Нары широкие и низкие, тянутся вдоль обеих стен, а между ними проход в аршин шириною. Направо от входа лежат: индус, перс, армянин, татарин и старообрядец. Дальше правая нара никем не занята, и только на самом конце ее у глухой стены барака напротив входа устроились солдаты. Между солдатами и старообрядцем гуляет свободное пространство в три или четыре аршина.

Это запасные места на случай прибытия новых «подозрительных».

Еще больше свободного места на левой наре, где лежим мы — остальные шестеро: бухарец, грек, полуинтеллигент, еврей, киргиз и я.

Я лежу отдельно от всех, напротив солдат, и между мной и киргизом зияет широкое свободное место.

Мне не спится. Лежу на спине с широко открытыми глазами и грущу. О чем? Я сам не знаю. Немая пустыня рождает унылые мысли об оторванности моей, одинокости, заброшенности, и мне становится жаль самого себя и бесполезно прожитой юности.

Какое спокойствие! Какая тишина кругом!

Я поворачиваюсь на бок, раздвигаю пальцами прореху в полотняной стене и выглядываю в пустыню. Глазами обнимаю бесконечные пространства, и мне кажется, что ощущаю движение земли.

Сознание мое, угнетенное тоской, вдруг оживает и сливается с загадочной молчаливой ночью, но чьи-то грубые голоса возвращают меня к действительности, и я падаю на землю.

В бараке что-то происходит необыкновенное. Все на ногах, все взволнованы.

— Фонарь зажги! — кричит ефрейтор.

Быстро поднимаюсь с места и чувствую, как по спине моей бежит холодная струя.

— Вот этого уж я совсем не понимаю, — громко, весь барак говорит еврей.

Он стоит на наре с обнаженной, курчавой головой и широко размахивает руками.

— Я понимаю, — продолжает он, — жаловаться, просить, подавать прошения, но бежать... Вот это уж мне не нравится...

— Да кто бежал? — капризно и нетерпеливо спрашивает полуинтеллигент.

— Я знаю кто?.. Говорят, татарин. Но разве

что-нибудь увидишь, когда здесь темнее, чем в погребке?

Зажигают фонарь, большой, квадратный, переплетенный снаружи проволокой. Бледно-желтые полосы света ложатся на нары и на песчаную мягкую дорожку между ними.

На полотне вырастают пляшущие уродливые тени.

— Бери винтовку и встань у входа, а ты — пошел за мной! — командует ефрейтор.

Мимо нас между нар пробегает наша стража, унося с собою фонарь.

Становится темно. Мы притихаем. Сквозь полотно барака мы видим слабое отражение фонаря, быстро удаляющегося. Потом мы слышим окрик ефрейтора.

— Стой! Стрелять буду! Стой!

Он, наверно, кричит изо всей силы, но в пустыне его голос, подобно стреле в море, тонет и едва слышен.

— Стой! — вторично раздается и мгновенно замирает возглас солдата.

На нашей наре все сбиваются в кучу. Прислушиваемся к наступившему безмолвию. Мы терпеливо ждем чего-то и молчим.

И вдруг среди огромной пустой тишины раздается короткий выстрел, и снова все замирает.

Кто-то дрожит подле меня мелкой холодной дрожью.

— Зшл! Ах, боже мой... — шепчет кто-то над моим ухом.

По голосу узнаю еврея.

— Ны пападет, — слышится уверенный голос армянина. — Ны пападет...

Но вот снова сквозь полотно мелькает желтая живая точка.

Идут обратно. Огонек приближается. Кто-то стонет там, тихо и жалобно. Бесконечно долго тянется время.

Сердце до боли сжимается, и нервы готовы лопнуть от напряжения.

Беглец жив. Солдаты ведут его под руки.

Все трое, освещенные фонарем, серой бесформенной массой вырастают у входа.

— Клади на нару! — приказывает ефрейтор.

Татарин, бледный, осунувшийся, едва волочит ноги, весь трепещет и стонет, а желтый подбородок его прыгает, словно висит на пру-

жине.

Беглеца укладывают на нару. К нему подходит ефрейтор и подносит к его лицу фонарь:

— Кричал я — стой? Кричал? А ты зачем не остановился? Где ранен? Ишь ты... Бежать... Всех перестреляю, ежели что подобное...

Солдат говорит суровым, властным голосом, а у самого рука дрожит и фонарь трепещет, расплескивая вокруг темножелтые пятна.

— Пасматры, кровь где! — вскрикивает армянин, тыча пальцем в сапог татарина.

Ефрейтор подносит фонарь, и мы видим темную струйку крови, выползающую из-под правого сапога, мягкого, без каблука, с расширенным задником. Кровь стекает с нары и тяжелыми каплями падает на песок.

— Пагады, кинджал вазму: сапог рэзыт будым.

Расторопность и уверенность армянина подчиняют ефрейтора, и солдат молча соглашается с ним.

Раненый громко стонет и нетерпеливо мотает головой.

Армянин возвращается с кинжалом и легко и быстро распарывает сапог.

— Вай, какой малчык ныпаслушный! — говорит он, обращаясь к татарину. Зачим быжал? А? Моя тибэ что гаварил? А? Вай, вай, какой малчык...

Рана оказывается незначительной. Пуля коснулась ноги ниже щиколотки и отодрала кусочек кожи. Но все же при виде крови нам становится жутко.

— Неужели нельзя обойтись без стрельбы? — вырывается у меня восклицание.

Не успеваю кончить, как свет фонаря уже рыщет по моему лицу, и я вижу глаза ефрейтора. Колючие, с зеленым блеском, эти глаза впиваются в меня и становятся неподвижными. Я вздрагиваю от этого холодного острого взгляда, запоминаю жесткое выражение круглого плоского лица с небольшим приплюснутым носом.

— А ты думал как? — сурово и грубо роняет ефрейтор и отворачивается.

Армянин делает татарину перевязку. Мы понемногу приходим в себя и успокаиваемся.

По звездам я догадываюсь, что уже поздно,

а мне все еще не спится. Мысли бегут, торопятся. Сердце в груди тревожно стучит, и я впервые начинаю понимать, в каком скверном положении очутился, попав в этот ужасный карантин.

Татарин перестает стонать и, кажется, спит. В бараке тихо, только в солдатском углу тускло горит фонарь и освещает три коротко остриженные белые головы солдат, сидящих небольшим кругом на краю нары. Их тени огромными черными силуэтами врезаются в полотно глухой стены.

Ефрейтор вполголоса что-то рассказывает, а двое остальных внимательно слушают, по-детски склонив набок головы.

Я чувствую, что сегодняшнее происшествие положило черту отчужденности между нами и солдатами, и что мы в их лице теряем добродушных, наивных людей.

Я отгоняю докучливые мысли и прислушиваюсь к тихому и безостановочно журчащему голосу ефрейтора.

— Вот этта, значит, — журчит ефрейтор, — убили разводящего, а часовой остался. Остался этта он и ждет смены. Ладно. Во этта он, от-

деленный с рядовым идут. Для смены, стало быть. АН не тут-то было: часовой смены не принимает: «Разводящий поставил — пуцай разводящий и сымает». Что тут делать? Пошел отделенный и донес фельдфебелю, а фельдфебель ротному. Пошел сам ротный. «Ты почему, такой-сякой, смены не принимаешь?» — «Никак не могу, ваше благородие, без разводящего», — отвечает часовой. — «Да ты знаешь, что разводящий убит?» — «Так точно, знаю, а только без дозволения его императорского величества царя-батюшки смены не приму». Как сказал этта часовой, — ротный живым манером повернул назад да прямо к командиру полка. Так, мол, и так, ваше высокоблагородие, часовой с ума сошел, смены не принимает. Дозволения государя ждет. «Извините, господин поручик, — говорит ему полковник, — часовой не с ума сошел, а рассуждает правильно, по уставу нашему военному». — «Что же делать?» — спрашивает ротный. — «А вот что: бить депешу в самый Питер к царю». Ладно. Вот этта пошла депеша, а часовой — на посту. Пятеро суток, скажем, простоял, и вдруг от царя ответ:

«Приказываю верного слугу моего, солдата Ивана Прыткова, с часов снять, из царской казны моей двадцать рублей выдать и произвести в ефрейторы...» Вот каков был часовой! — заканчивает рассказчик.

Солдаты поднимают головы и от восторга вздыхают.

— Сейчас же, стало быть, и нашивку ефрейторскую получил? — допытывается один из слушателей.

— Нет, часовой нашивки не получил, — глубоко вздохнув, отвечает ефрейтор.

— Почему не получил?

— А потому, что помер. Пятеро суток, скажем, простоял без пищи, ну, и свалился... А то еще такой случай, — добавляет солдат, намереваясь начать новый рассказ.

Перестаю слушать. Мне хочется вернуться к моим прерванным мыслям, и я гляжу на усеянное звездами черное небо и прислушиваюсь к тишине необозримой пустыни.

Не знаю, что меня разбудило: солнце ли, уже порядком припекающее барак, или шум голосов обитателей карантина, но просыпаюсь я весь в поту и с тяжелой, затуманенной

головой,

В первый момент я никак не могу собраться с мыслями и тупо гляжу на одиноко размещавшуюся фигуру татарина на противоположной наре.

Быстро поднимаюсь я с жесткого ложа, тру глаза и силюсь припомнить что-то, и в этот момент я слышу обращенный ко мне голос еврея:

— Вы уже проснулись? Ну, так идите сюда: вам-таки тоже надо будет подписаться.

При первых звуках этого голоса мне все становится ясным, сознание возвращается, и я догадываюсь, о чем говорит еврей. Еще вчера им было решено написать прошение на имя начальника Закаспийского края об освобождении нас из каратина. Мысль эту большинство одобрило, и вот теперь прошение, уже, должно быть, написано, и еврей собирает подписи.

Я оглядываюсь: у входа на обычном месте не вижу индуса.

Нет его среди собравшихся.

Не спеша слезаю с нары, и в это время индус в сопровождении солдата входит в барак.

Я бросаю на него беглый взгляд, и тревожное чувство овладевает мной.

Индуса узнать нельзя: лицо потемнело, губы синие, глаза расширены, весь согнулся, точно под тяжестью, и дрожит крупной холодной дрожью.

С испугом в глазах следят за индусом остальные обитатели карантина. Животный страх искажает лица сбившихся в тесную кучу временных жителей барака.

Индус от боли и холода ляскает зубами, торопливо взбирается на нару, ложится и старается уйти всем телом в узкий халат.

Его бьет лихорадка, и в наступившей тишине отчетливо раздается зябкое ууканье и лясканье зубов.

— Надо будет нам всем перебраться на другую нару, — говорит полуинтеллигент.

В его голосе я уже не слышу обычной иронии и веселой шутливости.

— Скажите, какой план придумал! — сейчас же откликается еврей. — Холера прыгает через тысячи верст, так что ей значит перейти через нару... Нет, надо сегодня же отправить прошение по телеграфу, И больше ниче-

го.

— Погодить бы надоть, — солидно замечает старообрядец, может, это-не холера...

— Ах, оставьте пожалуйста! — нетерпеливо перебивает его еврей. Слепой, и тот вам скажет, что это — холера. Я еще на рассвете, когда индус стал выбегать из барака, знал, что это холера.

Еврей умолкает, задумывается, а через минуту обращается к полуинтеллигенту и говорит ему тихим, упавшим голосом:

— Знаете, что я вам скажу? Надо телеграфировать в Петербург на имя министра... Но какого министра?.. Ах, боже мой, я говорю, как маленький!..

Еврей вдруг вскакивает на нару и кричит истуслненным голосом:

— Какой там министр! Сам бог уже нам не поможет... Вы видите, что там делается на наре? Там стоит смерть и кладет на нас печати. Но я вас спрашиваю, за что? За что нас осудили на смертную казнь? А? Я вас спрашиваю... Не надо прошения!.. На что нам? Разве мы не можем умереть без прошения?..

Еврей рвет бумагу на мелкие клочки и в

изнеможении опускается на нару.

Долго сидит еврей в скорбной позе, закрыв лицо руками, а мы все, как овцы на пожаре, сгрудились тесной группой и глаз не спускаем с индуса, бьющегося на наре, точно рыба, выброшенная на берег.

Маленький, круглый грек волнуется сильнее всех, временами нам кажется, что его лихорадит, и тогда мы бросаем на него подозрительные, косые взгляды. Он ловит эти взгляды, понимает их и приходит в ярость.

— Что такое?.. Я — человек, я — ни животное... У сен, у ласен! — вдруг выкрикивает он по-персидски, что означает: «чтоб ты издох», но к кому обращено это проклятие, мы не знаем.

Безмерная ярость кипит на смуглом черномусом лице грека, а большие выпуклые глаза готовы выскочить из орбит.

Киргиз, перс и узбек, по-видимому, плохо сознают, что делается вокруг, но и на их лицах заметна тревога, и они по-детски жмутся к нам.

От вчерашнего боевого настроения ефрейтора помина не остается. Вчера, когда тата-

рин вздумал бежать, он знал, что ему делать, но то, что происходит сегодня, не имеет никакого отношения к воинскому уставу, и солдат не знает, как ему быть.

Один только старообрядец держится покойно и самоуверенно.

Его строгое апостольское лицо сулит нам надежду.

— Грех, великий грех творим мы, — ровным густым голосом говорит старообрядец, обращаясь главным образом к солдатам.

И когда он говорит это, лицо его проясняется, а на высоком челе разглаживаются морщины. Чистые, ясно произносимые слова ласкают слух. И мне приятно в ту минуту находить его красные губы, прячущиеся за широкими, красиво раздвоенными седыми усами, и заглядывать в его спокойные глаза.

— Человек страдает, — продолжает старик, — а мы убегаем от него. Нехорошо... Немощного покидать — тяжкий грех...

— Он-таки правду говорит, — вдруг оживает еврей и продолжает со свойственной ему горячностью: — Надо что-нибудь сделать для индуса. Поставьте самовар, растирайте ему

ноги... Я знаю что?.. Но что-нибудь надо сделать...

— Ставь самовар! — громко, на весь барак вскрикивает ефрейтор.

Солдаты бросаются исполнять приказание.

Старообрядец мерным, спокойным шагом направляется к индусу.

Подойдя к больному, старик засучивает, рукава ситцевой рубахи и принимается растирать холодные, омертвевшие ноги индуса.

Больной стонет, корчится, извивается и к кому-то простирает руки. Потом он вскакивает с искаженным, почерневшим лицом и выкрикивает непонятные слова. В небольших, косо расставленных глазах набегают слезы.

Трижды повторяет он свой крик и снова валится на нару.

Если бы собака перед нами так мучительно умирала, как этот индус, мы бы, наверное, переполнились состраданием к ней, но этот человек внушает нам ужас: мысль о заразе убивает порывы жалости и заставляет нас дрожать за собственную жизнь.

— Послушайте, добрые люди! — обращается к нам старообрядец, продолжая растирать

ноги больного. — Он что-то сказать хочет. Может, найдется понимающий.

— Сыйчас, пагады нымного, — откликается армянин и что-то разъясняет на ломаном таджикском наречии киргизу.

Когда армянин кончает, киргиз утвердительно кивает головой и отправляется к индусу.

Мы издали следим за ним. Он вскакивает на нару, садится на корточках к самому изголовью индуса и роняет несколько слов.

Больной молитвенно складывает руки и быстро лепечет что-то, стучаясь головой о нару.

Спустя немного киргиз возвращается к нам. И когда он хочет вплотную подойти к армянину, тот невольно от него отшатывается. С этого момента мы начинаем чуждаться киргиза.

От киргиза мы узнаем, что у индуса есть деньги и что он просит, когда он умрет, отправить его тело на родину и оставить при нем его маленького бога. Этот бог, вырезанный из слоновой кости, висит у него на шее.

Еврей, узнав о просьбе индуса, качает голо-

вой, многозначительно переглядывается с армянином и тяжело вздыхает.

Индус умирает в полном сознании и в страшных мучениях. И когда, наконец, его маленькое тело перестает извиваться, а обнаженные ноги с узкими, длинными ступнями, как у подростка, вытягиваются и неподвижно повисают на краю нары, многие из нас облегченно вздыхают, потому что видеть эти человеческие страдания свыше наших сил.

С помощью солдат и старообрядца, по дружному требованию всех содержавшихся в карантине, тело индуса выносится из барака и зарывается в песке в ста шагах от нашего лагеря.

Могилу обливают жидкой известью, а то место, где лежал индус, солдаты вымывают сулемой.

Сегодня мы не чувствуем жары, хотя солнце печет немилосердно. Нам не до того: смерть индуса пугает нас, и мы трепетно ждем последствий.

Мы начинаем бояться друг друга. Когда перс, армянин и раненый татарин из предосторожности думают перебраться к нам, на

нашу нару, мы протестуем и готовы вступить с ними в драку.

Тяжелое настроение не покидает нас, и мы угрюмо молчим и ждем фельдшера. Ждем его, как избавителя, а его нет. Вот уже и солнце катится к западу, а фельдшер все еще не идет.

Еврей меняет место. Теперь он лежит рядом со мною.

За весь день он слова не промолвил. Молчит, вздыхает и поминутно поглядывает на свои карманные часы.

Я стараюсь думать о посторонних предметах, но это мне не удается: образ мертвого индуса преследует меня, и в моем воображении до мельчайших подробностей встает картина погребения — упрощенного, нелепого, небывалого погребения.

И чуть ли не в десятый раз я мысленно представляю себе скорбную сцену, разыгравшуюся сегодня на наших глазах. Солдаты вскакивают на нары, хватают покойника за руки, старообрядцу предоставляют мертвые ноги; труп поднимают и торопливо выносят из барака.

Потом я вижу, как они волокут по горяче-

му песку легкое, сухое тело усопшего. Несут труп ногами вперед.

Обнаженная седая голова старообрядца белым ярким пятном светится на желтом фоне пустыни. Позади шествуют солдаты. Каждый из них держит покойника за кисть руки, стараясь ногами не прикасаться к мертвой голове.

Долго слежу я за этим живым треугольником, с трудомдвигающимся по глубокому мелкому песку, но особенно сильно врезается в памяти моей голова индуса, болтающаяся у ног обоих солдат. Когда солдаты устают, они ниже опускают руки, и тогда мертвая голова с потемневшим лицом и оскаленными мелкими ровными зубами касается теменем земли и чертит по песку длинную узкую полосу в виде желобка. И все время эта голова, с поднятым к небу острым подбородком и открытыми матовыми, безжизненными глазами, тащится по песку и бьется, как живая.

Вспоминая об этом, я с тоской спрашиваю у самого себя: чья теперь очередь? И живой страх внедряется в меня и овладевает всеми помыслами. Из черного круга тоскливых мыс-

лей выводит меня еврей.

— Как вам нравится эта военная дисциплина? — громко говорит он с явным желанием быть услышанным солдатами. — По закону фельдшер должен два раза в день посещать нас, а он себе и одного раза не хочет.

Еврей язвительно улыбается и добавляет: — Но бог все видит...

Ему никто не возражает, и снова в бараке водворяется угрюмое молчание.

Уже почти совсем темнеет, когда подле барака раздаются стоны знакомой нам арбы. Мы оживаем. В данный момент фельдшер является для нас единственной живой нитью, связывающей нас с остальным миром, и мы хватаемся за эту нить.

Когда крупная, грузная фигура фельдшера с большим мясистым и запыленным лицом показывается у входа, первым подбегает к нему полуинтеллигент.

— Послушайте, господин фельдшер, — начинает он дрожащим голосом, — что все это значит? Помилуйте, ведь это же есть нарушение всех божеских и человеческих законов. Взяли горсть людей, выбросили их из жизни,

как мусор какой-нибудь, и забыли о них...

— Позвольте, в чем дело? — солидным начальническим тоном перебивает говорящего фельдшер. — Что случилось?

— Во-первых, вчера наша любезная стража подстрелила того юношу, а во-вторых — сегодня умер от холеры индус. Он лежал вот здесь, около нас. Барак заражен, и мы должны жить тут и глотать заразу... Это возмутительно! Мы этого не потерпим!..

Последнюю фразу полуинтеллигент выкрикивает звонким фальцетом и угрожающе сжимает при этом кулаки.

— Я могу только доложить начальству, а сам ничем помочь не могу, равнодушным и усталым голосом произносит фельдшер и поворачивается к ефрейтору.

— Не можете?.. — вдруг истушенно кричит полуинтеллигент. — Так мы тоже не можем! Если завтра нас не освободят, мы сами освободимся...

Фельдшер пожимает плечами, что-то говорит ефрейтору и вдруг пристально заглядывает в глаза грека, стоящего тут же, рядом с армянином.

— Вы здоровы? — спрашивает фельдшер.

Этот простой, короткий вопрос пугает нас так, что мы невольно отшатываемся от грека.

— Цо зе это такое? — бормочет грек, и мы видим, как кровь сходит с его лица.

— Главное правило, господа, — обращается фельдшер ко всем нам, — не бояться. Кто холеры не боится, тот никогда не заболевает. Пейте больше жидкого чая и кушайте лимоны,

— Будьте вы прокляты с вашими лимонами и советами! — кричит полуинтеллигент.

Но фельдшера уже нет. Мы только слышим скрип отъезжающей арбы.

— А вы здесь буянить не имеете никакого полного права, — внушительно заявляет ефрейтор.

— А ты кто мне такой? Начальник? — откликается полуинтеллигент.

— Оставьте, прошу вас, пожалуйста, — вмешивается еврей. — Солдаты тут ни при чем. Они исполняют свой долг. Ну, и пусть они себе его исполняют. Виноваты генералы, а не солдаты.

Быстро падают сумерки, и в бараке становится темно.

Ефрейтор зажигает фонарь и ставит одного солдата у входа.

Потом он велит зарядить винтовки, и мы слышим, как щелкают затворы.

Это маленькая военная демонстрация.

С наступлением вечера волнения наши усиливаются.

Полуинтеллигентом овладевает какое-то бешенство, и он призывает нас к открытому бунту.

— Чем мы рискуем? Нас могут застрелить? И отлично! Разве околеть от холеры лучше?..

— Ах, боже мой, вы совсем не то говорите, — пробует возражать еврей, но тот и слушать не хочет.

И долго в полумраке длинного и узкого барака раздается одинокий и крикливый голос обезумевшего человека.

Но вдруг эти крики резко обрываются, и я вижу, как полуинтеллигент начинает дрожать и кутаться в свое ветхое пикейное одеяло. Потом вскакивает и с искаженным от страха и боли лицом бежит к выходу. За ним следует сам ефрейтор.

Я начинаю понимать, в чем дело. И когда,

спустя немного, этот молодой голубоглазый человек возвращается, я уже смотрю на него как на обреченного.

В несколько минут яростно шумевший около нас человек становится неузнаваемым. В моих ушах еще звенит его голос, полный возмущения, а на лице его уже нет жизни.

Глаза тускнеют, сам он горбится и дрожит зябкой лихорадочной дрожью. Некому больше протестовать.

Трепетно горит свеча в фонаре и бросает неверные полосы света. Все бодрствуют, и никто не помышляет о сне. Кто-то стонет и бьется на противоположной наре.

Грека тошнит, и мы слышим его страшный кашель со свистом и шипением.

Ко всему, что сейчас происходит в бараке, я прислушиваюсь и присматриваюсь с явной подозрительностью, и мне только страшно, а в глубине сознания зарождается злое чувство к этим заболевшим людям, могущим заразить и меня.

Проходит час. Нами овладевает паника. Многие из нас мечутся по бараку, ищут безопасного места, не находят его раздражаются

проклятиями.

Еврей стоит на краю нары с лицом, обращенным к востоку, и с распростертыми руками в молитвенной позе вопит на родном языке, бросая свои слова богу:

— Тебя, вечного и мудрого, я спрашиваю: на что тебе моя жизнь? Неужели мои страдания прибавят хоть один луч к твоему сиянию? Вот я стою здесь, в пустыне, вижу чудеса твои, вижу бесчисленные звезды и бесконечное небо... И я предсмертным криком взываю к тебе, милосердному... Если не ты, то кто же услышит мой голос среди песков необозримых?.. Но ты молчишь... Молчишь потому, что тебя нет... Ты — вечный обман... И я в предсмертный час разрываю узы веры и молитв...

Черная фигура еврея с поднятыми к небу руками производит сильное впечатление на солдат. С застывшими лицами прислушиваются они к его воплям и не знают: молится ли он или заклинает.

Стоны, жалобы и проклятья терзали меня всю ночь и я устал.

Я постепенно прихожу в себя и начинаю

понимать и ощущать действительность. И только теперь мне становится больно и стыдно за мою трусость, убившую во мне жалость, истрепавшую мне нервы и доведшую меня до полного оупения.

Предо мною видения страшной ночи. Сколько рук с мольбою простираются ко мне, к единственному здоровому человеку! А я в ужасе отшатываюсь, перескакиваю с одной нары на другую, прячусь в дальние углы и с ненавистью и злобой отворачиваюсь от изви- вающихся и о чем-то просящих меня людей. Помню, еврей за несколько минут до первого припадка подвигается ко мне и говорит со мною каким-то особенно кротким голосом.

— Вот они тут говорили, что я боюсь смерти, — начинает он, стараясь заглянуть мне в глаза. — Что вы думаете? Они-таки правы: я очень боюсь смерти, потому что люблю жизнь. Какая у меня была жизнь? Уж лучше бы не родиться. Но мне разве можно умереть, когда за моей спиной мои маленькие дети, жена и старуха-мать?.. Что они без меня будут делать? Ведь они даже не знают, где я теперь. И может быть, они никогда уже меня...

Он сразу обрывает: его душат слезы.

А у меня не находится ни одного слова утешения. Я в ту минуту думаю о себе и боюсь, что еврей, — как мне кажется, заболевший, — может заразить меня, и я враждебно от него отворачиваюсь.

Как он смотрит на меня! До сих пор эти скорбные глаза, увлажненные слезами, живут в моей памяти.

Но мне двадцать пять лет, и я хочу жить. Хочу жить потому, что на мою долю выпало мало радостей, потому, что я одинок и жажду любви, не имею крова и мечтаю о пристанище.

В полночь труп еврея выносят из барака, спустя немного умирает старообрядец. Сейчас я ищу глазами грека и бухарца — и не нахожу их; но тут же вспоминаю, как оба они умерли незадолго до рассвета.

Грек, я помню, умирал мучительно и крикливо. Его стоны заполняли весь барак, и он поминутно вскакивал, бегал по наре, угрожал, проклинал, молил и плакал. И лишь перед самой смертью он притих и странно вытянулся, точно никогда не был маленьким,

круглым толстяком.

Зато спокойно и трагически величаво умирает бухарец. Помню, после заката, он, как и всегда, расстилает халат, опускается на колени и совершает обычный вечерний намаз. Потом он осторожно обеими руками снимает с головы пышно-белую чалму и кладет ее подле себя, сдунув предварительно пыль с нары. После этого на бритой голове его появляется шестигранно-остроконечная тюбетейка, густо вышитая серебром. Светлая ермолка идет к бледному красивому лицу бухарца и к его мягкой волнистой иссиня-черной бороде.

Когда его начинает лихорадить, он надевает на босые ноги твердые кожаные туфли, берет кувшин с водой и выходит из барака.

Вернувшись, он падает на нару, покорно и тихо шепчет: «алла иль алла» и уж больше не встает.

Вспоминая подробности минувшей ночи, я в то же время ощущаю какое-то затаенное радостное чувство; и хотя сознание говорит мне, что это нехорошо, что это эгоистично, но мысль, что я жив и здоров, так ярко горит в мозгу, что все остальное уходит на задний

план, и во мне рождается уверенность, что я уже вне опасности и что мне суждено уйти отсюда живым и невредимым.

Эта уверенность быстро успокаивает меня, и я совершенно сознательно осматриваю барак, и впервые пробуждается во мне жалость к бессмысленно погибшим жизням.

Вон на месте индуса лежит полуинтеллигент. Он еще жив.

Молодой организм яростно борется со смертью, но напрасно: жизнь догорает. Это видно по искаженному, почерневшему лицу и по глазам, потухшим и остановившимся. Но почему он очутился у входа? И я вспоминаю, как он ночью метался по бараку, искал безопасного места и всюду видел заразу. Теперь ему уже все равно.

На другой наре умирает рослый и непокорный армянин. Временами он зовет кого-то, а большое тело его корчится и бьется о доски наскоро сколоченной нары.

А вот напротив меня стоят солдаты перед киргизом и с равнодушием усталых людей ждут последнего вздоха, чтобы стащить его туда, к индусу.

Эти скромные, малорослые и невзрачные на вид люди бодрствуют вторые сутки. Откуда силы берутся? Я хочу им помочь, хочу что-нибудь сделать для армянина, вообще — хочу быть полезным; и с этой целью слезаю с нары и уже направляюсь к армянину, как вдруг слышу грубый окрик ефрейтора и останавливаюсь.

— Эй, ты, черный! — кричит он мне. — Ты бы воды принес из бочки да самовар бы поставил... А то сидишь, словно барин какой...

Голос ефрейтора мгновенно гасит мой добрый порыв и глубоко возмущает меня. Наши глаза сталкиваются и от злости не могут разминуться.

И я чувствую, что мы — враги.

## **22. Крик в пустыне**

**С**егодняшний день обещает быть особенно жарким.

Еще и десяти нет, а пустыня уже пылает, и мы, четверо живых, — солдаты и я, — изнемогаем от усталости и обливаемся потом.

Мокрое белье прилипает к телу, и я с трудом двигаюсь. И дела еще так много. Надо унести и похоронить армянина, перса, кирги-

за и татарина.

Труп полуинтеллигента уже покоится в песке.

Я работаю наравне с солдатами и сам удивляюсь своему равнодушию. Я не испытываю ни малейшего страха, хотя отлично сознаю, какой опасности подвергаюсь.

Так, должно быть, на войне, устав от боязни и отчаяния, люди становятся равнодушными к пулям, к ядрам; и тогда их причисляют к храбрым.

После полудня мы выносим последнего покойника — татарина.

Каждый шаг нам стоит невероятных усилий.

Необозримая, мертвая, сухая равнина горит под солнцем, мы едва тащимся, утопаем в глубоком горячем песке, и тяжелая ноша вываливается из рук.

Но вот мы, наконец, доплелись... Я с облегчением опускаю на землю мертвые ноги татарина. Правая нога так и остается в перевязке, и от пестрых тряпок, пропитанных кровью, несет затхлостью.

Ефрейтор стоит у братской могилы, с ши-

рокой деревянной лопатой в руке. Он успевает лишь наполовину засыпать песком длинное, тонкое тело перса, а сейчас он на минуту прекращает работу, чтобы отдохнуть и вытереть пот с лица.

— Все тут, больше нет, — заявляет один из солдат, несущих со мною татарина, и рукавом белой рубашки проводит по мокрому лбу и глазам.

Я оглядываюсь. Кругом, насколько может охватить глаз, сыпучие пески горят на солнце желтым пламенем; одинокой белой гробницей возвышается посреди немой бездыханной пустыни наш убогий, опустевший барак, и мы четверо живых — стоим у рассыпчатого кургана, воздвигнутого нашими руками. В одном месте наш песчаный холм уже слегка осыпался, и я вижу чьи-то ноги.

По узким, продолговатым ступням я узнаю ноги индуса.

Как они почернели за сутки!

Я беру вторую лопату и приступаю к погребению татарина. Труп лежит навзничь, с полуоткрытым ртом, и смотрит побелевшими глазами в небо. Я заглядываю в эти глаза, и в

неподвижных, наполовину ушедших под веки зрачках, задернутых смертью, я не вижу отражения солнца.

Мне тяжело видеть это мертвое, синее лицо, и я торопливо бросаю на него полную лопату песка. Лицо исчезает, но на вершине песчаной кучки образовывается воронка, и я вижу, как мелкий теплый песок куда-то уходит, точно вода в сухую землю. И я догадываюсь в чем дело: песок уходит в полуоткрытый рот. Этот рот еще недавно, всего час тому назад, молил о спасении.

Я удваиваю энергию и быстро воздвигаю над татаринном новый и последний курган.

Близок вечер, солнце спешит к закату. Жара спадает.

Мы сидим в глубине барака и пьем чай, закусывая белым солдатским хлебом.

За неимением средств я пользуюсь казенными харчами. Всех денег у меня два рубля, а я еще мечтаю попутешествовать по России.

Кроме того я курю, и мой крохотный капитал приобретает для меня особую ценность; я отказываю себе во всем необходимом.

Давно уже мы сидим за чаем, угрюмо мол-

чим, придавленные, измученные и усталые. Один лишь ефрейтор держит себя беспокойно, и часто из его широкого губастого рта выпадают коротенькие, но сильные ругательства, неведомо к кому направленные.

— Ежели фершал, — говорит он, глядя в пространство, — не прибудет, то я, матери его сто чертов, подстрою ему штуку. Попомните меня, жирный...

В заключение он произносит ругательство и умолкает.

Я допиваю последнюю кружку и отправляюсь на свое место, где вчера я лежал рядом с евреем. Пустой барак с длинными темными нарами болезненно действует на нервы, острая, ноющая тоска овладевает мной, и я боюсь грядущей ночи.

Проходит еще полчаса. Ниже садится солнце, и густеют краски умирающего дня.

Вдруг ефрейтор вскакивает, выходит из барака, через минуту возвращается и почти кричит, обращаясь к солдатам:

— Эй, живо! Собирайтесь в Узун. Скажи фельдфебелю нашему: разводящий, мол, послал. Пуцай ротному доложит: карантин,

мол, слободен; потому — все вольные скончались...

Тут говорящий злыми, полными ненависти глазами глядит на меня и добавляет упавшим тоном:

— Один, мол, остается, скажешь... И пуцай распоряжение дадут, потому делать нам здесь нечего. Ну, марш скорей!

— Слушаю, — одновременно вырывается у обоих солдат, и оба они мгновенно оживают; их лица проясняются, и радость играет в глазах.

Но ефрейтор безжалостно гасит эту радость.

— Один пойдет, — говорит он и делает маленькую паузу, как бы выбирая, кого послать.

А солдаты вытягиваются и впиваются в него глазами.

— Ты пойдешь, — говорит он и тычет в одного из них пальцем.

— Слушаю, — едва слышно шепчет солдат, словно боится громким голосом дурно повлиять на решение разводящего.

В одну минуту солдат скатывает шинель, связывает концы, хватает винтовку и спеш-

ным маршем направляется к выходу.

У остающегося с нами солдата глаза увлажняются, и он отворачивается. Я хорошо запоминаю скорбное выражение его молодого лица с нежно-золотистым пушком на верхней губе.

Как, должно быть, завидует он товарищу, столь неожиданно и легко вырвавшемуся на свободу! Но еще сильнее, мне кажется, горит завистью сам ефрейтор. С уходом солдата беспокойство разводящего усиливается, и он не может усидеть на месте. Наконец он не выдерживает и бросается вон из барака.

Вскоре голос ефрейтора одиноко прокатывается по безгласной пустыне, озаренной уже пышными предзакатными огнями.

— Назад! Воротись!.. — с отчаянием и злобой в голосе кричит разводящий.

Я выглядываю в пустыню жадными глазами, ищу ушедшего солдата. И я нахожу его. Маленькой серой точкой ныряет он среди оранжевых песков безбрежной равнины. И я мысленно гонюсь за ним и шепчу, задыхаясь: «Уходи, не возвращайся...»

— Беги, слышь, за этой сволочью! Что есть

духу беги и вороти его!.. кричит ефрейтор, вбегая в барак.

Солдат, в чем есть и без фуражки, соскакивает с нары и улетучивается.

Мы остаемся вдвоем. Минут десять разводящий кажется спокойным. Он даже наливает себе кружку бледного остывшего чая и выпивает залпом. Но спустя немного он снова волнуется, нервничает, поминутно выбегает из барака и, невидимому, ждет возвращения солдат. А те не возвращаются. И когда фигура второго солдата совершенно тает на горизонте, неудержимое бешенство овладевает ефрейтором, и круглое плоское лицо его с перебитым маленьким носом багровеет от прихлынувшей крови.

— Ушли?.. Ладно... Поймают! Под суд, под военный суд попадете, сучьи дети!.. На каторгу, на каторгу вас!.. — взывает рассвирепевший солдат и кулаком стучит по наре.

Я притаиваю дыхание и стараюсь не подавать признаков жизни.

А там за бараком гаснет заря, и пустыню окутывает голубыми сумерками близкий вечер.

В углу горит фонарь: трепетный полусвет бледножелтыми лентами падает на нары и вкрадчиво выдвигает из мрака некоторые вещи, оставшиеся после умерших обитателей карантина.

Ефрейтор лежит на самом конце барака и круглыми, немигающими глазами глядит на свечу, горящую в фонаре. Голова его покоится на широкой ладони левой руки, локтем опирающейся на нару.

Мне жутко одному в опустевшей полотняной казарме с моей непроходящей тоской. Я борюсь с самим собою всеми силами усталого сознания стараюсь выйти из тесного круга действительности, стараюсь вырвать из памяти мрачные подробности прошлой ночи и сегодняшнего утра; и моментами, когда мне это удастся, я мысленно мчусь через Каспий и Кавказ в родные места и там даю короткий отдых пылающему мозгу. Но этих счастливых мгновений с каждым часом становится меньше. Темная бездна пустынной ночи тянет меня к себе, и я с ужасом вижу себя в бараке, где смерть глядит на меня из каждого угла...

Чтобы вырваться из плена нелепых, бояз-

ливых дум, я пробую уговорить, обмануть себя и упорно твержу, что ничего не было, никто не умирал, а все это мне снится.

Ведь не может быть, чтобы вещи лежали здесь, на нарах, а люди, только что жившие со мною, покоились бы под песком и разлагались. Какой вздор! И неправда, что ноги индуса почернели...

А что чалма белеет на темной полосе нары, так это пустяки: вернется бухарец и надеет ее.

И у входа появляется таджик. Не торопясь, он подходит к своему месту, взбирается на нару, любовно разглаживает руками черную бороду и тянется к чалме. А вот и еврей. В руках у него прошение. Холодный пот крупными каплями выступает у меня на лбу, и в череп вонзаются тысячи тонких стальных игл, а глаза не могут оторваться от чернеющего входа, где толпятся восставшие из-под кургана... Вот они тесной гурьбой входят в барак, размахивают мертвыми руками, делают мне таинственные знаки, я чувствую себя скованным, и не могу вскрикнуть, не могу пошевелиться.

И вдруг среди тишины, наполненной

немыми призраками, раздаётся щелканье ружейного затвора. Мгновенно ко мне возвращается сознание, и я с коротким звериным криком бросаюсь к ефрейтору, крепко хватаю его за руку выше локтя и заглядываю в его холодные, жесткие, безумные глаза с вертящимися на одном месте зелеными зрачками.

— Ты что же это такое задумал? — спрашиваю я шелестящим в тишине шопотом и задыхаюсь от волнения.

— Ага, спужался! — хрипит ефрейтор, и кривая улыбка уродливо делит надвое его плоское круглое лицо с крохотным мягким носиком посередине...

— Послушай... Не смей этого делать... Ответишь...

— А почему кто знать будет?

— Но, послушай, зачем?... Что я тебе сделал?..

Солдат скрежещет зубами, дико озирается и кричит не своим голосом, со свистом и взвизгиванием:

— Что сделал?.. А вот что... Может, и мне жисть моя дорога, а ты свободу отымаешь. У, чорт! — заканчивает он и с силой замахивает-

ся на меня прикладом.

Но я быстрым движением хватаю конец приклада и с необычайной для меня силой отвожу винтовку в сторону.

— Не трожь ружья: худо будет! — угрожающе ворчит разводящий, и лицо его искажается злобой.

— Не смей, слышь, не смей!.. — шепчу я сквозь крепко стиснутые зубы.

В этот момент рассудок мой уступает место инстинкту, и я действую решительно, ловко, по-звериному, но почти, бессознательно.

Полное одиночество среди холодной ночной пустыни превращает нас обоих в первобытных людей.

Борьба между мною и ефрейтором длится не долго Он, должно быть, сознает свое бессилие и. постепенно утихает. Теперь он требует, чтобы я так плотно к нему не прижимался; но я боюсь сделать между нами расстояние, дабы он не мог заколоть меня штыком, пристрелить.

И когда я ему решительно заявляю, что я не отодвинусь от него ни на один вершок,

солдат плюет, опускает к ногам винтовку и просит папиросу. Мы лежим вдвоем на наре, лежим усталые, измученные, страдающие... Ефрейтор вытягивается лицом к стене и мерно дышит. Но я знаю, что он бодрствует, хотя лежу за его спиной. Как тихо и ровно дышит солдат! А что, если он заснул?

Этот внезапный вопрос рождает во мне смутную тревогу, быстро переходящую в надежду, и в полусонном мозгу просыпается мысль о побеге. Эта мысль, робкая и неуверенная, пугает меня, тревожит сердце, и я стараюсь отогнать ее прочь: но тогда она вдруг крепнет и становится сильной, бурной и смелой.

И я весь трепещу от предстоящих возможностей и уже употребляю усилие, чтобы унять разбушевавшуюся страсть и не выдать своего волнения.

Я лежу, прижавшись лицом к широкой спине разводящего, а в мозгу моем горят и мечутся мысли о побеге.

Еще момент — и план готов: я тихонько оттолкнусь от него, затаю дыхание и змеей неслышно выползу из барака.

О, я буду очень осторожен!

Я не брошусь бежать, куда глаза глядят, а сначала найду дорогу, ведущую в Узун-Ада, и тогда уже я покажу, как люди убегают от смерти.

Эти мысли вливают в меня пламенную энергию, и я задыхаюсь от радостного волнения, полный надежды и боязни.

Но прежде всего надо взглянуть на небо. Я осторожно раздвигаю щель в полотне и вижу далекий зеленовато-сиреневый просвет. Там уже погасли звезды, и темный край ночного неба медленно скатывается, обнажая серебряную реку, предвестницу близкой зари.

И тут же до слуха моего доносится тихий, но явственный храп моего часового.

С большими предосторожностями поднимаюсь я на локте, вытягиваю голову через плечо солдата и перестаю дышать. Мне нужно удостовериться: спит он или нет. Я делаю еще одно движение, сгибаю голову к самому лицу похрапывающего ефрейтора и... глаза мои сталкиваются с широко открытыми глазами солдата.

С невероятной быстротой вскакиваю я на

ноги. Я чувствую, раскалывается череп, и мне становится холодно.

— Ага, бежать! — свирепо и злорадно кричит солдат и неожиданным движением перекакивает на противоположную нару.

Но не успевает он направить на меня винтовку, как я уже грудью прижимаюсь к его груди и рукой стараюсь поймать берданку.

— Прочь от меня, проклятый! — рычит в исступлении солдат и кулаком ударяет меня по виску.

Я чувствую, что падаю, судорожно цепляюсь за кожаный пояс врага, и мы оба скатываемся с нары.

И там внизу на песке между нами завязывается жестокая борьба. В темной ярости мы зубами грызем друг друга.

И вдруг над нашими головами раздается звон, унылый, монотонный звон.

Бум... бум... бум...

Этот неожиданный звон ошеломляет нас, и мы оба встаем, растерянные, испуганные...

Бум... бум... бум... — тянется по пустыне и приближается к нам печальный, длительный звон.

Я первый прихожу в себя, и победный крик вырывается из груди.

— Караван, военный караван идет! — кричу я, и от моего страха перед врагом следа не остается. Я торжествую и, радость свою напитав мезтью, швыряю в лицо ефрейтору: — Слышишь? Караван идет! — Что же ты не убиваешь меня? Почему кто узнает, говоришь ты!.. Вот почему узнают... Слышишь?.. Но погоди, зверюга, найду и я закон...

Я не говорю, а выкрикиваю каждое слово из всей мочи: и, кончив, бросаюсь к выходу.

Солдат виновато следует за мной и что-то бормочет про себя.

Кажется, просит не кричать так и успокоиться.

И вот мы стоим вне барака и глаз не спускаем с медленно подвигающегося к нам каравана. Он близок, он идет прямо на нас, но в синих сумерках рассвета уродливые, горбатые животные неясными темными силуэтами ныряют в полумраке, и мы плохо различаем состав каравана. С трудом удерживаюсь, чтобы не броситься навстречу моим неведомым избавителям; нетерпение во мне растет,

и каждая секунда мне кажется вечностью.

А караван не торопится. Мерно покачиваются на длинных и мягких ногах флегматичные верблюды, и лязгают колокольцы, будя мертвую пустыню. Караван нагружен хлопком. Большие тюки серыми толстыми квадратами вырисовываются вдоль боков каждого животного.

Я сосчитываю одиннадцать верблюдов. Какой маленький караван!

Но где караван-баши? Где вожак, обыкновенно выступающий впереди на ишаке?

Вот уже караван проходит мимо нас. Я вижу болтающийся на груди первого верблюда конец веревки, пропущенной через мягкие окровавленные ноздри. И ни одного человеческого существа.

Мы молча переглядываемся с солдатом, и я вижу, как лицо его стынет от ужаса. Нам теперь все ясно. Холера настигла караван в пути и вырвала людей. И блуждает караван по пустыне, не находя дороги; кружит по сыпучим пескам и печальным звоном нарушает тишину безмолвной равнины.

Караван доходит почти до самого барака и

медленно сворачивает в сторону, где нет никакой дороги. Унылые, задумчивые глаза измученных животных равнодушно глядят на нас, когда проходят мимо.

И снова мы вдвоем среди необозримого простора, и последним «прости» звучит для нас удаляющийся похоронный звон сиротливо кочующего по пустыне каравана.

— Послушай, уйдем отсюда, — обращаюсь я к солдату, видя, что он окончательно падает духом. — Уйдем, слышишь? Ведь мы здесь погибнем... вот как этот караван погибает...

Солдат молчит, опустив голову. Он ни о чем не думает. Это видно по его неподвижному, окаменелому лицу.

Ефрейтор просто впадает в апатию, близкую к идиотизму.

— Пойми, голубчик, — продолжаю я с большой горячностью, — кому нужна наша гибель? Ты сам знаешь, какая здесь зараза. Вчера фельдшер не приехал. Может, он уже умер. Про нас забыли, мы подохнем здесь от голода. Послушай, ведь у нас и воды мало. Вчера не привозили... Уйдем, голубчик, а?

Солдат зябко вздрагивает, бросает на меня

короткий взгляд и тяжело вздыхает.

— Нельзя казенных вещей оставлять, — тихо говорит он и снова вздрагивает.

— Да не пропадут казенные вещи! Кому они нужны? Взгляни, песок да небо — и ничего больше. Кому здесь брать?.. Уйдем...

Я беру ефрейтора за рукав рубашки и умоляюще заглядываю ему в глаза.

— Ну, ладно, — произносит он и направляется в барак.

Я боюсь верить и с замиранием сердца слежу за солдатом.

Неторопливыми, вялыми движениями берет он с нары шинель, скатывает ее, надевает на себя, сует в карман оставшийся кусок сахара, берет винтовку и странными мутными глазами оглядывает барак и вещи, черными кучами возвышающиеся вдоль нар. Вид у него не то помешанного, не то тяжело-больного. Все в нем опустилось, расслабилось, завяло, и немая тоска глядит из потускневших, безжизненных глаз.

И вдруг глаза эти на мгновение оживают, ефрейтор вскакивает на нару, схватывает гуттаперчевую подушку еврея, отвинчивает ме-

галлическую пробку, выпускает воздух, складывает резину, как платок, и сует в карман.

— Ну, ладно, идем.

И мы выходим из барака и идем навстречу разгорающейся утренней заре.

Не отходим мы и двух верст, как солдат вдруг останавливается и заявляет, что пойдет обратно.

— Зачем? — спрашиваю я, и сердце наполняется тревогой.

— Нельзя нам итти с тобой... Против устава нельзя. Понимаешь... Солдат я. И присягу принимал... — серьезно говорит ефрейтор, но в его голосе я не слышу враждебных нот, — ему, по-видимому, самому не легко.

— Что же делать?

— Уходи сам. Бог с тобой. Я не трону, — как перед богом, не трону...

Я не знаю ефрейтора. Предо мною стоит добрый, великодушный человек. И мне совестно перед ним, и жалко мне его.

— Нет, — говорю я, — ты не бойся: я тебя не выдам. Иди вперед, а я подожду здесь. Потом я пойду; а как прибуду в Узун, так сейчас же на пароход, и все тут. И никто не узнает.

Несколько мгновений солдат борется с самим собой и, наконец, решает: Ну, ладно... Так прощай...

Он протягивает руку. Я крепко и благодарно ее пожимаю.

— У тебя спичек нет, курить захочешь... На, бери, пригодятся, — мягко говорит солдат и дает мне коробку спичек. Я понимаю и благодарю.

— Ну, прощай... Ежели что вспомнишь, то прости, Христа ради, не поминай лихом...

Последние слова он выговаривает совсем тихо.

Мы расстаемся.

Едва волоча ноги и страдая от жажды, подхожу к Узун-Ада.

Издали, верст за пять, вижу острые концы высоких мачт и синий стальной щит Каспийского моря. И тогда я по капле собираю остаток сил и ускоряю шаг.

Я выхожу из пустыни и иду навстречу живому миру.

В пустыне я оставляю свои страдания, оставляю ужасы смерти, а сюда, к берегу трепещущего моря, я несу радостный восторг

оживающего сознания, несу вновь воскресшие мечты, надежду и светлую, безоблачную веру в себя и людей.

О, жизнь!..

## Часть пятая

### 1. Пристанище

До глубокой ночи брожу вокруг города и лишь с наступлением тишины и безлюдья осмеливаюсь войти в каменные улицы. Ночь скрывает мои лохмотья и надоедливо шаркающие опорки.

Под черным бархатом летнего неба, густо осыпанного сверкающими огоньками звезд, я чувствую себя освобожденным из плена солнечного дня, когда мое убожество, моя рванина бросается в глаза каждому. Зато сейчас, в ночной пустоте, на моем лице остывает стыд, и я позволяю себе выпрямить спину.

В Ростовском-на-Дону городском саду под высокими подмостками музыкантской эстрады нахожу ночлег, тишину и покой.

Зарываюсь в мрак августовской ночи и наедине с моим притихшим сердцем вторично переживаю мое трудное путешествие по Кав-

казу, оставившему в моей памяти неизгладимый след.

Долго буду помнить мое хождение по этой удивительной стране. Да разве можно забыть страну, где многообразие жизни сгущено с такой силой, что волшебным видением кажется этот высокий темнозеленый кусок мира, обласканный морем, и где горы, стоящие по пояс в тучах, в ясные дни сверкают вечными коронами из девственного льда; разве можно забыть страну, где подножия горвеликанов осыпаны ароматными садами, виноградниками и непроходимыми лесами; разве можно забыть страну, где бедняк с радостным блеском в глазах отдает гостю последнюю лепешку и где юный потомок закалывает старика, выполняя закон кровной мести; разве можно забыть страну, где все четыре времени года сталкиваются на небольшом пространстве и где среди тесно сжатых скал и бездонных пропастей настороженный путник видит смерть; разве можно забыть страну, где солнечным смехом звенят плодообильные Армения, Грузия, Дагестан, принадлежащие князьям, пьющим не только вино, но и кровь бедняков,

имевших несчастье родиться на этой богатой, чудесной земле?..

Нет, я, конечно, никогда не забуду Кавказа, как не забуду тяжкого голода, бездомовья и одиночества, сопровождавших меня, когда бродил среди финиковых пальм, миндальных рощ и... всю жизнь буду помнить удар плеткой, нанесенный мне в Кисловодске жандармом за то, что остановился у ограды посмотреть на господ, гулявших по цветущему парку.

Уже светает. Сквозь щели досок пробиваются розовые полосы, а на белых кудрявых стружках загораются огни восхода.

Надо вылезать.

Ленивой рукой шарю вокруг себя, нахожу свою почти пустую торбочку, где храню мое первое сочинение под названием «Горничная», с черных нечесаных кудрей снимаю припшую древесную труху, пальцами стараюсь разгладить непокорные лохмы, натягиваю ветхий, мятый картуик и выползаю из ночного убежища.

Шиоокая липовая аллея. Неподвижная листва, прозрачный бисер росы, желтый пе-

сок и тишина. Где-то шаркает метла. Бодро чирикают воробьи. В конце аллеи на длинной зеленой скамье сидит кто-то. На серо-желтом фоне четко виднеется фигура задумавшегося человека.

Узнаю бедняка, узнаю по ночным шлепанцам на ногах, по ветхому пиджаку, по расстегнутой на груди рубашке и по грустным, влажным, немного выпуклым серым глазам.

Подхожу и нерешительно опускаюсь на скамью. Встречаемся глазами. Вижу бледное лицо, небольшую темно-русую бородку и ту мягкую, едва уловимую доброту, какая свойственна людям, не избалованным жизнью.

Человек достает из верхнего кармана пиджака жестяной портсигар, раскрывает его и пожелтевшими от никотина пальцами скручивает папироску. Тонкие волокна цвета шафрана и приятный запах щекочут ноздри, кружат голову, и я, пересилив стыд, обращаюсь к нему:

— Можно у вас попросить?..

Остальное договариваю улыбкой и глазами.

— Пожалуйста...

Он протягивает мне портсигар и книжечку папиросной бумаги.

Закуриваю. С жадностью затягиваюсь и долго не выпускаю дым — жалко такую прелесть выбросить на воздух.

— Вы не знаете, как называется эта улица? — спрашиваю с исключительной целью завязать разговор.

Мне это удается. Спустя немного я уже рассказываю незнакомцу, откуда я пришел и в каком нахожусь положении.

Человек слушает внимательно, задает вопросы, и я чувствую, как он проникается теплым участием ко мне.

Наша беседа продолжается. А еще спустя немного узнаю, что со мной разговаривает ростовский портной Федор Васильевич Христо.

Его доброе простое отношение рождает во мне надежду, и я всеми мыслями и взволнованным сердцем тянусь к нему.

Обстоятельно рассказываю о моих последних злоключениях и о том, как я в продолжение восемнадцати месяцев хожу пешком, обгоняемый холерой. А когда говорю о моих по-

пытках стать писателем, у портного светлеет лицо и оживают глаза.

— Хорошее дело быть писателем, — мечтательно роняет Христо.

— Я сам большой любитель... Когда делать нечего, сажусь подвечер на свой портняжий каток и, глядя в раскрытое оконце, сочиняю стихи... Только у меня выходит не так складно, как, скажем, у Никитина...

— О, Никитин замечательный поэт!.. Вроде Кольцова будет... Я его почти наизусть знаю...

Проходит время. С тоской слежу за тем, как встает утро. С каждой минутой светлеет, и на карнизах домов уже поблескивают золотые блики поднимающегося солнца. Еще немного, и это солнце обольет своим светом меня, оборванного и жалкого.

Христо вторично предлагает мне закурить.

— Не стесняйтесь... Табак не купленный... Его подарил мне один заказчик.

Закуриваем.

— Вы, значит, хорошо пишете? — обращается ко мне Федор Васильевич после продолжительного молчания.

— Да, у меня почерк разборчивый, но в грамматике я еще не очень тверд...

— Нашли о чем заботиться, — перебивает меня портной, — нехай грамматикой ученые занимаются, а нам лишь бы мысль изложить... Видите ли, у меня вот какое, желание: мои старшие сыновья плохо учатся, и я хочу им помочь. Старшему, Васютке, уже двенадцать лет, а второму, Яшке, — десять... Остальные — мелочь. И мне сейчас пришло в голову: а что если бы вы согласились немного подучить их, чтобы не последними были в классе?.. Согласились бы вы?

Мне становится стыдно. Я хорошо понимаю его. Портной хочет меня приютить и в то же время не сделать мне больно.

— Должен вам сознаться, — говорит Христо, — человек я бедный, а семья у меня, как и полагается портному, многочисленная. Но я не робею... Ведь бедняку тем хорошо, что ему терять нечего...

Наступает молчание.

— Не люблю я своего ремесла, — тихо и вдумчиво говорит Федор Васильевич. — Тридцать лет портняжу и привыкнуть не могу.

Противно иметь дело с людьми, не понимающими тебя. Иной раз хочется перед человеком раскрыть душу, пожаловаться на судьбу, хочется и от него узнать что-либо новое, интересное, а он, знай, твердит: «Вы мне, кажется, одно плечо сделали выше»... Будь они прокляты, эти холодные, бездумные заказчики!.. А мне так хочется уйти от всего этого, уйти подальше, на берег Дона, посидеть, помечтать и побеседовать с собственным сердцем... А тут, вдобавок, погоня за рублем, постоянные жалобы жены, попреки тещи... Э, да ну их...

Опять закуриваем. Христо первый прерывает наступившее молчание!

— Пока тепло — беда невелика: можете пожить и у меня. Но как вы будете с наступлением холодов?..

— Не знаю... Ничего придумать не могу... — тихо отвечаю я.

В моем голосе так много печали и боязни, что добряк Христо ближе подвигается ко мне, и губы его складываются в жалостливую улыбку.

— Впрочем, не будем заглядывать в буду-

щее... Сегодня солнце, и хай его светит... Не так ли?.. Ну, а теперь отправимся в путь.

Христо встает. Я следую за ним. Приходим на базар.

Федор Васильевич вытаскивает из кармана брюк сорок копеек, покупает огромный каравай ситного с изюмом и полупудовый арбуз...

Он приводит меня на незнакомую улицу, останавливается перед покосившимися деревянными воротами и говорит:

— Вот здесь мой дворец. Даже вывески нет — обхожусь без нее. Пожалуйте, — заканчивает он, и ударом ноги раскрывает ветхую калитку.

Небольшой квадратный дворик. Тут же помойка, тут же колодезь, сарай, набитый хламом, и низенькая с одним оконцем хатенка, напоминающая саклю в горном ауле Осетии. Здесь же перед окном длинный стол и скамьи по бокам.

Из внутреннего помещения высыпают полуголые ребятишки от двух до шести лет. Дети красивые, большеглазые, но грязные до невозможности.

— Петька, — обращается отец к старшему: — позови Ваську и Яшку, и пусть мать несет нож — кавун резать будем.

На смышленном лице Петьки появляется широкая улыбка, и, шлепнув себя ладошкой по заду, мальчуган убегает в комнату.

— Садитесь, будьте как дома, — обращается ко мне Христо.

Охотно принимаю приглашение. Сесть за стол — это значит наполовину спрятать свое убожество.

Спустя немного мы слышим- звонкий голос мальчугана:

— Васька! Яшка! Папка кавун принес! Мамка, тащи нож!..

Появляется жена портного, Анна Федотьевна — полная, среднего роста женщина с широким лицом, осыпанным мелкими веснушками.

Тонкие губы плотно сжаты.

Темными острыми глазами она впивается в меня.

— Анюта, я хочу, этого человека пригласить к нам... временно, конечно... поучить Ваську да Яшку... А то парнишки совсем от

рук отбились...

Анюта, немного прищутив глаза, медленно скользит взглядом по моему лицу и по обнаженному кусочку плеча, выглядывающему из прорехи и, затаив злобу, роняет сквозь зубы:

— Я так и знала... Разве мы можем жить без благодеяний... Мы ведь так богаты... Асмоловы да Парамоновы нам завидуют... Ты уж заодно пригласил бы гувернантку и учительницу музыки...

— Ну, ну, не расходишься... Ведь я тоже здесь хозяин...

Анна Федотьевна отступает немного назад, выпрямляется и усиливает свой голос до крика:

— Ты хозяин?!. Над чем же ты хозяин? Над этой навозной кучей?.. Ну, и хозяйствуй... А я — тьфу на тебя и на твоих подзаборных приятелей.

Последние слова относятся ко мне. Съеживаюсь и перестаю дышать.

— Ты бы мать свою позвала: а то одной трудно кричать — устанешь, ровным спокойным голосом говорит Федор Васильевич.

Потом он ловко срезает с арбуза макушку и принимается делить его на полоски. Яр-ко-красные ломти с черными зернами красивым кругом ложатся на стол.

У меня затуманивается голова. А когда Христо толстыми аппетитными кусками режет свежий ситный, — у меня ноги дрожат, и я стараюсь сделать так, чтобы руки мои меньше тряслись.

Вхожу в мир бедноты, хорошо знакомый мне с детства. Как в драке лишний удар в счет не идет, так и мое появление в семье Христо почти не ощущается. Даже Анна Федотьевна понемногу привыкает ко мне и не прочь послушать рассказы о моих приключениях.

Дети Христо, а в особенности Вася и Яша, привязываются ко мне со всею силой детской простоты. Когда рассказываю о моих скитаниях, о людях, об интересных странах, о лесах, о морях, о чудовищных зверях и о многом ином, густо расцвеченном моей фантазией, — «ученики» слушают с таким глубоким вниманием, их чистые красивые глаза так расширены и глядят на меня с такой жадной любозна-

тельностью, что я невольно увлекаюсь, и мои рассказы превращаются в большие повести.

С наименьшим любопытством прислушивается к моему повествованию и сам Христо. Федора Васильевича очень мало интересуют домашние дела и заработок. Этот портной живет в мечтах и почти не замечает действительности.

На попреки жены он машет рукой и повторяет одну и ту же фразу: «Не кори меня за бедность — она честна».

Все, что можно сделать с моими лохмотьями, добрый Христо делает: ставит заплаты, удлиняет рукава, зашивает прорехи, и хотя тряпки остаются тряпками, но все же могу с ребятами ходить купаться и совершать прогулки, избегая центральных улиц.

С каждым днем усиливается нужда. Никаких заказов, никакой починки. В этом большом, многолюдном, солнечном городе снижается жизнь. Свирепствует холера. Эпидемия ежедневно уносит сотни жертв. Население в панике. Вереницей тянутся черные гробы к далекому холерному кладбищу. Обыватели прячутся в домах, боясь выйти на улицу.

Один только Федор Васильевич не падает духом и философствует.

— Подумаешь, какая страшная цаца — смерть. Я жизни не боюсь, а меня хотят холерой напугать.

К концу дня, когда спадает жара и от закатных огней наш дворик становится розовым и дети провожают уходящий день звонкими голосами, играми и беготней, — мы с Федором Васильевичем садимся на широкий гладкий каток и, наговорившись досыта, принимаемся сочинять стихи.

Христо пишет длинными строками и обязательно с рифмами, а я легко и свободно жарю по-кольцовски. Такие метафоры и эпитеты, как: «мать сыра земля», «развейся, грусть-тоска», «не от ветра степь всколыхнулася», «не стони, сизый голубь», и многие другие в том же роде — приводят грека Христо в восхищение.

За короткое время у нас накапливаются десятки стихотворений.

Мы читаем их вслух и до усталости хвалим друг друга. Больше всего Федору Васильевичу нравится одно мое длинное стихотворение,

посвященное памяти Кольцова.

К нашим поэтическим занятиям Анна Федотьевна относится насмешливо и злобно.

— Хорошо, что живем в такой конуре, где никто вас не видит, а то смеха сколько бы было!.. Людям жрать нечего, а они глупостями занимаются... Пять копеек стоит мера огурцов, а мы не можем детей накормить. Эх, вы, краснобаи... Живете себе не на радость — да миру не на потребу...

Дочери помогает бабка — старуха с втянутыми в беззубый рот тонкими губами. Она мигает воспаленными веками и шепчет проклятия.

Тяжкой становится жизнь в доме портного. Мучительно страдаю от сознания, что отнимаю у бедняков последний кусок. Зарождается мысль об уходе. В моих скудных мечтах жутким призраком встает жизнь бездомного бродяги. Опять брожу по серым пыльным дорогам, провожу кошмарные ночи под открытым небом и лишним, никому не нужным человеком кружусь среди незнакомых людей.

— Федор Васильевич, — обращаюсь однажды к моему благодетелю, — я решил уйти

отсюда.

— Куда?

— Сам. еще не знаю... Хочу двинуться на Царицын, пока не холодно.

Опечаленными глазами смотрит на меня Христо и молчит. По нервным движениям его пальцев и по низко опущенной голове я догадываюсь о большой взволнованности Федора Васильевича.

— А вы погодите немного... Еще парочку дней... Может, что и хорошее случится, — не совсем уверенно говорит он. — У меня, кажись, одно дельце выгорает. У нас недавно открылась новая газета. Называется она «Ростовские-на-Дону известия». Мне обещали заказ. Брюки для редактора сшить. Сегодня пойду к нему.

— При чем же я тут? — задаю вопрос.

— Думаю заработать, накуплю продуктов и заткну ими бабьи рты. А там еще посмотрим... Может, новый редактор прочтет наши стихи и...

— Выбросит их за окошко, — перебиваю я.

— Как знать... Читал я в «Донской пчеле» похуже стихи... Нет, уж вы недельку погоди-

те...

И я остаюсь.

## 2. Счастливый день

**Н**ужда порождает ненависть. Нет такой минуты, чтобы я не ощущал на себе колющий взгляд озлобленных глаз хозяйки, измученной нищетой. Один только Федор Васильевич относится ко мне с неизменным чувством дружбы. Он болеет жалостью ко мне и отдает последние крохи.

Доброта этого человека приводит меня в отчаяние.

Так продолжаться не может. Или я должен отсюда уйти навсегда или же обязан внести свой пай. А для этого надо работать.

Однажды, незадолго по восхода, выползаю из тесного жилища портного и одиноко шагаю по камням спящего города. Направляюсь к пристани в надежде найти поденный заработок.

Большими глотками пью свежий предутренний воздух.

Гаснет на небе последняя звезда. Над тихим Доном легким туманом спадают покровы ушедшей ночи. На просветленном востоке

широко растекаются нежнозеленые и сиреневые озера.

Стою на высоком берегу реки и вижу, как тихо покачивается на расплавленном стекле серокаменный Батайск с высокой белой церковью, обрызганной золотыми искрами креста, зажженного восходом. Направо в безмолвном просторе четко выступает чугунное кружево железнодорожного моста.

Не спеша спускаюсь к реке. Спит вода, прижавшись к пологим темно-серым берегам. Ключья разорванного тумана дымными клубами скользят по реке и тают.

На дощатом помосте неподвижными комьями лежат спящие люди.

Один из них при моем приближении высывает из-под коричневой рванины запыленную голову и вглядывается в меня прищуренными глазами.

— Откель несет тебя в такую рань? — спрашивает проснувшийся парень. Он смачно зевает с подвыванием, сбрасывает наполовину истлевшую хламиду и садится, поджав под себя ноги.

— Работенки ищу, — отвечаю я и присаживаюсь.

ваюсь на край причала.

— Ты, видать, из быстрых: я третьи сутки кости грею без всякой пользы, а ты работенки... Больно шустрый...

Один за другим просыпается вся артель. Глазами сосчитываю девять человек. Все они типичные портовые босяки. У некоторых нет даже обычных опорок. Каждый из этих больших, широкоплечих и бородатых людей мог бы послужить живым образцом первобытного человека.

Безумные глаза из-под нависшей лобовины, сутулая спина, тяжелые ладони длинных рук, оплетенных взбухшими сухожилиями, войлоком сбита борода и равнодушное тупое лицо, — лучше всякой книги рассказывают о тяжелом рабстве и о злейшем бесправии человеческого существования.

Появление незнакомого человека никем почти не замечается.

Мой «костюм» и весь мой убогий вид здесь никого не удивляют. Одним оборванцем меньше или больше — для них роли не играет. Они сами между собою не знакомы. Впоследствии узнаю, что каждый из них вчера

лишь вечером, гонимый безработицей, натыкался на причал и тут же усталый и голодный сваливался на доски.

— Уже подымается чортово солнце, — ворчит высокий тощий босяк с бельмом на глазу. — Опять ходи по пеклу, — продолжает он рычать, устремив одинокий серый глаз на восток.

— Холера тепло любит, — откликается белобрысый парень, первый заговоривший со мной.

Наступает молчание. Люди чешутся, поднимаются, оглядывают золотисто-розовый простор и готовы разбрестись в разные стороны.

Скоро порт, убитый эпидемией, совсем обезлюдится.

Поднимется горячее солнце, осветит безжизненный берег, и я останусь один.

Но вот с городской крутизны спускается человек.

Одет он в чесучовую тройку с массивной серебряной цепью поперек жилета и с румяным круглым лицом, украшенным черными усами с завитыми кончиками.

Спустившись к берегу, он делает призывный жест рукой.

Бездомовники, проведенные ночь под открытым небом, с торопливой услужливостью и голодной жадностью бросаются к нему. Так воробьи слетаются на свежесдымающуюся кучку, оброненную промчавшимся рысаком.

— Сколько вас? — задает вопрос пришедший. — Всего десять человек? Маловато...

— Холера многих передушила... Вот и мало нас, — отвечает за всех одноглазый, недавно ворчавший на солнце.

Люди чуют заработок и воскресают. Поднимаются бороды, радостью загораются глаза, и вызванные надеждой улыбки ширят лица.

Наша случайно сбившаяся артель узнает, какая работа предстоит нам. С лесной баржи Максимова надо перебросить на баржу восемьсот бревен. Сделать это следует немедленно, чтобы к вечеру баржа могла отчалить.

Начинается торг. Быстрый, отрывистый и со стороны нанимающихся уступчивый.

— Что вы, господин хороший... Разве можно за пятерку такую махину поднять?

— Максимов — лесной царь, можно ска-

зять... Для такого миллионщика еще один целковый плевое дело...

— Насчет срока не беспокойтесь...

— Выполним вчистую...

— Уж постараемся для вашей милости...

В неуверенных звуках голосов слышится мольба. Измученные голодом просят за кусок хлеба принять их мускулы, пот и здоровье с такой настойчивостью, как будто предлагают ничего не стоящую вещь.

Вот и знаменитая лесная биржа Максимова. Между Нахичеванью и Ростовом, захватив безбрежное пространство, разметались лесные склады всевозможных древесных пород.

Оранжевые блики взошедшего солнца играют и горят на бесчисленном множестве досок, бревен, брусков, стоек, шпал, сухих выгнутых оглобель, дуг, осей, втулок и на фанерах, уложенных в высокие штабели.

И здесь, где с помощью миллионов Максимова собраны богатейшие лесотовары со всего Кавказа, не видно людей. Лишь кое-где покажется приказчик в сапогах бутылками или с высокой палкой в руке, печальной тенью проскользнет седобородый сторож.

Наниматель подводит нас к длинному штабелю коротких бревен, потемневших от времени. Одноглазый, возложивший на себя обязанности артельного старосты, берет обеими руками конец одного бревна и приподнимает его.

— Ого-го!.. Вот так бревнышко!.. Пудика четьре с довесом...

— Известно, горный дубняк... Кишки оборвешь, — замечает один из нас коротконогий человек с широкой спиной и бородкой цвета жженого кирпича.

Начинается обычная переторжка, но наниматель непреклонен и прибавки не дает.

— Ежели постараетесь и к закату кончите, по косушке на брата отпущу, заявляет он.

Поденщики конфузливо опускают головы и соглашательски покашливают.

Приступаем к работе. Сначала бревна кажутся мне довольно легкими. С деревом на плече мерным шагом, следуя за одноглазым, спускаюсь на берег, по гибкой доске, служащей трапом, поднимаюсь на баржу и движением всего тела сбрасываю бревно.

Приближается полдень. Солнце, идя к зе-

ниту, пламенем обжигает землю. Усталость сковывает движения. С трудом переставляю ноги.

Непосильной тяжестью ложится каждое бревно. Боюсь упасть.

Головокружение и постоянный звон в ушах убивают мысль. Ни о чем не думаю, но для меня становится совершенно ясным, что, если не прекращу этого движения, я упаду вместе с грузом, и это будет последним падением в моей жизни.

— Эй, ребята, шабашуйте на обед!.. Будя...

Узнаю голос одноокого и первый опускаюсь на землю.

Перед вечером, когда от домов ложатся длинные тени, я по боковым улочкам возвращаюсь домой.

В Аечах ощущаю тяжесть бревен, а в икрах — нестерпимую боль.

Через силу волоку ноги. Хорошо бы сейчас упасть в прохладную темноту и уснуть навсегда...

На другой день перед обедом Федор Васильевич рассказывает мне:

— Вас встретила Анюта. Вы отдали ей со-

рок копеек и, покачнувшись прошли в чуланчик и там улеглись. Жена сказала мне, что вы очень пьяны. Сегодня рано утром я хотел поднять вас и уложить на мою постель, но вы на просыпались... Что с вами такое случилось?

— Я избит... Меня в продолжение двенадцати часов били тяжелыми бревнами по спине и ногам... И за это от щедрот Максимова получил полтинник.

Глаза Христо наполняются влагой.

— Напрасно все это... Какой вы поденщик... Тут сноровка нужна... А вот я, — продолжает портной, — сегодня мерку снимал с редактора новой газеты и рассказал про вас и стихи наши вручил ему.

— И он взял?

— Конечно, взял. Человек он, на мой вкус, хороший. Носит очки, борода клинушком, в разговоре обходительный. Вчера вышел первый номер газеты. Почитал я. Хорошо пишут... Фамилия редактора Розенштейн, а подписывается Пикквик. Что это означает? Уж не птица ли?

— Нет, — отвечаю я, — птица пингвин будет, а это что-нибудь другое...

Обед приготовлен на мои деньги. Сегодня впервые ем без стеснения. И сегодня глаза хозяйки не колют меня.

Перед вечером, когда ребяташки убегают на улицу, а мать уходит на речку полоскать белье, мы с Христе усаживаемся на каток и предаемся мечтам.

Пестрой вереницей проходят заманчивые образы, созданные нашей неистощимой фантазией. В удачах, выдуманных нами, Христо великодушно уступает мне первое место, и мы говорим о том, что будет, если редактор напечатает мои стихи.

Вначале из скромности стараюсь внушить Федору Васильевичу уверенность, что его стихи тоже будут напечатаны, но он безнадежно машет рукой. Тогда все лучи предстоящей славы освещают одного меня, и мы незаметно входим в другой мир, где нет сомнений, жалкой борьбы из-за куска хлеба и обидного невежества.

— Я всеми признанный поэт. Меня читают и заучивают наизусть. Мне платят деньги. Мы — вся семья Христо и я — переезжаем на другую квартиру. У меня отдельная комната.

Когда сочиняю, детишкам запрещается ко мне входить. Христо собственноручно шьет для меня совершенно новый костюм. Наша жизнь расцветивается такими радостями, что мы приходим в себя лишь в тот момент, когда Анята, вернувшись с реки, ставит корзину с бельем на край катка и всплескивает руками:

— Вы все болтаете... О господи...

Но вот наступает день, когда наши мечты понемногу начинают осуществляться. Сегодня в полдень Христо, скроив и сметав заказ, уходит в редакцию для примерки.

С этого момента начинаю считать минуты. Мое нетерпение разрастается с невероятной силой. То и дело выбегаю на улицу — не покажется ли вдали грузная фигура Федора Васильевича. Стараюсь уверить самого себя, что ничего не получится — редактор со смехом вернет стишки.

Подумаешь, какие нашлись поэты... Прежде всего надо ознакомиться с грамматикой, а уж потом лезть в Кольцовы да в Некрасовы... Нет, не надо быть смешным и думать о невозможном...

На коротенький срок мне удается погасить надежду, но мечты сильнее моей воли, и грезы снова загораются в моем взволнованном воображении.

Возвращается Христо. Издалека вижу его, быстро ухожу обратно во дворик и не без усилий придаю своему лицу равнодушное выражение, но в то же время ищу на его лице радость удачи.

Но Христо тоже немного играет. Он тяжело отдувается, сбрасывает заказ на каток, издает глубокий вздох, медленно вытирает вспотевший лоб, а потом достает из кармана скомканную пачку наших стихов и говорит печальным голосом.

— Вот... Вернули... Не подходят, говорят...

У меня сжимается сердце, хотя лучшего ответа я и не ждал. — Да, писать стихи — не щи хлебать, — говорю я, низко опустив голову.

Христо подходит ко мне и ласково кладет руку на мое плечо.

Взглядываю на Федора Васильевича и вижу в его больших, немного выпуклых глазах знакомые блески смеха.

— А реактор все же одно стихотворение

принял... То самое, что про Кольцова...

— Правда? — невольно вырывается у меня. — Неужели взял?..

— Не только взял, но просил вас завтра к двум часам притти в редакцию...

Волна внезапно вспыхнувших мыслей и разнообразных ощущений возносит меня, кружит, ввергает в бездну и вновь поднимает.

Мое предстоящее свидание с редактором волнует весь дом Христо, Даже бабка и та заинтересована. Шмыгает носом, припавшим к подбородку, тонкими губами жует какие-то слова и о чем-то хлопочет. Оказывается, старуха советует обуть меня.

Христо и Анюта роются в большой семейной корзине — ищут серые лоскутки для починки моих лохмотьев.

За полчаса до назначенного времени выхожу из дома.

Бросаю на себя взгляд со стороны и вижу типичного босяка небольшого роста. Шлепают задники просторных опорок, узенькие брючки со свежими заплатами на коленках обтягивают ноги, а буйные кудри не могут

вместиться в плоскую и легкую шапчонку. Сам я взволнован до крайности. Сердце мечется в груди, а в мозгу хаос невыношенных мыслей.

На углу Садовой и Братского переулка стоит белый двухэтажный дом. Поднимаюсь по лестнице и останавливаюсь перед дверьми редакции. Большими черными буквами на белом поле обозначено название газеты. Медная дверная ручка и звонок. Все в порядке.

Надо только позвонить, и все станет ясным. Но я робею. Силы оставляют меня. Хочется, чтобы дверь сама собой открылась и чтобы кто-нибудь толкнул меня в спину.

Бегут мгновения. В ушах звон. Не помню как, но я чуть-чуть дергаю рукоятку звонка. Кто-то приоткрывает дверь. Предо мною интеллигентное лицо в очках.

— Тебе чего?

— Мне велели сюда притти... Я — Свирский...

Шире раскрывается дверь. Вижу плотного человека средних лет.

— В таком случае войдите.

С легким поклоном переступаю порог. Ре-

дактор протягивает руку и коротко произносит:

— Розенштейн.

Окончательно теряю голову и осторожно пожимаю протянутую руку.

Входим в большую светлую комнату, свежееклеенную серыми обоями. Розенштейн внимательно и с нескрываемым любопытством оглядывает меня. Он опускается в кресло перед письменным столом и предлагает мне сесть.

— Вы нигде раньше не печатались? — обращается он ко мне.

— Нет...

— Вы еврей?

Утвердительно киваю головой.

— Странно, ужасно странно... Первый раз в жизни встречаю подобное...

Розенштейн встает, делает несколько шагов по комнате и снова садится.

— Скажите, вы давно в таком положении?

— С восьмилетнего возраста, — отвечаю немного раздраженно.

Вопросы Розенштейна, его подозрительные взгляды, настойчивое любопытство бьют

меня по лицу, и горячей влагой наполняются глаза мои. Но тем не менее ему удается вызвать меня на откровенность.

Рассказываю о моем беспризорном детстве, о скитаниях, о пройденных безграничных пространствах, о тюрьмах, о притонах и об иных жутких местах, где побывал я, выброшенный из жизни.

Розенштейн слушает меня с напряженным вниманием, а моментами с заметным волнением. То он сожмет в руке остроконечную русую бородку, то не спеша протрет очки-и я замечаю мелкую дрожь в его руках, — а то встанет и по диагонали несколько раз пройдет по комнате. Кончаю. Нет больше вопросов. Наступает молчание.

Редактор роется в папке, достает длинную полоску бумаги, исписанную моей рукой, и спрашивает: — Что навело вас на мысль написать это стихотворение?

— Сам не знаю, — довольно бойко отвечаю я.

— Вы, значит, не знаете, что в этом году исполняется пятьдесят лет со дня смерти Кольцова?

— Нет, не знаю... Но я люблю Кольцова.

— Теперь мне известно, что вы нигде не учились... Вы ужасно малограмотны. Вот посмотрите...

Розенштейн показывает мне мою рукопись.

— Здесь больше ошибок, чем слов. Кроме того, вы пишете: «не от бури лес зашумел листвой»... Уж кому-кому, а вам должно быть известно, что не все леса лиственные. Но все это пустяки. Придется мне как следует править, если вы будете у нас сотрудничать.

Прислушиваюсь к сердцу и не ощущаю его. Все во мне замерло, притаилось. Так бывает в природе перед летней грозой.

— Одну минутку, — обращается ко мне редактор, видя, что хочу встать.

Он подходит к высоким белым дверям смежной комнаты, слегка приоткрывает их и зовет: — Аня!

— Иду, — откликается женский голос, и в солнечном просвете появляется фигура стройной женщины — брюнетки с гладкой прической на косой пробор и пышным узлом волос на затылке.

— Познакомься... Автор стихотворения «Памяти Кольцова»...

Черным блеском обдают меня глаза женщины.

— Анна Абрамовна — секретарь редакции и моя жена, — добавляет Розенштейн.

В тяжелом смущении встаю и первый протягиваю руку.

— Как это тебе нравится — еврейский бродяга?.. Первый раз встречаю такое странное явление.

— Вы давно занимаетесь поэзией?

Прежде чем ответить, я стараюсь вобрать в себя звуки ее голоса — не услышу ли я в них насмешку. Но серьезное выражение лица и благожелательная улыбка на мягко очерченных губах успокаивают меня, и я в немногих словах рассказываю Анне Абрамовне о моих давнишних попытках стать писателем.

— Если бы я знал грамматику, я, может быть, написал целую книгу, — тихо заканчиваю я.

Розенштейны многозначительно переглядываются между собой.

Чувствую, что заинтересовал их, и смуще-

ние понемногу оставляет меня.

— Из того, что вы мне рассказали, видно, что вы хорошо знаете быт тюремный, трущобный и вообще всякое босяцкое житье. Вот о чем вам следует писать. Мы с Анной Абрамовной поможем вам в смысле грамматики и слога. А кроме того, если откажетесь от вашей ужасной жизни, вы сможете и приодеться и вообще принять приличный вид.

Чудесной музыкой действует на меня речь редактора.

Неужели это правда?.. Неужели я поворачиваюсь, лицом к жизни?.. Неужели окончен мучительный путь, и темное существование останется позади?..

— Благодарю вас... Никогда не забуду... — шепчу я и направляюсь к выходу.

Розенштейн догоняет меня в передней, запускает в жилетный карман два пальца, вытаскивает мелочь и сует мне в руку.

— Вы меня извините... Я бы дал больше, но боюсь, что вы пропьете...

На лестнице прихожу в себя. Сосчитываю шестьдесят копеек.

Все же больше поденной платы. А в взбудо-

раженном уме встает вопрос: почему он меня принимает за пьяницу? С чего он это взял?

Выхожу на улицу. Мне кажется, что небо никогда еще не было таким нежно-голубым, а воздух таким легким и вкусным.

Одному не справиться с огромной радостью — надо скорее поделиться с единственным другом моим Федором Васильевичем.

— Ну, как?.. — кричит из раскрытого оконца Христо, завидя меня.

Торопливо, сбивчиво начинаю рассказывать. Федор Васильевич слушает меня с большим вниманием, а потом не выдерживает, снимает очки, отбрасывает в сторону работу, сдергивает с шеи аршинную ленточку, вкладывает в рубаху иглу, обмотав ее черной ниткой, и говорит:

— Уйдем отсюда на Дон, там поговорим как следует, а то придут бабы да ребяташки и помешают.

Я и сам такого же мнения, и немного спустя мы уже шествуем по Таганрогскому проспекту, направляясь к реке.

Вот и наше любимое место — песчаный берег, солнце, водная равнина, ажурная сеть

железнодорожного моста и ни одной живой души.

Христо ласкает меня глазами и впитывает в себя каждое мое слово. Отвечаю на многочисленные вопросы и невольно приходится расширить рассказ о моем пребывании в редакции. Рисую перед моим внимательным слушателем образ Анны Абрамовны, подробно описываю просторный кабинет редактора, массивный письменный стол, серые обои с голубыми розами и длинненький лоскуток моей рукописи, щедро исправленной Розенштейном.

— Конечно, грамматику я не знаю, — говорю я, — это моя беда, но есть и другие исправления. Вот, например, у меня сказано: «не от бури лес зашумел листво́й», а он исправил: «не от бури лес загудел кругом»...

— Это почему же? — спрашивает Христо.

— Потому, что не все леса лиственные.

— Ага, вот оно что...

— Да, дорогой Федор Васильевич, наше дело не легкое... Крепко приходится шевелить мозгами... Даже в голову не приходило, что в большинстве леса бывают хвойные... Ну, да

это пустяки. Важнее всего то, что я принят сотрудником и уже имею предложение написать рассказы о босой команде и о всяких ростовских трущобах.

Христо вполне со мною соглашается, и мы приступаем к любимому нашему занятию — помечтать вслух.

Мгновенно исчезает действительность. Загорается новый мир, сияющий волшебными радостями, необычайными успехами, звонкой славой и такими небывалыми достижениями, что у меня сердце переполняется добротой к человечеству и неизъяснимой любовью к жизни. Мы с невероятной быстротой воздвигаем сказочные дворцы будущего, уничтожаем бедность и безграничным счастьем заливаем источники слез и злодейств.

Солнце, ушедшее на запад, и закатные огни на реке будят нас, и мы возвращаемся на землю.

Немного утомленные, мы медленно поднимаемся в город.

— А все же «зашумел листвой» мне больше нравится, — тихо говорит Федор Васильевич.

— Но Розенштейн ведь настоящий писа-

тель, да еще и редактор притом. Стало быть, ему лучше знать... — возражаю я.

Христо соглашается, и на этом разговор прекращаем.

Федор Васильевич будит меня. Делает он это осторожно и нежно. Топчется на одном месте в маленькой каморке, где я сплю, кашляет, шуршит бумагой и, наконец, не выдерживает и легонько дотрагивается до моего плеча.

Открываю глаза и тотчас же опускаю веки — золотая нить утреннего луча ожигает зрачки.

— Вставайте... Вы уже напечатаны!.. Ей-богу!... Вот и газета...

Быстро вскакиваю на ноги. От сна следа не остается.

Трепещет сердце, когда на листе развернутой газеты читаю: «Памяти Кольцова», а внизу мое имя: «А. Свирский».

Мне даже не верится... Неужели это я, и все, что вижу, есть действительность?.. Веселая буря закипает в моем сознании.

Сначала перечитываю мое первое напечатанное произведение про себя, а потом, на-

питаю голос особенной звучностью, читаю вслух.

Заканчиваю подписью «А. Свирский». Во мне все смеется, и все существо мое переполнено радостью.

— Вот это я понимаю, — говорит Христо, — и наружной стороной ладони проводит по глазам.

Легким и приятным сновидением становится жизнь.

Прежде всего, из моего внимания выпадаю я сам. Мое убожество уже больше меня не трогает. Вижу самого себя в совершенно ином виде. Во-первых, становлюсь выше ростом, одет во все новенькое и курю самые дорогие папиросы. Сквозь розовую пелену сладких грез наш бедный и незаметный уголок вырастает в просторное, роскошно обставленное жилище.

Федор Васильевич переживает почти то же самое. Сегодняшний день он объявляет праздником и не работает.

Мое стихотворение он уже знает наизусть и с таким чувством декламирует, что Аня неоднократно обращается к нему с просьбой

сесть за работу.

Вечером Христо устраивает пирушку. Ему удается где-то раздобыть мелочь, и он приносит домой вино и вязанку донских тараней.

Анна Федотьевна не может устоять от соблазна и присоединяется к нам.

Выпиваем. Громче и бодрее становятся голоса. Перед каждой рюмкой произносятся тосты в мою честь. Я горд и счастлив. Сажу, закрываю рукой отпоровшуюся заплатку на коленке и пою кольцовские песни. Мой чистый молодой голос приводит супругов Христо в восхищенье. Они яростно мне аплодируют, и я пою без конца.

В полночь расходимся по местам. Долго не могу заснуть. В голове моей зарождаются рассказы о бедняках, об унижительной человеческой жизни, о трущобах, о тюрьмах и о безграничной скорби бесприютных людей.

Газету бережно кладу под изголовье. В усталом мозгу гнездится мысль: «почему лес загудел кругом»?..

### **3. Ростовские трущобы**

**С**тановлюсь постоянным сотрудником «Ростовских-на-Дону известий». Четыре раза в

неделю на первой странице занимаю подвал из четырехсот строк моими очерками под общим заглавием «Ростовские трущобы». Каждый мой фельетон заканчивается так: «Продолжение следует. А. Свирский».

Казалось бы, лучшего ожидать нельзя, тем более, мне даже назначили гонорар — двадцать пять рублей месяц: а я, вместо того чтобы радоваться и благословлять судьбу, извожу себя сомнениями и с тревогой жду, что не сегодня завтра мне скажут: «ну, милейший, довольно, побаловались и будет. Нам нужны сотрудники грамотные и образованные».

Мое несчастье заключается в том, что никак не Могу понять Наума Израилевича Розенштейна, моего первого редактора и учителя.

Он всегда ко мне относится внимательно и ласково, но когда исправляет мои рукописи, он выбрасывает все то, что мне и моему другу Христо казалось наиболее удачным, и когда Розенштейн при этом наиподробнее образом объясняет, почему он это делает, я никак не могу вникнуть в смысл его речей, полных для меня загадочными и чрезвычайно

учеными фразами, иностранными словами и многочисленными цитатами из книг, никогда не читанных мною.

— Вы должны помнить, — говорит он мне, — что работаете в газете, где первое место занимает публицистика, а не легковесная беллетристика, имеющая дело с тем, как Ванька Таньку полюбил. Это неинтересно и несерьезно. Вы пишете так, как будто мастеровой рассказывает другому мастеровому, как он попал по пьяному делу в трущобу и что он там пережил. Это, друг мой, продолжает редактор, — слишком просто и не имеет никакого значения ни с точки зрения общественной морали, ни с точки зрения политико-экономических сдвигов и развития социологии.

Окончательно обалдеваю. Рассказываю об этих редакторских лекциях Федору Васильевичу, и мы оба пожимаем плечами и остаемся в полном недоумении.

— Образование, что говорить, штука важнецкая, но зато, можно сказать, очень непонятная для народа, — замечает Христо, желая меня утешить.

Розенштейн дарит мне большое количество писчей бумаги в виде длинных и узких полос. Приношу домой и работаю изо всех сил.

Дети изгоняются из дома, чтобы не мешать мне. Часами просиживаю на низенькой скамеечке для ног перед портняжьим катком и бросаю на бумагу все, что меня волнует, что живет в моем взбудораженном сердце и что обдумано мною в бессонные ночи...

Все, что знаю о страшной бедности, свирепой несправедливости, о жестоком угнетении, полностью отдаю моим газетным читателям.

Раньше, чем отнести свой труд в редакцию, я прочитываю его Христо и не без робости жду его мнения.

В доме тишина. Дети ушли на Дон, а хозяйка — на базар. Федор Васильевич, чтобы не мешать мне, сидит в боковушке и дошивает чей-то заказ. Заканчиваю двенадцатую полосу и встаю с места. Христо слышит движение и кашлем дает мне понять, что он здесь.

— Хотите послушать?

— С удовольствием, — откликается Христо,

и его большая рыхлая фигура вырастает в низеньком просвете каморки. Забираемся с ним на каток. Приступаю к чтению написанного.

Даю картину рассвета. Золотые нити солнца пробиваются в один из приютов нищеты большого богатого города, спящего сладким предутренним сном. Первые лучи солнца пробуждают описываемую мной труппу. Сотни бедняков, бездомных, никому неведомых, выброшенных из жизни, огромными червями копошатся на нарах и на полу смрадной ночлежки.

Потом я даю берег Дона. Здесь в голубом просторе широкой реки и бездонного неба, в золотых бликах раннего солнца полощу грязную и злую жизнь никому ненужных людей.

Федор Васильевич приходит в восторг. В его серых выпуклых глазах поблескивает влага.

— Вот это да! По-нашенски, по-бедняцки!..

Иду в редакцию. Розенштейн, завидя меня, рукой отодвигает от себя груды корректурных гранок и обычным жестом приглашает меня сесть.

В редакции никого. Нарочно выбираю это

время, чтобы никто не видел моего стыда, когда редактор станет терзать мою рукопись.

Наум Израилевич поправляет пенсне, проводит ладонью по длинным русым волосам, а потом разглаживает мои исписанные полоски, придвигается вместе с креслом вплотную к письменному столу и вооружается цветным карандашом.

Сердце приходит в тревогу. Слежу за каждым движением редактора и стараюсь тише дышать.

Начинается правка. Карандаш прыгает по строкам, делает маленькие черточки и ставит знаки над каждым словом. Знаю — идет битва с орфографией. Меня это мало огорчает — моя малограмотность уже не новость. Но когда редакторский карандаш безжалостно подчеркивает не только строки, но целые абзацы и когда вместо выброшенного Розенштейн тут же вносит свои собственные слова и фразы, — я, окончательно растерянный, готов бежать отсюда, чтобы не видеть этой интеллигентной бородки и блеска золотых очков образованного человека.

— Вы и это выбрасываете? — невольно вы-

рывается у меня, когда вижу зачеркнутым описание летнего утра.

— Да. Считаю все эти красоты излишними, — отвечает Розенштейн.

Он откидывается на спинку кресла и приступает к обычному поучению.

— Уж сколько раз я говорил и вновь повторяю — нам не нужна эстетика и всякие красивые слова о рассветах и закатах. Нам нужны человеческие взаимоотношения с точки зрения нерушимых законов социальной правды и высшей справедливости. Вот о чем следует писать. Все же остальное является ненужными и излишними украшениями стиля, ничего общего не имеющими с трезвым языком газеты, имеющей дело с реальными фактами жизни, а не с фантастическими измышлениями досужих беллетристов. Совсем другое дело, продолжает редактор, — когда вы станете украшать свои очерки короткими, но сильными цитатами из Вольтера, Прудона, Белинского и многих иных мыслителей-публицистов. А еще лучше, когда вы невзначай бросите, латинское изречение, какой-нибудь афоризм, или даже слово, оброненное историче-

скими деятелями. Вы, например, описываете босяков и употребляете при этом такие простые слова, как: несчастный, измученный, обездоленный, бесприютный, и нигде не употребите такого слова, как «мизерабль». Но раз вы этого не умеете делать, то я, ваш редактор, обязан вам помочь.

Долго говорит Розенштейн, а я почти его не слушаю.

Думаю о вещах иного порядка. Между прочим, вспоминаю мой предыдущий очерк, украшенный такими фразами, как: «*si pop è vero, è ben trovato*» или «пес *plus ultra*», «*terra incognita*», «*status quo*».

Вспоминаю и краснею: я, автор целого очерка, не только ничего не понимаю, но и прочесть этой премудрости не в состоянии. Зато мои читатели считают меня образованным человеком.

Получается какой-то обман.

Несмотря на зверские исправления, мои очерки имеют успех. О «Ростовских трущобах» говорит весь город. Мой единственный и лучший друг Федор Христо уверяет меня, что я уже знаменит.

Постепенно обзавожусь самыми необходимыми вещами. Получаю первый гонорар за две недели в размере двенадцати с половиной рублей.

С помощью Христо приобретаю брюки на мой рост и пиджак с плеч неизвестного великана. Федор Васильевич и эту хламиду передельывает для меня.

На моих ногах подержанные, но совсем еще приличные ботинки.

На теле чистая косоворотка. Вообще, я имею вид бедного, но прилично одетого молодого человека.

Знакомлюсь с журналистами, поэтами и всякого рода сотрудниками местных газет. Из них хорошо запомнился Миша Соронецкий — король ростовских репортеров. Он высок ростом, носит светло-русые усы, на ходу сутулит спину, всегда приветлив, весел, остроумен и весь переполнен анекдотами. Его все знают, и со всеми он на «ты».

Миша свой человек в Коммерческом клубе, в цирке, в театре, в редакциях. Его любят, всюду встречают с улыбкой, всем он должен, никому не платит, но никто на него не сер-

дится.

Наше первое знакомство происходит в кабинете Розенштейна.

Городецкий вихрем врывается в комнату, здоровается с редактором, а затем взглядывает на меня и спрашивает.

— Это вы — автор «Ростовских трущоб»?

Отвечаю утвердительным кивком головы.

— Поздравляю вас... Успех полный... Жаль, что не работаете у нас в «Приазовском крае», — добавляет он полушутя-полусерьезно.

— Ну, ну, не очень-то... Это вам не Рудов — переманить не удастся замечает Наум Израилевич.

На другой день Миша встречает меня на улице, подходит ко мне с видом дроброго старого друга, кладет на мои плечи длинные ладони костлявых рук и восклицает: — Неужели это правда?!

От неожиданности теряюсь и в свою очередь тихо спрашиваю:

— Что правда?

— А то, что тебе платят за шестнадцать нижних фельетонов двадцать пять рублей?!.

— А что?

— Как что?.. Он еще спрашивает!.. Да ведь такой эксплуатации не было с тех пор, как существуют газеты на земле... Ведь ты получаешь одну десятую копейки за строчку, в то время когда я — репортержика, получаю полностью две копейки... Нет, я вижу, что ты — настоящая провинция. Зайдем-ка на минутку вот сюда в кафе и потолкуем.

Подчиняюсь. Сидим за маленьким столиком и пьем из высоких тонких бокалов фруктовую воду, заказанную Мишей Городецким.

Здесь, в центре ростовской жизни, среди торговых людей, комиссионеров, маклеров, мелких служащих и представителей местной золотой молодежи, в этом многолюдном шумном кафе, зарождается наша дружба с Городецким.

Со всею откровенностью рассказываю ему о моих скитаниях, о моем мучительном пути и о том, как я, малограмотный человек, прихожу к Розенштейну и как он, высокообразованный редактор, принимает во мне горячее участие и первый начинает меня печатать.

— И это все?! — восклицает Миша, выслу-

шав мой рассказ. — Ну, брат, ты себе цены не знаешь. Известно ли тебе, что в те дни, когда печатаются «Ростовские трущобы», розница вашей паршивой газетки доходит до трех тысяч!.. Эх, дурак!.. Переходи к нам. У нас ты сразу получишь две копейки за строку.

Чувствую большую симпатию к Мише, на решительно отказываюсь от его лестного для меня предложения. Мне стыдно сознаться, что без Розенштейна мои писания никуда не годятся. Я уверен, что Миша не стал бы настаивать, если бы увидел мои рукописи, исправленные Наумом Израилевичем.

Из всех знакомых и друзей, вошедших в мою новую жизнь, светлым лучом встает в моей памяти Анна Абрамовна. Ей я обязан первыми победами над грамматикой.

Помню тихие предвечерние часы, когда мы с Анной Абрамовной сидим одни в обширной комнате для сотрудников и занимаемся русским языком. Во время занятий мне нередко приходится рассказывать учительнице разные эпизоды из моего недавнего прошлого. С глубоким вниманием слушает она мои рассказы. Временами, когда излагаю особен-

но тяжелые и унижительные факты, большие черные глаза Анны Абрамовны наполняются влажным блеском, с нежной ласковостью проводит она рукой по моим кудрям и шепчет: «ах, бедный вы мой!..»

Однажды прихожу в редакцию и застаю одну лишь Анну Абрамовну.

Наум Израилевич, оказывается, уехал в Таганрог организовывать отделение газеты.

Анна Абрамовна встречает меня с обычной доброжелательностью и говорит:

— Хорошо, что пришли... У меня для вас имеется подарок.

Она быстро уходит в смежную комнату и тотчас же возвращается с книгой в руке.

— Вот вам самое лучшее пособие.

Раскрываю книгу и прихожу в радостное волнение — орфографический словарь. Величайшая мечта моя осуществляется.

— Анна Абрамовна, простите... Не знаю, как благодарить вас... Никогда, никогда не забуду...

— Что вы, что вы! Из-за такой мелочи... Ведь я ничего особенного не сделала, — говорит она, заметно волнуясь, ведет меня к сто-

лу.

Мы усаживаемся рядом.

— У меня для вас имеется одно чудесное правило, — начинает наши занятия Анна Абрамовна. — Вы хорошо знаете украинский язык?

— Говорю свободно, — отвечаю я.

— Раз так, то помните: если на украинском языке звук русского «е» произносится как «и», то надо ставить «ять». Например — река, бес, звезда...

На этот раз слушаю Анну Абрамовну не совсем внимательно — мне хочется воспользоваться тем, что мы одни, и рассказать этой доброй, умной женщине о самом сокровенном, о том, что живет в глубине моего сознания и что мучает меня хуже всякой болезни,

— Разрешите мне задать вам один вопрос, — неожиданно для самого себя обращаюсь к Анне Абрамовне.

— Пожалуйста.

— Скажите без всякого стеснения, если бы Наум Израилевич не исправлял моих очерков, могли бы они быть напечатаны?

Анна Абрамовна, прежде всего чем отве-

тить, втыкает выскочившую шпильку в черный узел волос, обдает меня теплом больших темных глаз и говорит:

— Думаю, что нет. Я, конечно, имею в виду одну лишь орфографию, спохватывается учительница и тут же добавляет: — Относительно стиля, умения владеть сюжетом и вообще писательской техники судить не могу — мне никогда не приходилось читать ваших рукописей...

— В таком случае, перебиваю я, — разрешите мне завтра же сдать следующий очерк.

— Хорошо. Буду очень рада.

На этом мы заканчиваем.

Когда рабочий, мелкий ремесленник, ломовой извозчик или всякий человек физического труда собьется с круга, порвет связь с семьей, деревней, постоянным местом жительства, вконец выйдет из норм обыденной жизни и очутится в самой глубине человеческого падения, станет постоянным обитателем городских притонов, смрадных кабаков, вшивых ночлежек, — то не значит, что он погиб безвозвратно. Человек труда еще может быть спасен, стоит только оказать ему поддержку,

дать хоть какиенибудь возможности, и он вылезет из ямы и станет на ноги.

Совсем иная картина получается, когда алкоголик из класса образованных людей опустится до трущоб. Тут ему, бывшему барину, конец. Никакая сила не спасет от гибели отпрыска «хозяев жизни», не знавших борьбы за существование.

Не знаю почему, но такие люди вызывают во мне чувство жалости.

Вот таким типом, бывшим инженером, полны сейчас все мои писательские замыслы. Хочу нарисовать этого человека таким, каким я его знаю. Он живым стоит перед моими глазами, и мне хочется вылепить его так, чтобы его увидели и мои читатели.

Однако сделать это нелегко. Одно дело, когда я об инженере рассказываю Федору Васильевичу, доводя его удивление до крайних пределов, и совсем другое получается, когда с пером в руке наклоняюсь над белыми полосками бумаги.

Вот тут начинаются мои муки. Каждое слово взвешиваю, каждое предложение собираю с тяжким трудом.

Кроме того, мне приходится думать о грамматике и поминутно заглядывать в орфографический словарь. Какая тут может быть речь о свободном творчестве, когда ять и мягкий знак блохами прыгают по моим ресницам.

Но все же обещание, данное Анне Абрамовне, надо выполнить, и очерк под названием «Анджинер» должен быть написан.

На другой день в назначенный час с рукописью в кармане иду в редакцию.

Снова передо мною ласковые женские глаза.

Читаю вслух. Сначала мой голос дрожит от волнения, меня немного лихорадит. Но внимательные, широко раскрытые глаза Анны Абрамовны меня успокаивают, и голос становится крепче и уверенней.

Кончаю. Коротенькое молчание, и глубокий вздох моей слушательницы.

— Какой ужас!.. — тихо и вдумчиво произносит Анна Абрамовна. — Неужели это правда?!. Неужели человек, получивший образование, бывший когда-то маленьким гимназистиком, любимцем «мамы и папы», может на

тридцатом году своей жизни очутиться в такой страшной, зловонной яме?!

— Анна Абрамовна, верьте мне, здесь я ничего не выдумал...

— Охотно верю... Теперь я могу вам сказать, что я думаю о вас. Наум Израилевич, конечно, прав — вы для газеты не годитесь. Вы — прирожденный беллетрист. Но, тем не менее, нахожу, что газета может вам на первых порах помочь. Здесь вы многое узнаете, получите навык, усилите технику письма, а там...

Неожиданно раздается стук в дверь.

— Войдите!

Появляется маленький человечек в коротеньком пиджачке, с мелкими чертами довольно красивого лица, украшенного темно-русыми усами и небольшим кустиком бородки.

— Простите, если помешал... Я — Потресов, Сергей Викторович. Приехал из Харькова по приглашению господина Розенштейна.

— Да, да... Мы вас ждали... Пожалуйста, садитесь... Я — жена Наума Израилевича.

Здороваются.

Потресов с изысканностью настоящего кавалера прикладывается к ручке.

Хозяйка знакомит нас. Мы обмениваемся рукопожатиями.

— Читал я ваши «Ростовские трущобы», — говорит Потресов, и с особенным вниманием рассматривает меня. — Интересный материал, очень интересный. Но разрешите быть откровенным — материал сырой, требует обработки.

Тут же узнаю, что этот маленький, сухорукый и прихрамывающий человечек приглашен в качестве секретаря и заведующего литературно-художественным отделом газеты. Кроме того, узнаю, что сам Потресов — известный харьковский газетный поэт, пишущий злободневные фельетоны в стихах.

С появлением Потресова редакция оживает. Появляются новые сотрудники, и столбцы газеты заполняются злободневными фельетонами (в стихах), обзорами столичной прессы и театральными рецензиями.

Появляются имена областных журналистов, а иногда присылает, из Петербурга свои статьи по вопросам искусства известный те-

атральный критик Homo Novus — он же Александр Кугель, товарищ Розенштейна по университету.

Шумно, интересно и весело становится в нашей редакции. С Потресовым у меня отношения завязываются, главным образом, на почве литературы. Он придерживается иных взглядов, чем Розенштейн.

— Бросьте, — говорит он мне, — ваши высокопарные рассуждения о люмпен-пролетариате и о тунеядстве господствующего класса. Пользы вы этим никому не принесете, а нашу газету прихлопнут, если случайно попадетсЯ на глаза светлейшему Святополк-Мирскому. Вы должны стремиться стать художником слова, — продолжает Потресов. — Дайте диалог, характер действующих лиц, описывайте природу и рисуйте жизнь такой, какая она есть. А главное, избегайте многословия и не стремитесь стать автором толстых книг. Грибоедов написал всего одну комедию, но имя его по сей день яркой звездой горит на небе литературы.

Слушаю я этого маленького человека, заглядываю в его чистые, детские глаза и на-

долго запоминаю каждое его слово.

— Возьмите, например, меня, — продолжает Сергей Викторович, понизив голос, — я написал одно стихотворение — «Яблоня» называется. Не скажу, чтобы оно было гениальным, но успех оно имело такой, что в честь этого стихотворения я свои серьезные вещи подписываю: «Сергей Яблоновский...»

— Разрешите сказать... Розенштейн мне за-прещает...

— Знаю, знаю, — живо перебивает Потресов. — Я по этому поводу имел беседу с Наумом Израилевичем. Отныне ваши рукописи станут поступать ко мне.

Не нахожу слов благодарности. С этой минуты Потресов становится мне самым близким человеком. Ему я поверяю мои творческие тайны, с ним советуюсь и у него учусь.

В маленькой хибарке Федора Васильевича занимаю первое место.

За мною ухаживают все члены семьи. Даже столетняя бабка старается сделать для меня что-нибудь приятное. Сам Христо смотрит на меня молитвенными глазами. От его похвал у меня частенько першит в горле.

— Бросьте, дорогой мой, — говорю я ему. — Ну какой я гений. Посмотрели бы вы, как терзают мои рукописи Потресов и Розенштейн, — вы понизили бы тон.

— Не согласен, — возражает Христо. — Вы — самородок, понимаете, настоящий самородок... Ведь на свете миллионы малограмотных, а ни один из них в писатели не выходит.

Однажды в полдень, когда мы с Христо сидим на катке и я читаю ему черновик нового очерка, к нам не входит, а вбегает женщина среднего роста с большими ясными глазами.

Вошедшая останавливается посредине комнаты и обращается к Христо с вопросом, не оставила ли она перчатки в ротонде городского сада, где они были накануне.

Догадываюсь, что это невестка Федора Васильевича, вдова его покойного брата. О ней здесь часто говорят и, по-видимому, относятся с уважением.

Женщина бросает на меня зоркий взгляд, издали машет ручкой Федору Васильевичу, говорит «до свидания» и уходит.

Больше ничего. Но я навсегда запоминаю гибкую, хорошо слаженную фигуру, малень-

кие ножки в красивых туфельках и на редкость приятный грудной голос.

— Нарочно забежала, чтобы на вас посмотреть, — говорит Христо. — Очень любит литературу... Про вас весь город говорит... Вот и пришла... Известно вдовушка...

— Кто она? — спрашиваю я и стараюсь придать моему голосу равнодушный тон.

— Она папиросница с фабрики Асмолова. Покойный старик Асмолов вывез ее из Петербурга, где он набирал лучших мастериц для своей фабрики. В то время управляющим папиросного отделения был мой брат Петя. Был он холост и красив. Уже не знаю, кто из них первый влюбился в кого, но вскоре сыграли свадьбу. Счастливо прожили семь лет, а потом Петя умер от рака печени. Осталась молодая вдова.

— Давно овдовела?

— Скоро три года будет. Теперь она сама заведует папиросным отделением. Сейчас под ее ведением восемьсот девушек.

С большим интересом выслушиваю рассказ Христо о молодой вдове. Долго после этого живет в моем воображении случайно про-

мелькнувшая предо мною женщина.

#### **4. Новые темы**

**У**ходит лето. Реже радуют солнечные дни. От туч и далеких горизонтов веет холодом. Спадает листва с деревьев, и прозрачнее становится городской сад.

Грядущая осень пугает меня. Хоть бы какое-нибудь пальтишко приобрести... Но об этом и думать нельзя: дела у Христо отвратительные, и весь мой заработок приходится отдавать в дом.

Утешаюсь тем, что у меня имеется кров и живое дело.

Не всегда же буду нищим. Федор Васильевич предсказывает мне великое будущее.

Ежедневно посещаю редакцию. Здесь, среди живых, говорливых людей я забываю об осени и обо всех мелких невзгодах жизни. С жадностью впитываю в себя незнакомые доселе понятия о вещах, стоявших вне поля моего зрения.

Моментами кажется, что все это мне снится. Никак не могу привыкнуть к мысли, что я, недавний бродяга, бесприютный нищий, стучавший в чужие двери, вдруг знаком и здоро-

ваюсь за руку с такими людьми, как Розенштейн, Потресов...

Расцветает моя дружба с Потресовым. Он подавляет меня своими познаниями в области литературы, искусства и даже науки. Верю и подчиняюсь ему без всякого сопротивления.

Сергей Викторович, подобно Розенштейну, не щадит меня и кромсает мои рукописи без всякой жалости. Но ему я прощаю. Прощаю потому, что он нежен, внимателен и добротой звучит каждое его слово.

В противоположность Розенштейну этот человек требует от меня красоты. Одной красоты и больше ничего.

— Прозаик, — говорит он, — должен быть таким же поэтом, как и стихотворец. Возьмите, например, Гоголя. Разве он не поэт? Конечно, поэт, да еще какой! Главное правило — не быть грубым, когда описываете природу, человека, животное...

— А если трущобы? — осмеливаюсь я перебить.

Сергей Викторович на секунду задумывается, а затем поднимает маленькое личико,

освещенное двумя ясными детскими глазами, и радостно восклицает:

— Да, и труппы!.. Всюду, везде должна быть красота. Этим мы воспитываем читателей. Мы развиваем у них чувство эстетизма и любовь к прекрасному. Почитайте античных художников слова. Хотя бы бессмертного Гомера... Как красиво у этих титанов древности получаются убийства, кровопролитные битвы, предательства... даже грязь, стекающая с вершин Олимпа, кажется расплавленным золотом...

Потресов положительно завораживает меня. Слушаю его с огромным вниманием. В эти минуты я прощаю ему жестокое обращение с моими рукописями.

Однажды Сергей Викторович, оставшись со мною наедине, достает из бокового кармана вчетверо сложенную бумагу и торжественно передает ее мне.

— Только вам дарю свою «Яблоню», дарю потому, что считаю и вас талантливым человеком.

Благоговейно разворачиваю лист чудесной бумаги с красиво нарисованной красками ви-

ньеткой. Четким каллиграфическим почерком, рукой самого поэта написано знаменитое стихотворение «Яблоня», за подписью: «Сергей Яблоновский», а еще ниже — «Сергей Викторович Потресов».

На следующий день я это стихотворение уже знаю наизусть и декламирую так, что не только Христо и его Анюта слушают меня с необычайным интересом, но и у самого автора вызываю слезы умиления, когда, напивав голос, нежностью и слезой, читаю перед ним его шедевр.

Самые лучшие артисты и артистки столичных и провинциальных сцен огромным успехом декламируют «Яблоню», вызывая у публики вихри восторга. Начинается она так:

*Полная сил, ароматная, нежная,  
Яблоня в нашем саду расцвела.  
Словно невеста, фатой белоснежною  
Скромно покрылась и ласки ждала...*

А дальше идет рассказ о том, как этой «Яблоне» снились «солнца лобзания знойные, душная ночь, тишина, соловей...» и вообще

все то, что снится молодой невинной девушке. Но вдруг — ветер — соперник ревнивый и злой, небо задернул свинцовыми тучами, чтоб не пробрался к ней луч золотой. И вот тут начинается трагедия высокой красоты. Ветер нападает на красавицу, срывает белоснежные одежды, насилует и, бросая жертву на произвол судьбы, улетает. А на рассвете бедная «Яблоня»-стоит наполовину сломанная и «слезы-росинки дрожали на ней».

Вот и все содержание этого стихотворения, прославленного на всю Россию такими корифеями театра, как Самойлов, Савина, Мичуринна, Мамонт Дальский и другие.

Сижу за катком, заканчиваю очередной фельетон и вдруг слышу голос Миши Городецкого:

— Здесь живет Свирский?

— Да, здесь, — откликается Анята.

Встаю, открываю дверь в сенцы и вижу Городецкого в сопровождении Никитина и Рудова.

— Вот ты где живешь!.. — восклицает Миша, поблескивая щелчками китайских глаз.

Чувствую себя не совсем ловко. Убожество,

окружающее меня, вызывает во мне смущение и некоторую досаду на непрошенных гостей.

Рудов и Никитин делают вид, что ничего не замечают и запросто садятся на каток.

— Мы к тебе пришли по очень важному делу, — начинает Городецкий, шагая по комнате. — Твой хозяин Макс Балабанов не выдержал марки и собирается вылететь в трубу. Но свет не без добрых людей. Находится богатый человек из Нахичевани — господин Арутюнов. Он настолько богат, что хочет по-настоящему издавать газету без всяких конкурентов. Для этого он предлагает соединить «Ростовские-на-Дону известия» с «Приазовским краем» и создать большой печатный орган области войска Донского. Мы — сотрудники обеих газет приветствуем этот план: вам будет лучше работать в одном органе, материально обеспеченном, нежели распылять по мелочам свои силы. Но тут, понимаешь, получается неожиданная загвоздка.

Миша воспламеняется. Жесты становятся размашистыми, и вся его длинная сутулая фигура приходит в движение.

— Представь себе? — продолжает Городецкий, — находятся люди, препятствующие слиянию... И знаешь, кто?

Розенштейн. Недаром у него затылок крепкий. Я, говорит он, создал «Известия» и уйду отсюда последним. Видишь ли, он воображает себя храбрым капитаном на тонущем корабле. А за ним тянется и Потресов... Ну, а ты как смотришь на это?

Неожиданная новость ошеломляет меня. Неужели погибнет газета, а вместе с нею мои «Ростовские трущобы»?..

— Тут и двух мнений быть не может, — вставляет свое слово Рудов, молодой беллетрист, автор очерков «По низовьям Дона»: — нам нужна газета самостоятельная и денежная.

Вглядываюсь в лица пришедших и хочу угадать, чем могу им быть полезным. Продолговатое лицо Никитина с широкими темными усами, как всегда, угрюмо, и ничего не выражают его глаза, прячущиеся под широкой выпуклой лобвиной. Рудова я мало знаю, но при редких наших встречах он производит на меня приятное впечатление.

Мне правится его хороший рост, большие печальные глаза и голос, грудной и ласковый.

— Мы хотим, — снова начинает Миша, — чтобы ты вместе с Рудовым и Никитиным заявил Розенштейну о вашем решении перейти в «Приазовский край». Вот и все! — заканчивает Миша.

Мне становится жутко. Розенштейн и По-тоесов так много для меня делают... Я им так обязан...

— Нет, я не могу этого сделать, — тихо замечаю я.

— Почему не можешь? Кого ты боишься? Ведь ты создаешь им розницу... Благодаря тебе эта чахлая газетка еще дышит...

Миша не может говорить хладнокровно. Он мечется по комнате, размахивает длинными руками, горячо уговаривает, доказывает, приводит разительные факты, и в голосе его так много неподдельной страсти, что невольно поддаешься ему.

Прошу пришедших дать мне срок подумать.

На этом наше «тайное свидание» заканчивается.

Протест, поднятый Розенштейном, не имеет успеха, тем более, что некоторые из сотрудников, получившие уже авансы из «Приазовского края», один за другим оставляют «Ростовские известия». Даже сам издатель упрашивает Наума Израилевича не упорствовать и пойти на слияние двух газет.

Но проходит немного времени, бури затихают, все вокруг успокаивается, и со стороны старой редакции уже не слышно негодующих голосов. А в тот день, когда векселя Макса Балабанова опротестованы никем иным, как Арутюновым, в кабинете Розенштейна происходит длительное заседание с участием Арутюнова и Макса — Балабанова.

Во главе новой редакции становится Розенштейн. Ему, столичному журналисту, даны диктаторские права. Владелец «Приазовского края» Арутюнов имеет касательство только к конторе газеты, где он оплачивает счета и наблюдает за выдачей гонорара сотрудникам.

Характер Наума Израилевича резко меняется. Недавно еще простой, сердечный товарищ быстро становится начальником. К нему

в кабинет уже нельзя входить в любое время. Приемные часы обозначены на дверях. Отменяются обычные в «Известиях» еженедельные совещания. Собрания сотрудников заменяются единоличными распоряжениями редактора.

Остывают теплые взаимоотношения между сотрудниками и Розенштейном. В первое время поговаривают о коллективном уходе, о бойкоте, о забастовке, но наступает гонорарный день, и становится тише.

Со мною Наум Израилевич холоден, но вежлив. Он находит, что последним моим очерком, напечатанным в «Ростовских-на-Дону известиях», я могу закончить «Трущобы».

— Совсем закончить?.. Перестать писать?.. — задаю вопрос, и мне становится страшно.

— Если у вас найдутся другие темы, более интересные, то мы будем вас печатать, но предупреждаю — без лунных грез и трелей соловья... Пусть этими алмазами стиля обладает поэт Потресов, а вам, фотографу жизни, такие ценности не к лицу.

Ухожу из редакции с тем чувством, с ка-

ким человек, опустив в могилу близкого друга, оставляет кладбище.

Со свойственной мне — сангвинику — поспешностью делаю вывод: все кончено, я больше не сотрудник и... ступай, откуда пришел...

Когда передаю о случившемся Федору Васильевичу, я вижу, как на его темные брови ложится печаль.

— Как же так... Печатали, хвалили... Читали нарасхват... И вдруг извольте кончать... Нет, что ни говорите, а я прямо скажу — зависть... Да, зависть и больше ничего...

Не узнаю Христо, — закипает в жилах греческая кровь, и горячими искрами поблескивают глаза.

— В Этаком разе, — продолжает он, — плюньте на них... Не беспокойтесь, сами к вам придут. Поклонились раз — и будет. Нехай сами вам поклонятся... Вот что... Бояться нечего: у меня заказов набрано рублей на тридцать...

Слова Христо действуют успокаивающе. Этот бедняк портной становится мне особенно близким. Откуда только берутся такие за-

мечательные люди?..

Жду темы. Медленно прохожу по путям моего прошлого, припоминаю события, встречи, столкновения и не знаю, на чем остановиться. Все, что приходит в голову, мне кажется неинтересным для Розенштейна.

Долго мучаю себя сомнениями, пока, наконец, не останавливаюсь на теме о тюремной жизни. Кто знает арестантов? Кому известен скрытый мир тюрьмы?

Раскрывается память. В моем воображении оживают образы минувшего, и живыми проходят перед моим мысленным взором арестанты всех родов и видов. Вижу начальников тюрем, осторожных надзирателей, ссыльно-каторжных, мелких воришек, убийц и постоянных обитателей тюрем — бродяг, не помнящих родства.

Вихрем кружатся мысли, сильнее стучит сердце, и воспаляется мозг.

Сажу перед катком. С лихорадочной поспешностью бросаю на бумагу все то, что рождается в моем сознании, что волнует мою кровь и вызывает мелкую дрожь.

Первый очерк готов. Отношу в редакцию.

Мы с Розенштейном одни в кабинете.

Наум Израилевич читает про себя и не делает никаких помарок.

Вот он кончает последнюю полоску, откидывается на спинку стула, ладонью проводит по голове, а затем пристально вглядывается в меня и спрашивает:

— Откуда материал?

— Не понимаю вашего вопроса, — упавшим голосом говорю я.

— Мне хочется знать, пользуетесь ли вы каким-либо источником, или же...

— Никаких источников, — поняв, в чем дело, перебиваю редактора. — Мне тюрьма хорошо знакома... На собственной шкуре испытал...

Розенштейн, по-видимому, хорошо настроен: улыбается, играет карандашом, и весело сквозь очки глядят его коричневые глаза.

— Если так, то тем лучше. Но к чему этот высокий стиль?.. Ведь вы — не Гоголь... У вас начинается: «Знаете ли вы, что такое тюрьма? О, вы не знаете тюрьмы»... Поэтому я у вас спрашиваю: откуда материал? Не стацили ли вы и тюрьму у Гоголя?..

Стыд обжигает меня. Пылает лицо, и даже глазам становится жарко, а в горле вырастает ком.

— Нет, я шучу, — меняет тон Наум Израилевич, заметив мое смущение. Мне ваш очерк нравится. Чувствуется продуманность и настоящий либеральный взгляд. Но опять же скажу вам — бросьте ненужные украшения языка. Будьте газетчиком. А теперь давайте договариваться. Вы предлагаете нам двадцать фельетонов под общим заглавием «В стенах тюрьмы». Очень хорошо. Не возражаю. Жалование будете получать то же самое, а редактировать буду я. Сергей Викторович портит вас. Это мое глубокое убеждение, — заканчивает Розенштейн, не спрашивая о моем согласии.

Мой друг Федор Васильевич приходит в радостное волнение, когда рассказываю ему о моем разговоре с редактором и о том, что мой новый очерк принят.

— Ага, говорил я, что сами поклонятся, по моему и вышло, — говорит Христо и при этом ласкает меня своими добрыми, влажными глазами.

То обстоятельство, что мне гонорар не повысили, его ничуть не смущает. По мнению Христо, двадцать пять рублей в месяц для холостого человека сумма вполне достаточная.

А я в это время мысленно спорю с Розенштейном. Почему нельзя писать, как пишет Гоголь? Ведь Гоголь, может быть, самый замечательный писатель во всем мире.

Притом, я пишу совсем о других сторонах жизни и беру у Гоголя лишь его манеру излагать, беру мелодию его речи, но все остальное принадлежит мне. Полагаю, что лучше подражать Гоголю, чем Розенштейну.

Интересно, что Христо такого же взгляда. Когда рассказываю ему, как меня пристыдил редактор, мой друг с трогательной добротой утешает меня:

— Нехай... Розенштейн писателем никогда не будет, а вас уже весь Ростов знает.

Все эти дни думаю о новых темах. «В стенах тюрьмы» считаю последней серией очерков: хочу перейти на более серьезные темы.

Буду писать рассказы, повести и даже романы. Ведь не зря живу на свете двадцать шесть лет.

Сколько людей перевидал... Сколько раз приходилось быть свидетелем невыносимых страданий, вызванных жестокостью сильных...

Если дам картину еврейского погрома или покажу убийцу, зарубившего топором многочисленную семью, или нарисую обманутую девушку, отдавшую чистоту и сердце негодному человеку...

Нет, всего не перечислить, не передумать...

Да, о многом вспоминаешь в бессонные ночи. Пылает голова от непрерывного потока мыслей, образов, видений... Но чаще всего в часы одиночества меня посещает девушка в белом. Она плывет ко мне из туманной дали.

Вижу ее прекрасное лицо. Черными бриллиантами сверкают глаза. Улыбаются ее губы, подобные свежим лепесткам пунцовой розы.

Кто она — не знаю. Но за один ее взгляд, за возможность дотронуться до края белого платья я готов отдать всего себя, забыть прошлое, не думать о будущем, раствориться в сладкой истоме и уйти в неизведанную радость...

Однажды утром с шумом раскрывается

дверь, и в сенях раздается женский вопль.

Мы с Христо бросаемся к дверям. В комнату с громкими рыданиями входит невестка Федора Васильевича.

Она так плачет, в ее голосе столько жалобы и от всей ее фигуры веет такую скорбь, что я готов убежать, лишь бы не видеть этих страданий.

Из отрывистых фраз, вырывающихся из уст рыдающей женщины, мы узнаем о страшной катастрофе, произошедшей этой ночью. Сгорел дом, и в огне погибла старуха-мать.

Бегу в редакцию, чтобы рассказать о случившемся, но меня опережает Миша Городецкий. Ему уже все известно, и его заметка уже сдана в набор.

## **5. Татьяна Алексеевна**

**Н**а город обрушивается зима. Злые ветры мчатся по безлюдным улицам и студят дома. Тихий Дон, накрывшись ледяным панцирем, ложится на зимний отдых.

Ежедневно бегаю в редакцию в холодном коротком пиджачке.

Делаю вид, что мне совсем не холодно, но Анна Абрамовна не верит.

В один из таких дней она подходит ко мне и, заметно смущаясь, предлагает подержанное пальто Наума Израилевича.

— Вы живете у портного... Он переделает, поправит и... Ну, вот и все...

Мне становится до того стыдно, что не могу слова вымолвить.

— Зачем... Не надо... — Что вы... — бормочу я.

Анна Абрамовна, тяжело вздохнув, оставляет меня.

Дома рассказываю о случившемся Федору Васильевичу.

Он внимательно выслушивает меня, а потом говорит:

— Хорошо сделали, что отказались. Подумаешь, благодетели какие... Без них обойдёмся. Давай-те ка заодно мерку сниму с вас.

— Зачем?

— Затем, что и у меня пальтишко имеется...

Через два дня Христо примеряет мне осеннее, ветхого вида «пальтишко» рыжего цвета. Оно не очень греет, но зато придает мне более приличный вид.

Впоследствии узнаю, что Христо из деликатности схитрил: пальто, оказывается, Наума Израилевича.

Заканчиваю «В стенах тюрьмы». Сдаю последний фельетон.

Розенштейн предлагает мне поехать в Александровск-Грушевск. Там я должен ознакомиться с каменноугольными шахтами и написать ряд очерков.

Предложение редактора льстит моему самолюбию. Мне кажется, что твердыми шагами вхожу в литературу. Мои тюремные рассказы многим нравятся. Ко мне начинают относиться с заметным вниманием.

Получено одно письмо от читательницы нашей газеты.

Христо хорошо запоминает каждый мой очерк. Хвалит, упивается и утверждает, что я — самый талантливый писатель в Ростове-на Дону.

Вкусным крепким вином действует на меня этот успех.

Вот тут, когда думаю о женщине и о любви к ней, я становлюсь маленьким, робким, неумелым, и меня пугает мысль, что никогда

не узнаю, не изведу настоящего счастья и навеки останусь одиноким.

Кто обратит внимание на босяка!.. Без роду, без имени шатаюсь по земле с этими уродливыми бачками на впалых щеках и черными лохмами, падающими на глаза.

Холодный зимний вечер. Сухо потрескивает мороз. На серебряных узорах окна сверкают блики лунной ночи.

Сидим с Федором Васильевичем в маленькой боковушке. В смежной мастерской шумят дети.

Не знаю почему, но за последние дни мне все чаще приходит на память невестка Федора Васильевича. В мечтах моих я вижу ее веселой, бодрой и красивой. Давно хочется узнать о ней более подробно, но какая-то неловкость мешает.

Сегодня, в час тихих дум, я решаюсь спросить у Христо:

— Скажите, вы не знаете, как себя чувствует ваша невестка после пожара?

— Как не знать — ежедневно забегая...

— Каждый день видите! — вырывается у меня восклицание.

— Почему нет... Мы, хоть и бывшие родственники, но друзья. И уж скажу вам всю правду — чаще всего забегаю одолжить полтинник.

— Воображаю, как ей тяжело, бедняжке... Родная мать в огне погибла...

— Ну, уж не такая бедняжка. Глаза давно высохли и смеются за милую душу. Скоро наступит Николин день, — ровным, тихим голосом говорит Христо, вы ее сами увидите. Обещала зайти вечерком.

— У нас, значит, будет вечеринка?

— Чайку попьем, не без того, — отвечает Христо.

— Нет, так нельзя, — возражаю я: — надо угостить по всем правилам...

— Так-то оно так, да в кармане пятак...

— Пойдите, — живо перебиваю я, — Николин день когда?

— Шестого, через два дня.

— Отлично. Можно устроить. Попрошу аванс... Что в самом деле... Все берут, возьму и я... Попрошу три рубля — и все тут.

— Не много ли?

— Ничего... Нельзя всю жизнь нищенство-

вать. Надо когда-нибудь побаловать себя.

Федор Васильевич закуривает. Курю и я. А мысли мои плывут над вселенной, и в сердце стучится мечта.

Готовимся к «балу». Анюта с бабкой работают весь день. Из спальни вытаскивают семейную постель, посередине комнаты ставят два столика рядом, накрывают их скатертью, из мастерской приносят двадцатилинейную лампу, и понемногу устанавливают закуски.

— Наконец-то пришли! — весело встречает меня хозяйка. — У нас уже все готово... Скоро Танечка придет... Так хорошо будет?

Не узнаю убогой комнаты. Светло и празднично здесь.

— Зачем вы все это... Из-за меня такое разорение...

— Никакого разорения. Вам еще сдачи полагается. Считайте сами: гусь двадцать пять копеек, бутылка водки — сорок, на тридцать пять копеек разные закуски, хлеб, и еще Федя принесет за шестьдесят копеек сантуринского — Танечка очень любит. А вы говорите — разорение...

— Вот оно что, а я думал — вы много своих

денег истратили.

— Откуда их взять? Мой Федя за эту неделю принес два рубля. Где уж тут тратить...

Анюта не договаривает: входит Федор Васильевич с бутылкой вина в руке. На его лице столько радости, что я с особенным удовольствием пожимаю протянутую руку.

— Все дома? — слышится знакомый голос.

Стараюсь принять подобающий случаю гостеприимный вид. Роюсь в мозгу, ищу слова приветствия, хочу быть простым, смелым, остроумным, но чувствую полную свою неспособность. Спрятались слова, улетучились мысли...

А она уже тут. Протягивает маленькую ручку, здоровается, смеется и радостно играет большими ясными глазами.

Мое смущение длится недолго. Когда садимся за стол и выпиваем по первой, ко мне возвращается способность речи. Приветствую гостью и благодарю ее за то, что в зимний холод внесла в наш бедный уголок столько света и тепла.

Татьяна Алексеевна благодарит за тост и тут же, из скромности, заявляет о своей боль-

шой радости.

За окном свистит ненастье. Пляшет метель. Там, за маленьким оконцем, злится зима, а здесь, при ярком свете большой лампы, смехом полны наши сердца, громко звучат голоса, греет вино, обманывающее нас.

Мы все сейчас молоды. Кипит кровь, ярче и смелее становятся мысли, и понемногу удаляется действительность.

К концу вечера я влюблен в Татьяну Алексеевну всем моим существом. Рушатся преграды. Спадают цепи обыденных приличий.

Открыто заявляю о своей любви и при всех целую возлюбленную в губы.

Не чувствую почвы под собою, не ощущаю самого себя.

Мне сейчас так хорошо, так сладостно поет в моем сознании любовь, так близко чувствую чудесную, ясноокую Танечку, в такой восторг меня приводят ее обильные волосы цвета спелого каштана и так нравится мне улыбка красиво очерченного рта, что готов принять величайшую муку за один ласковый взгляд, за нежный вздох этой удивительной женщины.

И когда поздней ночью Татьяна Алексеевна собирается домой, я предлагаю ее проводить, если она хочет сделать меня счастливым.

— Проводить? А вы знаете, где я живу?..

Смеются большие глаза, и сверкает кремовый оскал безызъянных зубов.

— Мне все равно... Хоть на край света...

Вмешивается Федор Васильевич:

— На дворе мороз. Танечка живет близ Нахичевани. Вы погибнете... Разве можно в такой холод без шубы...

— Пусть шубы греют ростовских богачей, а для меня достаточно сочувственного взгляда Танечки...

Все смеются громко и весело. Анюта достает отрез сукна, принадлежащий ей, и подает мне.

— Накиньте на себя вместо пледа. Это очень теплый материал.

Строг и неподвижен мороз. В расщелинах туч зелеными огоньками мигают звезды. Под нашими ногами сугробится обильно выпавший снег.

На Татьяне Алексеевне бархатная ротонда

на лисьем меху без рукавов. Если бы не последнее обстоятельство, я бы мог взять ее под руку, что явилось бы первым случаем в моей жизни.

Не чувствую холода. Мне все еще весело, и уверенно стучит сердце в груди. Но постепенно вянет приподнятое настроение.

Нарождается тихая грусть. Хочется рассказать Танечке о моем одиночестве, о безродности моей, о заброшенности и об отсутствии родного человека.

— Всю жизнь жажду ласки, ищу близкого существа, хочу кому-то пожаловаться, пролить горькую слезу печали, а кругом пустыня. Холодная, бездушная пустыня...

— Вы что это — взаправду? — звенит на морозе грудной, сочный голос Танечки. — Или, может быть, фельетон сочиняете?..

— Танечка, неужели ваше сердце не слышит, что говорит сейчас во мне?..

Спутница молчит. Проходит томительная минута. Потом слышу:

— Если это серьезно, то мне очень жаль вас.

И снова молчание. Уж четвертый час ночи.

Останавливаемся перед домом, где живет Танечка. Начинаем говорить топотом. Спешу досказать самое важное. Целуемся. На белом просторе снежного поля торопливо бросаю заверения, обещания, клятвы... Отдаю ей последние вздохи взволнованного сердца...

Еще поцелуй, еще крепкое пожатие руки — и я убегаю.

Федор Васильевич не спит — ждет меня. В моей маленькой боковушке сидит он на единственном стуле с низко опущенной головой.

Приношу с собой стужу зимней ночи и бурную взволнованность влюбленного.

— Проводил... какая удивительная женщина!.. Какая чуткость!.. Ах, если бы только... Благодарю вас, Федор Васильевич...

Протягиваю руку моему лучшему другу.

— Напрасно вы так... Она, что говорить, женщина интересная, но вам не пара...

Вглядываюсь в лицо Христо и только сейчас замечаю его равнодушное отношение к моей радости.

— Она старше вас на двенадцать лет... Понимаете?..

— Почему не пара? — почти кричу я. —

Нет, не понимаю и понимать не хочу. При чем тут года?..

— Могу объяснить... Вы только на меня не сердитесь. Ведь из любви к вам и к ней... Я обоих вас люблю, и мне не хочется быть свидетелем вашего несчастья...

— Разве любить — несчастье? — перебиваю я.

— Да, несчастье, когда в годах большая разница. Через двадцать лет Танечка будет старухой, а вы — зрелыми годами и мужской силой задавите бедную женщину.

— Через двадцать лет?.. — Зачем так много... Мне год один... Что год!.. День!.. И этого мне достаточно... Лишь бы изведать высшую радость бытия... А там хоть в бездну...

Долго длится наш разговор, пока из спальни не раздастся голос Анюты: Вы когда-нибудь кончите?..

Уходит Федор Васильевич. Ложусь в постель. Спать не могу.

Открытыми глазами смотрю в синие сумерки уходящей ночи.

Есть у меня повесть. «Горничная» называется. Эта рукопись в истрепанной клеенчатой

тетради прошла со мною через всю Среднюю Азию, через весь Кавказ и только теперь, когда ищу новых тем, вспоминаю о моем первенце. Хочу прочесть эту повесть Танечке.

Меня интересует ее отзыв.

— Вы когда увидите Татьяну Алексеевну? — обращаюсь я к Христу на следующий день.

— Могу хоть сегодня. А вам на что?

Игривостью наполняются глаза Федора Васильевича.

— У меня большое желание прочесть ей «Горничную».

— Дело, — живо подхватывает Христу: — она начитанная. В книгах разбирается так, что мое почтение. А когда вы хотите устроить чтение? Не забудьте — Танечка на фабрике день и ночь пропадает.

— Если так, подождем воскресенья.

— Хорошо. Сегодня же дам ей знать.

Наступают дни томительного ожидания. Часами просиживаю над ветхой рукописью и стараюсь, где только возможно, украсить рассказ новыми словами, срезать длинноты, обтесать корявые места и придать рукописи

вид настоящего литературного произведения.

Постоянно думаю о Татьяне Алексеевне. Горю желанием свидеться. Клянусь свою бедность. Что во мне привлекательного?

Решительно ничего. Нищ и наг. А эти бачки...

Нет, сбрить их к чорту... Смею ли я мечтать... Какая приличная женщина захочет соединить свою судьбу с судьбой босяка...

Не хожу в редакцию: боюсь, что меня отправят в Грушевск. Но я никуда не поеду, пока не увижу Танечку.

Наступает воскресный день. На моей верхней губе чернеют усики с круто завитыми хвостиками. Бачки сбриты Единственная кремовая косоворотка выстирана и выглажена руками Анюты. Гляжу на себя со стороны и вижу полового в праздничный день.

Стол накрыт для чая. Ждем гостью.

Грудной приятный голос, полнозвучный смех, живые гибкие движения и лицо с большими ясными глазами веселят и оживляют нашу маленькую комнатку.

— Пришла ради обещанного чтения. Бросила фабрику — и я здесь.

Говоря это, Танечка смотрит на меня в упор. В ее взгляде чувствую ласку, и у меня кружится голова.

По просьбе гости приступаем к чтению до чая. Волнуюсь, нервничаю, но читаю хорошо. В тех местах, где описываю страдания брошенной девушки, муки любви, у меня голос, помимо воли, становится нежным и вибрирующим. Слушают внимательно. Тишина вдохновляет меня. Ухожу в прошлое, в те невидимые дали, где рождались робкие мысли начинающего писателя.

И снова в присутствии любимой женщины воскрешаю образы минувшего, и живой вереницей проходят люди, рожденные моей фантазией.

Кончаю. Слышится глубокий вздох. Из проторных глаз моей слушательницы выкатываются прозрачные слезинки. Она платком проводит по лицу, смеется и говорит:

— До слез довели. Чего вам больше... И вы эту вещь таскали много лет по разным бродяжьим тропам, как вы выражаетесь... Напрасно держали под спудом. Ее напечатают.

— Вы уверены?

— Будь я редактором. — непременно бы напечатала. Вопрос, затронутый вами, сейчас самый острый. Ваш рассказ еще тем хорош, что вопрос о небрачном сожителстве ставится на разрешение не перед интеллигентами, а среди рабочих.

Слушаю Танечку с чувством глубокого удивления. Откуда это у нее? Фабричная... Папиросница...

А Танечка, между тем, обдавая меня теплым светом серых газ, говорит о литературе, о новейших писателях и очень тонко и умело разбирает мою повесть.

Эта чудесная женщина незаметно поднимает меня на вершину успеха, где я чувствую себя окончательно счастливым и. побежденным.

## **6. Жизнь вдвоем**

**В**хожу в новую жизнь. Я женат. Живем с Татьяной Алексеевной и держим девочку для домашних услуг.

Одет во все новое и для меня сшитое. Черная сюртучная пара, мягкая шляпа пирогом, новые ботинки на пуговицах, крахмальная сорочка с красным галстуком и серебряные

часы с цепочкой и брелоками, — делают меня неузнаваемым.

Впервые снимаюсь. Танечка сидит на стуле, а я неподвижным изваянием с застывшим лицом и выпученными глазами стою рядом.

Долго не могу привыкнуть к счастью, выпавшему на мою долю. Мне стыдно перед Федором Васильевичем — он остался тем же бедняком, каким и был.

Страховая премия в размере одной тысячи пятисот рублей, полученная Татьяной Алексеевной после пожара, почти целиком уходит на меня и на содержание нашей квартиры. Одно неприятно — очень редко вижу жену.

Уходит на фабрику чуть свет, а возвращается поздно вечером.

В газете мое положение заметно улучшается. Печатается нижними фельетонами моя «Горничная» под новым названием, придуманным Потресовым «По-господски».

Тихо и покойно плывут дни мои. Сыт, одет, крепко и долго сплю, не думаю о завтрашнем дне и все же не чувствую той живой радости, какая должна быть у счастливого человека.

Прежде всего мне скучно быть одному.

Злюсь и ненавижу Асмолова, этого богатого фабриканта, эксплуатирующего мою Танечку.

Потом мне надоели исправления моих рукописей Розенштейном и Потресовым. Каждый из них по-своему распоряжается моим трудом. В результате не узнаю своих произведений, когда читаю их в газете.

Хорошая жизнь влияет на характер. Застенчивость, неуверенность, робость понемногу оставляют меня. Делаюсь вспыльчивым, дерзким и положительно дичаю.

Меня, например, раздражает зависимость Татьяны Алексеевны от фабрики. Хочу иметь жену свободную, а не рабу Асмолова.

Хочу раз в жизни быть напечатанным без редакторской правки.

Все эти «хочу» злят, волнуют и приводят меня в бешенство.

Один мечусь я по нашей комнате и боюсь, что не выдержу этой тихой жизни.

Два скандала в один день. Под вечер врываюсь в кабинет Розенштейна и кричу злобно и дерзко:

— Прошу прекратить печатание «По-господски»! Не хочу быть смешным и подписыв-

вать не Принадлежащие мне фельетоны...

У Розенштейна спадает пенсне. Широко раскрыты близорукие глаза.

— Что с вами?.. И вообще, нельзя ли потише...

— Одну минутку... Прошу выслушать. Скажите, как бы вы себя чувствовали, если бы все, что вы пишете, кто-нибудь стал бы исправлять так, что вы не узнали бы своих статей?..

— Позвольте, — перебивает Наум Израилевич, — ваша аналогия никуда не годится: я с высшим образованием, старый, опытный журналист, а вы...

— Знаю, знаю... А я — человек, пришедший с улицы, малограмотный, никому не известный... Но доколе?! Вот уже два года не даете возможности увидеть полностью в печати мой труд — плоды тяжких дум и терзаний...

Входит Потресов. Тут уж я совсем не выдерживаю и обоих учителей осыпаю тяжкими упреками.

Второй скандал происходит в тот же день вечером у меня дома.

На этот раз жертвой является ни в чем

неповинная Татьяна Алексеевна.

Сейчас пробьет десять, а жены нет. Теплый вечер многолиственным садом вплотную прижимается к раскрытому окну. На черном небе разноцветными камнями сверкают крупные звезды. Из далеких безбрежных степей ласковый ветер вливает прохладу в мягкий сумрак летнего вечера.

Тишина. Тикают часы. В прихожей на большом сундуке спит Слешутка. На кухонном столе рыжий кот усердно моет лапой усатую морду.

Средд неподвижного покоя четкой дробью постукивают высокие и тонкие каблучки по камням мощеного двора.

— Леша, я иду... — слышу знакомый голос. Молчу. Злые черти мутят мой разум.

— Что с тобой?.. Ты сердишься?..

— Да, сержусь!.. Такой прекрасный вечер!.. все люди живут и радуются, а я, подобно арестанту, сижу один в этой квадратной комнате и жду, когда меня осчастливит своим приходом раба фабриканта!..

— Леша, ты снова за свое. Не могу же я бросить дело. Готовимся к нижегородской!..

— Слышать не хочу! — сразу возвышаю тон. — Ненавижу твою фабрику... Я заболел от ненависти к твоему хозяину... Тысячи людей работают для увеличения его капитала... Этот идиот, не умеющий двух слов связать, обладает собственным театром, купается в роскоши и властвует над жизнью... За что?!. За какие доблести!..

Бегаю по комнате и криком возбуждаю себя. Мне нравится, что могу, наконец, выпрямить злобу, столько лет лежавшую под прессом унижения и презренной нищеты.

Заканчивается сцена тихими слезами Татьяны Алексеевны и моей мольбой о прощении.

Сегодня воскресенье. Жена весь день дома. Утром приносят газету. Читаю вслух продолжение моей повести. К великой радости, почти никаких исправлений. Впрочем, есть одно изменение: там, где у меня сказано «чувствовать», в газете напечатано «реагировать».

Слово новое и мало кому понятное. Зато я доволен тем, что в целостности остался диалог и не тронуты описания природы.

— Вот видишь, Таня, — говорю я, — не учи-

ни я скандала, они бы и эту главу исказили.

После утреннего кофе к нам приходит Миша Городецкий. Он, по обыкновению, весел, шумлив и остроумен.

— Простите, если нарушил благочиние вашей часовни. Здесь у вас так тихо, и все по-серьезному, а я так громко говорю, что...

— Бросьте шутить. Мы далеко не тихие. Не хотите ли лучше кофе? предлагает Татьяна Алексеевна.

— Нет, спасибо... Я пришел к вам с предложением сделать вас богатыми. Хочешь заработать? — обращается гость ко мне и, не дожидаясь ответа, продолжает: — мне пришла в голову счастливая мысль — издать отдельной книжкой твои «Ростовские трущобы». Я ни капельки не сомневаюсь в полном успехе. Напечатаем тысячу экземпляров и продадим в один день. Заработаешь, знаешь сколько?.. Пятьсот рублей!.. У меня для этого уже имеется типография, а Панченко обещает в кредит бумагу. Согласен?.. Что же ты молчишь?..

— Это не анекдот? — шутливо спрашивает Татьяна Алексеевна.

— Почему анекдот? Разве вы считаете «Ро-

стовские трущобы» недостойными быть изданными отдельной книгой?

— Допустим, что я не такого мнения. Но у нас денег нет.

Городецкий со свойственной ему пылкостью доказывает, что платить за бумагу и печать не придется — книга окупит себя немедленно.

— Чем вы, наконец, рискуете! — восклицает он.

Даю согласие.

С этого дня все интересы тихо налаженной жизни уходят на задний план. Все мысли, все мечты мои полны будущей книжкой.

Заранее представляю себе книжные магазины, библиотеки, где лежит книга с моим именем на заглавном листе.

Подбираю материал. Внимательно и строго перечитываю очерки, и, где возможно, уничтожаю правку Розенштейна.

Работаю по вечерам вместе с Татьяной Алексеевной.

Ее советы и указания принимаю безоговорочно.

Литературное чутье этой малограмотной

фабричной работницы приводит меня в изумление. Невольно подчиняюсь ей. Танечка становится единственным критиком и ценителем моих литературных опытов. Уроженка Петербурга — она говорит на прекрасном русском языке. В затруднительные моменты моей работы часто прибегаю к ее помощи.

Почти ежедневно заглядывает к нам Федор Васильевич.

Усаживаемся втроем за стол. Читаю исправленные мною страницы будущей книги. Христо остается все тем же восторженным поклонником моих произведений и по-детски радуется каждой удачной фразе, каждому образному выражению. Татьяна Алексеевна более сдержана в своих похвалах, но все же верит в успех книги.

Так в одинокие часы бесшумной провинциальной жизни стараюсь взять первую ступень литературной лестницы.

Все дни провожу в типографии. Заинтересован я до чрезвычайности. Впервые вижу, как делается книга.

Чувство гордости вливается в мое созна-

ние, когда мне подадут длинные гранки корректуры.

Уношу гранки домой. С помощью орфографического словаря пробую выправить опечатки. И вот тут гордость оставляет меня. Сознаю свое неумение, свою малограмотность и падаю духом. В данном случае Татьяна Алексеевна — не помощница: она, подобно мне, не имеет ни малейшего понятия о корректуре и не очень сильна в грамматике.

Приходится подавить самолюбие и обратиться к Никитину — нашему старшему корректору.

Глубокой осенью, когда обедневшая природа никнет под напором ветров и дождей, когда деревья, подобно нищим, протягивают прохожим оголенные ветви и когда невысказанная тоска проникает во все углы человеческой жизни, — меня посещает небывалая радость: в свет выходит моя первая книжка.

Вот лежит передо мною авторский экземпляр. Пусть обложка бледная, пусть от титульного шрифта и наивной виньетки веет провинцией, но эта книга моя, мною созданная, мною выстраданная. И осень светит мне,

и нет уже места для тоски.

Показываю новинку Розенштейну, Потресову и всем остальным сотрудникам нашей газеты. Весь день горю любовью к людям, к тусклому непогожему небу, прощаю обиды и тихо улыбаюсь книге моей.

Дома, в ожидании прихода жены, я перелистываю страницы, ставлю ребром, кладу плашмя и шепчу: «моя книга». Вечером выхожу встречать жену, захватив с собой наше детище. Шуршит ветер, поднимая прибитую ненастьем листву. Промозглая муть висит над головой, а мне тепло и весело.

— Уже вышла!.. — кричу я, завидя Таню. — Вот, видишь...

Вытаскиваю из-за пазухи книжку.

Татьяна Алексеевна улыбается моему нетерпению и моей восторженности.

Быстро уходят дни моей радости. Уверения Городецкого, что издание разойдется в самое короткое время, не оправдываются. Книга большими кипами лежит без движения в типографии. Никто не спрашивает, никому неинтересно, и ни одного покупателя.

В довершение ко всему приходится пла-

тить Панченко за бумагу, а типографии — за набор и печать.

Расплачивается, конечно, Татьяна Алексеевна. Она молчит, но в ее круглых серых глазах вижу печаль. В доме ни одного лишнего рубля. В моем сердце уже гнездится тревога о завтрашнем дне.

Главный виновник избегает встреч. Но в один холодный день ловлю его около редакции.

— Миша, где же твои обещания?.. Ведь ты хотел в один день распродать книгу... Зачем тебе нужно было ввергнуть меня в несчастье?..

— Позволь, позволь... Пожалуйста, не делай трагедий... Ничего ужасного не случилось...

Китайские глаза смеются, он ласково треплет меня по плечу и тащит в редакцию.

Там, в хроникерской, Городецкий произносит горячую речь о великом значении рекламы.

— Америка, — говорит он, — давно уже бросила лозунг: «реклама есть двигатель торговли». Сам посуди, откуда читатель может

знать о выходе в свет твоей книги, если об этом нет ни одного объявления, ни одного звука. Теперь дальше. Посланы книги для отзыва в Петербург, в Москву и в другие города? Нет, не посланы!.. А ты хочешь, чтобы издание само разошлось. Издание — имя существительное неодушевленное и само двигаться не может... Чудак! Еще обижается... Уж если ты хочешь выйти из затруднительного положения, то сделай вот что: попроси Розенштейна, чтобы он, или Потресов, или даже я написал критическую заметку о «Ростовских трущобах». Потом дальше. Завтра же отправь во все крупные города книгу для отзыва. А главное, — заканчивает Городецкий, — пусть завтра же появится объявление в нашем «Приазовском крае»; Миша окончательно убеждает меня. В моем сознании уже теплится надежда. Стучусь к Розенштейну.

Наум Израилевич выслушивает меня, делает брезгливую мину и говорит:

— Как вам не стыдно... Литератор прибегает к рекламе... Врачи — и те стали избегать этого. А вы хотите в газете, где я состою редактором, поместить объявление о книге. Кроме

того, вы сочли нужным уничтожить мой редакторский труд над вашими малограмотными очерками.

Ухожу от Розенштейна с болезненной жгучестью стыда и звоном в ушах.

Волоку за собой нанесенную обиду, втаскиваю ее в нашу тихую комнату, и только здесь вступаю в острый спор с обидчиком. Растет во мне гнев не только к Розентштейну, но и к самому себе. Как мог я так съежиться и выпоротым мальчишкой уйти молча, не бросив в его интеллигентную бородку ни одного слова... Какая трусость!.. Стыд и позор!..

Так бью по собственным нервам и, подобно зверю в клетке, мечусь по комнате. Только сейчас в голову приходят крепкие слова, уничтожающие моего тупого учителя.

Два года этот человек насилует мои мысли, убивает все живое, разумное, красивое, заставляет меня убивать собственные чувства и воспринимать либеральный вздор, непонятный мне и моим читателям...

Татьяна Алексеевна застает меня совершенно обессиленным. Я успел уже выкипеть, догореть и сейчас измятый и опустошенный,

роняю перед моей подругой:

— Все рухнуло... Погибаю...

Татьяна Алексеевна относится ко мне с удивительной кротостью, терпением, и, будучи сама огорчена неудачей, находит добрые, ласковые слова утешения.

Миша Городецкий, чувствуя, должно быть, свою вину, всячески старается вывести меня из затруднения. И, наконец, ему удается найти такой исход: владелец единственного книжного магазина в Ростове не прочь приобрести мои «Трущобы» за триста рублей, но с условием, что сто рублей получаю наличными, а остальные — книгами по моему выбору.

Охотно соглашаюсь.

Татьяна Алексеевна радуется благополучному исходу.

В предстоящем выборе книг она хочет принять личное участие. С этой целью она отпрашивается на фабрике и вторую половину дня проводит со мною.

В книжном магазине, не без некоторой горечи, убеждаюсь, что Татьяна Алексеевна куда лучше меня разбирается в книгах. Глаза мои бегают по книжным полкам, читаю на-

звания книг, имена авторов и в первую очередь прошу дать мне стихи Надсона в сиреновом переплете.

Совсем иначе ведет себя моя Танечка. Она не глядит на полки, а прямо диктует список намеченных ею книг.

Чистым сочным контральто, с весело сияющими глазами, она просит достать «Записки охотника» Тургенева и «Бурсу» Помяловского.

Ее круглое лицо с вздернутым носиком и вся ее небольшая, но крепкая и гибкая фигура чрезвычайно оживлены.

Танечка продолжает четко и без запинки:  
— Дайте «Обрыв» Гончарова, Толстого «Война и мир», Достоевского «Братья Карамазовы», Гоголя, Некрасова и однотомник Пушкина...

Потом она оглядывается и понижает голос до шопота:

— И еще дайте «Что делать» Чернышевского... — Возвышая голос: собрание сочинений Белинского и Писарева...

Поглядываю на владельца магазина и вижу удивление в его взгляде. А Танечка, ниче-

го не замечая, продолжает произносить имена корифеев иностранной и русской литературы, пока хозяин не указывает, что сумма полностью уже покрыта.

Едем домой на извозчике, нагруженные книгами.

Мы счастливы.

## **7. Решительный шаг**

**Б**родяжий ли инстинкт во мне говорит или Бисчерпан весь писательский материал, но меня тянет вон из Ростова.

Опротивел мне этот город, омываемый прекрасной рекой и освещенный южным солнцем.

Бессильной ненавистью полно мое сознание к крупным и мелким хищникам, завладевшим полуказацким, полуармянским городам.

Мне здесь все знакомо до приторности, до пресыщения. Меня раздражает главная Садовая улица, где широкие каменные тротуары в теплые звездные вечера превращаются в человеческую путину. Мне знаком не только внешний облик местных богачей, но и биографию знаю полностью, до последней чер-

точки.

Парамоновы, Максимовы, Асмоловы, Кушнарева, Шушпановы, Яблоковы и им подобные вершители судеб живой черной полосой проходят в памяти моей, когда, взволнованный кошмарным прошлым, бросаю на бумагу настоящие строки.

Эти «самородки», вышедшие на широкую дорогу наживы и эксплуатации бывшие уличные торговцы, скотогонщики, конокрады, неведомо из каких темных углов явившиеся сюда, а сейчас домовладельцы, фабриканты и банкиры, поддерживают самодержавный строй государства путем официальной благотворительности, постройкой храмов господних и купеческих богаделен.

Когда видишь холеные сытые лица хозяев ростовских фабрик и магазинов, то не верится, что Тер-Абрамьяны, Чарахчьянцы, Яблоковы и Арутюновы принадлежат к армянскому народу, задавленному нищетой, бесправием, погромами и гонениями, как не верится, что Максимовы и Парамоновы, эти величайшие пауки края, являются потомками смиренных крестьян и бурлаков.

Все, о чем позволяют писать Розенштейн и цензура, мною использовано до конца, до последнего предела.

Больше писать не о чем. Каменноугольные шахты, голь ростовских окраин, бойни — «фабрика мяса», трущобы, быт рыбаков, ломовых извозчиков, комиссионеров, хлебных откупщиков и жизнь рабочих — уже даны мною. И сейчас, внутренне опустошенный, ищу темы, подобно банкроту, ищущему займодавца.

— Таня, уедем отсюда... Умоляю тебя... Сгнию я здесь...

Жена смотрит на меня большими грустными глазами и, улыбкой скрывая печаль, тихо спрашивает:

— Куда, безумный?..

— К тебе, в Петербург. У тебя там родной брат живет, кумовья, мама крестная...

Жена посмеивается:

— Нашел родню — кумовья да мама крестная... А брат — так ты сам ведь знаешь, что временами приходится высылать ему немного денег... Кроме того, чем мы там жить будем?

— Стану работать. Целый роман напишу...

— Слышала, — перебивает Таня. — Но ведь это мечты, ни на чем не основанные. Пока напишешь роман, мы успеем трижды умереть с голода. А помимо всего, чтобы быть напечатанным в Петербурге, надо иметь имя.

Обычно такая беседа заканчивается тем, что убитый последним аргументом об отсутствии литературного имени, впадаю в уныние и умолкаю. Но сегодня происходит событие, неожиданное не только для нас, но и для всех наших друзей и знакомых.

В обеденный час приходит Потресов. Он чем-то взволнован. В здоровой руке у него какая-то газета. Маленькая фигурка с короткой ногой приплясывает. Под усами играет улыбка, а глаза сияют радостью.

— Я принес вам большой подарок... С вас, Татьяна Алексеевна, пирожное...

Потресов с помощью сухой полумертвой руки разворачивает большую газетную простыню, где на первой странице огромными черными буквами напечатано: «Новости».

— Читайте здесь. Узнаете фамилию?

Три головы склоняются над столом, где ле-

жит развернутая газета. Большой нижний фельетон, за подписью известного критика Скабичевского, озаглавлен так: «Ростовские труппы» — сочинение А. И. Свирского.

Мгновенно теряю зрение. Пляшут строки, сливаются знаки. Верю и не верю.

Потресов, шепелявя, читает громко и немного нараспев.

Скабичевский хвалит мою книгу. Он находит, что «господин Свирский» вносит в современную литературу новую социальную тему... И вообще много хорошего говорит Скабичевский о молодом авторе «господине Свирском».

Чувствую, что схожу с ума.

Мое появление в редакции превращается в маленький триумф.

Меня поздравляют, крепко пожимают руку и весело мне улыбаются.

Мне в эту минуту почему-то кажется, что становлюсь немного выше ростом.

Анна Абрамовна с обычной для нее добротой говорит:

— От души рада за вас. Читала и нахожу статью справедливой и совершенно верной.

Теперь ваше имя станет известным в столице. Обстоятельство чрезвычайно важное для вас, начинающего писателя.

Слушаю, конфужусь и не знаю, как себя держать. Понимаю, что в данную минуту мне надо быть скромным и не давать чувству радости бросаться в глаза.

Вхожу в кабинет Розенштейна. Редактор и учитель встает мне навстречу, обеими руками жмет мою руку и взволнованным голосом поздравляет с успехом.

— Скажу откровенно — большая удача выпала на вашу долю. «Новости» единственный либеральный орган... Настоящая большая пресса заговорила о вас... Скабичевский — признанный авторитет... Да, вы можете гордиться, заканчивает Наум Израилевич и еще раз пожимает руку.

Возвращаюсь домой и без всяких предисловий вступаю в яростную борьбу с Татьяной Алексеевной, требуя немедленного ее ухода с фабрики.

— Бросай фабрику и собирай монатки... Едем в Петербург...

Сначала жена принимает мой выпад за

шутку и весело смеется.

— Ты уже заказал поезд? — спрашивает она сквозь смех.

— Какой поезд?

— Особенный, специально для нас.

— Прошу оставить шутки... Завтра же заяви об уходе, в противном случае уеду один.

Татьяна Алексеевна отступает от меня, укоризненно качает головой и произносит шопотом:

— Ты рехнулся... Разве можно так ломать жизнь?.. Статья Скабичевского, конечно, имеет большое значение, но, как мне известно, никто пока тебя в Петербург не приглашает. Потом, на какие средства поедем? Ведь понадобится несколько сот рублей, чтобы приехать и ждать, когда начнешь печататься в столице.

И снова сдаюсь, хотя убежден, что скоро победа будет на моей стороне. Неужели не сбудутся мои мечты, неужели растает розовый хоровод моих надежд... Нет, я настою на своем... Иного пути нет для меня...

Еще одно событие. Из Петербурга телеграфируют «Приазовскому краю» о предстоящем

приезде в Ростов известного писателя Василия Ивановича Немировича-Данченко.

В редакции переполох. Готовят встречу. Идет спор о том, где чествовать писателя — в редакции или в Коммерческом клубе.

Большинством голосов решено устроить встречу в редакции.

Наступает день приезда. Мы все возбуждены. Потресов почему-то волнуется больше всех.

— Наконец-то мы увидим настоящего писателя... — неоднократно повторяет он.

Я тоже волнуюсь и с нетерпением жду приезда известного литератора.

В полдень с курьерским прибывает Немирович-Данченко.

Прибывшего встречают Розенштейн с женой, Потресов, Мяша Городецкая, Никитин и я.

Из вагона первого класса выходит мужчина среднего роста. На нем чудесное осеннее пальто, цилиндр, шелковое необычайно яркое кашне и светло-желтые лайковые перчатки. Запоминаю широкую выпуклую грудь, пышную темно-русую бороду с раздвоенными

концами и приветливые глаза неопределенного цвета.

По дороге Василий Иванович рассказывает нам о причине своего приезда в область войска Донского.

— Задумал, — говорит он, — написать роман из жизни углекопов. Но я, как и Золя, натуралист — люблю рисовать жизнь с натуры. Для этой цели необходимо лично ознакомиться с Донецким бассейном и опуститься в самые глубокие шахты. У меня в Петербурге на столе лежат два приглашения: одно от австрийского императора Франца-Иосифа, а другое от Анатоля Франса. Но я отложил эти визиты и приехал, как видите, сюда, — добавляет он.

Гляжу на приезжего и прихожу в восхищение. Какое высокое место занимает в жизни и как он прост!..

В самой большой комнате по-праздничному сервирован стол.

Хрусталь нашего хозяина Арутюнова горит алмазными искрами, а двойная шеренга бутылок с дорогими винами внушает к себе уважение.

За обильным завтраком Немирович-Данченко очаровывает нас замечательно интересными рассказами о своих путешествиях по всем странам света.

Василия Ивановича знает весь мир. В Америке Рокфеллер, Марк Твен и многие другие знаменитости его закадычные друзья. С большим подъемом рассказывает писатель о своем пребывании в прошлом году в Испании.

— Об этой стране, — сообщает нам Василий Иванович, — написана книга в шестьдесят пять авторских листов. Называется «Край Марии Пречистой»... Вот где истинная красота!.. Трудно себе представить страну более счастливую, более веселую... А какая природа. Как пахнет в лимонных и апельсиновых рощах!.. Какие реки, озера, горы и долины... Но лучше всего эта детская чистота нравов... Мы с испанской королевой на другой день нашего знакомства были уже на «ты»...

Мы слушаем гостя с непередаваемым любопытством.

Всегда молчаливый Никитин выходит из обычных рамок, и под влиянием хорошего вина он оживляется и становится развязным.

У Никитина зарумяниваются щеки, из-под тяжелой лобовины поблескивают глаза, и широкие усы приходят в движение от доброй улыбки. Он поднимается с места и произносит коротенький тост:

— Господин Немирович-Данченко, простите, забыл отчество. Вы, так сказать, великий писатель, и я поднимаю, так сказать, в вашу честь вот этот, так сказать, бокал...

Становится шумно, весело, и в оранжевом тумане кружится голова.

В конце завтрака наш высокий гость удостоивает меня коротенькой беседой. С особенным интересом относится он к моему пребыванию в Александровске-Грушевске, где я в продолжение двух месяцев знакомился с бытом, нравами и каторжным трудом углекопов.

— И вы много написали? — спрашивает Василий Иванович.

Отвечаю, что очерки «Под землей» в количестве двадцати фельетонов уже напечатаны в «Приазовском крае».

Тогда Немирович-Данченко обращается с просьбой к Розенштейну собрать для него

комплект тех номеров, где напечатаны мои рассказы об углекопах.

Иду домой. Вино горит в моей крови и поет песню о моем блестящем будущем и о многих иных неизведанных радостях, какие только могут родиться в пьяной голове.

Борьба за отъезд в Петербург продолжается. Татьяна Алексеевна постепенно сдает позиции. Причина этому мое ничегонеделание и безразличное отношение к окружающему. Как Танечка ни уговаривает меня сесть за письменный стол, не могу ничего поделаться с собой: в голове ни одной мысли, ни одного образа. Непроницаемая мгла висит перед моим мысленным взором.

— Не могу я больше!.. Не могу!.. — кричу я в бешенстве. — Мне ненавистна наша бедная, бессодержательная жизнь... Этот город крупных жуликов и мелких мещан сведет меня с ума!.. И помни, Таня, если я превращусь, по выражению Розенштейна, в мизерабля или вместе с Рудовым сопьюсь окончательно и бесповоротно, то виновата будешь ты!..

Способен целыми часами бегать по комнате, кричать, возмущаться, проклинать или же

забиться в угол, смотреть скорбными глазами в одну точку и молчать.

Моя единственная спутница жизни не может равнодушно относиться к моему отчаянию и невольно склоняется к мысли об отъезде.

— Леша, ну, хорошо... Допустим, что, мы уедем. Но подумал ли ты о тех трудностях, какие ждут нас впереди? Знаю, ты не позволишь мне поступить папиросницей на одну из петербургских фабрик. Потом у тебя тоже ничего нет готового. Подумай хорошенько и согласись- нас ждет в столице нужда и страшная борьба за кусок хлеба...

— Вот и хорошо! — горячо перебиваю я: — люблю борьбу. Без борьбы нет достижений... Да о чем говорить, меня уже там знают... Скабичевский, Немирович-Данченко... Мало ли кто еще нам встретится на пути... И, наконец, не бездарность же я какая-нибудь!..

На этот раз побеждаю бесповоротно. Татьяна Алексеевна бросает фабрику.

Осенний сумрак рассвета. Мелкий косой дождь, гонимый ветром, усиливает тоску. Мы с Татьяной Алексеевной едем на вокзал. Там

нас ждет Федор Васильевич...

Из всех знакомых и друзей один он — этот странный портной с сердцем поэта — нашел возможным в ненастную ночь притти сюда, чтобы в последний раз обнять меня.

Татьяна Алексеевна старается быть оживленной, веселой, но это ей плохо удается. Я вижу в ее глазах скрытую печаль, и не ускользает от моего взгляда тот момент, когда она белым платочком смахивает с ресниц набежавшую слезу.

Четыре года прожил я в большом многолюдном городе. Здесь я познал первые восторги писательского творчества, здесь я вынашивал будущие произведения, здесь в тессонные ночи оплакивал свою суровую молодость...

Сколько друзей и знакомых приобретено за эти четыре года! Но в этот холодный час, когда навсегда покидаю город, — около меня один только Христо.

Мой бедный друг, никогда не забуду твоих честных глаз и твоего благородного сердца...

## **8. Скабичевский**

**П**етербург встречает нас салютом. В Петропавловской крепости ревет пушка, изве-

щающая население о предстоящем наводнении. Въезжаем в сырую изморозь осеннего утра.

Сквозь серый сумрак болотными цветами Желтеют, огни огромных витрин Невского проспекта. По широким панелям неразрывной массой текут сторбленные силуэты людей, привыкших к бессолнечным дням непогожего севера.

Глухо стучат подковы брюхатой лошадки нашего извозчика... Татьяна Алексеевна заметно оживляется.

— Вот Знаменская церковь. Здесь меня крестили, — говорит она, указывая рукой на большую круглую глыбу, окутанную мутными волнами тумана.

После долгих скитаний по мокрым улицам, остуженным суровым дыханием недалекого взморья, мы находим комнату на одной из линий Васильевского острова.

Уплачиваю квартирной хозяйке за два месяца вперед.

Покупаю трехпудовый мешок картофеля. Запасаюсь чаем и сахаром. К концу дня у нас еще остается семь рублей с копейками.

— Живем, Таня!.. Не робей, курнофиля... Вот увидишь, как хорошо все устроится!.. Чорт с ней, с непогодой! Было бы светло вот здесь, внутри...

Говорю преувеличенно весело. Стараюсь показать себя бодрым, сильным, уверенным.

Татьяна Алексеевна верит, успокаивается и, по-видимому, рада, что попала на родину.

- Завтра сходим в Галерную гавань. Зайдем к Коле. Вот обрадуется!.. Потом можем посетить Никульцевых, — мечтательно говорит жена.

А я в эту минуту думаю о Скабичевском. Он представляется мне человеком высокого роста, с большой окладистой бородой и добрыми голубыми глазами. Подожду еще денька два, осмотрюсь, приведу себя в порядок, а затем...

Тут мечта начинает творить легенду. Знаменитый критик очень рад моему приезду. Он хвалит «Ростовские трущобы», ласкает меня теплыми лучистыми глазами и предлагает мне вступить в члены редакции только что образовавшегося толстого журнала «Слово».

Проходит день. Ночью долго не могу за-

снуть. Яркие лучи предстоящего успеха играют в моем сознании. Ощущаю себя в большом многолюдном городе, в центре умственной жизни страны, и, обогретый, успокоенный, я улыбаюсь моему будущему и набираюсь сил для следующего дня.

Татьяна Алексеевна знакомит меня с родным своим братом, Николаем Алексеевичем Ростовцевым, работающим на Русско-Балтийском судостроительном заводе в качестве слесаря.

Входим в маленькую комнатенку с убогой обстановкой и ощутительным запахом сырости.

Николай Алексеевич человек небольшого роста, коренастый, с круглой, коротко остриженной головой. Он светлый блондин с темными усами и небольшой бородкой. Из-под пушистых бровей весело выглядывают небольшие голубые глаза.

Происходит трогательная встреча. Появление единственной сестры, после пятнадцатилетней разлуки, приводит Колю в такое состояние, что несколько мгновений он не может слова вымолвить.

Взволнована и моя Таня. У сестры и брата глаза полны слез.

Узнаем, что Николай Алексеевич второй месяц сидит без работы.

Его жена, довольно миловидная женщина, не спускает удивленных глаз с Татьяны Алексеевны.

В этом полутемном уголке играет трехлетняя белокурая девочка, похожая на куклу.

Татьяна Алексеевна берет ребенка на руки, с материнской нежностью ласкает свою маленькую и единственную племянницу, названную Таней в честь тети.

Худенькое личико, обрамленное светлорусыми локонами, рахитичные ножки и преждевременная печаль в чистых детских глазах, — вызывают чувство острой жалости.

Завязывается разговор между тетей и племянницей.

— Ты знаешь, кто я тебе такая?

— Здаю. Моя тетя, — правильно выговаривая слова, отвечает светлокудрая малютка.

— Покажи, как ты любишь тетю, — вмешивается мать.

Ребенок обеими ручонками обвивает шею

Татьяны Алексеевны.

Мягким светом озаряется лицо жены моей. Непередаваемую ласку источают ее глаза.

— А кто этот дядя? — экзаменуют родители дочку, указывая, ей на меня.

— Знаю, — слышится тонкий голосок.

— Как зовут?

— Дядя Леша...

— К нам пойдешь жить? — вдруг вырывается у меня вопрос.

— Пойду, — отвечает малютка и крепко обнимает ручонками шею Татьяны Алексеевны.

Мы с женой многозначительно переглядываемся. Незаметно передаю ей трехрублевую бумажку.

Собираемся уходить. Девочка поднимает рев. Заканчивается тем, что родители вместе с дочкой идут нас провожать.

Приходим к нам. Угощаем родственников чаем. Татьяна Алексеевна подробно спрашивает о знакомых, о бывших друзьях, о двоюродных сестрах и о маме крестной.

Девочка все время держит себя прилично. Сама играет безделушками и ни малейшего каприза... Даже родители удивляются.

Но стоит им только подняться с места, как Танюшка заявляет о своем желании остаться здесь. Никакие уговоры не помогают. Ребенок плачет обильными слезами.

Мы снова переглядываемся с женой, после чего я предлагаю оставить до утра ребенка у нас.

Отец и мать колеблются. Но плач ребенка побеждает, и девочка остается у нас.

Нужда берет меня за шиворот, усаживает за стол и шепчет: «Пиши, иначе погибнешь»...

Я подчиняюсь. Иного исхода нет. Надежда на Скабичевского еще не угасла. Но как я пойду к нему с пустыми рзжами?

Эта мысль живет во мне уже вторую неделю. Каждый день беседую по этому поводу с Татьяной Алексеевной.

— Ты, конечно, права, — говорю я ей, — так дальше жить нельзя. Мы уже тащим необходимые вещи в ломбард. Этого надолго нам не хватит. Но и тебе поступать на фабрику не имеет смысла. Будешь гнуть спину целый день за семьдесят пять копеек. Нет уж, подожди... Дай мне дописать...

— Разве я против? Я счастлива, когда вижу тебя за письменным столом. Но ведь ты над каждой страничкой сидишь по нескольку дней... Я боюсь, что мы не дождемся... Я не могу сегодня купить для ребенка молока...

Последние слова Татьяна Алексеевна произносит прерывающимся голосом.

Через несколько дней с рукописью в кармане отправляюсь к Скабичевскому. Я давно знаю, где живет известный критик, знаю дни и часы приема. Не впервые хожу по Фонтанке, заглядываю во двор, приближаюсь мелкими осторожными шажками к заветной двери. Мне стоит потянуть медную ручку звонка, и я увижу того, кем полно мое сознание, кому обязан я моими светлыми надеждами... Но боязнь загнанного человека, горькие остатки бездомной жизни, неуверенность бедняка, с завистью заглядывающего в чужие окна, — отбрасывает меня от двери Скабичевского.

Но сегодня я добьюсь свидания. Не стану больше обманывать жену, уверяя, что не застал критика дома.

Робко дотрагиваюсь до медной ручки звонка и замираю в ожидании.

Шаркают ноги. Открывается дверь. Небольшого роста старик с опухшим лицом, с полуголым черепом, с заплывшими маленькими глазами, с отвислой нижней губой, шамкая и хрипя, спрашивает: — Вам чего?

— Мне нужно к господину Скабичевскому, — набравшись храбрости, говорю я.

Старик проводит по черепу рукой в теплой вязаной перчатке без пальцев и шамкает:

— Допустим, что я Скабичевский. А дальше что?

— Видите ли... Мне хотелось... Я — Свирский...

— Ну, так что ж?

— Вы обо мне писали... о «Ростовских трущобах»...

— Ну, так что ж?

Теряю почву. Слабеют ноги.

Вытаскиваю сшитую мною тетрадку и дрожащей рукой протягиваю ее критику. Так инвалид, выпавший из жизни, подает благодетелю заявление о бедности.

— Как называется?

— «В царстве нищеты».

— Хорошо, придете через две недели за от-

ветом — не сюда, а в редакцию, — добавляет Скабичевский и протягивает мне опухшие короткие пальцы.

С меня и этого довольно. Хоть в передней, а все же принял.

Стараюсь внушить себе, что очерки возьмут, и я, скромный провинциальный сотрудник буду напечатан в толстом столичном журнале.

Сегодня во мне не горят огни надежд и принижено молчит фантазия. Иду пешком через весь город. Стучат колеса ломовых извозчиков, шумит огромный город тысячами голосов, а в ушах моих слышится голос старика: «Ну, так что ж?» Вечер. За единственным окном гудит холодный приморский ветер.

Комната тускло освещена столовой лампой с розовым абажуром в виде тюльпана. Маленькая Танюшка крепко спит на диване. Мы с женой сидим перед печкой, смотрим на догорающие дрова и тихо обмениваемся мыслями.

Разговор вертится вокруг имени Скабичевского. В нашей необеспеченной жизни это имя является для нас символом веры, упова-

ния и будущей радости.

Скрываю от жены холодный прием, оказанный мне Скабичевским.

И поэтому она вместе со мною плетет венки грядущего счастья, выдуманного мною.

Зарываю картофель в тлеющую золу, закуриваем дешевые папиросы «Пушка», пахнущие угаром, и продолжаем нашу беседу.

Осталось пять дней. Скоро конец нашим бедам. Снимем квартиру, создадим уют, подрастет Танюшка, отдадим ее в школу...

Неожиданный стук в дверь прерывает мою речь.

— Войдите!

Входят — Миша Городецкий и Потресов. Мы удивлены, обрадованы и смущены.

— А мы вот они!.. — восклицает Городецкий, но, завидя спящего ребенка, ладонью закрывает рот, обводит меня и жену прищуренным взглядом и многозначительно спрашивает:

— Уже?.. Как скоро!..

Вопрос вызывает общий смех.

Татьяна Алексеевна в отчаянии — нет угощения. В доме один двугривенный. Но гости

непритязательны, и оба заявляют о своей любви к печеному картофелю.

Завязывается оживленная беседа. Узнаем интересные новости.

Розенштейн, Никитин, Потресов и Городецкий оставили «Приазовский край». Московский Сытин открывает новую газету под названием «Русское слово». Розенштейн приглашен редактором. Он сейчас в Москве.

— А мы, — говорит Миша, — приехали сюда познакомиться с представителями высшего света и как-нибудь поуютнее устроиться в Зимнем дворце... Ну, а как ты себя чувствуешь «на берегу пустынных волн?»

Мне стыдно сознаться в моей неустроенности. Тем не менее отвечаю:

— Пока неплохо. Был у Скабичевского, сдал ему новые очерки для толстого журнала «Слово» и... вообще неплохо.

Татьяна Алексеевна, не переносящая лжи, перебивает меня и со всею откровенностью рассказывает гостям о нашем более чем тяжелом положении.

Потресов и Городецкий оживляются, и глаза становятся веселыми.

— В таком случае, — начинает Городец-кий, — разрешите и нам быть откровенными: ваша печеная картошка является для нас и завтраком, и обедом, и ужином...

Мы переглядываемся и умолкаем.

Догорает лампа. Сопит носиком ребенок. Гости уходят. Тишина.

— «Ну, так что ж?» — шелестит голос Скабичевского.

Наступает для меня день страшного суда. Моя судьба в руках Скабичевского. Бедная Таня молчит, но сколько тревоги в ее больших серых глазах. Мысленно перечитываю рукопись, сданную мною.

В целом ряде очерков я рисую жизнь промысловых нищих. Даю склизкое дно жизни, населенное людьми, потерявшими облик человеческий. Стараюсь доказать, что мои персонажи тоже люди и, может быть, неплохие.

Утверждают, что падение человека зависит не от него самого, от экономических условий, от общественного строя и от среды, окружающей его.

Все люди рождаются одинаковыми — маленькими, голенькими и беспомощными. Нет

мудреца, способного, глядя на младенца, сказать — он будет нищим или он будет членом государственного совета. Но почему так много на свете несчастных, обездоленных и изгнанных из жизни?..

Перед этим острым вопросом стою в недоумении. Но зато мне хорошо знаком быт униженных людей. И этим бытом, множеством фактов, свидетельствующих о жестокой несправедливости и бесправии, насыщены мои очерки.

Неужели. Скабичевский отвергнет?.. Ведь я все свои силы вложил, и, когда писал, у меня внутри рыдал каждый нерв от жалости к людям, измолотым и задавленным чьей-то тяжелой, жестокой рукой.

Розенштейн называет Скабичевского либералом. Хорошенько разобраться в значении этого слова я не могу, но думаю, что слово хорошее, и Скабичевский мои очерки примет и напечатает.

Так в это серое холодное утро, направляясь в редакцию, успокаиваю себя.

Сторож, высокий, тощий старик, говорит мне:

— Пойдешь по коридору — вторая дверь направо.

На минутку останавливаюсь. Хочу унять волнение сердца.

— Здравствуйте, — обращаюсь я к широкой спине Скабичевского.

Старик поворачивает голову. Замечаю на его затылке длинные жидкие волосы, ниспадающие на плечи. Он вглядывается в меня, вспоминает, шарит опухшими руками по столу, находит рукопись и говорит:

— Прочитал... Неплохо, но для толстого журнала не подходит: материал незначителен. Вы бы к Нотовичу снесли в «Новости»...

Выхожу. Передо мною темная завеса. Мне становится страшно.

Как хорошо умереть сейчас!..

## 9. Большая пресса

Долго брожу по городу без дум, без желаний. Боюсь итти домой.

Жена не выдержит тяжкого удара. И вдруг в моем сознании появляются мысли о Немировиче-Данченко.

Этот человек мне поможет. Он такой жизненнообильный, здоровый, красивый и, наверно,

добрый.

В адресном столе узнаю, где он живет. Нахожу: отель «Англеттер». Швейцар велит мне подняться на второй этаж. Там в седьмом номере живет известный писатель.

Стучусь.

Номер состоит из двух комнат. В первой, куда попадаю, стоит большой письменный стол, украшенный мраморными и бронзовыми вещами. Шкаф с книгами, красивая шифоньерка, наполненная дорогими безделушками, ковер во всю комнату, мягкая мебель, плюшевые драпри, — все это производит на меня огромное впечатление.

— Здравствуйте, дорогой мой, — весело приветствует меня Василий Иванович.

Он входит в кабинет, заглядывает в длиненькую алфавитную книжку и продолжает:

— Очень рад вас видеть, Алексей Иванович.

У меня, вероятно, довольно глупый вид — не перестаю улыбаться и кланяться.

— Вы что пьете? Кофе или чай?

Бормочу слова благодарности и кланяюсь.

Лакей на серебряном подносе ставит на

особый столик два стакана чаю в серебряных подстаканниках.

Украдкой бегаю глазами по мощной фигуре Немировича-Данченко и не могу налюбоваться. Он очень красив в этой оранжевой венгерке с черными жгутами на выпуклой груди. Темные и немного жидкие волосы причесаны в виде пера. Но краше всего окладистая, раздвоенная борода.

— Большое вам спасибо за ваши очерки, — говорит хозяин, — я прочитал их с большим вниманием. Они меня, — продолжает он, — до того вдохновили, что я написал повесть «В дудке». Сейчас подарю вам эту книжку.

Василий Иванович быстро, по-молодому встает, подходит к книжному шкафу, берет книжку.

— Вот вам на память. Я использовал вашу терминологию... Сознаюсь откровенно... Но ведь это же пустяки...

Я смущен до крайней степени. Становится жарко. Соображаю с большим трудом. Не понимаю, что такое терминология. Но убежден, что ничего плохого в этом нет.

Простота обращения этого человека успо-

каивает меня и понемногу-начинаю осваиваться. Кстати рассказываю ему о своем сегодняшнем посещении Скабичевского.

— Он дурак, — говорит Немирович-Данченко, двумя пальцами расправляя бороду. — Давно из ума выжил... Не понимаю, зачем так долго жить на свете... Впрочем, погодите — сейчас все устрою.

Василий Иванович снова садится за письменный стол и на своей визитной карточке пишет рекомендацию.

— Вот, подите в газету «Новости» и передайте от меня Нотовичу вот эту карточку. И все будет сделано.

Благодарю, краснею и окончательно запутываюсь в собственных мыслях.

— Ну, что вы... Такие пустяки, — повторяет писатель, провожая меня до самых дверей.

Надолго запоминаю ласковый блеск его глаз и крепкое дружеское пожатие руки.

Иду в «Новости». Вечереет. У каждой хорошо освещенной витрины останавливаюсь и пробую прочесть автограф на книге и рекомендацию на визитной карточке, но, кроме моего имени, ничего прочесть не могу: по-

черк Немировича славится своей неразборчивостью, как я узнаю впоследствии.

Далеко от центра, в сером двухэтажном доме помещается редакция газеты «Новости» и квартира самого редактора-издателя.

Швейцар в полинявшей ливрее и с давно небритым лицом внимательно вглядывается в меня, когда говорю о своем желании видеть Нотовича.

— Вы, должно, впервой сюда пожаловали? — обращается ко мне старый служака.

— Да, — коротко отвечаю я.

— Вот то-то и оно-то...

Швейцар из заднего кармана достает фуляровый платок, вытирает слезящиеся глаза и тихо смеется.

— Меня не обманешь. Как есть всех знаю. И зовут меня Осип, как самого хозяина. А они, хозяин-то, не любят этого и требуют называть меня Андреем... А мне что... Лишь бы не обижали... Вот видишь, лестница идет вверх — там они живут со всем семейством. Там просителей не принимают. Лучше всего скажу тебе, войди сюда, пройди коридорчиком, а там увидишь надпись — секретарь... Господин Ле-

сман звать. Ну, ступай...

Старик открывает дверь.

Лесман, молодой человек с черной бородкой, узнав, что имею от Немировича рекомендацию к Нотовичу, просит меня сесть, а сам подносит визитную карточку Василия Ивановича к лампе и долго читает про себя.

— Ну, и почерк!.. Но все же разобрал... У вас имеется рукопись?

— Да...

Секретарь садится за стол и перелистывает мою тетрадку.

— «В царстве нищеты»... Интересное заглавие... Вы подождите немного. Придет редактор — я вас представлю.

Лесман заинтересован мною. Он помнит статью Скабичевского и в моем лице видит нового сотрудника «Новостей». Мне секретарь нравится. Рассказываю ему о моем сотрудничестве в ростовских газетах и о моем знакомстве с Немировичем-Данченко.

Неожиданно раздается резкий звонок. Я вздрагиваю.

— Вот и редактор, — говорит Лесман.

Он берет папку с рукописями и гранками,

захватывает карточку Немировича и отправляется в редакторский кабинет, — Я доложу о вас, — бросает мне на ходу секретарь.

Насколько мил и добродушен Немирович-Данченко, настолько строг и холоден Нотович. Знаю, что он еврей, и тем не менее, когда вхожу в кабинет и попадаю в фокус его темных зрачков, мне становится не по себе. Суровое выражение бледного лица, обрамленного темно-русой бородой с рыжеватым отливом, и черные сросшиеся брови пугают меня. Даже жировая шишка над правым виском кажется мне строгой.

— Садитесь, — жестом руки указывает мне редактор на близ стоящий стул.

Опускаюсь на краешек и крепко сжимаю руками колени.

— Рукопись ваша очень велика для газеты, но, может быть, если подойдут, напечатаем. Вопрос, как видите, исчерпан.

Встаю, кланяюсь, выхожу и за дверью сталкиваюсь с Лесманом.

— Вы будете напечатаны, и очень скоро, — говорит секретарь.

— Вы попали в хорошее время. Почти все

наши фельетонисты на время прекратили работу... Объясню вам завтра, если зайдете.

Уже вечер. Падает первый снег, мокрый, противный снег. А у меня на сердце праздник.

Так чувствует себя избитый человек, когда попадает в больницу, где нежные руки сестры милосердия накладывают ему повязки на больные места.

Второй раз в моей жизни испытываю безмерную радость, непередаваемую никакими словами, никакой музыкой. В большой петербургской газете на третьей странице появляется начало моих очерков «В царстве нищеты».

Занимаю два полных столбца — триста строк. А внизу курсивом «продолжение следует».

— Понимаешь ли ты, что это значит!.. — весело восклицаю я и тычу пальцем в мою фамилию.

Татьяна Алексеевна улыбается и укоризненно качает головой.

— Ты всегда так, — говорит она, — то приходишь в бешеный восторг, то ныряешь голо-

вой в безудержную печаль.

— Нет, нет, ты не понимаешь. Ведь я чему радуюсь? Мне не важно, что за каждые триста строк получаю не шесть рублей, как в заплесневевшем «Приазовском крае», а пятнадцать. И не то меня радует, что печатаюсь в столице, а то, что мой труд принят и признан не Розенштейном, а самим Нотовичем!..

— Леша, ты прав. Это имеет колоссальное значение для твоего будущего... Но ты мне вот что скажи: где взять рубль на сегодняшний день?..

Вопрос жены отрезвляет меня, и я немедленно падаю на землю.

— Знаешь что — снесем в ломбард наши обручальные кольца... Что такое обручальное кольцо? Эмблема мещанства... Золотом украшенное слабоумие... И, наконец, ведь мы их на днях выкупим, чорт возьми!

Кольца заложены. Иду в редакцию.

Мое появление вызывает заметное любопытство репортеров, сотрудников и более крупных лиц, занимающих здесь видное положение.

— Поздравляю с хорошим началом, — при-

ветствует меня Лесман.

— Ваш первый очерк, а в особенности классификация нищей братии, всем очень нравится.

Из смежной комнаты выходит высокий стройный старик-генерал.

Широкие лампасы, сюртук на красной подкладке, золотые эполеты, шпоры, все это производит странное впечатление в обстановке редакции.

— Вот автор «В царстве нищеты», — представляет меня генералу Лесман.

Старик протягивает мне руку.

— Откуда вы почерпали такой материал? Замечательно интересные вещи рассказываете... Где вы встречались с такими людьми?..

— Приходилось... Сам многие годы бродил... — смущенно отвечаю я.

По уходе генерала узнаю от Лесмана, что он музыкальный рецензент газеты и зовут его Цезарь Кюи.

В тот же день знакомлюсь с критиком Скриба. Очень интересный, образованный человек. Впоследствии узнаю, что Скриба, Андреевич и Евгений Соловьев — одно и то же

лицо.

— Вас хочет видеть Маркиз, — говорит мне Лесман, вернувшись из кабинета редактора.

— Это кто?

— Вы же его знаете — Нотович! Мы его называем Маркизом за его гордый нрав, — поясняет секретарь.

В черных глазах Лесмана появляются хитрые огоньки.

— Здравствуйте, молодой человек, — приветствует меня Нотович. — Итак, вам повезло — вы появились на странице большой прессы. Это не так-то просто... Вы не думайте, что войти в «Новости» — все равно, что войти в синагогу... Я вам делаю имя. Не забудьте этого.

Благодарю, краснею, кланяюсь и думаю о том, как бы сохранить скромность.

Застаю дома Мишу Городецкого и Потресова. Стараюсь делать вид, будто ничего не случилось, но гости не дают мне быть простым и покойным.

— Вы взгляните на этого человека, — кричит Городецкий, — какое равнодушие в глазах и какое утомление в лице! Можно поду-

мать, что он десятки лет живет в Санкт-Петербурге и печатается в «Новостях». Нет, брат, от меня не ускользнешь... Твой успех надо вспрыснуть, и немедленно...

Приходится сбегать в лавочку.

За столом завязывается общий разговор. Городецкий жалуется.

Его притесняет полиция. Евреям, даже если они журналисты, жить в Петербурге воспрещается.

— Что же ты думаешь делать?

— Буду бороться. А если очень станет туго, то крещусь. Чем я хуже Генриха Гейне?.. Татьяна Алексеевна, я знаю, вы меня любите, но я хочу, чтобы вы любили меня, как сына.

Жена смеется, ласково похлопывает Городецкого по плечу и придвигает к нему селедку.

Не менее озабочен и Потресов. С «Русским словом» дело затягивается. Сытин, говорят, ищет компаньона, а пока что жить надо, а средств нет.

Обещаю поговорить о нем и о Городецком с Лесманом.

Меня благодарят, крепко пожимают руку и

пьют за мое здоровье.

Растет в моем сознании чувство гордости, но я всеми силами стараюсь скрыть этот порок от друзей моих.

Идем в гости к Никульцевым — старым друзьям Татьяны Алексеевны и Коли. Живут тесно и бедно. Сегодня здесь довольно многолюдно и шумно.

Говорят о студентах, о забастовке на Путиловском заводе, о безработице и о том, как с каждым днем становится труднее жить рабочему.

Не узнаю моей жены. Она очень оживлена, рассказывает о прошлом, делится своими воспоминаниями о Перовской и Желябове, кратко и сильно рисует картину казни народовольцев.

— Я видела, как на телегах везли их. На груди у каждого висела доска с надписью «цареубийца», начертанной большими черными буквами. Стою, вглядываюсь в лица лучших и честнейших людей страны, а у самой в груди буря. Никогда не забуду, как в предсмертных муках корчились тела повешенных... Вот как умирали революционеры... А сейчас мы сами

должны встать на борьбу против рабовладельцев...

Наступает тишина. Маленькое выступление Татьяны Алексеевны производит на присутствующих большое впечатление.

Из рассказов жены я знаю, что она участвовала в движении народовольцев и, будучи шестнадцатилетней девочкой, распространяла прокламации на фабрике Шапшал, где она работала папиросницей, а также прятала у себя в подвале на Лиговке всякую нелегальщину. Но я не мог предположить, что в ней до сих пор живет бунтарка.

Странное чувство испытываю я в этот момент. Я почти писатель, сотрудник большой либеральной газеты, сын рабочего, очутившись среди людей с мозолистыми руками, протестующих против эксплуатации, не знаю, что сказать и вообще как себя проявить в данном случае.

За меня это делает Таня. Она здесь своя. Она понимает и видит глубину рабочего движения.

Дома, со свойственной мне запальчивостью, кляню свое невежество и долгие годы

моего бродяжничества, отнявшего у меня права на жизнь.

Татьяна Алексеевна успокаивает меня, говорит о самообразовании и доказывает мне, что я стою еще на пороге жизни и что от меня зависит стать равноправным борцом за лучшее будущее человечества.

Отныне отдам все мои силы и способности рабочему классу и буду писать только о рабочих, твердо решаю про себя, и в предсонной тишине я вижу яростные битвы и большие победы.

## 10. Маркиз

**М**ягкий пятиградусный мороз, серебряная парча на каменных громадах, ледяной хрусталь, бриллиантами играющий на недолгом солнце, многолюдный город под голубой шапкой высокого неба, звонкий смех молодежи и свежий здоровый воздух, — все это дает чувствовать, что даже здесь, в Петербурге, где так свирепа борьба за жизнь, бывают дни, когда живая, бодрая красота севера может и у бедняка вызвать невольную улыбку коротенькой радости.

В один из таких дней накануне рождества

отправляюсь в редакцию. Иду с тем, чтобы выпросить у Маркиза небольшой аванс.

Мы с женой терпим острую нужду. Тащить в ломбард уже нечего.

Брат Татьяны Алексеевны все еще без работы и единственная дочка остается жить у «богатой» тети.

Сегодня в доме ни копейки. Однако мы не испытываем обычного страха за грядущий день. Мы твердо знаем, что на страницах «Новостей» уже напечатано три тысячи строк — это означает сто пятьдесят рублей. Беда лишь в том, что Нотович выплачивает гонорар сотрудникам раз в месяц — пятого числа.

В редакции застаю Лесмана. Подробно рассказываю ему о тяжелых обстоятельствах, заставляющих меня обратиться к владельцу газеты за авансом.

Лесман выслушивает меня и впадает в задумчивость.

— Вот что я вам скажу, — начинает секретарь после долгого молчания, дело почти безнадежное. Маркиз наш очень тверд в отношении преждевременных выдач гонорара...

— Но ведь я прошу дать хоть небольшую

часть того, что мне уже следует, — нерешительно вставляю я.

— Знаю, знаю... Не вы первый, не вы последний. Все просят небольшую толику заработанного. Но повторяю — наш хозяин в области авансов — кремень. Я могу вам посоветовать обратиться к Блоху...

— Кто это?

— Он муж старшей дочери Нотовича.

Лесман понижает голос и добавляет:

— Девушка хромая долго не могла выйти замуж, и вот нашелся Блох... Он заведует конторой редакции и книжным магазином.

В дальнейшем узнаю от того же Лесмана, что Блох случайно сидит сейчас в кабинете Нотовича один, а обычно его можно видеть на Морской в конторе.

— Зайдите к нему. Достаточно, если он даст вам записку, — советует Лесман.

Застаю Блоха стоящим перед зеркалом. Он закручивает пышные темно-русые усы и оглаживает бородку а ля Буланже. Этому человеку на вид лет тридцать. Он высок ростом, широкоплеч, красив и обладает большими темными наивными глазами, похожи-

ми на глаза двухнедельного теленка. Одет франтом. Так щеголять умеют только провизора или дантисты — женихи богатых невест.

Блох вежливо приглашает сесть и все время не перестает улыбаться, показывая два ряда чудесных зубов.

Он охотно идет навстречу моей просьбе, садится за етол и пишет записку.

— Сколько вы хотите?

— Пишите пятьдесят, — набравшись храбрости, отвечаю я.

В конторе бухгалтер Гинзбург — маленький горбун с острым подбородком и длинными сухими руками, — узнав из записки, что я автор «В царстве нищеты», приветливо улыбается мне и шопотом сообщает:

— Эти записки уже потеряли силу. Маркиз запретил по ним что-либо выдавать, но он как раз сейчас здесь. Зайдите... Может, удастся...

Теряю уверенность. Под ложечкой появляется знакомая мне боль, а в ногах нервная дрожь. Но другого выхода нет. Два близких существа сидят в холодной комнате без хлеба.

— Здравствуйте...

Нотович косит глаза в мою сторону, вместе с бородой и шишкой на лбу откидывается на спинку кресла и, не отвечая на «здравствуй-те», спрашивает:

— Какие ветры вас сюда занесли?

— Я по совету господина Блоха — чуть слышно отвечаю я.

— Напрасно слушаете советы идиота — легко можете попасть в глупое положение. А впрочем, что собственно вам надо?

— Я хотел... немного получить в счет напечатанного...

— Так-с... Все вы с этого начинаете. Позор!.. Кто не знает, что «Новости» платят только пятого числа!..

— Но мне очень нужно... Я больше жить не могу...

К горлу подкатывается ком. Умолкаю.

— Сколько вам нужно, чорт возьми?

Отвечаю, что мне необходимо пятьдесят рублей, и хочу рассказать этому бледнолицему человеку, в каком я нахожусь положении, но он машет рукой, указывает на дверь и бросает мне вслед:

— Подождите там, в конторе.

Удаляюсь.

Сажу на деревянном диванчике у входной двери и сгораю от стыда.

В моем прошлом так много обид, унижений, незаслуженной жестокости, в моей памяти живут нанесенные мне побои, гонения, грубые отказы в ночлеге и... все же никогда так не стучало сердце от негодования, как сейчас, в этой большой конторе, где мирно щелкают счеты и тихо поскрипывают перья.

Час мучительного ожидания. Темнеет. Однорукий уборщик с длинными черными усами повертывает выключатели. Взлетает белый свет электричества. Четко вырисовывается уродливая фигурка горбатого бухгалтера на высоком конторском стуле.

Пред моим мысленным взором раскрывается наша комната, а в ней голодный ребенок и жена с опухшим от слез лицом. Не могу больше ждать. Срываюсь с места и подхожу к Гинзбургу.

— Будьте добры, узнайте, сколько надо ждать обещанного ордера в кассу...

Горбун пробегает черными глазами по моему лицу и сползает с вертящегося стула.

— Сейчас доложу...

Бухгалтер уходит в кабинет и через минуту возвращается с бумажкой в руке.

— Ну, вот видите... Редкий случай... Приказано выдать двадцать пять рублей.

— Почему двадцать пять? Ведь я просил пятьдесят.

Меня поднимает вихрь, и я перестаю владеть собой.

Вырываю из рук Гинзбурга записку, всем туловищем распахиваю дверь кабинета и кричу так, что все служащие в конторе вскакивают с мест.

— Мне вашего милосердия не надо!.. Я не за милостыней протягиваю вам руку!..

Убегаю.

Улица. Снег. Горят фонари. А я, обезумевший от злой обиды, едва передвигаю ноги и клянусь себя за опрометчивый поступок. Какое я имею право!.. Ведь не один же я на свете!..

Совершенно обессиленный, брожу по тихим зимним улицам города и окончательно падаю духом. Сколько ни стараюсь привести в порядок мысли, как ни напрягаю ум, — ничего не могу придумать и никак не могу вы-

рваться из тяжелого положения.

И вдруг встреча.

— Здравствуйте, господин Свирский.

Предо мною стоит молодой человек с голодным лицом провинциального актера, оставшегося без ангажемента.

— Вы меня не узнаете? Я Корецкий. Служу в книжном магазине Нотовича. Нас Лесман познакомил в редакции.

С трудом изображаю улыбку и протягиваю руку.

— Вы в какую сторону?

— Сам не знаю, — неожиданно отвечаю я.

А спустя немного я горячо рассказываю случайному встречному о происшедшем столкновении.

Корецкий слушает внимательно. Будучи выше меня ростом, он нагибается ко мне, боясь упустить хотя бы одно слово.

— Да, Нотович человек суровый, — говорит Корецкий и тут же, оживившись, добавляет: — погодите, есть выход. Вы знакомы со Скроботовым?

— Нет, я вообще никого здесь не знаю.

— Так слушайте... В двух шагах отсюда, за

этим Казанским собором, находится редакция газеты «Петербургский листок». Ваши очерки очень нравятся редактору Скороботову. Только вчера он укорял своих сотрудников, ставя в пример ваше «В царстве нищеты». Короче, хотите быть богатым и счастливым зайдите в «Листок», и получайте аванс. Не забудьте — время подписочное. Денег — тьма.

Стою в раздумьи.

— Этого быть не может... Он меня не знает и вдруг — аванс...

— А я вам говорю, что выйдет... Вот попробуйте...

Подгоняемый нуждой, иду в редакцию неизвестной мне газеты.

Скороботов — человек уже пожилой, с небольшой серой бородкой и густыми черными бровями. Он принимает меня ласково и внимательно.

— Если хотите, я могу написать ряд небольших рассказиков из жизни петербургских трущоб...

— Очень хорошо, — живо соглашается редактор. — Я бы вам посоветовал назвать их «Святки в трущобах». Могу вам даже предло-

жить аванс, — неожиданно добавляет Скроботов, и серые глаза его наполняются теплой влагой.

Все, что происходит дальше, похоже на сон. По записке редактора кассир выдает мне сто пятьдесят рублей.

Мчусь по лестнице, рискуя сломать себе шею. Выбегаю на площадь. Зорко вглядываюсь в лошадей извозчиков.

Выбираю на мой взгляд самого лучшего рысака, подкатываю к магазину, покупаю полбалыка и копченую утку. Зачем копченую — сам не знаю.

Плохо ощущаю действительность. Не могу разобраться в происходящем. Живу в тумане и Торю желанием скорее попасть домой. И когда, раскрыв дверь, я вижу скорбную фигуру жены, ее заплаканные глаза и спящего ребенка, — завеса спадает с глаз моих, роняю на пол покупки, опускаюсь на стул и закрываю руками лицо. Из горла моего вырывается вздох, похожий на крик раненой птицы.

На другой день, к великому моему удивлению, в «Новостях» на обычном месте появляется последующий очерк «В царстве нищеты»

с «продолжение следует»- в конце.

Татьяна Алексеевна относится к факту более спокойно.

— Тут нет ничего удивительного, — говорит она: — Нотович, вероятно, понял, что имеет дело с человеком не совсем уравновешенным... Вот то, что ты поспешил перебежать в «Петербургский листок», по-моему, гораздо хуже, чем твоя дерзкая выходка с Нотовичем.

— Мое почтение!.. Нашла, что сказать... Разве я имел другой выход?.. Разве не тебя я застал в слезах?..

Происходит супружеская сцена. Мгновенно вскипаю и уже не даю себе отчета в выбрасываемых мною словах. А потом обычный конец — вымаливаю прощение, после чего беседа принимает тихий, покойный характер.

Татьяна Алексеевна объясняет мне, какая существует разница между «Новостями» и «Петербургским листком».

«Листок» — это уличная пресса без идей и запросов, а «Новости» являются единственным органом либеральной печати.

— Ну, знаешь, я не очень верю в либера-

лизм Нотовича, запрещающего сторожу называться Осипом, потому только что Нотович — сам Осип.

— Нотович — не печать, а человек, может быть, и не совсем важный, но на страницах его газеты встречаются имена Василевского-Буквы, Скабичевского, Кривенко, Михнеева, Скрибы и многих других известных журналистов.

В заключение Татьяна Алексеевна советует мне подписываться в «Листке» псевдонимом.

Соглашаюсь с женой, и первый мой рассказ в «Петербургском листке», занявший целый вкладной лист, подписываю «А. Ростовский».

В день моего появления на страницах «Листка» отправляюсь в редакцию «Новостей».

Лесман встречает меня приветливо и весело.

— Вот пришли кстати!.. Маркиз уже второй раз сегодня о вас спрашивает. Сейчас же подите к нему.

Нотович, завидя меня, принимает воин-

ственный и необычайно гордый вид. Он откидывается на спинку кресла и величественным жестом руки указывает мне на стул.

— Вы что это себе думаете, молодой человек?.. Как вам не стыдно?!. Из большой, приличной газеты переходить в грязный кабак... Я никогда не позволю сотрудникам «Новостей» одновременно работать в «Петербургском листке». Я вам имя сделал, а вы...

— Но ведь я подписываюсь «Ростовский», — тихо вставляю я.

— Это еще хуже! — почти кричит Нотович. — Ваш псевдоним — тайна Полишинеля, и кроме того, это есть компромисс, недопустимый в среде уважающих себя литераторов. Вычеркиваю ваше имя из списка моих сотрудников!..

Ухожу придавленный и окончательно растерянный.

А через два дня на тех же страницах «Новостей» появляется «В царстве нищеты» с «продолжение следует» в конце.

В январе становимся богатыми. Получаю порядочную сумму из «Новостей» и еще больше от «Петербургского листка».

— Довольно нищенствовать! — кричу я Татьяне Алексеевне. — Пойдем искать квартиру...

В тот же день вечером сидим в пустой квартире с единственным входом со двора, но зато в центре города — на Гороховой, угол Садовой.

Украшением будущей спальни служит прекрасная ширма с золотыми голубями на синем фоне шелка, только что приобретенная мною, в магазине Тоннет.

— Зачем тебе ширма, когда нет кровати, безумный? — спрашивает Татьяна Алексеевна и покатывается со смеху.

— Чего смеешься? Я человек практичный и хорошо знаю — где есть ширма, там будет и кровать.

И мы в первую ночь устраиваемся вместе с Танюшкой на полу, но за красивой ширмой.

Начинаю вить гнездо. Ежедневно прихожу домой с какими-нибудь покупками. Однажды приволакиваю семь старых столов разных форм и величин. Один из них особенно огромен и похож на портняжий каток.

— Леша, ты окончательно обезумел... Куда

нам девать этот лом? Ведь ты всю квартиру занял деревянным хламом...

Я сам уже вижу, что зря польстился на дешевку, но все же половину столов оставляем, а остальные хочу подарить дворнику. Но тот отказывается.

Проходит еще немного времени, и мы устраиваемся довольно прилично, с моей, конечно, точки зрения. На подоконниках цветы.

Овальный преддиванный стол, служащий пока письменным, полдюжины венских стульев и кушетка, обитая клеенкой, — составляют обстановку моего кабинета и спальни. Вторая комната почти пуста.

Простой дощатый стол и скамья вдоль стены. Третья комната ничем не обставлена.

Ждем гонорарного дня. Вот тогда наша квартирка засияет.

— Если бы ты вместо кушетки купил оттоманку, было бы гораздо лучше, — с легким упреком говорит Татьяна Алексеевна.

— Всего сразу нельзя, — возражаю я. — А что касается кушетки, то ты должна знать, что истинной любви и на лезвии ножа про-

сторно...

Веселые искры сверкают в больших серых глазах жены.

Улыбаюсь своей мечте о лучшей жизни, о новой книге, задуманной мной, и о создании ряда картин, изображающих мрачное существование бедных людей, задавленных кучкой дворян и купцов.

Мне сейчас хорошо. Чувствую себя бодрым и сильным.

Наша полупустая квартира, черная лестница, остро пахнувшая кошками, и многооконный каменный колодезь с серым клочком бессолнечного неба, меня не пугают. Смеющимися глазами гляжу в светлое будущее.

— Как странно звучат наши голоса... Можно подумать, что мы живем в пустой бочке...

Не даю жене договорить. Поднимаю ее на руки и отношу в кабинет.

Сиди здесь, пока не обставлю остальные комнаты.

Наш здоровый молодой смех звонко прокатывается вдоль обнаженных стен убогой квартиры.

## 11. Писатели

Становлюсь заправским газетным работником. Журнальному искусству обучает меня Скроботов. Сам он газетное дело знает до тонкости, до малейших штрихов.

По мнению Скроботова, тот может считать себя журналистом, кто шагает не рядом с жизнью, а впереди ее.

— Если я говорю, — поучает меня редактор, — что мне нужна заметка о пожаре за два часа до его возникновения, то я вовсе не шучу, а хочу этим сказать, что наша газета должна быть впереди всех. Краткость, быстрота, раскрытие тайн жизни, умение в двух строках дать человека, катастрофу, бал-маскарад, утопленника и живую, правдоподобную выдумку — вот все, что я требую от моих сотрудников. Кстати, — добавляет он, — через три дня в клубе приказчиков состоится юбилей писателя Баранцевича. Там будет вся современная литература. Попробуйте дать отчет в шестьдесят строк. Корреспондентский билет можете получить у секретаря.

Я польщен и обрадован. С одной стороны, мне льстит доверие Скроботова, а с другой — мне предстоит очутиться среди настоящих

писателей.

Дома делюсь с женой моими мыслями.

— Ты не думай, — говорю я, — что газетный сотрудник не может стать писателем. Вот, например, Антоша Чехонте — работает в «Осколках», в «Будильнике», а его книга «Пестрые рассказы» имеет такой успех, что ничего удивительного не будет, если через пять или десять лет автор этих рассказов станет знаменитым писателем. Теперь возьми, — продолжаю я, — Мопассана, Гейне, Некрасова, — разве они не прошли сквозь газетный омут?.. Мне рассказывал Скроботов, что еще недавно наш известный писатель Мамин-Сибиряк печатал свой роман «Золото» в «Петербургском листке»!.. А такие исторические люди, как Рошфор, Гамбетта, Герцен, не были газетчиками?.. Вот видишь, ничего плохого нет в том, что я работаю в «Петербургском листке».

Мою, как всегда, запальчивую речь Татьяна Алексеевна слушает внимательно и не без удивления. В ее широко открытых глазах и в сомкнутых углах рта я читаю вопрос: «откуда все это берется?» И сегодня впервые за всю

нашу совместную жизнь чувствую, что чуточку поднимаюсь над уровнем вчерашних воззрений.

Накануне юбилея Баранцевича мы с женой читаем вслух его «Сарматские рассказы». Жена находит книжку завтрашнего юбиляра полезной: в ней, в этой книге, слышатся зовы к свободе, к лучшей жизни...

А мне рассказы Баранцевича не нравятся. Бледные, вымученные мысли и полная бескрасочность в описаниях людей и природы. Но я знаю из напечатанных уже заметок, что юбиляр рос и жил в бедности и посейчас служит на конке раздает кондукторам билеты для пассажиров.

Последнее обстоятельство заставляет меня проникнуться уважением к «честному писателю — борцу из народа», по выражению Южакова из «Русского богатства».

Из обширной раздевалки вхожу в первую комнату клуба. У входа за небольшим столом сидит пожилая женщина, а перед нею разграфленный лист бумаги, чернильница и перо.

Женщина предлагает расписаться.

Беру ручку, наклоняюсь над бумагой и читаю последнюю фамилию Мамин-Сибиряк.

У меня от волнения дрожит рука.

Осматриваюсь. Народу много. Люди солидные, седобородые, лысые, длинноволосые и неважно одетые. Многие в очках. Не последнее место занимает здесь и молодежь. Узнаю студентов по мундирам и курсисток по коротко остриженным волосам.

Вхожу в большой, хорошо освещенный зал. В ожидании юбиляра публика шаркает ногами по скользкому паркету.

Растерянность и смущенность заставляют меня прислониться к белой стене зала. Чувствую себя затерянным и одиноким в этой оживленной толпе незнакомых мне людей. Меня заранее пугает мысль, смогу ли я написать о юбилее, если никого не знаю.,

— Вы от какой газеты?

Преодо мною Лесман. Его черная подстриженная борода и гладко причесанная на косяк прическа имеют праздничный, лакированный вид.

Отвечаю, что пришел сюда от «Петербургского листка».

— Вы, значит, совсем обосновались там? Ну, и хорошо делаете, — не дождавшись ответа, продолжает Лесман. — Я тоже скоро покину «Новости». С нашим Маркизом невозможно работать...

— Господин Лесман, у меня к вам просьба... Я здесь никого не знаю...

— С удовольствием, — перебивает меня Лесман. — Я всех знаю. Вы видите вон того старика с зеленоватой бородой? Он не очень большого роста и одет в черный парадный сюртук. Вы видите, как все почтительно ему кланяются? А знаете, кто он?

— Нет, — тихо шепчу я.

— Ну, так найдите и запомните. Этот старик стоит во главе современной народнической литературы. Фамилия его Михайловский, а зовут Николай Константинович. Запишите... И еще заметьте для себя лично: если бы не этот старик, то никакого юбилея не было бы, и Баранцевича знали бы только его жена и дети...

Лесман умолкает. В зале движение. Собравшиеся выстраиваются в каре. Кто-то раскрывает обе половинки белых дверей, и раз-

дается сухой треск аплодисментов.

В дверях показывается небольшая группа людей. Впереди робко и не совсем твердо выступает толстенький человек в длинном черном сюртуке с большой лысиной и реденькой бородкой. Его ведет под руки высокий, сухой мужчина с маленькой головкой и сморщенным личиком.

Позади шествует полная женщина в пестром платье и несколько юношей и девиц.

Рукоплескания усиливаются и, подобно ливню, с шумом и треском разливаются по всему залу.

Юбиляр останавливается и склоняет голову, подставляя восторженной буре свою желтую лысину.

Лесман наклоняется ко мне и нашептывает:

— Обратите внимание на Альбова. Он кажется пришитым к юбиляру. Видите, какая у него тонкая шея и жалкая бороденка. Его называют Дон-Кихотом. Если бы в литературе не существовал Достоевский, то Альбов стал бы Достоевским...

— Вы это серьезно?

— Совершенно серьезно. Запишите еще Дарью Николаевну и детей. Вы видите, какая их куча, но это не все — маленькие дома остались. Дарью Николаевну все писатели знают. Она русская крестьянка и неграмотная, но зато большая умница и пользуется всеобщим уважением.

Все, что говорит Лесман, стараюсь запомнить, а кое-что вношу в записную книжку.

Три длинных стола, расставленные в виде буквы «п», накрыты для ужина. Бронзовые люстры белым светом заливают столы. Алмазными искрами сверкают бокалы, рюмки и графины.

Чествующие юбиляра рассаживаются вокруг столов.

Догадываюсь, что все садятся на заранее намеченные визитными карточками места.

Лесман продолжает свою информацию.

— Вы не думайте, что здесь садятся за стол кому где хочется. Нет, каждое место обдуманно и сочтено. Смотрите, вот усаживается «Русское богатство» с Михайловским в центре: все почтенны и все бородаты. По правую руку Михайловского сидит юбиляр, а по левую —

наш патриарх и председатель литературного фонда Петр Исаевич Вейнберг. А вот еще одна замечательная борода. Принадлежит она Венгеру — критику, литературоведу и...

В это время в дверях появляется Немирович-Данченко. Он великолепен. Фрак, крахмальная выпуклая грудь, особенно хорошо взбитая распущенная борода и лакированные ботинки делают его похожим, на посла великой державы. Он почтительно раскланивается с Михайловским и дружески машет рукой юбиляру. Михайловский едва заметным кивком головы отвечает вошедшему, а юбиляр приветливо улыбается, показывая редкие черные зубы.

Мне нравится Василий Иванович. Стараясь сделать так, чтобы он — меня заметил. Выпячиваюсь, приветливым делаю лицо мое, зарываюсь взглядом, в его бороду, и, когда мне удастся обратить на себя внимание, Немирович с удивительной простотой и сердечностью подходит к нам, протягивает руку мне и Лесману и спрашивает:

— Я, кажется, запоздал? Но я не виноват. Меня задержал принц Ольденбургский...

К нам, семена маленькими ножками, подходит небольшого роста человек с сивой бородкой и длинными курчавыми волосами. Он женским голосом указывает Немировичу, куда ему следует сесть, а меня и Лесмана приглашает на корреспондентские места.

— Ловко дело поставлено, — замечает Лесман, когда усаживаемся в самом конце стола.

— Кто он?

— Кто?

— Вот тот, распоряжающийся.

— Он тоже из «Русского богатства», Водовозов, — отвечает Лесман, зорко вглядываясь в закуски.

Затихает жужжание голосов. В наступившей тишине раздается металлический говор ножей и вилок, стучат тарелки и коротким тонким звоном обмениваются рюмки.

Едят.

Но вот поднимается над головами закусывающих седая с зеленью борода Михайловского, и мгновенно становится тихо.

— Господа, — провозглашает Михайловский, — мы собрались сюда, чтобы дружески

и сердечно приветствовать нашего дорогого юбиляра, в продолжение четверти века отдававшего свои писательские силы на борьбу за лучшее будущее. Казимир Станиславович высоко держал знамя свободы и...

В это время дверь в столовую открывается. В узком просвете показываются золотой эполет и черный ус пристава и тотчас же исчезают.

Оратор с трудом проглатывает слюну, продолжает речь, но уже в более пониженном тоне.

Юбилейное слово заканчивается обычными пожеланиями здоровья, успеха и новых произведений.

Михайловский подает руку юбиляру. Последний — маленький, толстенький, с порозовевшей лысиной — вскакивает, благоговеяно обеими руками пожимает руку Михайловского и губами тянется к его бороде. Поцелуй покрывается шумными и страстными рукоплесканиями.

В этих яростных приветствиях слышится демонстрация против пристава, против черной реакции и против злой безрадостной дей-

ствительности.

Пьют, закусывают и разговаривают. Шум голосов усиливается.

Взлетает смех. Острыми осколками рассыпаются голоса женщин.

Водовозов ножом стучит по тарелке. Наступает тишина.

— Слово имеет Сергей Николаевич Южаков, — провозглашает распорядитель вечера и тут же обеими руками отгибает уши.

— Водовозов глух, «как барабан», — говорит мне Лесман.

Встает Южаков. Этот громоздкий мужчина с большим животом, широкими плечами, красным, влажным лицом и длинными космочками бесцветных волос на затылке начинает свою речь, к моему удивлению, таким же женским голосом, каким говорит маленький Водовозов.

— Разрешите мне сказать несколько слов и поднять свой бокал в честь того, кто является лучшим представителем народнической мысли, кто честной и светлой идеей озаряет трудно проходимую ниву нашей современной литературы. Дорогой Николай Констан-

тинович, — обращается оратор непосредственно к Михайловскому: — вам, большому общественнику и борцу за народное право, мы обязаны тем, что не падаем духом и вместе с вами идем к победе... За ваше здоровье, дорогой учитель!..

Весь центр стола, занятый «Русским богатством», аплодирует громко, продолжительно и страстно. Но зато молчит левое крыло стола, занятое Острогорским, Скабичевским, Батюшковым, Богдановичем, Шеллер-Михайловым и другими.

Когда орация в честь Михайловского заканчивается, встает Виктор Острогорский, узкоплечий и сухощавый человек с небольшой бородкой и бельмом на глазу. Он не говорит, а кричит высоким звонким тенором:

— Разрешите и мне сказать несколько слов в честь нашего талантливое критика, историка и публициста, Александра Михайловича Скабичевского...

Поднимается невероятный шум. Стучат ножами по тарелкам, звенят бокалами и выбивают мелкую дробь ногами. Явная обструкция со стороны «Русского богатства» не дает

оратору продолжать.

— Мы празднуем юбилей Баранцевича, а не Скабичевского!.. — вопит круглоликий Анненский.

— Но и Михайловский не юбиляр! — звенит тенор Острогорского.

Несколько минут продолжается словесная битва сторонников двух литературных лагерей — народников и правых либералов.

Постепенно затихают голоса. Поэт Фофанов желает прочесть экспромт в честь юбиляра. Поэт имеет вид нищего. На нем ветхий, весь в пятнах сюртучишка, узенькие, коротенькие брючки и поношенные кривые башмаки.

Но зато лицо его, обрамленное темно-русой бородой, высокий белый лоб и большие лучистые глаза, озаренные внутренним светом, вызывают добрые улыбки у сидящих за столами.

Фофанов пьян, но еще довольно твердо стоит на ногах и держит себя прилично. Он импровизирует. Это видно по его одухотворенному лицу и страдальческим складкам в углах рта.

Стихи производят сильное впечатление, и многие пожимают руку поэту.

Перед Михайловским красуется фарфоровая бутылка с его любимым ликером «джинджер». В зале становится веселей. Юбиляр забыт. Писатели разбиваются на отдельные группы.

Люди с седыми бородами пытаются петь, но надтреснутые старческие гортани выбрасывают неверные, слабые звуки.

Омоложенные вином голоса кричат:

— Виктора Петровича! Пусть споет «Пристава»!.. Виктора!..

И на середину зала выходит Острогорский. Он откидывает назад голову, отчею борода его принимает горизонтальное положение, и запекает: «Как по речке по быстрой становой едет пристав»...

Гляжу на него, и мне не верится, что этот выпивший человек, поющий высоким фальшивым тенором, есть Виктор Острогорский, известный педагог, литератор и редактор журнала «Мир божий».

Михайловский, окруженный свитой преданных ему народников, просит сделать так,

чтобы Острогорский перестал «выть».

— Пригласите сюда ко мне Миролюбива. Он настоящий певец, — говорит Николай Константинович, обращаясь к Водовозову.

Просьба Михайловского быстро исполняется. Перед ним в почтительной позе непомерно высокий костлявый человек, будущий редактор-издатель «Журнала для всех».

— Спойте, голубчик, «Не искушай»... Покажите этим оралам, как надо петь, — обращается к Миролюбому вождь.

Миролюбов немного стибается, откашливается и приступает исполнению популярного романса Глинки.

Огромный, густой и дрожащий бас прокатывается по залу и заглушает не только разговоры, но и звонкий крик Острогорского.

Ко мне подходит Лесман и шепчет:

— Пристав махнул рукой и совсем покинул клуб.

— Почему?

— Потому что полиция знает: когда писатели поют, они становятся безопасными.

Петр Исаевич Вейнберг, несмотря на преклонный возраст, свой долг «патриарха рус-

ской литературы» выполняет с честью.

— Этот старик, — поясняет мне Лесман, — в продолжение многих лет не пропускает без своего участия ни одного юбилея и ни одних похорон писателей.

Сейчас, когда чествование принимает характер пиршества, когда юбиляр становится лишним и никому не нужным человеком и когда виновник торжества усталыми глазами упирается в одну точку, а правая рука лежит на бумажной груде телеграмм и адресов, — поднимаются Вейнберг и сидящий рядом с ним Семен Афанасьевич Венгеров, обладатель густой с проседью бороды, подстриженной лопатой. Покидая зал, они кланяются в сторону Михайловского.

Запоминаю стройную фигуру Вейнберга и его длинную седую бороду, пышным белым покрывалом ласково прильнувшую к груди этого бодрого старика.

Становится шумно и весело. Лакеи в черных фраках с белыми салфетками подмышкой работают на бегу и охотно обслуживают тех, кто требует шампанского, сигар, ликера...

Образовываются отдельные маленькие

компании.

Пьют.

Лесман, подогретый вином, бесцеремонно подводит меня к писателям и рекомендует:

— Дмитрий Саркисович, разрешите представить вам молодого начинающего писателя, подающего большие надежды...

Мамин-Сибиряк попыхивает трубочкой, круглыми совиными глазами вглядывается в меня и молча протягивает теплую пухлую руку.

Поочередно знакомлюсь с Альбовым, сидящим тут же рядом, и с сильно подвыпившим человеком с молодым лицом и коротко остриженными седыми волосами.

— Вот наш известный писатель Александр Седой, а на самом деле не кто иной, как брат Антоши Чехонте, — с необычайной развязностью говорит Лесман, первый протягивая руку Седому.

Последний стряхивает ладонью крошки с темно-русой бороды, поднимает на меня тяжелый, мутный взгляд и едва слышно бормочет:

— Очень рад... Благодарю за музыку...

Нагруженный «богатými» впечатлениями, с путаными мыслями в пьяной голове, возвращаюсь домой.

## 12. Газетный яд

Становлюсь постоянным сотрудником бульварной газеты. Редактор Скроботов мною доволен. Мои приключенческие очерки о жизни столичной голи, о «падших» женщинах, ворах, о быте и нравах трущоб, тюрем, артелей профессиональных нищих и о всякого рода пропойцах и бездомной рвани имеют успех. Розница «Петербургского листка» с каждым днем увеличивается, а место, запиваемое мною на страницах газеты, постепенно расширяется.

Мне, человеку, вынырнувшему из темных глубин жизни и еще в достаточной мере малограмотному, льстит этот успех, и голова кружится от небывалой «славы».

Мой заработок достигает трехсот, а иногда и четырехсот рублей в месяц. Пишу ежедневно. Пишу под различными псевдонимами.

Утром разворачиваю «Листок» и вижу: большой нижний фельетон, подписанный А. Ростовским; на второй полосе юмористиче-

скую сценку А. И. Донского и без всякой подписи хронику происшествий, созданную мной фантазией.

Обживаемся. Часто посещаю мебельные склады на рынках, приобретаю подержанные вещи. Наша квартирка с тремя окнами, украшается стульями с высокими древними спинками, буфетом, занимающим половину комнаты, цветами, занавесками, этажеркой для книг и настоящей железной кроватью с никелированными шариками и ковриком на полу.

Обзавожусь знакомыми. Заглядываю в «литературный» кабэток «Капернаум», откуда частенько возвращаюсь домой под хмельком.

Татьяне Алексеевне наша жизнь как будто нравится и как будто нет. Вещам она радуется, но в то же время упрекает меня в отсталости, в легкомыслии и в отсутствии серьезного отношения к вопросам большой художественной литературы.

— Ты совсем перестал читать, — говорит жена, — ты весь ушел в улицу, в кабак... Если так будет продолжаться, то из тебя никогда не выйдет писатель.

— Но зато мы сыты, обуты, никому не должны, и даже портниха к тебе на дом приходит, — возражаю я и, как всегда в подобных случаях, когда чувствую себя смущенным, поднимаю жену на руки и кружусь с нею по комнате.

— Безумный ты, безумный, — со смехом говорит жена.

Заглядываю в ее круглые серые глаза и не могу понять — счастлива она или нет.

Однажды к нам приходит маленький человек с русой бородой и веселыми глазами, выглядывающими из-под нависших желтых бровей. Подмышкой у него туго набитый портфель.

— Я к вам по делу... Разрешите снять пальто. Не люблю терять время, добавляет он, держа пальто в руках.

Пришедший до того мал, что не может достать вешалки.

Приходится мне это сделать.

А спустя немного этот крохотный блондин сидит у меня в кабинете и торопливо, с акцентом иностранца объясняет, зачем явился к нам. При этом он раскрывает свой порт-

фель, вытаскивает из тесно набитой груды книг мои «Ростовские трущобы» и спрашивает:

— Ваша книжка? Вы господин Свирский? Превосходно... Значит, я не ошибся... Теперь еще один маленький вопрос: скажите, А. Ростовский это тоже вы?.. Превосходно... Я никогда не ошибаюсь...

Пришедший срывается с места и продолжает:

— Простите, забыл... Позвольте представиться... Я по национальности хорват, славянин, значит... Геруц по фамилии.

Он протягивает руку сначала Татьяне Алексеевне, а потом мне.

Мы с удивлением смотрим на этого бойкого, подвижного человечка, осыпающего нас словами, неправильно произносимыми.

— Превосходно... Теперь все знаю. Есть один ваш поклонник. Фамилия Морозов. Ему очень нравится все, что вы, господин Свирский, пишете, и он хочет издать вместе с этой книжкой «Ростовские трущобы» и все то, что вы печатаете в «Петербургском листке»... Превосходно, да?..

Мы с женой многозначительно переглядываемся. Мне еще не верится, но волна радости уже вливается в мое сознание.

— Пожалуйста, я согласен, — наивно и просто отвечаю я на предложение Геруца.

— Превосходно, превосходно... Морозов мне поручил с вами заключить договор, а вы подготовьте материал. Соберите все, что напечатано, дайте... Ну, дайте, как это называется?.. Что на первой странице?..

— Заглавие, — перебиваю я.

— Да, да... Превосходно... И скажите, когда притти...

Хочу сказать «завтра», но в этот момент Татьяна Алексеевна, молчавшая до сих пор, вмешивается в разговор:

— Ваше предложение очень серьезное, — говорит она, — и в один-два дня этого сделать нельзя. Автору придется внимательно пересмотреть весь материал, кое-что выбросить, кое-что прибавить и вообще хорошенько продумать, чтобы потом не было стыдно...

— Верно, верно! — подхватывает Геруц и закрывает портфель. — Если я зайду через десять дней, не поздно будет?

— Я в пять дней сделаю! — почти кричу я, возмущенный вмешательством Татьяны Алексеевны.

— Превосходно, превосходно...

Геруц крепко пожимает нам руки и удаляется.

По уходе Геруца между мною и женой происходит бурная сцена.

— Вот видишь, что ты наделала! — кричу я. — Ушел этот человек и, поверь мне, — он больше не вернется...

— С чего ты это взял?..

— Из того, что надо ковать железо, пока оно горячо. А ты десять дней... Зачем мне время?.. Я достаточно думал, когда писал, а сейчас думать незачем... В один час могу тебе собрать все мною написанное и сделать заглавие: «Погибшие люди» — А. Свирского. Вот и все. Примем тут десять дней...

Татьяна Алексеевна укоризненно качает головой и саркастически улыбается.

— Твоя жена не глухая, и можешь говорить потише. Это, во-первых, а во-вторых, здесь дело не в заглавии, а в содержании книги. Пойми это, безумный... Ведь ты хочешь

стать писателем, а поступаешь, как репортер уличной газетки. Постыдись, Алеша...

Быстро сдаю позиции и уже примиренным тоном стараюсь уверить Татьяну Алексеевну, что далек от мысли выпускать в свет заведомо плохую книжку, но меня пугает, что издатель раздумает, и мы останемся ни при чем.

— Успокойся. Если ты этому человеку нужен, то он двадцать раз придет, а если нет, то он сейчас жалеет, что первый раз пришел, — возражает жена.

Кончается тем, что прошу извинить меня за горячность, и тут же бросаюсь в другую крайность — начинаю мечтать вслух:

— Нет, ты подумай только, Таня, — выходит трехтомный труд А. Свирского, под названием «Погибшие люди»...

И наконец... карьера готова. Обо мне пишут, обо мне всюду говорят. Мы меняем квартиру. У нас вечера, концерты.

К нам идут писатели, артисты, художники... А я, вроде Немировича-Данченко, в мягкой венгерской куртке со шнурами, встречаю гостей, и все стараются покрепче пожать руку автору «Погибших людей»...

Смех Татьяны Алексеевны гасит мой пыл, и я умолкаю.

— Что мне делать с тобой, безумный... Леша, послушай меня, садись за стол и просмотри все, что может войти в книгу.

— Ты всегда так. Даже помечтать не дашь, — тихо и окончательно успокоенный говорю я.

Спустя немного сажусь за работу.

Геруц оказывается человеком весьма аккуратным. В назначенный день он приходит к нам с тем же туго набитым портфелем подмышкой.

Все, что напечатано мною в газетах за два года, вырезано и наклеено в пяти толстых тетрадях. От заглавия «Погибшие люди» маленький хорват приходит в восторг.

Он хлопает в ладоши и кричит:

— Превосходно, превосходно...

Этот полукарлик с большой бородой осваивается у нас с необыкновенной, быстротой. У Татьяны Алексеевны он целует ручки, а меня называет братом.

Геруц садится за мой стол, достает из портфеля чистый лист бумаги и, прежде чем на-

писать соглашение, объясняет нам, что Морозова он хорошо знает и вполне ему доверяет. Условия для меня, по его мнению, очень выгодные. Он издает «Погибшие люди» в трех томиках по рублю каждый и пускает в продажу. Затем, покрыв расходы по изданию, чистую прибыль делит пополам: пятьдесят процентов мне, а остальное ему.

— Таким образом, — заканчивает Геруц, — когда все книги будут распроданы, на вашу долю придется около двух тысяч рублей. Превосходно? А?..

Я бегаю по комнате, потираю руки и с нескрываемой радостью заранее благодарю Геруца.

— В какое же время вы думаете продать книги? — раздается трезвый голос Татьяны Алексеевны.

Геруц поднимает на нее веселые глаза, кривит рот в улыбку и уже не так уверенно говорит спотыкающимся голосом:

— Это, как вам сказать... будет зависеть от некоторых причин... Если книги интересны для чтения, если господин Морозов не пожалует денег на рекламу и на критиков...

— У нас в России критики не продаются, — резким тоном пеообивает Татьяна Алексеевна.

Но Геруца трудно смутить. Он дружелюбно протягивает руки и говорит:

— О мадам, это все знают... Большие критики: Белинский, Писарев, Добролюбов... Таких подкупить нельзя, но в маленькой прессе имеются маленькие рецензенты, которые превосходно продаются. Но я думаю, что о вашем муже будут писать честные критики.

Охотно подписываю договор, составленный Геруцем и неожиданно получаю от него сто рублей авансом в счет будущих благ.

На прощание я крепко пожимаю ему руку и едва удерживаюсь, чтобы не поблагодарить его за деньги.

Татьяне Алексеевне Геруц не нравится. Она относится к нему с недоверием. Заодно достается и мне. Жена упрекает меня в неумении подходить к людям с некоторой осторожностью и особенно сердится на то, что я с такой быстротой согласился подписать соглашение.

— Пришел человек с улицы, — говорит

она, — сделал какое-то странное предложение, назвал какого-то Морозова, и ты весело пошел навстречу...

— Ты вечно всем недовольна, — перебиваю я. — Не я ему, а он мне сто рублей дал. Чем же я рискую?..

— Эх, ты, писатель... Неужели свое имя и свой труд ты оцениваешь в сто рублей?..

— Прежде всего, не забудь, что я за свой труд уже однажды гонорар получил, а кроме всего, не думай, пожалуйста, что в данном случае меня интересуют деньги. Нет, матушка, здесь имеется нечто такое, что повыше гонорара. Мне важно выпустить в свет мои произведения. Вот это главное. Понимаешь?.. А ты с какими-то подозрениями... Какой вздор!..

Кричу, делаю вид, что страшно оскорблен замечаниями жены, даже топаю ногами, пока Татьяна Алексеевна не подходит ко мне и не начинает просить меня успокоиться.

Искусственно вздутое негодование быстро гаснет, и кончаю просьбой о прощении.

В редакциях «Петербургского листка» и «Новостей» все уже знают, что скоро в свет выйдут три тома под названием «Погиб-

шие люди». Всем об этом рассказываю, и многие из начинающих мне завидуют.

Один только Миша Городецкий просто и по-дружески относится к этому событию.

— Я всегда высоко ценил твой талант, — говорит он, — и я уверен, что ты скоро выйдешь на большую литературную дорогу. А пока что этот успех надо вспрыснуть...

— Да, да, конечно, — подхватываю я. — Завтра приходи к нам. У нас будет маленькая вечеринка.

В этот день я чувствую себя таким счастливым, таким удачливым, что не ощущаю тяжести собственного тела.

Не хожу, а летаю над землей. Подумать только: недавний босяк, бездомный шатун и вдруг становится почти настоящим писателем. Есть от чего с ума сойти... Но все это пустяки в сравнении с тем, что я испытываю, когда в один зябкий осенний день Геруц приносит мне двадцать пять авторских экземпляров «Погибших людей» в светло-зеленых обложках, каждый томик в пятнадцать авторских листов.

Пьянею от восторга. Завертываю одни эк-

земляр в газетную бумагу и бегу в «Листок».

Показываю книги Скроботову.

Редактор внимательно рассматривает каждый томик а отдельные, а я сижу напротив и жду похвал. Но Скроботов возвращает мне книги, и на лице его не вижу ожидаемой мною приветливой улыбки.

— Мне не нравится ваше укрывательство, — вы скрываете, что две трети содержания этих томиков были напечатаны в нашей газете и под другим именем. Вы как будто стыдитесь этого. Тогда зачем же сотрудничать у нас?..

У меня лицо заливается стыдом. Замечания Скроботова до того неожиданны, что не нахожу слов для возражения.

Мое замешательство, однако, длится недолго. В сознание проникает мысль, что с выходом в свет «Погибших людей» я смогу просуществовать и без «Петербургского листки»,

— Не понимаю вашего возмущения, — говорю я. — Ведь на книгах значится мое настоящее имя, а у вас я печатался под псевдонимом, что нам хорошо было известно. Но если

это вас не устраивает, то мы можем расстаться, и даже навсегда.

Быстро встаю с места, забираю книги и хочу оставить кабинет, но редактор меня удерживает. Он подходит ко мне, кладет руку на мое плечо и уже обычным ласковым голосом говорит:

— Ну, ну, уже и рассердился... Нельзя так, молодой человек. Знаете поговорку — не плюй в колодец, и так далее... Не забывайте, что благодаря нашей газете и моим указаниям вы обогатились вот этими книжками... Кстати, оставьте их — надо будет рецензию дать. Какой вы горячий!.. Нехорошо. Ну, да ладно, останемся друзьями.

Скроботов крепко пожимает мне руку и обдает меня ласковым взглядом хитрых глаз.

Прихожу домой. Стараюсь вернуть себе радостное настроение, но не могу: разговор с редактором «Листка» принижает мое сознание, и затуманиваются светлые точки гордости и надежд, только что горевшие во мне.

К инциденту, происшедшему между мною и редактором «Петербургского листка», Татьяна Алексеевна относится без всякого огорче-

ния.

— Все идет к лучшему, — говорит она, — скорее вылечишься от газетного яда, вот уже два года отравляющего тебя. Не знаю почему, но я уверена, что в тебе заложены большие писательские силы. Но для того, чтобы их использовать и стать литератором, нужно, прежде всего, выйти из невежества, учиться и работать, работать, работать...

— Ты, конечно, права. Я с тобой вполне согласен. Надо работать, и я буду работать, но прежде всего необходимо обеспечить себя материально.

— Что ты этим хочешь сказать? Скопить с помощью «Листка» капитал и тогда уже засесть за работу?.. Безумный ты, безумный... Я была на похоронах Достоевского и видела собственными глазами, из какой убогой квартиры выносили тело великого человека. А ты хочешь сразу разбогатеть. Помни, Алеша, большинство русских писателей жили в нужде, боролись за существование, с отчаянием дрались за каждый клочок жизни, и поэтому в их произведениях с такой жуткой реальностью нарисованы картины человеческих

страданий, падений и героических взлетов.

— Все это так, — возражаю я, — но завтра у нас по случаю «Погибших людей» должна быть вечеринка. Хочу пригласить Мамина-Сибиряка, Немировича-Данченко, Баранцевича... Словом хочу, чтобы у нас были настоящие писатели. Думаю, что видеть и разговаривать с живыми литераторами для меня гораздо полезнее, чем читать их произведения... Поняла? Ну, вот... А у меня в кармане сплошная пустота. Волей-неволей придется сесть за стол, сочинить два-три происшествия и снести их в тот же самый «Листок».

Татьяна Алексеевна вздыхает, безнадежно машет рукой и выходит из комнаты.

Сажусь за стол. Выдумываю первое происшествие.

Живут два брата Матвеевы. Один — в Москве, другой — в Петербурге. Оба известные любители и дрессировщики почтовых голубей. Вчера братья устроили опыт: два почтовых голубя одновременно были отправлены — один из Москвы, другой из Петербурга, с коротенькими записочками. Одновременно с голубями были отправлены срочные теле-

граммы. Что же оказалось? Голуби прибыли на шесть часов раньше срочных телеграмм.

Это происшествие я разукрашиваю всевозможными подробностями, и получается заметочка в сто десять строк. Но этого не хватит для вечеринки. Тогда, не долго думая, сочиняю еще одну хронику. Рассказываю об одном несчастном сапожнике, живущем в сыром подвале вместе с детишками. Вчера у этого сапожника умерла жена от родов, и на руках бедняка очутилось крохотное, но живое существо. Собираются соседки, разглядывают новорожденного, кричащего на весь подвал, но помочь сапожнику никто не может. И вдруг появляется еще одна женщина в отрепьях нищенки, подходит к ребенку, берет его на руки и дает ему грудь. Она, оказывается, сама недавно родила.

Размазываю и эту заметку на сто строк, озаглавливаю «Лепта вдовицы», несу в редакцию и прошу секретаря выдать мне гонорар авансом.

Торжествую.

Вечеринка сорвана: у Баранцевича флюс, Мамин-Сибиряк находится в Царском селе, а

к Немировичу-Данченко сам не иду. Что он будет делать у нас один...

Зато к нам является Миша Городецкий.

Он, как всегда, приносит с собою шум города, рассказывает последние новости и остроумно высмеивает свою собственную неудачливость.

Миша смотрит на Татьяну Алексеевну веселыми прищуренными глазами и спрашивает:

— Татьяна Алексеевна, ведь вы всегда говорите правду. Так скажите мне со всею своею ответственностью, любите вы меня или нет?

Городецкий в эту минуту с его тонкими приподнятыми бровями и раскосыми щелками смеющихся глаз похож на китайца.

Татьяна Алексеевна любит этого человека за то, что он всегда весел, никогда не унывает, полон бодрости и никому не причиняет зла.

— Напрасно спрашиваете. Вы сами отлично знаете, как я отношусь к вам.

— Если так, то, Алеша, налей... А потом поговорим.

Выпиваем, закусываем, веселимся и даже поем.

— Разрешите сказать слово.

Городецкий встает с рюмкой в руке и продолжает:

— Люблю нашу независимую, веселую и честную бедность. Нам никто не должен, ни за кем не пропадают наши деньги, а если сами кое у кого перехватим, то такую мелочь, что даже стыдно возвращать... Но не в этом дело. Хочу несколько слов посвятить тебе, Алеша. Твои «Погибшие люди» будут иметь успех. Но из этого не следует, что тебе пора почить на лаврах. Только сейчас, с этого момента начинается твоя литературная жизнь. Кстати, сегодняшняя хроника в «Листке» твое сочинение? Ну, вот... Даже в таких маленьких вещах сказывается художник. «Лепта вдовицы» — от заглавия и до конца является прекрасной миниатюрой, полной реальной жизни... Откуда у тебя все берется!.. Но о тебе довольно. Еще зазнаешься... Обращаюсь к вам, Татьяна Алексеевна. Хочу выпить не только за ваше здоровье, но и за ваш замечательный ум, за ваш благородный, честный характер и

за то, что оберегаете и воспитываете нашего молодого босняка, подающего надежды.

Наша «мирная беседа» затягивается далеко за полночь. Перед самым уходом Миша становится серьезным, рассказывает нам о том, как он сегодня был у градоначальника Клейгельса и как у него сорвалась последняя надежда. Суровый генерал не дал разрешения на право жительства в столице.

— А между тем, — говорит Миша, — через две недели из «Новостей» уходит Лесман, и я уже приглашен Нотовичем на его место.

— Какая мерзость! — сочувственно восклицает Татьяна Алексеевна. Честному человеку нельзя жить там, где ему хочется. Это уже не «дорогая родина», а просто тюрьма... Неужели нет выхода из вашего положения?

— Есть. И вот об этом хочу с вами поговорить. Татьяна Алексеевна, будьте моей мамой, крестной, конечно, и всему конец. Становлюсь «свободным» гражданином «свободной» страны.

На другой день остаюсь дома. Хочется отдохнуть.

После завтрака предлагаю жене погулять

по городу. У меня цель — обойти все витрины книжных магазинов и собственными глазами посмотреть, где и как выставлены мои три тома.

Впоследствии узнаю от Татьяны Алексеевны, что ей самой этого хотелось.

Обходим весь Невский, Гостиный двор и не пропускаем ни одного книжного магазина, чтобы не постоять перед витриной.

— Вот они, посмотри наверху, зелененькие... — шепчу я, указывая на «Погибших людей».

Геруц, по-видимому, свое дело тонко знает и всюду, где только возможно, даже на витринах писчебумажных магазинов, красуются мои книжки.

Возвращаюсь домой нравственно удовлетворенный и мысленно разговариваю с уличной толпой пешеходов: «Вы видите меня? Я человек среднего роста, на мне летнее поношенное пальто, хотя уже глубокая осень, но я не простой смертный, я — писатель! Но гордиться не стану...»

Скандал. Мои «Факты из жизни» имеют такой успех, что лучше бы я на свет не родился.

Скроботов встречает меня со звериной яростью:

— Что вы наделали?! — кричит он. — Где живут ваши почтовые голуби, чорт возьми! И где находится несчастный сапожник, выдуманный вами? Редакцию осыпают письмами, поступают пожертвования...

— Простите, Николай Александрович, но ведь вы же сами учили меня...

— Неправда! Я никогда не учил вас обманывать читателей... Я говорил лишь о некоторой доле фантазии... А вы что сделали? Дискредитировали лучшую газету Петербурга... Нет, это уж слишком!..

Редактор в изнеможении падает в кресло. Я стою у окна и грызу ноготь большого пальца. Мне успели уже на ходу передать, что в редакцию поступило и поступает много запросов по поводу почтовых голубей. Даже почтово-телеграфное ведомство требует немедленно указать адрес владельца почтовых голубей и предъявить квитанцию на срочную телеграмму, отправленную в день полета птиц. Кроме того, какая-то дворцовая баронесса Клейнмихель прислала лейб-гуса-

ра узнать, где живет сапожник и «вдовица с лептой».

— Много перевидел я сотрудников, — тихим, усталым голосом говорит Скроботов. — Попадались всякого рода вральманы. Подводили, что говорить... Случались неприятности от мелких шантажистов. Приходил сам Бубнов, владелец многих трактиров. «Ваш сотрудник, — жаловался он, — уж который раз приходит получать взятку за канарейку живущую в чистой половине. Она-де полощется и брызгает на столы...» Прогнал я этого сотрудника, Мухобоя по псевдониму... А то еще явился ко мне один из братьев Рыбаковых с просьбой окончательно и точно сказать ему, сколько у нас в газете работает Меланхоликов? Пятый Меланхолик приходит за бесплатным балыком, а у нас их всего один человек. Неприятно, что и говорить...

Редактор умолкает, низко опустив голову. Проходит минута, и старик снова загорается. Он стучит кулаком по столу и кричит на всю редакцию:

— Но то, что вы, молодой человек, сделали, хуже, во сто крат хуже всяких Мухобоев и Ме-

ланхоликов!..

Перед моими глазами сверкают зеркальные стекла витрин и зеленые обложки «Погибших людей».

Не выдерживаю последнего выпада редактора. Направляюсь к двери и возвышаю голос до предела:

— Вы меня отравили ядом уличной газеты!.. Ваша вина!..

Хлопаю дверью и скатываюсь с лестницы, оставляя «Листок» навсегда.

### **13. На рабочей окраине**

**В** связи с «Погибшими людьми» обо мне пишут: «Молодой, подающий надежды»... Если так, то я обязан эти надежды оправдать и осуществить их не газетными очерками, а большим художественным произведением.

И поэтому я ничего не делаю.

В моем воображении вспыхивают всевозможные сюжеты. Мои герои и героини истекают кровью, пляшут от счастья, дрожат от ненависти, умирают от любви, совершают подвиги, блещут красотой и пугают своим уродством. В моем сознании растут и зреют интереснейшие романы и повести. Почему пове-

сти? Сам не знаю, какая разница между романом и повестью.

— Алеша, ты бы сел за письменный стол, — неоднократно говорит мне жена.

Меня раздражает ее слишком ласковый голос, и, хотя сознаю, что она права, тем йе менее набрасываюсь на ни в чем не повинную подругу жизни:

— Это ты можешь садиться за стол, когда угодно! — кричу я, — а мне, чтобы сесть, надо кое-что иметь в голове... И, кроме того, не могу я творить в этом проклятом городе, где нет ни одного солнечного луча и где на мозг давит угарный туман, — добавляю я, чтоб, ы смягчить первоначальную резкость.

— Петербургские туманы, — возражает мне жена, — существовали при Пушкине, Гоголе и при других классиках нашей литературы. И однако их произведения, созданные в бессолнечном городе, нельзя назвать плохими.

Наши споры тянутся долго, однообразно и заканчиваются моими жалобами на мое собственное невежество, на отсутствие образования и какого-нибудь руководителя.

— Пойми ты, — говорю я с неподдельной горечью в голосе, — у каждого писателя, художника, музыканта имелись учителя, они сталкивались в жизни с людьми, помогавшими им подняться на высоту, а у меня был один-единственный Розенштейн, мешавший мне двигаться вперед. Как же после этого взяться за широкие темы, когда я нищим стою перед богатыми достижениями человеческого ума!..

— Неправда! — прерывает меня Татьяна Алексеевна. — Ты знаешь жизнь, ты побывал в тайниках ее, и перед тобою благородная задача — раскрыть перед читателем эти тайники и показать все ужасы нашей действительности, знакомые тебе по личному опыту.

Этот разговор заканчивается моим торжественным обещанием работать ежедневно и навсегда забыть о существовании «Петербургского листка».

Работаю над повестью «Преступник». Давно вынашиваю этот сюжет. Под влиянием Достоевского хочу проникнуть в психологию человека, совершившего случайное убийство.

Мне трудно справиться с такой темой. На-

думанность сюжета, слабая техника письма, убогий стиль и враждебные отношения с грамматикой мешают мне стать свободным творцом, каким должен быть писатель. Вот почему, когда сижу за рабочим столом, перед моим умственным взором нависает темная пелена, и неразгаданной тайной является для меня наш мир.

Горю желанием раскрыть человеческое сердце, рассказать о том новом и жутком, что сейчас живет во мне, волнует меня и острой болью растекается по нервам моим.

Татьяна Алексеевна все видит, понимает, сочувствует, но помочь не может.

Десятки раз перечитываю ей каждую страничку, исправляю, заменяю одни слова другими, извожу огромное количество бумаги и с тяжким трудом, доводящим меня до головокружения, медленно подвигаю вперед моего «Преступника».

Жена похваливает, старается всячески приободрить меня, а я грызу себя сомнениями, рву черновики и до боли напрягаю мозг, отыскивая новые слова.

В один из таких дней, когда «муки творче-

ства» окончательно одолевают меня, Татьяна Алексеевна подходит ко мне, нежно проводит рукой по черным кудрям моим и говорит:

— Алеша, ты на меня только не сердись... Мне кажется, что если ты будешь сидеть вот в этой каменной трущобе, не видя людей и не общаясь с жизнью, то боюсь, что не удастся тебе написать произведения большой ценности, как ты того хочешь. По-моему следует тебе ближе подойти к людям, к людям понятным и знакомым тебе с детства. Я говорю о рабочих...

— Как подойти?.. И что это может дать?

— Вот слушай: за Невской заставой живет мой старый друг и кум Василий Евдокимов... С ним я и хочу тебя познакомить.

— А какая от него польза?

— Очень большая. Он старый рабочий — модельщик Семянниковского завода. Человек передовой, начитанный и настоящий революционер. Мой Коля говорит, что Евдокимов и сейчас является агитатором. Мне хочется возобновить с ним прежние отношения.

— Если так, то это интересно. Он, значит, подпольщик? Великолепно!..

— Но прежде я должна одна к нему съездить. Надо поговорить, разузнать, а потом уж приехать с тобой.

— Хорошо. Я согласен...

В первое же воскресенье Татьяна Алексеевна отправляется в путь.

Остаюсь наедине с моим «Преступником».

Я среди рабочих-революционеров.

На небольшом пустынном поле между Стеклянным и Семянниковским заводами стоит небольшой, похожий на деревенскую избу, ничем не огороженный домик Евдокимова. Надо хорошо знать дорогу, чтобы найти это жилище, спрятанное в густом осеннем сумраке наступающего вечера.

Меня ведет Татьяна Алексеевна по извилистым и скользким тропам.

Поднимаемся по деревянным ступеням маленького крылечка.

Хочу постучаться в дверь, но Татьяна Алексеевна удерживает меня.

— Ты не знаешь... Погоди... Надо дать явочный знак...

Она два раза ударяет в дверь и после коротенькой паузы стучит в третий раз.

Меня слегка лихорадит от волнения. В моем сознании загораются слрва: «подполье», «заговор», «тайное собрание»...

Интересно и страшно!..

Медленно открывается дверь. Слышится мужской голос: — Татьяна Алексеевна?

— Да, но я не одна... Со мною мой муж...

— Очень рад, — слышу я все тот же мужской голос.

Мы входим в комнату, до отказа переполненную людьми.

Сколько лиц! Как блестят в скупом освещенном помещении эти серые, карие, голубые глаза!..

Но самое видное место здесь занимает хозяин дома — плотный, среднего роста человек с широкой, выпуклой спиной, с мягким, немного расплывчатым лицом, окаймленным седой бородой клинушкой и густыми серыми усами.

После небольшого перерыва, вызванного нашим появлением, собрание успокаивается, и Василий Евдокимович приступает к продолжению своей речи.

Собравшиеся сидят на досках, положен-

ных на табуретки, стоят вдоль стен и плотным кольцом окружают небольшой, овальной формы стол.

— Товарищи! — начинает оратор. — Из всего сказанного нам совершенно ясно, что фабрично-заводские рабочие всей России смело могут называть себя классом. Так ведь? Теперь посмотрим, товарищи, разница между нами и крестьянами?

Василий Евдокимович протягивает вперед свои тяжелые руки с пальцами, обожженными лаком, окидывает слушателей выразительным взглядом, а затем уже отвечает на вопрос.

— Это правильно!.. В самую точку попал, — вырывается у слесаря, сидящего в первом ряду, по фамилии Кудряшин, как узнаю впоследствии.

— Не мешай, дай договорить, — успокаивает Кудряшина его сосед, лысый человек с густыми черными бровями на желтом фоне высокого лба.

Василий Евдокимович продолжает:

— Товарищи, между нами и крестьянами розни быть не может, — нас объединяет ни-

щета и жестокое бесправие. Так ведь? Давайте же, товарищи, вдумаемся в наше положение. Если мы, рабочие, поднимем крестьян на борьбу, то получится непобедимая, многомиллионная масса угнетаемых, поднявшаяся на малочисленный класс угнетателей. Спрашивается, кто победит? Победят все угнетенные под руководством рабочего класса. Угнетатели — слабее нас.

Раздается радостный смех и возгласы.

— Они-то сами, может, и слабые, да вооружение крепкое...

— Это верно — голыми руками не повоюешь...

— А повоюем! — возвышает голос Кудряшин и встает с места.

— Мы, — продолжает он, — без пороха взорвем их. Прекратим работу — и конец буржуям. Вся жизнь остановится. И вот тебе победа...

— Для начала и это неплохо, — замечает Василий Евдокимович.

Шумно становится в комнате. Крепнут голоса, и вспыхивают лица. Слова протеста и гнева взлетают над головами революционе-

ров, загнанных в подполье.

То, что сейчас происходит, до того для меня ново, интересно и необычайно, что готов сам принять участие в этом человеческом горении.

Пытаюсь успокоить свои нервы и украдкой пожимаю руку жены.

На всю жизнь запоминаю выражение возбужденных лиц, вспышки глаз, сжатые кулаки и угрозы, кипящие на трепетных устах.

Пишу рассказ из рабочей жизни и впредь буду писать исключительно о рабочих. Таково мое твердое и непреклонное решение. С материалом, терминологией и различными сторонами рабочего быта знакомит меня Николай Ростовцев, родной брат моей жены и слесарь Орудийного завода, куда он недавно попал на работу.

Первый рассказ, озаглавленный «Рабочие руки», написан мною с большим подъемом и глубокой искренностью. Татьяне Алексеевне нравится, но в то же время она жалеет, что из-за цензуры я не могу коснуться более острых явлений жизни рабочих, а вынужден удовлетвориться описанием нужды, тяжкого

труда, необеспеченности героев рассказа, не упоминая об основной причине этого сумрачного существования людей.

Василий Евдокимович, посетивший нас в первый же праздничный день, очень доволен моим рассказом.

— Хорошо делаете, — говорит он мне, — что пишете о рабочих. Пусть без политики, раз этого нельзя, но зато вы в читателях вызываете чувство жалости к обездоленным, а это уже очень много. Сначала человек пожалует, потом призадумается, войдет в положение и наконец возмутится. Вот это нам и нужно. Чем больше мы привлечем сочувствующих, тем успешнее будет борьба.

Мне нравится этот старик. Заглядываю в его знающие и умные глаза, обвожу взором его массивную сутулую фигуру и его характерные для рабочего натруженные руки.

Мне хочется войти в его сознание и ощутить в себе его мысли, его стремления и все то, чем жив этот старый рабочий, обладающий пламенным сердцем истинного революционера.

Приходит Коля. Завязывается общая беседа.

да. Брат рассказывает о том, как вчера на Русско-Балтийском заводе металлисты первой механической прокатали на тачке мастера Павлишина.

Василий Евдокимович смеется и укоризненно качает головой.

— Прочитать негодяя следует, — говорит старик, — но нашему брату эти шутки дорого обходятся. В письме к путиловцам Ленин не советует прибегать к частичным и мелким выступлениям.

— Кто такой Ленин? — вырывается у меня вопрос.

Василий Евдокимович удивленно поднимает свои взлохмаченные брови, перекидывается взглядом с Татьяной Алексеевной, а затем отвечает:

— Ленин — известный революционер. Родной брат Александра Ульянова, недавно казненного через повешение Александром III.

При последних словах старик сжимает кулак.

— Ленин — социал-демократ, — продолжает Василий Евдокимович, — учит, воспитывает нас, рабочих, и готовит к большому восста-

нию.

Я ошеломлен. Образ неведомого мне Ленина живет в моем сознании, и я мысленно сравниваю его с величайшими борцами человечества.

О Ленине кое-что знает и Татьяна Алексеевна. Беседа переходит на политические темы. Впервые узнаю, что настоящими революционерами следует считать не народовольцев, казнивших Александра II, а социал-демократов, последователей учения Карла Маркса.

Российская социал-демократическая партия, Маркс, Энгельс, Ленин, интернационалисты, «Искра», «Рабочее знамя» и многие другие для меня совершенно новые слова вливаются в мою измять и волнуют ум и сердце. И когда Евдокимов, понизив голос, рассказывает нам о предстоящих больших забастовках и о будущей борьбе рабочего класса против самодержавия и эксплуататоров, — я глотаю каждое слово этого замечательного старика. Слушаю с огромным вниманием и в то же время ощущаю нервный трепет тела и учащенные удары сердца.

Василий Евдокимович, разговаривая со

мной, старается подобрать самые точные выражения и самые простые, понятные слова.

Старик, как я догадываюсь, чувствует, что имеет дело с профаном в области политики, и, может быть, неожиданно для самого себя становится учителем.

Он начинает издалека, рассказывает о древних временах, когда человек, выйдя из первобытного коммунизма, научился ввергать в рабство себе подобного. Потом он наиболее подробнейшим образом останавливается на исторических этапах развития эксплуататорских классов и доходит до наших дней, когда рабочие и крестьяне под тяжелым прессом самодержавного деспотизма и буржуазного гнета ведут полуголодное существование.

Уходит старик, а я часами мечусь по комнате, переживаю все рассказанное, и в моем сознании встает оголенный и темный мир голодных, холодных, бездомных бедняков, с одной стороны, и роскошные дворцы, полные света, довольства, роскоши, сытости и хмельной безудержной радости — с другой.

Однажды Василий Евдокимович приносит нам «нелегальщину».

Маленькую истрепанную книжонку, набранную петитом и напечатанную на плохой оберточной бумаге, и шесть толстых тетрадей, написанных от руки мелким, но довольно разборчивым почерком, под общим заглавием «Выписки из „Капитала“ Карла Маркса».

Книжка сопровождается двумя статьями — одна подписана Лениным, а другая — Бельтовым. Потом, много времени спустя, узнаю, что Бельтов и Плеханов одно и то же лицо. Сама книжка озаглавлена: «К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест коммунистической партии».

Мы с Татьяной Алексеевной, как только остаемся вдвоем, приступаем к чтению. Начинаем с «Капитала».

Читаем долго и упорно. Читаем в продолжение нескольких дней.

Напрягаю все свои умственные силы, но не могу одолеть философскую и теоретическую часть «Капитала».

То же самое происходит с Татьяной Алексеевной. Но зато «Манифест» раскрывает мои глаза, и я не только вижу, но осязаю светлую истину, провозглашенную великим Марксом.

— Таня, — говорю я жене, — отныне даю торжественное обещание всю мою жизнь и весь мой труд посвятить рабочему классу!..

В углах рта Татьяны Алексеевны появляется характерная благожелательная улыбка.

Да, вот тебе рассказы о рабочих... Никто печатать не хочет.

Газеты, еженедельники, толстые журналы нисколько не интересуются фабрично-заводским бытом и жизнью самих рабочих.

— Не подходит по цензурным условиям, — слышу я одну и ту же фразу при возвращении мне рукописи.

Один только редактор газеты «Сын отечества» обходится со мною внимательно. Я хорошо помню этого старика с окладистой бородой и с руками, густо осыпанными крупными веснушками.

— Прочитал ваши очерки, — говорит он, — написано неплохо но, к сожалению, сюжеты не ко времени.

— Почему? — неожиданно для самого себя задаю вопрос.

— Неужели вы не знаете?

У редактора морщинистое лицо раскалы-

вается в улыбку.

— Это вы выпустили три тома под названием «Погибшие люди»? Скабичевский о них отзывается с похвалой, а между тем вы, перевидавший на свете так много, не знаете, почему сейчас не время писать либеральные статьи и рассказы о рабочих. Ну, если так — садитесь сюда. Я вам это объясню в двух словах.

Старик указывает мне на кожаное кресло перед столом. Сажусь и слушаю.

Редактор упирается локтями о стол, забрав в руки седую с рыжим оттенком бороду.

— Сейчас, — начинает он, — свирепствует реакция. Самодержавие, покончив с народо-вольцами, неожиданно для себя столкнулось лицом к лицу с политическим врагом, более сильным и более опасным. Этот враг — рабочий класс, растущий с невероятной быстротой как в численном отношении, так и в своем политическом сознании. Вот почему царская цензура не только запрещает писать о рабочих, но и строго взыскивает с нас, если что-либо подобное пустим в печать. Теперь ясно?

Он откидывается на спинку кресла, одной рукой ощупывает стоящую тут же трость, другой — берется за локотник кресла и медленно, с большим усилием поднимается на ноги. Он высок и грузен. Слезятся из-под нависшей лобовины небольшие, но очень выразительные глаза. Он протягивает мне руку и на прощанье говорит:

— Если вы напишете что-либо подходящее, я напечатаю. Что же касается вот этих рассказов, то не печальтесь: наступит скоро время более мягкое.

— Разве?

— Да, представьте себе, очень возможно. Вообще запомните — когда власть доводит страну до такого напряженного состояния, как сейчас, то, подобно назревшему нарыву, оно не может долго продолжаться.

Ухожу вполне удовлетворенный, со свертком возвращенной рукописи в руке. В передней сталкиваюсь с секретарем редакции, молодым человеком по фамилии Носков.

— Вернули? — спрашивает секретарь.

— Да, но это ничего... Возможно, что мои рассказы скоро будут напечатаны. Нельзя ли

у вас узнать, как фамилия вашего редактора?

— Шеляер-Михайлов.

Я до предела расширяю глаза и чуть не скатываюсь с широкой каменной лестницы.

Лечу домой. Татьяну Алексеевну обдаю радостным возгласом:

— Таня! Я познакомился с самим Шеллер-Михайловым!.. Автором «Лес рубят — щепки летят»!..

— Это очень хорошо. Ну, а что он сказал относительно рассказов?

— Не подходят по цензурным условиям. Но это пустяки — они скоро будут напечатаны...

— Кто сказал?

— Сам Шеллер-Михайлов. Вот тогда заживем! А сейчас, знаешь, о чем я думаю? Хорошо бы снести что-нибудь в ломбард. Смертельно жрать хочется! Снесу наши две серебряные ложки... Хорошо? А там вскорости выкупим. А если понадобится, поступлю на завод. Напильником владею неплохо... Что тут особенного!.. Не правда ли?.. Зато войду в самую чащу рабочего класса... Ей-богу!.. Вот увидишь...

Жена улыбается. Но, когда ухожу, до моего слуха доносится тихий вздох.

## 14. Коронованный кабатчик

Конец октября. Холодной слизью окутан Петербург.

В ненастных сумерках позднего утра кружатся белые пушинки первого снега.

Пишу новый рассказ, заранее предназначенный для Шеллера-Михайлова. Заглавие уже готово — «Смертная казнь». Рассказываю о том, как на моих глазах повесили в Чарджуе Али — молодого красавца.

Работаю легко, с увлечением. Там, где меня вставляет фантазия, на память приходят личные воспоминания, и снова предо мною встает с необычайной четкостью обреченный юноша; и рассказ мой расцветчивается огнями давно отзвучавшей жизни.

Окруженный видениями минувших лет, я ухожу от окружающей меня действительности, не ощущаю комнатной сырости и злой непогоды северной осени.

Неожиданно раздается звонок.

Спустя немного ко мне в сопровождении удивленной Татьяны Алексеевны входит типичный портовый босяк с веселыми хмельными глазами и с прижатым к груди томи-

ком «Погибших людей».

— Mille pardons... Encore un moment et nous sommes desamis... А впрочем, позвольте представиться... Перед вами ближайший потомок известнейших негоциантов Морозовых, а если сказать короче, то я — ваш издатель.

Не знаю, как мне быть. Рассердиться, выгнать или пригласить сесть и вообще обойтись с незванным гостем повежливее. Босяк по выражению моего лица, должно быть, догадывается о моем колебании и в том же непринужденном тоне продолжает:

— Если у вас есть сомнение в том, что я ваш издатель, то могу мои слова подтвердить документами. Вы господина Геруца, наверно, хорошо знаете, раз доверились ему и заочно изволили подписать договор со мною?

Посетитель на наших глазах наглеет с невероятной быстротой. Он шумно опускается на стул и засовывает посиневшую от холода руку за пазуху, намереваясь вытащить оттуда документ.

— Бросьте, мне никаких бумаг не надо, — почти кричу я. — Вы лучше скажите, зачем вы сюда пришли и что вы от меня хотите?..

— Вот это я понимаю — настоящий тон, когда говорит обеспеченный человек с парнем, проводящим ночи под открытым небом. А что мне от вас надо, могу сейчас объяснить...

Назвавший себя Морозовым встает, дрожащей рукой проводит по всклоченной бородке, весь уходит в свою ватную кофту и продолжает:

— Если вы действительно автор вот этих книжек, то вы лучше меня знаете, что мне сейчас нужно, а остальное вам подскажет ваше писательское сердце.

Мы с Татьяной Алексеевной обмениваемся многозначительным взглядом.

— Да; вы правы, — примиренно говорю я, — но, к сожалению, вы пришли ко мне в такой момент, когда я сам почти без денег...

Блеснув глазами и лихорадочно вздрогнув всем своим длинным тощим телом, мой необычайный издатель кладет томик на стол и шепчет:

— В таком случае будьте добры до конца и по-братски разделите ваше «почти» пополам...

Открываю ящик стола и отдаю последние

три рубля.

Мы пожимаем друг другу руки, и Морозов уходит, оставляя на полу мокрые следы.

Вечером того же дня после долгого отсутствия приходит к нам Геруц. Этот маленький суетливый человек еще из передней кричит:

— Вы дома, господин Свирский!?. Вот это превосходно...

Выхожу из комнаты и вижу бородатого карлика. Он торопливо двумя руками подбрасывает свою шубу, стараясь накинуть ее на крючок вешалки, но это ему не удается. Приходится помочь ему, хотя я зол на него за посещение Морозова.

Геруц прикладывается к ручке Татьяны Алексеевны, здоровается со мною, хватает туго набитый портфель и глазами, и бородой, и всем своим маленьким туловищем приглашает нас в мою рабочую комнату.

— Вы мне хотите что-то сказать? — спрашивает меня Геруц, первый подойдя к письменному столу. — Вы мне сегодня не нравитесь... Вы какой-то злой... Почему, а?..

Геруц с его развязным тоном становится мне противным.

— Сегодня, — говорю я, — меня посетил издатель «Погибших людей»... Зачем вы меня обманули?.. Неужели за то, что я был доверчив?!

Мои глаза скользят по плешивому темени. Геруца, сталкиваются с недоуменным и, как мне кажется, сердитым взглядом Татьяны Алексеевны, и я окончательно свирепею.

— Так обмануть!.. Поставить меня в такое дурацкое положение!.. Выбросить на рынок тысячи книг моих за сто рублей!.. Подсунуть мне поддельного издателя!..

— Превосходно... Превосходно... — перебивает меня Геруц. — Но вы ничего не знаете... Дайте мне объяснить... Сейчас все будет ясно... Я вам принес много радостей... Сейчас покажу...

Наступает минутное молчание. Геруц садится на стул, ставит свой портфель на колени, раскрывает его и запускает ладонь в бумаги.

Мы с Татьяной Алексеевной также усаживаемся.

— Вот вам первая радость...

Он вынимает какие-то типографские

сттиски, кладет их на стол, разглаживает рукой, а затем достает бумажник, вытаскивает четыре кредитные бумажки по двадцать пять рублей и, подняв на меня глаза и бороду, говорит:

— А это вторая радость. Ну, что скажете? Превосходно? Да?.. Это все ваше. По договору, — продолжает он, — я обязан платить вам, когда покрою все расходы по изданию, но я хочу с вами еще много дела иметь, а потому вношу раньше срока. Получите. Превосходно? А?

Геруц протягивает мне сто рублей.

Татьяна Алексеевна поощрительно кивает головой, и я принимаю деньги не без удовольствия.

— А вот это появится завтра в газете «Новости». У метранпажа выпросил для вас. Читайте, — заканчивает Геруц, ударяя ладонью по отткам.

Я и Татьяна Алексеевна наклоняемся над столом и читаем похвальный отзыв о моих «Погибших людях».

От моего недавнего негодования следа не остается. Я радостно взволнован и до того

счастлив, что готов обнять этого маленького и милого жулика.

— Кто написал? — спрашиваю я.

— Сам Скабичевский, — торжественно отвечает Геруц. — А теперь, продолжает он, — мы будем с вами иметь превосходный разговор. Давайте издадим еще одну книжку. Без издателя давайте. Сами напечатаем, сами продадим и сами деньги получим. Превосходно? Да? У вас наберется рассказов на книжку? Ну, и превосходно!.. А какой вы сейчас пишете рассказ?

— «Смертная казнь» называется — отвечаю я.

Геруц вскакивает с места.

— «Смертная казнь»... Так это же хлеб!.. Не правда ли, мадам, ведь это же превосходно? — обращается он к Татьяне Алексеевне.

— Прежде всего надо написать. Потом неизвестно, пропустит ли цензура, с обычной серьезностью отвечает Татьяна Алексеевна.

Зато я немедленно даю полное свое согласие и твердое обещание завтра же закончить «Смертную казнь».

Когда нам изредка улыбнется судьба и в

доме заведутся деньги, мы обычно отмечаем этот клочок нашего успеха таким образом: отправляемся в кондитерскую Андреева, выпиваем по стакану шоколада с бисквитами и ласкаем друг друга влюбленными глазами.

Так поступаем и сегодня.

Мы идем по Невскому. Погода отвратительная. С взморья дует жестокий ветер, и жители столицы ждут сигнального выстрела, извещающего о начавшемся наводнении. Но мы с Татьяной Алексеевной чувствуем себя неплохо. Плотно прижавшись друг к другу, мы бодро движемся среди густой толпы пешеходов и весело разглядываем сверкающие витрины магазинов.

— Смотри, здесь даром снимают литераторов, — тихо говорит Татьяна Алексеевна и останавливается перед фотографией Здобнова.

Там четко, черным по белому написано: «С г. литераторов плата не взимается».

— Что это значит? — спрашиваю я.

— Сама не знаю, — отвечает жена, — но думаю, что зря фотограф этого не станет делать. По всей вероятности, он торгует карточками

всяких знаменитостей.

— Значит, не про нас закон писан?

— Надо полагать, что так.

Идем дальше.

Однако мы оказываемся чересчур скромными — на другой день я получаю приглашительную карточку от фотографа Здобнова. Меня просят сняться.

Внимательно рассматриваю конверт, почтовый штемпель и адрес.

Да, это именно меня приглашают.

Теплая струя радости ласково прикасается к моему удовлетворенному самолюбию, и впервые за всю мою жизнь ощущаю себя человеком, занимающим свое собственное место на свете.

Всерьез начинаю чувствовать себя писателем, и сознание собственного достоинства крепнет во мне с каждым днем. Да как же иначе? Меня начинают замечать. Появляются статьи и отзывы о «Погибших людях», подписанные Скабичевским, Амфитеатровым, Скрибой (Евг. Соловьев), Измайловым и многими другими.

Ко мне заходит среднего роста плотный че-

ловек с рыжей бородкой и просит подарить ему для его коллекции мою фотографическую карточку. Зовут его Федор Федорович Фидлер. Он учитель немецкого языка в гимназии Гуревича и переводит на немецкий язык наших поэтов. Его знают и любят все современные писатели. Ежегодно четвертого ноября в день рождения к Фидлеру на квартиру собирается вся петербургская пишущая братия, от самых знаменитых и до начинающих, вроде меня.

Редактор «Нивы» В. Светлов осведомляется, не дам ли я для журнала какой-либо рассказ. От Иноземцева, секретаря только что открывшейся газеты «Биржевые ведомости», присылают письмо с приглашением притти для переговоров о моем сотрудничестве.

Все эти факты в моем приподнятом воображении создают такое обширное поле для мечтания, что я совершенно ухожу от действительности и кружусь среди прекрасных, заманчивых грез, рожденных моей буйной фантазией.

Татьяна Алексеевна всячески старается спустить меня на землю, напоминает о том, что снова у нас в доме нет рубля, что необхо-

димо сесть за стол и закончить «Преступника», что пора, наконец, взять себя в руки, откинуть прочь несбыточные мечты и стать реальным человеком без воздушных замков и без сказочного мира, украшенного вечным счастьем, восторгами любви и легкой сладостной ленью... «Пора за дело!» — почти кричит жена, а я не могу оторваться от дум моих и уйти от сверкающих образов, никогда не существовавших на земле.

На Мещанской улице стоит небольшой трехэтажный домик, выкрашенный в светло-желтый цвет. На третьем этаже этого дома помещается редакция и контора газеты «Биржевые ведомости». Здесь же живет со своей семьей секретарь и заведующий всем этим учреждением Иноземцев.

Меня встречает красивая рослая полнотелая женщина средних лет.

— Вам кого?

— Я к господину Иноземцеву, по его приглашению...

В просторных темно-синих глазах женщины появляются живые огоньки, на пухлых губах играет улыбка.

— Это мой муж... Войдите сюда, в кабинетик...

Вхожу в «кабинетик». Там сидят двое: один в дымчатых очках с небольшой черной бородкой и длинными волосами, зачесанными назад; другой — маленький, худенький, сутулый, с впалой, грудью и чахоточным румянцем на костлявых щеках.

Последний при моем появлении слегка приподнимается и спрашивает:

— Вы ко мне?

— Да.

Я называю себя.

— Очень приятно... Садитесь, прошу вас... Позвольте вас познакомить наш молодой критик Измайлов.

После обычного рукопожатия усаживаемся на шатких венских стульях вокруг рыночного конторского стола, покрытого синей бумагой, запачканной чернилами.

Измайлов, чтобы разглядеть меня, наклоняет голову, оттибает очки и устремляет на меня два выпуклых черных глаза с широкими ободками белков.

Завязывается беседа. Интересуются моей

биографией и, в конце концов, приглашают меня сотрудничать.

Я доволен и счастлив. А когда Иноземцев на минутку оставляет нас, я спрашиваю:

— Почему здесь так тихо и малоллюдно?

Александр Алексеевич (так зовут Измайлова), раньше чем ответить, наклоняет голову, на мгновение обнажает глаза и снова прячет их под темные стекла.

— Сейчас здесь уже на что-то похоже, — говорит он шопотом и тонкой длиннопалой ладонью проводит по черным гладким волосам. — Еще недавно, продолжает он, — редакция ютилась под лестницей, небольшой темной каморке, где раньше проявляли домашние фотографии. Но «Биржевые ведомости» принадлежат некоему Пропперу, человеку еще мало известному, но очень ловкому. Газета имела право выходить в свет только два раза в неделю небольшим форматом. А сейчас она имеет разрешение выходить ежедневно по программе больших газет.

Измайлов на минутку останавливается, сухими пальцами оправляет очки и продолжает все тем же шепотком:

— Недавно сюда приехал из Австрии племянник Проппера — некто Бонди, тоже очень ловкий человек. Сейчас они хлопочут о разрешении им маленькой газетки под тем же названием, нечто вроде приложения к большой. И кроме того, хотят издавать вечернюю «Биржевку».

Из-под черных усов Измайлова хитро улыбаются сочные красные губы.

— Я недавно видел газету, но там никаких рассказов не заметил. Зачем же они меня приглашают? — спрашиваю я.

— Вот потому-то и приглашают, что в скором будущем им понадобится большой и разнообразный состав сотрудников. Я верю, — продолжает Измайлов, в звезду Проппера. На днях он был принят самим Витте...

Возвращается Иноземцев, и наша беседа обрывается.

Не проходит и полгода, как все, сказанное мне когда-то Измайловым, сбывается с необычайной точностью и быстротой.

«Биржевые ведомости» занимают видное место среди периодической прессы Петербурга. Маленькие «Биржевые ведомости» распро-

страняются по всей России подобно заразе. Небольшая цена и лже-либеральный тон привлекают внимание мещанских слоев населения, и подписка растет с каждым месяцем.

Главным сотрудником провинциальной «Биржевки» является писатель Линеv, подписывающий свои ежедневные статейки псевдонимом Далин. Цензура относится к писаниям Далина довольно благосклонно, хотя сногшибательные заглавия, вроде «Куда мы идем?», «Когда же наконец?», и т. п., могут возбудить умы мещан — любителей «запретных» мыслей.

Два моих рассказа — «Смертная казнь» и «Мишка свистун» напечатаны в «Биржевых ведомостях». Дела мои поправляются. Изредка заглядываю в «Живописное обозрение» к Шеллеру-Михайлову. Старик со мною ласков и внимателен. Советует мне написать большой роман о бедняках.

Совсем иначе к моей литературной деятельности относится Василий Евдокимович. Он находит, что в наше время каждый честный писатель, вышедший из народа, обязан посвятить все свои творческие силы рабоче-

му классу.

— Сейчас, — говорит он, — когда м у нас в России рабочее движение начинает принимать реальные формы, вы, писатели, своими произведениями должны освещать дорогу, ведущую к освобождению трудовых масс.

Мне нравится все, о чем и как говорит Василий Евдокимович.

Особенно приятно волнует обращение ко мне старого рабочего как к писателю. И слушая его, я испытываю чувство какой-то ответственности. Но в то же время я бессилён бороться с цензурой, не пропускающей ни одного рассказа, ни одного очерка из жизни рабочих.

Вот и сегодня по этому поводу происходит горячая беседа.

Брат жены, Николай Алексеевич, приводит с собой двух товарищей с Орудийного завода — Лямина Петра и Федора Белесова. А немного спустя приходит и сам Василий Евдокимович.

На столе появляется новый самовар. Он приобретен вчера на деньги «Биржевых ведомостей». Об этом гостям сообщает Татьяна

Алексеевна.

— Тогда я от чая отказываюсь, — шутя заявляет Лямин, молодой человек с вьющимися темными волосами и с чисто выбритым лицом. Если бы не синяя косоворотка и широкие ладони, покрытые свежими мозолями, его скорее можно бы принять, за артиста, художника, но отнюдь не за рабочего.

— Почему? — сердито спрашиваю я, немного задетый неуместной, как мне кажется, шуткой.

— И я бы то же самое сказал, — вмешивается Василий Евдокимович. — Что такое «Биржевые ведомости»? — продолжает он. — Дрянная газета, обслуживающая дураков из господствующего класса. Вот уж где сидят мошенники слова и разбойники пера!..

Василий Евдокимович возвышает голос и по привычке надавливает кулаком на стол.

— Когда мы, строители жизни, хотим достать плохонький типографский станок, чтобы путем живого слова разбудить спящее сознание наших юварищей, то мы всей громадой напрягаем силы, молим о помощи, взываем к сочувствующим интеллигентам и не мо-

жем добыть столь необходимого нам станка. А вот какому-то Пропперу удастся в полгода построить свою собственную типографию и разбрасывать по всей стране ядовитую ложь, отравляющую и без того отравленных патриотов самодержавной власти и множество других гадов, угодническими спинами подпирающих царский трон... Но черт с ними, с этими гадами... Гораздо страшнее то; что этой газеткой питается и наш брат-рабочий...

— Простите, Василий Евдокимович... Убежден, что моими рассказами, напечатанными в этой газете, я никого не отравляю...

Мое замечание вызывает некоторое смущение.

— Н-да, это действительно... — тихо роняет Белесов, широкоплечий, грудастый и круглоголовый человек, необычайно сильный и застенчивый.

— Что вы, что вы!.. Разве я про вас... — возражает Василий Евдокимович и машет на меня своими тяжелыми короткопалыми руками.

Улавливаю добродушную улыбку под седыми усами.

Заглядываю в серые возбужденные глаза старика, и от моего минутного недовольства ничего не остается.

Проппер и его племянник Бонди легко и быстро завоевывают известность. Хозяин «Биржевых ведомостей» покупает тот самый дом на Мещанской, где он вначале ютился под лестницей, ведет переговоры с каким-то разорившимся аристократом о приобретении роскошного особняка на Английской набережной и в то же самое время с необычайной быстротой и деловитостью укрепляет и расширяет свою издательскую деятельность. Повторное издание «Биржевых ведомостей», предназначенное для провинции, становится самой распространенной газеткой.

В литературных кругах о новоявленном издателе Проппере и «редакторе» Бонди говорят с возмущением и злым юмором.

В их честь кем-то пущен афоризм: «если Проппер не сопре, то Бонди сбондит».

Говорят, что Проппера обогащает не газета, а счастливая игра на бирже, но Измайлов, заведующий литературно-художественным отделом газеты, упорно утверждает, что глав-

ным источником обогащения является министр финансов Витте.

И он прав. Дело в том, что в правительственных кругах давно уже зреет мысль об увеличении доходов казны путем введения государственной монополии на винную торговлю.

Витте задумал провести через государственный совет закон о монополии более мягким путем. Он хочет замаскировать насильственный характер нового налога.

И вот тут как раз вовремя появляется Проппер. О чем беседовал Витте с Проппером, какие вопросы они решали — никто не знает. Но зато теперь ни для кого уже не секрет, что «Биржевые ведомости» субсидируются министром финансов.

После целого ряда статей о пользе для народа монополии «Биржевые ведомости» затевают сейчас нечто вроде «плебисцита» и в каждый номер маленького повторного издания вкладывают опросный лист с просьбой ответить: «желательна ли государственная монополия?»

Читатели «Биржевки», польщенные дове-

рием, охотно отвечают на вопрос, и со всех концов империи прибывают тысячами «голова народа».

Иноземцев и все его родные работают безотказно, день и ночь сортируя присланные ответы. И когда за месяц до официального опубликования закона о винной монополии на первой странице «Биржевки» появляется статья о желании народа избавиться от частных кабатчиков, спаивающих бедный трудовой люд, для нас, сотрудников газеты, окончательно становится ясным, откуда идет благополучие Проппера.

Сегодня впервые происходит крупная серьезная ссора между мною и Татьяной Алексеевной.

Возвращаюсь домой и сообщаю жене, что был в гостях у Измайлова на Смоленском кладбище.

— При чем тут кладбище? — недовольным тоном спрашивает жена.

— Он там живет. Его отец, кладбищенский священник, недавно умер, и Александр Алексеевич один занимает весь дом... Ты чего это? — обращаюсь я к Татьяне Алексеевне, за-

метив ее нахмуренные брови и суровое выражение лица.

— Ничего... Это у меня от хорошей жизни...

— В чем дело?.. Что случилось?.. — пристаю я.

— Алеша, я сегодня была у Никульцевых. Там в списке сотрудников «Биржевых ведомостей» увидели твое имя и очень удивились...

— Почему удивились?.. Кто удивился?.. И вообще я не понимаю, что это за контроль такой!.. В списке сотрудников вся современная литература... А мне нельзя...

Кричу потому, что мне хочется быть правым. Но Татьяну Алексеевну криком не возьмешь. Она и сейчас дает мне накричаться, а потом говорит:

— Если ты так ставишь вопрос, то, конечно, можешь сотрудничать, где тебе угодно. Но если ты искренен, когда говоришь, что болеешь за народ, что не только сочувствуешь, но жизнь отдать за освобождение рабочего класса, и если ты посещаешь массовки не ради любопытства, а ради того, чтобы бороться вместе с революционными рабочими, гореть их огнем и страдать их страданием, то... Впро-

чем, ты сам должен знать свое место...

Наступает коротенькое молчание. Чувствую себя неловко, но все же хочу оправдать себя.

— Таня, недавно по этому самому поводу мы разговаривали с Измайловым. И вот, что он мне сказал: «Не то важно, в каком органе печати сотрудничает тот или иной писатель, а важно, что и как пишет он. Представьте себе, что в „Новом времени“ появляется вполне приличная и по-настоящему либеральная статья, очерк или рассказ. Так неужели же мы должны предавать анафеме автора за то, что поместил свой труд в черносотенной газете или журнале и тем самым занял место, где могло быть помещено плохое произведение»? Вот как смотрит на это Измайлов.

— Но ты же не сын священника и в духовной — семинарии схоластике не обучался... Почему же ты хочешь думать одинаково с ним?

— Я не говорю, что думаю, как он. Мне лишь хотелось указать на отношение к этому вопросу со стороны других людей, — упавшим тоном возражаю я.

— А вот на Балтийском заводе совсем другое отношение. Рабочие возмущены ужасно. Николая II заранее уже наградили новым титулом «коронованный кабатчик». Что же касается «Биржевых ведомостей», то проводится тайный бойкот этой газеты, и мне стыдно, когда указывают на тебя.

Долго шагаю по комнате и молчу. Во мне происходит борьба и вместе с тем признаю правоту жены. Наконец не выдерживаю, подхожу к Татьяне Алексеевне, заглядываю в ее красивые, ясные глаза и тихо спрашиваю:

— Стало быть, конец?.. Опять за «Преступника» садиться?..

— Что ж, Алеша, ведь жили же мы без «Биржевых ведомостей»...

Не даю ей договорить. Крепко обнимаю ее и губами срываю слезинки с ее густых темных ресниц.

## 15. Перед бурей

Мчится время. Наступает девятисотый год. Продаю последний авторский экземпляр книги «Смертная казнь».

С каждым днем свирепее становится нужда. Бедность взбирается на плечи, сутулит ме-

ня, а я не в силах скинуть ее и всюду тащу с собой этот невидимый, но тяжелый груз.

Сегодня наш обед состоит из куска черного хлеба и горячего чая.

И это в то время, как у меня в столе лежат две толстые тетради с наклеенными вырезками из периодической печати, где обо мне отзываются как о молодом даровитом писателе!

— Нищий, а не писатель!.. — кричу я. — Разве можно творить, когда только и думаешь о том, где бы достать рубль и как бы обеспечить завтрашний день... Проклятая страна, где среди богатых бездельников умирает писатель, доведенный до последней черты...

— Этим не поможешь, — слышится голос Татьяны Алексеевны. — Сколько ни бегай по комнате, сколько ни кричи, — положения не улучшишь...

Жена стойко выдерживает натиски житейского ненастья. Не слышу ни одного вздоха и ни одного упрека.

Но эти глаза, наполненные суровой скорбью, сильнее всяких жалоб и слез; а губы, сомкнутые немой печалью, доводят до отчаяния, терзают сердце и не дают вернуться дав-

но ушедшим мечтам.

— «Преступник» закончен, — продолжает Татьяна Алексеевна все тем же ровным и тихим голосом. — Не понимаю, почему ты не попробуешь сдать рукопись в какой-либо толстый журнал. Ведь если повесть целый год будет лежать на твоём столе, она от этого лучше не станет.

— Куда итти?.. Какой серьёзный журнал напечатает произведение бывшего сотрудника уличной газеты?..

— Как знать? — возражает жена. — Если вещь понравится, то, надо думать, биография автора большой роли не сыграет. Я бы посоветовала снести «Преступника» в новый журнал «Жизнь». Судя по списку сотрудников, журнал будет держаться социал-демократического направления.

Слова жены немного приподнимают меня, и в моем сознании зарождается надежда.

— Ты это серьезно говоришь?

— Мне не до шуток. Не понимаю твоих сомнений. Не менее двадцати раз прочитала я эту вещь. Нахожу ее хорошей по изложению и серьезной по теме.

Подхожу к столу, беру в руки тяжеловесную рукопись, переписанную моей рукой, глазами пробегаю по некоторым страницам, всячески стараюсь побороть нерешительность и, наконец, говорю:

— Хорошо... Сделаю по-твоему... Провалюсь — не моя вина...

С тетрадью в руке ухожу из дома.

На дворе звенит весна. Где-то далеко за нашим домом горит солнце. Оранжевые блики играют на высоких каменных карнизах.

Кричит детвора, и, упоенные любовью, бодро прыгают воробьи.

На моей голове круглая потертая шапчонка из поддельного барашка. Еще хуже выглядит мое пальтишко, до-нельзя изношенное.

Журнал «Жизнь» находится на Знаменской улице в белом трехэтажном доме.

С сильно бьющимся сердцем вхожу в редакцию. Служащий показывает мне дверь редакторского кабинета. Хочу войти, но в этот момент из комнаты показывается человек в очках. Он высок ростом.

Мягкие черты лица украшены небольшой остроконечной бородкой с проседью.

— Вы от кого? — спрашивает меня сам редактор, как я потом узнаю.

— Я от господина Свирского. Велел рукопись сдать... Можно? — спрашиваю я и протягиваю тетрадь.

— Что ж, можно... Скажите господину Свирскому, что рукопись получена мною, Поссе.

Горит лицо, и острые иглы колют череп. Неужели возвращаюсь к прошлому?.. За что?..

Все невзгоды позади. На моем маленьком небе цветет весна.

Повесть «Преступник» принята и будет напечатана на страницах лучшего журнала «Жизнь».

Благословляю этот светлый день, когда судьбе угодно было вознаградить меня за все обиды, за тяжкое унижительное существование и тихие слезы, пролитые мною в бессонные ночи...

Беру еще одну ступень. Мир улыбается мне. Получаю за «Преступника» восемьсот рублей. Сумма небывалая.

Мы с Татьяной Алексеевной даже теряемся. Но я быстро прихожу в себя. В несколько

дней сбрасываю лохмы нашей бедности. Снимаю квартиру, вполне приличную и светлую, в доме, где живет артист императорских театров Николай Ходотов — человек талантливый, развитой, пьющий и веселый.

— Что ты делаешь, безумный? — говорит мне Татьяна Алексеевна, когда с помощью грузчиков притаскиваю мягкую мебель, обитую голубым атласом. — Ведь мы снова останемся без денег, — продолжала она. — Уж не думаешь ли ты, что на мягкой мебели слаще голодать?

Заливаюсь раскатистым смехом.

— Чудачка! Ты, наверно, убеждена, что я за эту мебель уплатил целое состояние... Знаешь, сколько стоит этот мещанский хлам?.. Всего навсего сорок пять рублей. Не веришь? Честное слово. На вот, смотри...

Вытаскиваю из кармана пачку денег.

— Пойми, Таня, надо же когда-нибудь начать жить по-человечески. Наш сосед Ходотов живет совсем по-барски, а он простой мужик Олонецкой губернии. Неловко как-то перед ним... И притом не забудь, что я с детства привык к роскоши, — добавляю я шутя.

— Ах, Леша, Леша, что мне с тобой делать!.. Растрывкаешь эти деньги, и опять начнем клясть судьбу...

— Ошибаешься... Прошли те времена... Устроимся здесь как следует, сяду за стол. и такую штуку напишу, что звезды задрожат...

Беру жену под руку и насильно веду ее гулять по всем пяти комнатам.

— Безумный, ведь мы уже в десятый раз гуляем по этим комнатам.

В ее голосе нет раздражения, а в круглых серых глазах плещется смех.

Ежедневно в утренние часы сажусь за стол с добрым намерением поработать. Но в голове так много тем, сюжеты так разнообразны, погода такая теплая, над Петербургом, всегда туманным и дождливым, в эти чудесные дни висит такой чистый небесный купол, так сладко на моем окне пахнет распустившийся комнатный жасмин, а в нашей домашней кассе еще так много денег, — что при всем желании не могу сосредоточиться, не могу собрать воедино разбегающиеся мысли и не могу устоять против соблазна вырваться из холодных каменных стен квартиры и очутиться

на вольном воздухе, где ликуют апрельские дни (где гранитном ложе синей гладью течет полноводная Нева.

Но чаще и сильнее всего мешает мне работать сосед Ходотов.

Обе наши квартиры находятся на одной площадке. В свободные часы артист заходит к нам, горячо спорит о литературных новинках, а однажды является с четырьмя моими книжками и просит сделать надписи на память. С этого момента мы ближе подходим друг к другу и становимся друзьями.

Жизнь Николая Ходотова представляется мне сплошным праздником. Часто после спектаклей к нему съезжаются актеры и актрисы. В полночь становится шумно, весело и многолюдно. Поют, играют на рояли, декламируют стихи, азартно спорят об искусстве, но больше всего пьют.

Пиршество заканчивается на рассвете холодным крюшоном или горячим глинтвейном.

Мне нравится этот безрассудный, но счастливый, страстный и без конца веселый кусок жизни. Балерины, певицы, артистки драмы и

оперы, нарядные и пахнущие духами, кружат мою голову, и я мгновенно влюбляюсь в каждую из них.

На всю жизнь запоминаю чарующий голос Комиссаржевской, преклоняюсь перед огромным талантом Владимира Николаевича Давыдова и плачу от умиления, когда свои собственные стихи декламирует Мирра Лохвицкая.

Живу, в полусне и плохо ощущаю окружающую меня действительность. Устраиваю и у себя вечеринки. Приглашаю писателей: Баранцевича, Немировича-Данченко, Мамина-Сибиряка, доктора Жихарева, Волынского и многих других, с кем меня знакомит Фидлер, стоящий в центре литературы.

Ходотову приходит фантазия открыть входные двери и слить наши квартиры в одну. Тогда получается, по выражению Татьяны Алексеевны, «пьяная ярмарка». Десятки мужчин и женщин переходят от нас к Ходотову и от Ходотова к нам.

Но бывают иного характера вечера.

Так, например, сегодня выступает Аким Волынский или, как мы его называем, «Кант

в отставке». Он типичный интеллигент-идеалист и о политике отзывается с большим пренебрежением. Волынский — искусствовед и эстет.

— Красота — вот единственное божество на земле.

Вглядитесь в лучезарный лик мадонны Рафаэля или даже Мурильо, и вы поймете, что в мире нет другой радости, кроме красоты, созданной искусством.

Этот худой, маленький человек с сухощавым лицом, детскими плечиками и с глазами фанатика говорит лучше, чем пишет. Он умеет захватить слушателей не логикой и не решением поставленных проблем, а необычайной взволнованностью и неудержимым экстазом.

Даже Вера Федоровна Комиссаржевская слушает его с замиранием, когда он говорит о красивых изгибах и линиях тела артиста во время игры на сцене.

Случается, что к нам заглянет Амфитеатров, и тогда первая половина вечера посвящается политике.

Тесной группой в двадцать человек рассаживают

живаемся вокруг большого стола и внимательно слушаем Александра Валентиновича.

Он терпеть не может царствующий дом Романовых, но тем не менее наш популярный публицист далек от мысли свергнуть самодержавие.

— Пусть хоть куцая, но чтобы была конституция. Чем мы хуже Англии или Италии? Там имеются монархи, но что они собою представляют? Коронованных Молчаливых. Так почему же нам нельзя иметь этакое малословного и на все согласного царька?..

Так рассуждает этот громадного роста человек, приведя многих слушателей в смущение, похожее на страх.

Завязывается бурный, взволнованный спор — русскому народу, темному и дикому, не к лицу конституция.

Сначала культура, а потом свобода.

Так возражают Амфитеатрову актеры из Александрийского театра.

- Позвольте! — неожиданно для самого себя, несдержанно вступаю в спор. — Недавно я был среди рабочих. Пусть они не в смокингах, а в косоворотках, но их политические взгля-

ды куда шире и глубже взглядов господ актеров!.. Они требуют не только свержения царя, но и уничтожения капиталистов и собственности...

Становится тихо. На меня глядят с ужасом. Мне самому немного становится страшно. Ходотов, чтобы замаять общую неловкость, вызванную моими словами, подходит, шутя закрывает ладонью мне рот, другой рукой подносит стопку, наполненную коньяком.

Мое выступление у Ходотова имеет последствия: друзья артиста избегают встреч, а к нам во время вечеринок не заводят. Сам Ходотов хотя и поддерживает «добрососедские» отношения, но недавнего дружеского чувства с его стороны я уже не ощущаю.

Татьяна Алексеевна тоже недовольна мною. Она находит, что мое выступление перед людьми, далеко стоящими от народа и политики, было лишним и бесполезным.

— Ведь я ничего особенного не сказал, — возражаю я жене. — Ведь эти люди должны же понять, что не они являются основой человечества и что рано или поздно народ сбросит иго капитализма. И тогда они будут иг-

рать не в императорских театрах, а в народных. Вот и все. Подумаешь, какое я преступление совершил... Плевать мне на них...

Татьяна Алексеевна смеется.

— Хотя ты и очень горячий, но политик неважный. Придется тебе, Алеша, многому поучиться, многое узнать путем житейской практики, чтобы войти равноправным в коллектив борющихся за освобождение народа.

Достается мне и от самого Василия Евдокимовича. К нему мы попадаем в одно из ближайших воскресений. Как всегда, застаем нескольких человек рабочих. В том числе и Николая Ростовцева.

Татьяна Алексеевна подробно рассказывает о речи Амфитеатрова и о моем выступлении.

Старик улыбается, добрым взглядом ласкает меня, а затем говорит:

— Знаете ли вы, что такое-конспирация? Нет? Так я вам постараюсь объяснить. Вы не думайте, что конспирация заключается лишь в том, чтобы прятать нелегальщину, делать секретными наши собрания и укрывать от взоров охраны наши крохотные типографии

и наши прокламации. Этого всего мало. Настоящий активный подпольный революционер должен конспирировать самого себя. Ни одного слова о том, что он стоит близко к революционерам. Он обязан уметь делать равнодушным лицо свое, когда внутри у него пылает возмущение и ненависть. А вы как поступаете? Входите в дом чуждых людей и цитируете «Манифест» Маркса и Энгельса... Теперь, конечно, будут вас избегать, а то, еще хуже, охранка вами заинтересуется... Нет, дорогой Алексей Иванович, конспирация великое дело. А меня извините за строгое поучение, — добавляет Василий Евдокимович и смеется тихим добродушным смехом.

Потом Лямин — этот человек с лицом интеллигента и руками рабочего приступает к сообщению о новой политике со стороны вьющего заводского начальства. На Орудийном, Путиловском и Русско-Балтийском заводах разрешено организовать кассы взаимопомощи с правом выбирать для этой цели депутатов. Массы всерьез питают надежды на улучшение рабочего быта...

— Знаю, — перебивает Лямина Василий

Евдокимович, — это отголоски провокаторской деятельности господина Зубатова. Чтобы отвлечь рабочих от политики, охранка задумала остудить революционное движение путем крохотных уступок в области экономических требований. Чепуха... Нас этим не заманишь...

Выступают другие участники собрания. Говорят об усиливающейся безработице. Рассказывают о жестоком отношении к рабочим со стороны заводского начальства.

Вслушиваясь в речи рабочих и с необычайной ясностью вижу эту чудовищную эксплуатацию, отнимающую у трудящихся масс право на труд и жизнь.

В эти минуты чувство беспредельной ненависти к эксплуататорам овладевает мной, и я мысленно даю себе обет — всю мою жизнь посвятить борьбе за освобождение рабочего класса.

Воскресное утро апрельского дня. Заканчиваю прокламацию под названием «Мужик и Капитал». Сегодня буду читать перед рабочими.

Татьяна Алексеевна говорит, что слушате-

ли с нетерпением ждут меня.

— Откуда ты это знаешь? — спрашиваю я.

— Я в Галерной гавани у Коли повидалась с некоторыми участниками кружка Василия Евдокимовича, и мы решили: сегодня в двенадцать часов дня у Никульцевых состоится собрание для обсуждения вопроса о праздновании Первого мая. Остается всего три дня.

— И там я буду читать?

— Да, если не возражаешь и если у тебя все готово.

— С моей стороны задержки не будет. Вот смотри, в твоём присутствии ставлю последнюю точку. Видишь? А все-таки немного страшно, — добавляю я после небольшой паузы.

— Почему страшно?

— Сам не знаю. Но вообрази себе такую картину: тайное собрание рабочих, а среди них писатель читает не то сказку, не то быль, где, не стесняясь, старательно ругают царя и министров, разжигая в рабочих ненависть к существующему строю. И вдруг, стучатся в дверь. Входят жандармы, шпики и всякая иная дрянь. Нас арестовывают и ссылают на

каторгу, а может, и на виселицу... — заканчиваю я смехом. Татьяна Алексеевна подходит ко мне, зорко вглядывается в мое лицо и говорит своим низким грудным голосом, полным доброты и ласки: — Леша, если это тебя хоть немного тревожит, то можно отложить на другой раз...

— Что ты, что ты?.. С чего взяла?.. Я пошутил, а ты уже бог знает что подумала, — говорю я и чувствую, что краснею.

Мы в Галерной гавани. На горизонте синяя полоса взморья подчеркивает белизну пышных облачков, медленно плывущих по голубым просторам.

Весна ласкает город, не привыкший к нежностям. Теплое предмайское солнце золотит и греет бедную окраину земли, не в силах осветить этот мрачный уголок нищенской обители.

Старики и старухи — бабушки да дедушки — сидят вдоль глухой стены на низкой скамье и жмутся друг к другу, ища опоры. Два годовалых мальчика большими жуками ползают по земляному полу и буквально тонут в мусоре и пыли. Пахнет отхожим местом.

Ощупью пробираемся к входу в дом. На явочный сигнал Татьяны Алексеевны открывает нам дверь жена Никульцева Вера Васильевна.

Эта маленькая женщина с симпатичным лицом и большими грустными глазами беременна восьмым ребенком. Она приветливо встречает нас и, как бы извиняясь, говорит:

— Народу у нас набилось — дыхнуть нельзя.

Мы стоим в кухне. За стеной жилой комнаты слышны голоса. Мы идем дальше и только хотим взяться за ручку двери, как навстречу нам выходит сам Никульцев.

Он так высок, что потолок не дает ему выпрямиться.

— Пожалуйста, пожалуйста, — приветливо приглашает он нас.

Комната действительно переполнена через край. Здесь хотя и не курят, но воздух порядком сгущен. При нашем появлении собравшиеся поднимаются с мест, чтобы дать нам возможность подойти к столу, где для нас приготовлено два стула.

Я ладонью сжимаю десятки протягиваю-

щихся ко мне мозолистых рук. Родственным взглядом и ласковой улыбкой встречает нас председатель собрания Василий Евдокимович.

Среди присутствующих много незнакомых лиц. Но по тому, как они себя держат, по их коротеньким фразам, по их глазам, полным решительности, нетрудно догадаться, что они активные участники этого тайного собрания.

Брат жены сидит тут же на длинной скамье. Я вижу, как он наклоняется к сидящим рядом с ним и что-то нашептывает.

Догадываюсь, что Коля на расстоянии знакомит товарищей со мною.

Встает Василий Евдокимович. Мгновенно наступает тишина.

— Товарищи — начинает старик, — здесь среди нас присутствует молодой писатель — товарищ Алексей Иванович Свирский. Он сын рабочего или, лучше сказать, сын бедноты. Кроме того, он муж всем нам знакомой Тани Ростовцевой. Он обещал прочесть нам написанную им сказку, приспособленную для агитации. Выслушаем, а потом окончательно договоримся о месте и времени нашей маев-

ки.

Впервые приходится мне выступать при такой многочисленной аудитории. Мелкая дрожь пробегает по рукам, когда я развертываю рукопись.

— «Мужик и Капитал» (вольное сказание), — провозглашаю я и приступаю к чтению.

Меня обнимает тишина. Ни малейшего звука, ни малейшего шороха. Голос мой крепнет, и в моем сознании вырастает уверенность.

До последнего часа моего буду помнить этот день, когда судьба так близко поставила меня к борцам за освобождение рабочего класса. Эти мужественные люди, героически отстаивающие право на жизнь и ежеминутно рискующие погибнуть в неравной борьбе, сейчас слушают меня с таким глубоким вниманием, с таким детским любопытством и с такой верой в то, что мною написано, и так воспринимают всю сказку, что только теперь начинаю понимать силу и значение человеческого слова.

Сегодняшние слушатели поднимают меня,

вливают в мое сознание веру в мои писательские способности, и я мысленно благодарю их за это, а когда по окончании чтения ко мне протягиваются шершавые натруженные ладони и ласково благодарят озаренные внутренним светом глаза, — мне хочется воскликнуть:

— Спасибо, товарищи!.. Отныне я ваш и все лучшее, что во мне живет, посвящу вам, моим братьям по крови и по чувству...

Василий Евдокимович принимает от меня рукопись и при общем одобрении крепко пожимает мне руку.

Накануне первого мая к нам приходит Василий Евдокимович, а вслед за ним появляется Николай Ростовцев в сопровождении Петра Лямина и Федора Белесова.

Догадываюсь, что гости пришли неспроста, что, по всей вероятности, здесь произойдет окончательное решение вопроса о завтрашнем дне.

Татьяна Алексеевна приглашает всех в мой кабинет — самую дальнюю и совершенно изолированную комнату.

Подают чай. Хотя о программе завтрашне-

го собрания имеется постановление, выработанное у Никульцева, но остаются еще некоторые мелочи, и о них-то сейчас идет речь.

— Василий Евдокимович, — говорит Лямин, — вы меня простите, но насчет Шувалова, мне кажется, вы ошибаетесь: там засыпки быть не может... Вот пусть Белесов скажет — мы оба вчера там были.

— Место определенно хорошее, — поддерживает Белесов.

— Я место не хаю, — говорит Василий Евдокимович, — но мне думается, что Шувалове для завтрашнего собрания не годится, потому что находится по Финляндской железной дороге, где кишмя кишат шпики всяких мастей...

— И пусть!.. — горячо перебивает Лямин. — Собрание состоится в двух верстах от станции у подножья холмов. Убежден, что ни одному жандарму, ни одному охраннику в голову не придет в такой лощине, окруженной горами, искать бунтарей...

— Ну, что ж, если так — я возражать не стану... Да и времени нет: завтра в девять утра мы уже должны быть на месте... Но, —

добавляет Василий Евдокимович, — все ли извещены и все ли готово?..

— Не только извещены, — отвечает Лямин, — но даже подробный маршрут выработан. Товарищи с Выборгской стороны вразброску займут места в поезде, а вылезать будут в Удельной, в Озерках, в Парголово... Потом в одиночку или парами на собственных ногах доберутся до Шувалова. Что же касается сестрорецких и путиловцев, то они пойдут вдоль берега на Белоостров, кружным путем... Словом, мне кажется, что все предусмотрено, все предвидено.

— Ладно, тогда и мы, семянниковцы, пошагаем, — окончательно успокоенный говорит Василий Евдокимович и тут же осведомляется о лозунгах и о флагах.

Лямин и Белесов сообщают подробные сведения, причем они не только называют назначенных ораторов, но приблизительно знакомят с содержанием завтрашних речей.

В десятом часу вечера наши гости расходятся.

Встает утро. От нежной лазури безоблачного неба, от бледнозеленой травы и от разбух-

ших почек берез, озолоченных ярким молодым солнцем, веет праздничным торжеством.

Обширная площадь между холмами переполнена народом. Впервые Шувалове видит такое многочисленное скопище людей. Большинство участников маевки взбирается на горы и там усаживается на молодой тонкоусой траве.

Образовывается два амфитеатра — один против другого.

В голубом воздухе плещутся алые флаги и знамена.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Да здравствует революция!» «Долой самодержавие!» Все эти лозунги, начертанные на скромных по размерам красных полотнах, вливают в сердца уверенность в победе; а те, кто помоложе, окончательно чувствуют себя свободными и выражают свои радостные переживания громким беспричинным смехом и безудержными яростными рукоплесканиями, посылаемыми вслед каждому окончившему говорить оратору.

Выступающие говорят о безработице, тяжким гнетом падающей на семьи рабочих;

останавливаются на студенческих волнениях и на зверской жестокости полиции и жандармерии.

— Товарищи!.. — рассекает воздух молодой, сильный голос Маши Кругловой, работающей на фабрике Торнтона.

Маша делает маленькую паузу. Все взоры устремлены на нее.

Круглова стоит на горе и всем видна. В руке у нее красный флаг.

Хотя она стоит на месте, но во всей ее стройной и гибкой фигуре чувствуется движение и порыв вперед. Рдеет взволнованное лицо революционерки, а большие темные глаза полны бунтующего огня.

Маша вбирает в себя воздух, ее голос, полный серебра, падает с высоты, и каждое слово приводит в волнение многие сотни слушателей.

— Товарищи, — повторяет Маша. — Помните недавний разгон студентов на Казанской площади... Какая грубая, бесчеловечная расправа!.. Помните массовый зверский расчет рабочих на Путиловском, на Балтийском, на Трубочном и на многих других заво-

дах... Наши дети обречены на голод... Товарищи!.. Неужели мы всегда будем прятать наш пролетарский праздник? Нет, этого не может быть!.. Мы сильнее наших врагов... Все ключи жизни в наших руках... Товарищи, сомкнем наши ряды...

Но что это?.. Откуда смятение? Невидимый вихрь волнует людей.

— Мы окружены!!! — кричит Лямин.

И закипает человеческая метель. С холмов скатывается живая человеческая лава... Раздается свист и гиканье.

Показываются верховые... Красные околыши, пьяные мутные глаза, по-хулигански взбитые чубы, грузные кони жандармов, нагайки и обнаженные шашки. Давка, крики женщин... Холодный блеск на стальных лезвиях обнаженного оружия.

Начинается бессмысленное жестокое избивание.

Падает Маша Круглова... Лошадь жандарма поднимает над ее побледневшим лицом переднюю ногу с новой, ладно пригнанной подковой... Сейчас не станет молодой мятежной жизни!.. Но конь неожиданно делает ска-

чок в сторону, и огромный тяжеловесный жандарм сваливается с лошади.

Быстро заканчивается битва. Сотню арестованных ведут к станции. Тяжело раненного Лямина Василий Евдокимович и наш Коля уносят в сад ближайшей дачи. Много избитых, окровавленных лиц.

Среди арестованных и Маша Круглова.

Все происходящее производит на меня такое сильное впечатление, мною овладевает такое невыносимое чувство гнева, так обидно за избитую молодежь, только что с безудержной радостью приветствовавшую свободу, завоеванную на один час, и так напряжены нервы, что мне больших усилий стоит не броситься вперед и не швырнуть камнем в отвратительную рожу жандармского ротмистра, храбро гарцующего на белом коне среди рассеянных и безоружных рабочих. Навсегда запоминаю его рыжие бакенбарды, вздернутый носик и широкие отвислые щеки, делающие его похожим на французского бульдога.

Возвращаемся домой униженными и не отомщенными.

— Вместо праздника попали мы с тобой в

бурю, — тихо говорю я, когда входим в комнаты.

— Леша, это не буря, — откликается жена. — Буря впереди... Верю, что грядущая буря сметет всю эту царскую нечисть...

Моя Таня крепко сжимает свои маленькие женские кулачки, на губах нервная зыбь, а глаза полны слез.

Молчу.

## 18. Кровь народа

Снова к нам стучится нужда. Мы живем на Слиговке в холодном сыром полуподвале. Вокруг нас не Ходотовы и не Потоцкие императорского театра, а самая настоящая столичная голь.

Вот уже три года, как меня бьет и бьет цензура. Все, что напишу, попадает под красный карандаш, и меня не печатают.

Временно перестаю писать о рабочих. Хочу дать книгу о евреях, хочу показать черту оседлости, где погибают сотни тысяч ни в чем не повинных людей.

Тружусь над этой темой изо всех сил. Ночи просиживаю перед письменным столом и готов умереть от жалости, когда воскресшая па-

мьять показывает мне кошмары недавних лет. Пред моим умственным взором проходят голодные дети, бесприютные старики, встают картины человеческих страданий, и дрожь пробегает по телу, когда вспоминаю запятнанные вечным позором еврейские погромы и массовые избиения беззащитного народа.

Пишу нервами и кровью взволнованного сердца. Читаю жене. Она хвалит, благодарит и плачет обильными слезами.

А цензору не нравится, и редакция «либеральнейшего» журнала «Вестник Европы» возвращает мне рукопись с обычной припиской: «не подходит по цензурным условиям».

Положительно теряюсь и окончательно падаю духом.

Где только возможно и где дают — беру авансы. Но и эти источники давно уже иссякли. Попадаю в темный круг неудач и теряю последние надежды.

Сегодня особенно тяжелый день. Одолжить не у кого, нести в ломбард нечего. Хоть в петлю лезь.

И вдруг Геруц... Геруц, давно исчезнувший с моего горизонта.

Его появление как нельзя белее кстати. Ведь он мне так много должен...

— Здравствуйте, господин Свирский!.. Очень рад вас видеть... Хорошо, что вас нашел... Превосходно, да?..

Он все тот же: маленький, быстрый, суетливый и разговорчивый.

Большая борода, делающая его похожим на гнома, хорошо расчесана, слово «превосходно» не сходит с языка и все тот же туго набитый портфель подмышкой.

Геруц делает вид, что не замечает убогой обстановки, низенького потолка и сырой стены. Он по-прежнему учтив, внимателен и, как всегда, припадает к ручке Татьяны Алексеевны.

— Теперь, господин Свирский, буду вам говорить превосходные слова... Ваши книжки уже скоро будут проданы... Превосходно, да?..

Мы с Татьяной Алексеевной многозначительно переглядываемся.

Еще в позапрошлом году нам было известно, что книги мои разошлись до единого экземпляра.

Мой «компаньон» улавливает наш взгляд

и с живостью добавляет:

— В магазинах давно уже книжки проданы, но имеются остатки на железных дорогах... Вот погодите немножко — получу ответы со всех станций, сейчас же устрою с вами расчет, а сейчас я авансом внесу вам еще сто рублей... Превосходно, да?..

И все прощено, все забыто. Даже чувство благодарности зарождается во мне. Гордым и независимым жестом передаю полученные сто рублей Татьяне Алексеевне.

— Ну, вот, значит, договорились, — добавляет Геруц, — а теперь слушайте, что я скажу.

Геруц, как всегда, ставит портфель на колени, роется среди бумаг и вытаскивает визитную карточку некоего Монвиш-Монтвида.

— Не знаете? — спрашивает Геруц.

Я отрицательно качаю головой.

— О, так это превосходно!.. Я вас познакомлю. Он редактор журнала «Всходы». Этот журнал я сам распространяю, и он будет иметь превосходный успех. А теперь к делу...

Геруц закрывает портфель, обеими руками поглаживает бороду и продолжает:

— Этому редактору нужен хороший писа-

тель. Я ему сказал, что вы самый лучший... Превосходно, да? Ну, вот, а теперь такое дело... Нужно написать большой роман для детей, но чтобы в этом романе участвовали бедные дети со всеми их приключениями. Понятно? Ну, вот превосходно... Можете вы такой роман написать?

— Не знаю, — отвечаю я, — не приходилось. Но могу попробовать...

— Можете!.. Вот это превосходно!.. Завтра я буду здесь, и мы с вами поедем к Монвиш-Монтвиду, и вы получите превосходный аванс. А теперь до свидания. Завтра увидимся. Превосходно, да?..

Уходит Геруц. Мы с Татьяной Алексеевной молча смотрим друг на друга и готовы расхохотаться.

Большая барская, хорошо обставленная квартира Монвиш-Монтвида наполовину занята редакцией, конторой, экспедиторской детского журнала «Всходы». И всюду здесь Геруц. Он и счетовод, и экспедитор, и распространитель, и даже технический редактор.

Странное впечатление производит на меня обширный зал с дорогим туркменским

ковром на полу, с черным лакированным ро-  
рялем и простыми сосновыми полками, на-  
битыми старыми газетами, журналами и  
небольшими книжками в красивых пёрепле-  
тиках.

Такой же вид имеет и кабинет редактора,  
роскошно обставленный и в то же время де-  
ловито загруженный типографскими гранка-  
ми, рыночными столами и шкафиком для ру-  
кописей.

— Вот и наш превосходный писатель гос-  
подин Свирский, — торжественно провозгла-  
шает Геруц, вводя меня в кабинет.

За чудесным резным столом красного де-  
рева сидит редактор «Всходов» Мон-  
виш-Монтвид.

Этот человек встречает меня с добродуш-  
ной улыбкой, крепко пожимает руку и пред-  
лагает сесть.

— Я читал ваши «Погибшие люди», — на-  
чинает Монвиш-Монтвид, когда я усажива-  
юсь в глубоком мягком кресле. — Материал  
очень интересный. Читается легко и трогает  
за сердце. Вот это самое главное, — продолжа-  
ет он. — Будить добрые чувства — вот главная

задача писателя...

Пока он говорит, я вглядываюсь в его маленькую бородку, в его темно-русые широкие усы, в мягкие волосы, закинутые назад, и в его карие грустные глаза с отсутствующим взглядом, и про себя определяю: «богатый либерал-интеллигент».

— Вам, наверно, известно, что с прошлого года мы стали давать нашим подписчикам бесплатные приложения в виде отдельных книжек.

Чтобы не огорчить его, я утвердительно киваю головой, хотя никогда и нигде не видел «Всходов».

— Ну, вот. Книжки должны содержать в себе художественное произведение, сюжет которого взят из реальной жизни. Мне хотелось бы иметь от вас повесть или даже роман для детей старшего возраста. Вы могли бы это сделать?

Меня этот вопрос немного смущает и в ответ роняю сквозь зубы:

— Не знаю... Не приходилось... Можно, конечно, попробовать.

— Ведь вы же пишете для взрослых. Поче-

му же нельзя для детей? Белинский что сказал? «Пишите для детей так, чтобы и взрослым было интересно». А вам есть что рассказать.

— А книга должна быть очень большая? — спрашиваю я.

— Да, конечно... До...

Монвиш-Монтвид задумывается, откидывает назад голову и раздельно говорит:

— До двадцати авторских листов. Мы тогда эту вещь сможем поместить в трех книжках. И получится норма, — заканчивает он и заранее одобрительно мне улыбается, а взгляд его карих глаз отсутствует, и я не могу определить их выражения.

— Так вы согласны? — допытывается редактор.

— Постараюсь, — коротко отвечаю я.

— Вот и превосходно!.. — неожиданно вмешивается Геруц и добавляет: Можно сейчас объявление давать...

Подписка скоро. Декабрь месяц наступит... Дадим такое объявление: В тысяча девятьсот четвертом году подписчики журнала «Всходы» получают в премию роман известно-

го писателя, и так далее... А как он называется? — прерывает самого себя Геруц.

— Кто называется? — недоумевает Монвиш-Монтвид.

— Роман... Без названия романа не бывает.

— Он прав, — соглашается редактор.

Напрягаю ум, перебираю десятки слов и вдруг на мысль приходит слово «Рыжик». Почему «Рыжик» — сам не знаю.

— Повесть или роман я назову «Рыжик», — неуверенным голосом говорю я.

— Ага, понимаю. Вы хотите написать нечто ботаническое, из жизни грибов? — спрашивает Монвиш-Монтвид.

— Нет, — живо откликаюсь я. — Это будет описание жизни беспризорного мальчика, по кличке «Рыжик», — импровизирую я.

— О, это превосходно!.. Мальчик и приключения!.. Превосходно!.. Сейчас буду писать объявление, — восклицает Геруц и улетучивается.

Мы остаемся вдвоем. Длится молчание. Хочу встать и попроситься, но Монвиш-Монтвид меня удерживает.

— Одну минутку. Хочу вас предупредить,

что наш журнал за беллетристику платит восемьдесят рублей за лист, но вам я могу увеличить до девяноста...

Чувствую смущение редактора, и мне самому почему-то становится неловко.

— Хорошо... Согласен...

— Позвольте, нам все это надо как-нибудь закрепить. Разрешите мне предложить вам небольшой аванс...

Монвиш-Монтвид достает из бокового кармана бумажник, отсчитывает двести рублей и протягивает их мне.

Ухожу из редакции смущенный и довольный. Momentами мне кажется, что все это происходит во сне.

Возвращаюсь домой и кричу с порога:

— Таня, попрощайся с нашим подвалом. К черту подземелье!.. Надо выкарабкаться из этой братской могилы... Пойдем сейчас другую квартиру снимать!..

Татьяна Алексеевна вплотную подходит ко мне, и укоризненно качает головой.

— Ты что?.. Даже и не думал... Ни одной капельки... Ей-богу... Совершенно трезв. Не веришь? Ну, так сейчас поверишь. Сядем. Ну,

слушай...

В немногих словах рассказываю жене, как меня принял Монвиш-Монтвид и какой отвалил аванс.

— Это за что же? — перебивает жена.

— За «Рыжика».

— Это еще что такое?

— Это, брат, новый роман, мною придуманный, и называется он «Рыжик». Кличка беспризорного мальчика. Поняла?

— Не совсем.

Приходится подробно объяснить, как я второпях придумал название несуществующего романа и как в моем сознании уже зреет и наливается жизнью новая тема для детей.

— Понимаешь, Таня, предо мною сейчас открывается широкое поле литературной деятельности. Стану детским писателем. В этом нет ничего позорного. Толстой — и тот не брезгует... Да и вообще, — продолжаю я, — что мне дала литература до настоящего дня? Вот эту сырую яму, вот это убогое существование... А сколько неудач! Сколько незаслуженных обид!.. Какая бессмысленная тупая жестокость цензуры!.. Сосчитай: все мои рабочие

рассказы запрещены. Такому же провалу подвергались и все мои произведения из еврейской жизни. А пьеса «Тюрьма»... Помнишь, когда я читал ее у Ходотова, артисты хвалили и заранее выбирали себе роли... И эта пьеса с девятьсот первого года лежит под прессом нашей проклятой цензуры...

— погоди, Леша. Ведь я все это знаю. Напрасно нервничаешь. Садись лучше обедать. Сготовила самое любимое твое — мясные щи и котлеты с гречневой кашей. Видишь, как богато живем... А если тебе наш подвал немоготу, так можно переменить.

В этот же день к вечеру переезжаем на Пески, где я снимаю сухую теплую квартиру из двух светлых и одной темной комнаты.

Снова вью гнездо, несмотря на зимнюю пору, и снова у нас уютно, тепло и на подоконниках цветы.

Пишу «Рыжика». Тема разрастается. Вспоминаю свое бесприютное детство, суровую жизнь моих сверстников и строю широкий многоликий сюжет, где живут, действуют, борются с судьбой малолетние герои, выброшенные из жизни.

Этот, созданный моим воображением, курносый «Рыжик» живет во мне и насыщает мою писательскую алчность. Неделями не выхожу из дому. Боюсь оторваться от рукописи. А там, далеко за нашими окнами, на окраинах столицы, в недрах металлургических заводов, зарождаются новые небывалые события. На табачных и текстильных фабриках вспыхивают забастовки.

Татьяна Алексеевна часто посещает Никульцевых, бывает у брата на Галерной и не забывает Евдокимова.

Почти ежедневно, в особенности поздними вечерами, когда отрываюсь от письменного стола, она мне рассказывает о сильных волнениях среди рабочих и о растущей безработице.

Чтобы не ослабить моего писательского настроения, я никуда не хожу, избегаю встреч, не читаю газет и даже не курю. Единственной связью с внешним миром является Татьяна Алексеевна.

В таком творческом напряжении нахожусь целый год, и «Рыжик», распухший до двадцати четырех авторских листов, закон-

чен.

Прежде всего начинаю курить, без устали гуляю, захожу к оставленным на время друзьям, с независимым видом заглядываю в редакции газет и журналов, а иногда захожу «на минутку» к «Давидке», где среди богемной братии провожу время, и поздно ночью, нагруженный пьяной радостью, возвращаюсь домой.

За последнее время в городе, а в особенности на окраинах, много говорят о каком-то священнике Гапоне.

Татьяна Алексеевна рассказывает, что он очень хороший проповедник. На темные массы он действует гипнотически. Среди малознательных рабочих пользуется большой популярностью, а у революционно настроенных групп молодой священник вызывает подозрение.

Станным кажется то обстоятельство, что Гапон совершенно свободно проникает не только в жилища рабочих, но и в места общественные и даже на заводы. Кроме того, речи Гапона своей смелостью и резкой критикой, направленной против министров, подкупают

слушателей; всюду, где он выступает, он находит многочисленную аудиторию, внимательную и благодарную.

— Завтра, в двенадцать часов, — говорит Татьяна Алексеевна, — Гапон выступает около нас, в народной столовой. Знаешь, на Второй Рождественской? Если хочешь, пойдём послушаем...

Охотно соглашаюсь. На другой день в назначенный час идем на собрание.

Небольшая улица полна народу. С большим усилием удается нам протиснуться к входу. Деревянная лестница, ведущая в столовую, скрипит под напором толпы. Того и гляди, не выдержит тяжести и рухнет.

На дворе злой мороз в двадцать градусов, а здесь так жарко и душно, что хочется уйти отсюда, пока не задавили.

Женщины по количеству занимают тут первое место, но не мало и мужчин. Бабы в байковых и вязаных платках, в ватных кацавейках, в огромных валенках, а некоторые с грудными детьми на руках, взволнованные, распаренные и озлобленные, неудержимо прут вперед и на трудном пути своем роняют

проклятья.

Далеко впереди, на возвышеньи, вырисовывается фигура молодого священника в черной рясе, с небольшой черной бородкой и не совсем длинными волнистыми волосами, ниспадающими на шею. На груди маленький крест с распятием. Бледной рукой отец Гапон во время речи дотрагивается до креста. На красивом лице спокойствие, но черные глаза полны пламени.

Вслушиваюсь в проповедь. Дикция ясная, отчетливая.

Голос низкий, грудной и мягкий.

— Все, происходящее на земле, — говорит Гапон, — имеет временный характер. Сегодня мы живем по законам, установленным правительством нашего царя, но завтра по требованию народа эти законы могут измениться, и наша жизнь будет иной и совсем не похожей на жизнь сегодняшнего дня. Вот почему народу надо пойти к царю не вооруженному злобой, а с открытой душой и любвеобильным сердцем.

— А ежели царь нас не примет? — раздается из толпы женский голос.

Гапон вздрагивает от неожиданности, потом выпрямляется, обдает слушателей искрами вспыхнувших глаз и отвечает твердо и уверенно:

— Тогда мы скажем — в России нет царя!..

Густым одобряющим гулом отзывается собравшийся народ. Свобода действий и поразительное полное отсутствие полиции и охранки, никогда не слыханные так открыто по своей смелости речи — все это взятое вместе создает вокруг имени Гапона легенды, полные надежд и упований.

Новый год мы с женой встречаем дома, встречаем скромно, за неимением лишних средств.

«Рыжик»-вышел в свет тремя маленькими томиками.

На видном месте стоят они у меня на самодельной полке в количестве семидесяти пяти авторских экземпляров. Это все, что осталось от труда моего в смысле реальных благ.

Но «Рыжика» я люблю и втайне горжусь им.

Бьет двенадцать часов. Мы торжественно встаем с двумя бокалами, наполненными иг-

ристым, но дешевым, донским шампанским.

Чокаемся, выпиваем, целуемся и создаем хорошее настроение улыбками влюбленных. Но и в этот праздничный час, когда успеваем побывать в прошлом, поделиться воспоминаниями о первых наших встречах, о трепетно зарождавшейся близости и о многих иных сладких мгновениях нашего молодого счастья, — мы незаметно снижаемся с высот миновавшего и вплотную подходим к нашей действительности.

И снова выступает Гапон с его страстными призывами идти к царю с петицией, покрытой сотнями тысяч подписей. Опять говорим о безработице, об умирающих от голода детях, о забастовках, жестоко подавляющихся, и о наших личных невеселых делах, с которыми мы вступаем в новый девятьсот пятый год.

— Василий Евдокимович, — говорит Татьяна Алексеевна, — просит нас быть у него в субботу восьмого числа. А от тебя он хочет получить обещанное.

— Что обещанное?

— Уже забыл!.. Хороший революционер... Ты же хотел написать прокламацию о встре-

че нового года. Ведь у тебя в голове все было.... Ты хотел показать, как встречают новый год в Зимнем дворце и как этот новый год празднуют безработные...

— Помню, — перебиваю я. — Но я же опоздал...

— А Василий Евдокимович говорит, что это ничего не значит...

Я соглашаюсь, тем более, что до, восьмого времени много.

Никогда еще у Василия Евдокимовича не было так тесно, как сегодня. Не только комната, но передняя и кухня переполнены доотказа. Обсуждается вопрос о завтрашнем дне: итти или не итти к царю.

— Нельзя поверить в движение, возглавляемое попом! — слышится высокий голос Лямина.

— А если Гапон прав, — откликается из передней женский голос.

— И если царь выйдет к народу и смилуется... Даст нам дыхнуть свободнее и прикажет заводчикам да фабрикантам разжать свои когти, не терзать наших мужей, отогнать от нас нищету... И будет конец забастовкам. И

наши дети светлыми глазенками взглянут на мир...

Из передней и кухни несется одобрительный гул.

— Правильно Власьевна говорит...

— Забастовками жирнотелых не прой- дешь...

— Бывали забастовки, кровью за них пла- тили...

Василий Евдокимович просит тишины. Он встает и машет обеими руками.

— Дайте слово сказать!..

Вспыхнувшая буря утихает.

— Товарищи, — начинает Василий Евдоки- мович, — о чем мы спорим? Мы, большевики, с самого начала гапоновской кампании были против того, чтобы итти за милосердием к ти- рану. Помните, я говорил, что если царь из трусости или по какой иной причине выйдет к народу и швырнет своим верноподданным рабам крошки с богатого стола, то этим он продлит свое царствование на многие годы. Такого взгляда придерживаемся мы и сейчас. Но теперь, когда огромное большинство под- писало петицию, нам спорить не о чем. При-

дется завтра шествовать к Зимнему, мы должны быть там, где народ. А в том, что царь выйдет к народу, у нас не может быть твердой уверенности.

Коротенькая речь хозяина дома производит успокаивающее впечатление, но с последней фразой о том, что царь может не выйти к народу, не все согласны.

— Какой же это царь, ежели побоится народа...

— А царская присяга... Присягал же он народу...

— Это верно... Что и говорить...

Как сильна еще вера в коронованного тирана!

И долго человеческие голоса сплетаются между собою и густым говором реют над головами собравшихся.

Поздно вечером мы с Татьяной Алексеевной прощаемся с Василием Евдокимовичем. Вручаю старику мою листовку. Он сердечно благодарит и до боли сжимает мою Руку

Мы входим в тихую морозную ночь, сопровождаемые алмазными кругами сверкающих звезд,

В эту ночь мы не можем заснуть. Мысли о завтрашнем дне отгоняют сон.

Долго в ночной тиши шелестят наши голоса. Нас волнует вопрос, примет ли царь народ? И если примет, то как это произойдет? Но ни я, ни Татьяна Алексеевна ничего предвидеть не можем, и бесплодный разговор длится до рассвета.

Но вот уже и утро. Торопливо умываюсь, грею на плите чайник и поднимаю жену.

— Чего ты спешишь, безумный? Ведь свидание с народом обещано в двенадцать часов.

— Лучше раньше выйти, — возражаю я. — Больше увидим и более удобное место займем.

Сегодня нет солнца. Сырой прохладой веет от серой мути нависших облаков.

Выходим на улицу. Народу много. Все двигаются по направлению к Невскому. Много учащейся молодежи — гимназисты, студенты и курсистки. Но больше всего представителей так называемого третьего сословия — ремесленники с женами и детьми, служащие, мелкие чиновники и всякого рода беднота.

Вглядываюсь в лица, вслушиваюсь в разго-

воры и не нахожу никаких признаков волнения, особой какой-либо возбужденности или страха.

На Знаменской площади картина меняется. Здесь бескрайнее море. Черной волнующейся рекой широко вливается оно в Невский проспект. Преобладающее место тут занимают рабочие, прибывшие из-за Невской заставы.

— Безо всякого сомнения выйдет к народу царь-батюшка, — говорит идущий рядом с нами бедно одетый старик в рыжей меховой шапке.

Говорящий поворачивает к нам седую бороду в ожидании возражения и, не дождав-шись, продолжает:

— Ежели царь этого не захотел бы, то разве дал бы он такую свободу? Глядите-ка, — уже размахивает руками старик: — куда подевались городовые, вся полиция и разные жан-дармы... Ни конных, ни пеших, ни конок, ни извозчиков... Гуляй, народ... Твой город... И вот мы по этой самой причине гуляем по са-мой середине мостовой.

Из живого слитного массива людей, из

плотной гущи, раздаются живые отклики на слова старика. Говорят бабы с грудными детьми на руках, говорят мужики, прибывшие из ближайших деревень, и простолюдины, охотно и весело идущие на обещанный праздник.

— Царю обманывать не полагается...

— Известное дело... Разве можно, чтобы помазанник божий, да вдруг обман... Совсем не подходящее дело...

Катится человеческая река. Повсюду разлит безмятежный покой.

В ожидании чудесного зрелища — свидания царя с народом — люди становятся добрыми, вежливыми, стараются не толкаться, не грубить. Все идет чинно, тихо и серьезно.

Чувствуется, что в этом многотысячном движении, в этом огромном коллективе живет одна мысль, одно желание — освободиться из-под пресса жестоких законов самодержавия.

Чем ближе к адмиралтейской золотой игле, вонзившейся в низкое облачное небо, тем становится многолюднее. С невероятным усилием удастся мне вместе с Татьяной Алексе-

евной вынырнуть из человеческих теснин и очутиться на углу Александровского сада и Дворцовой площади.

Нежно-розовый дворец, неподвижный белый щит Невы и обширная площадь, окруженная корпусами морского штаба, хранят обычное величавое спокойствие. Только странным мне кажется, собрание офицеров гвардейского корпуса.

Здесь кирасиры в высоких шапках, отороченных белым мехом, и в сверкающих медью кирасах, франтоватые гусары с красными ментиками на спине, тяжеловесные драгуны и уланы. Все они гарцуют на конях перед дворцом.

— К чему это? — тихо спрашивает Татьяна Алексеевна.

— А ты думала как — царь в одиночку выйдет? Этого, брат, не бывает. Царь без парада не может.

А народ все прибывает и прибывает. Пробило двенадцать часов.

Царя нет.

Народ сейчас же находит оправдание. В задержке, мол, виноваты путиловцы. Они идут

сюда из-за Нарвской заставы во главе с Гапоном. Идут с портретами царя, с иконами и хоругвями.

Кто-то из верховых на Дворцовой делает нам знак отодвинуться.

И в этот же миг раздаются серебряные звуки горниста.

— Царь едет!.. — слышится в толпе.

Мужчины срывают шапки. Некоторые женщины стараются приподнять своих грудных детей, чтобы царь видел. Мальчишки взбираются на деревья Александровского парка и серыми птицами повисают на оснеженных ветвях.

У выхода из Дворцовой площади на Невский проспект выстраивается рота вооруженных солдат. Первая шеренга опускается на одно колено, направляя ружья в народ, а вторая остается стоять и держит винтовки на прицел.

Народ останавливается. Ни малейшей зыби на человеческом море.

Народ замер в ожидании. И вдруг взлетает команда офицера, и вслед за тем раздается короткий сухой треск. И сейчас же треск повто-

ряется.

Что это?... Неужели!.. Нет, этого не может быть!.. Ведь народ спокоен, и все молчит вокруг... Ага, да, убивают...

Падают люди... Пули снимают детей с деревьев. Серенькими комочками падают маленькие мертвые тела.

Шарахается народ. Сколько крови на снегу!.. Бегут...

Мгновенно заполняются Гороховая и Троицкий проспект.

Стреляют еще и еще... Проклятья... Стоны... Мольба о помощи... Рыданье женщин... Крики детей...

Умерла вера в царя. Конец надеждам. Пролита невинная кровь доверчивого народа...

К вечеру попадаем за Невскую заставу. Там уже тихо и темно.

— Алеша, ты слышишь? — шепчет Татьяна Алексеевна.

Прислушиваюсь. Где-то вблизи среди тишины плывет похоронный марш: «Вы жертвою пали в борьбе роковой»...

Поют рыдающие голоса мужчин и женщин. Несут на носилках трупы детей.

Вот и Василий Евдокимович. Старика узнать нельзя.

Сгорбился, осунулся, и сурово глядят глаза из-под нависших бровей...

Василий Евдокимович подходит к нам.

— Вы были там? — спрашивает Василий Евдокимович.

— Да, — коротко отвечаю я.

— Вы писатель, вы много слов знаете... Как это сегодняшнее назвать?.. Трагедия? Позор? Как?

Василий Евдокимович еще ниже опускает голову, на ходу придерживает носилки с убитой женщиной и продолжает:

— Беда — не верю в бога, а то бы я с ним поговорил... А вы пишете... Вы умеете это делать. Ядом мести отравите перо ваше... И не щадите врагов наших, как они нас не щадят.

Старик свободной рукой делает нам прощальный жест.

В этот миг я замечаю, как по его лицу катится слезинка и зарывается в серую бородку.

И снова в пустынном вечере рыдают голова:

*«Вы жертвою пали в борьбе роко-*

вой»...

Я плачу...

## Послесловие

**П**оследняя страница «Истории моей жизни» закончена.

Десять лет я мысленно бродил по колючим тропам давно ушедших лет.

Сколько раз, склонив седую голову над бумагой, я плакал слезами беспризорного ребенка!..

Сколько раз безжалостная память заставляет меня вторично переживать кошмары прошлого!..

Сколько раз падал я в темные бездны унижительных обид!..

В этой книге человеческой печали нет ни одного выдуманного факта, как нет ни одной черты, не принадлежавшей мне. Я раскрыл перед миром свое сердце и обнажил свои раны.

Мне семьдесят три года, и уже не далек конец моего пути. Но если меня спросят: захотел ли бы я реально, на самом деле, родиться вновь, перенести все страдания моей жизни, чтобы умереть писателем страны Советов, —

я по капле соберу остаток сил, напрягу мышцы изношенного сердца и воскликну в ответ:

— Да!..

Москва 1928–1938.